VISIT…

ББК 63.3(2)
Ш 60

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ, СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:
С. Е. Угловский, П. С. Ульяшов, В. Н. Фуфурин, С. Н. Харламов

Художник В. Бобров

Шильдер Н. К.
Ш 60 **Император Павел Первый.**
Серия «Актуальная история России». Цикл «Императоры России». М.: «Чарли», 1996 — 544 с.

К императору Павлу Первому как у историков-специалистов, так и у рядовых читателей, отношение неоднозначное. Долгое время его изображали как сумасброда, приверженца пустых парадов и муштры, гонителя Суворова и пр. Но это лишь одна сторона его личности. Русский историк Н. К. Шильдер (1842-1902), не издававшийся в послереволюционное время, собрав гигантское количество документов, свидетельств современников, писем, донесений, создал объективные портреты российских самодержцев в своих знаменитых «жизнеописаниях»: «Император Павел Первый», «Император Александр Первый, его жизнь и царствование», «Император Николай Первый, его жизнь и царствование». Работы эти уникальны тем, что они день за днем, от рождения и до смерти прослеживают жизнь царственных особ: воспитание, помолвка, бракосочетание, коронование, интриги при дворе, светские балы, военные кампании, покушения и пр. Так постепенно воссоздается правдивая картина царствования Павла Первого, многозначность его деятельности, в которой были отнюдь не только отрицательные стороны. Да и им дается тонкое психологическое объяснение. А кроме того, это и просто увлекательное чтение, своего рода прикосновение к «Тайнам петербургского и кремлевского дворов».

В тексте частично сохранены орфография и пунктуация автора.

ISBN 5-86859-040-6
Ш $\frac{05030200000-13}{6С5(03)-96}$ без объявл.

© Разработка серии, П. Ульяшов.
© Худож. оформление, «Чарли», 1996

Все права на распространение книги принадлежат фирме «Чарли» (тел./факс 261-22-12, 267-99-94) и ТОО «Алгоритм» (тел. 197-35-97 978-10-64).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Рождение великого князя Павла Петровича. — Отчуждение сына от матери. — Заботы императрицы Елизаветы о новорожденном великом князе. — Бехтеев. — Никита Иванович Панин. — Кончина императрицы Елизаветы Петровны. — Воцарение Петра Третьего.

I

В 1744 году, 9-го (20-го) февраля, прибыла в Москву принцесса София-Фредерика Ангальт-Цербстская, вызванная в Россию императрицей Елизаветой Петровной. Эта принцесса предназначалась в супруги наследнику русского престола, великому князю Петру Федоровичу.

Самое смелое воображение, самый проницательный ум того времени, конечно, не могли себе представить, какое громадное влияние на будущие судьбы России должно было иметь это скромное появление в первопрестольной столице неведомой дотоле немецкой принцессы. Между тем оказалось, что в Москву прибыла представительница будущей славы России, державное воплощение забытого после Петра Великого русского государственного эгоизма. Постепенно знакомясь с новой обстановкой, усваивая себе все значение предстоявшей ей в России исторической роли, принцесса София пришла к заключению, что она не может относиться к русскому престолу с тем же чувством полного равнодушия, которое вызывал в ней великий князь Петр Федорович. Представлявшийся ей сначала неясно образ получал в ее уме с течением времени все более точный и осязательный облик, и, можно сказать, что с той минуты, как эта мысль созрела в уме будущей императрицы, она уже никогда более не расставалась с нею.

28-го июня (9-го июля) 1744 года совершено было в Москве миропомазание принцессы Софии-Фредерики — она стала русской великой княжной Екатериной Алексеевной, а на другой день, 29-го июня (10-го июля), последовало обручение ее с наследником русского престола. Бракосочетание торжественно отпраздновано было лишь в следующем году, 21-го августа (1-го сентября) 1745 года, в Петербурге. Затем прошло девять лет томительного ожидания, и только 20-го сентября (1-го октября) 1754 года великая княгиня разрешилась от бремени сыном, нареченным Павлом. Событие это, нетерпеливо поджидавшееся, тщательно подготовленное и радостно встреченное двором и всем русским

обществом, совершилось в Летнем дворце в Петербурге. Явился, наконец, видимый залог упрочения нового порядка вещей, начавшегося с воцарения императрицы Елизаветы Петровны; действительно, могло казаться, что отныне позволительно рассчитывать на некоторое обеспечение правильного наследования престола и на прекращение дворцовых переворотов, омрачавших собою русскую историю со времени кончины великого преобразователя. Поэтому неудивительно, что надежды русских людей того времени на лучшее будущее сосредоточились с 1754 года на колыбели великого князя Павла Петровича.

Историк Екатерины II, останавливаясь на рассматриваемом нами событии, справедливо замечает: «В данном случае это не была семейная радость — это было политическое событие, полное государственного значения. Елизавета Петровна могла теперь спать спокойнее: образ дитяти-императора Ивана III заслонялся колыбелью новорожденнаго великаго князя; младенец, покоившийся в этой колыбели, являлся опорою трона, не только ограждавшею его от случайностей, но, в случае крайности, представлявшею угрозу своему отцу. Этими соображениями вполне объясняется восторг, возбужденный рождением первенца у великой княгини»[1].

По существу, событие 20-го сентября подверглось впоследствии в русской историографии различным толкованиям; мы же удовольствуемся здесь заметить: явился сын Минервы, и предадим забвению печальную память о его отце. Но в 1754 году никто или, может быть, весьма немногие из современников, могли подозревать, что матерью новорожденного великого князя была Минерва, которой вскоре было суждено стать русской самодержавной императрицей. Одно не подлежит сомнению, что появление Павла Петровича сразу создало между Екатериною и Россией новую связь, с которой через несколько лет приходилось уже считаться государственным дельцам того времени, а затем, под влиянием понятного нерасположения к наследнику престола, зародилась екатерининская партия, не лишенная ко времени кончины Елизаветы Петровны некоторого значения.

---

[1] В.А.Бильбасов. «История Екатерины Второй». Спб., 1890 г., т. 1-й стр. 275.

Событие 20-го сентября сопровождалось лично для Екатерины большим горем, а именно — полным отчуждением новорожденного великого князя от матери. Императрица Елизавета Петровна, как только прочтены были духовником ее установленные молитвы, взяла к себе маленького Павла, ревниво оберегая с этой минуты свои попечения о нем от всякого вмешательства или даже участия со стороны матери. Екатерина брошена была одна без всякой помощи и малейшего призрения, и все это совершилось в то время, когда двор утопал в радости, а за ним собиралась ликовать и вся Россия; новорожденный младенец всецело овладел вниманием двора, что же касается матери, то она сделала свое дело, и все о ней позабыли. Это грубое пренебрежение к ней глубоко огорчило Екатерину и никогда не изгладилось из ее памяти.

25-го сентября происходили крестины великого князя Павла Петровича в придворной церкви Летнего дворца[1]. По окончании церемонии императрица посетила великую княгиню и принесла ей на золотой тарелке указ кабинету о пожаловании 100.000 рублей. Деньги очень обрадовали Екатерину, так как, по собственному ее признанию, она имела пропасть долгов и ни копейки денег. Но радость ее была непродолжительна: через несколько дней по получении ею денег барон Черкасов стал умолять великую княгиню возвратить 100.000 рублей кабинету, потому что императрица требует денег, а в кабинете нет ни копейки. Екатерина не замедлила отослать деньги и объясняет в своих записках загадку следующим образом: «Великий князь, узнав, что я

---

[1] В описании торжества, бывшего при дворе во случаю рождения и крещения великого князя Павла Петровича, читаем, что 21-го сентября «поутру отправляемо было всем духовенством торжественное благодареное молебствие, а к вечеру паки были приносимы от всех его императорскому высочеству великому князю нижайшие поздравления, и того же дня обретающемуся здесь римско-императорскому послу графу Эстергазию сделано о сем формальное уведомление через обер-церемониймейстера графа Сантия, с таким присовокуплением, что ее императорское величество, наша августейшая самодержица, всевысочайше намерена обоих римско-императорских величеств пригласить быть обще с ее величеством восприемниками новорожденному великому князю»... А 25-го сентября «священнодействие святого крещения отправлял ее императорского величества духовник протопресвитер Дубянский, а высочайшей восприемницей ее императорское величество быть изволила, представляя при том же и их величества римского императора и императрицу-королеву».

Записки Порошина. С.-Петербург. 1881 (изд. 2-е). Стр. 597 и 599.

получила от императрицы подарок, ужасно разгневался, отчего ему ничего не дали. Он с горячностью говорил об этом графу Александру Шувалову; тот пересказал императрице, которая немедленно повелела выдать великому князю такую же сумму, какую я получила; для этого и заняли у меня деньги»[1].

После крестин Павла Петровича до великого поста беспрерывно следовали празднества: обеды, балы, маскарады, фейерверки. Они имели место при дворе, а также в домах знатнейших особ. Особенно выделился костюмированный бал у Ивана Ивановича Шувалова, продолжавшийся 48 часов.

Скажем здесь также несколько слов о великолепном фейерверке, который был сожжен в день крестин великого князя.

Россия была представлена на коленях перед жертвенником с надписью внизу: «Единаго еще желаю». Потом явилось с высоты на легком облаке окруженное великим сиянием Божье Провидение с новорожденным принцем на пурпуровой бархатной подушке, с надписью: «Тако исполнилось твое желание». Надпись, обращенная к Елизавете, гласила:

«И так уж Божия десница увенчала,
Богиня, все, чего толь долго ты желала».

Только на сороковой день после родов Екатерина впервые увидела своего сына и пишет: «Je le trouvai fort beau, et sa vue me réjouit un peu». Но по совершении очистительной молитвы государыня велела тотчас снова унести младенца к себе.

Императрица поместила новорожденного в своих покоях и, как замечает Екатерина в записках, «прибегала к нему на каждый крик его; излишними заботами ребенка буквально душили. Его поместили в чрезвычайно жаркой комнате, в фланелевых пеленках, в колыбели, обитой мехом черных лисиц; покрывали его стеганым на вате атласным одеялом, сверх которого постилали другое одеяло из розоваго бархата,

---

[1] По свидетельству Екатерины, деньги были ей возвращены в январе следующего 1755 года. Между тем в «С.-Петербургских Ведомостях» 1754 года напечатано было, что императрица подарила на крестины великому князю Петру Федоровичу 100.000 рублей, а великой княгине 100.000 рублей и сверх того брильянтовый убор на шею и серьги. По поводу последних драгоценностей Екатерина пишет, что они были так плохи, что она постыдилась бы подарить их своей камерфрау.

подбитаго мехом черных лисиц. Впоследствии я сама много раз видала его таким образом уложеннаго; пот выступал у него на лице и по всему телу, вследствие чего, когда он несколько подрос, то малейшее дуновение воздуха причиняло ему простуду и делало его больным. Кроме того, он окружен был множеством старушек, лишенных всякаго смысла, которыя своим неуместным усердием причиняли ему несравненно более физического и нравственного зла, нежели добра».

Итак императрица Елизавета Петровна, окружив Павла своей неразумной заботливостью, испортила с первых дней его жизни физическое здоровье ребенка. Поправить причиненное зло оказалось впоследствии невозможным; у Павла появились нервность, чрезмерная раздражительность, принесшие со временем горькие плоды.

На Екатерину в этом отношении не падает никакой ответственности; меры, принятые со стороны императрицы, препятствовали ей быть матерью и руководить первыми шагами своего первенца, причем ничего не было упущено, чтобы довести взаимное отчуждение до степени как бы нормальной привычки. Екатерина могла только украдкой узнавать о положении своего ребенка, потому что всякие вопросы о нем могли быть истолкованы в смысле сомнения в заботливости императрицы. Наконец, для полной характеристики этой безотрадной семейной картины, достаточно упомянуть, что только в конце царствования императрицы Елизаветы Петровны Екатерина получила дозволенние видеть сына раз в неделю. А раньше того было еще хуже. Когда весною 1755 года великокняжеский двор собирался переехать в Ораниенбаум, императрица разрешила Екатерине перед отъездом взглянуть на сына; по счету это было в третий раз после его рождения. Великая княгиня нашла несчастного ребенка по-прежнему в удушливой жаре и при известной уже нам обстановке.

Припомним здесь еще один характерный факт из той же области попранных материнских чувств. Когда разыгралась Бестужевская история и Екатерина, опечаленная гневом императрицы, выразила желание удалиться в Германию, то вице-канцлер граф М. Л. Воронцов заговорил о ее детях[1];

---

[1] 9-го декабря 1757 года Екатерина разрешилась от бремени дочерью Анной; ею так же, как и Павлом Петровичем, завладела императрица.

Великая княжна Анна Петровна умерла 7-го марта 1759 года и была похоронена в Невской лавре.

великая княгиня возразила графу, что она лишена утешения бывать с детьми и не может их видеть без особого разрешения императрицы, поэтому для нее безразлично жить — ли от них в расстоянии ста шагов или ста верст.

Отчуждение от детей побудило пытливый ум Екатерины все более критически относиться к окружавшей ее обстановка, о чем встречается признание в ее записках уже во время, непосредственно следовавшее за рождением Павла Петровича. «Я начала видеть многое в черном свете, — пишет Екатерина, — и отыскивать в предметах, представлявшихся моему взору, причины более глубокия, отражающия в себе разнообразные интересы».

Таким образом, печальная семейная обстановка широко раскрывала перед Екатериной политическое поприще, на котором ей предстояло приобрести в будущем неувядаемые лавры. Теперь начались подготовительные к тому работы; Екатерина путем чтения старалась усвоить себе недостающие знания и опыт, чтобы всецело познать свое новое отечество, с которым она, в противоположность мужу, вполне сроднилась.

Для верной оценки отношений Екатерины к великому князю Павлу Петровичу все эти обстоятельства требуют особенного внимания со стороны исторического исследователя. Между тем потомство в лице добродетельных историков нередко склоняется к обвинению Екатерины в бессердечии и отсутствии нежных материнских чувств к сыну. Справедлива ли подобная точка зрения? Спрашивается, напротив того, откуда же им было взяться, этим нежным чувствам, если ко всем горестям супружеской жизни Екатерины присоединилось впоследствии еще неотразимое влияние трагических событий 1762 года? По воцарении Екатерины с ее стороны делались несомненные попытки к сближению, как это мы увидим ниже, но неумолимый рок приводил ее старания ко все более непоправимому разладу. Пропасть между матерью и сыном в продолжение 34-х лет раздвигается все шире, и порою в этой непрерывающейся трагедии являются моменты, поражающие своим высоким драматизмом.

Есть чем вдохновиться будущему русскому Шекспиру. Художественная кисть его нарисует нам эти потрясающие картины нашего прошлого и раскроет перед зрителями внутренний смысл событий; тогда станет понятным таинственное звено, связывающее между собою самые, по-види-

мому, разнородные явления, логически вытекающие одно из другого. Но до этого еще далеко! Пока приходится довольствоваться одним туманным очерком этого далекого прошлого, в котором лишь мимолетно проглядывает едва уловимый проблеск солнца. Мы, со своей стороны, можем только подходить к истине, и не нам суждено вступить в обетованную землю полной исторической правды.

II

Первые годы детства великий князь Павел Петрович, лишенный всякой родительской ласки, провел, как выше замечено, окруженный нянюшками и мамушками, действовавшими в духе старозаветных русских традиций. Вероятно, обеспокоенные частыми появлениями императрицы, приставницы добились того, что Павел, при одном взгляде на нее, приходил в испуг и трясся всем телом, вследствие чего Елизавета Петровна стала лишь изредка посещать внука. Надзор за ребенком от этого, конечно, не выиграл, да и вообще он оставлял желать многого. Достаточно следующего примера: однажды Павел выпал из колыбели, и никто не заметил этого; только утром увидели, что великий князь лежит на полу и крепко почивает.

Для верной оценки последующей жизни Павла Петровича нельзя упускать из виду, что младенческие годы его в изобилии преисполнены были болезненными припадками, которые настоятельно требовали разумного и просвещенного ухода, а таковой именно блистал своим отсутствием. Вследствие этого нервы мальчика расстроились до того, что он прятался от страха под стол, когда сильно прихлопнут дверьми.

Отсюда видно, что медицинский надзор был не лучше прочего, а между тем, ввиду частого расстройства пищеварительных органов, которым страдал Павел Петрович с малых лет, было над чем поработать разумному врачу; эти явления, как дознано наукой, приводят к расстройству воображения и к неестественной напряженности, что и оправдалось в достаточной мере последующей жизнью великого князя. В действительности для поправления замеченных недостатков не было ничего сделано, а, напротив того, продолжали даже, по неразумию, расстраивать здоровье маленького Павла несоблюдением самых основных диети-

ческих правил.[1] На бумаге же все обстояло более чем благополучно, и лейб-медик Павел Захарович Кондоиди беспрепятственно упражнялся в писании донесений императрице вроде нижеследующего: «Благовернаго государя великаго князя Павла Петровича вседражайшее здоровье, Господу споспешествующему за молитвами вашего императорскаго величества, продолжается саможелательно и во всем благополучно».

Когда великому князю Павлу Петровичу минуло четыре года, императрица вверила его воспитание Федору Дмитриевичу Бехтееву, бывшему поверенному в делах при версальском дворе.[2] По свидетельству Порошина, записавшего рассказы Павла о его детстве, великий князь в ожидании прибытия Бехтеева «очень боялся, думал, что наказывать будет». Опасения его не оправдались: женское царство, окружавшее Павла, удержалось и при Бехтееве, который никого не тронул. С великим князем по-прежнему обедали бедные дворяне, жившие при дворе: Иван Иванович Ахлебинин, Савелий Данилович Титов и мамушка Анна Даниловна Титова; нянюшки прислуживали.

В первый же день по принятии должности Бехтеев посадил своего воспитанника учиться грамоте. Для облегчения дела за стол сели также Иван Иванович, Савелий Данилович и Анна Даниловна и притворились, что не умеют грамоте. Благодаря этой уловке трудные шаги первоначального обучения обошлись, по-видимому, без плача и рыданий.

При Бехтееве последовало, однако, одно нововведение: Павел Петрович перестал носить детское платье и впервые надел парик; новый же кафтан няня предварительно окропила святой водой.

Нельзя также умолчать о следующем воспитательном приеме Бехтеева: о поведении и всех поступках великого князя нарочно печатали особые ведомости и давали ему для прочтения, уверяя его, что их рассылают по Европе.

Императрица Елизавета Петровна не удовольствовалась, однако, назначением Бехтеева и в 1760 году выбрала для

---

[1] В детстве великого князя наказывали тем, что кормили его молочным, вредно действовавшим на его желудок; затем принялись за другую крайность, заставляя его есть много мяса, от чего у него делалась рвота.

[2] 19-го октября 1758 года Бехтеев был назначен церемониймейстером. Он умер в 1761 году.

воспитания внука нового руководителя, Никиту Ивановича Панина, генерал-поручика и действительного камергера. 29-го июня 1760 года Никита Иванович назначен был обер-гофмейстером при великом князе Павле Петровиче, и с той поры водворились новые порядки. Женский персонал вполне восчувствовал приближавшуюся грозу и постарался заблаговременно порядком напугать впечатлительного великого князя и вооружить его против Панина.

«Плакивал прежде за месяц еще до определения его, по рассказам мам, — пишет Порошин. — Потом, как у государыни Никита Иванович обедал, (его высочество) подсылал подсмотреть его; сказали, что парик с узлами и старик угрюмый.[1] Поехали в Петергоф. 2-го июня великий князь был у государыни и сам-друг с нею стоял на галерее, что в Петергофе, между дворцом и церковью. Вдруг увидел (великий князь), что идет старик в парике, в голубом кафтане, с обшлагами желтыми, бархатными и заключил, что это Никита Иванович, и неописанно струсил, для того, что уже разсказано было, что как скоро он определится, то не будет допускать ни Матрену Константиновну, ни других женщин, и все веселости отнимут»[2].

После этого весьма естественно, что появление Панина у великого князя сопровождалось нескончаемым плачем испуганного мальчика. Первое свидание произошло следующим образом: великий князь сидел за столом и с ним, по обыкновению, Матрена Константиновна, Анна Даниловна, Савелий Данилович, Иван Иванович и проч. Вдруг растворились двери. Вошел Иван Иванович Шувалов, а за ним граф Михаил Ларионович Воронцов и Никита Иванович Панин. Шувалов и Воронцов объявили, что Никита Иванович пожалован к его высочеству обер-гофмейстером. «Покатились в три ручья слезы, и ничего не кушал, — пишет Порошин. Панин удалился, а великий князь отрапортовался больным. Через полчаса опять встал. Слезы несколько унялись. Вошел опять Никита Иванович и заставил играть великаго князя в волан. Он несколько успокоился, когда увидел, что Матрена Константиновна и прочие еще не удалены. Поутру повел его Никита Иванович гулять. Сел

---

1 Н.И. Панину в это время было только 42 года. Он родился в 1718 году, 15-го сентября.

2 Записки Порошина. С.-Петербург. 1881.

обедать опять с Матреной Константиновной. Никита Иванович и Павел Захарьевич Кондоиди, медик, стояли у окошка и тихонько разговаривали. Великий князь все косился и похныкивал. Как встал, то в первый раз сегодня Никита Иванович приказал, чтобы его высочество во рту пополоскал у себя: взявши воды в рот, проглотил великий князь, потом кой-как научился и полоскал». Когда Панин посадил великого князя писать, опять возобновились слезы. После прогулки в линейке сели ужинать с его высочеством Никита Иванович, Кондоиди, Фузадье[1] и Ф. Д. Бехтеев. «Вот уже другая компания. Его высочество полил опять горькие слезы; переплакавшись, спросил его высочество у Никиты Ивановича: «Для чего Ивана Ивановича и Савелия Даниловича нет тут за столом по-прежнему?». Никита Иванович ответствовал только, что «не должно». Опять его высочество заплакал. Великий князь, увидя в дверь Мавру Ивановну, приказал было для нее подать прибор, но Никита Иванович запретил. Слезы пошли; со слезами из-за стола встал, со слезами и в постелю лег. На третий день повел Никита Иванович гулять великаго князя по саду. Там встретил его высочество многих придворных дам и кавалеров и гулял долго, поразвеселился было несколько. Но как пришел домой, увидел, что большой стол накрыт, и многие из гулявших с ним по саду кавалеров у стола поставлены, то взвыл почти во весь голос: не привык (он) в такой компании кушать. После стола гулял с оными кавалерами, не могли они развеселить его.

Педагогическая деятельность Панина подверглась со временем многообразной оценке. Однако, нельзя не признать, что выбор, сделанный императрицей, был наилучший, который она могла только сделать в то время. Панин бесспорно принадлежал к числу достойнейших и образованнейших русских людей Елизаветинского царствования: он много путешествовал, занимал место посланника в Копенгагене, а затем полномочного министра в Стокгольме, но после падения Бестужева он, как ставленник канцлера, был отозван в Петербург. Елизавета Петровна давно знала Панина и когда-то была даже к нему неравнодушна, поэтому она вновь приблизила Панина ко двору и доверила ему воспитание внука.

---

[1] Вилим Вилимович, лейб-хирург.

В одной исторической рукописи встречается следующая характеристика Панина:

«Это был красивый, статный царедворец, 23-х лет он был сделан камер-юнкером, 29-ти — камергером. Всю свою жизнь, от юных лет до самой смерти, он провел в придворной атмосфере, причем около тринадцати лет состоял по дипломатической части. Всегда приветливый и любезный со всеми, мягкий по манерам, вежливый в обращении, он легко снискивал себе уважение придворных сфер, своих и чужих. Ни резкое слово, ни грубое движение никогда не обличало его. По образованию он стоял выше многих современников: многолетнее пребывание за границей и служба среди иноземных людей, к тому же дипломатов, обогатили его многими познаниями, особенно драгоценными для русскаго человека того времени... Придворная сфера, как известно, не вырабатывает характеров, а Никита Иванович и по природе своей был скорее податливаго, чем твердаго нрава... Как царедворец, предпочитал плыть по течению и примиряться с fait accompli. Инициативой он не отличался, великих идей не провозглашал и оставил по себе добрую память высокообразованнаго советника и безукоризненно честнаго человека».

По вступлении в должность Панин представил императрице записку под заглавием: «Всеподданнейшее предъявление слабого понятия и мнения о воспитании великого князя Павла Петровича». В ответ на эту записку императрица прислала Инструкцию, помеченную 1761 годом, в которой мысли, высказанные Паниным в записке, одобрялись, и вместе с тем утверждались испрашиваемые им полномочия[1].

Назначение Панина было последним распоряжением императрицы Елизаветы Петровны в деле воспитания великого князя Павла Петровича.

Припоминая впоследствии свои младенческие годы в разговорах с Порошиным, великий князь с особенною любовью отзывался об императрице Елизавете Петровне, хотя

---

[1] См. в приложениях записку Н.И. Панина 1760 г. и инструкцию, данную ему в 1761 г.; последняя, вероятно была сочинена Бехтеевым, потому что была найдена в его бумагах.

в последние годы ее царствования он встречался с нею редко, императрица посещала внука в год раз или два[1].

В конце 1760 года в один из праздников был бал, на котором великий князь Павел Петрович танцевал в присутствии императрицы; затем государыня разговаривала с ним с четверть часа, что, как пишет Порошин, «его высочество за особливую почел милость и очень рад тому был, для того, что сие редко случалось»[2].

Нельзя не упомянуть здесь таже о случаях, свидетельствующих о необычайной остроте ума шестилетнего Павла, некоторые из них прямо поразительны. Так, например, когда 20-го сентября 1760 года великому князю откланивался Александр Борисович Бутурлин, отправлявшийся в армию, Павел Петрович сказал: «Петр Семенович Салтыков поехал мир сделать и миру не сделал, а этот теперь, конечно, ни миру, ни войны не сделает». Однажды во время урока разбирались события древней истории, причем оказалось, что из тридцати государей того времени ни одного не было хорошего. В это время от императрицы принесли пять арбузов. Стали их разрезывать: четыре были негодны, один только годен. Великий князь сказал: «Вот из тридцати государей не было ни одного хорошаго, а из пяти арбузов хотя один сыскался хороший». На вопрос, сделанный великому князю некоторыми из придворных о других двух придворных кавалерах (в их присутствии), который из них ему больше нравится, Павел Петрович отвечал, что он обоими очень доволен, несмотря на все старания нескромных вопрошателей, они другого ответа не добились. Когда же они удалились, великий князь заметил: «Что это им сделалось, что при них спрашивают меня, чтобы я сказал настоящее свое о них мнение? Либо вопросители глупы, либо меня они за дурака почитают?».

Появление Панина положило конец одной забаве Павла Петровича: нередко для развлечения его собирали лакеев, и

---

[1] *Порошин в этом месте записок (стр. 613) прибавляет:* «Нынешняя государыня езжать к нему изволила довольно часто». Эти строки написаны им в 1764—1765 гг.

[2] Граф Мерси Аржанто в депеше от 11-го октября 1761 г. упоминает о поразившей всех нежности, которую императрица Елизавета Петровна высказала однажды явно в театре великому князю Павлу Петровичу. Внимание императрицы к внуку должно было, вероятно, служить предостережением отцу. (Historishe Zeitschrift, 1876, Heft 4).

великий князь заставлял их по комнате маршировать. Очевидно, отцовские наклонности заявили о себе довольно рано и находили удовлетворение в неуместной игре, кончавшейся иной раз тем, что лакеи строем торжественно направлялись в кухню за кушаньем. К сожалению, дальнейшая борьба дипломата-воспитателя с наследственною «militaire marotte» была менее успешна и уподобилась толчению воды. Панину не удалось искоренить, а разве только временно умерить порывы своего воспитанника к этим занятиям, да и то, благодаря обстановке, водворившейся уже в царствование Екатерины и нисколько от Никиты Ивановича не зависевшей; когда же, со временем, цесаревич приобрел некоторую самостоятельность в действиях, то сдержанные некогда экзерцирмейстерские увлечения расцвели пышным цветом, который привел бы в восторг самого Петра Федоровича.

Екатерина, по свидетельству ее историка, обрадовалась назначению Панина воспитателем сына. «Пустота, образовавшаяся по изгнании Бестужева, теперь заполнена. Панин — Бестужев № 2-й; он умен, сообразителен, осторожен; с ним можно говорить о государственных делах; он не введет в беду, напротив — остережет при случае. Разговоры Екатерины с Паниным касались, конечно, и будущаго, причем выяснилось, что Панин против Петра Федоровича, но не за Екатерину, а за Павла Петровича».

III

С 1761 года здоровье императрицы Елизаветы Петровны сильно пошатнулось; болезненные припадки все учащались, повергая царедворцев в уныние и страх. Печальная развязка последовала скорее, чем ожидали: 25-го декабря 1761 года (5-го января 1762 года), в половине четвертого часа пополудни, «Богу угодная ея душа от тела разлучилась» — в таких выражениях возвещено было о кончине императрицы Елизаветы Петровны в особом прибавлении к «С.-Петербургским Ведомостям». «Весь двор наполнился плачем и стенанием»[1].

---

[1] Прибавление к № 104 «С.-Петербургских Ведомостей» 1761 года 28-декабря: «Краткое описание болезни и кончины ея величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, вечныя славы достойныя памяти, и благополучнаго на престол восшествия его величества государя императора Петра III.» — Статья написана Дмитрием Васильевичем Волковым, тайным секретарем Петра III.

Французский посланник Бретэль писал, что Елизавета Петровна, умирая, умоляла своего племянника жить в согласии со своею супругой и заботиться о малолетнем Павле. Петр не исполнил предсмертного наставления императрицы, хотя и обещал, как говорят, поступать согласно воле своей благодетельницы.

О царственном узнике, несчастном Иоанне Антоновиче, конечно, никто из современников кончины Елизаветы Петровны не упоминает; возможно, однако, предположение, что воспоминание о приснопамятной ночи 25-го ноября 1741 года не раз тревожило дух умиравшей императрицы; подобные мысли становились еще более тягостными и по другим причинам: Елизавета Петровна отлично сознавала, в какие руки, после ее кончины, должна была перейти Российская держава. Императрица давно уже успела оценить по достоинству своего племянника, окончательно потеряла всякую надежду на изменение его к лучшему и питала к нему искреннюю ненависть.

По этому поводу Екатерина оставила нам, в своих записках, заметку, правдивость которой не подлежит сомнению.

«Насчет племянника своего она была совершенно одинаковых со мною мыслей, — пишет Екатерина, — она так хорошо знала его, что нигде не могла провести с ним четверти часа без отвращения или гнева или огорчения. У себя в комнате, когда заходила о нем речь, она, говоря о нем, заливалась слезами по поводу несчастия иметь такого наследника либо, отзываясь о нем, обнаруживала свое презрение к нему и часто наделяла его эпитетами, которых он вполне заслуживал»[1].

В особой собственноручной записке Екатерины, служащей дополнением к ее воспоминаниям, читаем еще следующее:

«Последния мысли покойной императрицы Елисаветы Петровны о наследстве точно сказать не можно, ибо твердых не было. То не сумнительно, что она не любила Петра III, и что она его почитала за неспособнаго к правленнию, что она знала, что он русских не любил, что она с трепетом смотрела на смертный час и на то, что после нее происходить

---

[1] Екатерина приводит в «Записках» из переписки Елизаветы два выражения насчет Петра, достаточно свидетельствующих о степени ее нежных чувств. Например, «проклятый мой племянник мне досадил, как нельзя более», или «племянник мой — урод, черт его возьми».

может; но как она во всем имела решимости весьма медлительныя, особливо в последние годы ее жизни, то догадываться можно, что и в пункте наследства мысли более колебались, нежели что нибудь определительное было в ея мыслях. Фаворит же Иван Иванович Шувалов... быв убежден воплем множеством людей, кои не любили и опасалися Петра III, за несколько времени до кончины ея императорскаго величества мыслил... переменить наследство, в чем адресовался к Никите Ивановичу Панину, спрося, что он о том думает, и как бы то делать, говоря, что мысли иныя клонятся, отказав, и высылая из России великаго князя с супругою, сделать правление именем царевича, которому был тогда седьмой год; что другие хотят лишь выслать отца и оставить мать с сыном, и что все о том единодушно думают, что великий князь Петр Феодорович не способен, и что, кроме бедства, покоряяся ему, Россия не имеет ожидать. На сие Никита Иванович Панин ответствовал, что все сии проекты суть способы к междоусобной погибели, что... переменить без мятежа и бедственных средств не можно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено. Никита Иванович о сем мне тотчас дал знать, сказав мне притом, что больной императрице если б представили, чтобы мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может[1]. Но к сему, благодаря Богу, фавориты не приступили, но, оборотя все мысли свои к собственной их безопасности, стали дворовыми мыслями и происками стараться входить в милости Петра III, в коем отчасти и предуспели.

А он о сей грозящей ему туче и никогда и не сведал, ибо он не молчалив был и, конечно, те, кои бы захотели его остерегать в том или в другом из верности к нему, были бы жертвою его нескромности, коя наипаче тогда опасна была, когда он из-за стола вставал; по пословице русской: у пьянаго на языке, что у трезваго на уме».

---

[1] По поводу этого эпизода В.А. Бильбасов («История Екатерины II», т.1, стр. 403) пишет: «Потерял ли бывалый Шувалов настолько голову в момент болезни Елисаветы Петровны, чтобы так легкомысленно откровенничал со своим врагом, Паниным, зная наперед, что получит от него в ответ категорический отказ с указанием на долги присяги, или осторожный Панин вложил в уста всесильнаго фаворита свое личное мнение, — все равно: остается несомненным, что еще при жизни Елисаветы Петровны Екатерина обсуждала уже с Паниным вопрос о своем будущем положении».

При отсутствии всяких повелений со стороны императрицы Елизаветы Петровны, все недоумения должны были разрешиться на законном основании, хотя несомненно, что никогда еще наследник престола не пользовался менее народною любовью. Петр III был провозглашен императором, и ему беспрепятственно присягнули; начался кратковременный, но оригинальный период шестимесячного его правления.

С.М. Соловьев в «Истории России», по поводу воцарения Петра III, пишет: «Большинство встретило мрачно новое царствование: знали характер нового государя и не ждали ничего хорошаго. Меньшинство людей, обещавших себе важное значение в царствование Петра III, разумеется, должно было стараться рассеять грустное расположение большинства, доказывать, что оно обманывается в своих черных предчувствиях».

Великая княгиня Екатерина Алексеевна, хотя и сделалась императрицей, но положение ее среди нового двора стало еще хуже, чем при Елизавете Петровне. Что же касается великого князя Павла Петровича, то с первого же дня правления Петра III более чем равнодушное к нему отношение отца могло наводить на печальные размышления. Имя великого князя Павла, как законного наследника, не было включено в форму клятвенного обещания, в котором сказано было: «Клянусь... его императорскому величеству... и по нем по самодержавной его величества императорской власти и по высочайшей его воле избираемым и определяемым наследникам... верным подданным быть». Очевидно, что Петр III не желал себе связывать рук и потому предпочел действовать в духе дедовской «правды воли монаршей». Но, по свойственной Петру Федоровичу непоследовательности, рядом с этим преднамеренным умолчанием о законном наследнике с 27-го же декабря в церквах на эктениях молились о благочестивейшей великой государыне нашей императрице Екатерине Алексеевне и о благоверном государе цесаревиче и великом князе Павле Петровиче.[1]

---

[1] «Полное собрание законов», № 11.394, декабря 27-го 1761 года: форма церковным вознощениям. Таким образом оказывается, что титул цесаревича был пожалован Павлу его отцом в довольно оригинальной форме; особого указа об этом не существует. Однако, наследником Павел Петрович не назван даже и в церковном возношении.

Раз этот шаг был сделан, то и в упомянутую выше официально статью «С.-Петербургских Ведомостей» от 28-го декабря включено было соответствующее рассуждение. Оно заключалось в следующем:

«Но того никогда прямо изобразить невозможно, коль велико всеобщее сожаление о кончине ея величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, вечной славы достойныя памяти, каково искренно усердие всех верноподданных к его императорскому величеству, ныне благополучно государствующему, и к ея величеству государыне императрице, также и к его императорскому высочеству государю цесаревичу и великому князю, и как их величества, разделяя общую печаль и изливая на всех щедроты и благодеяния, плененныя уже сердца ободряют».

Подобный оборот дела должен был временно несколько успокоить Екатерину, нисколько не обеспечивая в будущем императрицу и цесаревича от каких-либо новых козней.

Прошли уже давно те времена, когда в случае каких-либо затруднений Петр Федорович поспешно прибегал за советом к великой княгине, недаром он в ту пору называл Екатерину madame la Ressource. Со своей стороны, Екатерина долгое время старалась, по возможности, скрыть и сгладить неуместные выходки и предосудительное поведение великого князя. Отныне же каждый действовал уже сам по себе, преследуя свои личные цели, и соглашение на каких бы то ни было основаниях сделалось окончательно невозможным. Семейная драма, длившаяся уже много лет, приняла теперь трагический оборот и, благодаря невменяемости главного действующего лица, стала быстро приближаться к печальной для него развязке.

Что же сделал Петр III по вступлении на престол? В этом отношении он вполне оправдал мнение о нем своих недоброжелателей и привел в трепет друзей. Действительно, с первого же дня царствования Петр III начал усердно работать в пользу Екатерины, нисколько не подозревая, какой подвиг он совершает для будущего блага Русской земли. Обратимся прежде всего к автобиографической записке Екатерины, относящейся к событиям первых недель Петровского правления, в которой собрано множество драгоценных черт для уяснения полной политической несостоятельности ее державного супруга.

Во время первого же молебна в придворной церкви и присяги поведение Петра III превзошло всякое вероятие. По

словам Екатерины, «сей был вне себя от радости и оной нимало не скрывал и имел совершенно позорное поведение, кривляясь всячески и не произнося, кроме вздорных речей, не соответствующих ни сану, ни обстоятельствам, представляя более смешнаго арлекина, нежели иного чего, требуя, однако, всякаго почтения». В тот же вечер состоялся веселый ужин «в куртажной галерее персон на полтораста». Этот ужин послужил началом нескончаемых пирушек либо во дворце, либо у знатных особ. Как и следовало ожидать, генерал-прокурор князь Шаховской был отставлен по его прошению и заменен А. И. Глебовым; перемена совершилась, едва только императрица Елизавета Петровна скончалась. По этому поводу Екатерина пришла к следующему заключению: «Ежели в первом часу царствования отставили честнаго человека, а не постыдились на его место возвести бездельника, чего ждать? Говорила я себе: твоей инфлюэнции опасаются, удались от всего; ты знаешь, с кем дело имеешь; по твоим мыслям и правилам дела не поведут; следовательно, ни чести, ни славы тут не будет, пусть их делают, что хотят. Взяв сие за правило своего поведения, во все шесть месяцев царствования Петра III я ни во что не вступилась, окромя похорон покойной государыни, по которым траурной комиссии велено было мне докладываться, что я и исполнила со всяким радением, в чем я и заслужила похвалу от всех».

Настал день похорон императрицы Елизаветы Петровны: 5-е февраля 1762 года. Рассказ Екатерины об этой печальной церемонии составляет любопытную страницу из ее воспоминаний о том времени; безрассудное поведение Петра III в этот день является венцом всех чудачеств, которыми он ознаменовал себя. За гробом шли пешком император, Екатерина, Скавронские, Нарышкины и прочие чины по рангам. «Император в сей день был чрезмерно весел, — пишет Екатерина, — и посреди церемонии сей траурной сделал себе забаву: нарочно отстанет от везущаго тело одра, пустя онаго вперед сажен тридцать, потом изо всей силы добежит; старшие камергеры, носящие шлейф епанчи его черной, паче же обер-камергер Шереметев, носящий конец епанчи, не могши бежать за ним, принуждены были епанчу пустить, и как ветром ее раздувало, то сие Петру III пуще забавно стало. Он повторял несколько раз сию шутку, от чего сделалось, что я и все за мною идущие отстали от гроба и наконец принуждены были послать остановить всю церемо-

нию, дондеже отставшие дошли. О непристойном поведении сем произошли многие разговоры не в пользу особе императора, и толки пошли о безразсудных его во многих случаях поступках».

Воцарение ознаменовалось рядом милостей: возвращены были из ссылки Бирон, Миних, Лесток, но для Бестужева не было ничего сделано. Затем начались реформы, но в задуманных преобразованиях на каждом шагу бросались в глаза поспешность, неполнота, необдуманность. Поэтому нельзя не согласиться с объяснением, которое С. М. Соловьев дает происхождению новых законоположений: «Люди приближенные, желавшие удержать за собою важное значение в новое царствование и естественно желавшие сообщить этому царствованию блеск, популярность и расселять мрачные мысли тех, которые знали, в чьих руках теперь судьбы России, — люди, приближенные к Петру, постарались внушить ему о необходимости принять некоторые меры, которые облегчат, обрадуют народ; в числе этих мер было и желаемое многими освобождение дворян от обязательной службы»[1].

Манифест о вольности дворянской обнародован был 18-го февраля 1762 года; это было необдуманное, скороспелое произведение пера Д. В. Волкова, написанное в одну ночь. «У всех дворян, — рассказывает Екатерина, — велика была радость о данном дозволении служить и не служить, и на тот час совершенно позабыли, что предки их службой приобрели почести и имения, которыми пользуются». К этому рассуждению нужно присовокупить другое, более существенное замечание, а именно, что манифест 18-го февраля вовсе не освобождал дворянство от телесного наказания, а между тем уже в проекте фундаментальных законов Ив. Ив. Шувалова, относящемся к царствованию Елизаветы Петровны, прямо сказано: «от безчестной политической казни дворянство освободить».[2]

---

[1] Достоверность рассказа князя Щербатова (в сочинении «О повреждении нравов в России») об обстоятельствах, сопровождающих составление этого манифеста Волковым, нередко оставалась. После критического разбора С.М. Соловьевым этого рассказа нальзя, кажется, более сомневаться в истине толкований князя Щербатова.

[2] «Русский Архив» 1867 года, стр. 85.

По мнению одного из панегиристов Петра III, манифест 18-го февраля «освобождал передовое сословие русскаго народа от зависимости, совершенно равной крепостному состоянию». М.И.Семевский: «Шесть месяцев из русской истории XVIII века. Очерк царствования императора Петра III». («Отечественные записки» 1866 года).

Большее право на признательность потомства Петр III приобрел изданием манифеста от 21-го февраля 1762 года о небытии впредь тайной канцелярии; всего важнее было то, что вместе с тем уничтожалось страшное «слово и дело», столько лет тяготевшее над Россией. Таким образом явилась неведомая дотоле в истории, хотя и слабая, гарантия личности каждого гражданина.

Существенная сторона этого манифеста заключалась в трех статьях:

«1) Тайная розыскных дел канцелярия уничтожается навсегда, а дела оной ныне будут взяты в сенат, но за печатью к вечному забвению в архив положатся.

2) Ненавистное изражение, а именно: слово и дело, не долженствует значить отныне ничего, и мы запрещаем не употреблять онаго никому.

3) Дела, буде иногда такя случатся, кои до сей канцелярии принадлежали б, смотря по важности, разсматриваемы и решены будут в сенате».[1]

Настоящим манифестом возлагалась также на сенат обязанность снабдить все судебныя, а паче отдаленных городов места таковыми инструкциями, на основании которых допрос, как доносителей, так и их свидетелей, обличаемых обходился бы сколько можно без пытки».

Манифест о вольности дворянской привел сенаторов в такой восторг, что сенат просил разрешения соорудить государю золотую статую. Петр Федорович имел счастливое вдохновение отказаться от этой почести. За лучшее же дело царствования, за уничтожение «слова и дела» со всем сопряженным с ними ужасом, кажется, никто и спасибо не сказал; оно вызвало скорее как бы недоумение, чем повсеместный восторг: до такой степени свыклись с многолетним укоренившимся злом.

---

[1] Екатерина II именным указом 19-го октября 1762 года, данным в Москве, повторила почти дословно распоряжение бывшего императора относительно тайной канцелярии, но вместе с тем ни слова не было сказано, что это именно повторение; напротив того, можно думать, что мы имеем дело с новым правительственным распоряжением. Вскоре, однако, феникс благополучно возродился из пепла, по крайней мере, до некоторой степени. Без всякого указа при сенате была учреждена тайная экспедиция, которой стали заведовать отныне генерал-прокуроры. Такой порядок продолжался и при Павле I до воцарении Александра. При Екатерине с 80-х годов Степан Иванович Шешковский, несмотря на зависимость и подчиненность генерал-прокурору, стал как бы главным распорядителем дел тайной экспедиции.

Следовавшие затем другие правительственные распоряжения вызвали уже прямой ропот; к числу таких указов принадлежит решение по делу об управлении архиерейских и монастырских вотчин, возбудившее сильное неудовольствие духовенства; это неудовольствие приобретало важное значение ввиду давней привычки Петра Федоровича преднамеренно оскорблять религиозное чувство православного народа. Еще будучи наследником, он, не стесняясь, выражал свое нерасположение к духовенству высовыванием языка священникам и диаконам во время богослужения. Сделавшись императором, он уже ничем не стеснялся и дал полную волю своим прихотям; поведение его в иных случаях становилось прямо возмутительным; он был рабом своих страстей. Вскоре последовало распоряжение о закрытии домовых церквей, а затем, призвав к себе архиепископа новгородского Димитрия Сеченова, первенствующего члена синода, император лично приказал ему, чтобы все образа, кроме образов Спасителя и Богогатери, были вынесены из церквей и чтобы священникам предписано было брить бороды и поповские рясы заменить пасторскими сюртуками! В народные массы стало проникать сознание, что император не русский, а престол занимает «немец» и «лютор». По замечанию В. А. Бильбасова, русские люди не только в столице, но и в провинции потеряли всякое доверие к правительству. Не было такой нелепости, такой лжи, которая не принималась бы на веру и не повторялась всеми.

Лишив себя поддержки духовенства, Петр III озаботился также, чтобы в одинаковой степени возбудить против себя войско.

Еще в царствование Елизаветы Петровны в Ораниенбауме появились голштинские войска. Слабость императрицы и низкопоклонство царедворцев, желавших задобрить в свою пользу наследника, дозволили пребывание на Русской земле иноплеменных войск. Таким образом Петру Федоровичу предоставлена была полная возможность проявлять свои экзерцирмейстерские дарования, а вместе с тем ему открывалось средство подготовить образец для преобразования русской армии в будущем на прусский лад. С кончиной императрицы настало это вожделенное время, и новый государь принялся за дело со свойственным ему неразумным увлечением.

Лейб-компания была распущена, в гвардии же прежняя, данная Петром Великим, форма была переменена на прус-

скую, и введены прусские экзерциции, которым войска обучались с утра до вечера. Начались ежедневные вахтпарады в присутствии императора. Чтобы избежать публичного выговора, русские фельдмаршалы и генералы держали у себя в доме молодого офицера и брали у него уроки в новой экзерциции. Последовал указ военной коллегии о переименовании конных и пехотных полков по именам шефов; таким образом уничтожен был исторически установившийся обычай присваивать им наименования провинций и губерний. Появился в Петербурге, в числе других голштинских родственников, дядя государя, принц Георг; он приобрел в гвардии первенствующее значение, был сделан фельдмаршалом и, не имея за собою никаких заслуг и дарований, возбудил против себя только общую ненависть. Предпочтение, оказываемое вообще голштинским офицерам и солдатам, оскорбляло всю русскую армию: унижена была не только гвардия, но в лице ее попрано было чувство народной гордости.

Как бы для того, чтобы окончательно возбудить против себя русское общественное мнение, Петр III, со свойственной ему проницательностью, придумал еще одно средство: внешнюю политику России сделать антинациональной. Ко времени кончины императрицы Елизаветы Петровны Пруссия изнемогала в начатой ею неравной борьбе: Фридрих Великий должен был уже готовиться к полному неизбежному крушению своих честолюбивых замыслов. Что же сделал Петр III? Пренебрегая союзниками России и существовавшими договорами, он заключил мир с Пруссией, возвратил ей без всякого вознаграждения все завоевания, добытые русской кровью, а заграничную армию отдал в распоряжение Фридриха Великого. Но этого было еще мало; Петр начал усиленно готовиться к войне с Данией, чтобы отвоевать у нее Шлезвиг для своей возлюбленной Голштинии. Таким образом России угрожала новая война, не обещавшая империи никаких выгод. Напрасно Фридрих Великий предостерегал своего друга от пагубных увлечений и указывал ему на необходимость короноваться; император отвечал, что он своим недоброжелателям задал столько работы, что им некогда заняться заговором, и что он совершенно спокоен. Хотя Петр говорил, что для него «воля Фридриха — воля Божья», но на этот раз он не внял дружескому предостережению.

Одно непредвиденное событие ускорило развязку. 9-го июня Петр III праздновал в Зимнем дворце заключение мира с Пруссией, и в этот день состоялся обеденный стол на 400 персон; приглашены были особы первых трех классов и иностранные министры. Император ознаменовал этот торжественный пир тем, что оскорбил Екатерину, назвав ее громогласно «дурой»; затем он приказал арестовать императрицу, но заступничество принца Георга спасло на этот раз Екатерину.

С этого дня Екатерина начала склоняться на предложения, которые были ей делаемы со времени кончины императрицы Елизаветы Петровны. Екатерина, оскорбленная как женщина и тревожная за будущность империи, от которой она не отделяла себя, решилась стать во главе движения, направленного против Петра III. Силой обстоятельств императрица была поставлена в положение не только законной самозащиты по отношению к себе лично, но и в положение защитницы своего сына.

После трехдневных торжеств, ознаменовавших собой заключение мира с Пруссией, Петр III с большим двором переселился 12-го июня в Ораниенбаум. Екатерина провела несколько дней одна в городе и только 17-го июня отправилась в Петергоф, оставив цесаревича Павла Петровича с гофмейстером Паниным в Петербурге в Летнем дворце. Заметим здесь, что Петр III и после воцарения продолжал выказывать к сыну обычное презрительное нерасположение и не обращал на него никакого внимания, почти не встречаясь с ним. По свидетельству княгини Дашковой, император выказывал полное равнодушие к Павлу, и Панину стоило большого труда, чтобы, при содействии Сальдерна и принцев голштинских, добиться присутствия императора при одном экзамене, сделанном цесаревичу. Уходя, государь громко сказал своим дядям: «Je crois, ma foi, que ce polisson en sait plus que nous». Петр намерен был пожаловать сына капралом гвардии, но Панину удалось, однако, отклонить эту награду под предлогом, что она возбудит тщеславие великого князя и даст ему повод подумать, что он уже взрослый человек. Взамен сына император вздумал наградить воспитателя и пожаловать ему чин полного генерала; Панин имел храбрость и со своей стороны отказаться от столь высокого военного отличия. После этого император заметил как-то: «Меня уверяли, что Панин умный человек: могу ли я теперь этому верить?» Тем не менее Никита

Иванович не остался без награды и сразу получил чин действительного тайного советника и андреевскую ленту.

Из современников этого царствования один Штелин упоминает о некотором внимании Петра III к цесаревичу. Навестив однажды великого князя и поцеловав его, государь сказал окружавшим: «Из него со временем выйдет добрый малый, пусть пока он остается под прежним надзором; но я скоро сделаю другое распоряжение и постараюсь, чтобы он получил иное, лучшее воспитание, военное вместо женского». Рассказ, приводимый Штелином, стоит одиноко среди множества противоречащих ему других свидетельств. О степени нежных чувств родителя к сыну можно судить с достаточным основанием по следующему распоряжению Петра III, последовавшему немедленно по воцарении. Императрица Елизавета Петровна назначила великому князю Павлу Петровичу содержание по 30.000 рублей в год; из этих денег накопилось ко времени кончины императрицы 120.000 рублей. Петр III немедленно наложил на них руку. Уже 4-го января 1762 года генерал-прокурор Глебов объявил высочайшее повеление эти деньги немедленно передать в комнату его величества. Подобное распоряжение для надлежащей его оценки не нуждается в толкованиях.

Переселившись, как выше упомянуто, в Ораниенбаум, Петр III продолжал там прежнюю петербургскую разгульную жизнь. По утрам проходили вахтпарады голштинских войск и всякие экзерциции и смотры, прерываемые вспышками неразумного гнева, а затем начинались шумные обеды, пьяные ужины, невоздержные речи, невозможные распоряжения. Во время этих попоек император, по своему обыкновению думать вслух, не стесняясь говорил о том, что решился освободиться от Екатерины. «C'est le règne de la folie; tout notre temps se passe à manger, boire et faire des folies», — сказал один из любимцев Петра III, шталмейстер Лев Александрович Нарышкин. Не менее красноречиво выразился английский министр Кейт в разговоре с графиней Брюс: «Знаете ли вы, что ваш император совсем сумасшедший; по крайней мере, не будучи таковым, нельзя поступать так, как он поступает».

Екатерина в своих записках справедливо замечает, что во всей империи самым злейшим врагом Петра III был он сам. «Человеку в здравом уме и твердой памяти невозможно даже понять то самодурное ослепление, в котором жил голштинский герцог, став русским императором, — пишет историк

Екатерины II. — Объяснять это частым опьянением Петра III нельзя: он бывал пьян только по вечерам, после ужина, и то не всякий день; его невежество само по себе не может еще служить ни оправданием, ни даже объяснением его поступков. Их, кажется, придется всецело отнести к несчастному сочетанию личных свойств Петра III с неограниченной властью, доставшейся ему по наследству. Тупой, упрямый, невоздержный, он, став самодержцем, искренно был убежден, что весь мир существует единственно для удовлетворения его желаний, капризов, прихотей. Он потерял способность правильно мыслить, стал действовать как самодур, и до последней минуты был ослеплен своей властью, ей только доверял, на нее только опирался».

В Петербурге все сознавали в ту пору, что живут накануне какого-то переворота. И в Москве чувствовали также нечто подобное. Достаточно припомнить, что пишет в своих записках князь Шаховской, бывший генерал-прокурор, удалившийся в Москву после увольнения от должности: «А хотя иногда происходящие тогда многие в публике о славном управлении и произведении государем императором Петром III государственных дел переговоры, также и от моих приятелей из Петербурга о малослыханных прежде и удивления достойных его поведениях уведомления, по истинной моей к отечеству любви, производили в духе моем сожалительные и печальные восчувствования, но я скоро те прогонял, несомненно веруя, что такие дела по воле и учреждению Всевышняго и предвидящаго все Правосудца происходить будут до определенного им времени, а не навсегда».

Однажды императрица Елизавета Петровна в минуту неудовольствия сказала Екатерине: «ты воображаешь, что нет человека умнее тебя». Теперь Екатерине представился случай доказать на деле, что она действительно умнее других; с редким искусством она принялась направлять все нити подготовлявшегося неизбежного переворота, выслушивала всех, не связывая себя никакими обещаниями, и окончательно дала всему желательную ей развязку.

Между тем в Петербурге получались из Ораниенбаума разные распоряжения, продолжавшие волновать население и возбуждавшие, по меньшей мере, изумление; что же касается слухов, то всякая нелепость принималась на веру и становилась на счет Петру III. Наконец, 25-го июня синод получил высочайший указ, по которому все вероисповедания объявлялись равноправными с государственной рели-

гией, обряды православной церкви отменялись, церковное имущество отбиралось в казну, а в заключение было сказано, «чтобы дать волю во всяких моих мерностях, и что ни будет от нас впредь представлено, не препятствовать».

Стараниями Петра III общее неудовольствие созрело, наконец, настолько, что наступило время для недержимого ничем проявления общественного мнения. «Большая ошибка думать, что в России нет общественного мнения, — пишет историк Екатерины II. — Вследствие того, что в России нет правильных форм для его выражения, оно проявляется неправильно, скачками, урывками, только в важные исторические моменты, но проявляется тем с большей силой и в формах тем более своеобразных. Петр III презирал русское общественное мнение, глумился нал ним и имел несчастие испытать на себе его страшную силу со всеми его роковыми последствиями».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Переворот 1762 года. — Коронация императрицы Екатерины Второй. — Болезнь цесаревича. — Порошин и его записки. — Шлюссельбургская нелепа.

I

28-го июня 1762 года, в час пополудни, Петр III с многочисленной свитой, в которой находилось семнадцать дам, отправился из Ораниенбаума в Петергорф, намереваясь обедать у императрицы в Монплезире. Но никто не встретил гостей: оказалось, что Екатерина в 5 часов утра уехала в Петербург.

Между тем в столице совершилось событие великой важности: Екатерина провозглашена была самодержавной императрицей, и в это время она успела уже принять в Зимнем дворце присягу своих верноподданных, с восторгом стекавшихся в ней со всех сторон.[1] Екатерина немедленно вызвала к себе из Летнего дворца цесаревича Павла Петровича. Тогда-то блистательно оправдалась предусмотрительность императрицы, оставившей цесаревича в Петербурге после своего отъезда 17-го июня в Петергоф, чтобы иметь его под рукой, когда того потребуют обстоятельства, и удалить его из сферы влияния Петра III.[2]

Очевидец переворота, пастор Бюшинг, видел из своего дома, как цесаревич с Паниным проскакал по Невскому в плохой коляске, запряженной парой лошадей. Павел Петрович был в ночном костюме (im Nachtzeuge); очевидно, ребенка второпях перенесли прямо из постели в экипаж; лошади так мчались, пишет Бюшинг, что, казалось, летели. По прибытии цесаревича во дворец, Екатерина тотчас же вынесла его на балкон и показала народу и войску, встретившим его восторженными кликами.

---

[1] В собственноручной записке Екатерины II сказано: «28-го июня (1744) в Москве, в Головинском деревянном дворце, который сгорел в 1753 году, я приняла Грекороссийский православный закон. В 1762 году 28-го июня в С.-Петербурге я приняла всероссийский престол в пятницу на четвертой неделе после Троицына дня». («Библиографические записки» 1858 года, стр. 539).

[2] В записке «Похождение известных петербургских действ» («Осьмнадцатый Век», II, стр. 631—633) встречается указание на это обстоятельство: «Государь крепко подосадовал, что его высочество в Петербурге остался».

Затем, в тот же день, 28-го июня, вечером, императрица Екатерина выступила во главе войск в Петергоф, чтобы окончательно укрепить за собой престол. Покидая Петербург, она вверила охрану сына и столицы сенату, оставив следующий указ: «Господа сенаторы, я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полною доверенностию, под стражу: отечество, народ и сына своего». Сенат должен был заседать беспрерывно день и ночь, возможно чаще донося императрице о положении дел. Заседания происходили в старом деревянном Елизаветинском зимнем дворце; здесь же помещен был цесаревич Павел Петрович, в комнате, смежной с залою, в которой находились сенаторы.

Никита Иванович Панин должен был покинуть своего воспитанника и присоединился в Красном Кабачке к императрице, участвуя и далее в предпринятом ею походном движении в Петергоф.

Воинственное шествие Екатерины окончилось бескровной победой. Петр III, по словам Фридриха Великого, допустил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать. Император в Ораниенбауме отказался от престола и, по прибытии в Петергоф, был отвезен в Ропшу, «maison de plaisance très agréable et pas le moins fortifiée», как пишет Екатерина в записках о событиях 1762 года. Голштинские войска были обезоружены.

30-го июня императрица, во главе войск, торжественно вступила в Петербург и прямо направилась в Летний дворец, где ее ожидали цесаревич[1] и многочисленное собрание: сенат, синод и все имеющие вход ко двору. Павел Петрович вышел навстречу к матери; как только она его увидела, императрица тотчас сошла с лошади и, поцеловав великого князя, последовала в придворную церковь к молебну.

«N'est-ce pas une grande affaire, et bien conduite?» — с этими словами Теплов, после совершившегося переворота, обратился с гордостью и самодовольством к историографу Миллеру, в присутствии Шлёцера.

---

[1] По рапорту сената, от 30-го июня, от 9 часов утра: «Цесаревич из Зимняго в Летний дом благополучно прибыть соизволил, и обедня началась, а по окончании оной весь сенат и синод для начатия молебна имеют ожидать высочайшаго вашего императорскаго величества прибытия». Бильбасов, т. 2, стр. 71.

Екатерина, со своей стороны, заявила в особом «обстоятельном» манифесте по поводу событий 28-го и 29-го июня 1762 года, что она не имела «никогда ни намерения, ни желания таким образом воцариться, каковым Бог по неведомым Его судьбам промыслом своим нам определил престол отечества российскаго восприять... Таковым, Богу благодарение, действием престол самодержавный нашего любезнаго отечества приняли мы на себя без всякаго кровопролития, но Бог един и любезное наше отечество чрез избранных своих нам помогали».[1]

В одном из позднейших манифестов, от 18-го июля 1762 года, Екатерина снова возвращается к событиям воцарения и пишет:

«Не снискание высокаго имени обладательницы российской; не приобретение сокровищ, которыми паче всех земных нам можно обогатиться; не властолюбие и не иная какая корысть, но истинная любовь к отечеству и всего народа, как мы видели, желание нас побудили принять сие бремя правительства. Почему мы не токмо все, что имеем или иметь можем, но и самую нашу жизнь на отечество любезное определили, не полагая ничего себе в собственное, ниже служа себе самим, но все труды и попечение подъемлем для славы и обогащения народа нашего».

По справедливому замечанию историка екатерининского царствования, не фальшивой нотой, не пустой фразой звучит высказанное императрицей в приведенных здесь словах всенародное исповедание. Екатерина сдержала свое слово, и Россия, действительно, многим ей обязана.[2]

Теперь только, с воцарением Екатерины II, права великого князя Павла Петровича на престол закреплены были клятвенным обещанием в котором сказано: «Обещаюсь и клянуся... и ея императорскаго величества любезнейшему сыну, государю цесаревичу и великому князю Павлу Петровичу, законному всероссийскаго престола наследнику, верно и нелицемерно служить».

Таким образом, с юридической точки зрения, переворот от 28-го июня, по отношению к цесаревичу, вовсе не сопро-

---

[1] Манифест 6-го июля 1762 года, впоследствии повсеместно уничтоженный по повелению императора Павла I от 26-го января 1797 года.

[2] В.А.Бильбасов: «Памяти императрицы Екатерины II», «Русская Старина» 1896 года, т.87-й, стр. 242.

вождался каким бы то ни было правонарушением; права его на непосредственное наследование отцу не были установлены законным актом, так как Петр III, конечно, с предвзятой целью оставил этот вопрос открытым. Что же случилось 28-го июня? Ничего более, как простая замена лиц: место самодержавного отца заняла самодержавная мать, которая немедленно провозгласила сына наследником.

Некоторые из современников событий 1762 года смотрели, однако, несколько иначе на воцарение Екатерины. Из них самый влиятельный, Никита Иванович Панин, высказывал убеждение, что, по устранении Петра III, все права на русский престол должны перейти прямо к цесаревичу Павлу Петровичу, а Екатерина, как его мать, может быть признана только правительницей до совершеннолетия сына. Предположения Панина бесследно улетучились, не встретив ни в ком поддержки, и обер-гофмейстеру Павла Петровича пришлось, по крайней мере, внешним образом примириться с совершившимся фактом; но свои мысли и взгляды Панин постарался внушить своему воспитаннику, и это, если можно так выразиться, своего рода тайное предательство принесло со временем горькие плоды.

Что же касается императрицы Екатерины, то, обладая совершенно исключительными свойствами ума и характера и чувствуя в себе врожденный дар властвовать и повелевать, она, конечно, не могла добровольно снизойти до жалкой роли правительницы, вроде Анны Леопольдовны. Ей предстоял один исход: сделаться самодержавной императрицей или же погибнуть в борьбе с недостойным противником. Екатерина победила! По собственному ее признанию, «счастие не так слепо, как обыкновенно думают. Часто оно есть ни что иное, как следствие верных и твердых мер, не замеченных толпою, но, тем не менее, подготовивших известное событие. В частности, оно бывает также результатом личных качеств, характера и поведения».

Казалось, что теперь наступило затишье после бури, но спокойствие было непродолжительно. 6-го июля вечером Екатерина получила известие о внезапной кончине бывшего императора Петра III, последовавшей в Ропше. Неожиданность события и подробности самого происшествия причинили императрице немало забот и тревог, как в то время, так и в будущем.

7-го июля поспешили обнародовать манифест, в котором читаем:

«В седьмой день после принятия нашего престола всероссийского получили мы известие, что бывший император Петр Третий, обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком гемороидическим, впал в прежестокую колику. Чего ради, не презирая долгу нашего христианскаго и заповеди святой, которую мы одолжены к соблюдению жизни ближняго своего, тот час повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств, из того приключения опасных в здравии его, и к скорому вспоможению врачеванием. Но, к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашняго вечера получили мы другое, что он волею Всевышняго Бога скончался. Чего ради мы повелели тело его привезти в монастырь Невский, для погребения в том же монастыре, а между тем всех верноподданных возбуждаем и увещеваем нашим императорским и матерним словом, дабы, без злопамятствия всего прешедшаго, с телом его последнее учинили прощание и о спасении души его усердныя к Богу приносили молитвы. Сие же бы нечаянное в смерти его Божие определение принимали за промысл Его Божественный, который Он судьбами своими неисповедимыми нам, престолу нашему и всему отечеству строит путем, Его только святой воле известным».

По доставлении тела бывшего императора в Невский монастырь, оно было выставлено для поклонения в покоях, служивших ранее для той же цели при похоронах правительницы Анны Леопольдовны и великой княжны Анны Петровны, дочери Екатерины. Покойный Петр Федорович одет был в мундир голштинских драгун, светло-голубой с белыми отворотами; вокруг гроба не сочли нужным разместить ордена бывшего императора. 10-го июля происходило отпевание в Благовещенской церкви, где тело было предано земле в самом храме, против царских дверей, тотчас позади могилы Анны Леопольдовны.

Императрица Екатерина намеревалась присутствовать при печальной церемонии, но, по предложению Н.И.Панина, сенат «раболепнейше просил, дабы ея величество шествие свое в Невский монастырь, к телу бывшаго императора Петра Третьего, отложить соизволила, представляя многие и весьма важные резоны к сохранению для всех верных сынов отечества ея императорскаго величества дражайшаго здравия, и хотя ея величество долго к тому согласия своего и не оказывала, но на последок, видя неотступное всего сената рабское и всеусерднейшее прошение, ко удовольст-

вию всех ея верных рабов, намерение свое отложить благоволила».

События 6-го июля можно рассматривать, как заключительный акт трагедии, прологом которой послужила ночь 25-го ноября 1741 года, когда невинный ребенок во всеоружии своих прав лишен был престола и осужден на мучительную жизнь затворника. Теперь на очереди стояла новая трагедия, которая длилась 34 года. Действующими лицами в этой семейной драме являются: мать и сын.

II

Что же делал в это время цесаревич Павел Петрович? Какое влияние имели на него события, сопровождавшие воцарение Екатерины, из которых некоторые совершились перед его глазами?

К сожалению, до нас не дошли точные и обстоятельные сведения, могущие вполне разъяснить затронутый вопрос. Можно только догадываться, какое потрясающее впечатление должна была произвести уличная обстановка 28-го июня на нервного ребенка, одаренного к тому же болезненным воображением; рассказывают, что в этот день Павла Петровича напугали еще тем, что его жизни угрожает опасность. Хотя воцарение Екатерины и совершилось мирно, без всякого кровопролития, и не сопровождалось междоусобной войной, но затем, в виде эпилога, последовало злое дело, которое, хотя и в скрашенном виде, не могло быть сокрыто от сына внезапно скончавшегося императора и должно было усугубить тяжелое впечатление, произведенное предшествовавшими тревожными днями; оно было настолько велико, что оставило следы на всю последующую жизнь Павла Петровича.

Но, сверх всего сказанного, к этим личным детским воспоминаниям нужно еще присоединить влияние услужливых или же опрометчивых нашептываний со стороны разных лиц, от которых, даже при идеальном надзоре, трудно было уберечь цесаревича.

Весьма естественно поэтому, что отныне в уме маленького Павла прочно засело предубеждение против матери. Оно выразилось в не преоборимом ничем чувстве подозрительного страха, сознательного недоброжелательства к лицу, вдобавок якобы похитившему что-то, бесспорно ему одному принадлежавшее по праву рождения. Неумолимая последовательность в развитии психических явлений должна была сделать свое

дело и в рассматриваемом случае, а между тем доказано, до какой степени жестоко работает, при известной обстановке, логика детей; приговор этой логики, в большинстве случаев, — беспощадный; когда же наконец рассудок вступает в свои права, он оказывается бессильным в борьбе с разыгравшимися страстями и установившимися предубеждениями.

Екатерина в переписке с Гриммом однажды заметила: «Не всегда знают, что думают дети, и трудно узнать детей, особливо — когда доброе воспитание приучило их слушать с покорностию». Павел именно повиновался с покорностию и, конечно, об известных вещах научился своевременно молчать, но от этого, разумеется, нисколько не выигрывали его сыновние чувства по отношению к матери. После 6-го же июля взаимные отношения получили еще новый, отсутствовавший дотоле, неприязненный оттенок. Между матерью и сыном появилась тень, хотя и не грозная, но наложившая, однако, неизгладимую печать на отношения императрицы к своему первому верноподданному. Между ними окончательно создалась отныне глубокая пропасть, над которой цесаревич много лет предавался пагубным размышлениям. К чему привели эти размышления, — ответом послужило впоследствии четырехлетнее правление Павла Первого.

III

Обратимся теперь к рассмотрению вопроса, в каком положении застаем мы царственного отрока по воцарении Екатерины, когда она сделалась самодержавной императрицей?

После переворота 1762 года правительство Екатерины II не могло сразу приобрести ту прочность и устойчивость, которыми оно отличалось в последующее время. Революционная атмосфера продолжала еще окружать престол воцарившейся императрицы. При таком положении дел Екатерина, по достижении высшей власти, вынуждена была силой обстоятельств помышлять прежде всего об укреплении за собой занятого положения. Наименьшей свободой она пользовалась тогда в отношении к сыну; поэтому воспитательное значение Никиты Ивановича Панина должно было остаться неприкосновенным, если бы даже в уме Екатерины и существовали основательные соображения или желание видеть сына переданным в другие руки. Недаром императрица признавалась Храповицкому в 1793 году, вспоминая давно прошедшие события: «Там не было мне воли сначала, а

после, по политическим причинам, не брала от Панина. Все думали, что, ежели не у Панина, так он пропал».

Существует другое, не менее характерное свидетельство о том, насколько Екатерина стеснена была в своих отношениях с Паниным во всем, касавшемся цесаревича. Это было в мае 1768 года; Екатерина находилась в Царском Селе, а Панин оставался с цесаревичем в Петербурге. В это время смертельно заболевает оспой невеста Никиты Ивановича, графиня Анна Петровна Шереметева. Тогда императрица, обращаясь к посредничеству Ивана Перфильевича Елагина, пишет ему 5-го мая из Царского Села:

«Я в превеликом амбара по причине оспы Анны Петровны; естьли-б я следовала своей склонности, я-б тотчас великаго князя сюда привезла, а Никита Иванович дня через два за ним бы приехал, но я думаю, что Никите Ивановичу сие тягостно покажется. Вы знаете, как он не любит место переменять, сверх того, то его с невестою разлучит; оставить же сына моего в городе опять и потому опасаюсь, чтоб частыя пересылки не приключили бы и сыну моему какой опасности. Знаю и то, что приезд сюда мне причинит неприязни; ибо конференции с министрами, следовательно, их приезд сюда будет женирован. Однако, лишь бы великий князь был цел, то на то не посмотрю; Никите Ивановичу же о сем писать не могу, чтоб не умножить и его без того уже неприятныя обстоятельства; ибо (от чего Боже сохрани), естьли великому князю сделается оспа в сии минуты, то от публики не будет же без попреканий. Сделай милости, хотя от себя уважай все сие с Никитой Ивановичем, и что вы положите в разговоре за основательнее, как быть о том мне, уведоми. Я очень безпокойна, не могши утвердить мысли на лучшее; ибо все в сем критическом положении дурно. Пронесет Бог и сию тучу, как много других... Я отдаю на ваше разсуждение, какое хотите сделать из сего письма употребление».[1]

---

[1] Сборник И.Р.И.О., т.10-й, стр. 291. За этим письмом следует еще другое все по поводу «амбара»:

«Иван Перфильевич. Я здесь все велю приготовить к приезду великаго князя. Только мне кажется, что доктора весьма долгий срок положили Никите Ивановичу; ибо он, кой час пятна показались, выехал из дома Шереметевых, а они велят его две недели на карантине держать; однако, я вижу, что и на них так, как и на меня, напала трусость. И так, хотя я то почитаю за излишнюю осторожность, однако осудить их не могу, быв вчера в том же положении. Пожалуй, поклонись гр. Никите Ивановичу и скажи ему, что я думаю, что мы оба не согрешим, естьли он на будущей неделе сюда пожалует; ибо двадцать пять верст воздуха может служить чистецом. Уверь же его, что великаго князя ни ведь как нянчить стану».

В отзыве Екатерины к Храповицкому и в письме ее к Елагину таится ключ к пониманию стеснений, которым подвергалась императрица в деле воспитания цесаревича даже после 1762 года; соображения, с которыми ей приходилось считаться, не имели ничего общего с педагогическими. Поэтому для должной и справедливой оценки отношений матери к подраставшему наследнику, нельзя терять из виду решающее значение, которое выпадает на долю именно всех этих безотрадных политических соображений, жертвой которых суждено было сделаться несчастному цесаревичу с самого рождения.

Несмотря на существование многоразличных стеснений и соображений, ограничивавших свободу действий Екатерины по отношению к сыну, она прежде всего обратила внимание на состояние здоровья наследника и властной рукой вмешалась в это дело. Императрица поручила доктору Крузе исследование вопроса, имевшего в то время первостепенное династическое значение; в августе 1762 года Крузе представил созванному консилиуму подробное описание болезненных припадков великого князя и способов для излечения его. В записке Крузе сказано, что цесаревич с самого рождения страдал припадками, происходившими от накопления кислот в желудке и пищеприемных путях; позже его стали беспокоить опухоли желез (des tumeurs dans les parties glanduleuses), переходившие иногда в нагноение; иногда от страдал от рвоты, чаще от поноса; затем Крузе переходил к изложению специального медицинского определения болезни великого князя и способов для систематического его лечения. Записка оканчивается словами: «Да благословит всемогущий Бог сохранить здравым и невредимым князя, который составляет радость августейшей императрицы (le prince qui fait les délices dé l'auguste Impératrice), империи и всех нас».

Метод лечения и рецепты, предложенные Крузе, были одобрены остальными медиками, и ему же поручено было привести в исполнение прописанное лечение.

Еще 7-го июля Екатерина издала манифест «о бытии коронации в сентябре», а затем началось переселение лиц и учреждений из Петербурга в Москву.

Цесаревич Павел Петрович выехал в Москву 27-го августа в сопровождении Н.И.Панина и придворного штата. Но едва успели отъехать несколько станций, как наследник подвергся лихорадочному припадку; хотя путешествие его

замедлилось, но, тем не менее, в четверг 11-го сентября, еще до въезда императрицы в Москву, цесаревич все-таки прибыл в Петровское, подмосковное село гетмана Разумовского.

Торжественный въезд в Москву императрицы Екатерины происходил 13-го сентября; цесаревич участвовал в этой церемонии.

Коронация Екатерины II состоялась 22-го сентября; едва кончились придворные торжества, как с 1-го октября цесаревич снова заболел. В течение недели благополучный исход болезни великого князя представлялся крайне сомнительным; Екатерина не выходила из кремлевского дворца, в котором лежал ее больной сын. Наконец, опасность миновала, и 13-го октября цесаревич встал с постели. Страшный вопрос о престолонаследии, грозивший поставить Екатерину в крайне затруднительное положение, благополучно миновал; но, тем не менее, московский недуг оставил надолго неизгладимые следы в нежном организме цесаревича.

Болезнь Павла Петровича доставила ему случай проявить свое доброе сердце; когда цесаревич стал оправляться, он просил императрицу устроить в Москве больницу для бедных, о чем и последовал указ 11-го июня 1763 года. Больница эта названа была Павловской, и в память события, послужившего поводом к ее основанию, была выбита медаль с изображением Павла Петровича и надписью: «Свобождаяся сам от болезни о больных промышляет».[1]

Во время пребывания императрицы Екатерины в Москве, вскоре после выздоровления Павла Петровича, сделана была попытка привлечь к делу воспитания цесаревича европейскую знаменитость — Даламбера.[2] 13-го ноября 1762 года

---

[1] Вспоминая впоследствии, в разговоре с Порошиным, время своего выздоровления, цесаревич назвал его «благополучнейшим и приятнейшим в своей жизни». (Записки Порошина, стр. 554).

[2] Недоброжелатели Екатерины и доныне склонны усматривать в переговорах ее с Даламбером одну политическую комедию, в которой благополучие наследника играло последнюю роль; для Екатерины призыв Даламбера в Россию имел якобы только целью приобрести расположение и сочувствие со стороны тогдашних передовых людей европейской мысли. При разборе этого вопроса нельзя терять из виду, что впоследствии императрица выбрала же в наставники к великому князю Александру Павловичу Лагарпа; поэтому нет основания предполагать, что в 1762 г. Екатерина руководствовалась одним желанием заслужить похвалу со стороны французских писателей и ничем другим.

императрица лично писала о том философу; в переговорах по этому предмету участвовал также Н.И.Панин. Но Даламбер не внял обращенным к нему просьбам и отклонил полученное им почетное предложение. В дружеском письме к Вольтеру он, намекая на недавние события, придал своему отказу шутливую, ироническую форму: «Я очень подвержен геморою, а он слишком опасен в этой стране». Императрице же Даламбер писал, еще год спустя, что не признает в себе дарований для предназначенной ему воспитательной роли. «Если бы дело шло о том, чтобы из принца, о котором вы заботитесь, сделать довольно хорошаго математика, порядочнаго литератора, может быть, посредственнаго философа, то тогда бы я не отчаивался в успехе; но велико разстояние между геометром, литератором, даже философом, от великаго государя, и никто не знает и не доказывает этого лучше вас».[1]

После этого эпизода Панин остался уже, до совершеннолетия Павла Петровича, единственным полноправным распорядителем воспитания цесаревича. Задача, возложенная на Панина, была не из легких и усложнялась еще тем, что с 27-го октября 1763 года доверие императрицы возложило на Никиту Ивановича управление иностранной коллегией.

Двор провел в Москве и часть 1763 года. После богомолья, предпринятого императрицей Екатериной в Ростов для поклонения мощам св.Димитрия Ростовского, и посещения Ярославля, государыня возвратилась в Москву 31-го мая; затем Екатерина выехала в Петербург 14-го июня и 21-го числа прибыла в Царское Село.

28-го июня императрица, сопровождаемая цесаревичем, имела торжественный въезд в Петербург и проследовала в Летний дворец. 29-го июня, в день тезоименитства наследника, Екатерина слушала литургию в Петропавловском соборе в крепости и в этот день пожаловала ему кейзер-флаг.[2]

---

[1] Из этого письма Даламбера от 17-го октября 1763 года видно, что переговоры не прерывались после первого отказа философа быть воспитателем цесаревича.

[2] 18-го июля 1763 года Екатерина совместно с цесаревичем посетила Кронштадт и 20-го июля возвратилась в Петергоф.

Заметим здесь, что на основании указа 20-го декабря 1762 года цесаревич носил звание генерал-адмирала.[1]

Князь П.А.Вяземский высказывает следующий взгляд на воспитательную среду, окружавшую цесаревича после воцарения Екатерины:

«Воспитатель молодого великаго князя, Панин, всецело оставаясь, как он был, дипломатом и министром иностранных дел, не только руководился в области политики русскими стремлениями и началами, но он был чисто русский, с ног до головы. Ум его напитан был народными, историческими и литературными преданиями. Ничто, касавшееся России, не оставалось для него чуждым или безразличным. Поэтому-то он любил свою страну не тою тепловатою любовью, не тем корыстным и эгоистическим инстинктом человека, занимающаго видное место и любящаго свое отечество, потому что он любит власть, но он любил Россию с той пламенною и животворною преданностью, которая возможна лишь тогда, когда человек привязан к своей родине всеми узами, всем сродством, порождающими общность интересов и симпатий, общность, в которой выливаются, в одной и той же любви, прошедшее, настоящее и

---

[1] Приведем здесь содержание указа 20-го декабря 1762 года:

«Ревностное и неутомленное попечение ея императорскаго величества о пользе государственной, по принадлежащим к ней, между прочим, цветущем состоянии флота ея императорскаго величества, желая, купно с достойным в том подражанием блаженныя и безсмертныя памяти деду ея императорскаго величества государю императору Петру Великому, вверить еще при нежных младенческих летах во вселюбезнейшаго сына и наследника ея императорскаго величества цесаревича и великаго князя Павла Петровича, всемилостивейше определяет ея императорское величество его императорское высочество в генерал-адмиралы и повелевает из сената послать, и послано куда подлежит указы».

Заметим здесь, что немедленно по вступлении на престол Екатерина пожаловала цесаревича, 4-го июля 1762 года, полковником в лейб-кирасирский полк, которому велено было именоваться кирасирским наследниковым полком. Затем 10-го июля 1762 года Екатерина назначила цесаревичу содержание по 120.000 рублей в год, а в 1763 году подарила ему Каменный остров.

Ко всем почетным назначениям, выпавшим на долю цесаревича, историографы относятся иной раз довольно оригинально. Если Екатерина оставляет наследника в стороне от сует мира, раздается вопль негодования: Павел забыт, Павлом пренебрегают. Если же Екатерина дает наследнику какое-либо назначение, выдвигает его — новая беда: императрица этим вниманием развивает непомерную суетность и тщеславие в ребенке. Одним словом, для Екатерины дело обстоит, как в сказке о Иване-царевиче и найденных им трех дорогах: везде грозит беда, одна хуже другой.

будущее отечества. Только тогда можно любить и хорошо служить своей стране и своему народу, сознавая в то же время их недостатки, странности и пороки и борясь против них всеми своими силами и всеми имеющимися в распоряжении средствами. Всякая другая любовь — любовь слепая, безплодная, безразсудная и даже пагубная.

Что касается до воспитания молодого князя, то можно и должно заметить, что:

1) «Он был воспитан в среде общественной и умственной, быть может, немного не по возрасту для него, но во всяком случае в среде, способной развить его ум, просветить его душу и дать ему серьезное практическое и вполне национальное направление, знакомившей его с лучшими людьми страны, ставившей в соприкосновение со всеми дарованиями и выдающимися талантами эпохи, — одним словом, в среде, способной привязать его ко всем нравственным силам страны, в которой он будет некогда государем.

Разговоры, которые велись у него за столом и в его присутствии, быть может, неуместные и чересчур эксцентричные, были, однако, вообще поучительны и привлекательны. Они отличались большою свободою ума и откровенностью мнений, что должно было возбуждать и укреплять суждения молодого великаго князя и приучать его выслушивать и уважать правду. Это общество — нужно принять это особенно во внимание — не состояло из недовольных и лиц оппозиции, а напротив того, состояло из людей, горячо преданных своей государыне и своему отечеству. Поэтому-то они и позволяли себе свободно выражаться, и не боялись скомпрометировать себя и повредить делу монархии, порицая то, что им казалось достойным порицания и противным истинным пользам родины, которую они любили прежде всего.

2) Военный элемент не преобладал в воспитании и среди лиц, окружавших юнаго великаго князя. Военныя упражнения не отвлекали его от занятий. Его не приучали быть прежде всего военным. Конечно, будущий монарх такого великаго государства, как Россия, мог оставаться чуждым того, что должно отчасти составлять силу и безопасность государства, но его обучали военному делу с высшей точки зрения, а не погружали в мелчайшия практическия подробности, которыя только могли бы сбить и ложно направить ум ребенка. Ему отнюдь не вменяли в важнейшия и первейшия обязанности то, что на самом деле для него было бы не

чем иным, как забавою, и неизбежно должно было бы отвлечь его от занятий более сериозных и помешало бы приготовиться к исполнению несравненно более суровых и священных обязанностей.

3) Религиозное воспитание великаго князя было особенно тщательно. Кроме своих уроков, архимандрит Платон, бывший впоследствии украшением нашей церкви, занимался каждое воскресенье и каждый праздник благочестивым чтением с учеником своим. Он был допущен в его общество и часто обедал у него, вследствие чего отношения великаго князя к своему законоучителю и духовнику были не только в известных случаях духовныя, а в других официальныя, но постоянно и вне духовно-служебных обязанностей имели характер задушевный. Платон говорил проповеди при дворе. Истины, которыя он высказывал во имя слова Божия, имели самое лучшее и благотворное влияние на ум юнаго великаго князя и на весь двор».[1]

Картина, которую рисует нам блестящее перо князя Вяземского, довольно привлекательна, и к ней можно было бы применить излюбленное выражение одного русского дипломата: «C'est prudemment rédigé et suffisamment près de la vérité». Относительно Н.И.Панина следует заметить, что в характеристике его опущена одна весьма важная черта, на которую справедливо указывает историк Екатерины II: «Панин не обладал ни энергией замысла, ни решительностью воли, так что ему никогда не могла бы прийти мысль воспользоваться своим питомцем для произведения переворота... Брату Панина, Петру Ивановичу, императрица никогда не доверила бы своего сына». Затем, в характеристике Н.И.Панина, сделанной князем Вяземским, отсутствует еще один оттенок, касающийся непосредственно воспитательной деятельности Никиты Ивановича Панина и выше названный нами предательским. Без всякого сомнения, никто из современников 1762 года не знал и не понимал лучше его всех прелестей кратковременного правления Петра III, и что же сделал Панин? Будучи сам одним из выдающихся деятелей в деле свержения Петра III, Панин тем не менее не признал нужным выяснить своему воспитаннику истинный смысл переворота 1762 года и историческое значение воца-

---

[1] Князь П.А.Вяземский: Полное собрание сочинений, т.7-й, стр.69—77 (статья о записках Порошина).

рения Екатерины, сравнительно с правлением ее предшественников. Напротив того, восхваляя отца и вселяя в сына снисходительное отношение к его заблуждениям и увлечениям, он ни слова не сказал о том, чем Россия обязана Екатерине, а подобное слово, услышанное из уст Панина, имело бы громадное значение для Павла и не прошло бы для него бесследно. Это одно только и могло бы побудить наследника быть продолжателем дел своей матери на пользу России.[1] Справедливо замечено было, что Екатерина понимала и ценила Панина, но нельзя того же сказать о воспитателе цесаревича по отношению к императрице.

Действительно, откуда же мог почерпнуть великий князь начертанную им впоследствии нижеследующую оценку правления своего отца, как не из бесед своего главного наставника? По мнению Павла Петровича, Петр III вступил на престол и «принялся заводить порядок; но стремительное его желание завести новое помешало ему благоразумным образом приняться за оное. Прибавить к сему должно, что неосторожность, может быть, была у него в характере, и от нея делал многия вещи, наводящия дурныя импрессии, которыя, соединившись с интригами против персоны его, а не самой вещи, и погубили его, и заведениям порочный вид старались дать. Чего интриги не в состоянии навести, естьли благоразумие, осторожность и твердость духа не противостоят им?»[2]

Из этих строк видно, что оскорбленное самолюбие Панина не устояло против искушения подготовить себе в наследники мстителя за непризнание со стороны Екатерины его, панинской, политической мудрости; расходясь во взглядах с императрицей, он задумал создать себе в лице своего воспитанника более покорного слушателя и последователя. Очевидно, что Павлу рассказали историю его отца, как человека, желавшего добра России и ею непонятого, неоце-

---

[1] П.Лебедев. Графы Никита и Петр Панины. С.-Петербург. 1863. Стр.38.

[2] «Русская Старина», т.33-й, стр. 748. (Переписка цесаревича Павла Петровича с графом Петром Ивановичем Паниным в 1778—1779 гг.).

Замечательно, что еще в недавнее время высказывались иной раз мнения, что Петр III был чуть ли не передовой либеральный деятель, стоявший в своем развитии выше окружавшей его среды. Стоит указать, например, на статью М.И.Семевского: «Шесть месяцев из русской истории XVIII века. Очерк царствования императора Петра III» (Отечественные Записки 1866 года). Панегирик этот не был окончен автором.

ненного; отсюда явилось в цесаревиче желание подражать отцу. Об одном только можно пожалеть, что Панин не вкусил плодов своих внушений! Смерть лишила его счастья быть свидетелем 6-го ноября 1796 года, а вместе с тем избавила его от огорчения жестоко разочароваться в своих неправедных надеждах.

Всматриваясь ближе в личный состав наставников Павла Петровича, легко впасть в критику; но справедливее будет признать, что Панин все-таки собрал вокруг цесаревича все, что можно было, по тем временам, найти лучшего. Среди педагогического персонала выдающимся значением пользовался бывший флигель-адъютант Петра III, Семен Андреевич Порошин, который состоял при цесаревиче с 28-го июня 1762 года. Порошин впервые увидел великого князя Павла Петровича 30-го ноября 1761 года на торжественном обеде; великий князь произвел на него настолько благоприятное впечатление, что он тогда же пожелал со временем попасть к нему. Желание Порошина исполнилось.[1] Хотя Порошин преподавал цесаревичу математические предметы, но его беседы касались также истории и литературы; беседы эти имели несомненно глубокое воспитательное значение. Профессор В.Иконников пишет: «Весьма много говорят в пользу Порошина замечательныя для его лет начитанность и способность пользоваться в живой беседе известным ему материалом.[2] «Трудно было найти человека, который бы до такой степени привязался к своему питомцу, до такой степени усердно пользовался малейшим случаем, чтобы внедрить впечатлительному и пылкому отроку благородныя мысли и чувства, как это делал Порошин. Все советы, какие он давал великому князю, все его замечания и наставления исполнены ума и высокаго благородства».[3]

Порошин оставил дневник, в который вносил все, что, по его мнению, заслуживало внимания из ежедневных событий жизни цесаревича. Этот бесценный исторический материал обнимает время с 20-го сентября 1764 года и

---

[1] В.Иконников: Разбор сочинения «Цесаревич Павел Петрович» (Отчет о двадцать седьмом присуждении наград графа Уварова), стр. 85.

[2] С.А.Порошин, будучи еще капралом сухопутного шляхетного корпуса, участвовал в академическом издании «Ежемесячные сочинения», редактированном академиком Миллером.

[3] М.Семевский: Семен Андреевич Порошин, 1741—1769. «Русский Вестник» 1866 года.

кончается 13-м январем 1766 года. «Записки эти, хотя и неполныя, составляют несомненно весьма ценный документ во многих отношениях» — пишет князь Вяземский. — Кроме главной цели, поставленной себе автором, — вести *изо дня в день отчет об умственном и нравственном развитии* своего августейшаго воспитанника, — записки эти, за неимением других, воспроизводят в легких очерках, в отдельных чертах, верную и живую картину того времени, тогдашних нравов, стремлений и личностей, которыя, более или менее, все носили своеобразную печать, чего напрасно искать в наши дни».

Но «невежество и зависть, против всех добрых дел искони воюющия», ополчились против Порошина и вынудили его удалиться от двора. Преобладающее значение, которым он пользовался среди прочих педагогов, с их стороны ему не прощалось. Интрига облегчалась, благодаря непостоянству нрава и непрочности привязанностей, которые цесаревич проявлял уже у ту пору. Однажды (13-го октября 1764 года) цесаревич в порыве дружеских чувств к Порошину сказал ему: «Не тужи, голубчик! Ты ешь теперь у себя на олове, будешь есть и на серебре». Через год все эти чувства начали уже улетучиваться. Порошин был одним из первых приближенных, испытавших последствия этого печального недостатка Павла Петровича. Князь Вяземский по этому поводу замечает: «Из чтения записок Порошина можно вывести еще один важный урок, убеждающий, как во все времена трудно было благородному и добросовестному человеку удержаться на придворной почве; для этого недостаточно располагать доверием и покровительством высшей власти. Второстепенныя, но всесильныя влияния, тайныя, незримыя и неуловимыя, господствуют в этих возвышенных сферах, ведут глухую борьбу против оказываемаго доверия и покровительства и кончают очень часто, чтобы не сказать всегда, победою и подкопом под положение честнаго человека. Порошин был несомненно таковым: он всем сердцем любил свои обязанности, понимал их святость, считал поручение, ему данное, священнодействием; питал к воспитаннику своему обожание, но не слепое и низкое, а высоко благородное, и что же? Мы замечаем, что отчаяние и грусть проникают в его душу и приводят его к удалению от занимаемаго им места. Было бы очень смело вывести заключение, когда возможны лишь одни предположения, но нельзя не пожалеть, что этот благородный человек не остался во главе воспитания великаго

князя до самаго конца. Хотелось бы верить, что благотворное влияние его выказалось бы впоследствии, когда юноша стал императором».

В интригах, которые привели к удалению достойного Порошина от наследника, немаловажную роль играли его записки. Порошин имел неосторожность читать их своему воспитаннику; и хотя Павел Петрович слушал их со вниманием и обещал никому о том не сказывать, но в один прекрасный день он предал Порошина и рассказал даже Панину о существовании записок. Никита Петрович потребовал одну тетрадь для прочтения; едва ли, по ознакомлении с рукописью, ему представилось желательным удержать при великокняжеском дворе такого зоркого наблюдателя всего происходящего вокруг цесаревича. Затем недоброжелатели Порошина уверили Павла Петровича, что записки со временем будут служить только «к его стыду и посрамлению».

Хотя Порошин отмечает в своем дневнике, что цесаревич слушал чтение записок «с превеликим вниманием и приятностию» и просил, чтобы Порошин продолжал их, что этим он ему сделает «несказанное удовольствие», но случилось, однако, что по окончании чтения великий князь просил кое-что вычеркнуть.

Так, например, 17-го декабря 1764 года Порошин пишет: «читал я ему сии свои записки прошлой недели. Изволил слушать с великим вниманием и наконец сказал: «все точнешенько так; только иныя места желал бы я, чтоб выскребены были». — «Ежели все так», отвечал я, «зачем же выскребать? История должна быть справедлива и безпристрастна. Как хорошее похулить, и как похвалить худое?» То же самое повторилось 6-го августа 1765 года. Цесаревич просил Порошина прочесть ему кое-что из его записок. «Читал я, — записал Порошин, — с 13-го июля по сие число, и государь несказанно был доволен и с крайним вниманием изволил слушать. Говорил только о некоторых касающихся до него правдах, нельзя ли их выпустить. На то смеючись ответствовал я его высочеству, что пословица есть: «из песни слова не выкинешь!».

Едва ли возражения Порошина удовлетворили самолюбивого цесаревича, о чем при удобном случае он впоследствии и вспомнил.

К довершению всех несчастий, испытанных Порошиным, он имел еще дерзость страстно влюбиться в графиню Анну Петровну Шереметеву, которая сделалась потом не-

вестой Н.И.Панина. Неудивительно, что сочетание стольких неблагоприятных обстоятельств привело к отлучению Порошина от двора. Тщетно несчастная жертва интриги обращалась к заступничеству графа Григория Григорьевича Орлова; но и влиятельный фаворит оказался бессильным помочь горю и удержать на месте этого доброго гения Павла.

В 1768 году Порошин назначен был командиром Старо-Оскольского пехотного полка, а 12-го сентября 1769 года он скончался на двадцать девятом году жизни близ Елисаветграда, узнав во время болезни, что, при открытии турецкой кампании, ему предстоит поступить под начальство Петра Ивановича Панина. По поводу смерти Порошина С.М.Соловьев написал: «исчез один из самых светлых русских образов второй половины XVIII века; начато было хорошее слово, хорошее дело и порвано в самом начале».

IV

Биографы Павла Петровича охотно останавливаются на полном и резком осуждении Екатерины II в отношениях ее к наследнику престола — прием, можно сказать, по меньшей мере, *избитый; для подтверждения выводов в подобном* смысле обыкновенно прибегают к одностороннему подбору фактов. Между тем правильнее было бы искать ключ к этой загадке в психологических мотивах, созданных роковыми событиями 1762 года, отстранить или смягчить которые не было во власти и самого мудрейшего из смертных. К этому следует присовокупить личные, наследственные особенности характера цесаревича, с годами получившие наконец оттенок, который не мог согласоваться с государственным умом императрицы и с ее взглядами на управление и политику Российской империи. Началась глухая борьба двух противоположных мировоззрений, прерываемая временным затишьем, носящим отпечаток мимолетного перемирия. Когда же в уме Екатерины окончательно созрело печальное убеждение в непригодности сына, как наследника престола, участь Павла Петровича была бесповоротно решена; Екатерина, чуждая всякой сентиментальности, начала хладнокровно обдумывать способы для отстранения цесаревича от престола, но об этом последнем акте трагедии, разыгравшейся между матерью и сыном, еще речь впереди. Здесь же скажем, что, несмотря на все старания панегиристов цесаревича возвеличить его в ущерб Екатерине, для будущего

историка Павла Петровича, при разборе отношений, установившихся между матерью и сыном, все-таки остается еще открытым вопрос: нерасположение ли матери развило в сыне его характер, или, наоборот, характер его, по мере того как он развивался, возбуждал нерасположение матери?

По поводу приведенного здесь вопроса князь Лобанов высказал в рукописной заметке следующее мнение:

«В этом отношении драгоценным материалом служат записки Порошина. К сожалению, оне обнимают всего 15 месяцев, с 20-го сентября 1764 года по 13-е января 1766 года. Павел был тогда мальчиком десяти, одиннадцати лет. Обращение Екатерины с ним было самое нежное. Он жил при ней; был возле нея не только на больших, но и на малых собраниях при дворе; сопровождал ее всюду, на маневрах, на охоту; она присутствовала при его экзаменах, радовалась его успехам и говорила ему, что, «когда его высочество возмужает, то она изволит тогда по утрам призывать его к себе для слушания дел, дабы к тому привыкнуть».[1] Самыя приближенныя к ней лица (Орловы, Чернышевы) постоянно бывали у него и оказывали ему почтительное внимание. Приезжие иностранцы, губернаторы, генералы, все сколько нибудь замечательные люди тотчас являлись к нему и были приглашаемы к его столу. Словом, Екатерина видимо старалась подготовить достойного себе преемника. В этом ребенке, на которого все смотрели как на единственную надежду государства, мы однако можем, при всей сдержанности Порошина,[2] подметить холодность и недоверчивость к матери, скуку и нетерпение в ее присутствии и, вообще, зародыши тех свойств, которые он обнаружил как император.

---

[1] Записки Порошина, стр. 422. Екатерина обратилась с этими словами к цесаревичу 9-го сентября 1765 года.

[2] Князь Лобанов вполне прав, ссылаясь на сдержанность Порошина. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить запись 24-го и 25-го марта 1765 года (стр. 294) с сохранившеюся краткой черновой заметкой того же числа (стр. 616—617). В последней читаем между прочим: «Крик — камерлакея разжаловал. — Брань со мною. — За столом по большей части тихо». В записках все это сглажено, а некоторые штрихи совсем исчезли. Остается сожалеть, что не уцелели другие подобные же черновые отрывки; картина, рисуемая Порошиным, вышла бы полнее.

Кое-что, относящееся к резкостям первоначальной записи, сохранилось и в записках, как, например, 28-го марта 1765 года читаем лаконическое изречение: «Лентяй» (стр. 297).

«Порошин, привязанный к нему всею душою, был однажды вынужден ему сказать: «Avec les meilleures intentions du monde, vous vous ferez haïr, Monseigneur (при самых наилучших намерениях, вы заставите себя ненавидеть)».[1]

«Другой наставник Павла, профессор Эпинус, говорил о нем: «Голова у него умная, но в ней есть какая-то машинка, которая держится на ниточке: порвется эта нитка, машинка завертится, — и тут конец и уму и разсудку».[2]

Приведем здесь из записок Порошина некоторые выдержки, могущие служить подтверждением мыслей, высказанных князем Лобановым.

24-го сентября 1764 года. «Его высочество, будучи живаго сложения и имея наичеловеколюбивейшее сердце, вдруг влюбляется почти в человека, который ему понравится; но как ни какия усильныя движения долго продолжаться не могут, есть ли побуждающей какой силы при том не будет, то и в сем случае оная крутая прилипчивость должна утверждена и сохранена быть прямо любви достойными свойствами того, который имел счастье полюбиться. Словом сказать, гораздо легче его высочеству вдруг весьма понравиться, нежели на всегда соблюсти посредственную, не токмо великую и горячую от него дружбу и милость. Но нет же отнюдь в сем деле и невозможности; прямыя достоинства и чистое проницательное разсуждение тысячьми средств и орудий обращают».

7-го октября. «В шесть часов изволил его высочество пойтить на комедию. Комедия была французская: «l' école des femmes»; балет «les chasseurs»; маленькая пиеса «la fête de L'amour». Ея величество присутствовать не изволила в комедии. В маленькой пиесе и в балете изволил его высочество аплодировать многократно, особливо в балете танцовщику

---

[1] Порошин, Записки, стр. 302.

[2] Записки о моей жизни, Н.И.Греча. Спб. 1886, стр. 241. Порошин сохранил нам другой отзыв Эпинуса о цесаревиче, по которому он подметил в нем: «esprit géométrique» и «justesse d'esprit». Порошин к этому отзыву прибавляет: «И подлинно, когда его высочество не заленится, то провождаемые с ним в учении часы неописанное приносят услаждение: с такою остротою и основательностью внимать изволит». (Записки Порошина, стр. 488). Математические занятия с цесаревичем привели Порошина к следующему заключению: «Если бы его высочество был человек партикулярный и мог совсем предаться одному только математическому учению, то по остроте своей весьма удобно быть мог нашим российским Паскалем» (стр.20).

Тимофею, Парадису и Меркурше. Два раза партер без него захлопал, что ему весьма было неприятно. Пришедши к себе, долго роптал о том. Граф Александр Сергеевич Строганов пришед говорил его высочеству, что в последний раз на комедии и государыня дозволила при себе аплодировать, хотя она и не изволит зачать. Великий князь на сие изволил отвечать ему: «да об этом я не слыхал, чтобы государыня приказывать изволила, чтобы при мне аплодировали, когда я не зачну. Вперед я выпрошу, чтоб тех можно было высылать вон, которые начнут при мне хлопать, когда я не хлопаю. Это против благопристойности». За ужиной и после все время его высочество посерживался».

13-го октября. «Камердинер спрашивал у меня, какой кафтан приготовить для его высочества, и как я сказал, какой он сам изволит, то великий князь приказал приготовить зеленой бархатной. Камердинер докладывал, что этот кафтан уже стар, замшился, не прикажет ли другой принесть. Но его высочество, выслав его, с сердцем приказывал, чтобы тот принес, о котором он приказал ему. Тут говорил я великому князю: «а вить Карла двенадцатаго за упрямство мы не любим. Хорошо ли это, не принимать резону. Вы приказали прежде не вспомня, что кафтан стар; а теперь, когда правильно представляют, для чего не переменить своего мнения и не согласиться?» Его высочество тотчас приказал кликнуть камердинера и изволил сказать ему, чтоб уже того кафтана не носил, а принес бы другой, который поновее. Из сей поступки и из других сделал я наблюдение, что очень возможно исправлять в его высочестве случающиеся иногда за ним погрешности и склонить его к познанию добраго; надобно знать только, как за то браться».

29-го октября. «Часто на его высочество имеют великое действие разговоры, касающиеся до кого нибудь отсутствующаго, которые ему услышать случится. Неоднократно наблюдал я, что, когда при нем говорят что в пользу или в похвалу какого нибудь человека, такого человека после увидя, его высочество особливо склонен к нему является; когда ж, напротив того, говорят о ком невыгодно и хулительно, а особливо не прямо к его высочеству с речью адресуясь, но будто в разговор мимоходом, то такого государь великий князь после увидя, холоден к нему кажется».

24-го ноября. «В десятом часу (во время бала) великое появилось нетерпение, что государыня (долго) за стол ийтить не изволит. Я, приметя сие, подходил неоднократно

к государю и, сколько в публике благопристойность дозволяла, уговаривал его, чтобы преодолел себя; что хотя и успевало несколько, однако не совсем. Пошли наконец за стол. С государынею в паре сидел аглинской посол, лорд Букингам. С его высочеством сидела обер-гофмейстерина Алена Александровна Нарышкина. Между ими сидел Никита Иванович и раскладывал его высочеству кушанье. У ея величества был десятой номер, а у его высочества одинадцатой. — В окончании стола государю опять скучилось, и слезки почти начали показываться, что мне весьма прискорбно было. Возвращаясь во внутренние его высочества покои, говорил я о сем его превосходительству Никите Ивановичу. Он также скорбел о том немало. Пошед к себе, приказал и просил, чтоб я с господином Остервальдом гораздо выговорил о том государю, покаместь он раздеваться изволит. Говорили мы ему о том довольно; старался я употребить все свое велеречие, чтобы представить ему, какое от таковых неодумчивых в публике поступок для него произойтить может безславие, и как народныя сердца тем отвратить от себя может. Признаться должно, что его высочество слушал о сем с прискорбностию и сожалением, и закаивался, чтоб никогда того более не делать. В постелю государь изволил лечь, был одинадцатой час в исходе».

7-го декабря. «Великий князь весьма жалует разговаривать о партикулярном домоводстве и восхищается, входя в подробности онаго и представляя себя в партикулярном состоянии; забавляется тем по своему нежному еще младенчеству и имея наиживейшее воображение, какое натура только произвести может. Его высочество все себе может так ясно и живо представлять, как бы пред ним то уже действительно происходило: веселится тогда, подпрыгивает и откидывает, по привычке своей, руки назад безпрестанно. За ужиною разговорились о работниках и о купцах. Его высочество завидовал им, что они рано спать ложатся и рано встают. У его высочества ужасная привычка, чтоб спешить во всем: спешить вставать, спешить кушать, спешить опочивать ложиться. Перед обедом за час еще времени или более до того, как за стол обыкновенно у нас садятся (т.е. в начале втораго часу), засылает тайно к Никите Ивановичу гоффурьера, чтоб спроситься, не прикажет ли за кушаньем послать, и все хитрости употребляет, чтоб хотя несколько минут выгадать, чтоб за стол сесть поранее. О ужине такие же заботы. После ужины камердинерам повторительные

наказы, чтоб как возможно они скоряй ужинали с тем намерением, что, как камердинеры отужинают скоряе, так авось и опочивать положат несколько поранее. Ложась заботится, чтоб по утру не проспать долго. И сие всякий день почти бывает, как ни стараемся его высочество от того отвадить».

16-го января 1765 года. «Пошли мы на куртаг. Ея величество изволила там присутствовать и играть в пикет с чужестранными министрами и с некоторыми из здешних знатных. Его высочество изволил стоять тут же в кругу. Сперва весел был: разговаривал с министрами. Из наших — с князем Петром Ивановичем Репниным, с вице-канцлером, с графами Петром и Иваном Григорьевичем Чернышевыми. Наконец скучилось ему. Зачал подзывать Никиту Ивановича домой. Его превосходительству хотелось дождаться того, как государыня изволит ретироваться, и для того отказывал ему. Зачал великий князь с ножки на ножку переступать, помигивать и смотреть на плафон, чтобы скрыть свое нетерпение. Между тем очень оно видно было, и сбирающияся на глазах тучки еще более то показывали. Никита Иванович принужден был ийтить с его высочеством. Как скоро добрались мы до своих пределов и вошли в желтую комнату, остановились все. Никита Иванович приказал с великаго князя снять тут шпагу, и чтоб он далее никуды не ходил. Дав ему наижесточайший выговор, обратился к нам и сказал, чтоб мы на сей вечер великаго князя все оставили, и никто не говорил бы с ним ни слова. Сказав сие, пошел его превосходительство к себе, оставив у нас по себе тишину неописанную. Великий князь выговором весьма огорчен был и, стоя у печи, разными знаками показывал свое неудовольствие. По предписанию, никто не говорил ему ничего. Разговаривали мы между собою, показывая, будто совсем на него не примечаем. Были у меня при сем случае кое-какия разсуждения, которыя отчасти сообщал я тем, на кого поболее полагался, отчасти обращал только в голове своей. Оныя разсуждения пусть при мне останутся. По приказанию его превосходительства Никиты Ивановича, ужинать сел его высочество уже в десятом часу, опочивать лег в одиннадцатом, что для него было школою терпения. Весь вечер происходил в тихости».

17-го января. «Его высочество проснуться изволил в седьмом часу. Очень сожалел и раскаивался о вчерашнем приключении. Одевшись изволил учиться, как обыкновенно. После ученья попрыгивал в желтой комнате, и никто с

ним по вчерашнему заказу не вступал еще ни в какие (почти) разговоры. Сели за стол. И там очень тихо было. Из сторонних никто не обедал. Его превосходительство Никита Иванович по большей части сидел задумавшись. После обеда, в четвертом часу, изволил его высочество сесть за учения. У меня очень хорошо учился. Окончив свое дело, изволил говорить мне о вчерашнем своем поступке, что он весьма сожалеет, что оное сделалось, что показалось ему поздно и скучно; не мог преодолеть себя, изволил просить у меня наигорячнейшим и повереннейшим образом совету, как бы сделать, чтоб таковых, как сам он выговаривать изволил, проказ вперед не было... Выслушавши проповедь со вниманием, бросился ко мне его высочество и целуя изволил уверять меня, что он не преминет предложенныя от меня наставления при первом случае произвести в действо и употребить в свою пользу».

21-го января. «За чаем изволил он открывать мне, что как вчерась был у государыни, то ея величество изволила спросить его, подозвав к себе тихонько: от чево Никита Павлович так не весел? и что как он ответствовал, что не изволит знать, то государыня сказать ему изволила: «n'est-ce pas vous qui l'avez chagriné? Si c'est vous, je vous prie de ne le point faire à l'avenir». Его высочество признаваться мне изволил, что оное увещание так его тронуло, что у него слезы навернулись. На сие говорил я, что надобно себя вести так, чтобы ея величеству причины никогда не было подумать, чтоб его высочество Никиту Ивановича когда-нибудь чем мог опечалить».

24-го февраля. «Ввечеру назначено ему было видеть ея императорское величество. Его высочество изволил открываться мне, что он опасается, чтоб не удержали его долго за тем у государыни, как ийти туда изволит; что быть там ему скучно и принужденно, и что принуждение такое ему несносно. В сем ни оставил я, чтоб не дать государю надлежащаго увещания».

28-го февраля. «Хотели было из-за стола уже вставать, как не помню кто-то из нас попросил масла и сыру. Великий князь, осердясь тут на тафельдекера, сказал: для чево прежде не ставите? и потом, оборотясь к нам: это они все для себя воруют. Вооружились мы все на его высочество и говорили ему по-французски, как дурно оскорблять таким словом человека, о котором он, конечно, заподлинно знать не может, виноват ли он или нет. Вставши из-за стола, продолжалась сия проповедь. Господин Остервальд и я говорили

его высочеству весьма сильно, как дурен оной поступок был, и как он тем у людей в ненависть привести себя может. Признавался он в том и раскаивался».

24-го марта. «С некотораго времени примечаю я, что его высочество начал становиться слишком резов и несколько своенравен. Ведаю тому и причину; да пусть я только один ее ведаю».

11-го июля. «Побранил Никита Иванович гораздо великаго князя за его бешенство и кривляние. Все головою вниз мотает».

14-го июля. «После обеда учился его высочество не весьма охотно. Не могу изобразить я, как внутренно терзаюсь, когда в нем такую легкость и отвращение от полезных знаний примечаю. Сверх того, и то неприятно, когда человек, с усердием и с неусыпными трудами наилучшее и наисущественнейшее из нужных учений выбирая, предложить старается, а учащийся, нимало к тому не прилепляясь, совсем в дело не входит и о мельчайших безделках между тем помышляет. Но чего в таких нежных летах переменить или, по крайней мере, поправить нельзя? Я сам перед собою извиняюсь, что отступил в краткой сей рефлекции, разгорячась несколько».

21-го сентября. «За столом особливое сделалось приключение: его высочество попросил с одного блюда себе кушать; Никита Иванович отказал ему. Досадно то показалось великому князю: разсердился он и, положа ложку, отворотился от Никиты Ивановича. Его превосходительство в наказание за сию неучтивость и за сие упрямство вывел великаго князя тотчас из-за стола во внутренние его покои и приказал, чтоб он остался там с дежурными кавалерами. Пожуря за то его высочество, пошел Никита Иванович опять за стол, и там несколько еще времени сидели. Государь цесаревич между тем плакал и негодовал. Пришед из-за стола, его превосходительство Никита Иванович взял с собою великаго князя одного в другую (учительскую) комнату и там говорил ему с четверть часа о непристойности его поступка, которую, конечно, никто не похвалит. Г.Салдерн также недоволен был сим его высочества поведением, как и все; сказал мне про него с сердцем: c'est une tête fer. Когда б не такой был случай, и его высочество не столько б виноват был, то б я присоветовал ему, чтоб выражение сыскал он другое, несколько помягче. Переплакался наконец его высочество».

«В последующие года», по словам князя Лобанова, «за отсутствием подобнаго же материала, невозможно проследить изо дня в день отношения Екатерины к Павлу. Отрывочныя сведения, которыя находятся преимущественно в депешах иностранных дипломатов, позволяют определить одне только главныя эпохи этих отношений. Оне совпадают: 1) с первою женитьбою великаго князя в 1773 году; 2) со второю его женитьбою в 1776 году и 3) с возвращением его из заграничнаго путешествия, со смертью графа Никиты Ивановича Панина и с пожалованием ему Гатчины в собственность (в 1783 году).

В каждом из этих периодов заметно все большее и большее охлаждение между сыном и матерью, хотя оно и прикрывалось наружным видом благопристойности. В последнюю же эпоху великий князь, уже достигший тридцатилетняго возраста, зажил совершенно самостоятельною жизнью. Уединившись в Гатчине и Павловске, он приезжал в местопребывание императрицы только тогда, когда иначе не мог делать; окружил себя своими любимцами, людьми, по меньшей мере, посредственными (из коих впоследствии, за исключением разве Ростопчина, ни один не ознаменовал *себя доблестными делами); завел у себя войска, свою дис*циплину, свои порядки; двор его сделался во всем как бы живою критикою двора его матери. Несмотря на это, Екатерина продолжала относиться к Павлу, как к наследнику ея престола. Нельзя сказать, чтобы она держала его в совершенном неведении о делах управления; напротив того, из дневника Храповицкаго (1782—1793 гг.) видно, что по ея приказанию ему докладывались дела как внешния, так и внутренния, и что лица служащия попрежнему считали своею обязанностью являться к нему при каждой служебной перемене.

Таким образом протекли последния 13 лет царствования Екатерины. А между тем в продолжение этого времени подростали дети Павла, — и Екатерина, вполне разочарованная насчет своего сына, перенесла все свои надежды и ожидания на внука своего, великаго князя Александра Павловича».

V

Летом 1764 года императрица Екатерина задумала совершить путешествие в Прибалтийский край, посетить Ревель,

Балтийский порт и Ригу. 20-го июня государыня выехала из Петербурга, а на время ее отсутствия цесаревич с Паниным поселились в Царском Селе. На сенатора Ивана Ивановича Неплюева возложено было «главное попечение о сохранении добраго порядка и совершенной тишины» в столице. Замечательно, что еще до отъезда императрицы стали распространяться в Петербурге неясные толки о какой-то ожидаемой катастрофе, и появились подметные письма с упоминанием о Шлиссельбурге и Иоанне III. Сначала все обстояло благополучно, но когда императрица прибыла 9-го июля в Ригу, она нашла там курьера, присланного Паниным с крайне тревожными известиями[1]. Оказалось, что ночью, с 4-го на 5-е июля разыгралась кровавая «Шлюссельбургская нелепа»,[2] состоявшая в том, что подпоручик Смоленского пехотного полка Мирович затеял в крепости бунт с целью освобождения содержавшегося в ней «безъименнаго колодника». Но Екатерина давно уже предусмотрела возможность такой «нелепы», и в инструкции, данной приставленным к царственному узнику капитану Власьеву и поручику Чекину, за подписью Н.И.Панина, сказано было, что, если силою кто-либо пожелает его отнять, «то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать». Когда же во время бунта Власьев и Чекин убедились в безвыходности своего положения, они в точности исполнили данную им инструкцию, и ворвавшемуся в каземат Мировичу суждено было увидеть один бездыханный труп. Убитый «безъименный колодник» был бывший император Иоанн III. Таким образом, кровавая развязка завершила собою беззаконие 1741 года! Невольно припоминаются слова великого поэта, имеющие столь верный, глубокий смысл: «В том именно проклятие злого дела, что оно безпрерывно рождает новое зло».

Екатерина выказала в эту критическую минуту свойственные ей необычайную силу духа и самообладание. Празднества и приемы, намеченные в Риге, продолжались беспрерывно в продолжение семи дней; императрица повсюду являлась с веселым лицом, ласково отвечая на приветствия и очаровывая всех милостивым обращением. Екатерина нашла даже возможность посетить 13-го июля тогда еще

---

[1] С 10-го декабря 1763 года Н.И.Панину поручены были тайные дела.

[2] Императрица Екатерина в письме к Неплюеву от 11-го июля из Риги весьма метко назвала бунт Мировича «Шлюссельбургской нелепой».

чужестранную для нас Митаву, где царствовал в то время поставленный ею герцог Бирон. Прием был пышный, и некогда грозный фаворит, надменный регент, приветствуя свою новую благодетельницу, хотел даже смиренно пасть на колени, но был удержан императрицей.[1] Никто из толпившихся в эти дни вокруг государыни верноподданных не мог, конечно, подозревать, какие тяжкие мысли и заботы волновали в ту пору ее душу.

Исчезновение несчастно рожденного Иоанна III упрощало, без сомнения, многое в политических соображениях того времени, и Екатерина имела полное основание писать Панину 9-го июля:

«Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все дивы, происшедшия в Шлюссельбурхе: руководствие Божие чудное и неиспытанное есть».

В свою очередь, Панин также видел в исчезновении царственного узника «чудный Божий промысл».

Но затем на долю императрицы выпало еще немало забот. Необходимо было скорее окончить дело Мировича, чтобы, успокоив умы, заставить тем позабыть шлюссельбургские дивы и пресечь, как выразилась Екатерина, дальнейшие дурацкие разглашения, но для этого требовалось личное присутствие императрицы в столице. Насколько возможно было, Екатерина поспешила отъездом и 25-го июля возвратилась в Петербург. 17-го августа, по окончании следствия, появился манифест о кончине принца Иоанна Антоновича и о назначении верховного суда над бунтовщиками. В семнадцать дней собрание окончило порученное ему дело, и 15-го сентября совершилась казнь Мировича на Петербургской стороне; мятежнику была отсечена голова, и тело его сожжено «купно с эшафотом».

На цесаревича Павла Петровича шлюссельбургская гистория и последствия ее, как и следовало ожидать, произвели сильное впечатление. По свидетельству Порошина, «всякое внезапное или чрезвычайное происшествие весьма трогает его высочество. В таком случае живое воображение и ночью не дает ему покою. Когда о совершившейся 15-го числа сего месяца над бунтовщиком Мировичем казни изволил его высочество услышать, также опочивал ночью весьма худо».

---

[1] В первый и в последний раз Екатерина, со времени приезда в Россию в 1744 году, переступила границу империи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наклонность цесаревича к милитаризму. — Оспопрививание императрицы и цесаревича. — Болезнь цесаревича в 1771 году.

I

Когда цесаревич Павел Петрович достиг в 1768 году четырнадцатилетнего возраста, то согласно воспитательному плану Н.И.Панина наступило время, когда оказалось полезным «учинить особливое разсуждение, каким способнейшим образом приступить к прямой государственной науке, то-есть: к познанию коммерции, казенных дел, политики внутренней и внешней, войны морской и сухопутной, учреждений мануфактур и фабрик и прочих частей, составляющих правление государства его, силу и славу монаршу».

Проследить, каким образом эта программа была осуществлена, представляется довольно трудным, потому что с удалением Порошина и с прекращением его дневника русская историография лишилась главного и лучшего своего источника, чтобы следить за дальнейшими занятиями цесаревича и за развитием его столь своеобразного характера. Отныне в биографии Павла Петровича чувствуется незаменимый пробел, который приходится восполнять одними отрывочными сведениями; но независимо от этой, так сказать, историографической потери пострадало также и само преподавание. Когда Порошина устранили от обязанностей наставника цесаревича, он готовил для своего ученика сочинение под заглавием «Государственный механизм»; кроме того, Порошин занимался еще разработкой особого курса математических наук в связи с военными. Все это пропало бесследно.

Теперь на первый план выдвинулся Остервальд, давнишний недоброжелатель Порошина, олицетворявший собой полную педагогическую посредственность. Это был человек честный, но самого дюжинного ума, не имевший основательных сведений. Великий князь, по свидетельству Порошина, не любил его. Затем на сцену явился Григорий Николаевич Теплов;[1] он принялся за дело преподавания

---

[1] Теплов состоял в то время у собственных ее величества дел и у принятия челобитен; он умер сенатором в 1779 году.

неумелым образом и навел на цесаревича скуку чтением бесконечных сенатских процессов.[1]

Из числа прочих преподавателей выделялись еще Николаи, Лафермьер и Левек; если не руководствоваться предвзятыми мыслями, то по отношению к этим трем лицам нельзя признать сделанный Паниным выбор неудовлетворительным.

Обратимся теперь к разъяснению вопроса, имевшего столь роковое значение в жизни Павла Петровича, а именно: каким образом проявилась в цесаревиче неудержимая страсть к экзерцирмейстерству, к парадомании, одним словом, к «мелкостям» военной службы?

Трудно объяснить это странное явление иначе, как наследственным даром, перешедшим от отца к сыну[2]; действительно, в цесаревиче всецело воскресло военное дурачество, «militaire marotte» Петра III. По замечанию законоучителя цесаревича, Платона, «великий князь был особливо склонен к военной науке». Конечно, не воспитательная система Никиты Ивановича Панина была тому причиной; словом и делом он отклонял от своего воспитанника соблазн подобного увлечения. Печальный опыт прошлого царствова-

---

[1] Гельбиг, недолюбливая вообще Теплова, утверждает, что он принялся за дело преподавания с утонченной злобой (mit studierter Bosheit), чтобы вселить в цесаревича отвращение к государственным делам». (Russische Günstlinge, Tübingen, 1809, p.316). В данном случае, равно как и вообще в воспитании цесаревича, напрасно отыскивают обдуманную злонамеренность и какой-то сознательный макиавелизм; подобное заблуждение простительно разве только иностранным писателям в их сказаниях о России.

[2] Автобиография Платона, митрополита московского. Москва. 1887 г., стр. 30.

«Великий князь был горячаго нрава, понятен, но развлекателен. Разные придворные обряды и увеселения немалым были препятствием учению. Граф Панин был занят министерскими делами, но и к гуляньям был склонен. Императрица самолично никогда в сие не входила. Однако, высокий воспитанник, по счастию, всегда был к набожности расположен, и разсуждение ли или разговор относительно Бога и веры были ему всегда приятны. Сие, по примечанию, еще ему внедрено было со млеком покойною императрицею Елисаветою Петровною, которая его горячо любила и воспитывала приставленными от нея весьма набожными женскими особами. Но при том великий князь был особо склонен и к военной науке и часто переходил с одного предмета на другой».

Некоторые части отзыва Платона о цесаревиче нуждаются, конечно, в подробных комментариях и поправках, в особенности, сказанное относительно приставленных императрицей Елизаветой Петровной набожных женских особ. Но они не у места в нашем кратком очерке жизни императора Павла Петровича.

ния служил для Панина достаточным побуждением, чтобы относиться с большей осмотрительностью ко всем военным упражнениям цесаревича, и в этом отношении между Никитой Ивановичем и Порошиным царствовало полное единомыслие. По свидетельству Порошина, великий князь «всякий день до Никиты Ивановича, а при Никите Ивановиче раза два только учил ружьем и потом никогда». Тем не менее, справедливость французской поговорки: «chassez le naturel, il revient au galop», оправдалась и в рассматриваемом случае; военное дурачество (militaire marotte), несмотря на все принятые меры предосторожности, окончательно восторжествовало в свое время в уме цесаревича.

Порошин следующим образом разъясняет свою точку зрения на рассматриваемый нами вопрос:

«Его императорское высочество приуготовляется к наследию престола величайшей в свете империи Российской; многочисленное и преславное воинство ждать будет его мановения, науки и художества просить себе проницания его и покровительства, коммерция и мануфактуры неутомимаго попечения и внимания, пространныя реки удобнаго соединения требовать будут; словом сказать, обширное государство неисчетные пути откроет, где может поработать учение, остроумие и глубокомыслие великое, и по которым истинная слава во всей вселенной промчится и в роды родов не умолкнет. Таковыя ли огромныя дела оставляя, пуститься в офицерския мелкости? Пренебрежено б тем было великое служение, к коему его императорское высочество призывает промысл Господний. Я сам до военнаго дела великой охотник. Главнейшее мое упражнение всегда было в нем и в тех науках, кои ему основанием служат, кои его освещают и приводят в систему. Но в сем случае не своей охоте следую, а беру в разсуждение звание государя и благополучие сограждан своих. Я не говорю, чтоб государю совсем не упоминать про дело военное. Никак, в том опять было бы сделано упущение; но надобно влагать в мысли его такия сведения, кои составляют великаго полководца, а не исправнаго капитана или прапорщика. Естьли-б кто сказал, что надобно собой показать пример в повиновении и в исправности офицерской, тому б ответствовал я, что армия у нас уже ныне не такая, как была до первой Нарвской битвы, что порядок и подчинение в оной господствуют, и что ежели из десяти полков в одной роте и сыщется какой прапорщик безпорядочный, для того потребно ли великому государю

спускаться до неприличной ему низости; капитан наказанием или своим примером даст таковому наставление. Сверх сего, в безделки пускаться весьма опасно. Оне и такого человека, который совсем к ним не склонен, притянуть к себе могут. Лености нашей то весьма угодно, а тщеславие не преминет уже стараться прикрыть оную видом пользы и необходимости. Легче в безделках упражняться, нежели в делах великих. Таким образом, пораздумавшись, положил я в себе твердо, чтоб государю к оным и тому подобным мелочам отнюдь вкусу не давать, а стараться как можно приучить его к делам генеральным и государския великости достойным».

При таком взгляде на дело воспитания наследника понятно, почему Порошин с таким восторгом упоминает об одном разговоре, происходившем в присутствии великого князя:

«Обедали у нас графы Захар и Иван Григорьевичи Чернышевы, его превосходительство Петр Иванович Панин, вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын, Михайло Михайлович Философов, Александр Федорович Талызин и князь Петр Васильевич Хованской. Говорили по большой части граф Захар Григорьевич и Петр Иванович о военной силе Российскаго государства, о способах, которыми войну производить должно в ту или в другую сторону пределов наших, о последней войне прусской и о бывшей в то время экспедиции на Берлин, под главным предводительством графа Захара Григорьевича. Все оные разговоры такого роду были, и столь основательными наполнены разсуждениями, что я внутренно несказанно радовался, что в присутствии его высочества из уст российских, на языке российском, текло остроумие и обширное знание».[1]

Случилось также, что граф Захар Григорьевич рассказывал «с насмешкою, с какою точностию покойный король прусской отправлял военную службу, тако ж и о немецких принцах, кои, когда в службе, всю по званию своему, которое на себя приняли, должность отправляют с таким

---

[1] Записки Порошина, стр. 515.

Случалось, что речи, произносимые Петром Ивановичем Паниным «твердым и необыкновенным голосом», приводили даже в восторг Порошина; ему казалось, что он видит перед собой «именитаго некоего из тех мужей, коих великим и отменным дарованиям, описанным Плутархом, толь много мы дивимся» (стр. 363).

повиновением и с таким подобострастием, как и партикулярные в равных в ними чинах по армии».

Но не все бывавшие у цесаревича рассуждали подобно графу Чернышеву; Порошин замечает, что другие, случалось, говорили иное и находили в прусских порядках «пример для подражания его высочеству». Отмечая этот факт, Порошин сопровождает его рассуждением:

«Сие подало мне причину в себе подумать, каково б было, естьли б в его высочество вложить охоту к подражанию оным примерам? И вот какия разсуждения у меня обращались. Немецкие принцы имеют по большей части весьма малые владения; в разсуждении оных и намерения их заключены в тесных пределах; не представляются мне они иначе, как людьми партикулярными, окруженными только государской пышностию в уменьшительном виде; между тем пышность разжигает славолюбие; оному куды удобнее обратиться, как на Марсово поле? Своего войска, которое бы войском назвать было можно, у них нет; для того служат, стараются отличить себя в трудах и подвигах военных; таковыя старания иногда до самых излишних малостей распространяют».

Из этих слов Порошина можно вывести еще и другое заключение, что в присутствии цесаревича свободно высказывались мнения, идущие даже совершенно вразрез со взглядами на этот предмет Панина. Всего более пользовался этой свободой родной брат Никиты Ивановича, генерал Петр Иванович Панин; он постоянно посещал великого князя до отъезда в армию в 1769 году и содействовал в немалой степени развитию военных наклонностей в юном наследнике. В своих беседах Петр Иванович охотно касался также современных военных порядков и критически, по выражению Порошина, «несколько сатирически», относился к военным порядкам и мероприятиям императрицы Екатерины. Подобные суждения не прошли для цесаревича без последствий и, оставив глубокий след в его впечатлительном уме, несомненно, повлияли на склад его понятий. Никита Иванович, под влиянием ненависти к Екатерининскому режиму, вероятно, не дал себе отчета в том, к чему могут привести со временем эти критические беседы, и, конечно, со своей стороны, еще содействовал установлению некоторой близости между братом и наследником.

Петр Иванович Панин распространял иной раз свои рассуждения и на другие чуждые ему сферы, применяя к ним

свое военное мировоззрение. Так, например, Порошин пишет:

«Его превосходительство Петр Иванович разсуждал о дисциплине военной и о введении ея между протчими чинами в государстве. Сказывал при том некоторые примеры оной дисциплины, примеченные его превосходительством по Германии, во всех правительствах, между гражданами и между крестьянами. Его превосходительство Никита Иванович разсуждал, какия бы у нас можно ввести штатския учреждения, чтобы такой же порядок везде господствовал».

Беседы двух сановников оставили след в уме их юного слушателя; известно, каким образом Павел Петрович впоследствии занялся разрешением этой задачи, и с каким рвением он принялся водворять всюду дисциплину, к общему горю своих верноподданных.[1]

К числу единомышленников Петра Ивановича Панина следует отнести также совершенную бездарность, полковника и командира Московского пехотного полка, Михаила Федоровича Каменского, возведенного в 1797 году Павлом I в звание генерал-фельдмаршала и оказавшего Александру I такую печальную услугу в войну 1806 года. Петр Иванович представил Каменского цесаревичу, который пожелал его чаще видеть. В августе 1765 года Каменский был послан в лагерь под Бреславлем, в котором Фридрих Великий собирал и обучал свои войска. По возвращении он поднес цесаревичу 16-го октября описание прусского лагеря, им сочиненное; этой апологии прусских военных порядков и самого короля Фридриха II предшествовало письмо на имя Павла Петровича, в котором помещено было следующее оригинальное заключение.[2]

---

[1] По мнению Порошина, следовало относиться с крайней осторожностью к тому, что говорилось вокруг цесаревича, даже в том случае, когда казалось, что великий князь не слушает разговора и не принимает в нем участия: «Часто случается, — записал Порошин 9-го октября 1764 года, — что великий князь, стоя в углу, чем нибудь своим упражнен и, кажется, совсем не слушает, что в другом углу говорят: со всем тем бывает, что недели через три или более, когда к речи придет, окажется, что он все то слышал, в чем тогда казалось, что никакого не принимал участия. Для того-то я всегда говорил и говорю, что в присутствии его высочества наперед подумать надобно самому с собою, и тогда говорить. Все разговоры, кои он слышит, мало-помалу, и ему самому нечувствительно, в основание собственных его разсуждений входят, что неоднократно мною примечено». (Записки, стр. 50).

[2] «Русский Архив» 1873 года, книга 2-я, стр. 1552—1570, статья Л.Майкова «М.Ф.Каменский у Фридриха II в 1765 году».

«Какую бы помощь, например, получила Греция при Маратоне от всей премудрости философов своих, вольных и других наук и художеств, еслибы не было в ней Мильтиада и десяти тысяч, напоенных его духом? И не должен ли всякий признатися, что все их знание служило только к сочинению либо подлых песен для мягчения своих победителей, или к возстановлению позорных для себя же трофеев. Но чтобы сократить, то оставлю тьму таких примеров и приобщу только то, что и славный прадед ваш, давая подданным своим почти во всем пример собою, не погнушался быть солдатом, ни матросом, а не был никогда подьячим, ни протоколистом ни одной коллегии, ниже сената».

В этом письме встречаются и другие не менее замечательные риторические красоты, которые клонились к прославлению Павла Петровича. Так, Каменский писал:

«Хотя правнуку Петра Великаго меньше всех нужны примеры иностранных государей, однако оное (т.е. описание Бреславльскаго лагеря) напомнит, по крайней мере, вашему императорскому высочеству недавно прошедшее счастливое время для российскаго войска, когда оно удостоено было видеть лицо своего государя после сорока лет терпения».[1]

Цесаревичу поднесенное Каменским «описание», вероятно, очень понравилось, Никите же Ивановичу Панину, может быть, в меньшей степени, а в Порошине оно должно было вызвать негодование. Появилось жестокое, по резкости, рукописное возражение на произведение Каменского, которое не без основания приписывают перу Порошина; стоит привести из него несколько строк, чтобы убедиться, до какой степени возмутился неизвестный возражатель неправдами, высказанными панегиристом Фридриха II. Он писал: «Сколько в вашем приношении строк, столько месть,

---

[1] Л.Майков видит в этих строках письма Каменского намек на недавнее кратковременное царствование Петра III. Но едва ли это так. Каменский называет цесаревича государем и намекает на красносельские маневры 1765 года, в которых принимал участие великий князь: со времени кончины Петра Великого тогда действительно прошло сорок лет. Это предположение тем более вероятно, что вслед за намеком на «счастливое время» Каменский переходит к прославлению Екатерины II, призывая Европу под Дудорово, чтобы видеть «монархиню нашу, подверженную той же суровости воздуха, как и последний солдат ея войска, и презирающую все безспокойства в пример своим подданным». Ни в каком случае похвала императрицы не была бы сопоставлена с припоминанием о Петре III.

по которым падая ваш разум расшибался... Не скоро вы у нас сыщете такого подьячего, который бы в трех страницах столь много пустоши намолол».

Остается вернуться несколько назад и упомянуть в немногих словах о красносельских маневрах, состоявшихся в июне месяце 1765 года, в которых принимал также участие цесаревич, по званию своему, как полковник Кирасирского полка.

18-го июня последовал отъезд в Красное Село. Цесаревич страшно волновался, и, как пишет Порошин: «У него все лагерь в голове был. Насилу я уложил его, сказав, что, ежели все о том думать и худо спать будет, не выспится, и завтра Никита Иванович и в армию перед сорок тысяч не повезет. Идучи еще к постели, жмурился, для того чтоб поскорее заснуть».

19-го июня оделся цесаревич в сапоги и в колет и поехал к войскам в лагерь. Армия стояла в две линии, а главная квартира находилась на отлогости горы Дудоровской. Великий князь в кирасе и во всем уборе ожидал императрицу на правом фланге своего полка. «Государыня, поровнявшись против его, приказала ему за собою ехать, — пишет Порошин. — Пока мимо полку его ехала, то он за нею ехал в кирасе и держа палаш в руках; как же скоро полк проехали, то палаш вложил он в ножны, и Никита Иванович кирасу велел с него снять; и так поехали за государыней. Тут его высочество подал рапорт бригадному своему командиру, Ивану Петровичу Салтыкову... Государыня была верхом же в мундире мужском Конной Гвардии... Сказывали, как все кирасиры обрадованы, что видели государя перед фронтом».

На следующий день, 20-го июня, начались маневры. Одною стороной командовал Петр Иванович Панин, другою распоряжалась сама императрица. Солдаты «с жадною радостию» смотрели на цесаревича. 22-го июня заболел Никита Иванович и 23-го числа принимал слабительное; вследствие этого цесаревич выезжал в фаэтоне, так как Панин не велел ему без себя ездить верхом. 25-го июня произошла генеральная баталия. К этому дню Никита Иванович оправился от болезни и выезжал вместе с наследником. По свидетельству Порошина, великий князь очень устал. «На месте баталии, верхом сидя, покушал кренделя. Домой приехавши и не ужинал, лег опочивать; было в начале одиннадцатаго».

28-го июня императрица праздновала восшествие свое на престол. Был парадный обед и бал. Цесаревич, протанцевав пять менуэтов, занемог. «Рвало великаго князя, — пишет Порошин, — напоивши чаем, положил его Никита Иванович спать». На другой день цесаревич оправился, и 30-го июня двор возвратился в Петербург.

Красносельские маневры, как и следовало ожидать, не обошлись без неблагоприятных последствий для цесаревича; лагерная жизнь произвела на него чрезвычайное впечатление; проявилось охлаждение к занятиям и увлечение военными «мелкостями». Записи Порошина позволяют проследить эти явления. 1-го июля: «учился и так и сяк».

2-го июля: «Никита Иванович морализировал о непостоянстве и легкомыслии великому князю, и я очень рад был, что то же самое ему говорил, что от меня прежде неоднократно говорено его высочеству». 9-го июля: «Все я примечаю, что он plus dissipé. За убиранием волосов считал, сколько он верст на своем веку переездил. Потом заупрямился несколько». 11-го июля: «Sehr kindisch и dissipé. После обеда резвился, со штандартом бегал (к поясу привязал коклюшки)». 14-го июля: «Во время обувания был у нас разговор, в каких случаях подчиненной может и должен не повиноваться своему вышнему. Одевшись, забавлялся великий князь, разставливая и катая по столу шашки вместо кавалерии и инфантерии». 25-го июля: «Его превосходительство Никита Иванович сказывал между прочим за столом о наследном принце шведском (будущий Густав III), что он на пятнадцатом году своего возраста окончил уже все назначенныя для него учения; что на одиннадцатом году экзаменован был в математике, в истории и в географии; что часа три стоял, как его спрашивали; что как после сел за стол кушать сам-друг с своим гофмейстером, и сей его спрашивал, не прикажет ли привесть музыкантов, что его высочество утомился, и тем поразвеселиться может, то принц отвечал ему, что он музыки слушать не хочет, а чтоб для увеселения заставил он кого в слух читать Вольтерову Генриаду. Наш его высочество, государь цесаревич, во время сей повести сидел смирнешенько и, как называется, ни кукнул. Мне весьма приятно было, что Никита Иванович сказал сию сказочку, которая великому князю весьма послужить может побуждением в науках. Я не преминул после еще повторить ее государю цесаревичу со своими кое-какими коментариями. После обеда учился у меня его высочество

очень хорошо, что я некоторым образом действию оной сказочки приписываю».

Для выяснения любопытной черты в характере Павла Петровича, насколько неустанно работало его пылкое воображение, направленное к тому же с юных лет постоянно на воинские мечтания, достаточно привести любопытную запись Порошина от 5-го сентября 1765 года:

«Во время обувания изволил мне сказывать его высочество, что как он вчерась кругом билиарду бегал, а я с г. Остервальдом в билиард играл, то представлялося ему, будто происходит баталия, и он с одним шквадроном прогнал целый полк: побитых никого не было. От сего взял я случай спросить государя великаго князя и о прочих временах, когда он изволил кругом бегать и голосом своим то пальбу, то барабанной и литаврной бой производить и разныя распоряжения делать, какими тогда играми живое его воображение увеселяется. Удовольствовал его высочество мое желание и изволил мне о том разсказывать. Давно уже, давно, т.е. в 1762 году, представлялося ему, что двести человек дворян набрано, кои все служили на конях. В сем корпусе был он в воображении своем сперва ефрейт-капралом, потом вахмистром, и оную должность отправлял еще в то время, как мы отсюда в оном годе в Москву ехали. Вот как мы издалека взяли историю воображения его высочества! Из онаго корпуса сделался пехотный корпус в шести стах, потом в семи стах человеках. Тут его высочество был будто прапорщиком. Сей корпус превратился в целый полк дворян, из 1.200 человек состоящий. Тут его высочество был поручиком и на ординарции у генерала князя Александра Михайловича Голицына. Отселе попал он в гвардию в Измайловский полк в сержанты и был при турецком посланнике. Потом очутился в сухопутном кадетском корпусе кадетом. Оттуда выпущен в Новгородский карабинерный полк поручиком; теперь в том же полку ротмистром. Таким образом его высочество, в воображении своем переходя из состояния в состояние, отправляет разныя должности и тем в праздное время себя иногда забавляет».

В связи с этим рассказом находятся также и следующие записанные Порошиным случаи.

Рассматривая планы и виды Парижа, великий князь вообразил себя полковником, стоящим с Кирасирским полком во французской столице, и назначал, где бы кому жить. «Называл себя duc de St.-Cloud и распределял, какое бы у

него войско было, в каком числе и как одето». — «Изволил делать государь цесаревич расположение об армии своей, если он в Иль-де-Франсе правительствовал и был duc de St.-Cloud».

Наконец, 16-го декабря 1765 года, Порошин отметил: «ныне также еще обращается в мыслях какой-то corps de chevalerie».

По странной случайности Мальтийский орден также послужил предметом игры для воображения будущего великого магистра. «Читал я», — писал Порошин 28-го февраля 1765 года, — великому князю Вертотову историю об ордене Мальтийских кавалеров. Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии свой флаг адмиральский, представлять себя кавалером Мальтийским». Через несколько дней, 14-го марта, Порошин снова занес в дневник указание на подобную же забаву: «Представлял себя послом Мальтийским и говорил перед маленьким князем Куракиным речь».

Из немногих выписок, сделанных нами из дневника Порошина, с достаточною ясностью обрисовывается тот особенный, созданный воображением цесаревича военный мир, в котором беспрерывно витали его мысли. Все это свидетельствует вместе с тем о крайне возбужденном, ненормальном состоянии духа великого князя, начиная уже с десятилетнего возраста. С годами детские мечты Павла Петровича должны были обратиться к мысли, каким образом провести одолевавшие его грезы в действительную жизнь. Долго он готовился к роли преобразователя, призванного поддержать расшатанное, по его мнению, правительственное здание, — роли, к которой он неуклонно стремился, а воображение тем временем продолжало работать с усиленною деятельностью, страсти разыгрывались, рассудок затемнялся; когда же для Павла настал наконец этот радостный, давно желанный день, то он в самое короткое время привел своими действиями в изумление Россию, а за ней и всю Европу! Нас же должно спасти от удивления и недоумения внимательное изучение дневника Порошина.

К несчастью для русской историографии, удаление Порошина прервало нить его правдивого, бесценного рассказа. Как уже выше было замечено, начиная с 1766 года, мы лишены возможности следить день за днем за развитием своеобразного характера Павла Петровича. Но, тем не менее, и того, что завещало нам честное перо Порошина, вполне достаточно, чтобы сказать: пред нашим взором, в

лице десяти- и одиннадцатилетнего мальчика является законченный образ будущего императора с его привлекательными и дурными особенностями характера, с его увлечениями и намерениями, принимавшими фантастический оттенок; пред нами обрисовывается тот «prince adorable, despote implacable», о котором высказывался впоследствии Суворов в столь метких выражениях. Тем более приходится сожалеть о том, что злой рок вырвал из рук Порошина его перо; если бы он продолжал свой дневник, для нас сделались бы вполне понятными неизбежные пагубные последствия, сопряженные с принятием Павлом Петровичем самодержавной власти; вместе с тем выяснилась бы роковая необходимость, заставившая Екатерину помышлять об отстранении цесаревича от престола. Таким образом стало бы очевидно, что в этом случае ею руководило не слепое предубеждение, не отсутствие материнских чувств, но глубокая государственная мудрость и политическая проницательность, служившие отправной точкой ее начинаний и в вопросе: царствовать ли Павлу или нет?

II

В 1767 году императрица Екатерина предполагала совершить поездку по Волге, а в Москве побывать для важного дела, упрочившего славу ее царствования; оно заключалось в созыве представителей от всех сословий для образования комиссии для составления проекта нового уложения. Об этом возвещено было манифестом от 14-го декабря 1766 года.

Цесаревич Павел Петрович должен был сопровождать императрицу во время задуманного ею путешествия, к которому, как видно из записок Порошина, начали готовиться заблаговременно. 10-го ноября 1765 года он занес в свой дневник следующие строки: «Граф Иван Григорьевич (Чернышев) приносил к его высочеству показывать модель той галеры, кою делать будут для астраханского «походу» государю цесаревичу. Смотрел ее его высочество с великим удовольствием и изволил чертить план и советовал с графом Иваном Григорьевичем, как расположить каюты».

Лично для цесаревича эти предположения кончились плачевным образом. Павел Петрович, по прибытии в 1767

году в Москву, снова тяжко заболел, и императрице пришлось совершить путешествие без наследника.[1]

Во время пребывания двора в Москве решен был весьма важный для цесаревича вопрос относительно его Голштинского наследства. Императрица Екатерина именем несовершеннолетнего сына отказалась от прав на Шлезвиг и уступила Дании герцогство Голштинское в обмен на графство Ольденбургское и Дельменгорстское, предназначенные в пользу младшей линии Голштейн-Готторпского дома. За великим князем и его наследниками должен был остаться титул герцога Шлезвиг-Голштейн-Готторпского. В этом смысле в апреле 1767 года подписан был в Копенгагене предварительный договор, который должен был восприять окончательную силу по достижении великим князем Павлом Петровичем совершеннолетия. Императрица Екатерина утвердила договор с Данией в Москве, в сентябре 1767 года.[2]

Все переговоры с Данией велись с ведома и при содействии Никиты Ивановича Панина, который находил полезным для России освобождение цесаревича от Голштинского наследства и в этом смысле влиял на своего воспитанника задолго до подписания договора.[3]

В докладе, представленном императрице Екатерине по голштинскому вопросу, Панин писал между прочим:

«Составление особливой в севере общей системы есть и должно быть первым предметом настоящей российской политики. Но пока малое Голстинское княжество пребудет в нынешнем положении своем, до тех пор не может никогда прочный быть в севере покой, следовательно, ниже состояться в нем такая независимая от посторонних держав система, которая бы одна все равновесие в Европе содержала... Неприлично державе Российской иметь в Германии такия крохи и в смущенном Германской империи корпусе

---

[1] «Поход» Екатерины II по Волге начался 2-го мая в Твери и окончился 5-го июня в Симбирске. 16-го июня императрица возвратилась в Москву.

[2] Окончательный договор с Данией утвержден был в Царском Селе уже после совершеннолетия великого князя Павла Петровича в 1773 году.

[3] Порошин рассказывает в записи от 26-го августа 1765 года, что по случаю кончины римского императора Сальдерн заметил, что эта потеря должна быть особенно чувствительна цесаревичу, как принцу немецкой империи. Никита Иванович Панин и граф Захар Григорьевич Чернышев также присоединились к этой шутке. Цесаревич отвечал: «Что вы ко мне пристали, какой я немецкий принц, я великий князь российский». (Стр. 405).

то от австрийскаго дома ленное господство, поверхность, или же и одне прицепки имперскаго надворнаго суда сносить, то с сильнейшими соседями вступать в бездельныя о границах хлопоты и в соперничество о власти и юрисдикции. По настоящим российской политики правилам, не надобно ей к истинному ея приращению ни одной пядени земли в Германии. Славнее для нас ничего там не иметь, а вместо того сильными нашими союзами, особливо же, общим северным, делать всегда перевес, как в Европе, так наипаче немецкой империи при всяком том случае. Сих ради причин представленный Даниею обмен графств Ольденбургскаго и Дельменгорстскаго имел бы для Российской империи к тому единственно служить, чтоб обратить оный в пользу и справедливое удовлетворение родственникам и ленным свойственникам его императорскаго высочества великаго князя».

Если так рассуждал Панин, верный защитник всех интересов цесаревича и безусловный противник малейшего их нарушения, то спрашивается, каким же образом можно видеть в рассматриваемом соглашении с Данией какое бы то ни было преднамеренное желание Екатерины лишить сына самостоятельности, как герцога Голштинского, пользуясь к тому же его несовершеннолетием? А между тем подобное мнение высказывалось в печати не раз и не может быть признано исторической критикой.

Деятельным посредником в переговорах по голштинским делам служил датский посланник Ассебург, находившийся с Паниным в дружеских отношениях еще со времени пребывания Никиты Ивановича в Фокгольме. Ассебург вместе с прочими дипломатами переселился в 1767 году в Москву. Когда последовала ратификация договора с Данией, Ассебург покинул Россию и перед отъездом из Москвы имел 4-го февраля 1768 года прощальную аудиенцию у цесаревича, которого он рисует в самом привлекательном виде:

«Его императорское высочество ответил на речь, с которой я имел честь обратиться к нему, не только в выражениях, преисполненных внимания и уважения к королю, но он коснулся даже предмета договора, недавно заключеннаго в Копенгагене, сказав, что он с удовольствием видит, что на севере исчезают всякия несогласия, и что меры, принятыя императрицею, его августейшей матерью, в целях упрочить доброе согласие, встретят с его стороны полное сочувствие и ту же готовность привести их в исполнение. Великий князь, умеющий придать приятность всему, что он говорит,

прибавил несколько слов, крайне лестных для меня, и заставил меня очень живо почувствовать печаль от разлуки с ним. Нельзя совместить вместе бóльшаго ума, бóльшей мягкости и бóльшаго очарования, чем их сказывается в его поступках и на его лице. (Il n'est pas possible de réunir plus d'esprit, plus de douceur et plus de charmes, qu'il n'en fait connaître dans ses actions et dans sa figure)».

30-го июля 1767 года последовало открытие собравшейся к этому времени в Москве комиссии об уложении. Императрица выехала из Головинского дворца в Успенский собор в парадной карете с большой торжественностью; государыня облеклась в императорскую мантию, имея на голове малую корону. За кавалергардами ехал, также в карете, цесаревич Павел Петрович. При открытии, после обедни, комиссии в аудиенц-зале Кремлевского дворца, великий князь наследник стоял по левую сторону трона с правительственными лицами, придворными и иностранными министрами. По правую сторону императрицы находился стол, покрытый красным бархатом, на котором лежали: наказ комиссии, обряд управления комиссией и генерал-прокурорский наказ. Таким образом цесаревич был свидетелем необычайного явления в русской истории, вызванного к жизни гением Екатерины. К сожалению, история не сохранила никакого свидетельства о том, какое впечатление московское торжество произвело на наследника, и какие мысли оно возбудило в его уме.

Празднуя день своей коронации, 22-го сентября, в Москве, императрица Екатерина пожаловала графское достоинство Никите Ивановичу Панину совместно с братом его Петром Ивановичем. Указ, возвестивший о том публике, был следующего содержания:

«Тайный действительный советник Никита Панин многим попечением о воспитании нашего любезнейшаго сына доказал нам ревность и усердие свое; а притом и порученныя сверх того многия государственныя, как внутренния, так и иностранныя дела исправлял со многим искусством и успехом. Також и брат его, генерал Петр Панин, служил нам всегда верно и усердно. В разсуждении чего всемилостивейше жалуем их и потомство их графами, повелевая сенату, заготовя им на графское достоинство дипломы, поднести нам в подписанию».

14-го декабря 1767 года состоялось в Москве последнее заседание комиссии депутатов. Маршал Александр Ильич

Бибиков объявил депутатам высочайшую волю, чтобы работы комиссии продолжались в Петербурге, с 18-го февраля следующего года.

В начале 1768 года двор возвратился в Петербург.

Распространившаяся в этом году оспенная эпидемия не пощадила и лиц высшего петербургского общества. Возник вопрос о том, чтобы ввести в России оспопрививание. Екатерина решилась собственным примером доказать пользу этого спасительного средства, а затем воспользоваться им также для цесаревича. С этой целью императрица пригласила из Англии известного доктора Димсдаля.

Немедленно по прибытии его в Петербург, в начале августа 1768 года, он был представлен императрице, и затем, после почти двухмесячных опытов и приготовлений, совершилось событие, решившее собой участь оспопрививания в России. 12-го октября 1768 года Димсдаль привил оспу императрице Екатерине в Зимнем дворце, после чего государыня на другой день переехала на время в Царское Село, во избежание толков и беспокойства между жителями столицы. 1-го ноября Екатерина после молебна по случаю избавления от оспенной болезни возвратилась в Петербург; цесаревич встретил ее в Зимнем дворце.

Испытав на самой себе привитие оспы, Екатерина побудила и цесаревича обезопасить себя подобным же средством. Прививка оспы наследнику была несколько задержана тем, что Павел Петрович заболел 22-го октября летучей оспой. Когда же болезнь благополучно миновала, Димсдаль без замедления привил цесаревичу оспу 1-го ноября.[1] Предварительно лейб-медик Крузе сообщил Димсдалю точные и основательные сведения о болезнях, которым подвергался прежде великий князь, и о настоящем состоянии его здоровья; лейб-хирург Фуссадье также представил записку по этому предмету.

По поводу последней Димсдаль, в воспоминаниях о своем пребывании в России,[2] пишет:

---

[1] Подробности о привитии Димсдалем оспы императрице Екатерине и цесаревичу Павлу Петровичу можно найти в исследовании барона Бюлера: «Два эпизода из царствования Екатерины II». (Русский Вестник 1870 и 1871 годов).

[2] Сборник И.Р.И.О., т. 2-й (Записка барона Димсдаля о пребывании его в России в 1768 году), стр. 313.

«Никто, я думаю, не прочтет этого отчета, не изумившись, как неосновательно обращались с великим князем во время его детства. Г.Фуссадье уверял, что тому была причиною чрезмерная нежность покойной императрицы Елисаветы, которая взяла на свое попечение наследника империи с самаго дня его рождения. Хотя она вообще была государыня весьма осторожная, но, к несчастию, она имела предубеждение в пользу некоторых старых дам, коим она вверила вполне попечение о воспитании великаго князя. Несмотря на все эти неприятныя обстоятельства, я с радостию убедился, что великий князь был прекрасно сложен, бодр, силен и без всякаго природнаго недуга».[1]

Димсдаль посвятил великому князю еще следующие строки, могущие служить для характеристики 14-летнего наследника.

«Цесаревич и великий герцог голштинский Павел Петрович, единственный сын ея величества, росту средняго, имеет прекрасныя черты лица и очень хорошо сложен. Его телосложение нежное, что происходит, как я полагаю, от сильной любви к нему и излишних о нем попечений со стороны тех, которые имели надзор над первыми годами наследника и надежды России. Несмотря на то, он очень ловок, силен и крепок, приветлив, весел и очень разсудителен, что не трудно заметить из его разговоров, в которых очень много остроумия. Что касается до его воспитания, то едва ли есть принц, которому была оказано более заботли-

---

[1] Ближайшее знакомство с императрицей навсегда сделало Димсдаля почитателем Екатерины. Он пишет: «Екатерина II росту выше средняго; в ней много грации и величия, так что даже, еслибы можно было забыть о ея высоком сане, то и тут ее признали бы за одну из самых любезных особ ея пола. К природным ея прелестям прибавьте вежливость, приветливость и благодушие, и все это в высшей степени; при том, в ней столько разсудительности, что она проявляется на каждом шагу, так что ей нельзя не удивляться. Ея величество говорит по-русски, по-немецки и по-французски в совершенстве, читает также свободно по-итальянски, и хотя она не знает по-английски столько, чтобы говорить на этом языке, но понимает достаточно все, что говорят, — это было для меня очень полезно, когда я не мог довольно ясно выразиться по-французски. Императрица примерным образом соблюдает обряды греческой церкви; за столом она чрезвычайно умеренна и употребляет в питье только один или два стакана воды с вином. Она встает очень рано и занимается неутомимо государственными делами; поощрение и преуспеяние свободных искусств, благо ея подданных — вот предметы, на которые в мирное время постоянно и ежедневно были обращены ея великия дарования».

ваго внимания (auquel on a rendu plus de justice). Он имеет по всем наукам отличных учителей, которые каждый день приходят его наставлять, и им он посвящает большую часть своего времени. Утро проводит он весьма прилежно с ними; Около полудня он отправляется изъявить свое почтение императрице; после того он проводит несколько времени с дворянами (nobles), которые имеют честь обедать за его столом. Окончив обед, после кофе, он отправляется к своим учебным занятиям, в свои внутренние покои, до самаго вечера».[1]

Немедленно по выздоровлении цесаревича щедрые награды посыпались на Димсдаля; он был пожалован в лейб-медики ее величества, с чином действительного статского советника и пожизненной пенсий в 500 фунт. стерл. в год, а также в бароны Российской империи. Сверх того, ему были обещаны миниатюрные портреты императрицы и цесаревича, чтобы они всегда сохранялись в семействе Димсдаля в память заслуг, оказанных им России. Сопровождавший Димсдаля сын его, служивший отцу помощником, получил золотую табакерку с брильянтами.

20-го ноября последовал сенатский указ о благополучном привитии оспы императрице и цесаревичу; все верноподданные приглашались принести благодарение Богу, а депутаты от разных ведомств и члены комиссии составления уложения — поздравить лично императрицу; тут же сказано было, что с ее разрешения, на будущее время, установлено праздновать 21-е ноября во всех городах империи, так как с этого дня начало распространяться по России целительное оспо-

---

[1] Сборник И.Р.И.О., т. 2-й, стр. 321.

Граф Н.И.Панин принял Димсдаля на другой день после его приезда в Петербург. Относительно цесаревича он сказал ему, что великий князь решится на операцию, если только Димсдаль ее посоветует: «Он желает даже, – прибавил Панин, – чтобы она была произведена. Поэтому, прежде чем будет приступлено к делу толикой важности, я должен просить вас исследовать предварительно его телосложение и состояние его здоровья. Его высочество знает, что вы приехали, хочет вас видеть и приглашает нас кушать с ним завтрак. Смею уверить вас, что его высочество будет весьма доступен и вполне расположен познакомиться с вами. Будьте с ним сколь возможно больше, наблюдайте за ним во время стола и при его забавах, изучайте его телосложение. Не будем торопиться, но, когда каждое обстоятельство будет достаточно соображено, представьте ваше донесение с полною свободою». (Стр. 300).

прививание.[1] Отвечая на поздравление сената, Екатерина между прочим сказала: «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои, не знав пользы сего способа, онаго страшась, оставалися в опасности. Я сим исполнила часть долга звания моего, ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагает душу свою за овцы».[2]

Несколько позже, в 1772 году, сенат поднес императрице медаль в память введения оспопрививания в России. На одной стороне медали изображен был поясной портрет государыни в короне и мантии, а на другой — храм Эскулапа, пред которым лежит поверженная гидра. Из храма выходит императрица и ведет с собой наследника; оба — исцеленные путем привития оспы. Навстречу им спешит обрадованная Россия с младенцами; на верху надпись: «Собою подала пример», а внизу: — «1768 год, октября 12-го» (день привития оспы Екатерине II).

Летом 1771 года Екатерина имела случай убедиться в справедливости мнения, высказанного Димсдалем относительно состояния здоровья цесаревича, а именно, что, несмотря на нежное телосложение, наследник, все-таки, силен и крепок, не страдая при этом никаким природным недугом. Находясь в городе с графом Никитой Ивановичем, цесаревич в начале июня месяца внезапно заболел горячкой, и некоторое время положение его внушало окружавшим его врачам сильнейшие опасения. Екатерина поспешила прибыть из Петергофа в город и ежедневно навещала больного сына. Народ тревожился не менее двора, смотря на это печальное явление, как на государственное бедствие. По

---

[1] Сенат установил также и порядок празднования 21-го ноября. Положено было, после благодарственого молебна, производить целый день колокольный звон, а затем иллюминовать города; вместе с тем день 21-го ноября внесен был в месяцеслов, как день табельный, с освобождением присутственных мест и училищ от занятий.

[2] 16-го ноября 1768 года Екатерина писала лифляндскому генерал-губернатору Броуну: «Вы, генерал, говорите мне, что с моей стороны при прививке оспы нужна была неустрашимость, следовательно, я должна верить, что это так; а между тем я полагала, что эта неустрашимость встречается в Англии у любого уличнаго мальчишки. Честный и искусный доктор Димсдаль, ваш земляк, внушает всем в Петербурге смелость, и нет знатнаго дома, в котором он не имел бы несколько пациентов по своей части. У великаго князя, слава Богу, ныне также оспа проходит; таким образом, с этим страхом также покончено».

словам современника, «слух о Павловой болезни, еще в самом начале ея, подобно пламени лютаго пожара, из единаго дома в другой пронесся мгновенно. В единый час ощутили все душевное уныние». Когда опасность миновала, восторг во всех сословиях был искренний и неподдельный: выздоровление наследника действительно служило залогом спокойствия России.

Фон-Визин написал по этому поводу особое «Слово». Впечатление, произведенное сочинением Фон-Визина, было так сильно, что Иван Иванович Дмитриев, спустя более пятидесяти лет, помнил наизусть начало этого «Слова», слышанного им в детстве на семейном чтении.[1] Оно заключалось в следующих строках:

«Настал конец страданию нашему, о россияне! Исчез страх, и восхищается дух веселием. Се Павел, отечества надежда, драгоценный и единый залог нашего спокойства, является очам нашим, исшедши из опасности жизни своея, ко оживлению нашему. Боже сердцеведец! Зри слезы, извлеченныя благодарностию за твое к нам милосердие; а ты, великий князь, зри слезы радости, из очей наших льющияся. Любезные сограждане! Кого мы паки зрим!.. Какая грозная туча отвлечена от нас десницею Всевышняго! Единое о ней воображение вселяет в сердца ужас, ни с чем несравненный, — разве с радостию, коею ныне объемлется дух наш!»

Не позабыл Фон-Визин в своем похвальном слове также и императрицы и пишет:

«Екатерина, великая и в печали своей, возмутилась нетерпением зрети сына своего. Спешит она оставить то приятное уединение, куда некогда Петр, созидая град свой и Россию, приходил от трудов принимать успокоение. Сражаясь с скорбию своею, Павел узрел идущую к себе государыню и мать, и некую новую крепость ощутила душа его. Самая болезнь укротила в тот час свое стремление, как будто бы, терзая сына, хотела пощадити матернее сердце; но судьбы предвечнаго восхотели на некие часы поставить Россию при самой бед пучине».

Относительно Павла Фон-Визин говорит, что «кротость нрава ни на единый миг не прерывалась лютостию болезни. Каждый знак воли его, каждое слово изъявляло доброту его сердца. Да не исходят вечно из памяти россиян сии его

---

[1] Князь П.А.Вяземский «Фон-Визин». С.-Петербург. 1848, стр. 260.

слова, исшедшия из сердца и прерываемыя скорбию. Мне то мучительно, говорил он, что народ безпокоится моею болезнию. Таковое к народу его чувство есть неложное предзнаменование блаженства россиян и в позднейшия времена».[1]

Пять недель цесаревич провел в постели, и только 15-го июля граф Н.И.Панин мог сообщить графу Румянцеву, что «все критические дни уже прошли, и опасность миновала... но представьте, милостивый государь мой, то лютое состояние, в котором я был... Упражняясь всеминутно в стараниях и хождении за больным, от коих столь много зависит совершенное его выздоровление, не имею я времени ни о чем более уведомлять ваше сиятельство».[2]

Несмотря на самый тщательный уход, выздоровление цесаревича было медленное, и слабость замечалась еще долго, судя по письму Фон-Визина от 21-го ноября к графу Петру Ивановичу Панину, в котором сказано, что здоровье великого князя «ежечасно идет к своему совершенству, и самая слабость проходит очевидно».

Судя по письму императрицы к г-же Бьельке от 29-го августа, цесаревич начал с этого времени показываться в публике (il reparait en public). Екатерина прибавляла, что великий князь чрезвычайно вырос после болезни, и что у него начали пробиваться усы.

---

[1] Сочинения, письма и избранные переводы Дениса Ивановича Фон-Визина. С.-Петербург. 1866, стр. 180—186: «Слово на выздоровление е.и. в. государя цесаревича и великаго князя Павла Петровича в 1771 году».

Между прочими строками, посвященными в «Слове» Н.И.Панину, мы читаем:

«Я видел Павлова наставника, сего почтеннаго мужа, умеющаго толь много владеть движениями сердца своего, видел его стеняща и сокрывающа слезы своя. Когда Панин рыдает о Павловой опасности, Россия должна излить источники слезные».

[2] «Русский Архив», 1882 года. Книга 2-я, стр. 14.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Первый брак цесаревича. — Великая княгиня Наталия Алексеевна. — Кончина великой княгини в 1776 году.

I

Начиная с исхода 1768 года, императрица Екатерина была озабочена целым рядом внешних и внутренних тревог, продолжавшихся семь лет.

Манифестом 18-го ноября 1768 года была объявлена война Оттоманской Порте, в то время, как уже началась борьба с польскими конфедератами; затем, в 1770 году, в Москве появилась моровая язва, вызвавшая в следующем году открытый мятеж. В то же 1771 году опасно заболел цесаревич, о чем выше уже упомянуто нами. В 1772 году совершился первый раздел Польши, и, в заключение, с 1773 года на юго-восточной окраине России разыгралась пугачевщина; этот грозный бунт совпал с браком цесаревича Павла Петровича.

Остановимся несколько на этом последнем событии и на некоторых явлениях из придворного мира того времени, отразившихся на жизни и мыслях цесаревича.

Несмотря на все внешние и внутренние политические осложнения, Екатерина не теряла, однако, из виду вопроса огромной династической важности, заключавшегося в заблаговременном подыскании невесты для наследника. Решение этого вопроса требовало собрания сведений о немецких принцессах. Императрица избрала в этом деле своим дипломатическим агентом бывшего датского посланника в Петербурге Ассебурга, прусского подданного, сумевшего, во время пребывания в России, привлечь к себе доверие Екатерины. С ведома датского короля, на него возложено было в 1768 году это дипломатическое поручение при немецких дворах.[1]

Получая донесения от Ассебурга, Екатерина с особенной любовью останавливала свой взор на юной принцессе виртембергской Софии-Доротее-Августе. Но принцесса, родившаяся в 1759 году, была еще слишком молода; с другой стороны, при всем желании императрицы видеть ее членом своей семьи, приходилось отказаться от этой мысли ввиду

---

[1] Ассебург перешел в 1771 году на русскую службу с чином действительного тайного советника, оставаясь прусским подданным, а в 1773 году назначен был русским полномочным министром при регенсбургском имперском сейме.

невозможности отложить брак цесаревича до того времени, когда принцесса виртембергская достигла бы соответствующего возраста. Необходимость заставляла поэтому предпринять другие поиски; они привели к окончательному выбору невесты для наследника среди семейства ландграфа Лудвига Гессен-Дармштадтского. Через посредство Ассебурга императрице удалось убедить ландграфиню Гессен-Дармштадтскую приехать с тремя дочерьми в Россию. Екатерина не признавала тогда возможным отпустить сына в заграничное путешествие; при том же, «самолюбию ея льстило, что Европа и Россия примут за новое проявление ея величия и могущество то обстоятельство, что иностранная владетельная особа везет троих дочерей своих на показ и на выбор наследнику всероссийскаго престола. До сих пор на западе существовал обычай, в силу котораго одни короли не ездили за своими невестами, а их привозили к ним, но заочно помолвленными или даже обрученными. А тут невесты еще не было, и вообще тому, чего великая государыня добилась от ландграфини Дармштадтской, не бывало примера в истории».[1]

В письме своем к императрице Екатерине от 3-го (14-го) мая 1773 года из Потсдама ландграфиня писала:

«Мой поступок доказывает вам, что я не умею колебаться в тех случаях, когда дело идет о том, угодить ли вам и повиноваться или же следовать предразсудкам, делающим публику судьею строгим и страшным».

Императрица послала особую эскадру в Любек для принятия высоких гостей, и 29-го мая 1773 года ландграфиня отплыла в Ревель, побывав предварительно у прусского короля в Потсдаме.[2]

---

[1] Барон Бюлер: Два эпизода. («Русский Вестник» 1870 года, стр. 98).

[2] Эскадра состояла из фрегата «Св.Марк» и пакетботов «Быстрый» и «Сокол». «Быстрым» командовал друг цесаревича, капитан-лейтенант граф А.К.Разумовский, о котором один из кавалеров дармштадтской свиты писал: «M. de Pazoumowski est un jeune homme fort aimable, belle physionomie, beau maintien, faon d'un homme de qualit, propos agrable, sens, mesur« (Asseburg, p. 264). Генерал-майор Ребиндер назначен был сопутствовать ландграфине до Ревеля. Императрица снабдила его для этой цели собственноручной инструкцией на немецком языке, состоящей из 18-ти пунктов. В этой инструкции Екатерина, между прочим, поручала Ребиндеру внушить ландграфине, что вернейшее средство понравиться императрице состоит в соблюдении трех пунктов: «во-первых, не показывать никакого лицеприятия, но со всеми сохранять ровное, ласковое обращение; во-вторых, иметь ко мне доверие; в-третьих, иметь уважение к моему сыну и ко всей нации (Hochachtung frir meinen Sohn und die ganze Nation»).

Выбор дармштадтских принцесс состоялся не без влияния на это дело Фридриха Великого, племянник которого, принц прусский Фридрих-Вильгельм, женат был с 1769 года на одной из дочерей ландграфини, принцессе Фредерике. Король надеялся путем угодного ему брака наследника русского престола закрепить политический союз с Россией. В своих записках Фридрих Великий признается, что при помощи разных происков и интриг он остановил выбор императрицы Екатерины на желательных ему особах.

Между тем, пока длились переговоры, предшествовавшие браку цесаревича, при дворе интриговали без конца; придворная обстановка того времени крайне благоприятствовала подобным подвигам. «Ни в каком скаредном приказе нет таких стряпческих интриг, какия у нашего двора всеминутно происходят», восклицает с негодованием Фон-Визин в своей переписке.[1]

В 1772 году цесаревичу Павлу Петровичу исполнилось 18 лет. Почему-то сторонники его вообразили, что великому князю предстояло отныне деятельное участие в управлении государством; что Екатерина, если не сойдет с престола, то поступится частью своей власти в пользу сына. Довольно странно, что подобные намерения могли приписывать императрице, сказавшей: «Я хочу сама управлять, и пусть знает это Европа!» Как и следовало ожидать, мечтания «усерднейших и вернейших детей отечества» кончились полным их разочарованием. К тому же, не следует забывать, что в то время не существовало еще закона, определявшего срок совершеннолетия для наследника престола.

Поэтому неудивительно, что день 20-го сентября 1772 года прошел без особого торжества, и что никаких наград и назначений не последовало. Иначе и не могло быть.

Тем не менее, безрассудство и дерзость обуяли многих, которые желали насильно провести то, о чем Екатерина и не помышляла. Даже такое дипломатическое ничтожество, как Сальдерн, мечтал о каком-то перевороте и втянул в свои интриги цесаревича, соблазнив его планом о соучастии в управлении. Сначала это дело скрывали от Панина, и переговоры велись за спиной Никиты Ивановича, при участии в них друга цесаревича, графа Андрея Кирилловича Разу-

---

[1] Фон-Визин. Сочинения, стр. 403.

мовского.[1] Когда же Павел Петрович посвятил Панина в эту тайну, последний убедил великого князя отвергнуть предложения Сальдерна, который вскоре по голштинским делам отправился в Данию. Затеянные им интриги сделались известными императрице в 1773 г., когда цесаревич, опасаясь возвращения Сальдерна из-за границы, признался матери, что он склонял его к поступку, не соответствовавшему его долгу относительно императрицы. Рассказывают, что в порыве гнева Екатерина будто бы сказала, что велит привезти к себе сего злодея, связанного по рукам и по ногам, а по другим известиям — «la corde au cou»; но если до этого и не дошло, то все-таки Сальдерну воспрещено было пользоваться чином, приобретенным им на русской службе. Признанием своим цесаревич выдал, однако, головою Панина; императрица разгневалась за то, что граф Никита Иванович не доложил ей своевременно о происках Сальдерна, вследствие чего она продолжала оказывать доверие и милости недостойному политическому интригану.[2]

Придворные интриги усложнились внезапно новыми непредвиденными соображениями. 25-го апреля 1772 года, граф Г.Г.Орлов отправился на конгресс в Фокшаны; тем временем взошла звезда Васильчикова. Граф Н.И.Панин, непримиримый антагонист Орловых и их партии, неустанно

---

[1] Из писем цесаревича к графу А.К.Разумовскому видно, что Сальдерн затевал что-то таинственное, известное и Разумовскому. («Семейство Разумовских» А.А.Васильчикова. С.-Петербург, 1882, т. 3-й).

Цесаревич называет в своих письмах Сальдерна: «notre ami commun».

[2] Гуннинг уверяет, что цесаревич выдал даже Сальдерну по делу соргентства полномочие за своей подписью и печатью; вместе с тем он писал 14-го (25-го) февраля 1774 года, что «Екатерина весьма довольна или притворяется весьма довольной образом действий великаго князя по поводу этого дела». (Сборник И.Р.И.О., т. 19-й, стр. 399—402).

Д.И.Фон-Визин в своей переписке называет Сальдерна злодеем и с негодованием распространяется о его скаредном бесстыдстве. Сальдерн был голштинский уроженец, снискавший доверие Петра III, управляя голштинскою канцелярией государя; затем Сальдерну удалось приобрести доверие Никиты Ивановича Панина, вследствие чего, как приближенное к нему лицо, он постоянно приглашался к обеденному столу цесаревича, о чем свидетельствует дневник Порошина. В 1771 г. Сальдерн назначен был русским послом в Варшаву, а в 1773 году ему, как голштинскому министру при датском дворе, даны были заграничные поручения. В 1802 году появилось сочинение Сальдерна: «Histoire de la vie de Pierre III». По мнению В.А.Бильбасова, вся книга «составлена из лжи и фальши» и представляется сплошным панегириком Петру III и грязным памфлетом на Екатерину II.

боровшийся с ними с 1762 года и поддерживавший в тех же мыслях цесаревича, крайне возрадовался этой перемене.

Указанное обстоятельство отразилось тотчас на отношениях великого князя к матери. Достаточно было со стороны графа Панина проявить примирительное настроение, чтобы вызвать подобное чудо. Насколько улучшились взаимные отношения этих лиц, можно видеть из следующих строк письма Екатерины к г-же Бьельке от 24-го августа 1772 года. Императрица пишет: «Во вторник я возвращаюсь в город с моим сыном, который не хочет уже оставлять меня ни на шаг, и котораго я имею честь так хорошо забавлять, что он за столом иногда переменяет записки, чтобы сидеть со мною рядом; я думаю, что мало можно найти примеров подобнаго соответствия в настроении».

Но это «соответствие в настроении», которым хвасталась Екатерина, продолжалось недолго; перемирие, водворившееся между враждующими сторонами, скоро прервалось.

Переговоры с Оттоманскою Портой расстроились, и граф Орлов, узнав о переменах, совершившихся при дворе, немедленно поскакал в Петербург; но когда он прибыл в Гатчину, ему повелено было выдержать здесь карантин. Хотя к концу года Г.Г.Орлов появился на короткое время при дворе, но дела его не поправились, и он отправился в отпуск в Ревель. Но затем, в марте месяце, Орлов окончательно возвратился в Петербург, и 21-го мая 1773 года ему повелено было снова вступить в отправление прежде порученных ему дел.

Как ни были тяжелы для Панина все эти перемены, но цесаревич остался ими еще более недоволен; Никите Ивановичу пришлось даже сдерживать порывы гнева великого князя, питавшего отвращение к Орлову и называвшего его в своей переписке «дуралей Орлов (le butor d'Orloff)».

Все эти обстоятельства и взаимная между ними связь еще не выяснены и не разработаны в желаемой степени исторической критикой. Они являются перед нами только в тусклых образах, без всех присущих им оттенков, наложенных политической и придворной обстановкой семидесятых годов XVIII столетия. Для всех недовольных правлением Екатерины имя Павла Петровича являлось естественным знаменем, вокруг которого старались сплотиться люди, жаждавшие перемены; в некоторых случаях они действовали с согласия или с ведома великого князя, в других случаях — злоупотребляли его именем. Так было в деле Гурьева, Хитрова,

Арсения Мацеевича, Бениовского и других. Все эти события оставляли за собою след и налагали особую печать на взаимные отношения матери и сына.

Интриги и сопряженные с ними нравственные волнения и огорчения всякого рода привели к тому, что разочарованный цесаревич еще более сосредоточился в себе; в характере его стали проявляться в ужасающей степени подозрительность и мнительность. Он начал опасаться за свою жизнь, боялся отравы; некоторую долю успокоения цесаревич находил в дружеских излияниях с близким ему графом А.К.Разумовским. Наконец Павел Петрович сам пришел к убеждению, что продолжать идти далее по этому пути представляется делом невозможным; надо было остановиться, одуматься, во избежание неминуемой катастрофы. «Дружба ваша, — признавался великий князь Разумовскому, — произвела во мне чудо: я начинаю отрешаться от моей прежней подозрительности. Но вы должны продолжать быть настойчивыми по отношению ко мне, потому что вам приходится действовать против десятилетней привычки и вести борьбу против того, что боязливость и обычное стеснение вкоренили во мне». Готовясь в скором времени начать новую жизнь, семейную, цесаревич пришел к сознанию необходимости изменить свой политический образ действий. Сокровенные мысли свои по этому предмету великий князь выразил в письме к своему другу, графу А.К.Разумовскому, от 27-го мая 1773 года из Царского Села. Павел Петрович писал:

«Как мне было тяжело, дорогой друг, быть лишенным вас в течение всего этого времени. Впрочем, клянусь вам, еще большое счастье, что все идет у нас хорошо, и что решительно не произошло ничего неприятного как в нравственном, так и в физическом отношениях. Я проводил свое время в величайшем согласии со всем окружавшим меня, — доказательство, что я держал себя сдержанно и ровно. Я все время прекрасно чувствовал себя, много читал и гулял, настоятельно помня то, что вы так рекомендовали мне; я раздумывал лишь о самом себе, и благодаря этому (по крайней мере, я так думал), мне удалось отделаться от безпокойств и подозрений, сделавших мне жизнь крайне тяжелой. Конечно, я говорю это не хвастаясь, и, несомненно, в этом отношении вы найдете меня лучшим. В подтверждение я вам приведу маленький пример. Вы помните, с какого рода страхом или замешательством я поджидал момента прибытия принцесс. И во теперь я поджидаю их с величайшим нетерпением. Я даже считаю часы... Я составил себе план поведения на

будущее время, который изложил вчера графу Панину, и который он одобрил, — это как можно чаще искать возможности сближаться с матерью, приобретая ея доверие, как для того, чтобы по возможности предохранить ее от инсинуаций и интриг, которыя могли бы затеять против нея, так и для того, чтобы иметь своего рода защиту и поддержку в случае, еслибы захотели противодействовать моим намерениям. Таковы мои планы; вы, конечно, одобрите их... Я ожидаю вас с большим нетерпением и точно мессию».

Через несколько дней цесаревич продолжал изложение своей откровенной исповеди Разумовскому:

«Раз уже было принято за принцип стараться по возможности жить со всеми в самым сердечных отношениях (le plus cordialement possible), все прошло благополучно и спокойно как внутри, так и извне. Я поступил так и заметил, что очень часто наши собственныя ошибки являются первоначальными причинами обратных явлений, что вызывается безпокойством, которое мы допускаем проявляться внутри самих себя, и которое заставляет нас считать черным если не белое, то серое. Отсутствие иллюзий, отсутствие безпокойства, поведение ровное и отвечающее лишь обстоятельствам, которыя могли бы встретиться, — вот мой план; счастлив буду, если мне удастся мой или, вернее, наш общий проект. Я обуздываю свою горячность, насколько могу; ежедневно нахожу поводы, чтобы заставлять работать мой ум и применять к делу мои мысли... Не переходя в сплетничание, я сообщаю графу Панину обо всем, что представляется мне двусмысленным или же сомнительным. Вот в нескольких словах все то, что происходит во мне, и все, что я делаю в духовном отношении; что же касается физической стороны, то порядок жизни приблизительно почти тот же, который вы оставили при отъезде, то-есть, совершенно однообразный».

Приведенные нами два письма превосходно освещают духовный мир, в котором жил цесаревич во время, непосредственно предшествовавшее его первому браку; он одушевлен был, как видно, наилучшими намерениями и, под счастливым вдохновением, всегда находил хорошие слова для их выражения. Не раз Павел Петрович пользовался в своей жизни такими хорошими словами, и, читая их, можно даже удивляться, каким образом благие намерения не сопровождались лучшими последствиями. Но для осуществления этих прекрасных намерений не в мире грез, а на деле, недоставало у него одного — выдержки. Характера хватало только на мгновение, а человеческая жизнь долга, как выразилась

Екатерина в одном из своих писем. Являлось непредвиденное огорчение, и оно вызывало тотчас неразумную вспышку гнева, сопровождаемую иной раз и сожалением, а задуманное хорошее дело отодвигалось на недосягаемую даль и оставалось хорошим словом.

Внешние формы обращения цесаревича, если он того желал, отличались приветливостью, изысканной вежливостью, чарующей любезностью. Проявление этих сторон характера Павла Петровича преимущественно поражало лиц, мало его знавших, и привлекало к нему сочувствие тех, которых он удостаивал подобного обращения; от внимания посторонних наблюдателей, конечно, ускользали при этом неприятные стороны его характера, а также мрачные думы, терзавшие подчас нового Гамлета и отравлявшие ему существование. Для подтверждения сказанного достаточно привести хвалебную характеристику Павла Петровича, сделанную графом Сольмсом в 1773 году, в письме к своему другу Ассебургу, незадолго до вступления цесаревича в брак.

«Великому князю есть чем заставить полюбить себя молодой особою другого пола, — пишет Сольмс. — Не будучи большого роста, он красив лицем, безукоризненно хорошо сложен, приятен в разговоре и в обхождении, мягок, в высшей степени вежлив, предупредителен и веселаго нрава. В этом красивом теле обитает душа прекраснейшая, честнейшая, великодушнейшая и в то же время чистейшая и невиннейшая, знающая зло лишь с дурной стороны, знающая его лишь на столько, чтобы преисполниться решимости избегать его для себя самой и чтобы порицать его в других; одним словом, нельзя в достаточной степени нахвалиться великим князем, и да сохранит в нем Бог те же чувства, которыя он питает теперь. Еслибы я сказал больше, я заподозрел бы самого себя в лести».

II

Ландграфиня Гессен-Дармштадтская прибыла в Ревель 6-го (17-го) июня 1773 года в сопровождении трех дочерей: принцесс Амалии, Вильгельмины и Луизы.[1] Здесь высоких

---

[1] Принцесса Амалия вышла в 1774 году замуж за наследного принца баденского, и одна из дочерей ее сделалась русской императрицей под именем Елисаветы Алексеевны. Принцесса Луиза вышла в 1775 году замуж за великого герцога саксен-веймарского Карла-Августа, сын которого, наследный принц Карл-Фридрих, вступил в 1804 году в брак с великой княжной Марией Павловной.

гостей поджидало заблаговременно высланное к ним навстречу близкое к императрице доверенное лицо; это был камергер барон Александр Иванович Черкасов, занимавший место президента медицинской коллегии. Посланный вручил ландграфине письменный привет императрицы[1] и отвез гостей в приготовленный для них Екатеринентальский дворец. 15-го (26-го) июня ландграфиня с дочерьми приехала в Гатчину, имение князя Г.Г.Орлова, где их встретила императрица Екатерина.[2] После обеда двинулись в путь в Царское Село, откуда к ним навстречу выехал цесаревич Павел Петрович. Первое свидание произошло на дороге. «Il est aimable et d'une grande politesse», — сообщила ландграфиня о великом князе Фридриху Великому.

Императрица предоставила сыну полную свободу выбора, но дала ему на размышление три дня. По словам Екатерины, цесаревич с первой же встречи полюбил принцессу Вильгельмину, которая в скором времени всецело овладела пылкой душой Павла Петровича. Императрица на четвертый день обратилась с предложением к ландграфине, которая так же, как и принцесса, не замедлила изъявить свое согласие. Началось обучение русскому языку; преподавание Закона Божия было поручено архиепископу Тверскому Платону, сделавшемуся затем и духовным отцом будущей великой княгини.

Ассебург, в письме к графу Панину от 23-го апреля (4-го мая) 1773 года из Дармштадта, оставил нам следующую характеристику принцессы Вильгельмины, на которой остановился выбор цесаревича.

«Принцесса Вильгельмина, — пишет Ассебург, — до сих пор еще затрудняет каждаго, кто бы захотел исследовать

---

[1] В письме Екатерины II к ландграфине относительно барона Черкасова сказано следующее: «Je l'ai choisi entre bien d'autres aspirants, comme un homme sur, qui m'est connu depuis longtemps par son attachement pour ma personne et par son sens droit et son esprit de gagede prejuges».

Заметим здесь, что барон Черкасов был женат на дочери герцога Бирона, бывшего регента.

[2] Переписка императрицы Екатерины с бароном Черкасовым, продолжавшаяся во время его пребывания в Ревеле, а затем после переезда ландграфини в Гатчину, напечатана в статье барона Бюлера: «Два эпизода из царствования Екатерины II». Там же помещена инструкция, данная императрицей барону Черкасову при отправлении его в Ревель. В письмах Екатерины встречается любопытное указание, что граф Н.И.Панин скрыл от императрицы одно письмо, полученное им от Ассебурга.

истинные изгибы ея души, тем заученным и повелительным выражением лица, которое редко ее покидает. Я часто приписывал это монотонности двора, необыкновенно однообразнаго, и теперь еще остаюсь при том мнении, что принцесса будет веселее в иной местности, хотя не могу ручаться, чтобы скука от пребывания в Дармштадте была единственным и первым побуждением к тому, что есть в ея поведении несвойственнаго молодости. Удовольствия, танцы, наряды, общество подруг, игры, наконец, все, что обыкновенно возбуждает живость страстей, не затрогивает ея. Среди всех этих удовольствий принцесса остается сосредоточенною в самой себе и, когда принимает в них участие, то дает понять, что делает это более из угождения, чем по наклонности. Есть ли это нечувствительность, или руководит ею в этом случае боязнь показаться ребенком? Не знаю, что сказать, и простодушно признаюсь, что основныя черты этого характера для меня еще покрыты завесой. Никто на нее не жалуется; ей оказывают такое же доверие, как принцессам, ея сестрам; ландграфиня отличает ее; наставники выхваляют способности ея ума и обходительность нрава; она не выказывает капризов; она хотя холодна, но ровна со всеми, и ни один из ея поступков еще не опровергнул моего мнения, что сердце ея чисто, сдержанно и добродетельно, но что его поработило честолюбие (*l'ambition l'a assujetie*). С тех пор, как ей стали говорить о путешествии в С.-Петербург, она охотнее принимает участие в разговорах, видимо, с желанием обогатить себя познаниями... Более оживленные предметы, иная среда, иного рода развлечения дадут более простора ея душе, которая некоторым образом заснула от излишняго однообразия теперешних ея занятий... Нет ли сокровенных страстей, которыя овладели ея разсудком? Тысячу раз ставил я себе этот вопрос и всегда сознавался, что *оне недосягаемы для моего глаза*. Оканчиваю: насколько я знаю принцессу Вильгельмину, сердце у нея гордое, нервное, холодное, быть может, несколько легкомысленное в своих решениях, но, что еще вернее, — открытое и послушное силе вернаго суждения и привлекательности благоразумнаго честолюбия. Ея нрав и манеры приобрели некоторую небрежность; но они смягчатся, сделаются приятнее и ласковее, когда она будет жить с особами, которыя особенно привлекут к себе ея сердце. Ожидаю того же от направления ея ума, ныне недеятельнаго и привязаннаго к небольшому числу местных идей».

В конце этого письма Ассебурга с описанием принцесс Гессен-Дармштадтских императрица собственноручно написала:

«Выбор меня не затрудняет, и я уже теперь думаю, что вторая получит яблоко. Черкасов, хотите держать пари? (Le choix ne m'embarasse pas, et dès cette heure je crois que la seconde emportera la pomme)».

Все было искусно подведено к тому, чтобы склонить цесаревича к этому выбору. Под влиянием донесений Ассебурга граф Панин, желания которого совпадали с намерениями Фридриха Великого, стоявшего за принцессу Вильгельмину, повел дело таким образом, что Павел Петрович незаметно для себя свыкся с мыслью считать ее своей будущей невестой. Следствием этого явилось, что в решительную минуту цесаревич действительно вручил яблоко кому следует; между тем за кулисами стояли прусский король и граф Панин.

Поэтому, 9-го июля, ландграфиня могла написать Фридриху Великому: «Никогда не забуду, что я обязана вашему величеству устройством судьбы моей дочери Вильгельмины... Великий князь, сколько можно заметить, полюбил мою дочь и даже более, чем я смела ожидать. (Le grand duc paraît s'attacheràma fille, et plus que je n'ai osé l'espérer)». Несколько позже, 20-го августа, ландграфиня могла даже сообщить королю: «Великий князь, действительно, привязан к моей дочери (Le grand duc est réellement attachéàma fille)».

15-го августа 1773 года, в церкви Зимнего дворца совершилось миропомазание принцессы Вильгельмины, которая наречена была великой княжной Наталией Алексеевной, а на другой день в церкви Летнего дворца состоялось обручение цесаревича.

Императрица Екатерина воспользовалась предстоящим браком наследника, а следовательно, окончанием его воспитания, чтобы уволить графа Никиту Ивановича Панина от должности обер-гофмейстера великого князя, оставив за ним заведование иностранными делами; 22-го сентября, в день коронации, признательная государыня, можно сказать, осыпала наградами многолетнего сотрудника своего правления.

Перечислим здесь полученные графом Паниным награды:

1) Звание первого класса в ранге фельдмаршала с жалованием и столовыми деньгами по чину канцлера.

2) 4.512 душ в Смоленской губернии.

3) 3.900 душ в Псковской губернии.[1]

4) Сто тысяч рублей на заведение дома.

5) Ежегодный пенсион в 25.000 рублей, сверх получаемого им уже ранее пенсиона в 5.000 рублей.

6) Ежегодное жалование по 14.000 рублей.

7) Повелено купить для него в Петербурге дом, который он сам выберет в городе.

8) Серебряный сервиз в 50.000 рублей.

9) Провизию и вина на целый год.

10) Экипаж и ливреи придворные.

Сверх всех этих наград императрица удостоила еще графа Панина, после бракосочетания цесаревича, следующим собственноручным письмом:

«Граф Никита Иванович! Совокупные важные ваши труды в воспитании сына моего и, притом, в отправлении дел обширнаго иностраннаго департамента, которые вы несли и отправляете с равным успехом толико лет сряду, часто в течение оных во внутренности сердца моего возбуждали чувства, разделяющие с вами все бремя сих, силу человеку данну, исчерпаемых упражнений; но польза империи моей, по горячему всегдашнему моему попечению о благом устройстве всего, мне от власти Всевышняго врученнаго, воспрещала мыслить прежде времени облегчить вас в тягостных упражнениях, доверенностью моею вам порученных. Ныне же, когда приспела зрелость лет любезнейшаго сына моего, и мы, на двадцатом году его от рождения, с вами дождались благополучнаго дня брака его, то, почитая по справедливости и по всесветному обыкновению воспитание великаго князя тем само собою оконченным, за долг ставлю вам при сем случае изъявить мое признание и благодарность за все приложенные вами труды и попечения о здравии и украшении телесных и душевных его природных дарований, о коих, по нежности матерней любви и пристрастию, не мне пригоже судить; но желаю и надеюсь, что будущия времена в том оправданием служить будут, о чем Всевышняго ежедневно молю усердно. Окончив с толиким успехом, соединенным с моим удовольствием, важную такую должность и пользуясь сим утешением, от нея вам происходящим, обратите ныне с бодрым духом все силы ума вашего к части дел империи, вам от меня вверенной и на сих днях вновь подтвержденной, и

---

[1] Из присоединенных от Польши земель, войтовства Нащанское, Лиснянское и Клещинское. — Колтов. Деяния Екатерины II. С.-Петербург. 1811, ч. 2, стр. 102.

доставьте трудами своими согражданам вашим желаемый мною между всеми добрый мир и тишину, дабы дни старости вашей увенчаны были благословением Божиим благополучия всеобщаго, после безчисленных трудов и попечений. Пребываю вечно с отменным доброжелательством».

Щедрые награды императрицы не успокоили, однако, Панина; он все-таки остался недовольным. Власть не перешла, согласно сокровенному желанию Никиты Ивановича, в руки совершеннолетнего цесаревича, который даже не был допущен к участию в государственных делах. Панину оставалось только выразить прискорбие свое осторожным протестом; для этой цели он придумал небывалый маневр: распределить значительную долю пожалованных ему имений, в новоприобретенных польских областях, между тремя секретарями своими, Фон-Визиным, Бакуниным и Убри, под предлогом, что они разделяли труды его. Действуя таким образом, Панин, конечно, не руководствовался чувствами благородной признательности за труды помощников; подкладка всего этого была чисто политическая: подобный оборот дела открывал ему возможность, сопряженную с удовольствием, безнаказанно идти вразрез с намерениями Екатерины, желавшей распространить в бывших польских областях крупное русское землевладение.

Брат Панина, граф Петр Иванович, проживавший в то время в Москве, менее стеснялся, чем Никита Иванович, в выражении своего неудовольствия против императрицы, которая, в свою очередь, называла его первым вралем и своим персональным оскорбителем. В письме московскому главнокомандующему, князю Михаилу Никитичу Волконскому, от 25-го сентября 1773 года, Екатерина писала: «Что касается до дерзкаго известнаго вам болтуна, то я здесь кое-кому внушила, чтоб до него дошло, что, естьли он не уймется, то я принуждена буду его унимать наконец. Но как богатством я брата его осыпала выше его заслуг на сих днях, то чаю, что и он его уймет же, а дом мой очистится от каверзы. Чего всего вам в крайней конфиденции сообщаю для вашего сведения, дабы наружностию иногда вы б не были обмануты».[1]

Князь Волконский отвечал 30-го сентября: «По высочайшему пред сим вашего императорскаго величества повеле-

---

[1] «Осьмнадцатый Век», книга 1-я, стр. 96. В том же письме Екатерина сообщала князю Волконскому, что она поведением невесты цесаревича и ее матери весьма довольна. «Они оба люди любезные. Мать — человек души твердой et rien moins qu'une commère», писала императрица.

нию, я употребил надежных людей присматривать за Паниным; чрез оных известился, что он, как я и прежде доносил, стал гораздо в болтаниях своих скромнее; а что всего удивительнее, когда получил известие о всемилостивейшем пожаловании брата его чином, деревнями, деньгами, пансионом и другими многими монаршими щедротами, ожидалось было его видеть восхищенна с радости, но, напротив того, он еще больше задумчивее стал и поздравления принимает от многих к нему приезжающих с некоторою холодностью».

Лично Екатерина была довольна удалением Никиты Ивановича Панина от непосредственной близости к цесаревичу и писала по этому поводу г-же Бьельке: «Дом мой очищен (ma maison est balayée) или почти что очищен; все кривлянья (simagrées) произошли, как я и предвидела, но, однако ж, воля Господня совершилась, как я также предсказывала».

Бракосочетание цесаревича состоялось в воскресенье 29-го сентября (10-го октября) 1773 года в Казанской церкви. В первый раз, после достопамятного дня 28-го июня 1762 года, Екатерина снова вступила в этот храм при торжественной, хотя и несколько иной обстановке; невольно воспоминания об этом далеком прошлом должны были волновать душу императрицы и вызывать на размышления, когда она 29-го сентября делала первый шаг в том же месте для утверждения на престоле уже не себя самой, а своей династии.

Празднества по случаю бракосочетания великого князя продолжались двенадцать дней и закончились 11-го октября фейерверком, сожженным на площади возле Летнего дворца.

Екатерина щедро одарила мать и сестер новой великой княгини Наталии Алексеевны. Ландграфиня получила 100.000 рублей и 20.000 на обратное путешествие, а обе ее дочери по 50.000 рублей каждая, независимо от богатых подарков. Великой княгине назначено было на булавки по 50.000 рублей ежегодно. Брат ее, наследный принц Лудвиг, прибывший в Петербург к свадьбе в сопровождении барона Мельхиора Гримма, поступил на русскую службу и принял участие в турецкой войне. 25-го декабря 1774 года, он и отец великой княгини, ландграф Гессен-Дармштадтский, получили Андреевские ленты.

Едва окончились брачные торжества, как 14-го октября получено было в Петербурге первое известие о появлении Пугачева и начавшемся грозном мятеже. Призрак Петра III,

восставший тогда неожиданным образом в лице Пугачева, должен был возбудить во многих царедворцах неприятное воспоминание о перевороте 1762 года. На цесаревича же появление самозванца и первые успехи его несомненно произвели тягостное впечатление. В связи со всем происходившим имя Павла Петровича снова явилось знаменем для недовольных.

III

Событие 29-го сентября 1773 года вызвало при дворе успокоительное настроение. Цесаревич был счастлив и доволен, великая княгиня была почтительна и внимательна к императрице, явившись в императорской семье ангелом-примирителем. Екатерина была довольна наследником и однажды сказала даже: «Я обязана великой княгине возвращением мне сына и отныне всю жизнь употреблю на то, чтоб отплатить ей за услугу эту». И в самом деле, при каждом случае, императрица ласкала свою невестку, которая, по умственным способностям хотя и стояла ниже своего супруга, но имела на него большое влияние и с большим успехом пользовалась мудрыми советами, данными ей, без сомнения, матерью ее, ландграфиней.

Г-же Бьельке Екатерина писала: «Ландграфиня оставила мне золотую женщину (une femme d'or), свою дочь, великую княгиню; эта молодая принцесса наделена прекрасными качествами; я ею крайне довольна; муж ее обожает, и все ее любят».

Ландграфине Екатерина сообщила не менее утешительные известия: «Ваша дочь здорова, — писала ей императрица 10-го ноября, — она попрежнему кротка и любезна (douce et aimable), какою вы ее знаете. Муж ее обожает и не перестает хвалить ее и рекомендовать; я слушаю его и иной раз задыхаюсь от смеха, потому что она не нуждается в рекомендации; ея рекомендация в моем сердце, я люблю ее, и она того заслуживает; нужно быть ужасно придирчивой и быть хуже какой нибудь кумушки-сплетницы, чтобы не оставаться довольною этой принцессой, как я ею довольна. Я говорю это вам, потому что это истинная правда. Я просила ее заняться русским языком, что она мне обещала. Вообще наше хозяйство идет очень хорошо».

Не меньшее удовольствие Екатерина выражала в письме к ландграфине от 7-го декабря: «Великая княгиня здорова,

мы все более и более друг друга любим и очень хорошо уживаемся вместе; ея нрав мне нравится и подходит к моему. Мы условились, что после новаго года она начнет говорить по-русски».

Под влиянием таких благоприятных впечатлений, императрица, по просьбе цесаревича, согласилась даже дозволить графу А.К.Разумовскому жить во дворце.

Таким образом можно было думать, что Гамлет нашел свою Офелию. Но семейное счастье, сразу улыбнувшееся цесаревичу, было кратковременным. Павлу Петровичу не посчастливилось также и на почве сердечных привязанностей, и, сверх того, ему суждено было испытать еще всю горечь, связанную с предательством самых близких к нему лиц. Измена не отходила от него и должна была сопутствовать ему до гробовой доски — таков был приговор судьбы!

Итак, взаимное расположение и семейные радости были не чем иным, как временным затишьем, предвещавшим новую бурю. Насколько к концу года изменились взаимные отношения между императрицей и великокняжеской четой, можно судить по письму Екатерины к Гримму, от 21-го декабря 1774 года, в котором она с полным чистосердечием рисовала своему «souffre-douleur» картину тревоживших ее огорчений. К этому времени «золотая женщина» успела уже исчезнуть, приняв менее привлекательный образ.

Екатерина писала: «Великая княгиня постоянно больна, да и как же ей и не быть больной? Все у этой дамы доведено до крайности. Если она гуляет пешком, то двадцать верст, если танцует, то двадцать контрадансов и столько же менуэтов, не считая аллемандов; чтобы избегнуть жары в комнатах, их вовсе не топят; если ктонибудь трет себе лицо льдом, то все тело становится лицем: одним словом, середина во всем очень далека от нас. Опасаясь злых, мы не доверяем целой земле и не слушаем ни хороших, ни худых советов; коротко сказать, до сих пор нет ни добродушия, ни осторожности, ни благоразумия во всем этом, и Бог знает, что из этого будет, так как никого не слушают и все хотят делать по-своему. Вообразите, что, спустя полтора года и более, мы еще не говорим ни слова по-русски: мы хотим, чтоб нас учили, но мы не хотим посвятить на это минуту прилежания в день; во всем одно вертопрахство; мы терпеть не можем ни того, ни этого. Долгов у нас вдвое, чем состояния, а едва ли кто в Европе столько получает. Но заметим: никогда не

следует отчаиваться в молодых людях, не надо слишком много ворчать».

Но, независимо от перемены, совершившейся в воззрениях Екатерины на характер великой княгини, сочетание разных других условий содействовало нарушению кратковременного семейного мира.

Уволив графа Н.И.Панина от должности обер-гофмейстера великого князя, Екатерина 5-го ноября 1773 года назначила состоять при цесаревиче генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова. Императрица снабдила его особой инструкцией и по этому случаю написала сыну следующее письмо:

« Я назначила к вам генерала Салтыкова. Таким образом при вас будет выдающееся лицо (une personne de marque), и не для того только, чтобы придать важности вашим выходам, но и для того, чтобы он держал в должном порядке лиц, назначенных состоять при вас соответственно вашему званию. Он будет представлять вам иностранцев и других лиц, он будет заведывать вашим столом и прислугою, смотреть за порядком и внешностью, требующеюся при дворе. Это человек, преисполненный честности и кротости, которым были довольны везде, где он был употребляем, поэтому я не сомневаюсь, что вы поладите, и что он поведением своим постарается заслужить ваше благорасположение, которое прошу вас ему оказывать.

Ваши поступки очень невинны, я это знаю и убеждена в том; но вы очень молоды, общество смотрит на вас во все глаза, а оно — судья строгий; чернь во всех странах не делает различия между молодым человеком и принцем: поведение перваго, к насчастию, слишком часто служит к помрачению доброй славы второго. С женитьбою кончилось ваше воспитание; отныне невозможно оставлять вас долее в положении ребенка и в двадцать лет держать вас под опекою; общество увидит вас одного и с жадностью следить будет за вашим поведением, В свете все подвергается критике; не думайте, чтобы пощадили вас, либо меня. Обо мне скажут: она предоставила этого неопытного молодого человека самому себе, на его страх; она оставляет его окруженным молодыми людьми и льстивыми царедворцами, которые развратят его и испортят его ум и сердце; о вас же будут судить, смотря по благоразумию или неосмотрительности ваших поступков; но подождите немного. Это уже мое дело вывести вас из затруднения и унять это общество и льстивых и болтающих

царедворцев, которые желают, чтобы вы были Катоном в двадцать лет, и которые стали бы негодовать, коль скоро вы бы им сделались. Вот что я должна сделать; я определю к вам генерала Салтыкова, который, не имея звания гофмаршала вашего двора, будет исполнять его обязанности, как увидите из приложенной записки, в которой я подробно перечисляю его обязанности. Сверх сего приходите ко мне за советом так часто, как вы признаете в том необходимость: я скажу вам правду со всею искренностью, к какой только способна, а вы никогда не оставайтесь недовольным, выслушав ее. Понимаете! (et vous ne serez jamais boudeur après l'avoir entendu. Entendez-vous!). Вдобавок, чтобы основательнее занять вас, к удовольствию общества, я назначу час или два в неделю, по утрам, в которые вы будете приходить ко мне один для выслушания бумаг, чтобы ознакомиться с положением дел, с законами страны и моими правительственными началами. Устраивает это вас?».[1]

Как и следовало ожидать, цесаревич встретил генерала Салтыкова недружелюбно; но постепенно отношения их изменились к лучшему, и впоследствии негласный гофмаршал приобрел даже полное доверие и расположение великого князя. Но в первое время нашелся услужливый царедворец, камергер граф Дмитрий Михайлович Матюшкин, который намекнул великой княгине, а также и цесаревичу, что Салтыков назначен императрицей для наблюдения за каждым его действием и для донесения куда следует о всем происходящем при малом дворе. Павел Петрович разгневался и по свойственной ему стремительности в действиях немедленно передал слышанное императрице, назвав и виновника переполоха. Тогда Екатерина написала обер-гофмаршалу князю Николаю Михайловичу Голицыну следующую грозную записку:

«По отъезде моем[2] съездите к Дмитрию Матюшкину и старайтесь, чтоб муж с женою вместе были, и скажите камергеру Матюшкину при жене его моим словом, что он, имев жену и детей, столь дерзок, что осмелился невестке и сыну моему и кое-кому другим говорить, опорочивая и осуждая волю мою в определении генерала Салтыкова; что

---

[1] «Русский Архив» 1864 года, стр. 485.

[2] Императрица с цесаревичем и великой княгиней пробыли в Царском Селе с 9-го по 25-е ноября 1773 года.

я оставлю на его размышлении, что бы государи, прежде меня царствовавшие в России, зато с ним учинили бы; что он кладет руку между коркою и деревом и ищет ссорить мать с сыном и государыню свою с наследником; что и я бы не оставила бы наказать его за сию дерзость, еслиб я не уверена была, что все сие происходило от его глупости и зависти, прося себя на то место, к которому ни одной способности не имеет; что в разсуждении жены его и детей, кои в сем ни малейшаго участия не имеют, его сей раз прощаю, но при том запрещаю на глаза ко мне казаться, пока буду в Царском Селе, дабы ему показать, как я людей удерживать умею от прежняго движения; а с 25-го ноября он может дневать попрежнему. Графине же Анне Алексеевне скажите, что я совершенно уверена, что в сем деле муж ея с нею не советовался, ибо она умна, а сие есть дело глупости. Скажите еще Матюшкину[1] и то, что он из того может видеть, что я его умнее, что я выговор ему сей велела сделать не при детях его, дабы не умалить их почтения к отцу, который сие правило нарушил в разсуждении меня».

Раздражительность в соединении с крайней впечатлительностью и подозрительностью не покидали по-прежнему цесаревича. Английский посланник Гуннинг (Sir Robert Gunning) в депеше от 22-го ноября 1773 года приводит в подтверждение сказанного разительный пример. «В последнее время», — писал Гуннинг, — несколько ребяческих и неосторожных выражений, употребленных великим князем, внушили императрице сильнейшее безпокойство. Незадолго до отъезда в Царское Село ему подали за ужином блюдо сосисок, кушанье, до котораго он большой охотник, и в нем он нашел множество осколков стекла; в первую минуту гнева он поспешно встал из-за стола и, взяв с собой блюдо, отправился прямо в комнаты императрицы и с величайшим раздражением высказал ей, что этот случай доказывает ему намерение отравить его. Императрица была чрезвычайно

---

[1] «Русский Архив» 1883 года, книга 3-я, стр. 226. Редактор ошибочно относит эту записку к концу 1783 года. Сведения о немилости, постигшей Матюшкина, помещены были в 19-м томе Сборника И.Р.И.О., вышедшем в 1876 году, стр.393. См. также: Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова, С.-Петербург, 1878 года, том 1-й, стр. 275 и 282. Граф Матюшкин оставил службу 7-го января 1774 года

поражена этим подозрением, так же как и небрежностью прислуги, послужившей единственным поводом к тому».[1]

Другое событие взволновало цесаревича еще в большей степени. В январе 1774 года в Петербурге явился Потемкин, вызванный Екатериной из Дунайской армии. В скором времени он был назначен генерал-адъютантом, подполковником Преображенского полка, вице-президентом военной коллегии и членом совета. Отныне звезда князя Г.Г.Орлова померкла уже навсегда. Что касается до лишенного всякого политического значения фаворита, А.С.Васильчикова, то он удален был от двора, осыпанный милостями. Для цесаревича возвышение Потемкина послужило предметом все более возраставшего неудовольствия: это был уже не дуралей (butor) Орлов, а, напротив того, в лице нового фаворита явился даровитый исполнитель мыслей Екатерины, влияние которого вскоре почувствовалось в делах, тогда как самолюбивый наследник оставался в тени и должен был, подобно тому, как говорил о себе Ростопчин, без дела и без скуки сидеть, поджавши руки. Такие обиды не прощаются, в особенности, когда обиженный чувствует за собой законное право быть чем-то другим. К тому же, цесаревич усмотрел еще в Потемкине не только врага по убеждениям, но и соперника, пользовавшегося доверием императрицы, а это преимущество он считал своим исключительным законным правом. Но спрашивается: кто виноват?

Лучшим ответом на этот вопрос может служить записка, представленная цесаревичем императрице в 1774 году под заглавием: «Разсуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребнаго для защиты онаго, и касательно обороны всех пределов».

В этой записке, которая по существу своему является не чем иным, как жестокой критикой царствования, начавшегося в 1762 году, наглядным образом отразилась политичес-

---

[1] Сборник И.Р.И.О., том 19-й, стр. 389.

Гуннинг приписывает этому случаю причину временного переселения двора в Царское Село, в чем он, кажется, ошибается; поездка эта была уже ранее намечена. Гуннинг пишет: «Желание разсмотреть, явилось ли настоящее подозрение, лишь как мимолетная мысль, вызванная этим обстоятельством, и не указывает ли оно на более укоренившееся недоверие, как говорят, послужило целью путешествия в Царское Село, где она будет иметь более частую и постоянную возможность изучить образ мыслей сына и поближе познакомиться с характером великой княгини, который, по моему убеждению, не в состоянии вызвать ея опасений».

кая и военная мудрость обоих Паниных: Никиты и Петра; поэтому Екатерине не трудно было узнать в «Разсуждении» мысли своих двух непримиримых недругов, а сына признать их послушным последователем.

Павел начинает свою записку с объяснений, что Российской империи необходим покой, что это истина бесспорная, но иной раз трудно осуществимая и применимая к политической жизни народов.[1] Рисуя картину бедственного положения империи, цесаревич приходил к заключению, что России следовало отказаться от наступательных войн и устроить всю военную систему государства для обороны. С этой целью великий князь предлагал покрыть Россию чем-то вроде военных поселений, являясь таким образом предтечею аракчеевского способа облагодетельствования России. Затем признавалось необходимым ввести строгую регламентацию в военном деле и для этого дать войскам подробнейшие штаты, уставы, инструкции и «предписать всем, начиная от фельдмаршала, кончая рядовым, все то, что должно им делать; тогда можно на них взыскивать, если что-нибудь будет упущено». Введением строжайшей подчиненности, по мнению Павла Петровича, была бы достигнута цель, чтобы «никто от фельдмаршала до солдата не мог извиниться недоразумением, начиная о мундирных вещах, кончая о строе». Когда же, благодаря введению по всему государству строгой централизации, вследствие которой все, и фельдмаршал, и солдат, должны были бы испрашивать особые высочайшие разрешения на каждый случай, не предвиденный инструкцией, то, как писал цесаревич, «через таковое ограничивание все будут несравненно довольнее и охотнее

---

[1] Читая записку цесаревича, можно думать, что Екатерина начала войну с Турцией и борьбу с польскими конфедератами ради единого удовлетворения своего славолюбия, а не с целью защиты жизненных интересов и политической будущности России. Все эти воинственные предприятия бесспорно ложились тяжким бременем на государство, на бедный русский народ. Но можно ли было без явного ущерба политическому росту России отсрочить вооруженное столкновение с ее врагами, — это другой вопрос. Все войны Екатерины имели исключительной своей целью завоевание столь нужных для империи берегов Черного моря и обеспечение ее западных границ, покончив так или иначе с Польшей. Но может ли история то же самое сказать о крестовом походе, предпринятом впоследствии Павлом I против французской республики ради спасения царей, да еще в союзе с вековым врагом России — Оттоманской Портой? В последнем случае, кажется, было бы действительно полезнее предпочесть «покой» воинственным предприятиям.

к службе, потому что не будут страдать и видеть себя подчиненными прихотям и неистовствам частных командиров, которые всем сим скверняг службу и вместо приохочивания удаляют всех от ней».

По поводу этой беспощадной регламентации, придуманной цесаревичем, было справедливо замечено: «Необыкновенное развитие бюрократии и формалистики, довольствование наружностию, не проникая во внутренность вещей и дел, а главное тяжелый уровень, наложенный на всякую мысль или желание, выходящее из принятаго порядка — вот что было последствием централизации, при столь обширной территории, как русская. Мысль должна была остановиться, развитие делалось неуместным, частныя улучшения оказывались невозможными, их заменяла буква устава или инструкции, а всякая попытка заменить недостаточность устава или инструкции называлась «умничаньем» — словом, получившим право гражданства в конце прошлаго столетия и, к сожалению, долго тяготевшим над русскою землею и русскою армиею. Всякая способность утрачивала цену, если о человеке прибавляли, что он умничает».[1]

«Разсуждение» свое цесаревич окончил следующими словами: «Показав теперь все то, что к равновесию потребно, и какую военная часть связь и пропорцию иметь должна в разсуждении всего государства,... совершил намерение себя сделать полезным государству, писав сие от усердия и любви к отечеству, а не по пристрастию или корысти, в такое время, где, может быть, многие, забыв первые два подвига, заставившие меня писать, следуют двум последним, а что больше еще, и жертвуя всем тем, чего святее быть не может. А сему я был сам очевидцем и узнал сам собою вещи и, как верный сын отечества, молчать не мог».[2]

Легко себе представить, какие чувства возбудило в Екатерине чтение «Разсуждения» цесаревича и, в особенности, заключительные слова его думы о неустройствах в России.

---

[1] И.Лебедев: Графы Панины, стр. 199.

[2] См. в приложениях записку цесаревича Павла Петровича об уничтожении гвардии. Она составляет как бы дополнение к «Разсуждению» и, вероятно, написана им в позднейшее время. Едва ли императрица читала это произведение пера своего сына; может быть, эта записка лежала в столе цесаревича, и он ею воспользовался, когда в 1778 году началась переписка его с графом Петром Ивановичем Паниным по вопросу о преобразовании русских военных сил.

Сочинением своим великий князь, в глазах матери, окончательно уронил свою политическую правоспособность. «Екатерина ставила выше всего интересы государства, приносила им в жертву все другия соображения и чувствования»,[1] и эти начала руководили ею и в рассматриваемом случае. Признавая невозможным переубедить сына и полагая, что ближайшее участие цесаревича в управлении государством привело бы только к бесполезному столкновению его с разными лицами иного образа мыслей, императрица решилась оставить наследника в стороне от дел, ограничиваясь только *самыми необходимыми сообщениями; по этой причине* цесаревич не был даже призван к участию в делах Совета, учрежденного в 1769 году. Вынужденное бездействие не могло благотворно повлиять на дальнейшее развитие характера Павла Петровича; весьма естественно, что он продолжал все видеть в мрачных красках, внешнюю политику правительства не в меньшей степени, чем внутреннюю. Все вокруг него не делалось так, как ему хотелось. Раздражительность и подозрительность усиливались, кроткие меры он признавал слабостью, а минуты просветления являлись все реже. Екатерине оставалось одно утешение — терпеливо ждать появления внука, чтобы воспитать в нем преемника своих дел; но и эти надежды, на первый раз, получили трагический исход, грозивший отдалить столь вожделенное событие на долгий срок. Павел, со своей стороны, также пребывал в ожидании грядущих событий, но несколько иного свойства, чтобы затем сокрушить ненавистное ему здание, воздвигнутое заботами его матери.

Провидение готовило, однако, в далеком будущем обеим сторонам развязку, в равной степени не соответствовавшую их обоюдным видам и намерениям.

IV

В исходе 1774 года политический горизонт стал постепенно разъясняться. Пугачевщина была наконец побеждена,[2] и самозванный Петр III казнен в Москве 10-го января 1775 года. Война с Турцией прекратилась еще ранее и была

---

[1] В.А.Бильбасов: Екатерина II и Гримм. (Русская Старина, 1893 года, том 77-й, стр. 516).

[2] Для усмирения Пугачевского бунта Екатерина назначила сперва генерала А.И.Бибикова, а после его смерти она поручила это дело своему персональному оскорбителю графу Петру Ивановичу Панину, во время командования которого захвачен был Пугачев, и мятеж прекращен.

увенчана Кучук-Кайнарджийским миром, упрочившим славу Екатерининского царствования. Таким образом императрица разом восторжествовала над внутренними и внешними врагами; теперь наступил апогей ее правления. Екатерина пожелала отпраздновать заключение мира с Турцией в Москве и присутствием своим оживить первопрестольную столицу, перенесшую за последние годы столько бедствий и печальных тревог.

25-го января 1775 года последовал торжественный въезд императрицы в Москву; великокняжеская семья сопровождала государыню.

По донесениям Гуннинга, «во все время церемонии со стороны народа почти не было возгласов или вообще какого бы то ни было выражения хотя бы малейшаго удовольствия». Так пишет англичанин, но по другим сведениям встреча, оказанная императрице Екатерине, была блестящая и радушная. «Своею ласковою, чисто русскою речью окончательно обворожила она старых московских тузов, которых каждаго умела назвать по имени и отчеству. Строгим исполнением церковных правил, частым посещением церквей и монастырей и, наконец, походом к Троице стала она любезна народу, который, глядя на нее, поминал матушку Елисавету Петровну и провожал ее оглушительными криками. Екатерина пустила в ход все дары обаяния, которыми так щедро наградило ее Провидение, и была в восторге от успеха».

«Знаете ли вы, который все знаете?, — писала императрица из Москвы Гримму 30-го января 1775 года, — я в восторге, что сюда приехала, и что здесь все от мала до велика в восторге, что меня видят».

Относительно цесаревича Гуннинг, в противоположность якобы встреченному Екатериной в Москве холодному приему, пишет: «Популярность, которую приобрел великий князь в день, когда он ездил по городу во главе своего полка,[1] разговаривал с простым народом и позволял ему тесниться вокруг себя так, что толпа совершенно отделяла его от полка, и явное удовольствие, которое подобное обращение доста-

[1] Кирасирский полк цесаревича возвратился к тому времени из турецкого похода.

вило народу, как полагают, весьма не понравилось».[1] Но тот же дипломат пишет о цесаревиче еще и следующее: «Как бы сильной ни казалась привязанность к нему простого народа, поведение его в последнее время во многих отношениях до того напомнило действия его отца, что внушает лицам, имеющим возможность судить от этом, неприятныя опасения относительно того, каким образом он со временем станет употреблять свою власть. Меня уверяли, что г. Панин не имеет более ни малейшаго на него влияния и с величайшим огорчением узнает о новых доказательствах слабости и неосторожности как с его стороны, так и со стороны великой княгини».

Вообще, по другим сведениям, последнее мнение, высказанное Гуннингом, оказывается преобладающим: цесаревич не произвел благоприятного впечатления в первопрестольной столице, а великую княгиню мало полюбили, так как она сама терпеть не могла Москвы и москвичей.

Пребывание в Москве не содействовало улучшению отношений Екатерины к цесаревичу и к великой княгине; обоюдное неудовольствие, начавшееся еще в Петербурге, продолжалось. Наталия Алексеевна, подчинив цесаревича своему исключительному влиянию, стала обращаться с ним деспотически; она удаляла его от всех, осуждая его на общение с тесным кругом лиц, во главе которых стоял граф А.К.Разумовский, не устоявший, к тому же, в довершение всех бедствий, против искушения завязать политические интриги. Дошло до того, что императрица сочла нужным предостеречь сына от козней его друга, злоупотреблявшего оказанным ему безграничным доверием и в делах, выходивших за пределы политики. Но все было тщетно. Великая княгиня со слезами убедила мужа в противном, и в резуль-

---

[1] Кастера идет еще далее и рассказывает, что граф Разумовский, пораженный сочувствием народа к цесаревичу, сказал ему: «Вы видите, как вы любимы, ваше высочество! Ах, еслибы вы хотели (vous voyez, combien vous tes aim , prince. Ah! si vous vouliez)!... Великий князь ничего не ответил, но бросил на Разумовского взгляд, который доказывал, что он умел быть почтительным сыном» и, прибавим со своей стороны, верноподданным. Castra: Histoire de Catherine, t.2, p.201.

В Москве произошло открытое столкновение между цесаревичем и Потемкиным; последний потребовал, чтобы ему, как вице-президенту военной коллегии, а не великому князю, представлялись рапорты о состоянии Кирасирского полка.

тате у цесаревича явился новый повод к гневу и неудовольствию против матери, будто бы желавшей преднамеренно рассорить его с горячо любимой женой. Семейные раздоры, грозившие принять роковой оборот, разрешились наконец событием, которого Екатерина поджидала с нетерпением: у великой княгини появились несомненные признаки беременности. Нужно было думать о скорейшем возвращении в Петербург, и 7-го декабря цесаревич с супругой расстались с Москвой.[1] Императрица же посетила еще Тулу и Калугу и к 24-му декабря также возвратилась в Петербург.

Решительный час настал 10-го апреля 1776 года. Великая княгиня почувствовала приближение родов.

«Великий князь, — писала Екатерина московскому главнокомандующему, князю М.Н.Волконскому, — в Фоминое воскресенье по утру, в четвертом часу, пришел ко мне и объявил мне, что великая княгиня мучится с полуночи; но как муки были не сильныя, то мешкали меня будить. Я встала и пошла к ней и нашла ее в порядочном состоянии и пробыла у ней до десяти часов утра, и, видя, что она еще имеет не прямыя муки, пошла одеваться и паки к ней возвратилась в 12 часов. К вечеру мука была так сильна, что всякую минуту ожидали ея разрешения. И тут при ней, окромя самой лучшей в городе бабки, графини Катерины Михайловны Румянцевой, ея камер-фрау, великаго князя и я, никого не было; лекарь же и доктор ея были в передней. Ночь вся прошла, и боли были переменныя со сном: иногда вставала, иногда ложилась, как ей угодно было. Другой день паки проводили мы таким же образом, но уже призван был Круз и Тоде, коих совету следовала бабка, но без успеха оставалась наша благая надежда. Во вторник доктора требовали Рожерсона и Линдемана, ибо бабка отказалась от возможности. В середу Тоде допущен был, но ничто не мог предуспеть. Дитя уже был мертв, но кости оставались в одинаковом положении. В четверг великая княгиня была исповедана, приобщена и маслом соборована, а в пятницу предала Богу душу.[2] Я и великий князь все пятеры сутки и

---

[1] Цесаревич прибыл в Царское Село 20-го декабря, где и встретил императрицу, прибывшую туда из Москвы 23-го декабря 1775 года.

[2] Архиепископ Платон находился в это время случайно в Петербурге, для присутствования в синоде; ему суждено было напутствовать в эти тягостные минуты несчастную страдалицу, великую княгиню. При погребении ее Платон произнес надгробное слово.

день и ночь безвыходно у нея были. По кончине, при открытии тела, оказалось, что великая княгиня с детства была повреждена, что спинная кость не токмо была такова S, но часть та, коя должна быть выгнута, была вогнута и лежала дитяте на затылке; что кости имели четыре дюйма в окружности и не могли раздвинуться, а дитя в плечах имел до девяти дюймов. К сему еще соединялись другие обстоятельствы, коих, чаю, примера нету. Одним словом, стечение таковое не позволяло ни матери, ни дитяте оставаться в живых. Скорбь моя была велика, но, предавшись в волю Божию, теперь надо помышлять о награде потери».[1]

Сообщая Гримму все подробности этого печального происшествия, императрица вошла в несколько большие подробности относительно испытанного ею душевного потрясения, и писала: «Вы не можете себе представить, что она должна была выстрадать и мы с нею. Душа моя растерзана; я не имела ни минуты покоя во все эти пять дней и ни днем, ни ночью не покидала принцессу, пока она не закрыла глаз. Она говорила мне: «Какая вы прекрасная сиделка!». Представьте себе мое положение: утешать одного, укреплять другую и, изнемогая телом и душою, быть вынужденною ободрять, решать и соображать все, что не должно быть забыто. Признаюсь вам, в жизнь мою я не была в положении более трудном, более ужасном, более тягостном: я забывала пить, есть, спать: силы мои поддерживались сама не знаю как. Я начинаю думать, что если после этого события моя нервная система не разстроится, то она несокрушима... Мы едва живы. Были мгновения, когда мне казалось, что внутренности мои раздираются при виде стольких страданий, и что при каждом крике я сама чувствую боли. В пятницу я точно окаменела и даже до сих пор еще не сознаю себя. Часы слабости сменяются у меня часами силы: это происходит от перемежающейся лихорадки, которая, однако, более в ду-

---

[1] «Осьмнадцатый Век», книга 1-я, стр. 141. Письмо императрицы Екатерины к московскому главнокомандующему от 1-го мая 1776 года. В том же письме Екатерина еще писала: «Не сомневаюсь, что вы и все с вами разделили справедливую мою печаль. Богу так угодно было, что делать! Но то сказать могу, что ничего не было проронено, что только человеческий ум и искусство придумать могли к спасению ее. Но тут было стечение различных несчастных обстоятельств, кои казус сей сделали почти единственным в свете».

ховном настроении, чем в физическом. Кто сам не испытал и не видал этого, не может составить себе понятия об этом. Вообразите, что я, будучи плаксива от природы, была свидетельницею кончины, не проронив ни слезинки. Я говорила себе: если ты заплачешь, другие будут рыдать; если ты разрыдаешься, другие дойдут до обморока, и все потеряют голову и разсудок, и все это будет непростительно».

Г-же Бьельке Екатерина сообщила еще следующие подробности об этом печальном событии:

«Никакая человеческая помощь не могла спасти эту принцессу; ея несчастное сложение не позволило ей родить ребенка, которым она была беременна; случай с ней есть, может быть, единственный в своем роде. В продолжение трех дней ее мучили настоящия родовыя боли, и, когда повивальная бабка объявила, что ничего не может сделать, позвали акушеров; но вообразите себе, что ни они, ни какие-либо инструменты не могли помочь ей, parce qu'elle était barrée; после ея смерти, при вскрытии трупа, оказалось, что там был промежуток только в четыре дюйма, а плечи ребенка имели восемь. Два года тому назад покойная разсказывала нам, что будучи ребенком, она подвергалась опасности сделаться кривою (ayant de la disposition à devenir contrefaite); поэтому ландграфиня призвала какого-то шарлатана, который выпрямлял ее при помощи кулаков и колен. (La landgrave avait fait venir un charlatan, qui l'avait redressée à coups de poing et de genoux). Этим-то и объясняется, что спинной хребет ея оказался изогнутым в виде буквы S, а нижняя часть позвоночника, которая должна быть выгнутою, у нея, была вогнутою. Вот еще доказательство тому, что не из гордости, но вследствие невозможности она не могла нагибаться вперед; кулаки шарлатана, вероятно, и отправили ее на тот свет. (Ces coups de poing du charlatan probablement aussi l'ont expédiée dans l'autre monde). Я была очень огорчена потерею этой принцессы и сделала все, чтобы спасти ее; пять дней и пять ночей я не отходила от нея; но, в конце концов, так как дознано, что она не могла иметь живого ребенка или, вернее, не могла вовсе рожать, то остается одно — перестать об этом думать».

Великая княгиня Наталия Алексеевна скончалась 15-го (26-го) апреля в пять часов пополудни. В пять часов двадцать минут императрица в одной карете с цесаревичем отправи-

лась в Царское Село, дабы отдалить его от сего трогательного позорища, как пишет князь Федор Николаевич Голицын в своих записках. Относительно великой княгини Наталии Алексеевны князь Голицын высказывает следующее мнение: «Великая княгиня одарена была редкими достоинствами в разсуждении разума и сердца. Меня уверяли, что она много подходила к императрице и со временем могла бы сделаться достойною помощницею своего августейшаго супруга».

16-го апреля за императрицей и цесаревичем последовал принц прусский Генрих, прибывший в Петербург незадолго до несчастных родов великой княгини.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Поездка цесаревича в Берлин и второй его брак. — Рождение великого князя Александра Павловича.

I

Неожиданная кончина великой княгини Наталии Алексеевны расстраивала все надежды императрицы Екатерины на продолжение династии;[1] дело приходилось начать сызнова, «помышлять о награде потери», как выразилась государыня в письме к князю М.Н.Волконскому. Гримму же императрица писала: «Увидев корабль опрокинутым на один бок, я, не теряя времени, перетянула его на другой и старалась ковать железо, пока горячо, чтоб вознаградить потерю, и этим мне удалось разсеять глубокую скорбь, которая угнетала нас».

Действительно, так и случилось. Императрица немедленно приступила к рассмотрению бумаг почившей великой княгини; чтение их подало средство к исцелению безутешной печали цесаревича.[2]

Средство было, без сомнения, жестокое, но верное, соответствовавшее обстоятельствам. Оказалось, что граф А.К.Разумовский недостойным образом злоупотребил доверием Павла Петровича.

Разумовский был сперва выслан в Ревель, а затем в Батурин, к отцу, фельдмаршалу графу Кириллу Григорьевичу, а 1-го января 1777 года граф Андрей Кириллович назна-

---

[1] Погребение великой княгини Наталии Алексеевны последовало в Невском монастыре 26-го апреля. Императрица Екатерина присутствовала при печальной церемонии; она в этот день выехала из Царского Села в восьмом часу утра и возвратилась обратно в семь часов вечера. Цесаревич не отдал последнего долга великой княгине и не покидал Царского Села с самого приезда туда с матерью в печальный день 15-го апреля.

[2] В бумагах великой княгини найдены были также политические проекты графа Разумовского; обнаружились сношения с французским посольством, и нашлись указания на заем денег для великой княгини. Екатерина, по собственному опыту, сознавала вполне, к каким «действам» может привести подобная переписка, и оценила ее по достоинству; поэтому политическая сторона деятельности Разумовского требовала немедленного удаления его от двора цесаревича даже в том случае, если бы не существовали еще и другие к тому причины.

чен был полномочным министром и чрезвычайным посланником в Неаполь.[1]

Решительный образ действий императрицы сделал открытым вопрос о вторичном браке цесаревича. Снова внимание Екатерины остановилось на виртембергской принцессе Софии-Доротее, по поводу которой она несколько лет перед тем искренно сокрушалась, что не может призвать ее в Россию.[2] На этот раз обстоятельства благоприятствовали намерениям императрицы.

Незадолго до несчастных родов великой княгини Натали Алексеевны, 4-го апреля, в Петербург прибыл брат Фридриха Великого, принц Генрих, посетивший уже раз Россию в 1771 году, когда готовился первый раздел Польши. С этого времени между императрицей и принцем установились наилучшие отношения. То же самое можно сказать относительно цесаревича; на этот раз мысли сына не расходились со взглядами его матери. При содействии принца Генриха дело о вторичном браке наследника быстро подвинулось вперед. Однако к этому времени принцесса София-Доротея успела уже сделаться невестою; по странной случайности она была помолвлена за брата покойной великой княгини, наследного принца гессен-дармштадтского. Фридрих II, неизменный сват русской императорской семьи, с предупредительною готовностью взялся устранить возникшее препятствие, в чем, конечно, успел как нельзя лучше. Жених возвратил данное ему слово и вознагражден был пенсией в 10.000 рублей; принцесса София-Доротея сделалась свободной.

5-го мая 1776 года цесаревич писал своему бывшему законоучителю, архиепископу Платону: «За долг свой почи-

---

[1] «Ссылка его основана была более на придворных соображениях и на той короткости, в какой он находился у их вы́сочеств. Он же вел себя гордо и не всем нравился». Записки князя Федора Николаевича Голицына: «Русский Архив» 1874 года, книга 1-я, стр. 1278.

По мнению биографа Разумовского, императрица из чтения бумаг великой княгини убедилась, насколько граф Андрей Кириллович проявил тонкости и несомненного таланта; поэтому она решилась воспользоваться его дарованиями, предоставив ему дипломатическое поприще.

[2] Фредерика-Доротея-София, мать принцессы Софии-Доротеи, приходилась племянницей Фридриху Великому, будучи дочерью маркграфа Бранденбург-Шведтскаго, мужа родной сестры короля; отец же ее, Фридрих-Евгений, был третьим сыном владетельного герцога виртембергского, Карла, и управлял в то время графством Монбельяр; он прежде находился на прусской военной службе и был ранен под Кунерсдорфом.

таю благодарить вас за труды ваши в наставлении, за дружбу и за все, сделанное вами перед самою кончиною покойницы в разсуждении ея. Я имел всегда причины быть вам благодарным и любить вас по бытности вашей при мне в младенчестве моем и по трудам и старанию, приложенным вами к воспитанию моему. Сии причины возросли по дружбе и попечению вашему, оказанным вами к жене моей, но дошли до вышней степени всем тем, что вы сделали при конце и после смерти ея. Еще имею причину взирать на вас, как на друга своего. Ваше преосвященство были всегда свидетелем и подкреплением тех чувств сердечных моих, которыми я всегда наполнен. Вы знаете сердце и намерения мои. Сколь же приятно мне знать, что есть на свете люди, которые отдают справедливость честности и чистоте духа. Вы, зная меня, и я, с своей стороны, зная вас, не могу инако почитать, как другом своим. Увещание ваше продолжать хранить в непорочности сердце мне свое и призывать во всех делах моих помощь небесную принимаю с благодарностию и на сие скажу вам, что то, что подкрепляло меня в известныя вам столь тяжкия для меня минуты, то всегда во всех путях моих служит светом, покровом и подкреплением. Сие на Бога упование отняв, истинно немного причин будем мы все иметь, для чего в свете жить. При сем случае за долг свой почитаю вам сказать (прося оставить под глубоким секретом), что в сии горестныя минуты не забыл помыслить о долге в разсуждении отечества своего, полагаясь и в сем, как в выборе, так и в прочем на судьбы Божии».

В этой задушевной исповеди, написанной в трудную минуту жизни, отразился возвышенный образ мыслей, одушевлявший цесаревича, когда он не действовал под впечатлением тягостных воспоминаний далекого прошлого или же гнева, вызванного соприкосновением с неприятными для него сторонами придворной жизни; в последнем случае светлый ум его затемнялся, и гневные речи, а порой и злобные поступки отталкивали от него лучших друзей и почитателей, вызывая в нем самом тягостные разочарования и позднее раскаяние. Трагический исход первого брака цесаревича должен был неизбежно повлиять на усиление именно дурных сторон его характера, впрочем, уже вполне сложившегося; оно: действительно, так и случилось. «Цесаревич мало-помалу облекся в тот странный образ, в котором предстал он России при своем воцарении».[1]

---

[1] «Семейство Разумовских», т. 3-й, стр. 42.

Екатерина в переписке с Гриммом оставила нам, в свою очередь, в шутливой форме оживленный пересказ придворных событий после 15-го апреля.

«Я начала с того, — пишет императрица, — что предложила путешествия, перемену мест, а потом сказала: мертвых не воскресить, надо думать о живых. Разве оттого, что воображали себя счастливым, но потеряли эту уверенность, следует отчаиваться в возможности снова возвратить ее? И так, станем искать эту другую.

— Но кого?

— О, у меня есть в кармане!..

— Да, да, и еще какая прелесть!

И вот любопытство сразу возбуждено.

— Кто она, какова она? брюнетка, блондинка, маленькая, большая?

— Кроткая, хорошенькая, прелестная, одним словом, сокровище, сокровище: сокровище приносит с собою радость.

Это вызывает улыбку; слово за слово, призывается третье лицо, некий путешественник, столь проворный, что за ним никто не угоняется, прибывший недавно, как раз для того, чтобы утешать и развлекать; и вот он делается посредником, начинает переговоры; курьер послан, курьер возвращается, устраивается путешествие, приготовляется свидание, и все это совершается с неслыханною быстротою. И вот удрученные сердца успокоиваются; грусть еще не отходит, но неизбежно разсеивается приготовлениями к путешествию, которое необходимо для здоровья и для развлечения. — Дайте нам пока портрет, в этом нет беды. Портрет? Мало таких, которые нравятся, живопись не производит впечатления. — Первый курьер привозит портрет. На что он? Портрет может произвести неблагоприятное впечатление. Пусть он лучше остается в своем ящике.

И вот портрет целую неделю лежит завернутый там, где его положили, когда он был привезен, на моем столе, возле моей чернильницы. — Что же, он красив? — Смотря по вкусу; моему вкусу он вполне удовлетворяет. Однако, на него посмотрели, немедленно положили в карман и снова на него посмотрели. Наконец, он наполнял собою и ускорял приготовления к путешествию, и вот они в дороге... Я не знаю, но с 1767 года я всегда чувствовала преобладающее влечение к этой девице; разсудок, который, как вы знаете, часто вводит в заблуждение инстинкт, заставил меня предпочесть другую, потому что большая молодость не дозволяла

устроить дело тотчас, и вот именно в то время, когда казалось, что я потеряла ее навсегда, самое несчастное событие возвращает меня к предмету моей страсти. Что же это такое? Вы станете разсуждать по-своему, вы будете приписывать это случаю; совсем нет: я энтузиастка и не довольствуюсь этим: мне необходимо нечто более необъятное (il me faut du plus vaste à moi)».

Действительно, императрицей было решено, что цесаревич Павел Петрович предпримет поездку в Берлин в сопровождении принца Генриха, чтобы сделать предложение принцессе Софии-Доротее, которая, со своей стороны, должна была прибыть из Монбельяра в Берлин ко времени приезда туда великого князя.

13-го (24-го) июня цесаревич отправился в путь из Царского Села. Его сопровождали фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский, нарочно вызванный для этой цели из Малороссии, генерал Николай Иванович Салтыков, камергер Нарышкин, камер-юнкер князь Александр Борисович Куракин, секретарь Николаи и доктор Бек. Путешествие в Берлин могло только радовать великого князя; наконец, ему представился случай увидеть страну, казавшуюся ему образцом для водворения в России подобных же порядков, затем ознакомиться с армией, слава которой гремела по всей Европе, и, что всего важнее, лично приветствовать великого короля-полководца, служившего некогда предметом обожания для его отца.

Граф Никита Иванович Панин, хотя и ревностный сторонник союза с Пруссией, не принимал никакого участия в переговорах о новом браке цесаревича; будучи в это время болен и оставаясь в Петербурге, он оставлен был в совершенном неведении насчет дела, считавшегося тогда наисекретнейшим. Бывший воспитанник графа Панина, к удивлению друзей Никиты Ивановича, не нашел для себя возможным навестить его во время болезни и не мог даже сообщить ему о своей поездке в Берлин.

Тем не менее, судя по письму графа Никиты Ивановича к князю Николаю Васильевичу Репнину, от 19-го июня 1776 года, из Петербурга, граф Панин был довольно хорошо осведомлен относительно происходивших тогда, как он их называет, «дворских кризисов».

«Причина же моему так долгому молчанию вот какая», — писал Никита Иванович. — Я теперь одиннадцать недель лежу и сижу в своей комнате неподвижно в руках докторских и лекарских. Начавшаяся пятнадцать лет назад у меня водяная грыжа усилилась с такою жестокою опухолью, болем и

лихорадкою, что мне оставалось только помышлять о спасении живота моего. Между тем воду из меня выпустили, которой было до трех фунтов, и я уже трижды был под ножем лекарским. Пожалуй, любезный друг, не оскорбляйся много обо мне и знай, что я столько же тенас и в моем физическом сложении, сколько и в моральном, перенося все. Теперь болезнь моя обратилась совсем к лучшему, хотя от ран и от поставленной заволоки несколько претерпеваю; да и лихорадка время от времени оказывается при начале новаго загноения по местам, кои тем очищаемы быть должны.

В откровенность, сердечный друг, скажу тебе, что, по моральному нашему здесь положению, нельзя было болезни избрать для моего спокойства удобнейшаго времени, ибо сим одним миновали меня все происшедшие наши дворские кризисы. Великая княгиня скончалась. Открывшиеся смертию ея внутренний образ жизни переменил чувства ея супруга и подал утешение всему двору о сей потере, а наконец теперь и отъезд его императорскаго высочества..., по предречению у двора в Царском Селе в Ригу, а по нашим в городе известиям до самого Берлина, суть такия происшествия, в которых, конечно, мне бы соучаствовать безвредно было невозможно. Его высочество выехал из Царского Села 13-го числа сего месяца после полудня в 8 часов, а принц Генрих на завтрее в том же часу, чтобы в Риге догнать и оттуда перед взять до Мемеля, где опять его встретить со всеми от берлинскаго двора присланными нарочно для приема особами, и потом уже ехать до Берлина вместе с его императорским высочеством, где великий князь сам увидит принцессу Доротею Виртембергскую. Если ему полюбится, то там и помолвить изволит, а пробыв недели две, в обратный путь вступить. Графиня Екатерина Михайловна Румянцева отправится к надлежащему времени в Ригу для принятия той принцессы и привезет ее сюда, яко невесту великаго князя».

В течение всего этого путешествия, предпринятого цесаревичем, между ним и императрицей происходила самая оживленная переписка, позволяющая следить шаг за шагом за всеми впечатлениями, вынесенными великим князем на пути к прусской столице и во время пребывания его при дворе Фридриха Великого.

Первая более продолжительная остановка цесаревича имела место в Риге, где он нашел в военном ведомстве «страшные безпорядки (des désordres affreux)», которые, по его мнению, могли бы привести рано или поздно к весьма дурным последствиям. Павел Петрович, обрадовавшись по-

добному открытию, не замедлил донести о замеченных неустройствах императрице; в глазах великого князя все это могло только служить подтверждением взглядов, выраженных им ранее в знаменитом «Разсуждении». В письме к барону К.И.Сакену цесаревич объяснял причину высказанного им тогда открыто неудовольствия соображениями, имеющими несколько трагический характер и едва ли вполне уместными в упоминаемом случае.

«Если бы я нуждался в политической партии, — писал цесаревич, — я мог бы умолчать о подобных безпорядках, чтобы пощадить известных лиц; но будучи тем, что я есмь, я не могу иметь ни партий, ни интересов, кроме интересов государства, а при моем характере тяжело видеть, что дела идут вкривь и вкось, в особенности же, что причиною тому являются небрежность и личные виды. Я предпочитаю быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за дело неправое».

Екатерина, отвечая цесаревичу, старалась успокоить его, обещала расследовать замеченные непорядки, но прибавила не лишенное юмора заключение: «Сердцем, конечно, жалею о подобных нестройностях и давно знаю пословицу, что в большой семье без урода не бывает».

Императрица воспользовалась также случаем, чтобы кстати заговорить о вреде подражания прусскому королю, причем, по ее мнению, оказывалось, что, «заимствуя у других, не всегда сходственно пользе своей поступаем». Подобное дружеское предостережение казалось, вероятно, Екатерине неизлишним ввиду того неизбежного увлечения прусскими порядками, которого она ожидала со стороны великого князя.

Из Риги Павел Петрович отправился в дальнейший путь в Берлин через Митаву, Мемель и Кенигсберг.[1] Весь переезд по прусским владениям являлся сплошным триумфальным шествием, которое могло вскружить голову и произвести неизгладимое впечатление и на более хладнокровного путе-

---

[1] Почему-то первое впечатление, вынесенное цесаревичем при виде в Кенигсберге столь прославленных прусских войск, было неблагоприятно; он писал даже по этому поводу императрице: «славны бубны за горами». Но это разочарование вскоре уступило место другим впечатлениям. В Берлине, под оком короля, все представилось в другом виде, и впечатление, оставленное в уме великого князя прусскими войсками и маневрами, никогда не изгладилось. С тех пор прусские войска сделались для Павла Петровича идеалом, к достижению которого он решился неуклонно вести русские войска.

шественника, чем цесаревич, не привыкший служить предметом такого внимания.

10-го (21-го) июля совершился торжественный въезд наследника русского престола в Берлин. При встрече с Фридрихом Великим во дворце цесаревич обратился к нему с приветственной речью, в которой между прочим сказал, что он достиг того, чего уже давно желал, «видеть величайшаго героя, удивление нашего века и удивление потомства». Король отвечал, что он не заслуживает похвал, что он только бедный, хворый, седовласый старец, обрадованный приездом сына лучшего своего друга, великой Екатерины.

О пребывании своем при прусском дворе цесаревич писал императрице 11-го (22-го) июля:

«Вчера в вечеру приехал благополучно, где я и был принят с такими почестями, с какими, как сказывают, ни один из коронованных глав не был принят. Королю вручил письмо вашего величества и повеления ваши к нему исполнил; он мне на сие отозвался, что ваше величество не можете иметь человека привязаннее и благодарнее его; после того был у королевы и видел всех принцесс, судите о моем состоянии. Потом был кур и концерт, на котором я играл в пикет с королевою; после сего был ужин, где я сидел между ею и королем. Король со мною много говорил и вертел меня с разных сторон. Гисторическое описание окончив, донесу о другом. Вчера, как скоро, приехав, взошел к себе в покои, то пришел ко мне будущий мой тесть с двумя сыновьями своими; я нашел его в таких расположениях, каких я описать не могу: мы оба со слезами говорили довольно долго. Вашему величеству известны расположения сердца моего, с какими поехал, но за долг считаю вам первой открывать всегда самыя скрытныя чувства сердца своего и за первое удовольствие оное поставляю. Я нашел невесту свою такову, какову только желать мысленно себе мог: не дурна собою велика, стройна, незастенчива, отвечает умно и расторопно, и уже известен я, что естьли она сделала действо в сердце моем, то не без чувства и она с своей стороны осталась. Сколь счастлив я, всемилостивейшая государыня, естьли, вами будучи руководим, заслужу выбором своим еще более милость вашу. Отец и мать не таковы снаружи, каковыми их описывали: первый не хромает, а другая сохраняет еще остатки приятства и даже пригожества. Дайте мне свое благословение и будьте уверены, что все поступки жизни моей обращены заслужить милость вашу ко мне. Принц (Генрих) мне столько дружбы и приязни оказывает, что я не знаю, чем за оное ему воздать: он снисходит до самых

мелочей и забывает почти сан свой. Корнет Говен, котораго я посылаю, может донести изустно о многом, касающемся до путешествия нашего, ибо ни времени не имею о сем вам сам донести, будучи занят чувствами различными сердца моего. Препоручаю себя и будущую свою в милость вашего величества, послушный сын и верноподданный».

13-го (24-го) июля великий князь сообщил императрице о сговоре своем с принцессой виртембергской следующим письмом:

«Бог благословляет все намерения ваши, ибо благословляет он всегда добрыя. Вы желали мне жену, которая бы доставила нам и утвердила домашнее спокойство и жизнь благополучную. Мой выбор сделан, и вчера по рукам ударили; припадаю с сим к стопам вашим и с тою, которая качествами своими и расположениями приобретет милость вашу и будет новым домашним союзом. Препоручаю невесту свою в милость вашу и прошу о сохранении ея ко мне. Что касается до наружности, то могу сказать, что я выбором своим не остыжу вас; мне о сем дурно теперь говорить, ибо, может быть, пристрастен, но сие глас общий. Что же касается до сердца ея, то имеет она его весьма чувствительное и нежное, что я видел из разных сцен между роднею и ею. Ум солидный ея приметил и король сам в ней, ибо имел с ней о должностях ея разговор, после котораго мне о сем отзывался; не пропускает она ни одного случая, чтоб не говорить о должности ея к вашему величеству. Знания наполненна, и что меня вчера весьма удивило, так разговор ея со мною о геометрии, отзываясь, что сия наука потребна, чтоб приучиться разсуждать основательно. Весьма проста в обращении, любит быть дома и упражняться чтением или музыкою, жадничает учиться по-русски, зная, сколь сие нужно и помня пример предместницы ея. Король столь чувствует дружбу вашу к нему, что говорил, что он бы кровью и жизнью хотел вам заплатить и со слезами о сем говорит. Сколь прискорбно мне, что ваше величество не можете участвовать и сами и видеть чувствительность и радость общую, с правом участвовать и делить с вами чувства свои, и так грущу, что терпеть онаго не могу. Фамилия невесты моей столь вам благодарна, что не могут без слез о вас вспомнить».

В письме к матери от 20-го (31-го) июля цесаревич сообщал еще следующие дополнительные сведения о пребывании своем в Берлине:

«Здесь приняты все те, которые имя русскаго носят, с таковою отличностию, зачиная с меня, каковой изъяснить

невозможно. Король со мною говорил осьмой день о разном и щупал меня со всех сторон и при всяком случае изъяснялся с слезами почти, говоря о вашем величестве и о привязанности его к вам. Подарил он мне перстень отменной величины с портретом своим и восемь лошадей. Новая фамилия моя подвергает себя к стопам вашего величества. Невеста моя ежечасно спрашивает у меня, чем заслужить может милость вашу к себе, наведывается о всех, касательно до будущаго своего состояния, и показывает отменную жадность к русскому языку, даже до того, что знает уже азбуку наизусть. Пример покойницы и доброе ея сердце весьма сильно действуют к ней при сем случае. Я надеюсь, что ваше величество сами изволите все сие найтить, ибо от меня в сию минуту может сие показаться пристрастным. Имя ваше здесь в таком почтении, какого изъяснить нельзя, и радость в сию минуту по причине того, что изволили меня сюда отправить, неописанна, и вы не изволите поверить всему тому, что я вам о сем изустно донесу. Министры французский и австрийский дуются и распустили про нас слух, не будучи в состоянии про меня иного сказать, как что я горбат, но думаю, что теперь перестали о сем говорить... Я еду отсюда в будущий понедельник чрез Рейнсберг, невеста моя последует за мною дней чрез пять».

Императрица осталась в восторге от счастливого исхода путешествия, предпринятого цесаревичем, и отвечала ему истинно материнскими прочувствованными строками:

«Спешила я раскрыть ваши два письма и их с необычайным чувством сердечным веселья и нежности читала, нашед в них совокупленно с другим известием, о котором меня уведомляете, множество знаков вашей ко мне любви и привязанности, за которые премного вам благодарю. Бог да благословит к вечному нашему спокойствию сей новый ваш союз, с которым вас поздравляю; признаюсь, что радостных движений до такой степени при первом вашем браке не чувствовала, нынешния же почитаю, не токмо как благопредсказание сердца моего, но еще как произведенныя от исполнения давнишняго моего желания, имев от 1767 сию принцессу всегда в уме и предмете; таковое мое вам известное к невесте вашей расположение не может инако, как умножено быть ея драгими качествами, кои вы столь живо мне описываете, и отовсюду слуху моему мне подтверждаются. Наидружественнейшие сентименты короля и всей фамилии соответствуют совершенно моему желанию и ожиданию взаимности. Сожалею с вами, что не можно мне было на месте видеть и делить чувствительность и радость общую;

что же обо мне вспомнили и тут, сие мне есть наивящий знак вашей ко мне любви и добросердечной приязни, за что вам премного спасибо и мысленно обнимаю вас не единожды... Я сей день пишу к предмету вашего сердца, и сентименты ея ко мне весьма мне приятны; каковы же мои к ней, доказывается и докажу самым делом, о чем прошу ея уверить. — Бога прошу о благополучном обратном пути вашем... а вы в добром здоровьи и в душевном совершенном спокойствии совершайте свой путь и к нам возвратитеся благополучно с любезною вашею невестою, которая от всех хвалима по слухам, до нас доходящим».

Приведем здесь еще несколько строк из ответа императрицы на письмо цесаревича от 20-го (31-го) июля из Берлина.

«Письма ваши меня веселят, ибо вижу, что вы в пути вашем здоровы и благополучны, и что я вам доставила случай весело и с удовольствием время проводить; утешением же наипаче сердцу моему есть ваше ласковое ко мне расположение, кое при всяком случае мне изъявляете с чувствительностию. Бог да благословит вас и обратный путь ваш. Жду тебя нетерпеливо, любопытно узнать из уст ваших все подробности сего путешествия. Признаюсь чистосердечно, что самолюбию моему льстит безмерно честь неупадающаго в свете русскаго имени. Весьма признательна королю за изъявление при всяком случае его ко мне дружбы... Понеже принцесса выучилась в Берлине русской азбуке, то надеюсь, что Пастухову убавит заботу в учении;[1] все, что об ней слышу, есть удовольствительно; желаю наискорее с нею ознакомиться; сие желание, как знаешь, во мне не снова поселено. Плевелы завистников злодеев сами собою упадут, в том числе и те о коих вы пишете, что об вас разсеивали; пора бы им отстать от правил de Basile dans le barbier de Séville».

Наконец, исчерпаны были все торжества и увеселения, которыми король ознаменовал пребывание цесаревича в Берлине. Настал час разлуки, и в эту трогательную минуту разыгралась заключительная сцена, во время которой союз России с Пруссией закреплен был клятвой в вечной дружбе между двумя наследниками, русским и прусским, в присутствии самого Фридриха Великого. Впоследствии король Фридрих-Вильгельм II напомнил о клятве императору Павлу I, в письме от 8-го (19-го) декабря 1797 года, в следующих выражениях:

---

[1] Статский советник Пастухов был предназначен императрицей для занятий с невестой цесаревича русским языком.

«Перед моим взором в особенности воскресает интересная сцена, во время которой мы поклялись друг другу в вечной дружбе, руководимые советами почтеннаго старца, столь глубоко изучившаго относительное значение политических систем Европы. (J'ai surtout encore présente, âmes yeux cette scène intéressante, où guidés par les avis du respectable viellard, qui avait si bien approfondi la convenance des systèmes de l'Europe, nous nous jurâmes une amitié éternelle)».

Эта клятва, которую благословил Фридрих Великий, не привела, однако, к желаемой цели. Правда, нельзя не признать, что при жизни императрицы Екатерины, когда она предпочла австрийский союз прусскому, цесаревич, не стесняясь чувством долга, поддерживал тайные сношения с прусским королем, действуя в этом случае наперекор матери и подражая отцу. Но затем, когда Павел Петрович сделался самодержавным императором, он стал уже другими глазами смотреть на взаимные отношения держав и быстро охладел к Пруссии. Лишь значительно позже сын его, Александр I, воскресил забытые предания 1776 года и скрепил новой клятвой вечную дружбу с Пруссией; на этот раз сцена разыгралась уже над гробом Фридриха Великого в Потсдамском склепе, и произошла она в 1805 году.

Обе клятвы олицетворяют две различные между собой эпохи: одна — время Екатерининской славы, другая — канун Аустерлица, завершившийся небывалым разгромом русской армии; сопоставление этих двух эпох может навести на размышление критиков екатерининской политики и сторонников военного возрождения России, осуществленного Павлом Петровичем!

Нам остается еще упомянуть, какое впечатление произвел цесаревич на Фридриха Великого, и какое суждение высказал о нем король-философ. Полной истины нельзя искать в излияниях утонченной лести, наполняющих собой письма, которыми обменивались Фридрих II с Екатериной. Для подтверждения сказанного достаточно привести выдержки из двух писем короля от 12-го (23-го) июля и 24-го июля (4-го августа) 1776 года.

«Могу вас заверить, — писал Фридрих, — что он (великий князь) восхищает сердце всех, что он пожинает должныя ему одобрения, а что касается меня лично, то я причисляю к величайшим одолжениям, какими обязан вашему величеству, то, что вы доставили мне возможность познакомиться с принцем, преисполненным стольких совершенств... Его обхождение, его чувства, добродетели восхитили мое сердце, и, еслибы даже он был рожден в самой скромной доле, он все-таки

приобрел бы мою дружбу и мое уважение. Могу без преувеличения уверить ваше императорское величество, что этот милый принц превзошел ожидания всех тех, кто имел счастие приближаться к нему. Я смотрел на него, как на священный залог, который ваше величество благоволили доверить моей верности и ненарушимой преданности к вашей особе».

В своих исторических трудах Фридрих ближе подошел к истине и начертал совершенно иную характеристику своего высокого гостя, выводы которой можно назвать пророческими. Король писал:

«Мы не можем пройти молчанием суждение, высказанное знатоками относительно характера этого молодого принца. Он показался гордым, высокомерным и резким (altier, haut et violent), что заставило тех, которые знают Россию, опасаться, чтобы ему не было трудно удержаться на престоле, на котором, будучи призван управлять народом грубым и диким (dure et féroce), избалованным к тому же мягким управлением нескольких императриц, он может подвергнуться участи, одинаковой с участью его несчастнаго отца».

Очевидец берлинских празднеств, Тьебо, замечает в своих записках, что все были поражены манерой великого князя кланяться. «Вообще высокопоставленные люди наклоняются очень мало, если они отвечают на поклон других; они предоставляют нам сгибать все тело, но, по крайней мере, и они немного наклоняют голову. Великий же князь поступал прямо наоборот: он взглядывал на тех, которые ему кланялись, и, не наклоняя головы, поднимал ее еще выше; одним словом, он предоставлял себе только вторую часть поклона, который, таким образом, походил у него на какое-то проявление владычества (qui de cette sorte ressemblait chez lui à un acte de domination). Я скажу еще, что он говорил очень мало, и нельзя привести ни одного слова, им сказаннаго».

Пребывание цесаревича в Берлине сопровождалось для него неизгладимыми впечатлениями; дремавшие в нем думы, неясные стремления, оживились и выступили в его воображении уже в живых образах; вместе с тем усилилось пристрастие великого князя к Пруссии, усилилась страсть к милитаризму, с потсдамской окраской.

По словам одного из очевидцев Павловского царствования, «ничто не могло сравняться с тем вредом, какой причинили Павлу Петровичу прусская дисциплина, выправка, мундиры и т.п., словом, все, что напоминало о Фридрихе Великом».

Между тем Екатерина всегда называла прусскую военную систему «обрядом неудоб-носимым». С подобным взглядом цесаревич не мог мириться, теперь менее, чем когда либо;

напротив того, со времени поездки в Пруссию, взгляды великого князя в известном отношении еще более обострились и привели к еще большему разладу между матерью и сыном. Действительно, «в Пруссии все шло как бы волшебством с математическою точностью; король из своего Сан-Суси командовал государством и армиею, и все второстепенные исполнители были не более, как лица придаточные. Стройность, порядок, единообразие, строгая подчиненность производили какое-то обаятельное влияние на тех, кто пристальнее не вглядывался в дело; и если вся Европа считала себя счастливою, подражая до последних мелочей всем прусским учреждениям, то можно ли обвинять Павла Петровича за то, что он сделался восторженным поклонником Фридриха II и приписывал только ненормальному положению России (где женщина была на троне), что мы вели свои дела путем своеобразным, не только не следуя за общим потоком подражательности пруссакам, но даже с пренебрежением смотрели на обезьянство всей Европы».

Таким образом с 1776 года в цесаревиче окончательно окрепли до того незыблемые пруссофильские убеждения, что Екатерине предстояло уже считаться с ними, как с непреоборимым препятствием.

Без поездки в Берлин трудно было обойтись по семейным и политическим обстоятельствам того времени, но едва ли можно предположить, чтобы Екатерина не предвидела сопряженного с ней неизбежного зла; однако, отстранение этих дурных последствий, как и многое другое, случившееся ранее в жизни Павла Петровича, выходило из пределов власти императрицы.

II

Расставшись с Берлином, цесаревич посетил еще принца Генриха в его Рейнсбергском замке. Здесь Павел Петрович провел два дня в обществе своей невесты. Восхищаясь ею, великий князь не забывал, однако, печального опыта, вынесенного им из своего первого супружества; руководясь этими мыслями, он при прощании с невестой в Рейнсберге вручил ей письменное наставление, состоящее из четырнадцати пунктов, которому она должна была следовать по прибытии в Россию. Впоследствии принцесса, сделавшись уже русской великой княгиней, написала на этом наставлении следующие строки:

«Благодаря Бога, оно мне не понадобилось, так как моя привязанность к нему (великому князю) всегда побуждала и

всегда будет побуждать меня предупреждать его желания; муж мой сознал сам, что требования, им предъявленныя, были внушены злополучным опытом его перваго брака».

Цесаревич Павел Петрович, со своей стороны, на той же бумаге написал:

«Я не стыжусь в этом пред Богом и совершенно отказался от мыслей, внушенных мне моим злополучным опытом. Я обязан сделать это признание такой супруге, как моя, которая обладает добродетелями и достоинствами, и которую я люблю всем сердцем».

Наставление, сочиненное Павлом Петровичем, имеет, без сомнения, автобиографический интерес первостепенной важности;[1] приведем из него статьи, касающиеся императрицы Екатерины и поведения принцессы по отношению к ней, а затем желательного обращения ее с цесаревичем.

---

[1] Наставление великого князя Павла Петровича было впервые напечатано в русском переводе Е.С.Шумигорским в «Русской Старине» 1898 года, т. 93-й, стр. 247. Рукопись начинается перечислением краткого содержания четырнадцати статей наставления, а затем уже следует подробное объяснение каждой статьи.

1-я статья касается религии, т.е. того, что надобно соблюдать по отношению церковных обрядов, обычаев и т.п.

2-я касается императрицы и поведения принцессы по отношению к ней.

3-я касается желательного обращения принцессы с великим князем.

4-я касается русской публики, следовательно, косвенно и репутации принцессы в чужих краях.

5-я касается русского народа, который легко может быть оскорблен в своих чувствах.

6-я касается русского языка и необходимых сведений о России.

7-я касается личного штата и прислуги принцессы.

8-я касается денег, гардероба и иных расходов.

9-я касается доверия, какое принцесса должна иметь к супруге фельдмаршала (графине Екатерине Михайловне Румянцевой).

10-я касается образа жизни вообще.

11-я касается тех лиц, с коими великий князь и принцесса могли сталкиваться в обществе.

12-я касается образа жизни дома и лиц, допущенных в домашний кружок.

Следующим двум статьям великий князь придавал особо важное значение.

13-я. Никогда не вмешиваться ни в какое дело, непосредственно не касающееся принцессы, тем более ни в какие интриги или пересуды.

14-я. Не принимать ни от кого, кроме лиц, специально для того приставленных, а тем более от прислуги, никаких, хотя бы самых ничтожных советов или указаний, не сказав предварительно об этом великому князю.

«Принцесса, приехав одна в эту мало известную и отдаленную страну, — писал великий князь, — поймет, что ея собственная польза требует, чтобы она сблизилась с ея величеством и снискала ея доверие, дабы иметь в ней вторую мать и личность, которая будет руководить ею во всех ея поступках, безо всяких личных видов и целей. В отношении к императрице принцессе следует быть предупредительной и кроткой, не выказывать досады и не жаловаться на нее кому бы то ни было; объяснение с глазу на глаз всегда будет наилучшее. Этим она избавит себя от многих интриг и происков, которые не замедлят коснуться ея. Так как принцесса не может иметь никаких личных целей, то ей не придется что либо скрывать от ея величества. Поэтому она хорошо поступит, говоря ей откровенно все то, что у нея будет на душе; это (не говоря уже об интригах) будет гораздо лучше для ея собственнаго спокойствия».

По поводу желательного обращения с ним принцессы великий князь писал:

«Я не буду говорить ни о любви, ни о привязанности, ибо это вполне зависит от счастливой случайности; но что касается дружбы и доверия, приобрести которыя зависит от нас самих, то я не сомневаюсь, что принцесса пожелает снискать их своим поведением, своей сердечною добротою и иными своими достоинствами, которыми она уже известна. Ей придется прежде всего вооружиться терпением и кротостью, чтобы сносить мою горячность и изменчивое расположение духа, а равно мою нетерпеливость. Я желал бы, чтобы она принимала снисходительно все то, что я могу выразить иногда даже быть может, довольно сухо, хотя и с добрым намерением, относительно образа жизни, уменья одеваться и т.п. Я прошу ее принимать благосклонно советы, которые мне случится ей давать, потому что из десяти советов все же может быть и один хороший, допустив даже, что остальные будут непригодны. Притом, так как я несколько знаю здешнюю сферу, то я могу иной раз дать ей такой совет или высказать такое мнение, которое не послужит ей во вред. Я желаю, чтобы она была со мною совершенно на дружеской ноге, не нарушая однако приличия и благопристойности в обществе. Более того, я хочу даже, чтобы она высказывала мне прямо и откровенно все, что ей не понравится во мне; чтобы она никогда не ставила между мною и ею третьяго лица и никогда не допускала, чтобы меня порицали в разговоре с нею, потому что это не отвечает

тому разстоянию, которое должно существовать между особою ея сана и моего и подданным».

Заключительным двум статьям своего наставления цесаревич придавал особенно важное значение; в них ясно видны следы вынесенного недавно горького опыта и огорчений, сопряженных с воспоминанием о почившей великой княгине. В подтверждение этого достаточно привести следующее рассуждение: «Необходимо, чтобы принцесса своим поведением сама устраняла от себя всякия неприятности, снискав любовь общества, и никогда не вмешивалась ни в какое дело, ея непосредственно не касающееся, тем более, в интриги и т.п. Для этого принцессе надобно держать себя со всеми ровно, без малейшей фамильярности; это не даст возможности льстецам и людям, не в меру угодливым, беседовать с нею, под видом преданности, о своих собственных интригах или наговаривать на кого либо. Как только она дозволит себе, из расположения или хотя бы из вежливости, малейшую фамильярность или намек на откровенность, можно быть уверенным, что всегда найдутся люди, которые захотят этим воспользоваться и незаметным образом вовлечь принцессу через эту личность в какия либо интриги, не говоря уже об иных опасностях, могущих угрожать ей. Поэтому во всех отношениях было бы прекрасно, еслибы принцесса с самаго начала внушила своим приближенным уважение своим безупречным поведением и тем упрочила себе будущее».

Из Рейнсберга цесаревич предпринял обратное путешествие в Россию. 8-го (19-го) августа он был в Риге, а 14-го (25-го) августа вечером возвратился в Царское Село, счастливый и довольный. Вслед за ним направилась в свое новое отечество и принцесса София-Доротея; родители провожали дочь только до Мемеля. Здесь принцессу-невесту ожидала ее русская свита, посланная к ней навстречу императрицей. Это были: графиня Екатерина Михайловна Румянцева,[1] фрейлины Алымова и Молчанова и статский советник Пастухов, бывший преподаватель Павла Петровича, состоявший

---

[1] 14-го августа 1776 года графиня Румянцева писала мужу, фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому, из Мемеля:

«Будущая наша великая княгиня обошлась очень ласково со мною и, повидимому, любезна очень, только у нея флюс, щека очень распухла и губа от безпокойства дороги, и до пятницы здесь пробудет». Письма графини Е.М.Румянцевой к ее мужу. С.-Петербург, 1888, стр. 207.

в то время в кабинете императрицы у принятия челобитен; последний должен был служить переводчиком для принцессы, а также начать с нею дорогой занятия русским языком.

Цесаревич выехал навстречу к своей невесте в Ямбург и вместе с ней прибыл в Царское Село 31-го августа.

Наконец императрица увидела принцессу, которую поджидала с таким нетерпением! Появлением своим София-Доротея совершенно оправдала мнение, которое составила себе о ней Екатерина. Это неудивительно, если вспомнить, какими красками рисует портрет принцессы подруга ее баронесса Оберкирх. По ее словам, «она была хороша, как Божий день; высокаго для женщины роста, созданная для картины, она соединяла с нежною правильностью черт лица в высшей степени благородный и величественный вид. Она рождена была для короны».

Не менее восторженно отозвалась о принцессе Софии-Доротее сама Екатерина, сообщая о приезде невесты г-же Бьельке. Императрица писала:

«Признаюсь вам, что я пристрастилась к этой очаровательной принцессе, пристрастилась в буквальном смысле слова; она именно такая, какую можно было желать: стройна как нимфа, цвет лица — смесь лилии и розы, прелестнейшая кожа в свете; высокий рост, с соразмерною полнотою, и легкость поступи. Кротость, доброта сердца и искренность выражаются у нея на лице. Все от нея в восторге, и тот, кто не полюбит ея, будет не прав, так как она создана для этого и делает все, чтобы быть любимой. Словом, моя принцесса представляет собою все, чего я желала, и вот я довольна. Я всегда хотела ее получить; вот уже десять лет, как мои взоры устремлены на нее; когда, три года тому назад, надо было женить великаго князя, моей принцессе было только тринадцать лет. В последние три года я, как и следовало быть, потеряла ее из виду. Но как только место очистилось, я потребовала свою принцессу; три дня спустя, я получаю известие, что она невеста, и чья? В продолжение трех лет, по странной случайности, разстроилось пять предположений об ея замужестве, и все способствовало тому, чтобы мне получить ее. Свадьба будет через восемь дней после того, как она примет православие, и я надеюсь, что сентябрь месяц не пройдет без того, чтобы наши надежды с этой стороны не сбылись».

В письме к Гримму Екатерина также высказала полное свое удовольствие и сообщила ему: «Знайте, что моя прин-

цесса приехала вчера вечером, что с первой же минуты она завоевывает все сердца (elle prend d'emblée tous les coeurs), что она прелестна (charmante)». В том же письме императрица называла ее столь же прекрасной, как Психея (ma princesse aussi jolie que Psyché), и признавалась, вместе с тем, своему «souffre douleur», что принцесса вскружила ей голову.

Все были счастливы и довольны; даже иностранные дипломаты, всегда готовые воспроизводить в своих донесениях всякое злословие, должны были признать, что в императорской семье царствовало согласие, которое никогда прежде не случалось замечать в столь высокой степени. Об этом внутреннем мире может свидетельствовать также следующая записочка принцессы Софии-Доротеи, посланная к цесаревичу после посещения ее Екатериной:

«Императрица только что вышла от меня; Боже мой, какая она чудесная; я обожаю, до безумия люблю ее; это посещение доставило мне такое большое удовольствие, что я захотела тотчас же уведомить вас о том, так как хочу разделить с моим дорогим князем все мои хорошия мгновения: маленькое следствие дружбы, которую я испытываю к нему».

Цесаревич препроводил эту записочку императрице, сделав на ней приписку: «Я посылаю вашему величеству результат посещения, которое вы только что сделали».

Екатерина возвратила записочку сыну, приписав, со своей стороны, на том же листе следующие строки: «Я тоже сообщу вам о результатах и посещения и письма — обоих вас я люблю от всего сердца».

Наступило счастливое время. Великий князь сиял радостью, императрица восхищалась, принцесса восторгалась.

Личные чувства принцессы-невесты выразились в письме к цесаревичу, проникнутом глубокой, самой сердечной к нему привязанностью и любовью.

«Я не могу лечь, мой дорогой и обожаемый князь», — писала София-Доротея, — не сказавши вам еще раз, что я до безумия люблю и обожаю вас: моя дружба к вам, моя любовь, моя привязанность к вам еще более возросли после разговора, который был у нас сегодня вечером. Богу известно, каким счастьем представляется для меня вскоре принадлежать вам; вся моя жизнь будет служить вам доказательством моих нежных чувств; да, дорогой, обожаемый, драгоценнейший князь, вся моя жизнь будет служить лишь для того, чтобы явить вам доказательства той нежной привязан-

ности и любви, которыя мое сердце будет постоянно питать к вам. Покойной ночи, обожаемый и дорогой князь, спите хорошо, не безпокойтесь призраками (n'ayez pas des fantômes), но вспоминайте немного о той, которая обожает вас».[1]

На архиепископа Платона снова выпала задача преподавать православный закон будущей супруге цесаревича. Дело двинулось вперед настолько быстро, что 14-го сентября могло состояться миропомазание принцессы Софии-Доротеи, которая была наречена великой княжною Марией Федоровной, а на другой день, 15-го сентября, совершено было обручение ее с цесаревичем.

Великая княжна обратилась тогда к цесаревичу с письмом, впервые подписанным ее новым именем «Marie Fedeorowna», следующего содержания:

«Клянусь этой бумагой всю мою жизнь любить, обожать вас и постоянно быть нежно привязанной к вам; ничто в мире не заставит меня измениться по отношению к вам. Таковы чувства вашего на веки нежнаго и вернейшаго друга и невесты».

Это не были одни мимолетные слова, и клятва была сдержана в полном ее объеме, без всякого уклонения и среди самых тяжких обстоятельств и испытаний, обрушившихся впоследствии на Марию Федоровну.

Вполне сознавая всю важность принятых на себя обязательств по отношению к своему новому отечеству и желая, вместе с тем, угодить цесаревичу, великая княжна могла уже вскоре обрадовать его первым русским письмом, которое воспроизведем здесь с сохранением орфографии подлинника:

«Душа моя

Я надеюсь что вы будете мною довольны, когда вам сообщу перьвой мой перевод с французскаго на русский язык. Ето вам докажет сколько я стараюся вам во всем угодить, ибо любя русской язык, вас я в нем люблю: я очень со жалею что не могу изъяснить всего того, что сердзе мое

---

[1] Обширные записки или дневники императрицы Марии Федоровны, сожженные, согласно последней воле государыни, императором Николаем Павловичем по кончине ее в 1828 году, лишают историю возможности выяснить, в чем заключалась упомянутая в письме принцессы Софии-Доротеи беседа, и какого рода были призраки (fantômes), терзавшие в ту пору неустанно работавшее воображение ее жениха. Вероятно, сама беседа и все прочее находилось в связи с тяжелым гамлетовским положением великого князя; тем более приходится сожалеть, что таинственная завеса никогда не будет приподнята.

к вам чувствует и с сожалением оканчиваю сказав токмо вам что вы мне всево дороже на свете

«Мария»[1]

26-го сентября 1776 года совершилось бракосочетание цесаревича в церкви Зимнего дворца, и дело, начатое при такой исключительной, можно даже сказать, трагической обстановке, доведено было стараниями и умом императрицы Екатерины до благополучного конца.

В одном отношении, по крайней мере, счастье сопутствовало цесаревичу; семейная жизнь, обеспеченная от всяких случайностей, улыбнулась ему в полной мере.

Следующая записочка великого князя может служить свидетельством овладевшего им счастливого настроения:

«Всякое проявление твоей дружбы, мой милый друг, крайне драгоценно для меня, и клянусь тебе, что с каждым днем все более люблю тебя. Да благословит Бог наш союз так же, как Он создал его.

«П.»

III

Великая княгиня Мария Федоровна вообще не вмешивалась в политику; к тому же, она вовсе не была подготовлена к подобного рода деятельности. Великая княгиня была только усердной заступницей за своих братьев и сестер, и, благодаря одушевлявшим ее нежным родственным чувствам, на этой почве она невольно сталкивалась с политикой.[2]

---

[1] Письмо Марии Федоровны свидетельствует о том, с каким прилежанием великая княжна занялась изучением русского языка. В этом отношении Екатерина не могла уже жаловаться на свою невестку, и дурной пример, поданный великой княгиней Наталией Алексеевной, более не повторился. Впоследствии Мария Федоровна даже во французских письмах делала русские приписки, зная, какое удовольствие она доставит внимательным отношением к своим обязанностям обожаемому ею цесаревичу.

[2] Братья были призваны на службу в Россию, и старший из них, принц Фридрих (впоследствии первый виртембергский король), причинил немало огорчений императрице. Таким образом, пример, данный в свое время Екатериной, не нашел себе подражания со стороны Марии Федоровны; императрица имела единственного брата, которого она пережила тремя годами, но она ни разу не допустила его в Россию. Мария Федоровна прекрасно пристроила двух сестер своих; младшая, Елизавета, как увидим ниже, вышла замуж за эрцгерцога Франца, а Фредерика сделалась женой принца Петра Голштинского. Из детей последней, Август, был впоследствии великим герцогом Ольденбургским, а Петр женился в 1809 году на великой княжне Екатерине Павловне.

Заботливость свою, на основании тех же родственных чувств, она простирала на Пруссию и на высокочтимого и любимого ею Фридриха II, своего благодетеля; поэтому Мария Федоровна всегда зорко стояла на страже интересов Пруссии и не упускала случая воспользоваться своим влиянием на цесаревича, если этой родственной державе грозило с чьей-либо стороны недоброжелательное отношение. Единомыслие между ними в этом вопросе было полнейшее; мечтательный, сентиментальный взгляд Марии Федоровны на политику нашел себе сочувственный отзвук в рыцарских мыслях ее супруга, воображавшего, что родственные чувства могут быть переносимы и на политическую почву. Вскоре великокняжеской чете представился случай действовать в таком смысле, когда летом 1777 года шведский король Густав III посетил Петербург.

К величайшему огорчению Павла Петровича, король заговорил с ним о Фридрихе Великом и его политике с явным намерением восстановить против него великого князя. Густав III встретил со стороны цесаревича резкий отпор и сразу убедился, что с этой стороны ему нечего искать сочувствия и поддержки своим политическим планам.

Граф Никита Иванович Панин отдыхал в это время в своем имении Дугино, в Смоленской губернии, пожалованном ему Екатериной в 1773 году. Он по-прежнему пользовался дружбой и доверием цесаревича, и эти чувства перешли также к великой княгине, споривший иной раз с супругом, кто из них больше любит графа. Павел Петрович поспешил сообщить своему бывшему воспитателю о своем разговоре с шведским королем. Приведем здесь это замечательное письмо от 25-го июня 1777 года, написанное в Петергофе; в этом письме рыцарские воззрения цесаревича обрисовались с полной искренностью, и поэтому оно должно быть признано драгоценным материалом для характеристики Павла Петровича, как политического деятеля. Великий князь писал:

«По сие время не писал к вам, разсчитывая время приезда вашего в Дугино не прежде, как к сим числам. Всем сердцем желаю, чтобы вы время свое препроводили здоровы и скорее

Императрица Екатерина не чувствовала особенного расположения к матери Марии Федоровне, отличавшейся крайним сентиментализмом, перешедшим отчасти к дочери. Впоследствии императрица выражалась, что не даст гривенника за расположение родителей своей невестки.

к нам возвратились. Желания сии — следствие натуральное привязанности и дружбы моей к вам, основанных на благодарности.

Теперь уведомляю вас о довольно странной и примечания заслуживающей конверсации, которую имел со мною король шведский в прошедший понедельник. За несколько ден пред сим сделал он мне приватную визиту, которой я ответствовал равномерною с своей стороны. Сию самую здесь и буду описывать. Пришед к нему и, после обыкновенных комплиментов, начал говорить про офицеров и дворянство. Тут ничего примечания достойнаго не замыкалось, кроме того, что когда на что-нибудь делал свои примечания или делал заключения, то всегда во всем приравнивал все к Франции. Сей разговор пресекшись, стал мне говорить про родство и связь с нами, говоря, что он знает, кто его хотел с Россией поссорить, и кто его неприятель первый. Попрося его, чтоб он мне открылся, он мне сказал, что то король прусской, и что он за верно знает, что инаго не ищет, как чтоб отхватить шведскую Померанию. Я ему на сие ответствовал, что если и предполагать оному королю намерение больших приобретений, то конечно не с сей стороны, по малости и дурноте земли в сравнении других земель, окружающих его. Он замолчав мне сказал, что он знает хитрыя намерения сего государя и сколько он ненавидит его и что еслибы до войны дошло, то он конечно оную схватит. Здесь я ему приметил, что сие будет со всяким, и что еслибы он, король, с нами воевал, то бы отнял у нас Финляндию, еслибы удалось, а мы у него остаток оной. Сказал я ему, что, может быть, не ненависть, а некоторая недоверка к нему; ибо, как де вы сами мне сознались, вы были в конекции с Франциею. «Нет де, — ответствовал он мне, — а он свои замыслы имеет». На сие я ему ответствовал, что, не отнимая у него замыслов его, я уверен, что он злаго с умыслу не сделает, и что, может быть, я ошибаюсь по личной привязанности к его дому и благодарности к нему персональной, к дому, как натуральному нашему союзнику, а к персоне — по одолжениям, которыя я ему имею. Тут он с жаром мне сказал и покраснев: «Какой может быть натуральной сей союз, puisque sa puissance est factice et qu'au bout du compte il n'est issu que de margrave de Brandenbourg? (Его сила покоится на искусственном основании, и, в сущности, он произошел только от маркграфа Бранденбургскаго)». Je lui répondis à cela (я отвечал ему на это): «Et vous, sire, n'êtes-vous pas issu d'une famille

particulière de Vasa? (Не произошли ли вы и сами, государь, из частнаго семейства Ваза)». Тут он замолчал, но спросил: «Mais quelles sont ces obligations personnelles que j'avais, sinon l'accueil qu'il m'a fait? (Но что это за личныя одолжения, которыя он оказал, за исключением сделаннаго мне приема?)».

— «Sire», lui répondis-je, «l'intérêt particulier que le roi a toujours pris à moi et surtout lors de mes deux mariages. Les souverains et les princes sont hommes, Sire. Malheur à ceux qui oublient les liaisons de sang et de reconnaissance qui les lient entre eux. Au bout du compte c'est mon parent», lui dis-je. (Государь, отвечал я, они заключаются в том особенном участии, которое принял он при заключении обоих моих браков. Государи и принцы суть те же люди. Горе тем из них, кто забывает узы крови и благодарности. В конце концов, это мой родственник, сказал я ему)».

— «Et mon oncle», me dit-il, «et je ne l'ai pas oublié. (И мой дядя, — сказал он, — и я этого не забыл)».

«Тут разговор, упав на другое, кончился. Я разсуждаю о сем так, что хотел он меня пощупать и сентименты мои; но жар завел его далее, нежели он и сам хотел, что показывает великую étourderie (ветренность). А может быть, так как вы сами из сего описания видите, не хотел ли и понаговорить и чрез то меня от сего союза отклонить. Но как бы оно ни было, все сие чести гостю не делает, даже и авантирируясь в таком разговоре: ибо он все начинал и заставлял меня неприятные и вынужденные ответы себе давать».

Месяц спустя, цесаревич снова писал графу Панину 29-го июля из Царского Села:

«С несказанным удовольствием получил письмо ваше от 5-го июля. Повторение приятнаго нам никогда скучным не бывает; и так письмо ваше, содержащее знаки дружбы вашей ко мне, которой доказательства столь часто я имел, мне было весьма приятно, тем больше, что продолжение оной ко мне есть и будет всегда мне первым аттестатом у самаго себя: таковаго существа привязанность моя к вам и притом вера к поступкам вашим.

Весьма приятно мне было видеть, что наслаждаетесь вы, как хорошим здоровьем, так и присутствием родни вашей; сожалею только, что не могу я быть на месте князя Николая Васильевича, который к вам едет.

Выше я помянул, что дружба ваша ко мне самый лучший для меня аттестат; сие самое приложу я к поведению моему с королем шведским. Признаюсь, что мне не неприятно было видеть, что поступок мой в разсуждение его вам полюбился. Он от нас уехал в половине текущаго месяца и уже прибыл к себе; но не думаю, чтоб он в нас и политике нашей сделал что-либо, а увидел, что тон французской человека не делает и задобрить не всегда может, а особенно, где дело прямое, а не одни jolis mots et belles phrases. Наша братья балуемся от того самаго, что некому правды нам говорить; но при случае таковой визиты, какову он нам сделал, будучи ровный с ровным, правду скорее услышишь, а особливо как не впопад что сделаешь, а исправления надобно ожидать после; ибо всегда все в лучшее толковать должно».

Затем цесаревич переходит к осуждению правления Екатерины; эти строки письма его свидетельствуют о том, каким образом Павел Петрович с графом Паниным привыкли рассуждать о современном положении дел, видя во всем одно дурное, достойное порицания.

«Здесь у нас ничего новаго нет, — писал цесаревич, — все чего нибудь ждем, не имея ничего перед глазами. Опасаемся, не имея страха; смеемся не смешному и пр. Так судите, как могут дела делаться, когда они зависят от людей, провождающих всю жизнь свою в таковом положении, разстроивающем все».

Так рассуждал в 1777 году «верный друг» графа Никиты Ивановича Панина, встречая в нем полную взаимность.

Павел Петрович простер свою дружбу к Пруссии до того, что счел даже необходимым предупредить Фридриха Великого о разговоре с Густавом III. «Я предупредил настоящаго героя. (C'est moi, qui ai averti le vrai héros)», — написал цесаревич барону К.И.Сакену.

IV

В апреле 1777 года великая княгиня могла уже сообщить цесаревичу радостное известие, которое должно было взволновать его до глубины души.

«Мой милейший муж, — писала великая княгиня, — матушка бранит меня за то, что я ничего не говорю ей о своем здоровье, и настойчиво желает, чтобы я что-нибудь

сказала ей по этому поводу. Позволяете ли вы мне сообщить ей об имеющихся подозрениях, оговорив при этом, что это еще не наверно. Я боюсь, что если отложить сказать ей об этом, она узнает это от других. Прощай, дорогой и обожаемый муж, я страстно люблю тебя».

Надежда, высказанная великой княгиней, оправдалась; ожидаемое великое событие должно было совершиться в декабре месяце.

«Сообщу вам хорощую весть, — писал цесаревич 3-го июня архиепископу Платону, — услышал Господь в день печали, послал помощь от Святаго и от Сиона заступил: я имею большую надежду о беременности жены моей. Зная ваши сентименты ко мне и патриотические ваши расположения, сообщаю вам сие, дабы вы вместе со мною порадовались».

Ввиду приближения осени великокняжеской чете предстояла неприятная необходимость переехать из Царского Села в Петербург и поселиться в Зимнем дворце;[1] городская жизнь сопровождалась некоторым неизбежным стеснением в домашней жизни и потому не пользовалась особенным сочувствием ни со стороны цесаревича, ни со стороны его супруги, смотревших на пребывание в городе, как на тюремное заключение. Грустное настроение Марии Федоровны, усугубленное еще ее беременностью, выразилось в письме ее к графу Никите Ивановичу Панину, написанном в день выезда из Царского Села, 9-го сентября 1777 года.

«Признаюсь вам, — писала великая княгиня, — я покидаю Царское Село с живейшим чувством сожаления. Воздух свободы, которым дышат там, принес мне пользу, которую я не в состоянии выразить; он принес также пользу в физическом и нравственном отношениях моему обожаемому мужу. И мы покидаем все это, чтобы на восемь месяцев запереть себя в городе. Вы знаете, как мы там стеснены; поэтому предоставляю вам судить, любезный граф, могут ли предстоящие нам восемь месяцев стеснения не представляться страшными после того, как мы дышали с некоторой долей свободы в течение четырех месяцев. Конечно, я чрезвычайно люблю наш прекрасный город Петербург, и я

---

[1] Летом 1777 года Екатерина подарила невестке землю по-близости Царского Села, на которой с этого года начал воздвигаться Павловск. Дар императрицы находился, вероятно, в связи с ожидавшимся в декабре того же года радостным событием.

также охотно жила бы в нем, как и здесь, еслибы мы могли там хоть несколько более делать то, что нам хочется; но, увы, вы знаете лучше меня, что это такое.

В особенности, любезный граф, пожалейте обо мне: вы знаете, что ожидает меня в декабре месяце. Не знаю — отчего, но я крайне опасаюсь этого времени, и я не могла бы объяснить — почему. Вы меня спросите: боюсь ли я умереть? Нет, так как я хорошо сложена, я здорова как нельзя более, я крепка; эти три условия позволяют мне надеяться на самые счастливые роды. Следовательно, я не этого боюсь, но чего же? Шесть недель заключения, наконец, вообще вся обстановка наводят на меня панический страх. Побраните меня, любезный граф, я этого заслуживаю; я чувствую, что я смешна, но я всегда показываюсь вам такою, какова я в действительности. Увы, я могу говорить столь откровенно только с моим дорогим великим князем и с вами; поэтому я вполне подчиняюсь вашему суду. Ах, как вы будете бранить меня, я заранее умираю от страха.

Слава Богу, великий князь совсем здоров и в самом лучшем настроении духа, но опасается зимы наравне со мною. Это огорчает меня еще более, и когда он высказывает мне свои опасения, я стараюсь забывать собственное безпокойство и пытаюсь рисовать ему все в розовых красках».

Мрачные предчувствия, высказанные Марией Федоровной в приведенном здесь письме к графу Никите Ивановичу Панину, оправдались в одном только отношении: едва цесаревич с великой княгиней успели прибыть в Зимний дворец, вечером 9-го сентября[1], как началось страшное в летописях Петербурга наводнение 1777 года, которое на другой день, 10-го сентября, угрожало гибелью населению столицы.

В ожидании семейной радости, предстоявшей в декабре месяце 1777 года, цесаревич с супругой мечтали о новых предстоявших им обязанностях. Мысли эти нашли себе выражение в письмах великого князя к архиепископу Платону, свидетельствующих вместе с тем, насколько глубоко бывший ученик его проникся святостью своих новых обязанностей, как будущего отца семейства.

В октябре 1777 года Павел Петрович писал Платону:

---

[1] Императрица Екатерина также возвратилась 9-го сентября из Царского Села в Петербург, но приехала в город ранее цесаревича, около полудня.

«Молите теперь Бога о подвиге, которым счастие и удовольствие мое усугубятся удовольствием общим. Начало декабря началом будет отеческаго для меня звания. Сколь велико оное по пространству новых возлагаемых чрез сие от Бога на меня должностей! Его рука мне всегда видна была. Грешил бы, естьли бы при сем случае усумнился... Мы, слава Богу, здоровы и наслаждаемся взаимною дружбою и спокойствием, происходящим от чистой совести. Пожелайте и молите Бога, чтоб Он нам на веки ее сохранил, без чего ни пользы, ни славы быть не может».

В письме к Платону от 25-го ноября великий князь еще раз возвращался к занимавшему его вопросу и писал:

«Благодарю вас за доброе ваше о мне мнение. Стараться буду его вяще заслужить, а особливо исполнением новых должностей вступлением чрез короткое время в новое звание, столь важное по отчету, которым всякой в оном должен, а особливо каждой, в моем месте находящийся. Помолитесь о мне. Бог, благословлявший меня в столь различных случаях, меня и при сем да не оставит».

Судьба готовила, однако, цесаревичу и в этом деле глубокое разочарование, нанесшее его родительским чувствам ничем не излечимую рану, болезненно отозвавшуюся на его душевном настроении; но пока он еще не подозревал приближения нового горя и радостно ожидал приближавшейся развязки, продолжая наслаждаться сердечным счастьем и семейным миром. «Еслибы все прочее в жизни моей соответствовало приятностям внутренней моей, то б я был совершенно счастлив», — признавался цесаревич в письме к графу Н.И.Панину.

Для подтверждения справедливости высказанного цесаревичем признания достаточно привести восторженное поздравительное письмо Марии Федоровны, написанное ею 20-го сентября 1777 года.

«Живое, непосредственное чувство не может быть выражено, — писала великая княгиня: — таково мое положение, мое драгоценнейшее сердце; в этот день, когда увидел свет самый обожаемый, самый любимый из мужей, моя душа преисполнена радостью, удовлетворением, счастием, и, несмотря на все мои усилия, мне не удастся описать вам эти чувства столь же живо, как их чувствует мое сердце. Живите долго, живите счастливый и довольный, живите, если возможно, тысячу лет, чтобы составить счастие нескольких миллионов душ; вот те моления, которыя я возношу к небу

в этот чудный день. Я присоединяю к ним еще одно — благоволите сохранить мне вашу дружбу, она составляет мое счастье, и я осмеливаюсь надеяться, что несколько заслужила ее нежной привязанностью, которую питаю к вам, и которая кончится лишь с моею жизнью. Ваш нежнейший и вернейший друг и жена.

Я обожаю вас, до безумия люблю вас; вы — мой кумир, мое высочайшее благо, и я вас люблю столько, столько, что не съумею выразить вам этого».

Великое событие, с нетерпением ожидавшееся двором и населением столицы, совершилось 12-го (23-го) декабря 1777 года; в этот памятный день великая княгиня Мария Федоровна разрешилась в Зимнем дворце от бремени сыном, которому императрица дала имя Александра.

Но вслед затем совершилось другое событие, на которое вовсе не рассчитывали родители новорожденного великого князя. Признавая сына и невестку неспособными воспитать будущего русского государя, Екатерина, как глава императорского дома, считала своим правом и обязанностью взять на себя заботы по воспитанию внука, в надежде увидеть в нем впоследствии воплощение лучших своих дум и стремлений. Воспитание собственного сына не удалось Екатерине в желаемом ею смысле по независевшим от ее воли обстоятельствам; теперь же перед императрицей явилась новая задача, и все ее материнские нежные чувства обратились к внуку в надежде достигнуть иного, лучшего результата. Когда же 27-го апреля 1779 года родился великий князь Константин Павлович, то и он, подобно брату, поступил также на ближайшее попечение бабушки.

Решившись принять на себя это бремя, Екатерина не последовала, однако, примеру, поданному ей некогда императрицей Елизаветой Петровной: на этот раз полного отчуждения детей от родителей не последовало. Но эта уступка, сделанная родительским правам сына, невыгодно отразилась на характере детей, в особенности, вредно повлияв на великого князя Александра Павловича. Императрица чувствовала это, ясно сознавая все происходившие от этого затруднения и неудобства, но не могла поступить иначе, избегая довести дело до крайностей. Таким образом, молодым великим князьям предстояло вырастать под двойственным влиянием, пагубно отражавшимся на характере и мировоззрении каждого из них; детей должны были сбить с толку противоречивые между собой требования, предъявлявшиеся как со стороны бабушки, так и со стороны родителей. Екатерина пребывала в убеждении, что родители

портят детей, а родители, в свою очередь, находили, что бабушка балует их и берется за дело воспитания не так, как бы следовало.

Подобная обстановка должна была окончательно разрушить установившийся было, по наружности, семейный мир. Так и случилось. Цесаревич посмотрел на решение, принятое императрицей относительно воспитания внуков, как на новое нарушение его законных прав. Чаша терпения Павла Петровича переполнилась; сердце прониклось желчью, а душа гневом. После этого нельзя удивляться, что кратковременная идиллия, водворившаяся в императорской семье при появлении в России Марии Федоровны, постепенно исчезала; она продолжала существовать в полной силе только при великокняжеском дворе. Мария Федоровна по-прежнему любила и обожала цесаревича до безумия (jusqu'à la folie). Что же касается Екатерины, то вскоре ей пришлось забыть о вскружившей ей голову Психее; последнюю постигла одинаковая участь с восхищавшей некогда императрицу «золотой женщиной». Перед Екатериной начал вырастать образ примерной супруги и строгой, хотя и безмолвной, порицательницы ее, как женщины и матери, образ женщины, служившей твердой опорой мужу, окруженному, по ее убеждению, каким-то ореолом мученичества, и тайно жаждавшей удовлетворения собственного непомерного тщеславия.[1] О каком-либо понимании со стороны великой княгини государственных заслуг Екатерины, как императрицы, конечно, не могло быть и речи. Мария Федоровна никогда не поднималась выше монбельяровской сентиментальной политической мудрости, с прусской окраской, и на дела в России смотрела глазами предубежденного мужа. Прямым следствием всех этих явлений было то, что в переписке Екатерины стали появляться нелестные для прежней любимицы выражения: «Monsieur et madame Secondat» или «die

---

[1] Для лучшего понимания настроения великой княгини Марии Федоровны относительно императрицы достаточно привести отрывок из письма принцессы-матери, характеризующей особенность тех наставлений, которые получались из Монбельяра: они могли только подливать масла в огонь, но не содействовать к улучшению взаимных отношений. «Вы правы, дорогое дитя, жалуясь на испорченность императрицы», — писала принцесса-мать 21-го июля 1778 года. — В природе нет ничего более жесткого, как сердце, которое предалось своим страстям и в этом самозабвении не видит ничего кругом себя. Я понимаю страдания, которые вы должны испытывать, присутствуя при всех возмутительных сценах». Е.С.Шумигорский: «Императрица Мария Федоровна (1759-1828). Ее биография». С.-Петербург, 1892 года, т. 1, стр. 112.

schwere Bagage», которыми государыня начала награждать великокняжескую чету; с другой же стороны, императрицу стал манить к себе миловидный образ Александра. Горючего материала для будущего полного разрыва накоплялось вдоволь; добрые отношения матери к сыну испортились вконец, и на этот раз безвозвратно.

В то же время в уме Павла воскресали с новой силой знакомые уже нам тяжелые воспоминания давно прошедших событий, те терзавшие его призраки (fantômes), о которых Мария Федоровна упоминает в одном из своих писем. Из него стало вырабатываться своеобразное воплощение нового Гамлета, неумолимый судья за совершившееся некогда злое дело и беспощадный противник всех начинаний правительства, установившегося в 1762 году. Все эти тяжелые думы преисполненного желчи и негодования цесаревича прикрывались наружным видом полной покорности, под которым, однако, таились бессильная злоба и нетерпеливое поджидание вожделенного часа возмездия.

При таком обоюдном настроении враждовавших между собой сторон продолжалось дальнейшее развитие печальной семейной драмы.

V

Лишенный возможности руководить воспитанием детей, отстраненный от непосредственного участия в делах империи, цесаревич снова погрузился в прежние свои теоретические измышления о настоятельной необходимости исправления государственного строя России. Великая же княгиня Мария Федоровна обратила свою деятельность на созидание Павловска среди болот и лесов пожалованной ей земли.

Сначала цесаревич вошел, по занимавшим его военным вопросам, в сношение с князем Николаем Васильевичем Репниным, а затем и с доживавшим свой век в Москве графом Петром Ивановичем Паниным. Между ними установилась переписка, продолжавшаяся в 1778 и 1779 годах.

10-го мая 1778 года цесаревич писал графу Петру Ивановичу:

«Поступок мой в разсуждении вас должен показаться вам чувствительным, ибо намерение мое есть с вами вступить в разсуждение, не предупредив вас ничем, и, при том, о материи, о которой мы никогда не говорили. Должностию

своею нахожу открыться перед вами, дабы вы знаниями своими просветили в ту минуту, в которую все мраком покрывается, и подвиг мой извинен может быть единственно предметом пред вами. Князь Репнин писал к вам, в письме своем, о магазейнах, о расположении полков по империи и о рекрутовании их и просил на то вашего мнения: сие все сделал он отчасти по моим словам. Мне сие тем приятнее было, что увидел сим случаем, что мы одного мнения; и если можно молодому человеку быть самолюбиву, то признаюсь, что мое самолюбие было тронуто, видев, что мои мысли сходятся с вашими... Извините меня, естьли, пользовавшись первым случаем, который вы подали мне себе открыться, столько индискретен был и написал двенадцать страниц мыслей и гаданий моих; но, зная вас, уповал, что вы упустите мне оное ради намерения, и, при том, по вашему познанию вещей, отделите то, что полезным быть может от пустого одного гадания, или от произведеннаго живостию воображения».[1]

Доверенность, оказанная цесаревичем графу Петру Ивановичу, преисполнила душу «персональнаго оскорбителя» Екатерины наичувствительнейшею благодарностью и побудила его, «наипреданнейшаго подданнаго» великого князя, «вознести теплейшия молитвы к Вышнему Существу о соблюдении столь драгоценнейшаго для России здравия, о покровительстве душевных дарований и о подкреплении телесных сил (цесаревича) до позднейшаго века человеческаго, на понесения с благополучнейшими всегда успехами упражнений, присвоенных божественным устроением к порфироносцам, установляемым вышнею десницею для доставления истиннаго благосостояния поручаемым под скипетр их областям».[2]

Ответ графа Панина доставил цесаревичу «несказанное удовольствие». «Удовольствие мое, — писал Павел Петрович 14-го сентября 1778, — соразмерно важности предмета взаимной нашей откровенности и, при том, согласию мыслей наших. Сие последнее служит мне предсказанием, что достанется нам вместе исполнить то, о чем разсуждаем». Затем цесаревич приступил к дальнейшему развитию своих мыслей. В сущности, они сводятся к усовершенствованию и

---

[1] «Русская Старина» 1882 года, т. 33-й, стр. 404 и 409.

[2] Письмо графа Петра Ивановича Панина к цесаревичу от 6-го мая 1778 года из Москвы. «Русская Старина» 1882 года, т. 33-й, стр. 410.

дополнению знаменитого «Разсуждения» 1774 года. Начавшийся таким образом обмен мыслей с князем Репниным и с графом Петром Ивановичем Паниным замечателен еще тем, что цесаревич договорился в нем до чудовищного предположения: завести в России иностранные войска, — путем вербовки за границей! — для усиления армии без обременения населения. По мнению цесаревича, для сего имелись два способа: «первый и самый легчайший, — писал цесаревич, — Польша, которая снабжает уже своими людьми и другия державы; но не лучшим его нахожу по свойству людей сей земли: они не лучшие солдаты и по характеру нации ненадежны бывают. Второй же — набор в Германии. Дом, от котораго я происхожу, по природе дает мне равное право с прочими германскими князьями. Правда, что земли, мне принадлежащия, уступлены мною младшему колену нашей фамилии, но через то не потеряно достоинство князя империи, а еще меньше то, что я шеф голштинскаго дома. Все сие подтверждено на сейме имперском, и так можно бы мне, воспользовавшись именем дома голштинскаго, набор в вольных имперских городах делать какой надобен был».

Что же ответил бесспорно умный и опытный в военном деле граф Петр Иванович Панин на подобное предположение? Он не только не оспаривал суждений, высказанных цесаревичем об устройстве военной части, но подкреплял заблуждения великого князя дальнейшим развитием основных идей его преобразовательных планов; вместе с тем Панин возбуждал самолюбие молодого наследника указанием на сходство их воззрений и искусно проводил в ответных рассуждениях мысль, что для отечества ничего не может быть счастливее, «как сознание, что природный, высокой наследник престола его, возросший до настоящаго возмужания, в недрах своего отечества, с прозорливейшим проницанием и с неутомленною прилежностию на приуготовление полезнейших для империи размышлений, признает непременною государскою должностью самолично управлять и во всем надзирать над государственною обороною, яко над единственною, надежнейшею подпорою целости и безопасности онаго». «Конечно, — писал Панин, — несказанно счастливее для империи, естьли владеющий государь соизволит всего без изъятия государственною обороною повелевать собственною персоною, без всякаго посредства; и, конечно, нет ничего свойственнее, как хозяину мужескаго пола распоряжать собственно самому и управлять всем тем, что защищает,

подкрепляет и сохраняет целость как его собственной особы, так и государства, им обладаемаго, и тех всех доходов и пособий, коими сохраняется всеобщая безвредность, — но что требует неутомленности безпредельной».[1]

Повторяя подобные мысли на разные лады и присоединяя к ним резкую критику существовавшего порядка, «верный сын отечества» несказанно радовал цесаревича. Правдивая отповедь, вместо уклончиво-хвалебных восхвалений, понравилась бы, без сомнения, менее, хотя Павел Петрович и просил своего собеседника отвечать «ему откровенно и не менажируя», ибо, как писал цесаревич, «в сем деле не на себя гляжу, но на пользу отечества». Однако, Панин избрал другой путь, который вызвал со стороны цесаревича приведенные уже выше милостивые строки, что слова Панина служат для него предсказанием, что им придется исполнять вместе то, о чем они рассуждали. Подобного рода обещания и виды на будущее, открывая широкий путь неудовлетворенному самолюбию графа Панина, должны были, в свою очередь, доставить несказанное удовольствие покорителю Бендер и усмирителю Пугачева.

Граф Петр Иванович Панин скончался в 1789 году и не дожил до эпохи реформ императора Павла.

---

[1] «Всенижайшее ответное разсуждение на два полученных повеления, на первое, препровожденное от 14-го числа сентября 1778 года». «Русская Старина» 1882 года, т. 33-й, стр. 752 и 755.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Союз России с Австрией. — Заграничное путешествие цесаревича и великой княгини Марии Федоровны.

I

С 1780 года наступило время для решительного изменения политической системы, усвоенной императрицей, по необходимости, с самого ее вступления на престол. Союз с Пруссией и «северный аккорд» Панина отжили свое время. Последняя услуга, оказанная императрицей Фридриху Великому, состояла в Тешенском договоре 1779 года, которым была предотвращена возможность новой кровавой распри между Пруссией и Австрией из-за баварского наследства, а затем уже начала подготовляться новая группировка держав.[1] Для достижения дальнейших целей русской политики на Черном море и осуществления греческого проекта, Екатерина должна была искать точку опоры, более соответствовавшую новому положению дел, созданному Кучук-Кайнарджийским миром, чем дружба с Пруссией, хотя и сладкой на словах, но двоедушной по существу. Таким образом политические весы в Петербурге стали постепенно склоняться на сторону Австрии; личность и характер императора Иосифа II в значительной степени способствовали подобному явлению.

После свидания с Екатериной в Могилеве, Иосиф II решился продолжать начатое путешествие и под именем графа Фалькенштейна посетил Петербург летом 1780 года.

---

[1] Когда новая война готова была вспыхнуть между Австрией и Пруссией, цесаревич под влиянием воодушевлявших его родственных чувств к Фридриху Великому мечтал о том, чтобы во главе своего полка идти на театр военных действий и вместе с братьями Марии Федоровны (принцами: Фридрихом, Лудвигом и Евгением) сражаться за великого короля. Пруссофильское настроение цесаревича отразилось в письме его к барону К.И.Сакену, от 10-го (21-го) февраля 1778 года, в котором великий князь замечает, что горе тому, кто забывает узы крови: он забывает свои обязанности. Затем великий князь оправдывает свою прусскую точку зрения взаимным положением обоих государств, нравственным и материальным.

Между тем русская политика шла тогда по такому реальному пути, что рыцарские стремления цесаревича не могли быть применены к делу. По словам великого князя, ему оставалось только наблюдать за событиями и жаловаться, что жестоко быть обреченным на подобное бездействие в двадцать четыре года. Сборник И.Р.И.О.,т. 20-й, стр. 418. (Письмо цесаревича К.И.Сакену от 22-го апреля 1778 года).

Это был весьма важный шаг, сделанный главой габсбургского дома для упрочения зарождавшегося союза России с Австрией.[1] Вместе с тем Иосифу II необходимо было воспользоваться случаем, чтобы привлечь на свою сторону цесаревича и великую княгиню Марию Федоровну, продолжавших упорно стоять за Пруссию и за великого короля ее. Император придумал отличное средство для достижения своих политических целей; оно заключалось в том, чтобы женить на младшей сестре Марии Федоровны, принцессе Елизавете, эрцгерцога Франца, сына брата своего Леопольда и будущего австрийского наследника. Родственный союз должен был закрепить политическое сближение. Но Иосиф II не удовольствовался этим лестным предложением; он пошел еще далее, ловко применяясь к взглядам и чувствам великой княгини.

Мария Федоровна произвела вообще на императора Иосифа II настолько выгодное впечатление, что он писал матери из Петербурга, что если бы десять лет тому назад он встретил подобную принцессу, то он не колеблясь женился бы на ней.

«За день до своего отъезда, на утренней прогулке, — писала Мария Федоровна своим родителям 19-го (30-го) июля 1780 года, — он (император) мне сказал:

— Я имею большую просьбу к вашему императорскому высочеству.

— Как, просьбу, граф? — возразила я. Он ответил:

— Осмеливаюсь просить вас, если вы полагаете, что я могу оказать какую-либо услугу (un service) принцу, вашему отцу, или вашему дому, то располагайте мною; вы найдете меня всегда готовым доказать вам, насколько я к вам привязан.

Я ему ответила на это:

— Я, конечно, никогда не говорила бы с вами, граф, о себе лично; но так как вы мне делаете честь, начав сами

---

[1] Иосиф II сказал в Могилеве Безбородке, что цесаревич, по превосходным дарованиям своим, будет служить украшением нынешнему веку. «Я люблю в нем, говорил император, — ту точность, с которою, как все меня уверяют, отправляет все дела, какия он на себе имеет. Таковая точность есть вещь редкая в молодых людях, но она нужна и в особах его состояния тем полезнее, что, без сомнения, в свое время и сделанное удержит, и недоконченное совершит». «Архив князя Воронцова», книга 13-я, стр. 21. (Письмо Безбородки к графу Роману Ларионовичу Воронцову от 3-го июня 1780 года из Смоленска).

такой разговор, то позвольте мне воспользоваться этим случаем, чтобы рекомендовать вашему вниманию моих родителей и мой дом; вам известно, граф, как я люблю свое семейство.

Тогда он прервал меня, сказав:

— Испытайте меня и вы увидите, честный ли я человек (mettezmoi a l'épreuve, madame, vous verrez si je suis un honnête *homme*).

Иосиф II воспользовался самым действительным средством, чтобы приобрести расположение великой княгини; после приведенного разговора австрийская дружба показалась Марии Федоровне стоящей некоторого внимания, и симпатии к Пруссии были несколько поколеблены.

Что же касается Екатерины, то со времени приезда Иосифа II в Россию отношения его к императрице принимают характер личной дружбы и самого тесного политического союза.

Фридрих Великий не замедлил употребить соответствующий контрманевр и прислал ко двору Екатерины своего племянника и наследника Фридриха-Вильгельма. Но появление прусского принца в Петербурге не привело к желаемой цели. Екатерина приняла гостя сухо и сдержанно, и австрийский союз все-таки восторжествовал, несмотря на интимную беседу о ненарушимом союзе России и Пруссии, которую вели между собой цесаревич, Фридрих-Вильгельм и граф Никита Иванович Панин.

Сближение России с Австрией и возможность брака между сестрой Марии Федоровны и австрийским эрцгерцогом настолько разгневали короля, что он, утратив тонкость свойственного ему политического чутья, прибег к худшему средству и в порыве гнева начал вымещать свою злобу на братьях Марии Федоровны, находившихся на прусской службе, и всячески притеснял их. Наконец, дошло до того, что принцесса-мать стала жаловаться великой княгине на Фридриха Великого, называла своего прежнего кумира ужасным человеком, писала, что нельзя терпеть, чтобы король обращался с принцами, как с негодяями (traiter en canaille), и умоляла дочь быть заступницей за семью перед Екатериной и просить покровительства императрицы. Екатерина согласилась быть посредницей в брачном вопросе между австрийским двором и родителями принцессы Елизаветы.

Дальнейший ход брачных предположений заключался в том, что 2-го июня 1781 года Екатерина уведомила Иосифа II о согласии родителей принцессы Елизаветы на брак ее с эрцгерцогом Францем, а в июле император, путешествовавший в то время по Европе, заехал из Парижа в Монбельяр, где и обратился к принцу Фридриху-Евгению с формальным предложением. На этот раз обычная Фридриху Великому дипломатическая ловкость изменила ему: в данном случае он не мог уже упрекнуть Иосифа II в том, что он обыкновенно делает второй шаг, не сделав первого. Король оказался бессильным противодействовать дальнейшим намерениям Екатерины расстроить соглашение России с Австрией.

Когда политические дела стали принимать желательный для императрицы оборот, она, имея в виду упрочение австрийского союза, осторожно выдвинула вопрос о заграничном путешествии цесаревича и его супруги.

Из обширных записок или дневников великой княгини Марии Федоровны уцелели только две страницы, относящиеся к 19-му и 26-му мая 1781 года, списанные князем Александром Борисовичем Куракиным; они свидетельствуют нам о том, каким образом императрица с преднамеренной целью наводила разговор на тему о пользе путешествий вообще. Содержание этих бесед, записанных великой княгиней, следующее:

«19-го мая. Заговорили о жарком ветре, обыкновенно дующем в Риме в июне месяце, и это послужило поводом к общему разговору об Италии. Затем она (императрица) говорила об императоре и о совершенных им путешествиях, высказывая, что он очень хорошо сделал, употребив имевшееся у него время на путешествия; что это дало ему массу знаний, и что, конечно, он не был бы таким, каков он есть, если бы не видел так много, потому что, прибавила она, если бы он оставался в тесной сфере (petite sphère), в которой находился, то никогда не мог бы приобрести столько познаний, так как, если человек постоянно остается у себя и сталкивается с одними и теми же условиями, умственный кругозор его суживается, тогда как, напротив того, под влиянием путешествий, вследствие сравнения различных предметов, разсудок развивается; нет ничего лучшаго: как судить при помощи сравнений, а это возможно лишь тогда, когда путешествуешь. Мы вполне одобрили все, что она сказала относительно императора, и, в особенности, все, касавшееся пользы, извлеченной им из своих путешествий,

а великий князь прибавил, что как счастливы те из лиц его положения, которые могут делать то же самое и таким же образом, как он; что он ввел в моду путешествия. На это она возразила, что шведский и датский короли сделали то же самое, что в Китае все наследники должны объезжать различныя провинции с теми же целями, как и император, и что это делается для того, чтобы не дать умственному кругозору сузиться и иметь более предметов для сравнения. На все это мы отвечали с величайшей осторожностью, помня, что не прошло еще пяти или шести недель,[1] и ограничились тем, что дали ей почувствовать, что мы ценим и понимаем преимущества, которыя должны представлять путешествия, и при этом неизменно ссылались на путешествия императора».

«26-го мая. После этой беседы 19-го числа каждый день только и разговоров, что о путешествии. Она повторила нам, что, конечно, император не был бы таким, каков он есть, если бы он не путешествовал столько, а постоянно оставался бы в Вене, и что путешествия приносят пользу даже здоровью. Говоря это, улыбнулись и посмотрели на нас. Великий князь сказал, что, несомненно, было бы любопытно увидеть императора в Вене монархом, после того как его видели здесь в качестве частнаго лица. Она сказала, что, конечно, это любопытно, и улыбнулась. Она прибавила еще, что по собственному опыту знает, какую пользу приносит смена мест и предметов, что смотришь на вещи иначе, и что это освежает мысли (cela rafraîchissait les idées)».

Во время этих разговоров граф Никита Иванович Панин не был уже в Петербурге; он уехал 13-го (24-го) мая в свою деревню Дугино. Без ближайших советов Панина и другого, также отсутствовавшего, приверженца цесаревича, князя Николая Васильевича Репнина, великокняжеская чета не могла обойтись. Поэтому Мария Федоровна выработала условия (числом семь), «которыя нужно соблюсти, чтобы привести в исполнение планы о путешествии», и просила «дорогих друзей» внимательно прочесть эти пункты и исправить или дополнить составленную ею записку замечаниями, которые с их стороны призваны будут полезными.

---

[1] Здесь Мария Федоровна подразумевает пять или шесть недель со времени отъезда друзей их, графа Панина и князя Репнина. В помещенной ниже записке великой княгини она выразилась яснее.

Приведем здесь содержание записки Марии Федоровны и замечания, сделанные графом Паниным:

«I. Следует начать говорить об этом (т.е. о путешествии), не как о формальной просьбе, но как о желании, обнаруживая стремление последовать примеру, который только что подало столько государей, и в особенности нужно ссылаться на императора, на желание просветить себя. Но, чтобы обнаружить это желание, нужно выждать удобнаго случая».

Против того места, где великая княгиня упоминает, что следует говорить о путешествии, не как о формальной просьбе, но как о желании (désir), граф Панин написал:

«Даже не это, а путем разговора и разсуждений по поводу устанавливающагося обычая, что молодые принцы путешествуют для приобретения познаний. Здесь было бы недурно вставить похвалу пользе, извлеченной императором. При сем следует заметить, что все это не должно быть высказано разом и не выжидая ответа или возражения, которые могут сделать на каждую отдельную мысль, а следует вести разговор таким образом, чтобы не итти дальше прежде, чем предшествовавшая мысль не будет вполне закончена».

«II. Об этом желании следует заговорить, по крайней мере шесть недель спустя после отъезда наших друзей и выбрать благоприятный день. Если не попадутся на эту удочку, нужно оставить затронутую мысль и вернуться к ней некоторое время спустя, но, опять таки, не как к формальной просьбе, но как к личному желанию, повергаемому на благовоззрение императрицы».

Эта статья удостоилась полного одобрения графа Панина, и он написал: «этот пункт хорош».

«III. Путешествие может быть совершено лишь в строжайшем инкогнито, чтобы иметь бóльшую возможность выполнить цель этого путешествия — обогатить себя познаниями».

Граф Панин нашел, что «об этом следует говорить лишь тогда, когда будет одобрена мысль о путешествии».

«IV. Выбор свиты, которая должна сопровождать нас, предоставляется императрице, но, конечно, несмотря на это, можно и даже должно откровенно и с полным доверием высказать ей, что желали бы, чтобы она разрешила тому или другому сопровождать нас, так как при условии, что эти лица уже побывали в иностранных землях, они явились бы неоцененным пособием для нас, но, во всяком случае, следует

просить об этом, как о милости, суметь попросить таким образом, чтобы не могли отказать в нем».

«Конечно, как о милости, — написал граф Панин, — но крайне осторожно и не настаивая сразу».

«V. Дети. Нужно сказать, что нельзя было бы доверить их в лучшия руки, чем в руки их бабушки; что таким образом мы вверяем ей наше драгоценнейшее достояние, будучи вполне безспорно уверены, что они не могли бы быть под лучшей охраной; одним словом, на эту тему следует говорить ей самыя дружественныя и самыя нежныя вещи».

Граф Панин написал: «Очень хорошо».

«VI. Сначала нужно сказать, что мы начнем с Вены; при этом случае можно наговорить ей лестных вещей для нея и для императора».

Эта статья также удостоилась одобрения графа Панина; он написал: «Очень хорошо».

«VII. В случае, если бы она пожелала сократить время путешествия, повидимому, можно возразить, что хотели бы увидеть поболее стран и не ограничиваться каким-нибудь одним государством; впрочем, раз мы выедем за границу, продолжительность этого путешествия будет зависеть от нас».

На эту статью граф Панин возразил: «Как не нужно торопиться указывать страны, которыя именно хочется видеть, так равно не нужно возставать против воли, которую выскажут во время разсуждений с вами, так как после того, как уже уедете, можно будет с бóльшею легкостью избрать одну дорогу вместо другой».

В приведенной нами записке Марии Федоровны встречается еще восьмой пункт следующего содержания:

«Предосторожности, которыя в виду возможности различных случайностей следует принять перед отъездом». Но в записке эти строки тщательным образом зачеркнуты были графом Паниным; по свойственной ему благоразумной осторожности, Дугинский оракул не признал возможным отвечать на щекотливый вопрос, столь категорически поставленный великой княгиней. Существование подобной заметки в секретной записке рисует, однако, как нельзя лучше, какого рода заботы, тревоги и надежды занимали при каждом удобном случае помыслы цесаревича и в той же степени, если не более, тщеславие великой княгини. Опасения, что престол может ускользнуть из их рук, в особенности, со времени рождения великого князя Александра

Павловича, не давало им покоя, терзало их до бесконечности и служило мерилом их добрых отношений к Екатерине. По свойственной Павлу Петровичу подозрительности в его уме зародилась даже мысль, что императрица преднамеренно желает удалить его за границу, для достижения каких-либо сокровенных целей.

Дневник и записки Марии Федоровны дают некоторое основание предполагать, что ранее, чем императрица заговорила о пользе путешествий вообще, заграничная поездка составляла уже предмет личного желания цесаревича и его супруги. Великая княгиня стремилась побывать за границей для свидания с нежно любимыми ею родителями и для устройства их семейных дел; что же касается цесаревича, изнывавшего в ту пору от скуки и бездействия, то Марии Федоровне не особенно трудно было расположить его в пользу заграничной поездки. Императрица, конечно, без труда проникла в эту тайну, совпадавшую с ее собственными желаниями, и поэтому, во время разговоров о пользе путешествий вообще, нередко улыбалась, смотря на своих собеседников. Но оказывается, вместе с тем, что Екатерина затронула этот вопрос ранее, чем это почему-то было желательно для цесаревича и для великой княгини; шестинедельный срок, назначенный ими для начатия переговоров по этому вопросу, избран был, вероятно, с той целью, чтобы выраженное с их стороны желание путешествовать не могло показаться императрице результатом советов Панина или Репнина, «de nos amis», как их называет великая княгиня; трудно, по крайней мере, придумать другое объяснение для этого странного срока, который Павел Петрович и Мария Федоровна установили было для возбуждения вопроса о путешествии.

Таким образом обе стороны осторожно, точно ощупью, подвигались к одной и той же заранее намеченной ими цели, и наконец 4-го (15-го) июля 1781 года Екатерина могла сообщить Иосифу II, что сын ее выразил желание предпринять заграничное путешествие.

Императрица писала:

«Позволю себе на этот раз побеседовать с вашим императорским величеством о предмете, особенно близко меня занимающем. Таково действие великаго примера! Несколько времени тому назад сын мой заявил мне о своем желании посетить иностранныя земли и, в особенности, Италию. Я

могла только согласиться на такое желание, столь благоприятное для увеличения его познаний. Осмеливаюсь просить ваше императорское величество разрешить проезд его через ваши владения и позволить ему и его супруге представиться вам этою зимою в Вене. Они выедут отсюда, как следует полагать, в конце сентября, так как привитие оспы моим внукам должно предшествовать путешествию. Маршрутом от Могилева и Киева до Брод для них послужит прошлогодний путь графа Фалькенштейна. С истинным удовольствием я передаю их в ваши руки. Преисполненная доверия, я не сомневаюсь, что они воспользуются у вас священными правилами гостеприимства, и надеюсь, что дружба ваша доставит им подобный же прием у его королевскаго высочества великаго герцога Тосканскаго, с которым моим путешественникам предстоит вступить в столь близкую родственную связь, и который, впрочем, в течение двенадцати лет явил уже столько доказательств своего расположения к русскому народу».

Итак, замысловатый вопрос был окончательно решен. Время отъезда цесаревича под именем графа Северного, маршрут, деньги свита — все было определено и назначено.[1] Императрица согласилась даже расширить первоначально намеченную программу путешествия и разрешила сыну побывать в Париже; но в одном только отношении Екатерина осталась непоколебимой: она воспретила цесаревичу посетить Берлин и иметь свидание с Фридрихом Великим; прусская территория не вошла в маршрут путешествия.[2]

---

[1] Во избежание, во время путешествия цесаревича, стеснений от соблюдения требований этикета и сопряженных с ними пышных приемов, Екатерина пожелала, чтобы Павел Петрович и Мария Федоровна приняли титул графа и графини Северных. В свиту цесаревича назначены были: Н.И.Салтыков и его жена, фрейлины великой княгини Н.С.Борщова и Е.И.Нелидова, камергеры князь Н.Б.Юсупов и князь А.Б.Куракин, камер-юнкер Вадковский, подполковник Х.И.Бенкендорф и его жена (рожденная Шиллинг фон-Канштадт, подруга Марии Федоровны, известная под названием Тилль), капитан-лейтенант С.И.Плещеев, Клингер, Лафермьер, Николаи, священник Самборский (впоследствии законоучитель великого князя Александра Павловича) и доктор Крузе.

[2] Английский посол Гаррис, в свой депеше от 21-го октября 1781 года, писал, что, когда великая княгиня упомянула о Берлине, она на это получила решительный и даже гневный отказ императрицы.

Не довольствуясь советами графа Панина, цесаревич вел еще по предстоявшему путешествию переписку с князем Н.В.Репниным.[1] Из этой переписки уцелели два ответных письма князя Николая Васильевича из Дугина от 5-го июля и 8-го августа 1781 года; приведем здесь некоторые выдержки из них.

«Ваши №№ 4 и 5 я имел честь получить в Орле и в пути, возвращаясь оттуда, — писал князь Репнин. — Узнав из № 5-го, что путешествие вашего императорскаго высочества — вопрос решенный, я вполне искренно порадовался, находя, что это во всех отношениях хорошо для вас. Вы увидите другия страны, другия правительства, других людей. Если вы постараетесь хорошенько узнать и сравнить их, эти сравнения принесут вам большую пользу на том посту, для котораго вы предназначены. Сделать счастливой страну, управлять которою вам придется в будущем, — безспорно, первая из обязанностей вашего императорскаго высочества, а это путешествие само по себе облегчит вам возможность приобрести познание средств для достижения этой цели. Что же касается высказываемых вами, государь, соображений о предупредительности, которую проявляют по отношению к предположенному путешествию, то я вижу и не нахожу в этом ничего неприятнаго для вас. Когда делаешь что-нибудь хорошее, то, без сомнения, нужно делать его без торопливости, вредной во всем, но затем, когда не имеется сильных доводов против, то лучше сделать его ранее, чем позже. Трудно разсуждать о вещах, которых не видишь, — а я как раз в таком именно положении — но ваше высочество, видя их лично, можете судить о них без предубеждения. Речь идет только о том, государь, чтобы, размышляя о всех этих предметах, хорошенько изучить самого себя, чтобы не подавать повода к тому предубеждению, которое часто внушается нам безпокойством в характере, приводящем к тому, что мы делаемся подозрительными. Ваша откровенность придает мне смелость отвечать безграничной откровенностью; вы сами приказали мне быть таким. В вашем письме за № 4 вы даже порицаете меня за одобрение, которое я высказал вам, но оно искренно, и думать, что постоянно

---

[1] Князь Николай Васильевич Репнин занимал с 1780 года место псковского генерал-губернатора, оставаясь и смоленским генерал-губернатором. Последнее место он занимал с 1777 года.

поступают не хорошо, столь же дурно, как и воображать, что кто-либо постоянно поступает хорошо. Никогда, государь, не принимайте за лесть то хорошее, что мне случается высказывать о вас. Я никогда ни сам не опущусь, ни унижу вас до того, чтобы прибегать к подобному средству. Когда я говорю или скажу вам что-либо хорошее относительно вас самих, то это значит, что или вы представитесь мне таковым, или что я буду желать, чтобы вы были им. Это будет возданием вам должнаго с целью поощрить вам всегда быть хорошим. Никакия иныя побуждения никогда не проникнут мне в душу. Простите мне, ваше высочество, эти длинныя разсуждения. Я возвращаюсь к вопросу о путешествии.

«Безспорно было бы очень хорошо, чтобы вы имели при себе кого-нибудь, кто был бы способен обращать ваше внимание на интересные предметы, которые вам представится возможность видеть, и для меня было бы крайне лестно сопровождать вас, как вы были добры пожелать этого; но, государь, когда в течение ваших путешествий вы очутитесь в состоянии сообразоваться лишь с самим собою, приложите старание развивать свои способности, постарайтесь обойтись своими собственными силами. Это будет первым испытанием необходимаго свойства. Повторяю еще раз (и это не лесть), что у вас есть ум; применяйте его к делу и присоедините к этому систематическия и зрелыя размышления, которыя приведут к усвоению правильнаго взгляда на вещи. В продолжение ваших поездок занимайтесь лишь тем, на что вы должны обратить внимание. Не отвлекайтесь в сторону, к предметам, не имеющим отношения к вашему плану; не тревожьтесь ничем, что недостойно возбуждать безпокойство, и вам удастся просветить себя, потому что ваш ум и душа будут спокойны и свободны от всяких мелких забот. Побольше бодрости, государь; со временем все дастся, и терпение, и прилежание.

«Я в восторге, что вопрос о браке в конце концов уладился. По этому поводу, ваше высочество, приводите мне поговорку о более счастливом, чем умном; я согласен с этим и нахожу в этом уроке для будущаго против торопливости.

Через несколько дней отправляюсь отсюда в Смоленск и, быть может, во Псков. Я оставлю это письмо г.Панину, чтобы он при верном случае препроводил его вашему императорскому высочеству. Он, слава Богу, чувствует себя довольно хорошо... Это письмо было написано и запечатано, когда приехал мой адъютант Львов, привезший мне письмо

вашего императорскаго высочества за № 6. Из него я увидел, что важное дело, о котором теперь идет речь, вы ведете как нельзя лучше. Ваше письмо я прочел вместе с г.Паниным, при чем мы оба радовались тому, что было там высказано, и испытывали при этом чувство удовлетворения, пропорциональное нашей привязанности к вам... Так как по вашему маршруту, государь, вам приходится быть, так сказать, у дверей Голландии, то мне кажется, что это — страна, представляющая интерес для обозрения, потому что правительство там существенно иное, чем в других местах, образ мыслей жителей, — как равно дурное и хорошее, обусловленное характером их учреждений, — тоже там другие, а эти предметы являются богатым материалом для размышления в виду того положения, которое предназначается вам. Впрочем, государь, мне кажется, что вы можете совершить ваше путешествие приблизительно по тому же плану, который вы наметили в пределах того времени, на которое разсчитываете. Я не вдаюсь ни в какие подробности, чтобы избегнуть безполезных повторений. Г.Панин напишет вашему императорскому высочеству и подробно остановится на всех предметах. Поэтому я полагаюсь на это и заканчиваю уверением в навеки нерушимой привязанности. Завтра я предпринимаю поездку в Смоленск и Псков, разсчитывая вернуться сюда только недели через четыре. Поэтому только тогда я снова получу возможность наслаждаться счастием получать известия о вашем императорском высочестве и писать вам».

По возвращении в Дугино князь Репнин писал цесаревичу 8-го августа:

«Я имел честь получить через г.Чулиханова письмо вашего императорскаго высочества за № 7 по прибытии сюда из Пскова, чтобы видеть г.Панина до его отъезда в Петербург. Я думаю так же, как и вы, государь, что трудно, чтобы мне выпало счастие принадлежать к составу вашей свиты; что же касается Пскова, то, конечно, я буду иметь счастие увидеть вас там и сопровождать вас в пределах этой губернии. Я ничего не скажу вашему императорскому высочеству о различных предметах, намеченных вами как г.Панину, так и мне, ссылаясь в этом отношении на то, что он будет писать вам; впрочем, вскоре он будет иметь счастие увидеть вас самих, так как разсчитывает отправиться отсюда около 20-го числа этого месяца, так что 1-го или 2-го сентября он будет в Петербурге.

«Да хранит вас Бог, государь, в задуманном путешествии, которое может быть столь полезно для вас и для счастия страны, которая предназначается вам. Вы подготовляетесь к нему со столь верными мыслями, что было бы большим несчастием, если бы вас постигла неудача. Я осмеливаюсь верить в противное и прошу вас, государь, проникнуться тою же мыслью и довериться самому себе. Пользуйтесь только способностями, которыми одарил вас Бог, с благоразумием и мудростью.

«В первых числах сентября я буду в Пскове и буду ждать там вас, государь, со всем рвением и преданностью, которую, как вашему императорскому высочеству известно, я питаю к вам».

Согласно высказанному князем Репниным предположению, граф Никита Иванович Панин в начале сентября возвратился в Петербург.

Убедившись, что решение, принятое Екатериной относительно исключения Берлина из маршрута цесаревича, было бесповоротное, Панин принялся всякими нашептываниями тормозить отъезд Павла Петровича; огорченный новыми веяниями русской политики, граф Никита Иванович желал даже, если окажется возможным, совершенно отклонить цесаревича от заграничной поездки. Самоотверженный защитник прусских интересов не достиг, однако, желаемой цели. Отъезд цесаревича все-таки состоялся 19-го сентября 1781 года, накануне дня его рождения; прощаясь с детьми, Мария Федоровна три раза падала в обморок и под руки была отведена в карету, почти в бесчувственном состоянии, — сцена была раздирающая и разыгралась к тому же без всякой надобности. Проявление столь неумеренного горя придало только отъезду цесаревича окраску какой-то ссылки, характер как бы вынужденного удаления. Между тем ничего подобного не существовало в действительности. Екатерина, глубоко огорченная всеми этими проявлениями неуместной чувствительности, написала путешественникам 21-го сентября, через день после их отъезда из Царского Села: «Ваши ответы, дорогие дети, которые вручил мне Дивов, и то, что он мне сообщил, уменьшили мое безпокойство на счет состояния здоровья моей дорогой дочери. Если бы я могла предвидеть, что при отъезде она три раза упадет в обморок, и что ее под руки отведут в карету, то уже одна мысль о том, что ее здоровье придется подвергнуть таким тяжелым испытаниям, помешала бы мне согласиться на это путешествие. Нежность, которую вы оба выказываете мне, дорогие дети, правда, облегчает скорбь, причиненную мне

вашим отсутствием; но мое чувство к вам говорит и повторяет вам: возвращайтесь, как только это будет возможно, будь это из Пскова, Полоцка, Могилева, Киева или из Вены, потому что ведь, в конце концов, мы без всякой уважительной причины переносим печаль такой разлуки. Итак, спросивши свое сердце и ум, я прихожу к заключению, что вам, если вы не находите никакого удовольствия продолжать путь, следует решиться тотчас же возвратиться назад, под предлогом, что я написала вам вернуться ко мне. Дети ваши, которых я только что видела, здоровы».

Получение этого письма не остановило, однако, путешественников, и они, не воспользовавшись данным им разрешением возвратиться в Петербург, продолжали путь согласно намеченной императрицей программе. Проделки графа Панина отразились только на нем лично: он окончательно лишился доверия Екатерины и был с этого времени, к немалому его удивлению, совершенно отстранен от дел; внешняя политика велась уже без его участия.

Русская политика вступила на новый путь, который обеспечивал ей бескровное приобретение Крыма, при поддержке со стороны Австрии. Это была, как выразилась Екатерина, «утренняя заря прекраснаго дня: когда мрак ночи исчезает, тогда является утренняя звезда». Панин не мог постигнуть великого политического значения путешествия цесаревича, подготовленного заботами Екатерины, и пал жертвой своих прусских симпатий, вследствие чего его политическая роль закончилась навсегда.

II

В настоящем кратком очерке жизни Павла Петровича не место входить в подробности путешествия графа и графини Северных, продолжавшегося год и два месяца. Отметим здесь только главные черты этой поездки, которая, все-таки, внесла новый элемент в причудливое мировоззрение цесаревича: к усвоенному им ранее Потсдамскому идеалу присоединились с 1782 года еще версальские воспоминания.

В России цесаревич следовал через Псков, Полоцк, Могилев, Чернигов и Киев. «Проезд через Москву приятен бы был, — писал Павел Петрович архиепископу Платону, — но не от меня зависит, и так творю волю Пославшаго мя».[1]

---

[1] «Русский Архив» 1887 года, книга 2-я, стр. 24 (письмо цесаревича от 5-го августа 1781 года из Царского Села).

В Киеве царственные путешественники были встречены фельдмаршалом графом Румянцевым-Задунайским; отпраздновав здесь 14-е октября, день рождения великой княгини Марии Федоровны, цесаревич на другой день отправился в дальнейший путь и через Васильков вступил в Польшу.[1]

В Вишневце цесаревича поджидал польский король Станислав-Август, а затем в Тропау к нему выехал навстречу император Иосиф II. В Вену путешественники прибыли 10-го ноября. Здесь Мария Федоровна имела счастье после шестилетней разлуки обнять прибывших туда родителей и сестру Елизавету, которой предстояла участь сделаться женой эрцгерцога Франца. «Скажу вам, — писал Павел Петрович барону Сакену, — насчет моего здесь пребывания, что мы живем как нельзя лучше, осыпанные любезностями императора и пользуясь вниманием со стороны прочих; вообще это прелестное место, в особенности, когда находишься в кругу своего семейства. Я желал бы удвоиться или утроиться, чтобы успеть все видеть и сделать... Мы прилагаем все усилия, чтобы проявить нашу признательность. Но зато у нас почти нет минуты покоя как для того, чтобы выполнить обязанности, налагаемые на нас оказываемыми нам вниманием и вежливостью, так и для того, чтобы не упустить чего-либо замечательнаго по части интересных предметов; а правду сказать, государственная машина здесь слишком хороша и велика, чтобы на каждом шагу не представлять чего-либо интереснаго, в особенности же, в виду большой аналогии ея в общем с нашей. Начиная с главы, есть что изучить для моего ремесла».

Приведем здесь один эпизод из пребывания Павла Петровича в Вене, который не лишен значения для характеристики самой личности цесаревича, какой именно она представлялась современникам.

Предположено было сыграть в его присутствии в придворном театре «Гамлета», но актер Брокман отказался исполнить в трагедии свою роль, под тем предлогом, что в таком случае в зале очутятся два Гамлета. Император Иосиф пришел в такой восторг от своевременного исторического предостережения, сделанного предусмотрительным акте-

---

[1] В Киеве цесаревича приветствовали польский генерал Комаржевский и австрийский генерал Ганнах.

ром, что послал Брокману 50 дукатов в награду за счастливую мысль. Таким образом цесаревич лишен был случая увидеть на сцене бессмертное творение английского драматурга, а мы утратили возможность проследить впечатление, которое оно произвело бы, без сомнения, на неустанно работавшее болезненное воображение Павла; в России же в царствование императрицы Екатерины «Гамлет» не появлялся на русской сцене.[1]

Иосиф II воспользовался пребыванием цесаревича в Вене, чтобы сообщить ему секретный союзный договор с Россией.[2] Екатерина встретила это известие не с особенным удовольствием и писала императору: «Смею думать, что сын мой, в силу даннаго им обещания, сохранит все это в самой строгой тайне, исполняя тем желания вашего императорскаго величества, хотя его юные годы мало обезпечивают его от происков людей, которые делают своим промыслом выведывание подобных тайн» .

Недоверие Екатерины к сыну было не напрасное; приводимый нами ниже разговор цесаревича с братом императора, во Флоренции, ясно обрисовывает, с какими чувствами Павел Петрович относился к управлению своей матери, ревниво оберегая свою прусскую политическую точку зрения.

9-го января 1782 года граф и графиня Северные расстались с Веной и через Триест прибыли в Венецию; затем они продолжали путь через Падую, Болонью, Анкону и Рим в Неаполь. Здесь их ожидал граф А. К. Разумовский.

Шесть лет прошло с тех пор, как цесаревич расстался при совершенно исключительных обстоятельствах со своим другом.

Но страсти еще не улеглись. По семейному преданию цесаревич, увидав у подъезда дома, где он должен был

---

[1] При императрице Елизавете Петровне труппа Ф. Г. Волкова давала «Гамлета» в Сумароковской переделке.

[2] Сближение России с Австрией, закрепленное путешествием цесаревича, разогорчило до чрезвычайности Фридриха Великого. Гнев его немедленно обрушился на старшего брата великой княгини Марии Федоровны, принца Фридриха; король уволил его из прусской службы. Екатерина, разгневанная, в свою очередь, этим поступком своего бывшего союзника, тотчас предложила принцу место генерал-губернатора в русской Финляндии. «Vous y avez vu ma bonne volont», — писала императрица цесаревичу и великой княгине, обрадовав их своим решением. Принц Фридрих встретился с цесаревичем в Венеции и явился ко двору Екатерины незадолго до возвращения наследника в Россию.

остановиться, графа Разумовского, схватил его за руку и повлек в пустую комнату; там, вынув из ножен шпагу, он стал в позицию, воскликнув: «Flamberge au vent, monsieur le comte!» Сопровождавшие цесаревича кавалеры лишь с трудом могли успокоить его. Может быть, это анекдот, а анекдоты, по мнению князя П.А.Вяземского, часто оказываются не без лигатуры и лживого чекана. Но, во всяком случае, не подлежит уже сомнению, что великий князь обошелся с Разумовским холодно и сдержанно, тень давно прошедших событий все-таки разлучила бывших друзей навсегда.

Из Неаполя великий князь с супругой возвратились в Рим, где они пробыли три недели. «Здешнее пребывание наше приятно со стороны древностей, художеств и самой летней погоды», — писал цесаревич к Платону. После первого же осмотра церкви св. Петра он в письме выразил желание, чтобы его друг, архиепископ московский, «в таковой в Москве служил». С папой Пием VI цесаревич имел несколько свиданий.

После Рима граф и графиня Северные посетили Флоренцию. Пребывание при дворе великого герцога представляло для Марии Федоровны особенный интерес; она познакомилась здесь с женихом своей сестры, эрцгерцогом Францем. Вообще между великокняжеской четой и тосканским двором установились наилучшие отношения. Поэтому неудивительно, что в беседах своих с великим герцогом цесаревич нарушил соблюдавшуюся им до тех пор во время пути сдержанность в высказывании мнений относительно отечественных дел. Он, не стесняясь, в резких выражениях осуждал завоевательную политику своей матери, находя, что Россия достаточно велика и не нуждается в новых приобретениях, но требует заботливого отношения к внутренним делам. Вместе с тем великий князь выразил величайшее презрение к ближайшим сотрудникам императрицы, считая их подкупленными венским двором. Великий герцог возразил, что ему ничего об этом не известно. «А я их знаю, и я вам назову их, — ответил Павел Петрович, — это князь Потемкин, секретарь императрицы Безбородко, Бакунин, графы Семен и Александр Воронцовы и Морков[1], который теперь посланником в Голландии. Я вам называю их, потому

---

[1] Аркадий Иванович Морков назначен был вторым министром к генеральным штатам Соединенных Нидерландов. Чрезвычайным послом был князь Дмитрий Алексеевич Голицын.

что я очень рад, если узнают, что мне известно, кто они такие, и лишь только я буду иметь власть, я их высеку, разжалую и выгоню[1].

Кажется, трудно было выразить порицание в более резкой и беспощадной форме. Но Павел Петрович не удовольствовался осуждением существовавшего в России порядка и вместе с тем в припадке откровенности развернул перед своим изумленным слушателем безотрадную картину порядков будущего царствования! Права была Екатерина, когда она несколько позже, в предчувствии угрожавших России бед, сказала: «Вижу, в какие руки попадет империя после моей смерти».

Из Флоренции цесаревич проехал через Ливорно, Парму и Милан в Турин. Здесь Мария Федоровна очень подружилась с Марией-Клотильдой, супругой наследника Сардинского короля и сестрой Людовика XVI. Дружеские отношения, установившиеся тогда с савойским домом, не остались без влияния на будущую русскую политику. Из Турина путешественники направились в Лион, а затем в Париж, куда прибыли 7-го (18-го) мая. Здесь русских путешественников ожидает самый сочувственный и предупредительный прием как в Версале, так и в самой столице.

«Вы видите, откуда я вам пишу, — читаем мы в письме Павла Петровича к барону Сакену от 14-го (25-го) мая 1782 года, — из настоящаго водоворота людей, вещей и событий; молю Бога, чтобы Он даровал мне силы справиться со всем. Друг мой, я вижу здесь совершенно иное, чем то, что мне известно было доселе. Я еще не знаю, что я буду делать, я едва помню, что со мной было; вот какой я веду образ жизни в данный момент; но когда немного заботишься о своей репутации, то труды и бдения не кажутся страшными. Сеешь для того, чтобы собирать жатву, и тогда чувствуешь себя вознагражденным за все. Вспоминайте иногда о вашем друге и молите за него Бога».

Старания Павла Петровича, о которых он говорит в приведенном нами письме, увенчались успехом; цесаревич произвел благоприятное впечатление как при дворе, так и в

---

[1] Великий герцог Леопольд не замедлил сообщить своему брату, императору, разговор цесаревича в особом письме. Всего более поражает то обстоятельство, что Павел Петрович нашел возможным поставить на одну доску с Морковым таких почтенных лиц, какими должны быть бесспорно признаны графы Семен и Александр Романовичи Воронцовы.

Париже. Гримм в своей литературной переписке посвятил этому обстоятельству несколько строк. Он пишет:

«В Версале великий князь производил впечатление, что знает французский двор, как свой собственный. В мастерских наших художников (в особенности, он осмотрел с величайшим вниманием мастерские Грёза и Гудона) он обнаружил такое знание искусств, которое могло только сделать его похвалу более ценною для художников. В наших лицеях, академиях своими похвалами и вопросами он доказал, что не было ни одного рода таланта и работ, который не возбуждал бы его внимания, и что он давно знал всех людей, знания или добродетели которых делали честь их веку и их стране. Его беседы и все слова, которыя остались в памяти, обнаружили не только весьма проницательный, весьма образованный ум, но и утонченное понимание всех оттенков наших обычаев и всех тонкостей нашего языка».

В Париже, подобно тому, как и во всех случаях, когда он того желал, Павел Петрович очаровал французское общество. Суворовский «prince adorable» проявил себя во всем блеске. Цесаревич, согласно его выражению, сеял и сеял старательно: в награду ему выпала обильная жатва одобрения. «Je me mettrai jusqu'aux oreilles pour leur rendre le séjour d'ici agréable», — сказала королева Мария-Антуанета, готовясь встретить русских гостей. Действительно, старая французская монархия представилась цесаревичу во всем блеске своего отживавшего величия. Приемы, празднества, балы в Версале, Трианоне, Шантильи быстро следовали один за другим. Старый маршал Бирон угостил даже великого князя смотром французских войск на Марсовом поле. Но за весельем последовали и огорчения; нежданная гроза вдруг разразилась над бедными путешественниками. Цесаревич получил от императрицы письмо, которое снова вызвало дремавшие в нем мрачные мысли. Екатерина писала 25-го апреля из Царского Села:

«На сих днях приказала я арестовать флигель-адъютанта моего Павла Бибикова,[1] по причине предерзостных его поступков, кои суть пример необузданности, развращающей все обязательства; из слога письма его, писаннаго князю Куракину, можете осмотреть сие пространно. Он сам уже

---

[1] Это был сын генерала А.И. Бибикова, известного Екатерининского деятеля, умершего во время усмирения Пугачевского бунта.

признался врагом неблагодарным и совершенным невеждою военных регул и дисциплины, которая, однако, есть душа службы. Я уверена, что вы, увидев вышереченное письмо, наполненное столь черными выражениями, будете иметь к таковой корреспонденции должное презрение».

В другом, позднейшем, письме от 7-го июня императрица снова возвращается к делу, причинившему цесаревичу немало тревог: ему приходилось опасаться отозвания в Петербург близкого ему человека, князя Александра Борисовича Куракина. Екатерина писала:

«О деле Бибикова я должна сказать вам, что этот человек, осыпанный мной благодеяниями, как и все его семейство, человек неблагодарный, исполненный самой едкой злобы против вашей матери. Этот разрушительный порок всех обществ не принадлежит к числу занятий, заслуживающих поощрения. Но что такой человек находит льстецов, это многое доказывает... Что касается Бибикова,[1] то он, изобличенный в неблагодарности и лжи, решился на единственный остававшийся ему исход: он раскаялся, просил прощения и выказал душу и разум ребенка, заслужившаго наказание розгами. Все это дело могло бы послужить трактатом нравственности для молодежи. Но какое бы раскаяние он ни обнаружил, чего можно ожидать от головы, наполненной бабьими сплетнями, главнейшее и любимейшее занятие которой состоит в повторении сплетен, составляющем главное орудие клеветы; как бы это занятие ни было вредно для частнаго или общественнаго блага, главное, чтобы занимающиеся этим могли собирать и распускать подобнаго рода нравственные испанские мушки. Мои принципы за волосы вытащили этого молодого человека из пропасти, в которую он погрузился, потому что тон мой менее трагичен, чем тон моих предшественников. Говорю вам это, мои дорогие дети, потому что моя нежность к вам желает, чтобы вы извлекли из этого пользу для настоящаго и будущаго. Что касается до большого письма, написаннаго мне по этому поводу князем

---

[1] Заметим здесь, что ответное письмо князя Куракина к Бибикову было также перехвачено. В нем князь Александр Борисович писал, что образ мыслей Бибикова достоин сочувствия всех честных людей. Этим обстоятельством объясняется пренебрежение, которое императрица проявила относительно оправдательного всеподданнейшего письма князя Куракина. Одновременно с Бибиковым писал цесаревичу граф Никита Иванович Панин, но это письмо не удалось перехватить.

Куракиным, то я велю, если он того пожелает, положить его в архив рядом с ответом Бибикову, чтобы оно служило доказательством, как он отрекается от чувств неблагодарности своего корреспондента и опровергает то, что тот легкомысленно осмелился заявить в своем письме, что он с детства не имел от него никаких тайных мыслей».

Может быть, под впечатлением смущения и неудовольствия, вызванного известиями, полученными из Петербурга, цесаревич на вопрос, сделанный Людовиком XVI, правда ли, что в его свите нет лица, на которое он мог бы положиться, отвечал королю: «Я был бы очень недоволен, если бы возле меня находился какой-нибудь привязанный ко мне пудель: прежде, чем мы оставили бы Париж, мать моя велела бы бросить его в Сену с камнем, на шее». Достоверность этих жестоких слов, произнесенных в присутствии довольно большого числа лиц и оскорблявших Екатерину, как императрицу и мать, не подлежит ни малейшему сомнению; она засвидетельствована почти в одинаковых выражениях двумя очевидцами: королевой Марией-Антуанетой и госпожой Кампан.

Мария Федоровна была сдержаннее в своих отзывах об императрице; искренно или нет, она сказала священнику церкви св. Сульпиция, восхвалявшему Екатерину: «Да, вы правы, императрица — мать своих подданных; она в одно и то же время и лучшая голова, и лучшее сердце в Европе». Свидетельница этого разговора, баронесса Оберкирх, замечает в своих записках, что она никогда не слышала, чтобы графиня Северная выражалась иным образом; по ее словам, те, которые предполагали обратное, ошибались.

Расставшись 8-го (19-го) июня с Парижем, граф и графиня Северные через Орлеан, Тур и Анжер поехали в Брест, а затем, посетив Руан, Амьен и Лиль, вступили в Австрийские Нидерланды.

III

В Брюсселе цесаревич рассказал собравшемуся у него вечером обществу один фантастический эпизод из своей жизни, который следует привести в нашем повествовании, как превосходную характеристику ненормальной, нервной натуры Павла Петровича.

«29-го июня (10-го июля) 1782 года прослушав оперу в брюссельском театре, путешественники сели ужинать; вели-

кая княгиня, утомившись переездом в тот же день из Гента, удалилась в свои покои. Присутствовали цесаревич, баронесса Оберкирх, князь де-Линь, князь Александр Алексеевич Куракин и несколько других приглашенных лиц. Разговор перешел на предчувствия, сны, предзнаменования; каждый рассказал что-либо из своей жизни, подкрепив свое повествование теми или иными доказательствами. Великий князь не сказал ни слова; тогда князь де-Линь обратился к нему с вопросом, разве ему нечего рассказать, или в России нет ничего чудеснаго.

Великий князь покачал головой.

— Куракин знает, — сказал он, — что и мне было бы возможно разсказать не меньше других. Но я стараюсь удалить подобные мысли: они меня когда-то достаточно мучили.

Никто не возражал. Великий князь посмотрел на своего друга и продолжал с оттенком грусти:

— Не правда ли, Куракин, что со мной приключилось кое-что очень странное?

— *Даже столь странное, государь, что при всем уважении* к вашим словам я могу лишь приписать этот факт игре вашего воображения.

— Нет, это правда, сущая правда, и если г-жа Оберкирх даст слово никогда не говорить об этом моей жене, я разскажу вам, в чем было дело. Но я также попрошу вас, господа, сохранить эту дипломатическую тайну, — прибавил он улыбаясь, — потому, что я вовсе не желаю, чтобы по Европе разошлась история о привидении, разсказанная мною, да еще о себе.

Все дали слово. Тогда великий князь начал свой разсказ.»

— Однажды вечером или, скорее, ночью я, в сопровождении Куракина и двух слуг, шел по улицам Петербурга. Мы провели вечер у меня, разговаривали и курили, и нам пришла мысль выйти из дворца инкогнито, чтобы прогуляться по городу при лунном свете. Погода не была холодная, дни удлинялись; это было в лучшую пору нашей весны, столь бледной в сравнении с этим временем года на юге. Мы были веселы, мы вовсе не думали о чем-либо религиозном или даже серьезном, и Куракин так и сыпал шутками насчет тех немногих прохожих, которые встречались с нами. Я шел впереди, предшествуемый, однако, слугою; за мной, в нескольких шагах, следовал Куракин, а сзади в некотором разстоянии шел другой слуга. Луна светила так ярко, что

было бы возможно читать, тени ложились длинныя и густыя. При повороте в одну из улиц я заметил в углублении одних дверей высокаго и худого человека, завернутого в плащ, в роде испанскаго, и в военной, надвинутой на глаза шляпе. Он, казалось, поджидал кого-то, и, как только мы миновали его, он вышел из своего убежища и подошел ко мне с левой стороны, не говоря ни слова. Невозможно было разглядеть черты его лица; только шаги его по тротуару издавали странный звук, как будто камень ударялся о камень. Я был сначала изумлен этой встречей; затем мне показалось, что я ощущаю охлаждение в левом боку, к которому прикасался незнакомец. Я почувствовал охватившую меня всего дрожь и, обернувшись к Куракину, сказал:

— Мы имеем странного спутника!

— Какого спутника? — спросил, он.

— Вот того, который идет у меня слева и который, как мне кажется, производит достаточный шум.

Куракин в изумлении раскрывал глаза и уверял меня, что никого нет с левой стороны.

— Как? Ты не видишь человека в плаще, идущаго с левой стороны, вот между стеною и мною.

— Ваше высочество, сами соприкасаетесь со стеною, и нет места для другого лица между вами и стеною.

Я протянул руку, действительно, я почувствовал камень. Но все-таки человек был тут и продолжал итти со мной в ногу, при чем шаги его издавали попрежнему звук, подобный удару молота. Тогда я начал разсматривать его внимательно и заметил из-под упомянутой мной шляпы особенной формы такой блестящий взгляд, какого не видел ни прежде, ни после. Взгляд его, обращенный ко мне, очаровывал меня; я не мог избегнуть действия его лучей.

— Ах, — сказал я Куракину, — я не могу передать, что я чувствую, но что-то странное.

Я дрожал не от страха, но от холода. Какое-то странное чувство постепенно охватывало меня и проникало в сердце. Кровь застывала в жилах. Вдруг глухой и грустный голос раздался из-под плаща, закрывавшаго рот моего спутника, и назвал меня моим именем:

— Павел!

Я невольно отвечал, подстрекаемый какой-то неведомой силой:

— Что тебе нужно?

— Павел! — повторил он.

На этот раз голос имел ласковый, но еще более грустный оттенок. Я ничего не отвечал и ждал; он снова назвал меня по имени, а затем вдруг остановился. Я вынужден был сделать то же самое.

— Павел, бедный Павел, бедный князь!

Я обратился к Куракину, который также остановился.

— Слышишь? — сказал я ему.

— Ничего, государь, решительно ничего. А вы?

Что касается до меня, то я слышал; этот плачевный голос еще раздавался в моих ушах. Я сделал отчаянное усилие над собою и спросил таинственного незнакомца, кто он, и чего он от меня желает.

— Бедный Павел! Кто я? Я тот, кто принимает в тебе участие. Чего я желаю? Я желаю, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, потому что ты не останешься в нем долго. Живи как следует, если желаешь умереть спокойно, и не презирай укоров совести: это величайшая мука для великой души.

Он пошел снова, глядя на меня все тем же проницательным взором, который как бы отделялся от его головы. И как прежде я был должен остановиться, следуя его примеру, так и теперь я вынужден был следовать за ним. Он перестал говорить, и я не чувствовал потребности обратиться к нему с речью. Я шел за ним, потому что теперь он давал направление нашему пути; это продолжалось еще более часу, в молчании, и я не могу вспомнить, по каким местами мы проходили. Куракин и слуги удивлялись.

— Посмотрите на него, — прервал свой рассказ великий князь, указывая на Куракина, — он улыбается, он все еще воображает, что все это я видел во сне.

— Наконец, — продолжал далее Павел Петрович, — мы подошли к большой площади между мостом через Неву и зданием сената.

Незнакомец прямо подошел к одному месту этой площади, к которому я, конечно, последовал за ним и там он снова остановился.

— Павел, прощай, ты меня снова увидишь здесь и еще в другом месте.

Затем его шляпа сама собой приподнялась, как будто бы он прикоснулся к ней; тогда мне удалось свободно разглядеть его лицо. Я невольно отодвинулся, увидав орлиный взор, смуглый лоб и строгую улыбку моего прадеда Петра Великаго. Ранее чем я пришел в себя от удивления и страха,

он уже исчез. В этом самом месте императрица сооружает знаменитый памятник, который изображает царя Петра на коне и вскоре сделается удивлением всей Европы. Громадная гранитная скала образует основание этого памятника. Не я указал моей матери на это место, предугаданное заранее призраком. Мне страшно, что я боюсь, вопреки князю Куракину, который хочет меня уверить, что это был сон, виденный мною во время прогулки по улицам. Я сохранил воспоминание о малейшей подробности этого видения и продолжаю утверждать, что это было видение. Иной раз мне кажется, что все это еще совершается передо мной. Я возвратился во дворец, изнеможенный, как бы после долгаго пути и с буквально отмороженным левым боком. Потребовалось несколько часов времени, чтобы отогреть меня в теплой постели, прикрытаго одеялами. Надеюсь, что разсказ мой обстоятелен, и что я не даром задержал вас.

— Знаете ли вы, государь, что эта история значит? — сказал князь де-Линь.

— Она значит, что я умру в молодых летах.

— Извините, если я не разделяю вашего мнения, — возразил князь де-Линь. — Она несомненно доказывает две вещи: во-первых, что не следует гулять ночью, когда хочется спать, и, во-вторых, не следует прикасаться к стенам, едва оттаявшим, в таком климате, как у вас, государь. Другого заключения я из этого вывести не могу; что же касается вашего знаменитаго прадеда, то призрак его, извините меня, существовал лишь в вашем воображении. Я уверен, что одежда ваша была запачкана пылью от домовых стен с левой стороны. Не правда ли, князь? — закончил де-Линь, повернувшись к князю Куракину».

Рассказ цесаревича произвел на слушателей глубокое впечатление, и мы передали его здесь в том виде, в каком он был записан в тот же вечер баронессой Оберкирх и напечатан в ее записках.

Во время дальнейшего путешествия цесаревич, по-видимому, сожалел об откровенном рассказе, сделанном им в Брюсселе; он неоднократно старался разуверить баронессу Оберкирх в действительности петербургского видения. По его словам, это была сказка с целью напугать ее. Однако, ему не удалось разубедить проницательную баронессу, которой вскоре представился случай убедиться в справедливости своей точки зрения. Когда граф и графиня Северные находились уже в Монбельяре, у родителей Марии Федоров-

ны, получено было письмо из Петербурга с описанием торжественного открытия 7-го (18-го) августа памятника Петру Великому. В то время, когда читали это письмо, цесаревич, смотря на баронессу Оберкирх, украдкой приложил палец к губам; хотя он старался улыбаться, но баронесса заметила, что Павел Петрович сильно побледнел. Этот случай окончательно убедил подругу Марии Федоровны в том, что цесаревич не думал вовсе шутить во время ужина в Брюсселе и был убежден, что видел призрак Петра Великого.

IV

Как и следовало ожидать, цесаревич отнесся весьма нелюбезно к А. И. Моркову, выехавшему к нему навстречу в Брюссель. При посещении Лейденского университета раздражение великого князя выразилось новой выходкой. Павел Петрович поблагодарил профессоров за то, что трудами своими они сделали многих русских способными с пользой служить отечеству. Милостивые слова эти вызваны были тем, что князь Александр Борисович Куракин был некогда слушателем Лейденского университета; неуместным отзывом своим, повторенным газетами, великий князь только повредил своему другу, над которым уже без того висела опала за Бибиковское дело. В Петербурге слова великого князя не могли пройти незамеченными, они были оценены по достоинству императрицей, о чем свидетельствует сухое письмо Екатерины к путешественникам от 28-го июля, в котором встречаются лаконические строки: «les nouvelles publiques m'ont appris votre voyage d'Hollande».

Объехав Нидерланды, побывав в Спа и Ахене, граф и графиня Северные прибыли во Франкфурт, где их ожидали собравшиеся в большом числе различные немецкие владетельные особы, «des princes sans fin», — как писала Мария Федоровна императрице.

Между ними находился и бывший жених великой княгини, принц Гессен-Дармштадтский.

21-го июля (1-го августа) великий князь с супругой достигли наконец Этюпа, около Монбельяра, где пробыли более месяца в этой беспритязательной резиденции родителей Марии Федоровны. Здесь, среди дружески расположенной к нему семьи, при полном отсутствии придворного этикета, цесаревич отдохнул и позабыл о политике, наслаждаясь, как он выразился, «спокойствием, духа и тела». Графу

Н. П. Румянцеву великий князь писал: «Мы уже восемь дней живем в семейном своем кругу. Это совсем новое для меня чувство, тем более сладкое, что оно имеет своим источником сердце, а не ум». Для Марии Федоровны пребывание в Этюпе было также несомненно приятнейшим временем из всего путешествия. Но и здесь, несмотря на всю окружавшую цесаревича атмосферу любви и сердечной привязанности, он все-таки нашел для себя возможным при случае напомнить о неприятных сторонах своего характера и свойственных ему деспотических приемах. Это произошло в Монбельяре: он схватил за руку и выгнал из комнаты офицера, который осмелился в его присутствии играть в карты.

Побывав в Швейцарии, граф и графиня Северные через Штутгарт[1] возвратились в Вену, где они вновь встречены были с полным радушием Иосифом II.

В то самое время, как совершалось очерченное нами путешествие, дети цесаревича пребывали под заботливым оком императрицы, приложившей все старание к сохранению оставленного ей драгоценного залога. По крайней мере, в продолжение целого года дети были избавлены от двойственного влияния двух вечно враждовавших между собой течений, и можно без всякого преувеличения сказать, что время, проведенное тогда великими князьями Александром и Константином, принадлежит к счастливейшему времени их жизни. «Весело здесь, бабушка», — говорили довольные внучата, и слова эти Екатерина с видимым удовольствием не замедлила сообщить отсутствовавшим. Императрица, ненавидевшая фразу и всякую пустую риторику, не выносила также обмороков и проявления напускной чувствительности. Поэтому, предусматривая время возвращения «дорогих

---

[1] В Штутгарте цесаревич Павел Петрович посетил академию, которой незадолго перед тем Иосифом II были дарованы права университета. Здесь он встретился с Парротом, которому впоследствии было суждено сыграть видную роль в жизни императора Александра I.

Павел Петрович присутствовал на лекциях, и профессор вызвал Паррота, предложив ему доказать в присутствии высокого посетителя существование Бога.

«Я не могу сделать этого», — смело ответил пятнадцатилетний юноша.

«Как! — гневно воскликнул цесаревич, — вы отрицаете существование Бога?»

«Нет, ваше высочество, — убежденно ответил Паррот, — я чувствую его, а это сильнее всякого логического доказательства».

детей» в Петербург и вспоминая тягостные прощальные сцены, сопровождавшие их отъезд в 1781 году, Екатерина, опасавшаяся вредного влияния на детей излишней чувствительности со стороны Марии Федоровны, признала полезным сделать ей дружественное предостережение и писала: «Но в каком отношении я буду просить вас быть сдержанною — это в проявлении великой радости, которую доставит вам свидание с вашими детьми; не испугайте их выражением слишком восторженной радости; пусть моя любезная дочь обнимет их с умеренностью, а главное пусть не падает в обморок, ибо в этом мы ничего не понимаем и это внушит нам страх и боязнь, которые, особенно после продолжительного отсутствия, лишат нас той степени непринужденности, насладиться коею с первой же минуты представилось бы для вас особенно приятным. Я заблаговременно предостерегаю вас на этот счет, дабы вы могли подумать об этом и это послужит к вашему обоюдному удовольствию. То, что я здесь говорю вам, я высказываю со знанием дела и тех лиц, ради которых я предлагаю вам умеренность в проявлении всякаго восторга, который мог бы удивить нас и испортить настроение. Если бы вы усомнились, дорогая дочь, в справедливости моих разсуждений, то я повергаю себя на суд вашей матери, с которой можете посоветоваться, и которая относительно детей должна иметь обширную опытность».

В переписке за это время Екатерины с цесаревичем и его женой по поводу маленьких великих князей встречаются также и менее дидактические рассуждения. Императрица передавала иногда и несколько игривые просьбы; так, например, она писала 19-го января 1782 года:

«Александр Павлович третьяго дня просил меня, чтоб я ему достала еще брата; я его с просьбою отослала к вам, любезныя дети, но он весьма просил, чтоб я отписала к вам его просьбу, чтоб вы ему привезли третьяго брата. Я спросила, на что ему третий брат. На сие я получила в ответ, что ему необходимо нужно брата одного еще для той важной причины, что он, когда сидит кучером, тогда у него один ездовой, а надобно, чтоб было два. Видя справедливость его требования, сообщаю вам с подкреплением с моей стороны просьбы друга моего сердечнаго.»

7-го (18-го) октября в глубокую осень граф и графиня Северные выехали из Вены в Россию, направляясь в этот дорогой Петербург, как выразилась Мария Федоровна в письме к императрице. Путешественники на обратном пути

ехали через Брюнн, Троппау и, перерезав прусскую территорию, направились в Петербург через Краков, Белосток, Гродно, Ковно, Митаву и Ригу. 30-го ноября 1782 года их высочества прибыли в Зимний дворец[1].

Какой же был результат путешествия, совершенного цесаревичем, лично для него? Оно не произвело в воззрениях, усвоенных им до поездки, *никакой перемены. Заграничное* путешествие повлияло разве только в одном отношении, о котором было уже выше замечено. К воспринятому им потсдамскому идеалу присоединились еще версальские воспоминания; вместе с тем цесаревич пропитался еще в высшей степени аристократическими идеями и вкусами как раз тогда, когда они стали отживать свое время в Европе. На этой почве разрослись впоследствии рыцарские, мальтийские идеи.

Иосиф II сообщил Екатерине в момент отъезда цесаревича и великой княгини из Вены свое мнение о том влиянии, которое произвело на них заграничное путешествие. Он писал:

«Мне кажется, что путешествие, которое только что совершили их императорские высочества, действительно, принесло им пользу, и, я думаю, не ошибусь, если осмелюсь утверждать вашему императорскому величеству, что они возвратятся с несравненно более приятным обращением, и что недоверие, подозрительность и склонность к всевозможной мелочности исчезнут у них, насколько это допустят прежния привычки и окружающия их лица, которыя одни только и вселяли подобные взгляды. Удачный выбор окружающих лиц и удаление людей несоответствующего образа мыслей представляются мне существенно необходимыми для спокойствия и для семейнаго и личнаго благополучия трех особ, к которым я питаю искреннюю привязанность».

Император ближе подошел к истине и вернее оценил свойства цесаревича и окружавшую его обстановку, когда писал брату своему Леопольду: «По всей вероятности, великий князь после возвращения встретит, быть может, более неприятностей, чем он испытывал ранее, до своего путешествия».

---

[1] Путешествие цесаревича продолжалось 428 дней; проехал он 13 115 верст.

Относительно замечания, высказанного Иосифом в письме к Екатерине, можно заметить, что император горько ошибался, полагая еще возможным повлиять на цесаревича и исправить вкоренившееся в его воззрениях зло. Каким был цесаревич, таким он и возвратился в Петербург, но только еще раздраженный исходом Бибиковской истории. Такой своеобразный характер, созданный под влиянием исключительных обстоятельств, каким отличался Павел Петрович, не подлежал перевоспитанию, и какими человеческими совершенствами Екатерина ни окружила бы сына, результат был бы одинаково плачевный. Цесаревич жаждал одного только, но как раз именно того, чего Екатерина не могла ему даровать: неограниченной власти. А роль наследника, даже при самой благоприятной обстановке, была ему все-таки не по плечу, — разве при одном условии он мог бы примириться с ней, если бы на русском престоле восседал Фридрих Великий.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Возвращение цесаревича из-за границы. — Смерть графа Н.И.Панина. — Начало гатчинского периода в жизни цесаревича. — Таврическое путешествие императрицы Екатерины.

I

Возвращение цесаревича и великой княгини в Петербург не сопровождалось проявлением особенно нежных чувств или радостью ни со стороны императрицы, ни со стороны ее «дорогих детей»[1]. Конечно легче было заочно расточать нежные чувства в переписке, продолжавшейся более года, чем перенести хоть каплю этой нежности в ежедневные, будничные сношения. Первое свидание между императрицей и прибывшими цесаревичем и великой княгиней произошло без посторонних свидетелей и продолжалось не более нескольких минут. На основании собранных английским посланником Гаррисом сведений, он пришел к заключению, «что их высочества так же недовольны приемом, им оказанным, как императрица сожалеет об их возвращении, и что взаимное неудовольствие, преобладающее с обеих сторон, вероятно, вызовет неприятные сцены».

В позднейшей депеше от 6-го декабря 1782 года, Гаррис снова возвращается к отношениям, установившимся тогда между цесаревичем и императрицей, картина, которую он рисует, по этому случаю, выходит довольно безотрадной.

«Поведение великаго князя и великой княгини с самаго их возвращения было гораздо сдержаннее, чем можно было предполагать. Они ведут почти уединенный образ жизни, исключили из своего общества всех своих прежних любимцев и, повидимому, хотят вперед руководиться в своих поступках одной только волей императрицы.

Трудно определить, к чему следует отнести эту неожиданную перемену. Мне кажется, она отчасти объясняется тем, что они нашли графа Панина слишком ослабевшим для того, чтобы оказать им поддержку или подать совет. Отчасти также это должно быть приписано тому, что они убедились, что почти все лица, сопровождавшие их во время путешест-

---

[1] При свидании с юными великими князьями Мария Федоровна, помня наставление Екатерины, не падала в обморок; все обошлось, кажется, спокойно, тихо и чинно.

вия, их выдали, и, наконец, тем странным слухам, которые дошли до них, будто бы императрица намеревается, по возвращении их, устранить великаго князя от наследства и по смерти передать престол своему старшему внуку.

Какими бы причинами оно ни было вызвано, во всяком случае их настоящее поведение благоразумно и основательно. Но, к несчастию, императрица так сильно предубеждена против них, что их поведение нисколько не встречает с ея стороны того одобрения, котораго бы оно заслуживало. Теперь она называет их сдержанными, молчаливыми и разсеренными, говорит, что их испортили заграничныя связи, и что теперь они уже не могут вернуться к обычаям своей страны. Словом, она заранее решила, что будет ими недовольна, а потому угодить ей уже невозможно». Затем Гаррис еще пишет: «Огромный долг, сделанный ими во время путешествия, который невозможно будет долго скрывать от императрицы, немало будет способствовать усилению того раздражения и (если смею так выразиться) той неестественной вражды, которая существует между ними».[1]

Допуская справедливость всего замеченного Гаррисом, нужно, однако, дополнить представленную им картину несколькими недостающими в ней штрихами. Английский дипломат совершенно не вводит в круг своих наблюдений Бибиковскую историю с ее плачевными последствиями. Между тем это дело не прошло бесследно и сильно повлияло как на императрицу, так и на цесаревича, соответственно взглядам каждого из них. Злополучное дело кончилось тем, что П. А. Бибиков сослан был в Астрахань, а князь Александр Борисович Куракин удален от двора в свои саратовские деревни.[2] Вообще дело Бибикова имело более важное

---

[1] Екатерина щедро оплатила ей издержки заграничного путешествия цесаревича, а также его расходы по покупке разных вещей. Для какой же цели заключен был заем, о котором упоминает Гаррис? Единственно для удовлетворения нескончаемых нужд Монбельярской семьи, беспрерывно требовавшей денег от Марии Федоровны. От Екатерины, конечно, тщетно было ожидать уплаты подобных долгов; на выражение же неудовольствия с ее стороны можно было рассчитывать наверное.

[2] Впоследствии императрица, по просьбе цесаревича, разрешила князю Куракину через каждые два года приезжать в загородные дворцы наследника. Удаление князя Куракина объясняется, между прочим, еще и тем, что через него шла переписка Павла Петровича с прусским посланником в Петербурге; он же служил посредником в сношениях цесаревича с массонскими обществами, членом которых состоял великий князь. Все эти обстоятельства не могли быть скрыты от внимания императрицы и повлияли на судьбу Куракина.

значение, чем могло казаться с первого взгляда. Екатерина прежде всего ясно увидела, в какой умственной сфере вращались мысли цесаревича; затем для нее уже не подлежало сомнению, что подобному образу мыслей сочувствовали и более влиятельные лица, чем опальный флигель-адъютант. Поэтому императрица приняла решительные меры против тех «добромыслящих», которые печаловались о мнимых страданиях отечества и сходились в общем чувстве ненависти к кривому, как называл Бибиков князя Потемкина.

Затем Гаррис умалчивает также о тех неосторожных, а порой даже неприличных отзывах, высказанных цесаревичем о правлении своей матери и даже лично о ней, образчики которых приведены выше в разговорах его с Леопольдом Тосканским и Людовиком XVI. Сведения о подобных выходках цесаревича должны были дойти и до слуха Екатерины, а порадовать ее они, конечно, не могли. Принимая подобные случаи во внимание, следует признать, что явление, называемое Гаррисом неестественной враждой, получает уже совершенно иную окраску.

По наружности, однако, все шло своим нормальным порядком. Так, между прочим, немедленно по возвращении цесаревича, ему был пожалован орден св.Владимира первой степени, учрежденный императрицей 22-го сентября 1782 года. Однако, все ограничивалось обоюдными внешними знаками внимания, но внутренний, душевный мир отсутствовал. Надежда, выраженная Екатериной в одном из своих писем, не оправдалась; ожидаемая минута успокоения не наступила вовсе.

1783-й год ознаменован был кончиной двух выдающихся деятелей Екатерининской эпохи, имя которых тесно связано с воцарением императрицы: 31-го марта скончался в Петербурге граф Никита Иванович Панин, а в ночь с 12-го на 13-е апреля в мрачном умопомешательстве скончался в Москве князь Григорий Григорьевич Орлов.

Екатерина в письме к Гримму от 20-го апреля из Царского Села посвятила этому событию следующие строки:

«Приехав сюда, я узнала прискорбное известие о смерти князя Орлова, скончавшагося в Москве ночью с 12-го на 13-е сего месяца.

Хотя я и очень была подготовлена к этому горестному для меня событию, уверяю вас, что я испытываю живейшую печаль; я теряю в нем друга и человека, которому обязана величайшей признательностью, так как он оказал мне суще-

ственныя услуги. Что бы мне ни говорили, и что бы я сама ни говорила себе в подобном случае, одни рыдания мои служат ответом на все это, и я жестоко страдаю с той минуты, как пришло это роковое известие; только работа развлекает меня, а так как со мною нет еще моих бумаг, то я пишу вам, чтобы облегчить себя... Есть что-то странное в этой смерти князя Орлова: именно, что граф Панин умер недели две ранее его, и что один не знал, а другой не мог знать о смерти другого. Эти два человека, постоянно противоположных мнений, не любившие друг друга, очень удивятся, свидясь на том свете. Правда, что вода и огонь не столько представляют различий, как эти люди. Я долгие годы жила с этими двумя советниками, напевавшими мне с двух сторон каждый свое, и, однако, дела шли и шли большим ходом. Зато часто я была вынуждена поступать так, как Александр с Гордиевым узлом, и тогда они приходили к соглашению. Смелость ума одного и умеренная осторожность другого и ваша покорная слуга, выступающая курц-галопом между ними, придавала изящество и мягкость делам величайшей важности. Вы скажете мне: как теперь быть? На это я вам отвечу: как сможем. Всякая страна способна доставлять людей, необходимых для дела, и так как все на этом свете есть дело человеческое, то люди, стало быть, могут и с этим управиться. Гений князя Орлова был очень обширен; его мужество было верхом мужества. В минуту самую решительную ему приходило в голову именно то, что могло направить дело в ту сторону, куда он хотел его обратить, и в эту минуту он проявлял такую силу красноречия, против которой никто не мог устоять, потому что оно озадачивало умы, и только он один никогда не терялся. Но при этих великих качествах ему недоставало последовательности в том, что ему казалось не стоящим внимания, а он только немногие предметы удостоивал своего внимания или, лучше сказать, труда, потому что внимание было для него трудом; от этого он часто казался небрежным и презрительным в гораздо большей степени, чем было на самом деле. Природа избаловала его, и на все, что не мгновенно приходило ему в голову, он был ленив. Граф Панин был от природы ленив и обладал искусством выдавать эту леность за обдуманную осторожность; от природы он не был ни так добр, ни так прямодушен, как князь Орлов; но он больше жил между людьми и лучше умел

скрывать свои недостатки и свои пороки, а среди них у него были и большие.[1]

Смерть графа Никиты Ивановича Панина чрезвычайно опечалила цесаревича. Хотя на другой день после возвращения из заграничного путешествия Павел Петрович навестил своего бывшего воспитателя вместе с Марией Федоровной, но затем в продолжение целых четырех месяцев не посещал больного, изнеможенного уже графа и даже не наведывался о его здоровье, что может быть объяснено только политическими соображениями, связанными с Бибиковской историей.

Это пренебрежение к графу, по мнению современника князя Ф.Н.Голицына, нанесло Панину чувствительный удар и едва не ускорило его кончину. Всех же родных графа такое странное поведение цесаревича крайне удивило и оскорбило. Лишь за несколько дней до смерти Панина великокняжеская чета почему-то пришла «в несказанную чувствительность», говоря о нем, и в тот же вечер цесаревич с супругой посетил графа. «Тут было, по словам князя Ф.Н.Голицына, объяснение о всем предыдущем». Через несколько дней после этого свидания Никита Иванович скончался.[2]

В письме к Николаю Ивановичу Салтыкову от 5-го апреля 1782 года цесаревич писал ему: «Мы лишились 31-го прошедшего графа Никиты Ивановича. Судите, любезный друг, о моем чувстве за два дни, разговаривая меж себя о нем, пришли в несказанную чувствительность и положили ехать к нему в тот вечер; он весел и свеж был так, как я его уже года с три не видывал; на другой день, сказывают, он таков же был и не хотел итти спать. Я у себя, сидя за картами и будучи весел, говорил, что я приметил за собою, что, когда сей род веселости на меня найдет, всегда перед печалью, чтоб они вспомнили мои слова. В пятницу, проснувшись, меня тем встретили, что сказали о болезни графа Никиты Ивановича; мы одевшись и поехали, но уже не нашли его в

---

[1] Сборник И. Р. И. О., т. 23-й, стр. 274—275. Грот: Екатерина II в переписке с Гриммом. С.-Петербург. 1884, стр. 314—316.

[2] По поводу отношений цесаревича к графу Н. И. Панину князь Ф.Н.Голицын сообщает в своих записках еще следующее: «Меня уверяли, что при свидании в чужих краях с герцогиней виртембергской, родительницей императрицы Марии Федоровны, много было говорено о графе Панине, по некоторым сношениям с нашим двором, и что герцогиня, в угождение императрице Екатерине, советовала великому князю не столько уже быть подвластному наставлениям графа Панина». («Русский Архив» 1874 года, стр. 1284—1285).

памяти: ибо ложась он спать в четвертом часу сказал, что ему тошно, и уже тотчас был без чувств, хотя дыхание продолжалось при нас часа с два; все возможное круг него делали, но уже поздно было, оставил по себе общее сожаление, заставляющее молчать и неприятелей его, стыдящихся не одного быть мнения с публикой, чему доказательством был день похорон его, где, будучи на выносе, наехал я таких, которых с роду у него не видал».[1]

Архиепископу же Платону цесаревич по тому же поводу писал 7-го апреля: «Уже известны ваше преосвященство о посетившей нас печали смертию графа Никиты Ивановича. Известны вы и о всем том, чем я ему должен, следственно, и о обязательствах моих в разсуждении его. Судите, прискорбна ли душа моя? Я привязан по долгу и удостоверению к закону и не сомневаюсь, что получающему награждение в той жизни за добродетели в сей кончина отрада и покой. Поелику души остающияся еще с слабостями тела соединены, нельзя им не чувствовать печали от разлуки. Разделите оную со мною, как с другом вашим».[2]

Панин всегда относился с особенным сочувствием к началу законности и стремился связать форму государственного управления с фундаментальными законами; поэтому, желая оставить своему воспитаннику нечто вроде политического завещания, он, уже больной, начал диктовать Фон-Визину свод своих мыслей о правительстве. Труд Панина остался неоконченным. О характере этого произведения если не пера, то мысли графа Никиты Ивановича можно судить по следующим немногим приводимым здесь строкам: «Верховная власть вверяется государю для единаго блага его подданных, — так начинает граф Панин свое разсуждение. — Государь, подобие Бога, преемник на земле высшей Его власти, не может равным образом ознаменовать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как постановя в государстве правила непреложныя, основанныя на благе общем, и которых не мог бы нарушить сам, не перестав быть достойным государем... Он должен знать, что нация, жертвуя частию естественной своей вольности, вручила свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству, что он

---

[1] П.Свиньин: Записки о жизни генерал-фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова. С.-Петербург. 1818, стр.111—112.

[2] «Русский Архив» 1887 года, книга 2-я, стр. 33.

отвечает за поведение тех, кому вручает дела правления, и что, следственно, их преступления, им терпимые, становятся его преступлениями».

Независимо от кончины графа Панина цесаревич испытал в это же время еще другое огорчение: императрица объявила сыну, что она намерена поручить Николаю Ивановичу Салтыкову главное надзирание за воспитанием ее внуков. Вместе с тем Екатерина сообщила свою волю об определении к нему, цесаревичу, вместо Салтыкова графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина. Несмотря на то, что десять лет тому назад, в 1773 году, Павел Петрович очень недружелюбно встретил назначение к нему Салтыкова, великий князь настолько же был огорчен предстоявшим его уходом.

В письме к Салтыкову цесаревич, сообщая повеление императрицы, высказал ему откровенно свои дружеские чувства и писал: «Будучи поутру у государыни, с большою похвалою о тебе, любезный друг, сказала мне о намерении своем вас приставить к детям. Вы сами можете сказать себе, что я на то отвечал; после чего стала говорить о наполнении вашего места и вдруг назвала графа Валентина Платоновича Пушкина; признаюсь, что я сего не ожидал. Я с удивлением, которое она во мне приметила, сказал, что я его не знаю никак, а слышал всегда, как о честном человеке. Признаюсь, что мне разставаться с тобою трудно, в чем хотя и утешен был отзывом, что сие не разлука, и что ты всегда в сношении с нами останешься, но не меньше другой, а не ты у нас. Чрез четыре дни прислан был Пушкин к нам при записке, на которую я тотчас отвечал, что я от нея все принимаю по уверению о ея милости, но что примечу на то, что если ты о сем не будешь уведомлен, то будет тебе прискорбно, как и мне. В сем получил успокоение, что к тебе будет писано, а Пушкин ad interim. Он принял дом наш и живет возле галереи и ведет себя, действительно, к удовольствию нашему; что Бог даст вперед. Дружба моя заставила меня тебе о сем писать; теперь узнал я, что я тебя прямо люблю: ибо первыя две о сем экспликации, да и дни, не без слез прошли, ты мне позволишь о себе сожалеть... Я твой верный друг».[1]

---

[1] П. Свиньин: Записки о жизни Салтыкова, стр. 112—114. (Письмо цесаревича от 5-го апреля 1783 года.)

Николай Иванович Салтыков по возвращении из заграничного путешествия с цесаревичем пользовался отпуском, и императрица выразила ему письменно желание, чтобы он поспешил окончить свои дела так, чтобы быть в Петербурге перед наступлением осени.[1]

II

Весной 1783 года дела в Крыму с таким успехом подвигались вперед к неизбежной окончательной развязке, что мог быть обнародован манифест, возвещавший о присоединении к России Крыма и страны Кубанской. Совершившееся великое политическое событие сопровождалось замечательным разговором между императрицей и цесаревичем, — разговором, названным им доверенностью многоценной, первой и удивительной.

Вот в каких выражениях Павел Петрович записал эту *историческую беседу, произошедшую 12-го мая:*

«Сего дня, мая 12-го 1783 года, будучи по утру у государыни, по прочтении депешей, читан был объявительный манифест о занятии Крыма. Сей манифест будет всему свету известен, то я о нем ничего и не пишу. Когда сие чтение кончилось, я встав сказал: должно ожидать, что турки на сие скажут.

Государыня: «Им ничего отвечать не можно, ибо сами пример подали занятием Тамана и генерально неисполнением Кайнарджицкого трактата».

Я: «Но что прочие державы станут тогда делать?»

---

[1] Императрица Екатерина еще ранее, чем говорила с цесаревичем, объяснялась по этому предмету, а затем и писала Н.И.Салтыкову 1-го апреля 1783 года: «В отсутствии вашем определила я к их высочествам великому князю и великой княгине графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина. Мне теперь осталось ожидать благополучнаго возвращения вашего, чтоб приступить к действительным распоряжениям, о коих я с вами самолично изъяснялась, по намерению моему вверить вам наблюдение за *воспитанием великих князей, внуков моих*». 22-го апреля императрица снова писала Н.И.Салтыкову: «Я получила ваше письмо в ответ на мое, коим предуведомила я вас о намерении моем поручить вам главное надзирание при воспитании внуков моих. Вы сами знаете, что лета их требуют уже неотлагательнаго о том распоряжения; почему, ведая ваше ко мне усердие и готовность к исполнению воли моей, не сомневаюся, что вы поспешите дела свои окончить так, чтоб быть здесь пред наступлением осени, чем и окажете мне большую угодность». «Русский Архив» 1864 года (2-е издание), 494 и 496.

Государыня: «Франция не может делать, ибо и в прошлую войну не могла каверзами ничего наделать. Швеции — не боюсь. Император, еслибы и не стал ничего делать, так мешать не будет».

Я: «Французы могут в Польше нас тревожить».

Государыня: «Никак, ибо и в прошлую войну ничего же важнаго всеми конфедерациями не наделали и нам в главном ни в чем не помешали».

Я: «Но в случае бы смерти нынешняго польскаго короля, при выборе новаго, ибо нынешний слаб здоровьем, могут нас безпокоить или выбором своим, или мешая нам, как-то именно Саксонской фамилии».

Государыня: «Для сего стараться надобно выбор свой сделать».

Я: «Что ваше величество думаете по сему: лучше ли по связям нашим с Польшею желать нам Пиаста или иного дома, имеющего по себе силу, или опять Пяста взяв сделать корону в его доме наследственной, ибо частые выборы нас лишь надсаждают и другим охоту могут дать нам подражать».

Государыня: «Я тебе скажу откровенно и как императрица российская, что для блага России, а особливо по силе Польши, желать надобно, чтоб она наследственною не была, дабы силы не имела и с нею перекинуться к другой державе не могла».

Я: «Но чтоб другие вместо нас того же с Польшею по нынешнему ея состоянию делать не захотели».

Государыня: «Я тебе скажу, что для сего надобно попасть на человека, приятнаго нации и не имеющяго связей, в доверенности я тебе скажу, что для сего у меня на примете есть уже племянник королевской, князь Станислав, котораго качества и тебе и мне известны».

Я: «На сие не мог инако отвечать, как с удовольствием».

Государыня: «Прошу о сем не говорить. Я и сама никак ему даже виду не подаю, чтоб дела прежде времени не испортить».

Я: «Но чтоб таковое молчание, приведя его в неизвестность о будущем его состоянии, не заставило перекинуться на другую какую-нибудь сторону»?

Государыня: «Всегда время будет его поворотить, предоставя таковую перспективу».

Павел Петрович дополнил записанный им разговор пометой: «доверенность мне многоценна, первая и удивительна».[1]

---

[1] «Русская Старина» 1873 года, том 8-й, стр. 652—653.

Последующие события блистательно оправдали политическую предусмотрительность Екатерины. Присоединение Крыма не вызвало вооруженного вмешательства других держав, и, благодаря содействию австрийского союза, императрица достигла желаемой цели. Действительно, 28-го декабря 1783 года Булгаков заключил с турецкими уполномоченными акт об уступке России Крымского полуострова. Таким образом первый шаг к утверждению русского владычества на Черном море был сделан и, к тому же, без пролития русской крови. Недаром Екатерина писала цесаревичу еще 4-го января 1782 года по поводу союза, заключенного с Иосифом II: «C'est l'aurore d'un beau jour. Lorsque l'ombre de lanuit se dissipe, alors l'étoile du matin paraît».

III

Вскоре после разговора императрицы с цесаревичем она отправилась в Фридрихсгам для свидания с королем шведским Густавом III, в свою очередь прибывшим в Финляндию. На этот раз начавшиеся в то время вооружения Швеции не привели к войне с Россией, но, тем не менее, сохранение мира на севере не могло быть обеспечено надолго; король выжидал только удобного случая для начатия воинственных предприятий и приобретения военных лавров, о которых непрестанно думал.

29-го июля 1783 года, по возвращении императрицы из Финляндии, великая княгиня Мария Федоровна разрешилась от бремени дочерью, нареченной в честь старшего брата Александрой. Императрица ожидала с нетерпением появления третьего внука, о котором она мечтала еще во время заграничного путешествия цесаревича, и потому, извещая Гримма о рождении великой княжны, прибавила: «По правде сказать, я несравненно более люблю мальчиков, чем девочек»[1].

Спрашивается, кто же виноват, если оказанная доверенность была первой, а, может быть и последней? Могла ли Екатерина безнаказанно повторить сделанный ею опыт, когда вскоре Павел Петрович обратился как бы в агента Фридриха Великого?

[1] Сборник И. Р. И. О., т. 23-й, стр. 281. После рождения великой княжны Александры Павловны Екатерине суждено было еще пять раз испытывать подобное же разочарование: 13-го декабря 1784 года родилась великая княжна Елена, 4-го февраля 1786 года Мария, 10-го мая 1788 года Екатерина, 11-го июля 1792 года Ольга и 7-го января 1795 года Анна.

Для цесаревича семейная радость сопровождалась драгоценной для него милостью со стороны императрицы. В самый день подписания манифеста о рождении великой княжны, 6-го августа, Екатерина пожаловала сыну «мызу Гатчино с тамошним домом, со всеми мебелями, мраморными вещами, оружейною, оранжереею и материалами, с двадцатью принадлежащими к мызе деревнями, мызу Ново-Скворицную и мызу Старую-Скворицную с приписанными к ним деревнями, пустошами и землями». Все это было куплено императрицей у наследников князя Г.Г.Орлова.

Цесаревич остался очень доволен полученным даром и писал Платону: «Место само собой весьма приятно, а милость сама по себе дорога́». Новый владелец немедленно, со свойственной ему деятельностью, занялся устройством своего нового поместья. Здесь, вдали от двора, Павел Петрович создает постепенно в малом виде ту своеобразную, гатчинскую Россию, которая представлялась ему в будущем единственно достойным образцом для всей империи. Вместе с тем с этого времени с каждым годом стало возрастать все более отчуждение великокняжеского двора от двора императрицы. Таким образом, со вступлением в 1783 году цесаревича во владение Гатчиной наступает последний период его жизни, как великого князя, продолжавшийся тринадцать лет, до 6-го ноября 1796 года. Здесь Павел Петрович провел самые тяжелые годы своей жизни, предаваясь пагубным размышлениям о прошедшем, настоящем и будущем, ожидая с лихорадочным нетерпением минуты воцарения и опасаясь ежедневно, чтобы эта власть не ускользнула из его рук. Это, как он любил выражаться, упражнение в терпении, или, лучше сказать, в нетерпении, могло подточить и исказить даже более крепкую натуру, чем та, которой обладал нервный, восприимчивый Павел Петрович; при этом нужно еще принять во внимание, что мысли цесаревича вращались все около одного и того же рокового предмета. Он погрузился в чтение Библии и, в особенности, Книги Царств, псалмов и пророков. На какие размышления наводило цесаревича это чтение, можно видеть из записочки Марии Федоровны, написанной ей в ответ на записочку же великого князя, в которой было сказано: «Давид не был естественным наследником, тогда как вы, дорогой друг, не только естественный наследник, но и наследник желанный, к стопам котораго народ падет толпами в момент, когда небо призовет вас на престол ваших предков. Давид, так сказать, должен был

завоевать свой престол, тогда как ваш — выпадает вам по праву и потому, что Бог предназначил вас для него с самого вашего рождения».

Если в разговорах между цесаревичем и великой княгиней шла речь о Давиде, то, очевидно, не мог быть позабыт не названный здесь Саул, и не трудно догадаться, чей образ, хотя бы только мысленно, уподоблялся иудейскому царю! Библейские рассуждения, конечно, оставались тайной, не выходившей из тесного семейного круга, но во всем прочем цесаревич не стеснялся. Он продолжал по-прежнему сокрушаться над бедствиями отечества и все критиковать, олицетворяя собой живой протест против величия России, воплощенного в образе Екатерины. Достаточно припомнить, каким образом отнесся цесаревич к возникшему в 1784 году вопросу о союзе немецких князей. В этом вопросе наследник всеми средствами противодействовал намерениям императрицы, не одобрявшей этого союза; он не стеснился даже принять на себя как бы роль агента Фридриха Великого при русском дворе, поддерживая с ним тайную переписку; такую же переписку он вел и с его преемником. В этом вопросе, подобно тому, как и вообще в деле австрийского союза, цесаревич упорно стоял на стороне Пруссии, в ущерб явным выгодам России. Воспитанник графа Панина так и не понял исторического призвания России, столь ясно осознанного Екатериной; поэтому узкий кругозор продолжал вести упорную тайную борьбу с гениальным пониманием будущих судеб империи. Конечно, этот узкий, или, вернее, прусский кругозор, перенесенный на русскую почву, не восторжествовал над подавляющей силой естественного хода событий; но, тем не менее, представитель подобного воззрения не обращался на путь истины и продолжал, как говорилось, ради единой пользы отечества, тормозить дело, выходя нередко из пределов дозволенного даже усердию первого верноподданного.

IV

В сентябре 1783 года внезапно скончалась Софья Ивановна Бенкендорф, на попечении которой с младенчества находился великий князь Александр Павлович. Этот печальный случай убедил императрицу поспешить с назначением генерала Салтыкова, и 4-го сентября Екатерина писала ему: «Вы меня всекрайнейше одолжите, буде не мешкав возвра-

титеся сюда. Внуки мои лишились призрения кончиною Софьи Ивановны Бенкендорфши. Время приспело, чтоб от них отнять женский присмотр».

Николай Иванович Салтыков был, согласно установившемуся теперь мнению, не что иное, как ограниченный царедворец, весьма твердо знавший придворную науку. Отличительной чертой его характера была угодливость. Нельзя предположить, чтобы Екатерина придавала какое-либо особое значение воспитательным качествам Салтыкова; выбор ее был, вероятно, вызван тем обстоятельством, что Салтыков находился, как выше нами упомянуто, в милости у великокняжеской четы. Екатерина не могла не заметить искусства, с которым пробирался Николай Иванович между подводными камнями, которыми усеяна была дорога между большим и малым дворами. Говорят, что он обладал замечательным умением умерять выражение неудовольствия императрицы, которое ему, при разных случаях, поручалось передавать, а с другой стороны находил возможным смягчать и ответы цесаревича, докладывая о них матери так, что обе враждовавшие между собой стороны оставались довольны его посредничеством. Вообще Салтыкову предназначалась, собственно говоря, только роль ширмы, за которой скрывалась венценосная бабушка. Притом, нельзя упускать из виду еще и того обстоятельства, что Екатерина могла, до некоторой степени, вполне положиться на эту ширму, а этим свойством Салтыкова нельзя было пренебрегать при существовавшей тогда обстановке придворной жизни.

Императрица продолжала по-прежнему лично входить во все подробности воспитания своих внуков и сохранила за собой постоянный ежедневный надзор за их учением и поведением; вместе с тем Александр и Константин оставались жить в покоях бабушки. Императрица точно так же взяла в свои руки воспитание и внучек; она по мере увеличения числа последних, заботилась о них не менее, чем об Александре и Константине. Для воспитания великих княжон приглашена была вдова генерал-майора Шарлотта Карловна Ливен. Выбор Екатерины был превосходен и вполне оправдался прекрасным воспитанием, полученным великими княжнами. Безбородко был прав, когда писал: «Жаль, что генеральша Ливен не мужчина: она многих бы удобнее нашлася воспитывать князей молодых».

С переходом великих князей в мужские руки, в их воспитании были установлены неизменные правила, кото-

рые Екатерина в письме к Гримму назвала «règles immuables». Они заключались в подробном наставлении о воспитании великих князей, написанном Екатериной для Салтыкова и врученном ему 13-го марта 1784 года при особом рескрипте.

В этом рескрипте императрица писала: «Богу благодарение! Неоспоримо, что природное сложение их высочеств, здоровье их и качества души и ума соответствуют в полной и редкой мере принятому об них попечению. Старшему приспело уже время перейти из присмотра, младенчеству сходственнаго, в руководство, отроку отродия его приличное. Брат его, по привычке и горячей любви между ними, да будет неразлучен со старшим братом, котораго пример ему нужен и полезен». Затем Екатерина переходит к самому Салтыкову, мотивируя сделанный ей выбор следующим образом: «В главные приставники над воспитанием искали мы особу добронравную, поведения, основаннаго на здравом разсудке и честности, и который с детьми умел бы обходиться приятно и ласково. Уверены мы, что вы, соединяя в себе сии качества, ревность вашу к добру и испытанную вашу честность употребите в служении, в котором по великой его важности будете руководимы единственно нами во всех случаях».

Назначив хотя не даровитого, но безусловно верного человека в лице Николая Ивановича Салтыкова приставником при внуках, Екатерина озаботилась в то же время приисканием способного исполнителя своих педагогических предначертаний. Выбор ее остановился на швейцарском гражданине Фридрихе-Цезаре Лагарпе. Это был республиканец, преисполненный гуманных идей XVIII века, человек неподкупной честности и независимого характера, прибывший в Петербург в 1783 году. Сначала он обучал Александра только французскому языку, но затем, по представлении Лагарпом императрице обширной записки, касавшейся воспитания великих князей, положение его изменилось; на этой записке Екатерина собственноручно написала: «Действительно, кто сочинил подобную записку, тот, конечно, способен преподавать не один только французский язык. 15-го сентября 1784 года Екатерина могла уже сообщить Гримму, что Лагарп определен к Александру. Законоучителем внука императрица избрала протоиерея Андрея Афанасьевича Самборского; кроме того, к участию в деле воспитания великого князя Александра призван был еще генерал-майор Александр Яковлевич Протасов. Во всех этих

назначениях, как и следовало ожидать, цесаревич не принимал никакого участия; он должен был примириться с совершившимся фактом и молчать, так как, по словам одного из его писем к барону Сакену, его влияние было таково, что стоило ему указать на что-нибудь или на кого-нибудь, чтобы тем самым достигнуть как раз обратного.

Насколько приведенный здесь отзыв цесаревича страдает отличавшей его болезненной раздражительностью, можно видеть из того, что этот же близкий к нему человек, барон Карл Иванович Сакен, назначен был воспитателем великого князя Константина Павловича, хотя императрице, конечно, не могли оставаться безызвестными дружеские отношения, существовавшие между наследником и Сакеном.

V

«Вот, я тридцать лет без всякого дела, — жаловался цесаревич графу Н. П. Румянцеву в письме от 10-го июня 1784 года. Однако, около этого времени вдруг нашлось дело, хотя и в малых размерах, но в том духе и направлении, которые отвечали взглядам Павла Петровича.

Пользуясь уединенным расположением Гатчины, цесаревич задумал привести в исполнение мысль, уже давно его занимавшую; она заключалась в том, чтобы создать свою особую, собственную, маленькую армию, которая могла бы служить образцом для правительственной, екатерининской армии, начиная от одежды и кончая обучением и организацией.

По какому-то необъяснимому недоразумению, по снисходительности или же упущению со стороны императрицы Екатерины, она, которая обыкновенно следила столь зорким оком за всеми действиями цесаревича, она не воспрепятствовала ему постепенно сформировать и усиливать особые отряды войск сначала в Павловске, а затем и в Гатчине. На первый раз звание генерал-адмирала, носимое цесаревичем, дало возможность приступить к делу без шума и без особой огласки. Для намеченной цели взяты были в 1782 году 60 человек из флотских экипажей, и из них были составлены две команды по тридцати человек каждая: одна для караулов на Каменном острове, а другая — в Павловске. После получения цесаревичем в дар Гатчины, каждая команда была увеличена до 80 человек, и начальство над обеими было вверено пруссаку, капитану барону Штейнверу, знакомому

с тайнами экзерцирмейстерства Фридриха Великого. Об этом командир зарождавшихся гатчинских легионов Павел Петрович выразился: «Этот будет у меня таков, каков был Лефорт у Петра Великого» [1].

Численность гатчинских войск с каждым годом возрастала; в 1786 году они составляли уже три роты, а в 1788 году, ко времени шведской войны, сформированы были пять рот, получивших название батальона его императорского высочества. Таким образом, поприще деятельности барона Штейнвера все более и более расширялось. Пополнение войск цесаревича происходило при помощи нижних чинов, поступавших разными случаями из других команд, и вербовкой, а офицерами — из отставных. Организация, обмундирование и обучение гатчинцев не имели ничего общего с порядками, существовавшими в правительственных российских войсках. Это был как бы молчаливый протест против военной системы, установившейся в царствование Екатерины. Среди российской армии появились каким-то чудом, как бы с дозволения правительства, какие-то обособленные войска, устроенные по прусскому образцу и походившие на живую карикатуру уже отживших свое время фридриховских порядков. Одним словом, по позднейшему выражению Екатерины, «батушкина армия» воскресла во всей красе. Действительно, в Гатчине всецело возродились «обряды неудобь носимые», которые, будучи введены Петром III, «не токмо храбрости военной не умножали, но паче растравляли сердца болезненныя всех верноподданных его войск». [2]

В то самое время, как цесаревич, помня совет графа Петра Ивановича Панина, что «ничего нет свойственнее, как хозяину мужескаго пола распоряжать собственно самому и управлять всем тем, что защищает, подкрепляет и сохраняет целость как его собственной особы, так и государства», создавал уродливые гатчинские войска, обратившиеся со временем в грозный бич для всей русской армии, князь Потемкин действовал в совершенно ином духе. Пожалованный 2-го февраля 1784 года председателем военной коллегии, екатеринославским и таврическим генерал-губернато-

---

[1] «Русская Старина» 1876 года, т. 16-й, стр. 7: Записки Михаила Гарновского.

[2] Обстоятельный манифест императрицы Екатерины II от 7-го июля 1762 года.

ром, достигнув зенита своего могущества, Потемкин занялся улучшением одежды русского войска; он велел отрезать косы, бросить пудру, одел солдата в куртку, покойные шаровары, полусапожки и удобную, красивую каску. Но все эти благие начинания «кривого» оказались, к сожалению, недолговечными благодеяниями, которые впоследствии тщательно вырваны были с корнем непримиримым гатчинским преобразователем.

VI

В конце 1786 года старший брат великой княгини Марии Федоровны, принц Фридрих, причинил цесаревичу большие неприятности. Рассорившись с Фридрихом Великим, принц, как выше упомянуто, принят был Екатериной на русскую службу и определен выборгским генерал-губернатором[1]; он был женат на Брауншвейгской принцессе Августе, судьбой которой императрица всегда интересовалась, называя ее Зельмирой. Но брак был не из счастливых; они, по выражению Екатерины, жили как кошка с собакой; будучи записным капралом, принц чувствовал слабость к палочной расправе, он бил свой супругу и таскал ее за волосы. Когда они находились в Выборге, то, по свидетельству Екатерины, «к великому соблазну целого края, сцены часто бывали за столом, в присутствии местных чиновников, так что от приглашений на их обеды бегали, как от чумы». Но и как администратор, принц Фридрих не пользовался особенной любовью.

Наконец 17-го декабря 1786 года последовала развязка семейной драмы, длившейся уже много лет; по окончании эрмитажного спектакля, когда Екатерина пришла в свою опочивальню, принцесса Августа бросилась в ноги императрице и, рыдая, умоляла защитить ее от мужа. Екатерина поместила Зельмиру у себя во дворце, а принцу написала тотчас же письмо, в котором, увольняя его в годовой отпуск, прибавила совет воспользоваться им как можно скорее. Принц Фридрих должен был тогда же покинуть Россию, к

---

[1] Еще до поступления на русскую службу принц Фридрих побывал в первый раз в Петербурге в 1779 году; тогда он вел себя настолько сдержанно, что произвел даже на Екатерину благоприятное впечатление и удостоился получить Андреевскую ленту.

великому огорчению цесаревича и великой княгини, несмотря на все усердное заступничество с их стороны.

Неприятный случай с принцессой Августой причинил великому князю и его супруге большое огорчение еще и в другом отношении: принцесса «много поразсказала всего слышанного ею на вечеринках у великого князя, хотя там большую всегда осторожность в речах употребляли, и великий князь этого чрезвычайно остерегался».

Действительно, когда Зельмира порвала свою связь с виртембергским семейством, она могла сообщить императрице немало любопытного из интимной жизни в Монбельяре, Павловске и Гатчине; что же касается осторожности цесаревича в речах, о которой говорит в своих записках князь Ф.Н.Голицын, то мы имели случай указать, как мало он ее соблюдал даже во время своей заграничной поездки.

Но семейные раздоры и вызванные ими распоряжения императрицы представляли только одну сторону дела; гнев Екатерины проистекал еще и от других причин. Оказалось, что принц Фридрих, пользуясь своим положением в качестве выборгского генерал-губернатора, вошел в тайные сношения со шведами, помышляя учинить какое-то «действо» в пользу мужа своей сестры, и вообще вредно влиял на великого князя Павла Петровича. Несомненность преступных замыслов принца относительно предержащей власти побудила Екатерину сказать Храповицкому 29-го декабря 1786 года, что «заслужил он кнут, ежелиб не закрыли мерзких дел его» .

Происшествие, случившееся с принцем Фридрихом, сопровождалось двумя замечательными беседами цесаревича с прусским посланником бароном Келлером, в которых наследник с полной откровенностью высказал дипломату свои личные политические воззрения. Беседы эти имели место в начале следующего, 1787 года. Барон Келлер писал королю 3-го (14-го) февраля 1787 года:

«Пользуюсь случаем представить вашему величеству подробный отчет о двух беседах, которыя я имел недавно с русским великим князем, и о которых я упоминал в предыдущей депеше. В первую нашу беседу великий князь сам начал говорить о принце Фридрихе Виртембергском, котораго он восхвалял за его ум, по знаниям и трудолюбию, но порицал при этом за надменность и вспыльчивость, вследствие чего с самого вступления его в русскую службу можно было уже предвидеть, что он недолго удержится в

ней. Его императорское высочество, сознаваясь, что всегда держался этого взгляда, признался мне, что его глубоко огорчили как грубый способ увольнения принца, так и особенно побудительныя причины, которыми руководствовалась императрица при высылке его из России.

«Каким образом могли опасаться (это подлинные слова великаго князя) каких-либо начинаний в мою пользу со стороны иностраннаго принца, не имеющего здесь друзей? Они должны были быть уверены, что я никогда не одобрю чего-либо подобнаго. Не мне судить, насколько было справедливо сделанное двадцать четыре года тому назад. Весь народ присягнул тогда государыне, которая поныне царствует над ним; была ли эта присяга искренняя или нет — не знаю, но я был свидетелем общей покорности. Это дело лежит на совести людей, действовавших в то время; что же касается меня, то я хочу жить в ладах с моею совестью. Я всегда советуюсь с нею, ничего не делаю противнаго ей, и это счастие я предпочитаю той более блестящей роли, которая может предстоять мне в истории... Не знаю, будет ли ей передано мое имя. Таковы мои чувства; их должны бы знать и не забывать того случая, при котором я открыто высказывал их».

«Я полагал, что великий князь говорит о том сборище и восторженных кликах, которые были в Москве, когда он как-то появился во главе своего полка; однако, он сказал мне, что каждый раз, когда он выходил во время своего пребывания в древней столице, он видел себя окруженным народом, но что представившийся ему случай успокоить императрицу насчет всех опасений, которыя она могла питать относительно его, имел место в Петербурге, во дворце. Полагая, что этот факт должен быть известен вашему величеству, я не полюбопытствовал узнать его, опасаясь, что это может не понравиться великому князю, но поздравил его высочество с общей к нему любовью, выразив, что это должно доставлять ему внутреннее удовлетворение; на это он отвечал мне:

«Ну, я не знаю еще, насколько народ желает меня; я в этом отношении не делаю себе никаких иллюзий! Многие ловят рыбу в мутной воде и пользуются безпорядками в нынешней администрации, принципы которой, как многим, без сомнения, известно, совершенно расходятся с моими».

«Необходимость, о которой говорил мне великий князь, заставить народ утратить привычку к действам, которыя

повторялись уже слишком часто в этом столетии, подала мне повод вставить несколько космополитических замечаний относительно отсутствия в России законом установленнаго порядка наследования. На это великий князь отвечал: «Я разсчитываю когда-либо восполнить это; но хотя природа, дав мне наследников, и указала способ возстановить порядок, существовавший до Петра I, однако, я еще не вполне пришел к убеждению, хорошо ли будет установить порядок, не существующий даже во Франции, где, впрочем, законы отличаются в достаточной степени определенностью».

«Это замечание утверждает меня в мысли, которая зародилась во мне под влиянием других данных, — о расположении этого принца к французскому двору и народу. В заключение его императорское высочество сказал мне:

«Мне кажется, я ясно высказался вам. Это исповедь, являвшаяся для меня долгом по отношению к представителю государя, к которому я наиболее привязан».

«Второй разговор тоже начался с принца Фридриха Виртембергскаго, который, по некоторым сведениям, тщетно добивался объяснения со своим тестем в присутствии вашего величества. Великий князь, говоря об этом, сказал мне: «Не считайте меня нескромным; со времени нашего знакомства я откровенно говорил с вами и надеюсь, что постоянно буду в состоянии говорить таким же образом. Принцесса Виртембергская безспорно была не права в этой досадной размолвке, но я очень хорошо понимаю, что ея родители не найдут для себя ничего приятного в том, чтобы говорить по этому поводу с ея мужем. Прошу вас, не сообщайте по почте ничего, о чем мы говорили — нет надобности, чтобы кто-нибудь знал о сообщениях, сделанных мною вам; но пользуйтесь всеми верными случаями, чтобы уверить его величество короля в моей вечной привязанности, и скажите ему, что я всегда буду разсчитывать на его помощь, что бы со мной ни случилось».

«Это последнее выражение, в связи с некоторыми фразами великаго князя в первой беседе и с игрой физиономии, которой оно сопровождалось, заставляет меня предполагать, что, если бы его высочество был вынужден подумать о собственной безопасности, или же голос народа провозгласил бы его своим избранником, он не воспротивился бы желаниям народа.

«Обе эти беседы с великим князем происходили на Каменном острову».

Гарновский, доверенное лицо князя Потемкина, передает в своих донесениях, посылавшихся из Петербурга для сведения светлейшаго, следующие подробности относительно принца, «впадшаго в преступление государственное». Он пишет, что «стечение разных обстоятельств подало повод шептать друг другу в уши, будто бы принц имел с шведским двором переписку, о которой г. Спренгтпортен преподал ее императорскому величеству первое известие, и как граф Ангальт ездил недавно в Финляндию, то думают, что и сей послан был туда для того только, чтоб разведать обстоятельнее о подозрительных деяниях принца и о взятии надлежащих против оных предосторожностей. Говорят, якобы некоторые и в крепости уже по сему делу содержатся. Впрочем, какая бы ни была причина внезапного принца отъезда, нет в городе ни одного человека, не исключая и самых коренных немцев, которые бы сожалели об отъезде его. Великий князь и великая княгиня, обременены бывши по случаю происшествия сего ужасной печалью, до новаго года из своих покоев никуда не выходили; да их императорския высочества и к себе, кроме графа Валентина Платоновича Мусина-Пушкина и г-жи Бенкендорфши, никого не допускали... Сия половина находится в великой печали и, Бог знает, какая тут разстройка.

«17-го числа прошедшаго месяца (т. е. декабря 1786 года) как граф Валентин Платонович поднес их императорским высочествам и принцу (что случилось пред самым ужином в комнатах их высочеств) касательно отъезда сего собственноручныя ея императорскаго величества письма, каждому особое, то принц усильно просил великаго князя о показании ему полученного его высочеством письма, к чему и великая княгиня просьбу свою присовокупить изволила. Однако же великий князь изволил, как я слышал от достоверного человека, отозваться тако: «Я — подданной российской и сын императрицы российской, что между мной и ею происходит, того знать не подобает ни жене моей, ни родственникам, ниже кому другому». Его высочество, сказав сие, изволил удалиться в свой кабинет и приказал принца к себе не допускать».

По исключительному положению, которое занимал Гарновский, его следует признать лицом, хорошо осведомленным; поэтому достоверность приводимых им слов цесаревича едва ли подлежит сомнению. Если же при оценке этих слов принять в соображение все вышеизложенное нами в

очерке жизни Павла Петровича, то прежде всего читателя должна поражать крайняя непоследовательность в действиях и в словах великого князя; в этом отношении он порой совершенно напоминает Петра III. Стоит только вспомнить, как часто цесаревич выходил из пределов, как мы выразились, дозволенного даже усердию первого верноподданного императрицы, а здесь, во время происшествия с принцем Виртембергским, мы видим, что он вдруг минутно становится на строго легальную точку зрения. Но этот порыв остается, к сожалению, благородной, мгновенной вспышкой; уже месяц спустя истинные взгляды, помыслы и надежды цесаревича нашли себе совершенно иное выражение в разговоре с бароном Келлером. Перед ним, как представителем прусского короля, к которому он питал особенную привязанность, признавая его своим естественным защитником в случае непредвиденных событий, великий князь раскрыл в чистосердечной исповеди всю свой душу. На какого рода случайности намекал в своей беседе цесаревич, излишне распространяться; несомненно, здесь имелись в виду намерения Екатерины относительно будущей судьбы ее внука Александра. Таким образом, постепенно готовился зародыш новой, еще более потрясающей трагедии, вызванной к жизни все тем же «злым делом» 1741 года, которое должно было непрерывно порождать все новое зло.

VII

В то время, как в Петербурге разыгралась неприятная история с Don Féroce de Monbéliard, Екатерина готовилась уже совершить свое знаменитое путешествие на юг России, чтобы посетить вновь присоединенный к империи Крымский полуостров. Кроме многочисленной свиты, государыня намерена была взять с собой и обоих внуков, Александра и Константина, чтобы познакомить их с Россией.[1] Генералу Салтыкову приказано было заняться приготовлениями к этой поездке, причем, однако, ничего не было

[1] Граф Безбородко писал фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому 26-го октября 1786 года: «Отъезд ея величества назначается 3-го января из Царского Села; что же касается до их императорских высочеств, молодых великих князей, хотя еще нет доныне точнаго положения о поездке их, но и в сем случае свита их состоять будет в Николае Ивановиче, в господах: тайном советнике Сакене и генерал-майоре Протасове, да в четырех или пяти кавалерах и учителях»

сообщено о предстоявшем путешествии родителям великих князей. Цесаревич не менее великой княгини Марии Федоровны глубоко оскорбился этим распоряжением императрицы; в коллективном почтительном письме они умоляли государыню оставить их сыновей при них в Петербурге; оно было изложено в следующих выражениях:

«В живейшей печали мы пишем сии строки вашему императорскому величеству, только что узнав о вашем намерении взять с собою наших сыновей в предпринимаемое Вами большое путешествие. В первые минуты волнения и скорби, вызванных в нас этим известием, и слишком взволнованные, чтобы высказать все на словах, мы прибегаем к перу, чтобы сказать вам, государыня, все, что ощущаем по сему случаю. Мысль быть в разлуке с вашим императорским величеством в течение шести месяцев была уже сама по себе тяжела для нас, но долг обязывал нас уважить молчание ваше, государыня, по поводу этого путешествия и скрывать горесть нашу; но известие о приказаниях, данных вами относительно приготовлений к путешествию сыновей наших, довершило нашу скорбь, ибо мысль, государыня, быть в разлуке с вами и с ними слишком тягостна для нас. Так говорить об этом заставляет нас опыт, а воспоминание о том, что мы выстрадали во время подобной же разлуки, делает для нас невыносимой мысль, что мы опять будем находиться в таком же положении. Благоволите прочесть эти строки с добротою, со снисхождением; усмотрите в них, в особенности, государыня, то чувство умиления, с которым мы вам их пишем; обращаемся к вашему материнскому сердцу, пусть оно будет нашим судьею, и тогда нам нечего опасаться получить отказ. Осмеливаемся, государыня, представить вам картину наших страданий, наших опасений, наших безпокойств по поводу путешествия детей наших; страдания наши легко представятся взорам вашим, государыня, если вспомните состояние, в котором мы находились в минуту нашего отъезда за границу. Минута была такова, государыня, что воспоминание о разставании с вами, с детьми нашими, которые были тогда еще малолетними, и теперь еще вызывает в нас сильнейшее волнение, и мы по истине не чувствуем в себе сил вынести подобное же испытание. Опасения наши, государыня, касаются здоровья детей наших, нежный возраст которых возбуждает сомнения, вынесут ли они утомление, сопряженное с продолжительным путешествием, предпринятым среди зимы, и перемену кли-

мата, тем более, что наши сыновья не испытывали еще всех болезней, которым дети обыкновенно подвержены; наше безпокойство основывается еще и на том, что путешествие и развлечения, которыя будут естественным его последствием, могут только остановить успехи их воспитания. Вот, государыня, верное и искреннее изображение состояния сердец наших, и ваше императорское величество слишком справедливы, слишком добры, имеете сердце слишком нежное, чтобы не принять во внимание мольбы отца и матери, которые после уважения и привязанности, питаемых ими к вам, не знают более сильных чувств, чем любовь, связующая нас с детьми нашими».

В ответ на это письмо цесаревича и великой княгини Екатерина писала:

«Дорогие дети мои. Мать, видящая, что дети ее огорчены, может только советовать им умерить свою печаль, не питать черных мыслей, могущих вызвать печаль, не поддаваться скорби под влиянием разстроеннаго воображения, а прибегать к доводам, могущим умерить подобнаго рода огорчения и успокоить тревоги. Дети ваши принадлежат вам, но в то же время они принадлежат и мне, принадлежат и государству. С самого раннего детства их я поставила себе в обязанность и удовольствие окружать их нежнейшими заботами. Вы говорили мне не раз, и устно, и письменно, что мои заботы о них вы считаете настоящим счастьем для своих детей, и что не могло случиться для них ничего более счастливого. Я нежно люблю их. Вот как я разсуждала: вдали от вас для меня будет утешением иметь их при себе. Из пяти трое остаются с вами; неужели одна я, на старости лет, в продолжение шести месяцев, буду лишена удовольствия иметь возле себя кого-нибудь из своего семейства? Что же касается здоровья сыновей ваших, то я твердо убеждена, что путешествие это укрепить их и телом, и духом. Климат киевский и здешний с января до апреля отличаются лишь тем, что там несколькими неделями раньше начинается весна. Успехи воспитания также не пострадают, ибо учителя будут сопровождать их. Впрочем, я глубоко тронута высказываемыми вами нежными чувствами ко мне и обоих вас обнимаю от всего сердца».

Цесаревич и великая княгиня отвечали императрице следующим письмом:

«С живейшей благодарностью и чувствами искренней признательности прочли мы ответ, данный нам вашим им-

ператорским величеством. Если мысль о разлуке и причиняет нам огорчение, то в вашей власти смягчить его и заменить разлуку мыслями более утешительными и приятными; мы принадлежим вам, государыня, в большей степени, чем дети наши, и в этом состоит неоцененное наше счастье. Возьмите нас вместе с ними, государыня, и мы будем при вас и наших сыновьях. Что же касается дочерей наших, то они нуждаются пока в одном физическом уходе, и присутствие отца и матери еще не составляет для них в настоящую минуту существенной необходимости; мы могли бы обходиться без всего и путешествовать налегке, лишь бы только не быть вдали от вас и сыновей наших. Нас влекут к вам всецело чувства сердец наших; это чувства, дражайшая матушка, детей ваших,

«Павла и Марии».

В расчеты императрицы вовсе не входило иметь с собой непрошенных спутников, и потому на просьбу великокняжеской четы последовал самый решительный отказ, в краткой записке, написанной уже по-русски и ясно выражающей непременную волю Екатерины. Она писала:

«Чистосердечно я вам должна сказать, что новое ваше предложение есть такого рода, что оно причинило бы во всем величайшее разстройство, не упоминая и о том, что меньшия ваши дети оставались бы безо всякаго призрения; одни они брошены».

Желание цесаревича удержать сыновей в Петербурге было настолько велико, что по получении последней записки императрицы Павел Петрович не остановился даже перед шагом, который, с его стороны, составлял величайшую жертву, как бы открытое признание собственного полного бессилия; он обратился к заступничеству князя Потемкина, в надежде через него склонить мать к уступчивости, и писал к светлейшему 16-го декабря 1786 года:

«Положение, в каковом мы теперь находимся, князь Григорий Александрович, таково, что я разсудил открыться вам, зная, что вы всегда были расположены оказывать нам дружбу. Мы узнали уже после вашего отъезда, что государыня намерена взять с собою в дорогу сыновей наших, а сведали о сем не иначе, как по повелениям, данным Салтыкову, о приготовлениях к пути. Таковое повеление не могло нас не потревожить. Мы разсудили о сем писать к ея величеству, изъясняя, сколь нам прискорбно будет разста-

ваться, и безпокойство наше о здоровье детей наших. Мы получили весьма милостивый ответ, в котором государыня изволит писать, что она утешением почитает, имея детей наших с собою. Сей ответ был в таких милостивых изражениях, что не думали прогневить, просясь сами с нею ехать; но, к удивлению нашему, получили не только отзыв неприятный, но даже и неудовольствие. С тех пор ничего решительнаго не последовало, а приугтовления к путешествию детей наших продолжаются. Вы из сего видите наше положение и желание наше быть неразлучными с детьми нашими. Поступок наш противу вас доказать вам должен доверенность нашу к вам; и так ожидаем теперь от вас, чтобы вы нам с своей стороны помогли, полагаясь на ваше расположение и благоразумие, довольствуясь даже тем, если нас хотя в Киеве оставят. При окончании сего позвольте еще раз уверить вас о расположении моем к себе, и что я есмь и буду вашим благосклонным.

«Павел».

В тот же день Мария Федоровна также написала князю Потемкину письмо с просьбой о заступничестве в деле, столь сильно взволновавшем ее материнское сердце.

Князь Потемкин находился в это время в Симферополе и получил письмо цесаревича только 7-го января; поэтому светлейший лишен был всякой возможности в каком бы то ни было отношении оказать воздействие на императрицу в вопросе, занимавшем цесаревича. Неизвестно, чем бы кончился обмен мыслей между матерью и сыном, но на этот раз судьба благоприятствовала желаниям цесаревича. Великий князь Константин Павлович заболел сыпью, и 7-го января 1787 года Екатерина вынуждена была начать свое путешествие, не имея с собой внуков. В это время императрица не могла уже отложить назначенный ею отъезд. Все распоряжения были сделаны и находились в связи с ожидавшимся приездом в Россию Иосифа II. Накануне дня своего отъезда, по замечанию графа Сегюра, императрица была против обыкновения молчалива и задумчива. Во время путешествия Екатерина писала Гримму из Киева: «Я сама очень огорчена, что Александр и Константин не сопровождали меня в этой поездке, и они сами также была очень опечалены этим».

Императрица перед отъездом снова подтвердила генералу Салтыкову ранее данные приказания. «Чрез сие, — писала она, — подтверждаю я вам письменно то, что я уже словесно вам приказывала, и что более всего лежит у меня на сердце,

понеже будущее благо мне от Бога порученной империи и людей от того зависит: то есть, чтоб во время моего отсутствия вы непременно наблюдали, следовали и выполняли данный вам от меня наказ о воспитании моих внуков, великих князей Александра и Константина Павловича. Вы о сем именем моим подтвердите господам Протасову и Сакену и вообще всем, при внуках моих находящимся: прикажите им снова прочесть, для памяти, мной подписанный наказ, и скажите всем, что я ожидаю от всех непременнаго и усерднаго исполнения предписаннаго, за что в свое время надеяться могут достойнаго награждения, по мере радения всякаго».

Очевидно, что, покидая Петербург, императрица имела в виду предотвратить возможное вмешательство цесаревича в дело воспитания великих князей и сопряженное с ним искажение предначертанного ею плана воспитания, в предупреждение могущих иметь место случайностей Екатерина и сочла нужным написать Салтыкову приведенное нами выше внушительное предостережение.

В продолжение всего таврического путешествия императрицы великая княгиня Мария Федоровна еженедельно писала ей о своих детях; кроме того, Екатерина поддерживала деятельную переписку с генералом П.И.Салтыковым и с графом Я.А.Брюсом, не забывая также и дорогих ее сердцу внуков.

Великий князь Константин Павлович довольно долго проболел сыпью, так что Екатерина писала Салтыкову: «Константину скажите мое сожаление, что он так долго страдает скучною сыпью; во всем он проворен, а с ней разделаться не умеет». Александр остался здоровым. Но затем Константин, едва оправившись от одной болезни, заболел корью, которая тотчас же перешла к старшему брату. Но корь оказалась не злокачественной. Мария Федоровна писала императрице: «Jamais il n'y eut de rougeole plus heureuse». 1-го апреля великие князья считались уже выздоровевшими, и 11-го апреля они в первый раз совершили прогулку в карете.

Между тем Екатерина не отказалась от мысли путешествовать со своими внуками; весной она повелела им выехать навстречу к ней в Москву. Что же касается цесаревича и великой княгини, то они на этот раз признали за благо подчиниться воле матери. 12-го мая генерал Салтыков по поводу путешествия писал императрице о великом князе

Александре следующее: «Александр Павлович с перваго самаго дня, как только узнал приказание ваше ехать на встречу вам, и говорил, что он до самаго своего отсюда выезда поставит себя в престрогий диэт и очень будет себя беречь, чтобы не занемочь и чрез то не сделать каковаго либо помешательства или остановки езде своей, советуя весьма прилежно и Константину Павловичу со своей стороны то же делать».

22-го мая великие князья Александр и Константин выехали из Царского Села и ночевали в Тосне, направляясь через Новгород и Тверь в Москву. «Великий князь и великая княгиня нас провожали сюда до Тосны, — доносил Салтыков императрице, — и здесь почти до нашего ужина пробыли; разставание было очень короткое, чтоб не растрогать и себя и детей». Очевидно, не забыты были прежния наставления Екатерины; обмороков, как в 1781 году, не случилось. «Слышу, большие равнодушнее приемлют сию разлуку, чем прежнюю», — писал П.В.Завадовский графу А.Р.Воронцову.

Едва великие князья успели двинуться в путь, как Мария Федоровна в тот же день написала генералу Салтыкову письмо, преисполненное разными наставлениями, отличавшимися самой мелочной заботливостью. Содержание письма было следующее:

«Уезжая, я была слишком растрогана, чтобы быть в состоянии сказать вам что-либо: поэтому я и пишу вам эти немногие строки, чтобы умолять вас, дорогой генерал, приложить к моим детям все заботы, которыя только можно вообразить; заступите для них место отца и матери, замените им нас. Почаще говорите им о нас и пишите нам обо всем, касающемся их, не опуская ни малейшаго обстоятельства, ни самой ничтожной мелочи. Мы просим вас передать наш привет г.г. Протасову и Сакену и всем прочим господам, попросив их от нашего имени удвоить свое рвение по отношению к моим сыновьям.

Не было ли бы лучше, вместо того, чтобы отдыхать вам в Твери, сделать это в Завидове, чтобы избегнуть для детей церемоний, связанных с губернским городом? Это — мысль, пришедшая нам в голову уже в карете; я сообщаю вам ее, прося вас высказать мне ваше мнение... Сообщите мне, пожалуйста: что говорили дети после нашего отъезда, и были ли они растроганы им?

Прощайте, дорогой генерал, да хранит вас Господь, и да возвратит Он вас к нам скорее: это единственное утешение искренно расположенной к вам

«Марии».

Но великая княгиня не удовольствовалась приведенным здесь письмом; она приложила к нему еще род краткого наставления, которое должно было, вероятно, дополнить собой знаменитое наставление Екатерины.

«Что за забота быть обязанным воспитывать царственную молодежь, — писала Мария Федоровна, — забросить в эти души, предназначенныя для престола, первые семена счастья народов и государств; сызмала уравновешивать страсти, которыя не будут знать другой узды, как власть; предотвращать пороки или вселять добродетели, которые, так сказать, должны явиться пороками и добродетелями общественными; указывать им на источник их величия среди человечества, приучать их давать к себе доступ истине, который захватывает постоянно в свою пользу лесть; заставить их чувствовать, что они высокопоставлены и научить их забывать об этом; воспитывать в них чувства, смягчая им сердца; направлять их к славе по пути умеренности, обращать в сторону благочестия наклонности, которым все будет подготовлять яд порока; одним словом, образовать из них государей и отцов.

Я посылаю вам, дорогой генерал Салтыков, эту выдержку, которая, по моему мнению, заключает в себе сущность всех инструкций. Дай Бог, чтобы благодаря вашим заботам мои сыновья походили на этот образец».

Великие князья Александр и Константин встретились с императрицей в Знаменском (имении князя Д.Ю.Трубецкого) 23-го июня; вечером того же дня они приехали в Коломенское, а 27-го июня въехали в Москву. В день тезоименитства цесаревича, 29-го июня, в присутствии императрицы и ее внуков архиепископ Платон совершал божественную литургию в Успенском соборе; после задостойника служивший вместе с ним духовник государыни Памфилов в установленной молитве провозгласил Платона митрополитом Московским и то же повторил придворный протодиакон в царских дверях. Платон, предполагая умысел в этой ошибке, заметил Памфилову, что «сего не должно делать при совершении Святейших Тайн»; но тот отвечал ему, что «так велено». Уверясь в неожиданной для него милости императрицы, он из царских дверей благодарил ее поклоном, а после литургии словом. Все это предварительно

было так распоряжено государыней, чтобы неожиданностью и торжественностью придать награде более важности.

Посещение в 1787 году Москвы Екатериной было последним. 11-го июля императрица возвратилась в Царское Село после шестимесячного отсутствия и была встречена у дворцового крыльца Павлом Петровичем, Марией Федоровной и придворными. Великие князья Александр и Константин прибыли неделей позже, 18-го июля. Они прибыли днем раньше, чем их ожидали. Великие князья прошли во дворец садом и явились к императрице в то время, когда ее величество, цесаревич и великая княгиня играли в карты.

22-го июля по случаю тезоименитства великой княгини Марии Федоровны состоялся в Павловске маскарад, иллюминация и небольшой фейерверк. Гарновский пишет: «В сей день великий князь гораздо не так был весел, как в Петров день, и сколько узнать можно было, потому что ея императорское величество на маскарад пожаловать не изволила... Во времени иллюминации видны были в огнях разные, нарочно для сего праздника сооруженные предметы, из коих главнейшим почесть можно было тот, на котором стояла надпись: «Храм супружной любви»... В сие время содержала при дворе Павловском караул рота гренадер из батальона морскаго. Одежда и прочий прибор сих солдат суть точь в точь так, как будто бы оные нарочно сюда из Пруссии выписаны были... Живучи в Пруссии долгое время, я весьма довольно на тамошния войска нагляделся, и посему смело могу сказать, что помянутый батальон совершенная копия прусских солдат. Выписанной из прусской службы офицер, служащий теперь в здешней — капитаном[1], командует не только сим батальоном, штаб-офицеров не имеющим, но и ворочает наследниковым кирасирским полком, и занимает, как по всему видно, первое место по военным делам, когда, напротив сего, г-н Вадковской первенствует по комнатным. Сначала существовала в вышеписанном убранстве одна только рота, батальон же восприял свое начало, как сказывают, в бытность ее величества в Киеве».

В заключение Гарновский говорит, что, благодаря существованию батальона, сформированного наследником, «любители войск прусских стараются доказать императрице, что старый мундир для солдат выгоднее, и ческа волос им приличнее, и потому надеются, что нынешний покрой мундиров и наряд наших солдат отменится, и все будет по-старому».

---

[1] Барон Штейнвер.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вторая война с Турцией. — Война со Швецией. — Участие цесаревича в походе 1788 года. — Завещание цесаревича.

I

Едва императрица Екатерина успела возвратиться из своего знаменитого таврического путешествия, как неизбежность новой войны с Турцией становилась с каждым днем все более очевидной. Благодаря внушениям враждебных России держав, в особенности Англии и Пруссии, русский посол Булгаков заключен был в Семибашенный замок. В ответ на это неслыханное насилие Екатерина подписала 9-го сентября 1787 года манифест о войне с Оттоманской Портой; на другой же день она получила следующее письмо от цесаревича из Гатчины:

«Манифест вашего императорскаго величества об объявлении войны туркам только что получен мною. Приемлю смелость просить у вас того же самаго дозволения отправиться в качестве волонтера, о котором просил в 1783 году, во время тогдашних приготовлений к войне, и напомнить вам о том, что тогда произошло. Цель моя и намерения должны быть вам известны, государыня, и к сему могу только присовокупить уверения в чувствах и пр.».

С этого времени между матерью и сыном началась оживленная переписка по занимавшему цесаревича вопросу.

Императрица, признававшая пребывание великого князя в армии несвоевременным и вообще нежелательным, отказала ему в удовлетворении его просьбы. Павел Петрович не согласился с доводами своей матери и 11-го сентября повторил свой просьбу. Императрица отвечала в тот же день новым отказом и писала: «В ответ, дорогой сын мой, на ваше сегодняшнее письмо могу только повторить сказанное мною вчера и вследствие этого могу только отговаривать вас в нынешнем году ехать в армию в качестве волонтера, будучи уверена, по настоящему положению вещей, что причины, выраженныя в моем предыдущем письме, достаточно важны и вески, чтобы отклонить вас от вашего намерения».

Насколько позже, 24-го сентября, Екатерина, считавшая дело конченным, писала князю Потемкину-Таврическому:

«По издании манифеста о объявлении войны, великий князь и великая княгиня писали ко мне, просясь: он в армию волонтером, по примеру 1783 года, а она, чтоб с ним ехать;

я им ответствовала отрицательно: к ней, ссылаясь на письмо к нему, а к нему, описывая затруднительное и оборонительное настоящее состояние поздной осенью и заботы, в коих оба фельдмаршала находятся, и коих умножают еще болезни и дороговизна и неурожаи в пропитании, хваля впрочем его намерение. На сие письмо я получила еще письмо от него с повторной просьбою, на которое я отвечала, что превосходныя причины, описанныя в первом моем письме, принуждают меня ему отсоветовать нынешний год отъезд волонтером в армию. После сего письма оба были весьма довольны остаться, разславляя только, что ехать хотели».

Императрица, однако, ошиблась. Великий князь и не думал отказываться от своих требований; вскоре он снова начал настаивать на своем прежнем желании. Наконец, Екатерина уступила и согласилась на просьбу сына; но затем семейный спор усложнился тем, что 29-го ноября великая княгиня стала вторично просить о разрешении сопровождать мужа, желая поселиться где-нибудь поближе к армии. Екатерина немедленно отвечала в тот же день Марии Федоровне следующим письмом:

«Отдавая полную справедливость вашим чувствам, прошу позволения сказать вам, что мужу вашему нет никакой необходимости, ни обязанности ехать в армию, что он сам добровольно заявил о своем желании отправиться в качестве волонтера, на что я и согласилась, хотя в том не предстоит никакой надобности или обязанности, но единственно из снисходительности, и если бы он не ехал, или же не выражал своего желания ехать, то поступил бы так, как поступают тысячи лиц одинаковаго с ним происхождения, а против турок и татар даже не бывало тому и примеров».

По получении этого письма, Мария Федоровна тем не менее еще раз повторила свой просьбу насчет совместного отъезда с мужем; тогда императрица, вероятно, потеряв терпение, ответила:

«Дело в том, что следует слушаться разсудка и повиноваться ему; я вам советовала не думать об этом путешествии, уже сказала это и повторяю; могу только прибавить к этому, что если вам так трудно разстаться и быть друг без друга, то вместо безконечных стенаний всего лучше вам обоим остаться в Петербурге — вам и моему дорогому сыну: тогда исполнятся желания и ваши, и мои, и империи; к тому же я не вижу никакой надобности в путешествии моего дорогого сына, находя в том более опасности, нежели существенной пользы. Так как, во всяком случае, порицанию

подвергнусь я одна, то весьма охотно принимаю его на себя и буду сама говорить, что не пустила вас обоих».

Мария Федоровна была очень опечалена ответом императрицы. Гарновский писал даже, что «великая княгиня находится от печали вне себя. Неделя уже тому, как ее высочество никакой почти пищи вкушать не изволит».

Гримму императрица сообщила об этих семейных пререканиях в тот же день, 29-го ноября, в следующих выражениях:

«В течение трех суток я странным образом осаждена и получаю по два и по три письма от monsieur et madame de Secondat, которые во что бы то ни стало желают ехать в армию. Ему я позволяю это, но ей — как на это согласиться? Это невозможно, а милая женщина, сказать правду, обладает головой, не подчиняющейся разсудку и очень неудобной».

21-го декабря, по случаю отправления цесаревича в армию, императрица дала соответственные указы обер-гофмаршалу и придворной конюшенной конторе. Великий князь назначил даже днем своего отъезда 7-е февраля 1788 года. Непредвиденное обстоятельство расстроило, однако, все воинственные планы Павла Петровича. Императрица из городских слухов узнала о беременности великой княгини Марии Федоровны. Это обстоятельство снова вызвало неприятную для цесаревича переписку с матерью. Екатерина справедливо заметила сыну в письме от 17-го января 1788 года: «Полагаю, что имею множество прав на то, чтобы узнавать о беременности великой княгини не из разспросов, не из городских слухов и не после всех». Затем в заключении своего письма от 7-го января 1788 года, императрица убедительно просила цесаревича отложить свою поездку в армию до разрешения от бремени великой княгини.

В своем ответе цесаревич поставил вопрос, на кого он будет похож в глазах Европы, если он отсрочит свою поездку в армию? Недоумение великого князя императрица разрешила следующим ответом:

«Касательно отсрочки поездки вашей и предлагаемаго мне вопроса, именно: на кого вы похожи в глазах всей Европы? —отвечать не очень трудно: вы будете похожи на человека, покорнаго моей воле, исполнившаго мое желание и то, о чем я убедительнейше просила вас. Впрочем, вся Европа знает и не с сегодняшняго дня привыкла видеть, что принцы, вам подобные, поступают не по прихоти, но согласно требованиям приличия и обстоятельствам, которыя, в свою очередь, не всегда зависят от нас, а подчиняются требованиям

данного случая. Думаю, что этого за глаза достаточно, даже более нежели достаточно, для целой Европы».

Бумажная война между императрицей и цесаревичем, начавшаяся в сентябре 1787 года, кончилась письмом Павла Петровича из Гатчины от 24-го января 1788 года. Цесаревич писал:

«Дражайшая матушка! С прискорбием отношусь к положительному повелению вашего величества, препятствующему моему отъезду, несмотря на все мои доводы. Трудно мне будет полагаться на неопределенную надежду, вами мне подаваемую в таком деле, которое не должен считать прихотью с моей стороны в виду собственнаго же вашего одобрения и согласия, будучи к тому же уполномочен в нем данным мне примером моих современников и равных мне. После всего совершившагося я должен покориться воле вашего величества, но никогда не буду в состоянии заглушить чувств, меня одушевляющих, в которых мы не властны, ибо эти чувства основываются на чести и убеждении, столько же непоколебимых, сколько и те чувства, с которыми есмь, дражайшая матушка», и пр.

Образ действий Екатерины в вопросе, последовательный ход которого мы выше представили в общих чертах, до сих пор подвергается различной оценке. Казалось бы, однако, что теперь, когда мы уже имеем перед собой более чем столетнюю историческую перспективу, можно справедливее относиться к намерениям Екатерины, имевшим целью удержать цесаревича от поездки в армию, действовавшую против турок. Принимая во внимание характер и взгляды цесаревича, достаточно обрисовавшиеся в ту пору, а также чувства глубокой ненависти, питаемые им к Потемкину, следует признать, что императрице трудно было относиться иначе к желаниям своего сына, чем она это сделала в данном случае. «Voilà un embarras de plus pour vous que je serais enchantée de vous èpargner», — писала Екатерина к Потемкину, и в этих немногих словах отразилась истинная подкладка всего дела. Военные операции, начавшиеся в 1788 году против турок, не отличались особенным блеском и решительностью успехов, появление же цесаревича на театре военных действий, конечно, не поправило бы дела; напротив того, оно вызвало бы только к жизни различные замешательства и интриги, которые отнюдь не содействовали бы к упрочению славы русского оружия. Екатерина это отлично понимала, и потому понятно, что она всеми силами старалась не создавать для своих полководцев новых затруднений.

В то время, когда после повелений императрицы от 21-го декабря отъезд цесаревича в армию казался бесповоротно решенным, Павел Петрович занялся составлением духовного завещания и различных письменных наставлений супруге и детям на случай своей кончины. Цесаревич на самом себе испытавший все неудобство, проистекавшее от отсутствия закона о порядке престолонаследия, твердо решился положить предел подобному неопределенному положению дел; для достижения этой цели Павел Петрович нашел необходимым, чтобы великая княгиня Мария Федоровна отстранила от себя всякую мысль о восшествии на престол после его смерти, предоставив престол старшему своему сыну. С согласия великой княгини, они совместно подписали акт, составленный в этом смысле и установлявший порядок престолонаследия на самых незыблемых основах. Впоследствии этот акт, подписанный цесаревичем и великой княгиней 4-го января 1783 года, обнародован был в день коронации императора Павла I и преобразился в основной закон о престолонаследии, по праву первородства в мужской линии царствующего дома: «Дабы государство не было без наследника. Дабы наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малейшаго сомнения, кому наследовать. Дабы сохранить право родов в наследствии, не нарушая права естественнаго, и избежать затруднений при переходе из рода в род».

По странной случайности, в то самое время, когда цесаревич задумал устанавливать основания для будущего закона о порядке престолонаследия, Екатерина занималась совершенно противоположными мыслями; она намеревалась совершенно отстранить сына от наследования престола и заменить его великим князем Александром Павловичем. Таким образом обе враждовавшие между собой стороны тайно работали над решением одного и того же вопроса, но в разном смысле.[1]

---

[1] Отношения между матерью и сыном принимали с каждым днем все менее дружественный характер. Как и можно было ожидать, таврическое путешествие императрицы возбудило со стороны цесаревича одни насмешки; он видел в приеме, учиненном Потемкиным, при встрече Екатерины, одни театральные эффекты. Павел Петрович никогда не понял или не хотел понять, какое великое дело совершено было для России Екатериной и Потемкиным приобретением Крыма. Для него распространение наших южных пределов казалось ненужным и бесцельным завоеванием. Нетрудно представить себе, насколько подобные политические воззрения наследника должны были огорчать и тревожить Екатерину, заставляя ее трепетать за будущее.

Дневник Храповицкого сообщает нам краткие данные о том, в какое время императрица приступила к историческому изучению занимавшего ее вопроса. По возвращении из таврического путешествия, 20-го августа 1787 года, пишет Храповицкий, «читать мне изволила пассаж из «Правды воли монаршей». Тут, или в манифесте Екатерины I, сказано, что причиной несчастия царевича Алексея Петровича было ложное мнение, будто старшему сыну принадлежит престол». Несколькими днями позже Храповицкий снова возвращается к этому предмету и отмечает: «Спрошены указы о наследниках, к престолу назначенных, со времен Екатерины I, и в изъяснении оказан род неудовольствия».

К каким заключениям привело Екатерину историческое изречение мероприятий Петра Великого, можно видеть из собственноручной заметки императрицы следующего содержания:

«Признаться должно, что несчастлив тот родитель, который себя видит принужденным для спасения общаго дела отрешить своего отродья. Тут уже совокупляется или совокуплена есть власть самодержавная и родительская. И так, я почитаю, что премудрый государь Петр I, несомненно, величайшия имел причины отрешить своего неблагодарнаго, непослушнаго и неспособнаго сына. Сей наполнен был против него ненавистью, злобою, ехидной завистью; изыскивал в отцовских делах и поступках в корзине добра пылинки худаго, слушал ласкателей, отдалял от ушей своих истину, и ничем на него не можно было так угодить, как понося и говоря худо о преславном его родителе. Он же сам был лентяй, малодушен, двояк, нетверд, суров, робок, пьян, горяч, упрям, ханжа, невежда, весьма посредственнаго ума и слабаго здоровья».

Независимо от этой заметки, мысль Екатерины еще яснее выразилась в других собственноручных набросках, касающихся греческого проекта. Екатерина писала:

«Буде успехи войны подали бы способы и случай России к совершенному изгнанию врага имени Христова из пределов европейских, то Россия, за таковую всему христианству и роду человеческому заслугу, выговаривает себе возстановление на развалинах варварской державы, древней греческой империи. Россия обещает оную империю в совершенной независимости оставить, вручить и отдать младшему российскому великому князю Константину Павловичу, который тогда имеет дать обещание — да не учинит ни в каком случае

наследственное или иное притязание на всероссийское наследие, равномерно и брат его на греческое».

Все эти записки ясно свидетельствуют, что в эпоху второй турецкой войны императрица Екатерина уже окончательно остановилась на мысли, что польза государства требует устранения от престолонаследия цесаревича Павла Петровича и замены его великим князем Александром Павловичем. К тому же, здесь следует заметить, что юридическая обстановка этого вопроса в рассматриваемую эпоху вполне благоприятствовала намерениям императрицы и облегчала ей привести в исполнение задуманный переворот. В то время не существовало закона, который в точности устанавливал бы порядок престолонаследия, между тем как закон Петра Великого 1722 года сохранял еще полную силу. А по этому закону правительствующие государи российского престола имели право назначать своим преемником кого им будет угодно по собственному благоусмотрению, не стесняясь старинным правом первородства, а в случае, если назначенный уже наследником окажется неспособным, отрешить могли его от престола.

Цесаревич, с своей стороны, ясно сознавал грозившую правам его опасность, которая не осталась для него скрытой. Доказательством тому служит одно место в завещательном письме на имя великой княгини Марии Федоровны от 4-го января 1788 года, в котором предусматривалась возможность существования какого-либо секретного распоряжения Екатерины насчет престолонаследия. Цесаревич писал: «Воображая возможность происшествий, могущих случиться в мое отсутствие, ничего для меня горестнее, а для отечества чувствительнее себе представить не могу, как если бы вышним Провидением суждено было в самое сие время лишиться мне матери, а ему государыни. Таковое происшествие было бы истинное на нас посещение Божие». Затем Павел Петрович переходит к мерам, которые поручает принять Марии Федоровне, уже как правительнице, на сей несчастный случай, и в заключение пишет: «Тебе, любезная жена, препоручаю особенно в самый момент предполагаемого несчастья, от котораго удали нас Боже, весь собственный кабинет и бумаги государынины, собрав при себе в одно место, запечатать государственной печатью, приставить к ним надежную стражу и сказать волю мою, чтоб наложенныя печати оставались в целости до моего возвращения. Буде бы в каком-нибудь правительстве или в руках частнаго какого

человека остались мне неизвестныя, какие бы то ни было повеления, указы или распоряжения, в свет не изданные, оным до моего возвращения остаться не только без всякаго и малейшаго действия, но и в той же непроницаемой тайне, в какой по тот час сохранялись. Со всяким же тем, кто отважится нарушить или подаст на себя справедливое подозрение в готовности преступить сию волю мою, можешь поступить по обстоятельствам, как с сущим или как с подозреваемым государственным злодеем, предоставляя конечное судьбы его решение самому мне по моем возвращении».

Яснее и определеннее, кажется, трудно выразиться, чем это сделано было наследником в ожидании известных случайностей. Если в 1788 году совершилось бы несчастье, возможность которого предусматривалась в приведенной нами выдержке, то письменная, посмертная воля Екатерины, в случае существования подобной бумаги в то время, осталась бы, несомненно, одной мертвой буквой. Вступление на престол цесаревича совершилось бы настолько же беспрепятственно, как в 1796 году, хотя тогда обстоятельства благоприятствовали Павлу Петровичу в меньшей степени.

Но сверх государственных распоряжений, заключавшихся в завещательных письмах цесаревича, нельзя умолчать о другой стороне их — чисто душевной, семейной. Приведем здесь некоторые относящиеся до сего выдержки.

«Тебе самой известно, сколь я тебя любил и привязан был, — писал цесаревич, обращаясь к Марии Федоровне. — Твоя чистейшая душа перед Богом и человеки стоила не только сего, но почтения от меня и от всех. Ты мне была первою отрадою и подавала лучшие советы. Сим признанием должен пред всем светом о твоем благоразумии. Привязанность к детям залогом привязанности и любви ко мне была. Одним словом, не могу довольно тебе благодарности за все сие сказать, равномерно и за терпение твое, с которым сносила состояние свое, ради меня и по человечеству случающияся в жизни нашей скуки и прискорбии, о которых прошу у тебя прощения, и за все сие обязан тебе следующими советами. Будь тверда в Законе, который ты восприяла, и старайся о соблюдении непорочности его в государстве. Не безпокой совести ни чьей. Государство почитает тебя своею, ты сие заслуживаешь и ты его почитай отечеством. Люби его и споспешествуй благу его. Я преподаю тебе средства к тому. Ты прочти мои бумаги и в них найдешь то, чего я от тебя желаю и от детей своих, и по тому исполняй.

Здесь предстоит награждение добродетелей твоих наибольшее, слава, которую ты приобретешь, делая то для отечества, что тебе остается, и на которое намерение ты с таковою решимостью и охотой приступила. Благоразумие твое тебя наставит на путь правый, и Бог благословит твои добрыя намерения. Старайся о благе прямом всех и каждаго. Детей воспитай в страхе Божии, как начале премудрости, в добронравии, как основании всех добродетелей. Старайся о учении их наукам, потребным к их званию, как о том, что, преподавая знания, открываешь разсудок. ...Укрепи их в намерении моем о наследстве и законе онаго, ...старайся им внушить, что человек всякий должен подчинять себя рассудку, а особливо такой, которой Богом призван подчинять страсти других и управлять людьми и целым государством и народом. Таким только себя подчинением может удержать других во оном, а особливо своих собственных потомков, подавая им пример, а свою же совесть успокоить».

Нельзя не признать, что в приведенных строках письма цесаревича перед нами снова воскресает все реже появляющийся привлекательный образ того, в сущности, мало знакомого «prince adorable», который всю жизнь провел во внутренней борьбе с заслонявшим, его «despote implacable». Победа выпала окончательно на долю последнего, и с этим наименованием имя Павла Петровича перешло к потомству и закреплено в истории. Жизнь его вместе с тем свидетельствует и о том, как целый ряд роковых событий не зависевших от его воли, постепенно подготовлял недержимую ничем зловещую развязку, к которой он, порой даже сознательно, приближался с каждым днем своей нерадостной жизни. Такова была печальная участь искупительной жертвы злого дела 1741 года.

II

Непреклонная воля императрицы Екатерины принудила цесаревича смиренно ожидать предстоявшего нового приращения своей семьи. Событие это совершилось 10-го мая 1788 года: родилась великая княжна Екатерина Павловна. Жизнь Марии Федоровны на этот раз «висела на нитке», и она спасением своим была обязана присутствию духа императрицы. Князю Потемкину императрица писала:

«Из письма твоего от 19-го мая вижу, что ты получил мое извещение о рождении моей внучки Екатерины; при сем

случае родители ея оказались противу прежняго ко мне гораздо ласковее, понеже почитают некоторым образом, что я матери спасла живот, ибо жизнь ея была два часа с половиною в немалой опасности, от единого ласкательства и трусости окружающих ея врачей, и видя сие, ко времени и кстати удалось мне дать добрый совет, чем дело благополучно кончилось, и теперь она здорова, а он собирается к вам в армию, на что я согласилась, и думает отселе выехать двадцатого июня, то—есть, после шести недель через день, буде шведские дела его не задержат; буде же полоумный король шведский начнет войну с нами, то великий князь останется здесь».

Так и случилось: политические события направили цесаревича не на юг, но на север, в Финляндию. Густав III, без всякого к тому повода, внезапно объявил войну России, в то самое время, когда все силы ее обращены были против Турции, и Петербург был почти беззащитен. Но, к счастью, король шведский не дождался ухода русского флота из Финского залива в Средиземное море, и это обстоятельство решило дело в нашу пользу.

«Король шведский себе сковал латы, кирасу, броссары (наручни), и квиссары (набедренники), и шишак с преужасными перьями, — писала Екатерина князю Потемкину. — Выехавши из Стокгольма, говорил дамам, что он надеется им дать завтрак в Петергофе. Своим войскам в Финляндии и шведам велел сказать, что он намерен превосходить делами и помрачать Густава-Адольфа и окончить предприятия Карла XII. Последнее сбыться может, понеже сей начал разорение Швеции; также уверял он шведов, что он меня принудит сложить корону. Сего вероломнаго государя поступки похожи на сумасшествие... Мы от роду не слыхали жалобы от него, и теперь не ведаю, за что разозлился; теперь Бог будет между нами судьею... Трудно сие время для меня, это правда; но что делать? Надеюсь в короткое время получить великое умножение, понеже отовсюду везут людей и вещей...

Выбор лица для командования войсками, наскоро собранными для действий против шведов, был не легкий, так как лучшие генералы находились на юге. Екатерина доверила эту трудную задачу графу Валентину Платоновичу Мусину-Пушкину; но императрице пришлось вскоре убедиться, что он плохой полководец. «Сей мешок нерешимый мне весьма надоел, одним словом, не способен к предводитель-

ству», — вот в каких выражениях Екатерина отзывалась о графе Мусине-Пушкине во время шведской войны.

Отсутствие войск на севере империи побудило даже привлечь к войне против шведов гатчинские войска цесаревича, состоявшие в то время из одного батальона (в пятиротном составе), которым начальствовал барон Штейнвер. Эти злосчастные войска послужили поводом к новому неудовольствию цесаревича против императрицы. По свидетельству Гарновского: «Батальон морской, находившийся в Павловске, велено отдать во флот. Просили, чтоб оный употреблен был в дело на сухом пути, и чтоб позволено было представить его государыне в Царском Селе, но отказано. Какая досада! Стараниями графа Александра Матвеевича (Мамонова) велено, однако же, людей сего батальона так употребить, чтоб его опять, со временем, собрать можно было».

Вполне понятно, что Екатерине не могло представить особенного удовольствия увидеть перед собой «батушкину армию», и потому она не исполнила просьбы цесаревича. Напротив того, к кирасирскому полку наследника она отнеслась с величайшим вниманием. 25-го июня полк, имея во главе цесаревича, прошел церемониальным маршем мимо Царскосельского дворца, на балконе которого находилась императрица с великой княгиней и молодыми князьями. После смотра пожалована была полку тысяча рублей, офицеры жалованы были к руке, а штаб-офицеры приглашены к обеденному столу. «Тут прослезилась великая княгиня, и приметное смущение сокрывала ея императорское величество», — пишет Храповицкий.

Цесаревич крайне огорчился нежеланием императрицы видеть его гатчинские войска. Этим обстоятельством воспользовался Штейнвер, чтобы выставить перед великим князем виновником всего случившегося графа Мусина-Пушкина, и своими внушениями с самого начала кампании расстроил добрые между ними отношения.

30-го июня, по подписании манифеста о войне с Швецией в Царском Селе, императрица переехала на жительство в город, «чтоб людей ободрить, хотя и духи не упали», — писала Екатерина Потемкину. В Зимнем дворце она простилась с цесаревичем. «Плакали», — пишет Храповицкий. Великий князь ночевал на Каменном острове и 1-го июля поехал в Выборг. Прощание с Марией Федоровной было потрясающее; об этом свидетельствует письмо цесаревича,

наскоро набросанное карандашом для великой княгини с дороги, в нескольких верстах от Каменного острова:

«Мое дорогое сердце, мой друг, я ничего не могу сказать вам, вы видели мое горе, мои слезы; всю мою жизнь я такой в отношении к тебе. Пока я жив, я не забуду того, чем обязан вам. Во имя Бога, отдайтесь Тому, кто хранить нас; пусть Он будет вашим утешением, вашим защитником во всем. Прощайте!

«Павел».

Великого князя при отправлении его в армию сопровождали испытанный друг его и великой княгини Ф.Ф.Вадковский, барон Штейнвер, капитан Кушелев и лейб-медик Блок. Камердинером при цесаревиче находился тогда столь известный впоследствии Иван Павлович Кутайсов. Сверх поименованных лиц, с разрешения императрицы, прибыл еще волонтером к великому князю насколько позже восемнадцатилетний сын графа Петра Ивановича Панина; это был граф Никита Петрович Панин, которому также суждено было играть в царствование Павла I выдающуюся роль, вызвавшую впоследствии многоразличную оценку.

Приезд цесаревича в армию сопровождался немедленной ссорой с графом Мусиным-Пушкиным; водворившийся в главной квартире разлад поддерживался Штейнвером, находившим, кроме того, обильную пищу для критики, сравнивая состояние наскоро собранных в Финляндии войск с порядками, принятыми в гатчинских войсках. Мария Федоровна, извещенная об этом положении дел, встревожилась не на шутку возможными последствиями начавшейся ссоры, и писала Вадковскому 11-го июля:

«Нужна вся моя уверенность в вашей честности, добрый мой Вадковский, для того, чтобы заговорить с вами о предмете, искренно меня огорчающем. Я вижу по всему, что пишет мне мой муж, что он недоволен графом Пушкиным, и что он против него раздражен. Я этим, опечалена, ибо убеждена в том, что если даже граф Пушкин погрешил в своем образе действий, его сердце в том не участвовало. Умоляю вас во имя вашей привязанности к моему мужу употребить все усилия, все старания для того, чтобы смягчить его. Постарайтесь все повернуть в хорошую сторону и добейтесь от великаго князя, чтобы он вник в провинности Пушкина, и он тогда, я в том уверена, увидит, что они лишь кажущияся, и что его проступки касаются только формы.

Опасаюсь, признаюсь в этом, чтоб не было кого-нибудь, кто бы раздражал моего мужа против Пушкина, и, зная вашу скромность, скажу вам даже, что мне сдается, что это Штейнвер. Ради Бога, если вы считаете мое предположение основательным, и если мой муж заговорит с вами о своих неудовольствиях против Пушкина, постарайтесь направить разговор таким образом, чтобы вы могли умолять его не доверяться внушениям Штейнвера против Пушкина, ибо я сама была свидетельницею тому, что Штейнвер позволил себе говорить против него, за что я разгневалась и сделала Штейнверу упреки. Вы даже можете на меня сослаться и сказать, что я вам это разсказала. Дело в том, что, когда произошла история с батальоном, Штейнвер в моем присутствии попытался возбудить в моем муже подозрение, будто Пушкин подал повод к подобному обороту дела; тогда я спросила Штейнвера весьма противным тоном: «Как смеете вы говорить такия вещи, когда мне известно противное?». По этим данным вы согласитесь, что я в полном праве предполагать, что г. Штейнвер держится все тех же правил, тем более, что мой муж первые дни был очень доволен графом Пушкиным и изменил свое мнение лишь по прибытии Штейнвера. Ради Бога, добрый мой Вадковский, действуйте с осторожностью и усердием. Я опасаюсь от этой ссоры самых прискорбных последствий, и нужно употребить все средства, чтобы изгладить в сердце великаго князя подозрения, питаемыя им против человека, который сама честность, хотя образ его действий и бывает неправилен. Это письмо только для вас, и вы должны делать вид, что действуете по собственному убежденно, как вы мне это свято обещали в Павловске, где, к несчастию, я предвидела то, что случилось. С нетерпением жду от вас вестей и льщу себя надеждою, что вы будете передавать мне их с той правдивостию и честностью,которые мне известны. Все то, что я вам сказала, доказывает вам степень моего уважения».

Если цесаревич начал свое пребывание в армии со ссоры с графом Мусиным-Пушкиным, то легко себе представить, что произошло бы при появлении наследника среди войск, предводительствуемых князем Потемкиным-Таврическим. Недаром императрица отклоняла от себя, по мере возможности, подобное испытание. С другой стороны, приведенное нами письмо свидетельствует, что Мария Федоровна вынуждена была продолжать, по отношению к цесаревичу, свою гатчинскую охранительную тактику, осторожное примене-

ние которой, ввиду болезненного самолюбия Павла Петровича, поддерживало до некоторой степени мир и правильное течение жизни при великокняжеском дворе. Тяжелый опыт привел Марию Федоровну к усвоению подобного образа действий, и она пользовалась для этой цели разными близкими ко двору ее лицами. Этим путем иной раз удавалось спасать цесаревича от последствий дурных внушений, порывов гнева, доходивших нередко до бешенства, и напрасной подозрительности.

Императрица оставалась в Петербурге, изнемогая от необычайной жары, достигавшей летом 1788 года до 39½ градусов на солнце, и терпя, по ее выражение, «духоту еще по шведским делам». 6-го июля дела приняли наконец благоприятный оборот: произошло Гогландское сражение, в котором адмирал Грейг разбил шведский флот, который отошел к Свеаборгу. Искусство и храбрость Грейга спасли в этот день Петербург и расстроили весь план кампании Густава III, основанный на уверенности в полном превосходстве своего военного положения. Вскоре самонадеянный потомок Карла XII испытал на сухом пути не меньшее разочарование; готовясь овладеть Фридрихсгамом, он был остановлен неповиновением собственных войск. 25-го июля шведы исчезли из-под крепости, к немалому удивлению и радости осажденных. Образовалась Аньяльская конфедерация.

«Аспекты наши гораздо обратились к лучшему. Можно будет фуфлыге богатырю подстричь крылья, чтоб впредь летал пониже», — писала успокоенная Екатерина Потемкину.

Неожиданным образом Густав очутился в оборонительном положении, но граф Мусин-Пушкин, к несчастью, не сумел воспользоваться благоприятными обстоятельствами, и потому поход 1788 года на сухом пути кончился только тем, что шведы очистили всю занятую ими территорию русской Финляндии. Неудивительно, что цесаревич, находясь в распоряжении полководца, названного Екатериной мешком нерешимым, не нашел случая к боевым отличиям. Павел Петрович находился только раз под огнем неприятеля, 22-го августа, во время рекогносцировки шведской укрепленной позиции в Гекфорсе.

В сентябре, герцог Карл Зюдерманландский стал настоятельно добиваться свидания с цесаревичем, который уклонился от приглашения, сообщив переписку императрице. По мнению некоторых, это обстоятельство способствовало

скорейшему возвращению цесаревича в Петербург, которое состоялось 18-го сентября, после того как шведы очистили Гекфорс.

Если же судить по официальным бумагам, то отъезд цесаревича из армии не представляется ничем особенным и преждевременным, потому что 16-го сентября Екатерина писала графу Мусину-Пушкину:

«Если вы находите, что по суровости настоящаго времени войска наши требуют отдохновения, дозволяем ввести оныя в кантонир-квартиры».

Кампания 1788 года на сухом пути в Финляндии была, без всякого сомнения, окончена. В это время датчане, на основании трактата, заключенного в 1773 году с Россией, вторглись в Швецию; но диверсия эта не принесла нам никакой пользы, возбудив только собою шведский патриотизм, а затем Англия и Пруссия принудили датчан заключить перемирие и отказаться от своих обязательств по отношению к России.

На море успехи наши также приостановились ввиду болезни адмирала Грейга, который вслед за тем скончался 15-го октября, к величайшей горести императрицы. Храповицкий записал в своем дневнике по этому поводу: «Чувствительная прискорбность и слезы». Благодаря этому прискорбному обстоятельству, шведскому флоту, запертому в Свеаборге, удалось в ноябре месяце, пробиваясь сквозь льды, возвратиться в Карлскрону.

6-го декабря князь Потемкин овладел наконец штурмом Очаковым, так что тяжелый 1788 год кончился, все-таки, довольно благополучно для русского оружия. Что же касается шведских дел, то Екатерина справедливо заметила: «у всех тряслись губы; моя твердость все спасла. Не все головы способны быть на моем месте».

В следующем 1789 году война на севере и на юге России продолжалась. Цесаревич, конечно, желал снова отправиться в армию, предназначенную для действий в Финляндии, и пытался получить на то разрешение императрицы, обратившись к ней со следующим письмом:

«В виду предстоящаго открытия кампании и желая сообразоваться вполне с волею вашего императорскаго величества, я осмеливаюсь просить приказаний вашего императорскаго величества относительно меня, чтобы я мог,

соображаясь с ними, принять соответственныя меры. Пользуюсь настоящим случаем, чтобы возобновить выражение моих чувств уважения и привязанности, с которыми остаюсь и всю жизнь буду пребывать» и пр.

Екатерина отвечала решительным отказом, в котором заметным образом проглядывал иронический оттенок, задевавший несколько великую княгиню Марию Федоровну. Императрица писала 11-го апреля 1789 года:

«Вот, мой дорогой сын, мнение, котораго вы спрашиваете относительно предстоящей кампании; она будет оборонительная, малой войной, и еще скучнее прошлогодней, вот почему, по совести, могу вам только посоветовать, чтобы вы, вместо того, чтобы вызывать слезы и печаль, разделяли бы в сердце вашей дорогой и прекрасной семьи радость от успехов, которыми Всемогущему, как я надеюсь, угодно будет благословить наше правое дело. Прощайте! Обнимаю вас от всего сердца, тронутая вашим образом действий».

Весной 1789 года военные действия против Швеции возобновились с переменным счастьем на сухом пути и на море. Граф Мусин-Пушкин сохранил за собой командование финляндской армией.

Густав III воспользовался временем до открытия новой кампании, чтобы привести в покорность собственных подданных и усмирить собранный им сейм, доставивший королю средства для продолжения войны. Петербург казался Екатерине так мало обеспеченным от нападения неприятеля, что у нее явилась мысль расписать город на кварталы и поручить его оборону вооруженным жителям. Действия на море ознаменованы были победой, одержанной 13-го августа принцем Нассау-Зигеном при Роченсальме (Свенскзунде), но на сухом пути императрица не дождалась перехода русских войск за Кюмень. Хотя Екатерина и писала: «Мне лучше нравится дефензива, нежели офензива; да, сверх того, вход в Финляндию финнам будет в тягость, а теперь они нас менажируют». Но затем императрица прибавила: «Остаться в дефензиве, дондеже за верно полагать можно будет, что офензива полезнее для нас». Когда же исполнителем подобных мыслей являлся полководец вроде графа Мусина-Пушкина, можно было быть спокойным, что «офензива» никогда не покажется полезнее. Так и случилось. Поэтому, когда повелено было войскам занять зимния квартиры, Екатерина

имела полное основание сказать: «Прошлый год был тяжел, в нынешнем досадна только инакция Пушкина». Хотя императрица не желала обидеть графа Мусина-Пушкина, «понеже я ему персонально обязана», но терпение государыни все-таки истощилось, и в 1790 году командование войсками, действовавшими в Финляндии, поручено было барону Игельстрому, под главным начальством графа Ивана Петровича Салтыкова.

Наступил третий год войны со шведами; политический горизонт становился все мрачнее. 9-го (20-го) февраля скончался друг и союзник Екатерины, император Иосиф II[1], а с воцарением брата его Леопольда политика австрийского двора получила другое направление.[2] Затем враждебность Пруссии стала угрожать России еще третьей войной. Но то, чего не могли доставить морские победы, одержанные нами в 1790 году, достигнуто было несчастным сражением при Свенскзунде (28-го и 29-го июня), в котором принц Нассау-Зиген претерпел страшное поражение. Пользуясь одержанной победой, Густав III нашел для себя возможным заговорить о мире. Начались переговоры, и 3-го (14-го) августа подписан был в Вереле мир между Швецией и Россией, заключенный, как радостно отметила Екатерина в письме к Гримму, «sans intervention aucunière». Храповицкий же записал: «тем более довольны, что ни англичане, ни пруссаки, сего не знают, «on les a joués».

Верельским договором Густав III не приобрел никакого земельного расширения; граница между Россией и Швецией осталась прежняя. Единственный успех, достигнутый королем после трехлетней борьбы, заключался в том, что Россия как бы косвенно отказалась от принадлежавшего ей дотоле права охранения прежнего образа правления в Швеции,

---

[1] «Кроме союза, il m'est attach personellement», – сказала Екатерина Храповицкому. Если императрица была огорчена смертью Иосифа II, то не меньшее горе испытала одновременно Мария Федоровна. Двумя днями ранее императора 7-го (18-го) февраля скончалась эрцгерцогиня Елизавета, жена эрцгерцога Франца и сестра великой княгини.

[2] Насколько Екатерина дорожила австрийским союзом, можно видеть из ее письма к Потемкину от 18-го октября 1789: «Каковы цесарцы бы ни были и какова ни есть от них тягость, но оная будет несравненно менее всегда, нежели прусская, которая присовокупленно сопряжена со всем тем, что в свете может только быть придумано поносного и несносного».

измененного королем в 1772 году. Вообще, принимая во внимание общее положение политических дел в Европе, Екатерина могла остаться вполне удовлетворенной конечным исходом войны со Швецией, начавшейся столь некстати для ее политических планов. Настроение императрицы волне выразилось в переписке с князем Потемкиным; Екатерина писала своему другу сердечному: «Одну лапу мы из грязи вытащили, как вытащишь другую, то пропоем аллилуйя... что ты сей мир принял с великою радостию, о сем нимало не сумневаюсь, зная усердие твое и любовь ко мне и к общему делу. Ласкательно из твоих уст слышать, что ты оный приписываешь моей неустрашимой твердости: как инако быть императрице всероссийской, имея шестнадцать тысяч верст за спиною и видя добрую волю и рвение народное к сей войне».

Вскоре Потемкин мог сообщить императрице известие, оживившее надежду на заключение мира с Оттоманской Портой: 11-го декабря 1790 года Суворов овладел штурмом крепостью Измаилом. Но вожделенный мир подписан был в Яссах только через год, 29-го декабря 1791 года. Князю Потемкину не было суждено дожить до умиротворения Востока; он скончался в том же году 5-го октября. По Ясскому миру граница империи была продвинута до Днестра; Крымский полуостров остался за Россией.

Борьба с Турцией еще не закончилась миром, когда провозглашение польской конституции 3-го мая 1791 года вызвало со стороны Екатерины новое вооруженное вмешательство в дела Речи Посполитой. В течение нескольких лет потрясающие события следовали одно за другим с поразительной быстротой. В 1793 году совершился второй раздел Польши, 4-го ноября 1794 года Суворов штурмовал Прагу и занял Варшаву, а затем 5-го января 1795 года подписан был договор о третьем разделе; Польша перестала существовать. В виде эпилога последовало еще 15-го апреля 1795 года присоединение к империи Курляндии. Последним приобретением завершился цикл екатерининских завоеваний.

Подобное видоизменение карты Европы, сопровождавшееся исчезновением на ней целого королевства, совершилось сравнительно довольно легко благодаря другому событию всемирно-исторической важности, взволновавшему в его основах весь Запад: это была французская революция.

Она оставила также глубокий след в мыслях и в будущих начинаниях цесаревича Павла Петровича.

Князь Ф.Н.Голицын пишет, что в России все было спокойно: «хотя большая часть Европы от французскаго переворота всколебалась, у нас неприметно было никакой наклонности к переменам. Государыня спокойно царствовала, не страшилась якобинцев и их пагубоносных правил».

Один из деятелей екатерининского века заметил: «Я такой неверующий Фома, что, против всех и общих пугливых мнений, не боюсь, чтоб в наш век на холодный север перевалилась умственная горячка».

Так рассуждали люди, близко знавшие и понимавшие Россию.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Предположения об изменении порядка престолонаследия. — Брак великого князя Александра Павловича. — Е.И.Нелидова.

I

После возвращения цесаревича из финляндского похода он оставался по-прежнему в стороне от дел, продолжая быть пассивным свидетелем всего совершавшегося вокруг него; он все более стал уединяться в своих загородных дворцах в Павловске и Гатчине. В это время Павел Петрович обратил свою деятельность главным образом на дальнейшее развитие созданных им гатчинских войск, пришедших в некоторое расстройство по случаю привлечения их к участию в шведской войне. Вследствие этого, цесаревич окончательно погрузился в мелочи военного дела, признавая все более подобное занятие важнейшим для государя занятием.

В 1790 году, по заключении Версальского мира, великому князю снова удалось сформировать существовавшие ранее шведского похода пять рот, а в последующие годы гатчинские войска постепенно разрослись настолько, что в 1796 году они состояли уже из шести батальонов пехоты, егерской роты, четырех кавалерийских полков (жандармского, драгунского, гусарского и казачьего) и из пешей и конной артиллерии при двенадцати орудиях. Всего в этих войсках числилось 2.399 человек (в том числе 19 штаб- и 109 обер-офицеров). С этими войсками, по выражению Ф.В.Ростопчина, цесаревич думал изобразить собой покойного прусского короля.

Один из очевидцев всех этих чудес, созданных Павлом Петровичем, оставил в своих записках следующие рассуждения о гатчинских войсках:

«Тактика прусская и покрой их военной одежды составляли душу сего воинства; служба вся полагалась в присаленной голове, сколь можно больше, коротенькой трости, непомерной величине шляпе, натянутых сапогах выше колена и перчатках, закрывающих локти. Въезжая в Гатчину, казалось, въезжаешь в прусское владение. При разводах его высочество наблюдал точно тот же порядок, какой наблюдался в Потсдаме во времена Фридриха II. Здесь можно было заметить повторение некоторых анекдотов сего прусскаго короля с некоторыми прибавлениями, которыя сему государю никогда бы в мысль не вошли, например: Фридрих II во

время Семилетней войны одному из полков в наказание оказанной им робости велел отпороть тесьму с их шляп. Подражатель гатчинской одному из своих батальонов за неточное выполнение его воли велел сорвать петлицы с их рукавов и провесть в пример другим через кухню в их жилища. Запальчивость наследника сказывалась при всех учениях: за ничто офицеров сажал под стражу, лишал чинов, помещая в рядовые, и потом толикая же малость приводила их опять в милость. — Всякой день можно было наслышаться новых анекдотов в Петербурге о дворе Гатчинском». Современник, в заключение своей характеристики гатчинских порядков, объясняет существование войск цесаревича тем, что «такие проказы позволялись наследнику ради того, чтобы он был чемнибудь занят и не помышлял бы о правлении государством, по его мнению, по всем правам ему принадлежащем, чего некоторые из россиян желали, не ведая сами ради чего. Новость, обыкновенно прельщающая, была единственным их в сем случае предметом. — Тихое правление Великой Екатерины становилось в тягость; многие желали бури, дабы испытать крепость своих кораблей. — Сия новость впоследствии России дорого стоила и отбила охоту от новых перемен, всякой сетовал о старом».

Императрица должна была слышать пальбу, сопровождавшую маневры войск цесаревича, когда они производились близ Царского Села; но она безмолвствовала и не нарушала военных забав сына, нисколько не опасаясь какого-либо «действа» с его стороны. Екатерина только жаловалась, что цесаревич ни свет ни заря производить экзерцицию и продолжает почти во весь день; «разстучал мне голову своею пальбою», — прибавила государыня. Затем, сколько нам известно, со стороны императрицы последовало только одно посягательство против существования гатчинских войск, а именно в 1794 г., но и эта попытка приостановить дальнейшее развитие незаконной вооруженной силы не привела к желаемой цели. Дозволенное раз зло продолжало существовать, и цесаревич беспрепятственно предавался своим воинским потехам, усмотрев во вмешательстве императрицы в это дело лишь новую шикану, заметив, впрочем, что это его не удивляет, «поелику привык к шиканам». В армии и в народе гатчинцы возбуждают одни насмешки и сравнение с ненавистными и многим еще памятными голштинцами Петра III. Между тем, как мы уже заметили выше, это вовсе не была игра в солдаты, как многие ошибочно

тогда думали: Павел Петрович видел, напротив того, в гатчинских войсках верный залог будущего возрождения российской армии, нуждавшейся, по его мнению, в коренном преобразовании в гатчинском духе.

Скрытым заступником гатчинских войск следует признать графа Николая Ивановича Салтыкова, занимавшего место вице-президента военной коллегии. Он умел удерживать Екатерину от решительных мероприятий, направленных против гатчинского воинства и, за это впоследствии, в царствование Павла I, награжден был чином фельдмаршала. Насколько иной раз императрица разгневана была гатчинскими затеями, можно судить по сохранившейся записке ее к графу Н. И. Салтыкову. «По городу носился слух, — писала Екатерина, — что великий князь к морскому батальону не токмо прибавляет несколько сот, но что он еще формирует на острову полк гусар и несколько полков казаков. Все сии слухи в народе подают причину к различным толкам, и буде ребячества пресечь можно, то бы что скорее, то лучше, а сказать бы, что в Гатчине в куклы играть можно без излишних толков, но в близости города все подвержено различным толкованиям, а полезных нет ни одной. Тут первое, что батушкина армия представляется».

Здесь нельзя не сказать также насколько слов и о личном составе гатчинских войск. Он был незавидный. Один из современников отзывается о гатчинских офицерах цесаревича, этих будущих опричниках Павловского царствования, следующим нелестным образом: «Это были, по большей части, люди грубые, совсем не образованные, сор нашей армии; выгнанные из полков за дурное поведение, пьянство или трусость, эти люди находили убежище в гатчинских батальонах и там, добровольно обратясь в машины, без всякаго неудовольствия переносили всякий день от наследника брань, а, может быть, иногда и побои. Между сими подлыми людьми были и чрезвычайно злые. Из гатчинских болот своих они смотрели с завистью на счастливцев, кои смело и гордо шли по дороге почестей. Когда, наконец, счастье им также улыбнулось, они закипали местью: разъезжая по полкам, везде искали жертв, делали неприятности всем, кто отличался богатством, приятною наружностью или воспитанием, а потом на них доносили».

Другой современник оставил нам такую же неблагоприятную характеристику личного состава корпуса офицеров гатчинских войск. Он пишет: «гатчинские офицеры были

бродяги, выгнанныя за разныя гнусности из армии, которые, не имея пристанища, рады были все переносить из-за куска хлеба. Гатчинская армия не помещала ни одного офицера, который бы помышлял о чести — им нередко придают охоту к службе палкой».

Из этой среды более всех приобрел впоследствии известность своей лютостью бывший прусский гусар Федор Иванович Линденер. При воцарении Павел Петрович произвел его в генерал-майоры и назначил инспектором кавалерии. Долго помнили его имя в кавалерийских полках; он сотнями считал людей, коих удалось ему погубить в царствование Павла I. Ростопчин отозвался о Линденере в 1794 году со свойственной ему нередко беспощадной правдивостью. «Пошлая личность, надутая самолюбием, — пишет Ростопчин, — выдвинутая вперед минутною прихотью великаго князя. Этот человек очень опасен, будучи подозрителен и недоверчив, тогда как властелин легковерен и вспыльчив». Вообще, по мнению Ростопчина, цесаревич окружен был людьми, из которых наиболее честный заслуживал быть колесованным без суда.

Другой выдающийся герой этой своеобразной гатчинской школы самовластия и раболепства был Алексей Андреевич Аракчеев. Прибыв 4-го сентября 1792 года в Гатчину в чине капитана двадцати четырех лет, Аракчеев, произведенный в полковники 25-го июня 1796 года, занимал в то время у цесаревича место инспектора пехоты, начальствовал артиллерией, исправлял должность гатчинского губернатора и управлял военным департаментом, учрежденным в Гатчине в 1794 году. Неутомимый и ретивый Аракчеев недаром выдвинулся так быстро. Находясь в Гатчине, он производил учения, продолжавшиеся по двенадцать часов в день, не сходя при этом с поля. Аракчеев возмужал среди людей отверженных, презираемых, покорных, хотя и завистливых и недовольных, среди этой малой гвардии, которая с воцарением ее повелителя должна была осрамить, измучить и унизить настоящую старую гвардию.

Саблуков в своих записках, называя Аракчеева «Symbole de terreur» Павловского и Александровского царствований, рисует следующим образом портрет его: «По наружности он походил на большую обезьяну в мундире. Он был высок ростом, худощав и жилист, в его складе не было ничего стройнаго, так как он был очень сутуловат и имел длинную тонкую шею, на которой можно было изучить анатомию жил

и мышц. Сверх того, он странным образом морщил подбородок. У него были большия мясистыя уши, толстая безобразная голова, всегда наклоненная в сторону. Цвет лица его был нечист, щеки впалыя, нос широкий и угловатый, ноздри вздутые, рот огромный, лоб нависший. Наконец, у него были впалые серые глаза, и все выражение его лица представляло странную смесь ума и лукавства. Будучи сыном сельскаго дворянина, он был принят кадетом в кадетский корпус, где он настолько отличился своими способностями и своим прилежанием, что вскоре был произведен в офицеры и назначен преподавателем геометрии; но он оказался таким тираном в обращении с кадетами, что вскоре был переведен в артиллерийский полк, а затем попал в Гатчину».

Что же касается цесаревича, то он был постоянно не в духе и, к тому же, с годовой, наполненной призраками. Особенности характера и образа мыслей Павла Петровича обрисовались, впрочем, с 1789 года с такой ясностью и отчетливостью, что отзывы о нем не только русских современников, близко знакомых с гатчинским двором, но даже и встречавшихся с великим князем иностранцев нисколько не расходятся между собой. Приведем здесь в дополнение ко всему выше сказанному замечательно меткую характеристику цесаревича, сделанную графом Сегюром. После первого же знакомства с великим князем еще в 1785 году, Сегюр пришел к следующему заключению, поражающему верностью схваченных французским дипломатом оттенков душевного настроения наследника.

«Павел желал нравиться; он был образован, в нем замечались большая живость ума и благородная возвышенность характера.

Но вскоре, и для этого не требовалось долгих наблюдений, во всем его облике, в особенности тогда, когда он говорил о своем настоящем и будущем положении, можно было рассмотреть беспокойство, подвижность, недоверчивость, крайнюю впечатлительность, одним словом, те странности, которыя явились впоследствии причинами его ошибок, его несправедливостей и его несчастий.

Во всяком другом положении, чем то, в котором он очутился, он мог бы делать людей счастливыми и сам мог бы быть счастлив; но для подобнаго человека престол, и, в особенности, русский, должен был оказаться лишь страшным подводным камнем, на который он мог подняться

только с сознанием, что скоро и насильно будет низвергнут с него в пучину.

Склонный к увлечениям, он увлекался кем-либо с странною быстротою и затем столь же легко покидал и забывал его. История всех царей, низложенных с престола или убитых, была для него мыслью, неотступно преследовавшей его и ни на минуту не покидавшей его. Эти воспоминания возвращались, точно привидение, которое, безпрестанно преследуя его, сбивало его ум и затемняло его разум».

Осенью 1789 года граф Сегюр, возвращаясь во Францию, остановился по приглашению цесаревича в Гатчине и провел там в обществе его и великой княгини два дня. Проверив, по прошествии четырех лет, свои прежние впечатления, покидавший Россию дипломат дополнил приведенную нами характеристику Павла Петровича новыми чертами и рассуждениями, не менее меткими, не менее правдивыми.

«К сожалению, — пишет Сегюр, — с большим умом и познаниями великий князь Павел соединял самое безпокойное, самое недоверчивое настроение духа и в высшей степени подвижный характер; часто любезный до фамильярности, он более часто был высокомерен, деспотичен и суров; быть может, никогда еще не являлся человек более легкомысленный, более боязливый, более своенравный, одним словом, человек, менее способный составить счастье другим или свое собственное.

Его царствование доказало это: он совершил столько несправедливостей и подверг опале или ссылке такое множество людей вовсе не под влиянием злости, а вследствие своего рода умственнаго разстройства. Он мучил всех тех, которые были к нему близки, потому что он безпрестанно мучил самого себя. Престол постоянно казался ему окруженным пропастями. Страх смутил его разум: путем боязни воображаемых опасностей он создал действительные опасности, потому что монарх рано пли поздно возбуждает недоверие, выказываемое им самим и страх, который он сам испытывает.

В первое же время по моем приезде в Россию великий князь проявил по отношению ко мне столь живую привязанность, что она походила на пристрастие. Это расположение было кратковременно: он охладел ко мне, как только увидел меня почтенным милостями и близостью к императрице, его матери.

Долгое время он не выказывал ни малейшего желания сблизиться со мной. Но в момент моего отъезда новая причуда возвратила мне его доверие. В течение нескольких часов он говорил со мной почти исключительно о мнимых обидах со стороны императрицы и князя Потемкина, о неприятных сторонах его положения, о страхе, с которым относились к нему, и о печальной участи, которую готовил ему двор, привыкший желать и переносить лишь владычество женщин: печальная судьба его отца пугала его; он постоянно думал о ней; это была его господствующая мысль.

Тщетно я говорил ему, что его предубежденность вводит его в заблуждение, что его мать, далеко не боясь его, постоянно предоставляла ему вести свой двор как ему угодно и даже иметь при себе, в близком разстоянии от Царскаго Села, два батальона с офицерами, назначаемыми по его выбору, батальоны, которые он дисциплинировал, вооружал и одевал по своему усмотрению, тогда как она, не испытывая ни малейшего недоверия, имела при себе, лишь одну роту своей гвардии.

Если эта монархиня, государь, — сказал я ему, — не призывает вас в советы и не предоставляет вам никакого участия в делах, то позвольте заметить вам, что было бы трудно поступать иначе, раз она знает, что вы порицаете ея стремления, ея связи, ея систему управления и ея политическую программу. Что же касается несчастий, которых вы опасаетесь в будущем, то верьте мне, что, опасаясь их, тем самым и вызывают их; станьте выше их, и они исчезнут.

Я не убедил его в этом, и путем всевозможных обвинений против министров и других лиц, удостоенных доверием императрицы, он пытался доказать, что, несмотря на мое пятилетнее пребывание в России, я в высшей степени мало знаю ее».

Затем разговор перешел к вопросу об установлении порядка престолонаследия, во время которого цесаревич не переставал утверждать с особенной настойчивостью, что русские предпочитают видеть на престоле юбку вместо мундира.

Нелегко было навести цесаревича на другие мысли или вселить в нем взгляды, не согласные с его давнишними предубеждениями. Еще в 1765 году Порошин имел случай не раз заметить, что «его высочество имеет за собой недостаточек, всем таким людям свойственной, кои более привыкли видеть хотения свои исполненными, нежели к отка-

зам и терпению. Все хочется, чтоб по-нашему. А нельзя сказать, чтоб все до одного желания наши таковы были, на которыя бы благоразумие и об общей пользе попечение всегда соглашаться дозволяло». Припомним также, что в 1781 году князь Репнин тщетно предостерегал цесаревича от гибельных последствий свойственного ему беспокойства характера, которое приводит к тому, что делает людей подозрительными.

По роковой неизбежности, эта черта характера Павла Петровича с каждым годом получала все большее преобладание над мимолетными проблесками чего-то другого, лучшего, бесспорно проявлявшегося при различных случаях. Укажем здесь на главнейшие причины, которые способствовали к упрочению подозрительности в характере цесаревича, со всеми ее дурными последствиями, отражавшимися на пылкости его впечатлительного, нервного темперамента. Это были: французская революция, масонская история, семейный разлад и возможность назначения великого князя Александра Павловича наследником престола. Совокупное влияние всех поименованных обстоятельств привело также к окончательному бесповоротному разладу между императрицей и цесаревичем.

Для характеристики установившихся тогда отношений между Екатериной и наследником достаточно привести собственноручное письмо Екатерины к графу В.П.Мусину-Пушкину от 14-го сентября 1793 года.

«Граф Валентин Платонович. При сем прилагаю копию с письма Кушелева к здешнему губернатору, в котором он говорит, что цесаревич указать изволил отдать более NB половина Александровской площади, как по присланному от него же к губернатору плану явствует, каким-то купцам. Приказание само по себя сумазбродное и приказание само по себе последней дерзости. Позовите Кушелева к себе и скажите ему моим именем, что есть-ли еще раз он дерзнет подобное писание куда ни есть послать, то я его сошлю, где ворон костей его не сыщет, а великому князю скажите, чтоб он вперед мимо вас никаких приказаний по прошениям ничьих не посылал.

«Екатерина».
14 сент. 1793.

Осведомитесь наперед, заподлинно ли то писанно по приказанью великаго князя».

Не менее характерны две записки императрицы к графу Н.И.Салтыкову.

«Приезжал от великого князя адмиралтейский курьер, — писала Екатерина, — и, отдав письмо, минут через пять велел доложить паки, будут ли приказания. Я велела сказать, чтоб он себя почитал счастливым ждать в моей передней. Я чаю, он там, доложить не смеет в подобном случае. Зовут его Терентий Малков. Скажите сему дураку, чтоб он знал, что к императрице менее приступать можно, нежели к коллежским членам».

Следующая записка уже прямо относится к цесаревичу по поводу уклонения его от официальных встреч с императрицей.

«Великий князь прислал сказать, — писала Екатерина, — что у него лихорадка, и что он в постели лежит. Я бы желала знать, что о сем докторы говорят. Буде знаете, прошу мне сказать».

При всем том, несмотря на натянутые отношения, существовавшие между большим и малым дворами, в личной переписке цесаревича с императрицей, а также в личной переписке с ней Марии Федоровны, по-прежнему расточались нежные чувства. Если при оценке семейных отношений того времени руководствоваться встречающимися в ней душевными излияниями, можно получить совершенно ложный взгляд на действительный характер этих отношений. Так, например, 27-го августа 1791 года цесаревич в следующих выражениях благодарил императрицу после посещения ею Павловска:

«Счастье видеть вас у себя, то, как вы приехали сюда, ваша доброта охватили меня, наполнили довольством, удовлетворением. Я проливал слезы чувствительности, и все окружавшие меня предметы, казалось, отражали на мне то, что я испытывал; одним словом, вы сделали меня очень счастливым. Чтобы сделать мое довольство еще более полным, я желаю узнать, что вчерашняя поездка ничем не обезпокоила ваше величество».

Лирические излияния Марии Федоровны не менее замечательны. По случаю предстоявшего заключения Ясского мира, великая княгиня писала императрице из Гатчины 1-го октября 1791 года:

«Я постоянно повторяю вам в моих письмах одно и то же, дражайшая матушка, но это происходит от того, что мне всегда приходится выражать вам одно и то же чувство —

чувство нежнейшаго уважения, самой неизменной привязанности; и так как я нахожу столько удовлетворения в том, что питаю эти чувства у себя в сердце, то мне приятно льстить себя надеждою, что вы, дражайшая матушка, милостиво примите почтительное проявление этих чувств. Я переписала одно место из письма моей матери, полученнаго с прошлою почтою; оно докажет вам, дражайшая матушка, что уважать вас, любить вас, лелеять вас — составляет сокровенную задачу всей семьи. Вот как выражается матушка: «Да будет на веки благословен Господь за возстановление мира; какое счастье, какое блаженство и какая безподобная душа — наша мать и великая императрица! Я сияю от удовольствия, когда говорю о ней, и насколько я достойна сожаления, что не смею сказать ей — я люблю вас от всего моего сердца». Что же касается меня лично, пользующейся счастьем быть вашей дочерью, дражайшая матушка, то я решаюсь взять на себя смелость сказать и тысячу раз повторить вам, что я от всего сердца люблю вас».

Действительная картина семейных отношений широко расходится с приведенным здесь письменным изъявлением нежнейших чувств. При каждом удобном случае Екатерина не менее цесаревича радовалась, когда необходимость не заставляла их встречаться и проводить время вместе. Вызванное подобным случаем настроение Екатерины нашло себе отчетливое выражение в письмах ее к Гримму; общество любимых внуков и внучек, при отсутствии так называемой «schwere Bagage», доставляло императрице истинное удовольствие. Так, например, она писала 6-го апреля 1795 года:

«Я отправляюсь одеться, чтобы иметь возможность присутствовать сегодня вечером на одном любительском концерте; там будут играть на скрипке великий князь Александр и граф Платон Зубов. Великая княгиня Елисавета и великия княжны Александра и Елена будут петь, Мария, которой девять лет от роду, и которая уже окончила у Сарти генерал-бас, так как она отличается необыкновенною любовью к музыке, будет аккомпанировать на клавикордах. Сарти говорит, что она наделена большим талантом к музыке, и что вообще она проявляет во всем большой ум и способность и будет разумной девицей. По словам генеральши Ливен, она любит читать и проводит за чтением по несколько часов в день; при всем том, она очень веселая и оживленная и танцует, как ангел. Вообще это довольно милая семья. Тяжелый багаж двинулся в Гатчину три дня тому назад.

Баста. Когда кошки нет дома, то мыши пляшут по столам и чувствуют себя счастливыми и довольными».

Однажды, еще в семидесятых годах, Екатерина в письме к цесаревичу высказала следующие мысли:

«Мне показалось, что вы сегодня были огорчены, или не в духе; мне было бы больно, если бы вы были огорчены; если же вы были не в духе, то предоставляю вам самим разсудить, насколько я могу придавать этому значение».

В черновом наброске того же самого письма Екатерина выразилась более резким образом, несомненно обнаружив в нем свой настоящей взгляд на существовавшие между ней и сыном отношения. Она писала:

«Мне показалось, что вы сегодня были огорчены, или не в духе; и то, и другое опечалило бы меня, как мать; но признаюсь, что на ваше дурное расположение духа я мало обращу внимания, и как мать, и как императрица».

Приведенные здесь слова Екатерины не утратили своего значения и для позднейшего времени, а тем более и для конца царствования императрицы, когда взаимные отношения матери и сына обострились до последней степени.

Один из пажей того времени оставил нам следующую картину тогдашнего двора:

«Всем известно, как старики и старухи безобразны, но императрицы лицо было так привлекательно, улыбка такая очаровательная, осанка такая важная, что вселяет любовь и такое уважение, какое мудрено видеть. Она любила великаго князя Александра Павловича до неизъяснимости, и в правду — было за что любить: кротость, красота, доброта, ласковость составляли черты его прекраснаго лица. Великий князь Константин Павлович был резвее предприимчивее, похож был чрезвычайно на Павла Петровича и, следовательно, не красавец, но всегда был стройный молодец. Царское семейство состояло из сих двух великих князей и из великих княжен: Александры Павловны — портрет живой Александра I, Елены Павловны — также очаровательной, прекрасной, и Марии Павловны — если не такой красавицы, но столько привлекательной, доброй, что на нее смотрели, как на ангела. Императрица, когда летом жила в Царском Селе, то все семейство царское жило с нею, а государь Павел Петрович жил с супругой в Павловском. Вид его был строгий, недовольный (и было чем). Он приезжал с почтением раз в неделю в назначенные дни. Приезд его вселял почтение и страх, когда впрочем страх не имел никогда места при

императрице, но для Павла Петровича все в струнку. Мы хотя и птенцы еще были, и нам политика не была известна, однакоже ожиданное прибытие заставляло нас держать, как ныне говорят, руки по швам. Должность пажей состояла еще — двери отворять; следовательно, мы были первые видимы, и вы можете судить, как мы оправлялись, боялись и цепенели».

Один из самых преданных Павлу Петровичу людей, Ф.В.Ростопчин, писал в 1793 году: «Невозможно без содрогания и жалости видеть все, что делает великий князь-отец, он как будто бы изобретает способы внушить к себе нелюбовь. Он задался мыслью, что ему оказывают неуважение и хотят пренебрегать им. Исходя отсюда, он привязывается ко всему и наказывает без разбора... По сердам у него бывают маневры, и каждый день он присутствует при разводе, а также при экзекуциях, когда они случаются. Малейшее опоздание, малейшее противоречие выводит его из себя, и он воспаляется гневом. Замечательно то, что он никогда не сознает своих ошибок и продолжает сердиться на тех, кого обидел. Он делает выговоры всем.

II

Взгляды цесаревича на французскую революцию не согласовались с убеждениями и намерениями Екатерины; в этом вопросе, как и во всем остальном, они в своих воззрениях совершенно расходились между собой.

Нет сомнения, что Екатерина искренно ненавидела французскую революцию со всеми ее последствиями; поэтому из последних лет ее царствования можно привести не один пример несомненного влияния французских событий на некоторые мероприятия того времени. Но тем не менее, императрица не впадала в крайности и никогда не теряла из виду интересов России. В сущности, Екатерина менее интересовалась французской революцией, чем турецкими, шведскими и польскими делами. Для нее выгоды России, но не Европы, всегда и везде стояли на первом плане. Этим направлением политическая система ее царствования резко отличается от водворившейся позднее политики, в которой романтика заступила место екатерининского государственного эгоизма. Вместе с тем императрица нисколько не опасалась, подобно многим из ее современников, что революционная болезнь, охватившая Западную Европу, заразит

Россию. Пользуясь как нельзя лучше обстоятельствами, сопровождавшими переворот, совершившийся во Франции, Екатерина старалась занять Австрию и Пруссию и втравить их в войну с республикой, чтобы этим путем предписывать обеим державам свою волю. Громко заявляя свое сочувствие коалиции, она выступила против Польши и принялась громить «la jacobinière de Varsovie».

В разговоре Екатерины с Храповицким, записанном им 14-го декабря 1791 года, лучше всего отразились ее истинные цели и намерения.

Екатерина сказала своему секретарю: «Je me casse la tète, чтоб подвинуть венский и берлинский дворы в дела французския». Храповицкий заметил: «Elles ne sont pas trop actives». Императрица возразила: «Нет, прусский бы пошел, но останавливается венский». Затем Храповицкий продолжает свой рассказ: «Написали записку к вице-канцлеру (графу Остерману): «Они меня не понимают. У меня много предприятий неоконченных, и надобно, чтоб они были заняты и мне не мешали».

В результате екатерининской политики оказалось, что к 1796 г. пределы империи были отодвинуты до Немана, Днестра и Черного моря.

Преследование подобных реальных целей не мешало, однако, Екатерине вести переговоры о субсидиях, о союзе и о поддержке коалиции русскими войсками. Но когда иностранные дипломаты касались осуществления последнего предположения, Екатерина говорила: «Que voulez-vouz, la peau est plus près que la chemise». Благодаря подобным взглядам, в царствование императрицы ни один русский солдат не перешел границу для спасения Европы и защиты чуждых нам интересов. Если же воинственные помыслы продолжали еще занимать Екатерину на закате дней, то они не направлялись в сторону Рейна или Италии, но на Восток. Началась война с Персией.

Все это подвергалось со стороны цесаревича самой беспощадной критике; мысли его витали в совершенно иной сфере.

Однажды Павел Петрович читал газеты в кабинете императрицы и выходил из себя:

— Что они все там толкуют! — воскликнул он. — Я тотчас все бы прекратил пушками. Екатерина ответила сыну: «Vouz êtes une bête féroce, или ты не понимаешь, что пушки не

могут воевать с идеями? Если ты так будешь царствовать, то не долго продлится твое царствование».

Но дело не ограничивалось одними вспышками гнева. К сожалению, со времени начала французской революции весь склад понятий, мыслей и чувств цесаревича получил особенный, еще более резкий против прежнего оттенок нетерпимости и самого крайнего деспотизма; наследник сокрушался ужасами, сопровождавшими революцию, и не замечал или не хотел замечать причин, вызвавших столь печальные явления. Рассуждая о сих несчастиях, великий князь все относил к слабости в правлении короля французского. Нахлынувшие же в Россию с той поры эмигранты окончательно сбили с толку цесаревича; он, не стесняясь, стал говорить о необходимости править железной лозой. «Каждый день, — пишет Ростопчин, — только и слышно, что о насильствах, о мелочных придирках, которых постыдился бы всякий честный человек. Он ежеминутно воображает, что хотят ему досадить, что намерены осуждать его действия. Великий князь всюду видит ветви революции. Он всюду находит якобинцев».

Сыновьям своим Павел Петрович говорил при получении известия о каких-либо новых ужасах, совершившихся во Франции: «Вы видите, мои дети, что с людьми следует обращаться, как с собаками».

Мария Федоровна не могла умерить все эти печальные явления; она сама жила под тяжелым гнетом совершившихся на Западе событий, лишивших ее родителей родного крова: Монбельяр был занят республиканскими войсками и присоединен к Франции. Несчастье, постигшее французскую королевскую семью, не менее возмущали чувствительное сердце великой княгини, не позабывшей радушного гостеприимства версальского двора 1782 года. Таким образом раздраженный Павел Петрович едва ли мог найти себе успокоение в беседах со своей супругой. В довершение всех тревог требовались еще деньги, как для поддержания заграничных родственников, так и для возраставших все более и более в своей численности гатчинских войск; а для удовлетворения подобных нужд нельзя было рассчитывать на щедрость Екатерины; оставался один исход — прибегать к обременительным займам. Стечение столь многих удручающих обстоятельств должно было усугубить душевную печаль и усилить раздражение и неудовольствие среди великокняжеской семьи.

Не менее французской революции должно было волновать и раздражать цесаревича дело Новикова, возникшее в 1792 году, и связанная с ним масонская история. Все это дело, равно как и сношения Павла Петровича с масонами, еще далеко не выяснены и не исследованы окончательно. Заметим здесь, что в собственноручных вопросных пунктах Екатерины Новикову семь из них имеют политический характер и относятся главным образом к Пруссии, и все это в такое время, «когда берлинский двор оказывал России явное недоброхотство». Это обстоятельство должно было играть немаловажную роль в Новиковском процессе, так как пруссофильство цесаревича в достаточной мере известно было императрице; разбор политической подкладки в этом запутанном деле со временем несомненно многое выяснит. Заем цесаревича у банкира Сутерланда, обнаруженный Екатериной одновременно с Новиковским делом, усилил подозрительность императрицы против Павла Петровича; случайность этого совпадения придала, может быть, в глазах Екатерины всему делу более важное значение, чем оно в действительности заслуживало.

Ко всем душевным страданиям Павла Петровича присоединились еще семейные невзгоды. Было время, когда цесаревич признавался графу Н.И.Панину, что «если бы все прочее в жизни моей соответствовало приятностям внутренней моей, то я был бы совершенно счастлив». Но и оно, как и все в сем мире, оказалось непрочным. «En me mariant j'ai fait voeu d'obéissance, — писала однажды Мария Федоровна великому князю, — et jamais je n'y manquerai. C'est au chef de la femme à décider dans les petites choses, comme dans les grandes». Вот каким образом великая княгиня смотрела на свои обязанности; но предупредительная покорность Марии Федоровны не спасла ее от огорчений и тяжких испытаний. Рядом с умеряющим влиянием примерной, любящей супруги начало постепенно выступать другое женское влияние, исходившее от фрейлины великой княгини, Екатерины Ивановны Нелидовой.

Фавор Нелидовой подвергшийся несправедливым толкованиям в дурном смысле, вызвал при великокняжеском дворе образование двух партий и сопровождался расколом между немногими приверженцами цесаревича, в сущности, во всем прочем одинакового образа мыслей. Всего более пострадал от этого положения дел граф Никита Петрович Панин; по свойственной ему прямолинейности, он и в деле

Нелидовой, как и несколько ранее в вопросе о собственной женитьбе, следовал против течения. В письме к графу С.Р.Воронцову, граф Никита Петрович подробно рассказал, каким образом разыгралась постигшая его тогда со стороны цесаревича опала. Это случилось в 1791 году, в августе месяце. Великий князь потребовал от графа Панина: «respect pour la Nélidoff, mépris pour la grandeduchesse». Выразив на такое предложение отказ, Никита Петрович услышал грозные слова: «Le chemin que vous tenez, monsieur, ne peut vous conduire qu' à la fenêtre ou à la porte». Граф Панин удалился, и императрица Екатерина пожаловала его в церемониймейстеры.

Благодаря остроумию и блеску разговора Нелидовой, отличавшим ее среди тоскливого гатчинского общества, она, несмотря на полное отсутствие красоты, сумела завоевать себе безграничную дружбу цесаревича. Платоническое ухаживание Павла Петровича сопровождалось изгнанием всех сторонников великой княгини. Наконец Мария Федоровна утратила свойственные ей спокойствие и невозмутимое терпение, обнаруженные ею по отношению ко всем нескончаемым причудам великого князя. Дошло до того, что она потеряла голову и, увлекаясь внешними признаками, раздутыми ревнивым воображением, писала перед рождением великой княжны Ольги (11-го июля 1792 года) своему испытанному другу С.И.Плещееву:

«Вы будете смеяться над моею мыслию, но мне кажется, что при каждых моих родах Нелидова, зная, как они бывают у меня трудны, и что они могут быть для меня гибельны, всякий раз надеется, что она сделается вслед за тем второй m-me де-Ментенон. Поэтому, друг мой, приготовьтесь почтительно целовать у нея руку и особенно займитесь вашей физиономией, чтобы она не нашла в этом почтении насмешки или злобы. Я думаю, что вы будете смеяться над моим предсказанием, которое, впрочем, вовсе не так глупо».

Но этого было мало; семейный разлад обострился до того, что Мария Федоровна решилась даже поведать свои горести императрице и жаловаться на мужа и на Нелидову. Екатерина, как рассказывают, подвела великую княгиню к зеркалу и заметила: «Посмотри, какая ты красавица, а соперница твоя petite monstre; перестань кручиниться и будь уверена в своих прелестях».

Дело кончилось, однако, тем, что Е.И.Нелидова, по собственному желанию и с разрешения императрицы, уда-

лилась в Смольный монастырь, где она некогда воспитывалась. Это событие совершилось в 1793 году. Тем не менее Нелидова, по настоятельному приглашению цесаревича, изредка являлась при великокняжеском дворе в качестве гостьи и нисколько не утратила своего влияния.

История с Нелидовой сопровождалась еще одним печальным явлением; с этого времени стал выдвигаться и приобретать значение бывший турчонок, сначала великокняжеский брадобрей, а затем и камердинер, Иван Павлович Кутайсов; он вскоре с изумительным талантом научился пользоваться слабостями Павла Петровича для своего личного возвышения, послужившего в ущерб славе доверчивого благодетеля.

Среди полного разгара семейных недоразумений состоялось обручение, а затем бракосочетание великого князя Александра Павловича с великой княжной Елизаветой Алексеевной, рожденной принцессой Баденской и племянницей покойной великой княгини Наталии Алексеевны. Событие это к неизъяснимой радости императрицы совершилось 28-го сентября 1793 года.

Между тем под влиянием обстоятельств, вкратце нами изложенных, рассудок цесаревича все более затемнялся; слова и действия его носили на себе отпечаток полнейшей несдержанности, а гнев против державной матери дошел до того, что первоначально он отказывался присутствовать при бракосочетании сына. Обычная политика Марии Федоровны, клонившаяся к тому, чтобы по возможности спасать цесаревича от необдуманных решений вопреки ему самому, оказывалась бессильной; опасаясь ужасающих последствий полного семейного разрыва, великая княгиня обратилась, через посредство Плещеева, к содействию Е.И.Нелидовой. При ее помощи удалось убедить цесаревича приехать из Гатчины в Петербург на бракосочетание своего старшего сына.

Но семейный мир не водворился и после появления цесаревича в Зимнем дворце. Павел Петрович нерадостно встретил брачное торжество сына, приобретавшего со вступлением в супружество еще большую против прежнего самостоятельность и значение. Теперь Александр, более чем когда-либо, олицетворял в глазах отца опасного политического соперника. Мрачное настроение, овладевшее в последнее время в усиленной степени цесаревичем, вызвано было главным образом соображениями, находившимися в тесной

связи с вопросом об изменении порядка престолонаследия, задуманном Екатериной, к рассмотрению которого мы теперь и обратимся.

III

Возможность изменения порядка престолонаследия в пользу великого князя Александра Павловича волновала цесаревича более всех прочих, обрушившихся на него в ту пору забот и огорчений; мысль утратить престол окончательно лишала Павла Петровича всякой способности спокойно обсуждать какое бы то ни было дело. Какие же были намерения Екатерины в вопросе, имевшем столь важное значение для будущего благополучия России?

Императрица отлично сознавала, кого она имеет перед собой в качестве признанного наследника российского престола, а между тем изменить или поправить зло, создавшееся роковыми событиями 1762 года, выходило из сферы ее могущества. Таким образом, проклятие злого дела 1741 года снова давало себя чувствовать; оно порождало новое злое дело, и для спасения империи от неизбежных пагубных последствий, сопряженных с воцарением Павла Петровича, оставался один спасительный выход: назначение нового наследника.

Наличность многочисленного потомства Павла Петровича в корне изменила существовавшее ранее положение дела. Династические опасения Екатерины исчезли навсегда, а вместе с тем окончилась и политическая роль цесаревича. Отныне замысловатый доселе вопрос в значительной степени упростился, и Екатерина могла спокойно заняться обсуждением мер для замены наследника другим более подходящим лицом. К невыразимому удовольствию императрицы, она с 1777 года обрадована была появлением миловидного образа этого желанного ей, нетерпеливо поджидавшегося преемника в лице великого князя Александра Павловича.

Обстоятельства благоприятствовали перевороту, намеченному Екатериной. В то время не существовало закона, который в точности устанавливал бы порядок престолонаследия. Напротив того, закон Петра Великого 1722 года сохранял еще полную силу, а по этому закону правительствующие государи российского престола имели право назначать своим преемником кого им будет угодно, по собственному благоусмотрению, не стесняясь старинным правом первородства, а в

случае, если назначенный уже наследником окажется неспособным, отрешить могли его от престола.

С другой стороны, цесаревич делал все, что только возможно, для оправдания в глазах России намерений Екатерины по отношению к престолонаследию.

Выше уже было упомянуто, что по возвращении из таврического путешествия Екатерина стала изучать правду воли монаршей. Но затем, когда на руках Екатерины оказались две войны, мысли императрицы отвлечены были силой обстоятельств к решению других вопросов. После второй турецкой войны намерения Екатерины относительно устранения от престола цесаревича Павла Петровича не составляли уже тайны для близких ей лиц к получали с каждым годом более определенный характер. Существование этих намерений отразилось в откровенной переписке императрицы со своим доверенным «Souffre douleur». 1-го сентября 1791 года Екатерина, высказывая в письме к Гримму свои предположения относительно последствий французской революции, писала: «но это будет не в мое время и, надеюсь, не во время господина Александра». Наконец, 14-го августа 1792 года Екатерина признала уже возможным сообщить Гримму такие рассуждения, которые представляли намерения ее относительно будущности Александра, как окончательно решенное дело. «Послушайте, к чему торопиться с коронацией? — писала Екатерина. — Всему есть время, по словам Соломона. Сперва мой Александр женится, а там, со временем, и будет коронован со всевозможными церемониями, торжествами и народными празднествами. Все будет блестяще, величественно и великолепно. О, как он сам будет счастлив, и как с ним будут счастливы другие!».

Действительно, в 1793 году состоялось бракосочетание великого князя Александра Павловича, а в 1794 году императрица обратилась к решительному средству для осуществления задуманного переворота. Екатерина объявила Совету намерение «устранить сына своего Павла от престола, ссылаясь на его нрав и неспособность». Весь Совет готов был покориться сему намерению; остановил его граф Валентин Платонович Мусин-Пушкин, сказав, что нрав и инстинкты наследника, когда он сделается императором, могут перемениться, и замечание сие остановило намерение Екатерины объявить наследником внука своего Александра».

В записках А.С.Пишчевича встречается рассказ об этом заседании в несколько иной форме, а роль графа Мусина-

Пушкина приписана Безбородке: «В Совете, в котором сия мудрая монархиня удостоила изъяснить свою мысль, все взяли ея сторону, кроме графа Александра Безбородко, осмелившагося предложить вопреки ея намерению все худые следствия такового предприятия для отечества, привыкшаго почитать наследником с столь давних лет ея сына. Екатерина уважила сие его справедливое мнение и оставила без выполнения свое намерение. Безбородке впоследствии за сие было очень хорошо, а царство Русское изведало железную лозу».

Напрасно некоторые, может быть, думали, что противодействие, встреченное Екатериной в Совете, остановило ее в дальнейшем преследовании намеченной цели. «На этом свете, — писала однажды императрица, — препятствия созданы для того, чтобы достойные люди их отстраняли и тем умножали свою славу; вот назначение препятствий». Руководствуясь подобным воззрением, Екатерина осталась себе верна и в этом столь близком ее сердцу деле продолжала изыскивать новые пути для осуществления своих намерений. «Нужно быть твердым в своих решениях, — выражалась Екатерина в начале своего политического поприща, — только слабоумные нерешительны».

Не подлежит сомнению, что Екатерина справилась бы с сопротивлением, встреченным со стороны государственных сановников в затронутом вопросе; сильные и многочисленные приверженцы императрицы не замедлили бы поддержать ее в борьбе с сыном, раз настала бы решительная минута. До этим не исчерпывалось уничтожение предстоявших в задуманном деле препятствий. Нужно было еще заручиться согласием великого князя Александра Павловича на совершение предположенного государственного переворота, не возмущая его сыновних чувств; получение же этого столь необходимого согласия составляло едва ли не самую трудную часть задачи, взятой на себя Екатериной. Зная любовь и доверие, с которыми Александр относился к Лагарпу, императрица еще ранее приведенных нами разговоров в Совете решилась испробовать, возможно ли заручиться содействием влиятельного наставника своего внука в столь щекотливом деле. Действительно, следует признать, что Лагарп был единственный человек, который мог бы взять на себя подобное поручение и разрешить его, может быть, даже с полным успехом при том, конечно, условии, если бы он сочувствовал намерениям императрицы.

Три недели спустя после бракосочетания великого князя Александра Павловича, 18-го октября 1793 года, Екатерина призвала к себе Лагарпа, чтобы сообщить ему о своих намерениях и с его помощью приготовить внука к мысли о будущем его возвышении. Но честный, неподкупный республиканец не был расположен разыграть роль, предназначенную ему, как он пишет, в деле избавления России от нового Тиверия; мало того, он был даже возмущен до глубины души предстоявшей насильственной мерой. Практическим политиком Лагарп никогда не был, а потому он остался лишь добродетельным человеком в той трагической обстановке, среди которой судьба призывала его к деятельному участию.

Обратимся к собственному рассказу Лагарпа об этом замечательном эпизоде его жизни.

«С конца 1793 года, — пишет Лагарп, — шла речь о лишении престолонаследия великаго князя Павла Петровича, возбудившаго всеобщую ненависть, и о возведении на престол, по кончине государыни, старшаго внука ея Александра. Злые советники овладели умом Павла и наполнили душу его подозрениями. Он имел несчастье довериться французским эмигрантам, которые представляли врагами его всех тех, чей здравый смысл ценил по достоинству их сумасбродныя притязания. Во главе злонамеренной лиги находились бывший французский посланник в Константинополе Шуазель Гуфье, граф Эстергази и принц Нассау-Зиген. Советники Екатерины полагали, что мне приятно будет видеть устранение человека, котораго сами же они называли заклятым врагом либеральных идей, и от котораго я лично не мог ожидать ничего хорошаго. Так как меня считали в то время ярым республиканцем, проникнутым самыми опасными началами, то составители заговора надеялись, взявшись ловко за дело, вовлечь меня в предприятие, имевшее целью избавить Россию от новаго Тиверия. Цель, по их мнению, оправдывала средства. Втягивая меня в свои сети, зачинщики весьма удобно могли, в случае надобности, взвалить всю беду на меня. Если бы тайна открылась, вся ответственность пала бы на беззащитнаго иностранца, лишеннаго доверия и ославленнаго буйным якобинцем, и — кто знает? — быть может, с воцарением Павла, я был бы осужден на изгнание и пытку за участие в заговоре, от котораго я уклонился с ужасом и негодованием. Главная трудность состояла в том, чтобы приготовить к катастрофе

великаго князя Александра. Я один мог иметь на него желаемое влияние, и потому необходимо было или заручиться мною или удалить меня. Екатерина, зная доверие и любовь ко мне своего внука, желала меня испытать. Она неожиданно потребовала меня к себе 18-го октября 1793 года. Граф Салтыков, очевидно, посвященный в тайну, был озадачен вопросом моим о цели приглашения и отвечал мне: «я желал бы, чтобы сама государыня объяснила вам, в чем дело». Разговор мой с императрицею продолжался два часа; говорили о разных разностях, и время от времени, как бы мимоходом, государыня касалась будущности России и не опустила ничего, чтобы дать мне понять, не высказываясь прямо, настоящую цель свидания. Догадавшись, в чем дело, я употребил все усилия, чтобы воспрепятствовать государыне открыть мне задуманный план и вместе с тем отклонить от нея всякое подозрение в том, что я проник в ея тайну. К счастью, мне удалось и то и другое. Но два часа, проведенные в этой нравственной пытке, принадлежат к числу самых тяжелых в моей жизни, и воспоминание о них отравляло все остальное пребывание мое в России. Хотя совещание окончилось самым любезным образом, однако же, опасаясь дальнейших объяснений, из которых я не мог бы никоим образом выпутаться так же счастливо, я более чем когда-либо сосредоточился в самом себе, осудив себя на строгое уединение. Екатерина два раза укоряла меня за это; но видя, что я упорствую и являюсь ко двору только для занятий со своими учениками, убедилась, что я вовсе не расположен к той роли, которую мне предназначали».

Лагарп не ограничился, однако, этим пассивным сопротивлением намерениям императрицы и уклонением от всякого вмешательства в вопросе о престолонаследии. Напротив того, он употребил даже все усилия, чтобы поселить добрые отношения между цесаревичем и его сыновьями. «Он словно умышленно отталкивал их своими грубыми выходками, — пишет Лагарп, — дети жаловались на отца, и мне стоило большого труда истолковывать поведение его с выгодной стороны и сохранить в них сыновнюю привязанность. Несмотря на приписываемый мне карбонаризм, я был возмущен до глубины души предстоявшею насильственною мерой и ломал себе голову, каким бы образом предостеречь Павла, постоянно окруженнаго шпионами и злонамеренными друзьями. Одно неосторожное слово, вырвавшееся у

него, могло бы повлечь за собой самыя гибельныя последствия».

Когда Екатерина убедилась в достаточной мере, что Лагарп не только не намерен содействовать, но даже обнаруживает склонность противодействовать своим нравственным влиянием на Александра ее намерению назначить его наследником и отстранить от престола Павла, — она не задумалась прибегнуть к решительной мере, уволив Лагарпа от занятий с внуком, отпустить его за границу. Это и была истинная причина внезапного и преждевременного удаления Лагарпа из России, а вовсе не свойственный ему либеральный образ мыслей, на который нередко встречаются указания в исторической литературе.

Великий князь, хотя и не очень прилежно, но, тем не менее продолжал и по вступлении в брак предначертанные императрицей занятия с любимым наставником. 23-го октября 1794 года во время одной из лекций граф Салтыков внезапно вызвал к себе Лагарпа и объявил ему волю государыни, что так как Александр Павлович вступил в брак, а Константин Павлович определен в военную службу, то занятия с великими князьями должны прекратиться с концом текущего года. Александр, по возвращении Лагарпа, тотчас догадался, в чем дело, и обратился к своему наставнику или, лучше сказать, другу, желавшему скрыть испытанное огорчение, со словами: «не думайте, чтоб я не замечал, что уже давно замышляют против вас что-то недоброе; нас хотят разлучить, потому что знают всю мою привязанность, все мое доверие к вам». Говоря это, великий князь бросился обнимать Лагарпа, обливаясь слезами.

Возвещенное увольнение не заставило себя долго ждать. 31-го января 1795 года последовал на имя графа Салтыкова рескрипт, по которому Лагарп произведен был в полковники, уволен от службы и награжден пенсией, а на проезд повелено было выдать ему тысячу червонных.

Но Лагарп не решился покинуть Россию, не добившись свидания с цесаревичем; для достижения этой цели ему пришлось преодолеть немало затруднений, так как Павел Петрович был сильно вооружен против Лагарпа, считая его якобинцем, и около трех лет не говорил с ним, отворачиваясь от него при встречах. Упоминая о нем в разговорах с детьми, цесаревич спрашивал: «Avez-vous toujours ce jacobin auprès de vous?» Большого труда стоило Лагарпу отсрочить свой отъезд на несколько месяцев, главным образом, под

предлогом семейных обстоятельств. Наконец, ему удалось достигнуть желаемого. Получив дозволение явиться к цесаревичу, жившему тогда в Гатчине, Лагарп отправился в ту же ночь в путь и рано утром был уже в дворцовой приемной. Это случилось 27-го апреля 1795 года, в день рождения великого князя Константина Павловича. Цесаревичу чрезвычайно понравилась быстрота, с которой Лагарп воспользовался полученным разрешением, и потому он принял его весьма приветливо, удостоив в кабинете разговором, продолжавшимся два часа. Не открывая цесаревичу своих предположений, он успел убедить его, тем не менее, в необходимости изменить обращение с детьми и постарался рассеять сомнения, которые поселили в нем относительно привязанности к нему сыновей. Лагарп торжественно заклинал Павла иметь к молодым великим князьям полное доверие, сделаться другом их и всегда обращаться к ним прямо, а отнюдь не через третье лицо. Цесаревич благосклонно выслушал наставления Лагарпа, обнял его и с сердечным излиянием благодарил за добрые советы, которым обещал следовать. В этот день назначен был в Гатчине бал, и Павел Петрович пригласил его на этот вечер; великая княгиня Мария Федоровна, изъявив желание пройти с ним полонез, поставила гостя в неприятное положение, потому что с ним не было перчаток. Цесаревич вывел его из затруднительного положения, предложив ему свои. Лагарп хранил их до своей смерти, как воспоминание о памятном для него дне, в который примирился с ним его давний недоброжелатель.

9-го мая 1795 года Лагарп покинул окончательно Петербург, чтобы поселиться в Швейцарии, и надолго расстался со своим воспитанником, оставив Александра среди двора, который он ненавидел, и предназначенного к положению, одна мысль о коем заставляла его содрогаться. Эти мысли Александр высказал в письме к Лагарпу, когда вопрос об его увольнении был окончательно решен, и приближалась уже минута разлуки.

Таким образом совершилось удаление Лагарпа, но цель, преследуемая императрицей, не была достигнута этим решительным шагом. Екатерина не оценила по достоинству того сопротивления, которое предстояло ей встретить лично со стороны великого князя Александра Павловича при осуществлении ею своих планов; она не могла себе представить, до какой степени чувства и политические взгляды любимого внука расходились с ее намерениями и надеждами. В дейст-

вительности оказывалось, что она не только не могла рассчитывать на согласие внука принять помимо отца то бремя, которое она ему готовила, но что любимец ее мечтал даже о том, чтобы совершенно отказаться от носимого им звания и жить частным человеком в мире и спокойствии в Швейцарии или на берегах Рейна! Свойственная Екатерине проницательность не оправдала себя в данном случае; неотразимое влияние времени, конечно, оказало свое действие и на творца переворота 1762 года. Нести бремя правления в продолжение тридцати трех лет представляет, без сомнения, подвиг, который не дается даром и должен оставлять глубокий след даже на избранных личностях, к коим принадлежит Екатерина. Поэтому неудивительно, что, наконец, прежняя решительность стала отсутствовать, что явились колебания по мере приближения окончательной развязки; к тому же, и неверная оценка обстановки также давала себя чувствовать. Сама Екатерина признавалась еще в 1789 году Храповицкому: «Старая ли я стала, что не могу найти ресурсов, или другая причина нынешним затруднениям». Для той же мысли П.В.Завадовский нашел подходящее выражение, когда писал 27-го января 1792 года графу С.Р.Воронцову:

«Давно ты выехал из России. Перемена людей переменяет образ мыслей и течения дел. А главное, что солнце на закате: не тот свет имеет, которым действует при востоке и во время полдня».

IV

Заблуждение, в которое впала императрица при оценке вообще характера и душевных стремлений великого князя Александра Павловича, проявилось еще и в другом отношении. Екатерина, по-видимому, не подозревала, какой глубокий вред успела уже причинить гатчинская кордегардия этому ангелу в человеческом образе, как она называла нежно любимого внука.

Гатчинские порядки причинили Александру непоправимое зло; они привили ему увлечение фронтом, «мелкостями» военной службы, солдатской выправкой, одним словом, экзерцирмейстерство, парадоманию. Усмотрев в порядках, заведенных отцом, существенную сторону военного дела, Александр, свыкнувшись с подобным взгдядом, перещеголял впоследствии в этом искусстве даже своего брата Константина и довел в свое царствование выправку до небыва-

лого совершенства. Кроме того, Александр сблизился в Гатчине с людьми, которые при другпх порядках остались бы для него вечно чуждыми. К числу последних принадлежал Алексей Андреевич Аракчеев; сближение великого князя с этим выдающимся представителем гатчинского капральства дорого обошлось впоследствии России.

С каждым годом Александр Павлович с братом все более привлекались цесаревичем к экзерциям гатчинских войск, олицетворявших собой как бы государство в государстве, а Екатерина безмолвствовала, точно не замечая этого странного явления. Здесь, среди войск, созданных их родителем, великие князья учились уму-разуму, как они выражались, «по-нашему, по-гатчински». Каждый из них командовал батальоном своего имени. С 1795 года Александр должен был ездить в Павловск вместо одного раза в неделю по четыре раза и заниматься там маневрами, учениями и парадами. В следующем затем году фронтовые экзерциции получили еще большее развитие и окончательно отодвинули на задний план все другие, более разумные занятия. В 6 часов утра Александр Павлович должен был ежедневно ездить в Павловск и оставаться там до первого часу; часто он отправлялся туда даже после обеда, не исключая воскресных и праздничных дней, с той разницей, что в эти дни великий князь возвращался в Царское Село к обедне. Подобную же служебную практику проделывал и Константин Павлович.

С видимым удовольствем Александр писал Лагарпу по наступлении осени и возвращении двора в Петербург: «нынешнее лето я могу действительно сказать, что я служил (cet été, je peux vraiment dire que j'ai servi)».

Служба при гатчинских войсках причинила великому князю Александру Павловичу еще другое, также непоправимое зло; как-то ему пришлось стоять близ батареи, и гул аракчеевских пушек так подействовал на Александра, что он почти совершенно оглох на левое ухо.

Но независимо от военных упражнений, сближавших Александра с отцом, установившееся между ними доверие, столь желанное для добродетельного Лагарпа и старательно им подготовленное, усугубило еще другое существовавшее уже ранее зло: Александр окончательно научился во всем осуждать Екатерину и порицать основные начала ее политики, как внутренней, так и внешней; вместе с тем, Павел Петрович вселял также в сына одушевлявшие его чувства ненависти и недоброжелательства ко всем Екатерининским

деятелям. Замечательно, что гатчинское мировоззрение уживалось в голове Александра с самым крайним мечтательным либерализмом, приводившим даже в изумление князя Адама Чарторижского и, конечно, не имевшим ничего общего со взглядами цесаревича на необходимость водворения системы управления при помощи железной лозы!

Убеждения и взгляды Александра с достаточной ясностью обрисовались в известном письме его к Виктору Павловичу Кочубею, от 10-го мая 1796 года, и в беседах с князем Адамом Чарторижским.

Кочубею великий князь писал между прочим: «Я сознаю, что вовсе не гожусь для того звания, которое занимаю теперь, и еще менее для предназначеннаго мне в будущем, от котораго я дал себе клятву отказаться тем или другим способом.

Отголосок же Павловских воззрений на современное ему положение дел встречается в словах: «В наших делах господствует неимоверный безпорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя стремится лишь к расширению своих пределов».

Вот к какому трагическому исходу привели все просвещенные попечения, вся безграничная любовь и заботливость Екатерины о своем внуке, которого она готовила себе в преемники. Ненормальная семейная обстановка вызвала полное крушение всех ее надежд; оказалось, что Александр не желал быть продолжателем ее великих дел и во многом стал на точку зрения Павла Петровича. Таким образом, результат получился совершенно обратный тому, на который рассчитывала императрица. Внезапная кончина Екатерины избавила ее, однако, от огорчения испытать на закате дней подобное ни с чем не сравнимое разочарование.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Брак великого князя Константина Павловича. — Приезд шведского короля Густава IV. — Кончина императрицы Екатерины.

I

Не довольствуясь ранней женитьбой своего старшего внука, Екатерина поспешила приискать невесту и великому князю Константину Павловичу. С этой целью, осенью 1795 года, по приглашению императрицы, прибыла в Петербург Саксен-Кобургская принцесса Августа с тремя дочерьми, принцессами Антуанетой, Софией и Юлией, а в следующем году, 15-го (26-го) февраля 1796 года, Константин Павлович вступил в супружество с пятнадцатилетней принцессой Юлией, нареченною Анной Федоровной.

«Теперь у меня женихов больше нет, — писала Екатерина Гримму после свадьбы Константина Павловича, — но зато остается пять девиц, из которых младшей только год, но старшей пора замуж. Женихов им придется поискать днем с фонарем. Безобразных мы исключим, дураков тоже; бедность же не порок. Но внутреннее содержание должно соответствовать очень красивой наружности. Если попадет такой товар на рынке, сообщайте мне о находке».

На обратном пути в Германию, еще до свадьбы дочери, принцесса Саксен-Кобургская остановилась в Гатчине, по приглашению цесаревича. Это было в ноябре 1795 года. В письмах к мужу принцесса описывала следующим образом впечатление, произведенное на нее гатчинским двором.

«Мы были очень любезно приняты, — писала принцесса, — но здесь я очутилась в атмосфере, совсем не похожей на петербургскую. Вместо непринужденности (aisance), господствующей при императорском дворе, я нашла здесь стеснение (gêne); все было натянуто и безмолвно. Великий князь, который, впрочем, очень умен и может быть приятным в обхождении, если он того желает, отличается непонятными странностями, между прочим, дурачеством устраивать все вокруг себя на старо-прусский лад. В его владениях тотчас встречаются шлагбаумы, окрашенные в черный, красный и белый цвет, как это имеет место в Пруссии; при шлагбаумах находятся часовые, которые опрашивают проезжающих, подобно пруссакам. Всего хуже то, что эти солдаты русские, переодетые в пруссаков; эти прекрасные на вид русские, наряженные в мундиры времен короля

Фридриха-Вильгельма I, изуродованы этой допотопной формой. Русский должен оставаться русским. Он сам это сознает, и каждый находит, что он в своей одежде, в коротком кафтане с волосами, остриженными в кружок, несравненно красивее, чем с косою и в мундире, в котором он в стесненном и несчастном виде представляется в Гатчине. Офицеры имеют вид, точно они срисованы из стараго альбома. За исключением языка, они во всем прочем вовсе не похожи на русских. Нельзя сказать, чтобы эта метаморфоза была умно придумана. Мне было больно видеть эту перемену, потому что я чрезвычайно люблю этот народ».

Эти строки беспристрастного иностранного наблюдателя как нельзя более драгоценны для характеристики злополучных гатчинских порядков. Что бы сказала умная принцесса, если бы ровно через год она увидела гатчинский маскарад распространенным на всю Россию, а вместе с тем принужденность и безмолвие, отличавшие двор цесаревича, ставшими уделом и законом для всей империи!

25-го июня 1796 года произошло другое радостное для императрицы семейное событие. В три и три четверти часа утра великая княгиня Мария Федоровна разрешилась в Царском Селе от бремени сыном. Наконец, Екатерина дождалась нетерпеливо ожидавшегося ею столько лет третьего внука. Новорожденному дано было имя Николай.

Императрица не замедлила тотчас же сообщить Гримму о своей новой семейной радости.

«Сегодня в три часа утра, — писала Екатерина, — мамаша родила громаднаго мальчика, котораго назвали Николаем. Голос у него бас, и кричит он удивительно; длиною он аршин без двух вершков, а руки немного поменьше моих. В жизнь свою в первый раз вижу такого рыцаря... Если он будет продолжать, как начал, то братья окажутся карликами перед этим колоссом».

2-го июля императрица извещала Гримма, что «в воскресенье будут крестить рыцаря Николая, здоровье котораго превосходно. (Le chevalier Nicolas sera baptisé dimanche, et il se porte à merveille)». К этим сведениям Екатерина присовокупила 5-го июля, то есть, менее чем через две недели после рождения внука, еще следующие подробности о первых днях жизни великого князя:

«Рыцарь Николай уже три дня кушает кашку, потому что безпрестанно просит есть. Я полагаю, что никогда еще осьмидневный ребенок не пользовался таким угощением;

это неслыханное дело. У нянек просто руки опускаются от удивления; если так будет продолжаться, придется по прошествии шести недель отнять его от груди. Он смотрит на всех во все глаза (il toise tout le monde), голову держит прямо и поворачивает не хуже моего».

Обряд крещения новорожденного великого князя происходил 6-го июля в церкви Царскосельского дворца. Восприемниками от купели назначены были: великий князь Александр Павлович и великая княжна Александра Павловна; последняя должна была заступить на место императрицы Екатерины, которая по нездоровью не могла присутствовать при крещении внука и провела только некоторое время на хорах.

В тот же день императрица и цесаревич Павел Петрович принимали поздравления от всего двора, после чего был парадный обед, а вечером бал.

Цесаревич после крещения своего сына тотчас уехал в Павловск. Великая княгиня Мария Федоровна оставалась в Царском Селе до 3-го (14-го) августа, а затем также переселилась в Павловск. Новорожденный же великий князь Николай Павлович остался, по заведенному обычаю, на попечении у бабушки, которая почти каждый день навещала его.

Рождение «рыцаря Николая» сопровождалось событием, которое доказывает, с какою настойчивостью императрица, по обыкновению своему, преследовала раз намеченную цель: отстранить цесаревича Павла Петровича от престола. Но средство, избранное ею в рассматриваемом случае, не может быть названо удачным, а скорее нужно удивляться, каким образом Екатерина обратилась к этой странной мысли. Пользуясь отсутствием Павла Петровича, императрица передала великой княгине бумагу, в которой предлагала Марии Федоровне потребовать от цесаревича отречения от своих прав на престол в пользу великого князя Александра Павловича; вместе с тем императрица настаивала на том, чтобы Мария Федоровна скрепила своею подписью эту бумагу, как удостоверение согласия с ее стороны на ожидаемый акт отречения. Великая княгиня нисколько не разделяла мнения Екатерины о необходимости предположенного ею устранения цесаревича от наследования престола и потому отказалась, с чувством искреннего негодования, подписать требуемую бумагу. Гнев свой на непокорную невестку Екатерина выразила при прощании 3-го (14-го) августа, когда великая княгиня, приняв сорокадневную молитву,

уезжала в Павловск. Императрица ограничилась тем, что спросила Марию Федоровну: «comment vous portez-vous, madame la grande-duchesse?». Великая княгиня, после всего случившегося, оставила Царское Село под самыми тягостными впечатлениями, но решилась скрыть от цесаревича требование, с которым обращалась к ней державная мать его. Впоследствии, уже после кончины императрицы, Павел Петрович нашел этот документ в бумагах матери и был сильно разгневан уже одним тем обстоятельством, что великая княгиня могла быть спрошена Екатериною в подобном деле. Это открытие повлияло на добрые отношения Павла к его супруге и причинило ей тяжкие испытания.

На этом пока остановилось это замысловатое дело. Вскоре последовали, однако, события, которые побудили императрицу вступить в личные объяснения по этому вопросу с великим князем Александром Павловичем.

II

Летом 1796 года императрица Екатерина ранее обыкновенного рассталась с Царским Селом и возвратилась в Петербург. Особые обстоятельства были тому причиною.

13-го (24-го) августа прибыл в столицу давно желанный гость, молодой шведский король Густав IV под именем графа Гаги. Короля сопровождал его дядя-регент, герцог Карл Зюдерманландский под именем графа Вазы. Среди нескончаемых празднеств, балов, вечеров всякого рода велись переговоры, начавшиеся еще ранее, по поводу брака короля с великой княжной Александрой Павловной. Казалось, что все препятствия и недоумения были, наконец, улажены, и 11-го (22-го) сентября должно было последовать в Зимнем дворце обручение, хотя официально двор приглашался только к балу. Но в последнюю минуту вероисповедный вопрос и неожиданное упрямство Густава IV расстроили соглашение, к которому настойчиво стремилась Екатерина. В назначенное время двор собрался, и приглашенные пребывали в тягостном ожидании грядущих событий, но король, к удивлению осаждавших его дипломатов, отказался явиться, требуя исключения из брачного договора статьи о сохранении великой княжной православия. Когда же князю Зубову пришлось, наконец, доложить императрице, что назначенное обручение должно быть отложено, она не могла выговорить ни слова: Екатерина почувствовала первый легкий

припадок паралича. Оскорбление, нанесенное в этот день ее самолюбию молодым королем, которому она оказывала столько внимания и участия, отразилось пагубным образом на здоровье шестидесятисемилетней государыни. На другой день Екатерина признавалась, что ночь с 27-го на 28-е июня 1762 года ничто в сравнении с той, которую она провела после несостоявшейся помолвки.

Переговоры о браке, тем не менее, продолжались, но не привели к желаемому соглашению. 20-го сентября граф Гага выехал из Петербурга. Цесаревич еще ранее, 12-го сентября, отправился в Гатчину, простившись на этот раз с матерью навсегда.

Между тем мысли Екатерины снова обратились к ускорению решения возбужденного ею вопроса относительно изменения порядка престолонаследия.

Оправившись несколько от огорчения, испытанного 11-го сентября, Екатерина имела разговор с великим князем Александром, в котором она пояснила внуку всю государственную необходимость задуманного ею переворота; есть основание к предположению, что беседа императрицы с Александром Павловичем имела место 16-го сентября[1]. Спрашивается: каким образом отнесся великий князь к сообщениям своей бабки? На это дает ответ письмо Александра Павловича к императрице от 24-го сентября, уцелевшее в бумагах князя Зубова, который, конечно, был посвящен во все тайны этого дела.

«Ваше императорское величество, — писал Александр, — я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за то доверие, которым ваше величество соблаговолили почтить меня, и за ту доброту, с которой изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам. Я надеюсь, что ваше величество, судя по усердию моему заслужить неоцененное благоволение ваше, убедитесь, что я вполне чувствую все значение оказанной милости. Действительно, даже своею кровью я не в состоянии отплатить за все то, что вы соблаговолили уже и еще желаете сделать для меня. Эти бумаги с полною очевидностью подтверждают все соображения, которыя вашему величеству благоугодно было недавно сообщить мне, и которые, если

---

[1] В камер-фурьерском журнале записано: «16-го сентября, во вторник, по полудни, во втором часу, в аппартаментах у ея императорскаго величества быть соизволил его императорское высочество, государь великий князь Александр Павлович несколько времени и возвратился в свои покои».

мне позволено будет высказать это, как нельзя более справедливы. Еще раз повергая к стопам вашего императорскаго величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самою неизменною преданностью.

Вашего императорскаго величества всенижайший, всепокорнейший подданный и внук

«Александр».

Несмотря на ясно выраженное в этом письме одобрение предположений, заявленных императрицей, позволительно, *однако, сомневаться в искренности согласия, высказанного* здесь Александром. Это был, по-видимому, только политический маневр, к которому прибегнул великий князь с целью выиграть время, чтобы не огорчить императрицу выяснением истинных своих чувств в то время, когда здоровье государыни подверглось сильному испытанию, и дни ее были уже, так сказать, сочтены. В переговорах по делу о престолонаследии Александр проявил вполне лишь обычную свою уклончивость, которую Екатерина подметила в нем еще с детства. Невольно припоминаются при этом случае наблюдения, сообщенные ею Гримму в 1790 году: «Если я заговорю с ним о чем-нибудь дельном, он весь внимание, слушает и отвечает со спокойной готовностью, если я заставлю его играть в жмурки, он играет. Одним словом, — писала Екатерина, — этот мальчик соединяет в себе много противоречий». *Последнему качеству Александра суждено было проявиться* как раз в деле, особенно дорогом сердцу Екатерины; к счастью для нее, она и не подозревала существования того противодействия, которое готовила ее намерениям уклончивость любимого внука.

С одной стороны, Александр твердо решился сохранить за отцом право наследства, а с другой — он жаждал только мира и спокойствия, стремился к уединенной жизни и желал для себя лишь избавления от предназначенного ему высокого положения, одна мысль к коем, как он выражался, приводила его в содрогание.

При тех взглядах, какими руководствовался Александр в эту эпоху, конечно, нельзя было быть участником в государственном перевороте.

Но, тем не менее, несмотря на существование подобных взглядов, нельзя утверждать, что, если бы Провидение продлило еще на некоторое время жизнь Екатерины, намерения императрицы относительно отстранения цесаревича от пре-

стола все-таки не осуществились бы в желаемом ею смысле. Подобное предположение можно основывать на примере, взятом из позднейшего времени. Вероятно, в момент решительных со стороны Екатерины действий разыгралось бы нечто, сходное с положением, занятым Александром по отношению к затруднениям, встреченным им впоследствии на жизненном поприще, когда на сделанные ему по поводу особых обстоятельств заявления он отвечал сначала молчанием, вздохами, а кончил тем, что вынужден был условно на все согласиться. Поэтому и в 1796 году обстоятельства могли поставить Александра именно в трагическое положение быть вынужденным действовать в смысле заявления, сделанного императрицей в письме от 24-го сентября.

В то время, когда Екатерина вступила в непосредственные переговоры с Александром по делу о престолонаследии, от нее осталось, однако, скрытым, что, в довершение всех затруднений, эти переговоры совпали со сближением великого князя с отцом. А.Я.Протасов с успехом довершил дело, которому положил начало Лагарп; совершившееся сближение побудило даже Павла Петровича и Марию Федоровну благодарить Протасова, что он «возвратил им сына». Принимая во внимание это обстоятельство, можно даже предположить, что Александр простер свое несочувствие намерениям Екатерины до того, что сообщил о переговорах с императрицею если не цесаревичу, то уже наверное матери, и с ее ведома написал письмо от 24-го сентября. Об этом свидетельствует письмо Марии Федоровны к сыну, в котором встречаются следующие строки: «Tenez-vous-en au nom de Dieu au plan arrêté, du courage et de la fermeté, mon enfant. Dieu n'abondonne jamais l'innocence et la vertu». В заключение прибавлены обычные в подобных случаях наставления: «Brûlez mes billets, je brûle les votres».

Но, как бы то ни было, одно только достоверно, что Александр не сочувствовал планам Екатерины, и что мечты, занимавшие в то время ум великого князя, увлекали его на совершенно иной путь, чем тот, который предначертала и готовила державная бабка своему любимцу. Одно лицо слышало от него по этому поводу следующие достопамятные слова: «Если верно, что хотят посягнуть на права отца моего, то я сумею уклониться от такой несправедливости. Мы с женою спасемся в Америку, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат». «Трогательное излияние молодой и чистой души!» — замечает автор тех же записок, приводя слова Александра.

Между тем Екатерина, уверенная в согласии внука на новый порядок престолонаследия, готовилась всенародно объявить свое решение. Тайна из Зимнего дворца давно уже проникла в общество, и не трудно было отгадать, кого Екатерина желала видеть своим преемником. «Проникали тайну Екатерины II, — пишет современник, — желавшей отделить от престола сына своего, котораго она лучше знала, нежели те, которые его желали видеть на ее месте. Мысль ея была, описав все качества настоящаго наследника, отрешить его, а внуку своему Александру вручить кормило царства». В Петербурге начали распространяться слухи, что 24-го ноября, в день тезоименитства императрицы, а по другим известиям, 1-го января 1797 года, последуют важные перемены; ожидали манифеста о назначении великого князя Александра Павловича наследником престола. Сохранилось предание, что бумаги по этому предмету были подписаны важнейшими государственными сановниками; называли: Безбородку, Суворова, Румянцева-Задунайского, Зубова, митрополита Гавриила и других. О Павле Петровиче говорили, что он будет удален в замок Лоде. Все эти таинственные бумаги исчезли, не оставив никакого следа. Толковали также о какой-то духовной императрицы, будто бы хранившейся и в синоде, и в сенате; но если она действительно существовала, то и эта предосторожность не достигла цели. Случилось в 1796 году то же, что и в 1825 году, когда произнесены были в государственном совете слова: «Les morts n'ont point de volonté».

Намерения великой государыни, преследовавшей в этом деле одну цель — благо России, не были приведены в исполнение. Провидение рассудило иначе, и на империю обрушились страшные испытания, Что же касается великого князя Александра Павловича, то на этот раз милостивая судьба избавила его от печальной необходимости выбирать между государственною пользою и сыновним чувством.

III

В воскресенье, 2-го ноября, императрица Екатерина в последний раз появилась на выходе. «Можно было бы сказать, — пишет графиня В.Н.Головина, — что она вышла, чтобы проститься со своими подданными. (On eut dit qu'elle venait dire adieu à ses sujets). Все были поражены впечатлением, которое она произвела в тот день». После обедни императрица довольно долго оставалась в тронной зале, где г-жа Лебрэн выставила только что оконченный ею портрет

великой княгини Елизаветы во весь рост. Екатерина долго рассматривала этот портрет и говорила о нем с лицами, приглашенными к обеду. Затем состоялся большой обед, как это было принято по воскресеньям. Среди приглашенных находились великие князья Александр и Константин, а также и их супруги. Тогда они в последний раз увидели свою державную бабушку, так как вечером получили приказание не являться к ней. 3-го и 4-го ноября императрица не выходила из внутренних апартаментов.

Утром 5-го (16-го) ноября, в среду, великий князь Александр Павлович по обыкновению гулял по набережной и встретил дорогою князя Константина Чарторижского. Близ дома, занимаемого Чарторижским, к ним присоединился князь Адам, и они втроем беседовали на улице, когда явился скороход, сообщивший великому князю, что граф Салтыков требует его немедленно к себе. Александр поспешил в Зимний дворец, ничего не подозревая о причине этого вызова. Оказалось, что императрица Екатерина была смертельно поражена апоплексическим ударом и находилась в бесчувственном состоянии. Произошло кровоизлияние в мозг. «Пришел конец всему и ей, и нашему благополучию», — сказал один из очевидцев происшествия графине Головиной. К счастью для Павла Петровича, императрица лишилась языка навсегда.[1]

---

[1] По поводу события 5-го ноября 1796 года А.Т.Болотов пишет: «Может быть, все сие случилось еще к лучшему, и что Провидение и Промысл Божеский восхотел оказать тем особливую ко всем россиянам милость, что устроил и расположил конец сей великой монархини точно сим, а не иным образом. Ежели б имела она обыкновенное жизни своей окончание и не *столь скоропостижное, а с предшествовавшею наперед и несколько недель*, или хотя дней, продолжающеюся болезнью, если бы пресечение жизни не было столь дружное, а медлительное, с употреблением до самаго конца жизни всех чувств, всего разума, памяти и языка, — то почему знать? — может быть, произошло бы что-нибудь, при сем конце жизни, такое, что произвело бы в государстве печальныя и бедственныя какие-нибудь последствия, или бы какия несогласия и безпокойства, неприятныя всем россиянам. Носившаяся до того молва, *якобы не намерена она была* оставить престол свой своему сыну, а в наследники по себе назначала своего внука, — подавало повод многим опасаться, чтоб чего-нибудь подобного при кончине государыни не воспоследовало. И все содрогались от одного и помышления о том. Но судьба все сии сомнительства и опасения вдруг и единым разом разрушила и уничтожила, сделав чрез скоропостижную и непредвиденную кончину императрицы то, что на престол ея вступил, без всякаго помешательства и оспаривания, законный и самый тот наследник, который и по родству, и по закону, и по всем правам, должен быть таковым, и который к сему еще от рождения своего был назначен». А.Т.Болотов:

Все старания докторов привести в чувство императрицу оказались тщетными; комнатная прислуга не была в силах поднять тело на кровать, и оно лежало в спальной комнате на полу на сафьянном матрасе.

Велико было смятение между доверенными царедворцами, ввиду известной им воли императрицы предстояло решить вопрос, какой принять образ действий в случае наступления непредвиденной случайности. Произошла минута колебания. По словам Ф.В.Ростопчина, первый, который предложил и нашел нужным уведомить цесаревича о случившемся, был граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский[1]. Решено было отправить в Гатчину брата князя Зубова, графа Николая Александровича Зубова.

Зная характер графа Н.И.Салтыкова, неудивительно, что он простер свойственную ему предусмотрительность до того, что не дозволил даже Александру Павловичу посетить и взглянуть на умиравшую императрицу. Он позволил ему пройти к Екатерине только в пятом часу пополудни, рассчитывая, что приближается уже время возможного прибытия наследника в Петербург. Опасения графа Салтыкова были напрасны. Великий князь Александр Павлович был далек от мысли воспользоваться положением дел, чтобы учинить какое-либо действо против прав своего отца на престол. Напротив того, он призвал к себе Ф.В.Ростопчина и, по

«Памятник претекших времен или краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухам». Москва. 1875, стр.164.

Не лишены также интереса записанные Болотовым слухи 1796 года по поводу вопроса о престолонаследии. Он пишет: «Слухи о несогласии в Петербурге, что великий князь Александр Павлович формально и почти на коленях от наследства отказался, и что императрица на него за то гневается и назначает в наследники Константина и для того его и женит. А Александр сделался любимцем цесаревича» (стр. 21).

Марта 11-го. «Молва, уже несколько раз до сего бывшая и всегда оказывавшаяся пустою и неосновательною, а именно, что императрица будет в Москву, для сложения своей короны и отдания оной наследнику, ею назначенному, возобновилась опять, около сего времени, но, по всем обстоятельствам, была такая же пустая и неосновательная, как и прежде. И Богу известно, с чего это люди брали и разглашали» (стр. 87).

[1] В состоявшемся тогда частном совещании некоторых сановников принимали участие: князь Зубов, граф Зубов, граф Безбородко, граф Николай Иванович Салтыков, генерал-прокурор Самойлов, граф Орлов-Чесменский и митрополит Гавриил.

возвращении из спальни императрицы, убедительно просил его ехать к цесаревичу для скорейшего извещения о безнадежном положении императрицы, прибавив, как пишет Ростопчин, «что хотя граф Николай Зубов и поехал в Гатчину, но я лучше от его имени могу разсказать о сем несчастном происшествии».[1]

Доехав домой на извозчике, Ростопчин велел запрячь маленькие сани в три лошади и через час прискакал в Софию. «Тогда уже было шесть часов пополудни», — пишет Ростопчин.

Между тем как все это случилось в Петербурге, цесаревич проводил в Гатчине день 5-го ноября обычным образом. Утром в 8 часов Павел Петрович катался в санях, затем в половине одиннадцатого часа вышел на плац перед дворцом, куда пришел батальон его высочества, и прошел с ним в манеж, где произведено было учение и вахтпарад. В первом часу их высочества со свитою отправились на гатчинскую мельницу к обеденному столу.

Таинственное и чудесное играли роль в жизни цесаревича, и он любил на этом останавливаться. Так случилось и в достопамятный для Павла Петровича день 5-го ноября. «Пред обедом, когда собрались дежурные и прочия особы, общество гатчинское составлявшия, великий князь и великая княгиня разсказывали Плещееву, Кушелеву, графу Вильгорскому и камергеру Бибикову, случившееся с ними той ночью. Наследник чувствовал во сне, что некая невидимая и сверхъестественная сила возносила его к небу. Он часто от этого просыпался, потом засыпал и опять был разбужен повторением того же самого сновидения, наконец, приметив, что великая княгиня не почивала, сообщил ей о своем сновидении и узнал, к взаимному их удивлению, что и она то же самое видела во сне и тем же самым была несколько раз разбужена.

По окончании обеденнаго стола, когда наследник со свитою возвращался в Гатчину, а именно в начале третьяго часа, прискакал к нему навстречу один из его гусаров, с донесением, что приехал в Гатчину шталмейстер граф Зубов

---

[1] Ф.В.Ростопчин: «Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I-го». Архив князя Воронцова, книга 8-я, стр. 162.

с каким-то весьма важным известием.[1] Наследник приказал скорее ехать и не мог никак вообразить себе истинной причины появления графа Зубова в Гатчине. Останавливался более он на той мысли, что, может быть, король шведский решился требовать в замужество великую княжну Александру Павловну, и что государыня его о том извещает.

По приезде наследника в гатчинский дворец граф Зубов был позван к нему в кабинет и объявил о случившемся с императрицею, рассказав все подробности. После сего наследник приказал наискорее запрячь лошадей в карету и, сев в оную с супругою, отправился в Петербург, а граф Зубов поскакал наперед в Софию для заготовления лошадей».

Так пишет хорошо осведомленный Ф.В.Ростопчин. Но существуют и другие рассказы, менее достоверные, некоторые эпизоды из которых заслуживают, однако, внимания. К числу таковых относится рассказ о том, что Павел Петрович, узнав о прибытии в Гатчину графа Зубова, обратился к великой княгине со словами: «Ma cheré, nous sommes perdus». Он думал, что Зубов приехал арестовать его и отвезти в замок Лоде, о чем давно ходили слухи. Когда же он узнал настоящую причину появления его в Гатчине, цесаревич испытал страшное душевное потрясение; внезапный переход от страха к противоположному чувству, к удовлетворению видеть себя наконец самодержцем, подействовал пагубным образом на нервы и самый мозг цесаревича. «Словом был вне от печали или от радости — Бог весть», — пишет современник. Кутайсов выразил впоследствии Я.И. де-Санглену сожаление, что не пустил великому князю немедленно кровь.

В Софии цесаревич встретил Ф.В.Ростопчина, посланного к нему великим князем Александром. — «Ah, c'est vous, mon cher Rostopchin», — сказал Павел Петрович и затем, расспросив подробно о происшествии этого дня, приказал

---

[1] В рассказах, записанных со слов генерала Котлубицкого, между цесаревичем и прискакавшим гусаром произошел следующий разговор. Наследник спросил его (гусары все вообще были из малороссиян): «Що там таке?» Посланный отвечал: «Зубов приихав, ваше высочество». — «А богацько их» (много ли их)? — спросил Павел. Гусар, вероятно, часто слыша русскую пословицу: один, как перст, и не понимая ее, отвечал: «один, як пес, ваше высочество». — «Ну, с одним можно справиться», — отвечал наследник, потом снял шляпу и перекрестился. («Русский Архив» 1866 года, стр. 1309).

ему следовать за собою. «J'aime à vous voir avec moi», — прибавил наследник. Ростопчин поскакал за каретою. Дорогою цесаревич беспрерывно встречал посланных из Петербурга разными лицами курьеров, которые составили предлинную свиту саней.

Ростопчин пишет: «Не было ни одной души из тех, кои, действительно или мнительно имея какия-либо сношения с окружавшими наследника, не отправили бы нарочного в Гатчину с известием: между прочим, один из придворных поваров и рыбный подрядчик наняли курьера и послали. Проехав Чесменский дворец, наследник вышел из кареты. Я привлек его внимание на красоту ночи. Она была самая тихая и светлая; холода было не более 3 градусов, луна то показывалась из-за облаков, то опять скрывалась. Стихии, как бы в ожидании важной перемены, пребывали в молчании, и царствовала глубокая тишина. Говоря о погоде, я увидел, что наследник устремил взгляд свой на луну, и, при полном ея сиянии, мог я заметить, что глаза его наполнялись слезами, и даже текли слезы по лицу. С моей стороны, преисполнен быв важности сего дня, предан будучи сердцем и душою тому, кто восходил на трон российский, любя отечество и представляя себе сильно все последствия, всю важность перваго шага, всякое онаго влияния на чувства преисполненнаго здоровьем, пылкостью и необычайным воображением самовластнаго монарха, отвыкшаго владеть собою, я не мог воздержаться от повелительнаго движения и, забыв разстояние между ним и мною, схватя его за руку, сказал: «Ah, monseigneur, quel moment pour vous». На это он отвечал, пожав крепко мою руку: «Attendez, mon cher, attendez. J'ai vécu quarante deux ans. Dieu m'a soutenu; peut-être donnera-t-il la force et la raison pour supporter l'état auquel il me destine. Espérons tout de Sa bonté».

Вечером около девяти часов цесаревич с великой княгиней Марией Федоровной прибыли в Зимний дворец, наполненный людьми всякого звания, объятыми страхом и любопытством и ожидавшими с трепетом кончины Екатерины. У всех была дума на уме, как замечает современник и очевидец, что теперь настанет пора, когда и подышать свободно не удастся. Великие князья Александр и Константин встретили родителя в мундирах своих гатчинских батальонов. По словам Ростопчина, «прием, ему сделанный, был уже в лице

государя, а не наследника». Хотя Екатерина еще дышала, но уже чувствовалась близость новой злополучной эры!

Цесаревич тотчас посетил умиравшую императрицу. Камер-фурьерский журнал впадает по этому случаю в несвойственный ему лиризм, и мы читаем: «Очи высочайших особ видели наипоразительнейшее зрелище. Его императорское высочество свою мать нашел в страдании болезни, лишенную всех чувств. Кого сие не тронет? Сыновняя горячность и чувствительность не возмогли вынести сей болезненной скорби, возродила чувства, темные сетования, их высочества пали пред лицом ея, лобызали руки! Трогательно сие поражало чувства у всех окружающих. Кто возможет объяснить горестное соболезнование его императорскаго высочества и ея императорскаго высочества о грозящей потери столь драгоценной для их особы».

Ростопчин об этой раздирающей сцене ничего не говорит, а пишет только: «Поговоря несколько с медиками и разспроса о всех подробностях происшедшаго, он пошел с супругою в угольный кабинет и туда призывал тех, с коими хотел разговаривать или коим что-либо приказывал».

Их высочества всю ночь провели безвыходно во внутренних покоях императрицы.

Итак, цесаревич не признал для себя предосудительным расположиться в угольном кабинете, прилегавшем к спальне Екатерины, так что все, кого он призывал к себе, должны были проходить, направляясь в кабинет и обратно, мимо тела еще дышавшей императрицы. Графиня Головина, резко осуждая в своих записках подобное неуважение цесаревича к особе государыни и матери, взволновавшее всех, пишет: «Cette profanation de la majesté souveraine, cette iréligion qui en aurait été une à l'égard du dernier des humains, choqua tout le monde».

В этом же угольном кабинете цесаревич принимал Аракчеева, прискакавшего, по его приказанию, вслед за ним из Гатчины. «Смотри, Алексей Андреевич, — сказал ему Павел, — служи мне верно, как и прежде». Затем, призвав великого князя Александра Павловича и, после лестного отзыва об Аракчееве, сложив их руки, он прибавил: «Будьте друзьями и помогайте мне». Александр, видя воротник Аракчеева забрызганным грязью от скорой езды и узнав, что он выехал из Гатчины в одном мундире, не имея с собой

никаких вещей, повел его к себе и дал ему собственную рубашку.[1]

Впоследствии Аракчеев рассказывал, что Павел Петрович поручил ему иметь над Александром наблюдение, как за бабушкиным баловнем, дабы доносить ему обо всем; вместе с тем Алексей Андреевич утверждал, что он при сем случае докладывал, чтобы государь избрал для этого дела кого-нибудь другого, он же для такого дела признает себя неспособным и не может быть орудием несогласия между отцом и сыном.[2] Но как бы то ни было, с этого рокового часа грубая и тусклая фигура Аракчеева получает историческое значение и навсегда заслоняет собою светлую личность Александра.

Между тем толпа в приемных Зимнего дворца увеличивалась все более и более. Начали появляться гатчинцы в своих уродливых мундирах; они бегали, суетились и толкали придворных, которые спрашивали себя с удивлением, что это за остроготы (ostrogots), для которых вдруг широко раскрывались двери во внутренние покои, тогда как прежде их не видывали даже в передних.

На рассвете 6-го ноября цесаревич вошел в спальню императрицы и спросил докторов, имеют ли они надежду, получив от них отрицательный ответ, Павел Петрович почувствовал себя, наконец, самодержцем. Императрица еще дышала, а между тем началась уже расправа за 1762 год; обер-гофмаршалу князю Барятинскому велено было ехать домой, а должность его была поручена графу Николаю Петровичу Шереметеву. Ростопчину цесаревич сказал: «Знай, что я назначаю тебя генерал-адъютантом, но не таким, чтобы гулять только по дворцу с тростью, а для того, чтобы ты правил военною частию». «Потом, — как пишет Ростопчин, — с четверть часа он разговаривал с камер-пажем Нелидовым, вероятно, о тетке его Катерине Ивановне, которая столь важную роль играла до восшествия императора Павла на престол; она уже восемь месяцев жила в Смольном монастыре, поссорившись с великою княгинею в Гатчине».

---

[1] Эта рубашка хранилась Аракчеевым в Грузине, как святыня, в сафьянном футляре, и в ней, согласно завещанию Алексея Андреевича, через 38 лет по получении этого дара, он был похоронен.

[2] «Исторический Вестник» 1894 года: «Рассказы графа А.А.Аракчеева И.Р.Мартову».

Ростопчин воспользовался милостивым расположением к нему цесаревича, чтобы замолвить доброе слово о графе Безбородко. Павел Петрович повелел передать ему, что, не имея против него неудовольствия, просит его забыть все прошедшее и что он рассчитывает на его усердие, зная дарования и способности его к делам. Затем, призвав к себе Безбородко, приказал ему заготовить указ о восшествии на престол и после неоднократного разговора с ним сказал Ростопчину: «Этот человек для меня дар Божий, спасибо тебе, что ты меня с ним помирил».

Вероятно, при посредстве графа Безбородко, посвященного Екатериной в дело об отстранении Павла Петровича от престола, все таинственные бумаги, касавшиеся этого переворота, перешли 6-го ноября в руки наследника и были сожжены. Все это совершилось еще до кончины императрицы.[1] По некоторым сведениям, князь Зубов играл также роль при передаче этих бумаг цесаревичу, указав место, где они хранились. Во всяком случае вполне достоверно, что еще при жизни Екатерины цесаревич приказал собрать и запечатать бумаги, находившиеся в кабинете, и, как отмечено в камер-фурьерском журнале, «сам начав собирать оныя прежде всех».

Между тем крепкий организм Екатерины продолжал бороться со смертью; замечались еще признаки жизни, но ежеминутно приходилось ожидать ее кончины. «Болезнь ея величества не оставляла нисколько, — повествует камер-фурьерский журнал, — страдание продолжалось безпрерывно: воздыхание утробы, хрипение, по временам извержение из гортани темной мокроты, не открывая очей печали, почти вне чувств, что рождало во всех уныние, и от господ медиков надежды к возвращению здоровья было не видно; все оное, очевидно, представляло невозвратимую потерю... По прошествии времени полудня до пяти часов, болезнь ея величества не уменьшалась нимало, сие предвещало близкую кончину, почему преосвященным Гавриилом митрополитом отправлено Всевышнему богомолие и канон при исходе души. Но кто минует неизбежность смерти по сей невременности? И наша благочестивейшая великая государыня императрица

---

[1] Существует предание, что, когда Павел с графом Безбородко совместно разбирали бумаги Екатерины, граф указал цесаревичу на пакет, перевязанный черною лентою. Павел вопросительно взглянул на Безбородко, который молча указал на топившийся камин. Этим объясняется отчасти источник тех щедрых наград, которые посыпались вскоре на графа Безбородко.

Екатерина Алексеевна, самодержица Всероссийская, быв объята страданием вышеописанной болезни, через продолжение 36-ти часов, без всякой перемены, имея от рождения 67 лет 6 месяцев и 15 дней, наконец, 6-го (17-го) ноября в четверток, по полудни, в три четверти десятаго часа, к сетованию всея России, в сей временной жизни скончалась».

Среди присутствовавших в комнате раздались «вопль, плач и сетование, которое и окончилось отданием последняго долга, целованием всемилостивейшей матери вселюбезнейшим ея сыном, государем наследником, его супругою и детьми его. Потом находящияся в опочивальной знатныя особы, вице-канцлер граф Остерман, граф Безбородко обергофмейстер, граф Самойлов генерал-прокурор, потом также и по команде служащие у покойной государыни камер-юнгферы, девицы и камердинеры приносили его императорскому высочеству государю наследнику великому князю Павлу Петровичу и его супруге всеподданическое поздравление с принятием императорскаго сана».

После столь продолжительной агонии, исказившей черты лица Екатерины, смерть возвратила им их обычный вид. По свидетельству Ростопчина, «приятность и величество возвратились опять в черты лица ея и представили еще царицу, которая славою своего царствования наполнила всю вселенную. — Слезы и рыдания не простирались далее той комнаты, в которой лежало тело государыни. Прочие наполнены были людьми знатными и чиновными, которые во всех происшествиях, и счастливых, и несчастных, заняты единственно сами собой, а сия минута для них всех была тем, что страшный суд для грешных. Граф Самойлов, вышедши в дежурную комнату, натурально с глупым и важным лицом, которое он тщетно вынуждал изъявлять сожаление, сказал: «Милостивые государи! Императрица Екатерина скончалась, а государь Павел Петрович изволил взойти на всероссийский престол». Тут некоторые бросились обнимать Самойлова и всех предстоящих, поздравляя с императором... Таким образом кончился последний день жизни императрицы Екатерины. Сколь ни велики были ее дела, а смерть ее слабо действовала на чувства людей. Казалось, все были в положении путешественника, сбившагося с дороги, но всякой надеялся попасть на нее скоро. Все, любя перемену, думали найти в ней выгоды, и всякой, закрыв глаза и зажав уши, пускался без души разыгрывать снова безумную лотерею безумнаго счастия».

А.С.Шишков посвятил Екатерине в своих записках следующие строки:

«Российское солнце погасло! Екатерина великая — телом во гробе, душою в небесах! Павел Первый воцарился. Никто не ожидал сей внезапной перемены. Кроткое и славное Екатеринино царствование, тридцать четыре года продолжавшееся, так всех усыпило, что, казалось, оно, как бы какому благому и безсмертному божеству порученное, никогда не кончится. Страшная весть о смерти ея, не предупрежденная никакою угрожающею опасностью, вдруг разнеслась и поразила сперва столицу, а потом и всю обширную Россию».

Кончина Екатерины произвела большое впечатление на народ. «Глас народа — глас Божий. По смерти Екатерины народу «жить похужело», хотя и при ней у этого народа, по его же свидетельству, «босоты да наготы изнавешаны шесты, а холоду да голоду амбары стоят»; по смерти Екатерины «всему царству почежелело», так как с нею закончился период государственных реформ, закончился надолго, вплоть до императора Александра II, продолжавшаго славный труд Петра I и Екатерины II».

Наступил краткий, но незабвенный по жестокости период четырехлетнего царствования императора Павла.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Воцарение императора Павла. — Первые мероприятия. — Увольнение Суворова. — Крестьянские волнения. — Случай с И.И.Дмитриевым. — Внешняя политика.

I

Не теряя ни одной минуты, император Павел, призвав к себе митрополита Гавриила, объявил ему о кончине императрицы Екатерины и повелел, чтобы в церкви было все приготовлено к принесению присяги. В это время императрица Мария Федоровна деятельно и с полным присутствием духа (une grande libertéd'esprit), как пишет графиня Головина, занялась одеванием усопшей государыни и уборкой ее комнаты. Тело было положено на кровать, поставленную посреди комнаты, и покрыто золотым глазетом; затем началось чтение Святого Евангелия.

Выход последовал в четверть двенадцатого часа в собрание, где находились все чины государства, которые приносили всеподданническое поздравление их величествам, после чего шествие направилось в придворную церковь. Здесь, по повелению государя, генерал-прокурор граф Самойлов прочел манифест о кончине императрицы Екатерины и о вступлении на наследственный прародительский престол императора Павла Петровича. «Наследником объявлен был государь цесаревич великий князь Александр Павлович».[1] По прочтении манифеста началась присяга, к которой первой приступила императрица Мария Федоровна; поцеловав крест и Святое Евангелие, она «пришла на свое императорское место, нежно обняв вселюбезнейшего своего супруга и государя, облобызав его три раза, целуя в уста и очи; потом чинили оную по порядку государь наследник с его супругою, великий князь Константин Павлович с его супругою, великие княжны Александра Павловна, Елена

---

[1] См. в приложениях манифест о вступлении на престол императора Павла I. В нем, подобно тому, как в манифесте при воцарении Петра III, ничего не упомянуто о наследнике, но в клятвенном обещании сказано было: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен его императорскому величеству... и его императорскаго величества любезнейшему сыну государю цесаревичу и великому князю Александру Павловичу, законному всероссийского престола наследнику, верно и нелицемерно служить».

Павловна, Мария Павловна и Екатерина Павловна; от присяги к государю императору подходили их высочества с коленопреклонением и лобызали десницу вселюбезнейшего своего родителя; потом преосвященный Гавриил и все духовенство и все предстоящие знатные особы, находившиеся в то время в церкви, чинили присягу».[1]

После провозглашения многолетия императору Павлу Петровичу все духовенство приносило поздравление с восшествием на престол и было жаловано к руке. Церемония окончилась только в два часа по полуночи, а затем их величества проследовали к телу покойной государыни, где отслужена была митрополитом Гавриилом панихида.

Возвратившись в собственные покои, император, пока раздевался, призвал к себе Ростопчина и сказал: «Ты устал, и мне совестно; но потрудись, пожалуйста, съезди с Архаровым к графу Орлову и приведи его к присяге. Его не было во дворце, а я не хочу, чтобы он забывал 28-е июня. Завтра скажи мне, как у вас дело сделается».

В этих немногих словах, сказанных Ростопчину, открывался основной мотив нового царствования: возмездие за 1762 год. Ничто не было забыто, и с каждым днем тяжелые воспоминания давно забытых темных дел умышленно выводились на свет Божий, причем сын являлся как бы судьею отношений, существовавших между его отцом и матерью.

Ростопчин вместе с Николаем Петровичем Архаровым отправились на Васильевский остров, где жил граф А.Г.Орлов. Он был уже нездоров, когда находился во дворце в печальный день 5-го ноября, и, не имея сил оставаться в нем долее, поехал домой через несколько часов по приезде наследника из Гатчины и лег в постель. Разбудили старика; он встал и, узнав о кончине императрицы, поднял вверх глаза, наполненные слезами, и сказал: «Господи! Помяни ее в царствии Твоем! Вечная ей память!» «Потом, продолжая плакать, — пишет Ростопчин, — он говорил с огорчением насчет того, как мог государь усомниться в его верности; говорил, что, служа матери его и отечеству, он служил и наследнику престола, и что ему, как императору, присягает с тем же чувством, как присягал и наследнику императрицы Екатерины. Все это он заключил предложением идти в

---

[1] «Камерфурьерский журнал» 1796 года.

церковь. Архаров тотчас показал на это свою готовность, но я, взяв уже тогда на себя первое действующее лицо, просил графа, чтобы он в церковь не ходил, а что я привез присягу, к которой рукоприкладства его достаточно будет.

«Нет, милостивый государь, — отвечал мне граф: — я буду и хочу присягать государю пред образом Божиим». И, сняв сам образ со стены, держа зажженную свечу в руке, читал твердым голосом присягу и, по окончании, приложил к ней руку; а за сим, поклонясь ему, мы оба пошли вон».

«Несмотря на трудное положение графа Орлова, — говорит в заключение Ростопчин, — я не приметил в нем ни малейшаго движения трусости или подлости».

В эту же ночь, когда присягал граф Орлов, князь Петр Михайлович в сопровождении Аракчеева, Капцевича и Апрелева расставлял новые пестрые будки и часовых[1]. Начались занятия «по-нашему, по-гатчински», но уже не в виде приятного развлечения; вскоре император поручил «бабушкину баловню» столько дела, что тот не имел почти минуты покоя. Но, к несчастью, дела были такого рода, что Александру приходилось терять все время на исполнение обязанностей унтер-офицера (des devoirs de bas-officiers), и в таких именно выражениях он оценил свою деятельность, начавшуюся для него с наступлением царствования императора Павла.[2]

На другое утро, 7-го ноября, император начал обычное гатчинское препровождение времени, перенесенное теперь в Петербург. В девятом часу Павел Петрович совершил первый верховой выезд по городу в сопровождении цесаревича Александра Павловича, а затем, в одиннадцатом, присутствовал при первом вахт-параде или разводе. С этого дня вахт-парад приобрел значение важного государственного дела и сделался на многие годы непременным ежедневным занятием русских самодержцев. По свидетельству очевидца, Саблукова: «Явились новые лица, новые сановники. И как они были одеты, о Боже! Несмотря на все наше горе по случаю кончины императрицы, мы от смеха держались за бока при виде этого маскарада. Великие князья Александр и Константин явились в своих новых мундирах; они напо-

---

1 Рассказы светлейшего князя П. М. Волконского записанные с его слов А. В. Висковатовым «Русская старина» 1876 года года, т. 16-й, стр. 179.

2 Письмо великого князя Александра Павловича к Лагарпу от 27-го сентября 1797 года из Гатчины. «Государственный Архив». Разряд V. № 190).

минали собою старые портреты немецких офицеров, вышедших из своих рамок».

Начиная с первого дня царствования Павла Петровича, государь ежедневно отдавал при пароле наследнику приказы, содержание которых причиняло многим нечаянные радости, но чаще незаслуженную печаль. Приказы подписывались цесаревичем и скреплялись Аракчеевым; такой порядок продолжался до отъезда двора на коронацию в марте месяце 1797 года.

Отныне «гатчинский капрал», по отзыву Ростопчина, взялся смирить высокомерие Екатерининских вельмож. При первом же разводе грубые приемы его обнаружились в полном блеске; гвардейцам ранее прочих пришлось ознакомиться со всеми прелестями его цветистой речи, услышать из уст его поощрение, выраженное гнусливым голосом в грозных словах: «Что же вы, ракалии, не маршируете! Вперед, марш!». Недоразумение произошло от ожидания команды «ступай», замененной, согласно гатчинскому уставу, иностранным словом «марш», пока еще чуждым слуху екатерининских солдат.

С каким чувствами Аракчеев относился к екатерининским преданиям, можно судить по следующему случаю, происшедшему во время инспектирования им, по поручению императора Павла, Екатеринославского полка: Аракчеев назвал знамена этого полка, прославившегося в войнах прошлого царствования, екатерининскими юбками!!! Легко себе представить, с каким негодованием должны были слушать офицеры века Екатерины подобные оскорбительные изречения, произнесенные громогласно человеком, не бывавшим никогда на войне и заявившим свою неустрашимость и усердие единственно на плацпарадах.

Первый высочайший приказ, отданный при пароле его императорскому высочеству Александру Павловичу 7-го ноября, состоял из следующих десяти статей:

«1-е. Пароль Полтава.

«2-е. Его императорское величество император Павел принимает на себя шефа и полковника всех гвардии полков.

«3-е. Его императорское высочество великий князь Александр Павлович в Семеновский полк полковником.

«4-е. Его императорское высочество великий князь Константин Павлович в Измайловский полк полковником.

«5-е. Его императорское высочество великий князь Николай Павлович в конную гвардию полковником.

«6-е. Полковник Аракчеев комендантом в городе.

«7-е. Адъютанты при его императорском величестве императоре Павле Петровиче назначаются: генерал-майор Плещеев, генерал-майор Шувалов, бригадир Ростопчин, полковник Кушелев, майор Котлубицский и камер-паж Нелидов, который и жалуется в майоры.

«8-е. Полковник Аракчеев в Преображенский полк штабом.

«9-е. Подполковнику Кологривову быть в эскадроне гусар, как в лейб, так и в его полку и казаками, что и будет составлять полк, прочее-ж поступать по уставу.

«10-е. Господам генералам другого мундира не носить, кроме того корпуса, которому принадлежат; вообще, чтоб офицеры не носили ни в каком случае иного одеяния, как мундиры».

Вот буквально содержание первого приказа, могущего служить образцом и для всех последовавших за ним повелений.

8-го ноября граф Н.И.Салтыков пожалован был фельдмаршалом; бригадир Ростопчин, полковники Кушелев, Аракчеев и Обольянинов в генерал-майоры, подполковник Кологривов в полковники. Повелено было также в этот день, «чтобы все отпускные гвардии офицеры непременно явились в свои полки в срок по узаконению. Все офицеры, не исправляющие должности, так как камергеры, камеръюнкеры, выключаются из полков вон».

9-го ноября, генерал князь Репнин пожалован был в фельдмаршалы. «Адъютант его императорского величества императора Нелидов производился в подполковники».[1] В том же приказе объявлено было: «Его императорское величество император сохраняет звание генерал-адмирала во флоте».

В приказе 10-го ноября явился отголосок и как бы подтверждение повеления Петра III-го в словах: «желающие в отставку гвардии офицеры, по указу о вольности дворян-

---

[1] Нелидову, бывшему при воцарении Павла еще камер-пажем, особенно посчастливилось. 1-го января 1797 года он был произведен в полковники, затем в том же году получил чин генерал-майора, анненскую ленту и звание генерал-адъютанта. Все заслуги его исчерпывались тем, что он был ближайший родственник Е.И.Нелидовой.

ства, выслужившие год, отставляются с повышением одного чина, а не выслужа году, тем же чином».

11-го ноября награжден был покровитель Аракчеева, генерал-поручик Мелиссино, пожалованием в генерал-аншефы.

Приказ 12-го ноября ознаменован был крайне оригинальным повелением: «Его императорское величество император всемилостивейше пожаловал графа Чернышева в фельдмаршалы по флоту, которому, однако, не быть генерал-адмиралом».

Щедрые милости одновременно посыпались и вне военного мира, в гражданском и даже в духовном ведомствах. Граф Безбородко произведен был в первый класс, вице-канцлер граф Остерман пожалован в канцлеры, а князь Александр Борисович Куракин вице-канцлером; сверх сего, он еще награжден был орденом св. Андрея Первозванного и получил 150.000 рублей на уплату долгов. Тот же орден получили также граф Николай Зубов (посланный в Гатчину 5-го ноября), адмирал И.Л.Голенищев-Кутузов, митрополит Гавриил и генерал-поручик Николай Петрович Архаров, который на другой день пожалован был в генерал-аншефы. Генералы Ростопчин и Аракчеев, сверх поименованных наград, получили еще аннинскую ленту, а Аракчеев и знаменитую впоследствии Грузинскую вотчину. 4-го декабря 1796 года, князь Алексей Борисович Куракин был назначен генерал-прокурором и присутствующим в совете его величества; 19-го декабря, он был пожалован кавалером ордена св.Александра Невского и вслед затем назначен министром уделов. Вообще это был, по выражению современника, не только дождь, но ливень всяких милостей и пожалований. Что же касается орденов, то император «не раздавал, а разметывал их». Но, к сожалению, все совершалось зря, под влиянием минутного вдохновения или руководствуясь мимолетною прихотью.

Камердинер Кутайсов не был позабыт императором Павлом. 8-го ноября, последовало повеление, в котором сказано: «Высочайше пожалован камердинер Иван Кутайсов в рассуждении долговременной и усердной его службы в гардеробмейстеры пятого класса с жалованием по 1.500 рублей на год из придворной конторы». Затем, 16-го декабря 1796 года, эта милость сопровождалась новым повелением: «За купленный у купца Николая Щербакова каменный дом, состоящий в первой Адмиралтейской части, высочайше

повелено заплатить из кабинета условленную цену сто десять тысяч рублей, а дом этот отдать гардеробмейстеру Ивану Кутайсову, которому оный дом пожалован в собственность».

Радостно встретил император Павел 10-е ноября. В этот день Гатчинские войска, вызванные в Петербург, вступили в столицу. По утру, в половине восьмого часа, государь в сопровождении наследника и свиты выехал верхом на встречу поджидаемых войск за Обуховский мост и во главе их возвратился к Зимнему дворцу. Когда войска вошли в алиниеман на Дворцовой площади, император сказал им: «Благодарю вас, мои друзья, за верную ко мне вашу службу, и, в награду за оную, вы поступаете в гвардию, а господа офицеры чин в чин».[1]

Впечатление, произведенное среди гвардии этим повелением, было потрясающее: «С какою радостию великие князья увиделись с своими сослуживцами, и с какою печалью мы должны были считать их своими товарищами, — повествует тогдашний измайловский гвардеец Е.Ф.Комаровский. — Иначе и быть не могло, ибо сии новые наши товарищи были не только без всякого воспитания, но многие из них самаго развратного поведения; некоторые даже ходили по кабакам, так что гвардейские наши солдаты гнушались быть у них под командою».

Не лучше отзывается о гатчинских пришельцах Н.А.Саблуков. «Что за офицеры! — пишет он. — Какие странные лица! Какие манеры! И как странно они говорили! Все они были малороссы. Легко представить себе впечатление, произведенное всем этим на общество, состоящее из ста тридцати двух офицеров, принадлежащих к лучшему дворянству. Все новые порядки и новые мундиры подверглись свободному разбору и почти всеобщему осуждению. Но мы вскоре убедились, что о каждом слове, произнесенном нами, доносилось куда следует. Какая перемена для полка, который до тех пор славился своим высоким тоном, согласием и единодушием».

Приведем еще свидетельство третьего современника Л.Н.Энгельгардта; он пишет: «Дико было видеть гатчинских офицеров вместе со старыми гвардейскими: эти были из

---

[1] Записки графа Е.Ф.Комаровского. «Исторический Вестник» 1897 года, т.69-й, стр. 343.

лучшего русского дворянства, более придворные, нежели фрунтовые офицеры; а те, кроме фрунта, ничего не знали; без малейшего воспитания, и были почти оборыш из армии; ибо как они не могли быть употреблены в войне и, кроме переходов из Гатчины в Павловск и из Павловска в Гатчину, никуда не перемещались, потому мало и было охотников служить в гатчинских войсках. Однакож несколько было из них и благонравных людей, хотя без особливого воспитания, но имеющих здравый рассудок и к добру склонное расположение».[1]

Образ жизни гвардейских офицеров совершенно изменился. По словам очевидца, «при императрице мы думали только о том, чтоб ездить в театры, в общества, ходили во фраках, а теперь с утра до вечера на полковом дворе, и учили нас всех, как рекрут».

Но павловские военные преобразования касались не одной внешности войск: они шли глубже. Насколько же преобразования отличались странными свойствами, можно усмотреть уже из того, что унтер-офицерам даны были алебарды вместо ружей. Подобное плацпарадное усовершенствование делало сразу бесполезными для боя до 100 человек в полку!

Высшим чинам армии, не исключая и фельдмаршалов, также пришлось учиться и знакомиться с тайнами гатчинской экзерциции. Введение старого прусского военного устава сопровождалось новыми требованиями по службе, так что старые генералы оказались настолько же несведущими, как и вновь произведенные прапорщики. Не только трудно было исполнять новые служебные требования, но нередко и понять их. Для просвещения невежд в Зимнем дворце устроен был тактический класс, за которым надзирал генерал-майор Аракчеев, а преподавал уроки подполковник Каннабих.[2] Хотя по приказу от 15-го декабря класс устроен был для штаб и обер-офицеров, но, из желания угодить

---

[1] Записки Льва Николаевича Энгельгардта (1766-1836). - Москва, 1867, стр. 197.

[2] И.Я.Каннабих был саксен-веймарский дворянин, кончил курс в Геттингенском университете и впоследствии командовал л.-гв. артиллерийским батальоном. Он был весьма искусен в верховой езде и особенно в выездке лошадей. В звании аудитора кирасирского наследника полка, Каннабих исполнял берейторскую должность в полку и с 1789 года обучал гатчинскую конную артиллерию. (Сведения об артиллерии гатчинских войск, С.-Петербург, 1851 г., стр. 21). А.С.Шишков пишет, что Каннабих был фехтовальным учителем в морском кадетском корпусе до поступления на службу в гатчинские войска к цесаревичу.

государю, отчасти же по необходимости, из чувства самосохранения, лекции посещались генералами и даже фельдмаршалом князем Репниным. А.П.Ермолов рассказывал по поводу этих лекций: «Чтобы вернее изобразить нелепость читателя и читаемого, я здесь приведу несколько слов из них. «Э, когда командуют: повзводно направо, офицер говорит коротково; Э, когда командуют: повзводно налево, то просто налево! Офицер, который тут стоял, так эспадон держал и так маршировал; и только всего и больше ничего» и т.д.[1]

Вот какою премудрость угощали победителя при Мачине; неудивительно, если она нас через десять лет привела к Аустерлицу.

II

Князь П.А.Вяземский справедливо заметил: «Все царствование Павла, вероятно, излишне очернено. Довольно и того, что было, но партии не довольствуются истиною». Весь смысл этой оценки правления преемника Екатерины заключается, конечно, в словах: «довольно и того, что было», черное же остается черным в самой объективной истории.

Новое царствование с первых же дней сделалось отрицанием предыдущего; роскошный, пышный двор императрицы преобразился в огромную кордегардию. От появления гатчинских любимцев в Зимнем дворце, по меткому выражению Державина, «тотчас все приняло другой вид, загремели шпоры, ботфорты, тесаки, и, будто по завоевании города, ворвались в покои везде военные люди с великим шумом».[2]

А.С.Шишков, в свою очередь, свидетельствует, что в один час все так переменилось, что, казалось, настал иной век, иная жизнь, иное бытие. «Я вошел в залу, — читаем мы в его записках, — и столько же поражен был удивлением, сколько удручен печалью. Перемена сия была так велика, что не иначе показалась мне, как бы неприятельским нашествием. Дворец наполнен был множества разнаго рода людей, стоявших неподвижно, с изображенными на лицах скорбью и беспокойством. Весь прежний блеск, вся величавость двора исчезла. Везде в нем и вокруг его появлялись

---

[1] Рассказы А.П.Ермолова. «Чтения», 1863 года.

[2] Записки Державина (1753-1812) в собрании его сочинений, т.6-й, стр. 701.

солдаты с ружьями. Знаменитейшие особы, первостепенные чиновники, управлявшие государственными делами, стояли, как бы лишенные уже должностей своих и званий, с поникнутою головою, не приметны в толпе народной. Люди малых чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал их, — бегали, повелевали, учреждали. Удивленный, смущенный от всего того, что глазам моим представлялось, возвратился я домой с печальными мыслями и сокрушенным сердцем».[1]

Другой современник, князь Ф.Н.Голицын, пишет: «Все чрез сутки приняло совсем новый вид: перемена мундиров в полках гвардии, вахтпарады, новые правила в военном учении; одним словом, кто бы за неделю до того уехал, по возвращении ничего бы не узнал. Дворец как будто обратился весь в казармы: внутренние бекеты, беспрестанно входящие и выходящие офицеры с повелениями, с приказами, особливо, по утру. Стук их сапог, шпор и тростей, все сие представляло совсем новую картину, к которой мы не привыкли. Тут уже тотчас было приметно, сколь государь страстно любил все военное, а особливо точность и аккуратность в движениях, следуя отчасти правилам Фредерика, короля прусского... Сей быстрый переход из кроткого и милосердного в столь строгое правление привел россиян в ужас и негодование. Для меня непонятным сделалось, отчего государь возымел к своему народу такую недоверчивость... Приписывают, однако ж, бедственной судьбе, постигшей Людовика XVI и его семейство, строгие поступки государя с его подданными».[2]

Ф.П.Лубяновский, приехавший в Петербург на третий день царствования Павла, сообщает в своих записках впечатление, которое произвели на него перемены, совершившиеся в столице: «Царь сам за работою с ранней зари, с шести часов утра![3] Генерал-прокурор, в доме которого жил князь (Н.В.Репнин), и я при нем, каждый день отправлялся с докладами во дворец в пять с половиной часов утра. Приходя с поручением от князя к графу Н.И. Салтыкову, в

---

[1] Записки А.С.Шишкова, стр. 9-10.

[2] Записки князя Ф.Н.Голицына. «Русский Архив» 1874 года, стр. 1306 и 1307.

[3] Еще в 1764 году Порошин заметил, что «его высочества система была, что надобно ложиться ранее и вставать ранее». Сделавшись императором, Павел Петрович остался верен усвоенной им издавна привычке.

исходе шестого часа утра, не один раз я находил уже его не в том, в другом комитете под председательством цесаревича наследника. Мир живет примером государя. В канцеляриях, в департаментах, в коллегиях, везде в столице свечи горели с пяти часов утра; с той же поры в вице-канцлерском доме, что был против Зимнего дворца, все люстры и все камины пылали. Сенаторы с восьми часов утра сидели за красным столом. Возрождение по военной части было еще явственнее — с головы началось. Седые с георгиевскими звездами военачальники учились маршировать, равняться, салютовать эспантоном... Нельзя было не заметить с первого шага в столице, как дрожь, и не от стужи только, словно эпидемия, всех равно пронимала».[1]

И.И.Дмитриев представляет в своих записках следующую картину нового царствования: «Восшествие на престол преемника Екатерины последуемо было крутыми переворотами во всех частях государственного управления: наместничества раздробились на губернии; учреждение, изданное для управления оных, изменилось; директоры экономии упразднены; некоторые из уездных городов превращены в посады; вместо древних, греческих или славянских названий, данных при князе Потемкине-Таврическом многим городам в Крыму и Екатеринославской губернии, возвращены имена прежние, татарские, или русские простонародные: Эвпаторис, Севастополис, Григориополис стали называться опять Кизикерменем, Козловым и пр. Все воинские и гражданские постановления сего недавно столь могущественнаго вельможи отброшены... В войсках введены были новый устав, новые чины, новый образ учения, даже новые командные слова, составленные из французских речений с русским склонением,[2] и новые, наконец, мундиры и обувь по образцу старинному, еще времен голстинских герцогов».[3]

Вступив на престол с предубеждением против всех екатерининских порядков, Павел Петрович, действительно, с поразительной поспешностью принялся за подвиг «исцеления» России: гатчинское управление должно было послу-

---

[1] Воспоминания Федора Петровича Лубяновского (1777-1834). - Москва, 1872, стр.91 и 93-94.

[2] «Вместо к ружью: вон! вместо ступай: марш! вместо заряжай: шаржируй!»

[3] Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника Ивана Ивановича Дмитриева. Москва, 1866 г., ч. 2-я, стр. 147-148.

жить образцом для управления Российской империей. Немедленно все пружины государственного строя были вывернуты, столкнуты со всех мест, и Россия вскоре приведена в хаотическое состояние.

Прежде всего была объявлена беспощадная война круглым шляпам, отложным воротникам, фракам, жилетам, сапогам с отворотами, панталонам. Всем предписывалось употребление пудры для волос, косичек, башмаков; волосы следовало зачесывать назад, а отнюдь не на лоб; едущим и пешеходам велено было останавливаться на улицах при встрече с императорской фамилией; сидящие в экипажах должны были выходить для поклона. Утром 8-го ноября усердная полиция успела уже обнародовать все эти правила. Это новое своего рода осадное положение, обрушившееся сразу на удивленное, ничего не подозревавшее городское население, сопровождалось в Петербурге бесчисленным множеством траги-комических сцен. Полиция у всякого идущего по улице в круглой шляпе срывала ее с головы; той же участи подвергались и другие части костюма. «Необыкновенность сия, — пишет Шишков, — производила вместе и смех, и роптание».

А.М.Тургенев входит в большие подробности относительно войны «жестокой, беспощадной», объявленной «злейшим врагам государства Русского — круглым шляпам, фракам и жилетам». Тургенев, как очевидец, рассказывает следующее: «Человек двести полицейских солдат и драгун, разделенных на три или четыре партии, бегали по улицам и, во исполнение повеления, срывали с проходящих круглые шляпы и истребляли их до основания; у фраков обрезывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрению начальника партии, капрала или унтер-офицера полицейского. Кампания быстро и победоносно кончена: в 12 часов утром не видели уже на улицах круглых шляп, фраки и жилеты приведены в несостояние действовать, и тысячи жителей Петрополя брели в дома их жительства с непокровенными главами и в раздранном одеянии, полунагие».[1]

Другим бичом наступившей новой эры явилась уродливая и неудобная форма для русского воинства. С какими муками сопряжен был солдатский туалет по гатчинскому

---

[1] Записки Александра Михайловича Тургенева. «Русская Старина» 1885 года, т. 47-й, стр. 381

обряду, можно судить по неподражаемому описанию, оставленному унтер-офицером Конного полка, назначенным ординарцем к государю в один из первых дней царствования Павла Петровича. Он пишет: «В пять часов утра я был уже на ротном дворе; двое гатчинских костюмеров, знатоков в высшей степени искусства обделывать на голове волоса по утвержденной форме и пригонять амуницию по уставу, были уже готовы; они мгновенно завладели моею головою, чтобы оболванить ее по утвержденной форме, и началась потеха. Меня посадили на скамью посредине комнаты, обстригли спереди волосы под гребенку, потом один из костюмеров, немного менее сажени ростом, начал мне переднюю часть головы натирать мелко истолченным мелом; если Бог благословит мне и еще 73 года жить на сем свете,[1] я этой проделки не забуду! Минут пять и много шесть усердного трения головы моей костюмером привели меня в такое состояние, что я испугался, полагал, что мне приключилась какая-либо немощь: глаза мои видели комнату, всех и все в ней находившееся вертящимися. Миллионы искр летели во всем пространстве, слезы текли из глаз ручьем. Я попросил дежурного вахмистра остановить на несколько минут действие г. костюмера, дать отдых несчастной голове моей. Просьба моя была уважена, и г. профессор оболванения голов по форме благоволил объявить вахтмейстеру, что сухой проделки на голове довольно, теперь только надобно смочить да засушить; я вздрогнул, услышав приговор костюмера о голове моей. Начинается мокрая операция. Чтобы не вымочить на мне белья, меня, вместо пудроманта, окутали рогожным кулем; костюмер стал против меня ровно в разрезе на две половины лица и, набрав в рот артельного квасу, начал из уст своих, как из пожарной трубы, опрыскивать черепоздание мое; едва он увлажил по шву головы, другой костюмер начал обильно сыпать пуховкою на голову муку во всех направлениях; по окончании сей операции, прочесали мне голову гребнем и приказали сидеть смирно, не ворочать головы, дать время образоваться на голове клестеркоре; сзади в волоса привязали мне железный, длиною восемь вершков, прут для образования косы по форме, букли приделали мне войлочные, огромной натуры, посредством

---

[1] А.М.Тургенев родился в 1772 году (26-го октября) и начал писать свои записки в 1848 году (26-го октября).

согнутой дугою проволоки, которая огибала череп головы и, опираясь на нем, держала войлочные фалконеты с обеих сторон, на высоте половины уха. К девяти часам утра составившаяся из муки кора затвердела на черепе головы моей, как изверженная лава волкана, и я под сим покровом мог безущербно выстоять под дождем, снегом несколько часов, как мраморная статуя, поставленная в саду. Принялись за облачение тела моего и украсили меня не яко невесту, но яко чучело, поставляемое в огородах для пугания ворон. Увидев себя в зеркале, я не мог понять, для чего преобразовали меня из вида человеческого в уродливый огороднаго чучелы».

По вступлении нового караула в Зимний дворец, к ординарцу подбежал Аракчеев и сказал: «Ступай за мной, ракалия, являться к государю». Павел Петрович милостиво обошелся с ординарцем и, потрепав его по плечу, сказал: «Эта одежда и Богу угодна, и вам хороша».[1]

Другой современник, описывая последовавшее с ним «несчастное и уродливое преобразование» говорит: «Прекрасные наши мундиры, украшающие и открывающие человека во всей природной его стройности, заменили каким-то нескладным мешком, делающим и самого прекрасного мужчину безобразным привидением; оный состоял из темнозеленого толстого мундира с лацканами, отложным воротником и разрезными обшлагами кирпичного цвета и белыми пуговицами; длинного камзола и короткого нижнего платья самого желтого цвета. Головы наши спереди остригли под гребенку, облили вонючим салом;[2] к вискам привесили огромные пукли, аршинную косу прикрутили вплоть к затылку и осыпали мукою; шляпу дали с широким городами серебряным галуном, такой же большой петлицей и с черным бантом; но эта шляпа была чудесной формы и едва прикрывала наши головы; фланелевый черный галстук в два пальца шириной перетягивал наши шеи до самой невозможности; ноги наши обули в курносые смазные башмаки и стянули за коленами черными суконными штиблетами с красными вдоль всей ноги пуговицами; вместо булатной, висящей при бедре сабли, наносящей врагу страх, воткнули в фалды наши по железной спичке, удобной только перего-

---

[1] «Русская Старина» 1885 года. т. 48-й, стр. 384-386.

[2] Из этого описания видно, что некоторые костюмеры заменяли мел и квас растопленным салом, как более дешевым средством.

нять мышей из житницы в житницу, а не защищать жизнь свою; все золотые блестящие вещи, как-то, эксельбант, эполет, шарф и темляк заменены серебряными с шелком; руки наши облекли кожаными перчатками с угловатыми большими и толстыми крагенами и вооружили короткими увесистыми палками. В таком карикатурном наряде я не мог равнодушно видеть себя в зеркале и от доброго сердца захохотал, несмотря на головную боль, происходящую от стянутия волос, вонючего сала и от крепко стянутой галстуком шеи».[1]

В таком виде явился к императору Павлу, в кабинете Зимнего дворца, один из будущих сподвижников Суворова, капитан Московского гренадерского полка Грязев, присланный из Вильны для ознакомления со всеми нововведениями. Государь, окинув Грязева глазами с головы до ног, поворачивал его направо и налево кругом и с восхищением восклицал: «Прекрасно! Прекрасно!»[2]

По замечанию Шишкова: «Наставшая вдруг, после долговременно продолжавшегося, тихого и кроткого царствования, крутая, строгая, необычайная перемена приводила всех в некоторый род печали и уныния. Все пошло на прусскую стать: мундиры, большие сапоги, длинные перчатки, высокие треугольные шляпы, усы, косы, пукли, ордонанс-гаузы, экзерцир-гаузы, шлагбаумы (имена доселе неизвестные) и даже крашение, как в Берлине, пестрою краскою мостов, будок и проч. Сие уничижительное подражание пруссакам напоминало забытые времена Петра III. К сему присовокуплялись еще и другие некоторые тревоги, как-то, ежедневное в городе беспокойство, причиняемое частыми выездами императора, требовавшего, чтобы все мужчины и женщины при встрече с ним останавливались и выходили из своих повозок или карет. От сего происходили многие иногда смешные, иногда жалкие приключения. Все сии новости подавали повод к разным пересказам, шепотам и толкам,

---

1 А.С.Пишчевич рассказывает, что, поступив на службу к А.Х.Обольянинову, назначенному генерал-провиантмейстером, он услышал от своего начальника совет: «ради Бога, переоденьтесь скорее по новому образцу». Затем, продолжает Пишчевич: «Когда я старанием моего портного и сапожника был превращен в прусскую обезьяну, то поспешил я своим видом обрадовать господина Обольянинова, который меня вовсе не узнал в сей гаерской одежде, толико она переменяла человека». (Жизнь А.С.Пишчевича, стр. 234 и 235).

2 Записки Грязева, сподвижника Суворова в 1799 году. «Русский Вестник» 1890 года. Стр. 254-255.

сопровождаемым огорчительными или насмешливыми улыбками».[1]

Все эти перемены в войсках, поражавшие современников своей уродливостью и непрактичностью, возбуждают удивление и сто лет спустя, тем более, что существовавшее при Екатерине II обмундирование, введенное Потемкиным, было просто, удобно, соображено с национальными особенностями и нравилось войскам. Даже наблюдательные иностранцы не скупились на похвалы по поводу состояния русской армии в момент кончины Екатерины; беспристрастные ценители и знатоки военного дела не могли не сочувствовать мнению Потемкина, что «туалет солдатской должен быть таков, что встал, то готов». Эта цель и была достигнута им блистательным образом[2]. Как выше уже было замечено, Екатерининское обмундирование солдат состояло из кафтана на подобие куртки и суконных шаровар; головной убор

---

1 Записки А. С. Шишкова, стр. 12-13.

2 Представляя императрице Екатерине в 1783 мнение об обмундировании войск, князь Потемкин между прочим писал: «В Россию, когда вводилось регулярство, вошли офицеры иностранные, с педантством тогдашнего времени; а наши, не зная прямой цены вещам военного снаряда, почли все священным и как будто таинственным. Им казалось, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах, ружейных приемах и проч. Занимая же себя таковою дрянью, и до сего еще времени не знают хорошо самых важных вещей, как-то: маршированья, разных построений и оборотов. А что касается до исправности ружья, тут полирование и лощение предпочтено доброте: стрелять же почти не умеют. Словом, одежда войск наших и амуниция таковы, что придумать почти нельзя лучше к угнетению солдата, тем паче, что он, взят будучи из крестьян, в тридцать почти лет возраста узнает узкие сапоги, множество подвязок, тесное нижнее платье и пропасть вещей, век сокращающих. Красота одежды военной состоит в равенстве и в соответствии вещей с их употреблением; платье чтобы было солдату одеждою, а не в тягость. Всякое щегольство должно уничтожить, ибо оно есть плод роскоши, требует много времени, иждивения и слуг, чего у солдата быть не может... Завивать, пудриться, плести косы, солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами... Представ свое мнение на высочайшую апробацию, Потемкин в заключение еще сказал: «Могу уверить ваше императорское величество, и самое время покажет, что таковое ваше попечение будет вечным свидетельством материнскаго вашего милосердия. Армия российская, извлеченная из муки, не престанет возносить молитвы. Солдат будет здоровее и, лишась щегольских оков, конечно поворотливее и храбрее».

Все эти благие реформы Потемкина, свидетельствующие о верном понимании им военного дела, были вырваны с корнем водворившимися в 1796 году фридриховскими порядками.

заключался в легкой каске; волоса острижены были в кружок. Все эти удобства должны были уступить место допотопной прусской одежде и не подходящему снаряжению; началось истинное мучение русскаго солдата, в разных видах продолжавшееся более пятидесяти лет.

В момент кончины Екатерины и воцарения Павла, Петербург, после Парижа и Лондона, был самой оживленной, самой изящной европейской столицей, пишет другой современник. «По внешнему блеску, роскоши и хорошему вкусу в частной жизни ничто не могло превзойти Петербурга 1796 года; таково было, по крайней мере, мнение иностранцев, посещавших во множестве Россию и затягивавших месяц за месяцем свое пребывание в ней, чтобы пользоваться веселием, гостеприимством и удобствами, которые Екатерина имела искусство распространить по всей империи. Почти невероятна внезапная перемена, совершившаяся по прошествии нескольких дней во внешности города. Благодаря вышеупомянутым полицейским мероприятиям, приводившимся в исполнение с крайнею суровостью, метаморфоза совершилась весьма быстро. Петербург перестал быть похожим на современный город и принял скучный вид немецкого города за два или за три столетия тому назад. К несчастью, перемена заключалась не в одной внешности; изменились не только экипажи, одежда, шляпы, сапоги, но изменился также дух жителей. Деспотизм, обрушившийся на все и коснувшийся самых незначащих сторон обыденной жизни, дал почувствовать себя тем более болезненно, что он проявился после целого периода полной личной свободы».

Все эти мысли высказаны Н.А.Саблуковым в своих записках, и отзыв его, как современника и очевидца, а вместе с тем человека, вполне преданного Павлу Петровичу и никогда ему не изменявшего, представляет особенную цену.

Другой современник этой эпохи, И.М.Муравьев-Апостол, утверждал, обращаясь к своим сыновьям, что они никогда не поймут громадного переворота, совершившегося в России со вступлением императора Павла на престол — переворота, столь резкого, что его не поймут потомки. Наступившую тогда новую эпоху в русской истории называли где как требовалось: «торжественно и громогласно — возрождением; в приятельской беседе, осторожно, вполголоса — царством власти, силы и страха; втайне, между четырех глаз — затмением свыше». — «Вообще сказать можно, был хаос совершенный», — заметил граф А.Р.Воронцов.

В такой простой, в такой наивной форме, как при Павле, самовластие еще ни разу не являлось в России. Это был своего рода бред или, как выразился граф Воронцов, хаос. Всякая идея политического прогресса была отстранена. «Одно понятие: самодержавие, одно желание: самодержавие неограниченное, — были двигателями всех действий Павла. В его царствование Россия обратилась почти в Турцию», — вот как отзывается об этих печальных днях барон Модест Андреевич Корф в неизданной главе его биографии графа Сперанского.

Однажды, по рассказу Алексея Федоровича Львова, автора народного гимна «Боже, царя храни», кто-то осмелился возражать императору Павлу, по поводу одного принятого им решения, и упомянул о законе. «Здесь ваш закон!» — крикнул государь, ударив себя в грудь. В этих немногих словах выразился весь смысл правительственной системы, усвоенной себе преемником Екатерины II-й. Очевидец этой печальной эпохи, князь Ф.Н.Голицын, вполне подтверждает подобный отзыв и пишет, что Павел Петрович был «горяч в первом движении до исступления. Личное самовластие в непременном исполнении самым скором образом его воли, хотя бы какие дурныя следствия от того ни произошли, было главный его порок. Он не столько полагался на законы, сколько на собственное свое произволение. Если что приказал министру, сей не смей ему на ту минуту ни малейшего делать представления». Если в столице в скором времени распространилось среди населения чувство страха и ужаса, то в провинции, по крайней мере, в мыслящих кружках, радость по поводу воцарения императора Павла была не продолжительна, если и допустить мгновенное проявление подобного чувства. Один из современников, находившийся в то время во внутренних губерниях России, сообщает о своих впечатлениях, относящихся к концу 1796 года, следующее замечание: «Разговор был о происшествиях того времени: смерть Екатерины и царствование Павла I, похожее уже при его начале на железное, было у всех на языке, которое, однакож, не меньше надлежит хвалить, ибо ежедневные скаканья установленных сим государем в России фельдъегерей поселили страх во все души; сих гонцов должность была увозить в Сибирь и другие заточения тех, на которых упадал гнев Павла I».

Тот же современник сопровождает свой рассказ заключительным рассуждением о возможных последствиях в бу-

дущем водворившегося в России гатчинского режима. «Молю Бога, — пишет этот беспритязательный наблюдатель, — чтобы отечество славилось толико при помощи переодетых пруссаков, колико оно в подсолнечной гремело от непобедимой руки законодательницы русской, которая в душе всякаго честнаго россиянина пребудет навеки. Дай Бог, чтобы гатчинская сволочь породила более неустрашимости в наших воинах, нежели которою они себя прославили, но не дай Бог, чтоб страж отечества имел их душу и заразился бы их образом мыслей. Казалось бы, что долг государя, как отца, не огорчать нас, вручивших ему нашу участь, которые суть его защита, которыми он живет, и без которых наивеличайший властелин есть ноль. Казалось бы, что ежели мы уже и хуже гатчинских офицеров, то прежде выгона нашего из службы должно было испытать, не способны ли мы на что-нибудь, ибо в отечестве всякаго рода люди потребны. Ежели властелин и сего не ведает, то горе его народу».

Стало несносно служить, а в особенности военным и более всего в Петербурге, или там, где появлялся Павел. Каждое утро, от генерала до прапорщика, все отправлялись на неизбежный вахт-парад, как на лобное место. Никто не знал, что его там ожидает: быстрое возвышение, ссылка в Сибирь, заточение в крепости, позорное выключение из службы, или даже телесное наказание. «За малые проступки, — пишет князь Ф.Н.Голицын, — следовали оскорбительные и почти честь трогающие наказания, беспрерывные аресты или посажение в крепость гвардии офицеров. Все сие покажется невероятным в предыдущие времена и нашему потомству. Сделаем здесь одно рассуждение. Дабы сему странному и несовместному обхождению происходить надлежало, чтобы государь имел как будто нарочно в характере противоположности и большую недоверчивость, чтобы любил беспрестанные перемены и чтобы считал нужным и полезным вперять в людях какой-то необыкновенный страх. Но всему есть мера, и самое в сем случае главное правило состоит, чтобы, приняв за основание своих поступков свойства и усердие подданых, на них установить образ своего правления... Все сии уничижительныя, несоразмерныя и необыкновенныя меры отвратили дворянство совершенно от службы. Упал дух, сделалось роптание».

Действительно строгая, но вместе с тем нелепая дисциплина, постоянное учение, нескончаемые взыскания и нака-

зания, переходившие всякие пределы, заставили дворян толпами бежать из военной службы, которая в мирное время представляла тысячу раз более опасностей, чем самая лютая война или самый кровопролитный штурм. «В предупреждение «такого самовольства дворян», император Павел запретил им начинать службу иначе, как в военном звании; исключение — сделано было только для коллегии иностранных дел». Достаточно пробежать одни военные приказы наступившего грозного четырехлетия, чтобы понять мысли и ощущения современников, со всеми их последствиями.

Не довольствуясь доносами, получавшимися тогда правительством в небывалых до того размерах, император Павел открыл для безнаказанного препровождения подобных бумаг еще новые двери. В Зимнем дворце установлен был снаружи ящик для жалоб и доносов; преследуемая цель была, может быть, и благая, чтобы таким путем доставить обиженному и слабому средство для защиты и оправдания. Но зло, сопровождавшее водворение этого нового лекарства для излечения общественных недугов, превышало возможную от него пользу. Благодаря личным особенностям характера воцарившегося тогда государя, ему представился удобный случай увеличить огромное число уже существовавших быстрых, необдуманных и безапеляционных решений еще новыми образцами в подобном же роде, вызвавшими, без сомнения, не раз непоправимое горе. Впрочем, злосчастный ящик просуществовал недолго; вскоре в нем стали появляться пасквили, карикатуры, вследствие чего это средство, придуманное Павлом для импровизированного правосудия, было упразднено.

Павловские преобразования не сопровождались одним стеснением в одежде и даже в домашней жизни бедных россиян, но они коснулись в корне и самых существенных сторон государственной жизни империи. Восстановлен был литовский статут в присоединенных от Польши губерниях; введен снова в употребление польский язык в сношениях с этими губерниями; восстановлены в Прибалтийском крае и в Выборгской губернии старинные уставы; изъяты некоторые области из-под действия общих законов империи. Следует также упомянуть о некоторых распоряжениях, касавшихся хотя и одних названий, но не лишенных внутреннего смысла. Так, например, в ноябре 1797 года повелено было Севастополь именовать его старым названием Ахтиара!! Все эти преобразования или, лучше сказать, ломка установив-

шегося разумного екатерининского государственного строя оставили глубокий след в последовавшей жизни России; они вызвали в будущем немало печальных явлений, которые никогда бы не имели места, если бы после Екатерины не явился на престоле недоброжелатель ее тридцатичетырехлетнего правления, стремившийся к тому же явить себя преобразователем. Во всяком случае, Россия вовсе не нуждалась в исцелении ее государственной организации мероприятиями в духе павловских нововведений. Таким образом оказывается, что манифест Петра III о вольности дворянства постигла в царствование Павла не лучшая участь, чем та, которая постигла узаконения Екатерины II. Заключим характеристику этой безотрадной эпохи картиной, рисуемой одним русским писателем: «Часы пробили двенадцать, и вместо нелепости жирной масленицы наступает суровый пост. Дворец превращается в кордегардию, везде дребезжит барабан, везде бьют палкой, бьют кнутом, тройки летят в Сибирь, император марширует, учит эспантоном, все безумно, бесчеловечно, неблагородно; своеволие на верху, il n'y a de grand que celui a qui je parle et pendant que je lui parle — рабство, дисциплина, молчание, рунд и приказы».

III

По поступкам, ознаменовавшим собою первые шаги нового императора, можно было готовиться к необычайным событиям. Но Павел сумел удивить даже своих приверженцев утонченными проявлениями злобы против установившегося в 1762 году порядка.

Павел решился воздать царские почести бренным останкам своего родителя, покоившимся уже тридцать четыре года и четыре месяца в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря. Гроб был вынут из могилы и поставлен посреди той же самой церкви.[1] Трудно установить, в какой день совершилось это событие; камер-фурьерский

---

[1] Некоторые современники этого события усматривали в почестях, воздаваемых праху Петра III, политическую мысль со стороны Павла Петровича; желание его будто бы заключалось в том, чтобы всенародно признать отцом того, который при жизни не хотел признавать его своим наследником. Если Павел Петрович намеревался подобным способом, доведенным однако до оскорбления праха своей матери, достигнуть указанной цели, то всякие неблагоприятные толки, если таковые действительно существовали, можно было пресечь несравненно легче иным способом: стоило бы начать царствовать по духу и по сердцу своей матери, и возможные нелепые толки умолкли бы сразу.

журнал об этом умалчивает, а, к тому же, некоторые важнейшие листы этой хроники, относящиеся до событий 1796 года, совершенно утрачены. Может быть, оно имело место 8-го ноября, потому что на другой день государь повелел уже отслужить о своем родителе панихиду в придворной церкви Зимнего дворца и в то же время дал князю Юсупову, обер-церемониймейстеру Валуеву и действительному статскому советнику Карадыкину указ, в котором написал: «По случаю кончины нашей государыни императрицы Екатерины Алексеевны, для пренесения из Свято-Троицкаго Александро-Невскаго монастыря в соборную Петропавловскую церковь тела любезнейшаго родителя нашего, блаженныя памяти государя императора Петра Федоровича, для погребения тела ея императорскаго величества в той же соборной церкви и для наложения единовременнаго траура, учредили мы печальную комиссию, в которую назначив вас к присутствию, все вышеписанное распорядить с подобающим уважением к особам государским и, составя образцы, тому сообразные, нам представить».

Затем последовало объявление, «каким порядком по их императорским величествам блаженной и вечной славы достойной памяти великом государе императоре Петре Федоровиче и великой государыне императрице Елисавете Алексеевне траур во весь год на четыре квартала быть имеет, начиная от 25-го ноября».

Изумленные россияне могли подумать, что Петр III и Екатерина II-я скончались одновременно в один и тот же день. Одним росчерком пера тридцать четыре года русской истории были как бы вычеркнуты из летописей, и царствование Павла I-го являлось законным продолжением правления его родителя!

Дальнейший официальный ход этого загробного апофеоза Петра III-го был следующий.

В летописи Александро-Невской лавры написано: «1796 года ноября 19-го числа, повелением благочестивейшаго самодержавнейшаго, великаго государя нашего императора Павла Петровича, вынуто тело в Невском монастыре погребеннаго, покойнаго благочестивейшаго государя императора Петра Федоровича, и в новый сделанный великолепный гроб, обитый золотым глазетом, с гербами императорскими, в приличных местах с гасами серебряными, с старым гробом, тело его положено. В тот день, в семь часов по полудни, изволили прибыть в Невский монастырь его императорское

величество, ея величество и их высочества, в нижнюю Благовещенскую церковь, где стояло тело, и, по прибытии их, открыт был гроб; к телу покойнаго государя изволили прикладываться его императорское величество, ея величество и их высочества, и потом закрыто было». После этой церемонии отпета была панихида.[1]

То же самое повторилось 20-го ноября в пять часов пополудни. При гробе, начиная с 19-го числа началось чтение Святого Евангелия, и учреждено дежурство из особ первых четырех классов. 25-го ноября, император Павел, в сопровождении только их высочеств и придворного штата, снова прибыл в церковь в десять часов утра; в этот день государь короновал прах Петра III. Дело происходило следующим образом: «Император вошел в царския врата, взял с престола приуготовленную корону, возложил на себя и потом, подойдя к останкам родителя своего, снял с главы своей корону и при возглашении вечной памяти положил ее на гроб в Бозе почившаго императора.

В тот же самый день, во втором часу пополудни, императрица Мария Федоровна возложила корону на главу покойной государыни, тело которой с 15-го ноября перенесено было из почивальной в тронную комнату на парадную кровать.

Вечером (25-го ноября), в седьмом часу, тело императрицы Екатерины положено было в гроб и с церемониею перенесено из тронной в большую галерею, где обыкновенно давались балы; здесь устроен был великолепный castrum doloris, который имел форму ротонды с приподнятым куполом.

1-го декабря герольды возвестили всенародно о предстоявшем на другой день перенесении тела императора Петра III из Невского монастыря в Зимний дворец. В четыре часа государь ездил «церемониально в Невский монастырь для отвезения туда всех императорских регалий, как-то: короны и орденов, все, сколько российский двор имеет». Таким образом, вокруг гроба Петра III и в этот день и на другой день, во время церемониального шествия, появились ордена, в его царство-

---

[1] В летописи Александро-Невской лавры повествование о вторичном погребении Петра III начинается с 19-го ноября, и ничего не упомянуто о первом посещении лавры императором Павлом, когда он повелел вскрыть могилу своего отца; это событие мы выше отнесли к 8-му ноября. Затем прошло некоторое время, которое потребно было для изготовления великолепного гроба и других необходимых приготовлений для предстоявших торжественных церемоний уже в присутствии всего двора.

вание еще не существовавшие и учрежденные императрицею Екатериной, как-то: св. Георгия и св. Владимира!

2-го декабря, все полки гвардии и бывшие в столице армейские полки построены были от Зимнего дворца до Невского монастыря, и удивленным петербургским жителям представилось зрелище, которое еще недавно не приснилось бы самому смелому воображению: из монастыря, при сильном морозе, двинулась в одиннадцать часов утра печальная процессия с останками Петра III, а за гробом шествовали пешком в глубоком трауре их величества и их высочества. В шествии участвовал также и граф А.Г.Орлов-Чесменский; ему повелено было нести императорскую корону! Погребальное шествие Петра III представляло и другую любопытную сторону; в числе знамен несены были также гербы областей, присоединенных к России Екатериною II, как-то знамя Таврического герба, Подольского, Волынского, Литовского,Самогитского, Семигальского и Курляндского. По прибытии процессии к Зимнему дворцу гроб Петра был внесен в залу и поставлен на катафалк рядом с гробом императрицы Екатерины!!! «Cette insulte mê me que la tombe ne peutéloigner, ce sacrilêge d'un fils envers sa mére, déchirait le coeur», пишет графиня Головина.

5-го декабря оба гроба одновременно перевезены были в Петропавловский собор. В процессии колесница с гробом императрицы следовала впереди, а за нею двигалась колесница с гробом императора, за которым шествовали их величества и их высочества. На лице у императора заметно было больше гнева, нежели печали; он на всех глядел свысока. Императрица Мария Федоровна плакала. «On enterre la Russie», заметил английский дипломат, присутствовавший на этой печальной церемонии.

По окончании отпевания и «поклонения особам любезных родителей», император сложил с себя печальную мантию и в сопровождении великих князей отправился верхом в Миллионную для «осматривания войск, поставленных в парад». Затем, в заключение все-таки состоялся неизменный вахт-парад, а за ним последовало еще обычное отдание приказа. Изменение в обычном препровождении времени выразилось только тем, что «обеденное кушанье их императорские величества иметь соизволили во внутренних комнатах в двух персонах.[1]

---

[1] Камер-фурьерский журнал 1796 года (5-го декабря).

С 5-го по 18-е декабря народ всякого звания допускаем был на поклонение в крепость беспрепятственно. Наконец, 18-го декабря, останки Петра III и Екатерины II были преданы земле, после панихиды, в присутствии их величеств и всей императорской фамилии.

Заметим здесь, что уже в приказе от 6-го декабря сказано было: «Генерал-фельдцейхмейстер князь Зубов увольняется в отставку, а генералу от артиллерии Мелиссину командовать оною частию без названия фельдцейхмейстером».[1]

По словам Вигеля, «явно преследуя память матери своей, новый император с особенной торжественностью поклонялся праху отца. Извлекая его из могилы, венчая во гробе, он только воскресил неуважение к сему давно забытому государю. Как святой Реми завоевателю Клодвигу, казалось, он говорил русскому народу: жги, что ты боготворил, и боготвори, что ты жег. Минерва в баснословии не имела матери, а сыну Минервы можно было бы забыть, что он имел отца».[2]

Тревожно и грустно взирал Александр на эту церемонию двойных похорон. Мечтатель юноша с романтическими идеями, одушевленный какой-то неопределенной филантропией, сознательно уклонившийся от политической роли, предназначенной ему Екатериной, очутился, подавленный ужасом, у подножия трона — бессильным помочь и лишенным возможности отойти! Наступает трагическая пора его истинно нерадостной жизни, и вскоре неумолимый рок потребует от него выбора между государственной пользой и сыновним чувством.

События двойных похорон воспето было неизвестным поэтом на страницах «С.-Петербургских Ведомостей» 1796 года (9-го декабря, № 99) под заглавием: «Надпись к императорским гробам».

«Два гроба и сердца, судьбою разлучены,
Соединяетъ сынъ, примерный изъ царей!

---

[1] Очевидно, что император Павел отложил увольнение князя Зубова до выноса тела Екатерины II из Зимнего дворца в Петропавловскую церковь. Нельзя при этом не заметить, что 24-го ноября последовал следующий приказ: «назначаются по артиллерии инспекторы: генерал-фельдцейхмейстер князь Зубов и артиллерийский генерал-от-инфантерии Мелиссино». Падение Зубова сопровождалось также удалением графа Аркадия Ивановича Моркова. 17-го ноября Морков отставлен был от службы, и повелено ему выехать из столицы в свои деревни.

[2] Записки Ф.Ф.Вигеля. Москва. 1891, часть 1-я, стр.75.

Падъ къ императорскимъ стопамъ его священнымъ,
Россия чтит пример любви сыновней сей;
И зря въ чувствительномъ порфирородномъ сыне
Чувствительна царя, отечества отца,
Чего лишилася въ Петре, Екатерине,
То въ Павле возвратя, благодарит Творца».

Но панегиристы подвига, совершенного «порфирородным сыном», не удовольствовались прославлением его в приведенных нами виршах; резец художника также принялся за возвеличение памяти Петра III. Появился ряд аллегорических картин.

В одной из них представлена внутренность храма; на возвышении стоит гроб; поднятую гробовую крышку поддерживает с одной стороны монах, с другой женщина в царском венце (Россия или богиня, олицетворяющая правду); в правой руке у нее скипетр, а в левой светильник, освещающий дивное зрелище: из гроба поднимается до половины Петр III, протягивающий руку императору Павлу. Подле монаха стоит женщина, изображающая правосудие, и держит в одной руке весы, склоняющиеся к Петру III, а в другой корону над его головой. Павел Петрович, имея в правой руке своей руку отца, оборотился и другою рукою указывает на Петра вельможам, которые выражают радость и одобрение; позади этой группы царедворцев граф А.Г.Орлов-Чесменский в ужасе как бы отстраняется от видения. От гроба сползают змеи. Перед гробом два крестьянина, из коих один на коленях, а другой, распростертый, лежит на полу; эта группа должна, вероятно, изображать признательный и обрадованный зрелищем российский народ. Вне церкви виднеется лагерь, перед которым выстроены гвардейские войска в гатчинском наряде; над ними летят богиня славы с лавровым венком в одной руке и с горящим факелом в другой и два голубя с миртовыми венками. Затем молния, сверкающая в темных облаках, ударяет в дерево, стоящее на горе и разбивает его до корня. На горизонте виднеется восходящее солнце. Под гравюрою написано: «Эксгумация Петра III 8 ноября 1796 в присутствии Его Величества Павла I, императора всея России».[1] Изобретательная фантазия Николая Анселина создала еще

[1] Д.А.Ровинский: Подобный словарь русских гравированных портретов. С.-Петербург, 1888, т.3-й, стр.1470.

другую картину, в которой представлено принятие Петром Великим в Елисейских полях Петра III. Изданная тогда же гравюра с этой картины также посвящена была императору Павлу. Здесь изображены на левой стороне ад: в пещере, за которой клубится пламя, сидят обнявшиеся Плутон и Прозерпина; внизу парки, цербер на цепи и три гиены. Харон отчаливает, чтобы ехать назад через Стикс; он перевез в ад трех лиц, из которых один лежит распростертым, другой пал на колени, как бы умоляя о продлении жизни, а третий сел и ломает себе руки. Это должны быть: граф А.Орлов, князь Барятинский и Пассек; фурии секут их пуками змей. Правая сторона картины представляет за рекою Елисейские поля; там Павел ведет за руку Петра III, который в короне, порфире и со скипетром; позади них женщина в саване: это должна быть Екатерина II, а близ них — богиня правосудия с весами в одной руке и с опущенным мечем в другой; по правой стороне зрители этой сцены: императрица Мария Федоровна, ведущая за руку ребенка, великие князья Александр и Константин и великие княжны. Всех этих зрителей ведут пляшущий амур и какая-то женщина. Петра III берет за руку спустившаяся на облаке женщина в шлеме, вероятно, Россия, и указывает на Петра Великого, который с облаков протягивает обе руки, призывая к себе Петра III. Над последним летит богиня славы с лавровым венком и с пламенником; около Петра Великого на облаках Марс и Юнона, выше их, на облаках же, храм славы, а на крыше его орел; в храме богиня славы как бы вещает миру о подвигах Петра III. Затем, в облаках, изображены боги Олимпа; в воздухе летят трубящая Слава и Меркурий. Внизу картины между деревьями представлен еще сидящий историк, который повествует о событиях мира; его слушает народ, а еще далее изображены крестьяне с орудиями работы и женщина с лирой. Внизу картины, в особом медальоне, представлены крестьяне, сеющие и убирающие хлеб, свидетельствующие о трудолюбии и благоденствии народа.

Наконец, появилась еще третья аллегорическая гравюра Валкера, сделанная с картины Луизы Перон Лабруе (Louise Peron la Brou). Под гравюрой, также посвященной Павлу I, имеется объяснение содержания представленной аллегории на русском и французском языках:

«Сыновнее благочестие «символ императорскаго обета» держит два медальона, изображающие Петра III и Екатерину II, и идет вставить их в пирамиду, долженствующую служить

памятником деяния. Император лобызает урн, в котором хранится прах Петра III и Екатерины II. Он сопровождаем мудростию, которая несет скипетр и корону, сопутствует ему правосудие и победа; посреди их находится российский гений. Соединенные народы созерцают явление. История вносит его в летопись, время в течении своем поднимает завесы и пропускает узреть внутренность храма незабвения, в коем лежит открытая книга, в ней написано Павел I. На лице жертвенника видна выпуклость, изображающая Петра I и Петра III, встречающих Екатерину II в Елисейских полях».

Император Павел не забыл привлечь к загробному апофеозу Петра III живых приверженцев своего отца: Гудовича, барона Унгерн-Штернберга и других. Они были осыпаны милостями со стороны признательного государя.

Потребовав к себе барона Унгерна, император обратился к нему с вопросом:

— Слышали вы, что я делаю для моего отца?

— Да, государь, я узнал об этом с удивлением.

— Как с удивлением, — заметил Павел Петрович, — разве я не исполняю долг свой? Смотрите, — продолжал он, обращаясь к портрету Петра III, находившемуся в кабинете: — я хочу, чтобы он был свидетелем моей благодарности к друзьям его.

Сказав это, государь обнял старого генерала и надел на него ленту св. Александра Невского. Почтенный старец, не ожидавший этой милости, вышел из кабинета, проливая слезы. Император поручил барону Унгерну наблюдать за порядком у гроба Петра III.

Наградив приверженцев отца, Павел Петрович с тем большей суровостью отнесся к участникам переворота 1762 года; немилость его коснулась даже женщины, княгини Екатерины Романовны Дашковой, и он не замедлил поступить с нею жестоким образом.

Еще в 1793 году, в минуту неудовольствия по поводу Княжнинской истории, императрица Екатерина сказала княгине Дашковой: «Если с моей стороны преступление занимать то место, на котором я нахожусь, так как я сознаю, что я не имела на него ни прав по рождению, ни каких-либо других, — то вы разделяете со мной это преступление». Павел Петрович как бы вдохновился этими словами Екатерины и 1-го декабря 1796 года послал московскому главнокомандующему М.М.Измайлову следующий рескрипт:

«Объявите княгине Дашковой, чтобы она, напамятовав происшествия, случившияся в 1762 году, выехала из Москвы в дальныя свои деревни. Пребываем вам благосклонны. Павел.

«Извольте смотреть, чтоб ехала немедленно».

Дашкова, несмотря на болезненное состояние, на третий день по получении повеления выехала из Москвы в свое Троицкое имение. Но этим не ограничились постигшие ее невзгоды. Вскоре последовало новое повеление, по которому больная княгиня вынуждена была 26-го декабря, во время сильнейшей стужи, отправиться в кибитке в одну из деревень ее сына, лежавшую в северной части Новгородской губернии, и там ожидать дальнейших распоряжений.

По достижении места своей ссылки, Дашкова, за неимением помещичьего дома в этой заброшенной деревне, поселилась в простой избе вместе с прислугой. По совету князя Репнина, опальная княгиня обратилась к императрице Марии Федоровне с просьбою ходатайствовать у государя, чтобы ей было дозволено возвратиться в Троицкое. При содействии Е.Н.Нелидовой, императрице удалось наконец добиться дарования ни в чем не повинной княгине Дашковой высочайшего разрешения возвратиться в Троицкое.

Более виновный в перевороте 1762 года, со всеми его последствиями, граф А.Г.Орлов-Чесменский испытал менее неприятностей; после нравственной пытки, наложенной на него в день 2-го декабря, ему разрешено было отправиться за границу, где он спокойно прожил до воцарения императора Александра. Находясь в 1798 году в Карлсбаде, граф Орлов с необыкновенной пышностью отпраздновал 29-е июня, день тезоименитства государя. На празднестве присутствовал А.С.Шишков, который в своих записках пишет: «Праздник был великолепный. Поутру собралось здешнее общество стрелков (давно уже избравшее графа Орлова своей главою) для стреляния в цель, с расписанными за меткость наградами. Все русские приглашены были к обеденному столу. После обеда — театр, где в аллегорическом балете выставлен был бюст императора Павла Первого, которому гении, при увенчивании оного лаврами, пели в честь разные стихи, напечатанные и раздаваемые всем зрителям. Ввечеру — блестящий бал с разными потчеваниями и ужином, за которым, при питии шампанского за здравие императора, палили из пушек, нарочно для сего выписанных и привезенных. Дом и прилежащая к нему роща были

богатой рукой освещены огнями, и, наконец, сожжен прекраснейший фейерверк. Я очень был рад сему празднику, доставившему мне случай сделать, с приложением петых стихов, подробное донесение, которое имело такой успех, что государь император, невзирая на великую свою к графу Орлову немилость, написал к нему благодарное письмо».

Действительно, император Павел, по случаю Карлсбадского празднества, писал Орлову:

«Граф Алексей Григорьевич! Узнав о празднестве, сделанном вами по случаю прошедшего дня моих именин, и судя из оного, что вы хотели дать мне лично знать о вашей ко мне преданности, я изъявляю вам мою благодарность, яко о деле, персонально ко мне относящемся, пребывая вам впрочем благосклонном. Павел».

Отмеченная нами уже не раз постоянная непоследовательность в действиях Павла Петровича подтверждается вновь блистательным образом и в этом только что приведенном случае.

Вообще, среди систематического преследования всего связанного с воспоминаниями о екатерининском царствовании, которое как бы вычеркивалось из скрижалей истории, особенно поражают два примера явного, как бы полного забвения прошлого: Петру Васильевичу Завадскому, бывшему когда-то фаворитом Екатерины II, пожаловано было графское достоинство, а проживавшему в Ревеле Алексею Григорьевичу Бобринскому повелено было прибыть в Петербург.[1] Здесь на Бобринского посыпались щедрые и неожиданные милости; 12-го ноября, ему пожаловано было графское достоинство, подарен дом, утверждены за ним имения, назначенные Екатериною; затем последовало назначение его шефом 4-го эскадрона конной гвардии, награждение Аннинской лентой, производство в генерал-майоры и т.д. Наконец на приеме во дворце император Павел, выведя графа Алексея Григорьевича вперед, представил его присутствовавшим, как своего брата.[2]

---

1 В 1790 году Алексей Григорьевич Бобринский из ротмистров конной гвардии уволен был от службы, по собственному прошению, с чином бригадира.

2 «Русский Архив» 1899 года, книга 1-я, стр.242.

Все это может казаться сновидением, при сравнении с другими событиями, сопровождавшими собою воцарение государя. Но, начиная с 6-го ноября 1796 года, по странной прихоти судьбы, на придворной и на политической сценах происходит небывалое представление; примирительные веяния, великодушные порывы, идут рука об руку с бичеванием намеченных заранее жертв, как отдельных личностей, так и целых учреждений. Благодаря подобному стечению изумительных противоположностей, новая эра является перед нами в виде сплошного, тяжелого кошмара, напоминающего порою, по выражению современника, «зады Иоанна Грозного».

Непоследовательность можно также видеть при рассмотрении отношений государя к князю Зубову. Сначала ему оказано было некоторое внимание и даже сострадание к его горю; затем стали проявляться даже признаки милости. Между прочим, по случаю выселения князя Зубова из дворца, для него куплен был дом и снабжен всем необходимым. Павел Петрович посетил его в сопровождении императрицы, причем при встрече с князем Зубовым произнес достопамятные слова: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Когда подали шампанское, государь сказал: «Сколько здесь капель, столько желаю тебе всего добраго», и, обращаясь к императрице, сказал: «Выпей все до капли». И, выпивши сам, разбил бокал. Платон Александрович припал к стопам государя и был поднят с повторением слов: «Я тебе сказал, кто старое помянет, тому глаз вон». Потом подали самовар. Государь сказал Марии Федоровне: «Разлей чай, у него ведь нет хозяйки».

После этой встречи казалось, что прошлое забыто в порыве необычайного великодушия. Но нет! 6-го декабря отдается приказ: «генерал-фельдцейхмейстер Зубов увольняется в отставку», а за сим посыпались денежные взыскания по поводу разных недочетов, оказавшихся или приписанных князю Зубову по делам, вверенным ему покойной императрицей. Наконец, в заключение, князю Платону Александровичу разрешен был отъезд за границу.

По странной случайности, путешествие князя Зубова отозвалось роковым образом на судьбе будущего знаменитого деятеля павловского царствования, барона Петра Алексеевича фон-дер-Палена. В момент проезда князя Зубова

через Ригу, здесь ожидали прибытия польского короля Станислава-Августа, отправляющегося в Петербург, и, по повелению государя, ему приготовлена была торжественная встреча. В назначенный день расставлена была на улицах стража из городских жителей (B rger Companien) и приготовлен был большой обед в доме Черных Голов (auf dem Hause der Schwrzen Haupter). Король в этот день не прибыл, а вместо него въехал в город князь Зубов. Собранные для почетной встречи короля бюргеры отдали Зубову честь, как русскому генералу, а часть обеда, приготовленного для короля, послужила для угощения князя. Обо все этом послан был донос к государю. Последствия его не заставили себя ждать. 26-го февраля 1797 года император подписал на имя Палена рескрипт оригинального содержания:

«Господин генерал-лейтенант Пален. С удивлением уведомился я обо всех подлостях, вами оказанных в проезд князя Зубова через Ригу; из сего и делаю я сродное о свойстве вашем заключение, по коему и поведение мое против вас соразмерно будет. Сие письмо можете показать генерал-лейтенанту Бенкендорфу».[1]

В тот же день последовал приказ, по которому генерал-лейтенант фон-дер-Пален «за почести и встречи, делаемые партикулярным людям, как-то при проезде князя Зубова, и за отлучку без увольнения в Митаву для провожания его же, выключен из службы».

Нельзя не обратить внимания еще и на то обстоятельство, что когда отдан был столь несправедливый приказ о бароне

---

[1] Христофор Иванович Бенкендорф занимал в то время место военного губернатора в Риге; он был женат на Анне-Юлиане Шиллинг фон-Канштадт, подруге детства императрицы Марии Федоровны. По случаю происшествий с князем Зубовым, генерал Бенкендорф получил 26-го февраля высочайший выговор в особом рескрипте: «Известясь обо всем, происшедшем в Риге в проезд князя Зубова, удивляюсь, как вы могли допустить все сие сделать, и, видя из сего слабость исправления должности вашей, делаю вам за сие выговор». Рижскому губернатору, барону Кампенгаузену, император Павел писал того же 26-го февраля: «С удивлением известился я о встрече и других почестях, сделанных мещанством рижским князю Зубову при проезде его через Ригу. Как подобные почести никому из приватных людей не принадлежат, то я и требую от вас ответа, для чего вы допустили делать оныя мещанство, в поступке коего видится одна лишь подлость, что вы им и объявите».

Палене, в Петербурге происходила закладка нового дворца, которому суждено было впоследствии играть столь важную роль в жизни этого временно опального генерала.

Вскоре после воцарения императора Павла, один солдат, стоявший у Летнего дворца на часах, объявил о случившемся ему чудесном видении Архангела Михаила. Это необычное происшествие доведено было до сведения государя, после чего в день вахт-парада, 20-го ноября 1796 года, последовало соответствующее распоряжение; в приказе, отданном при пароле, сказано было: «бывший Летний дворец называть Михайловским дворцом». Вместе с тем Павел Петрович решился построить на месте дворца, в котором он родился, новое великолепное сооружение, которое должно было затмить собою Зимний дворец, ненавистный ему уже по одному воспоминанию, что здесь жила и царствовала тридцать четыре года Екатерина II. Летний дворец был сломан, и 26-го февраля 1797 года император Павел на том же самом месте торжественно заложил первый камень будущего Михайловского замка».[1]

Еще в ноябре 1796 года повелено было употребить все возможные способы, чтобы помянутый замок в течение будущего 1797 года мог быть вчерне отделан.

Графиня Головина пишет, что во время работ, при устройстве фундамента этого дворца, найден был камень с именем «несчастно рожденного» императора Иоанна III. Таким образом это роковое имя явилось как бы на страже зарождавшегося нового злого дела. «На этом месте я родился, здесь хочу и умереть», сказал император Павел в 1801 году, когда он поселился в отстроенном уже Михайловском замке: желание его исполнилось с буквальной точностью.

Остается отметить еще одно повеление императора Павла, находившееся в связи с воспоминаниями о перевороте 1762 года. Последовал указ сенату от 26-го января 1797 года, в котором изображено: «Находящиеся в печатных 1762 года указных книгах по порядку нумерации листы в формате

---

[1] При закладке замка был положен мраморный камень с высеченною надписью: «В лето от Рождества Христова 1797 года, месяца февраля в 26-й день, в начале царствования государя императора и всея России самодержца Павла Перваго, положено основание сему зданию Михайловскаго замка его императорским величеством и супругою его государынею императрицею Марией Федоровной».

четвертки с третьяго на десять по двадцать первый и в формате осьмушки с седьмаго на десять по тридесятой, повелеваем во всех местах, где бы оныя книги ни находились, означенные листы из них выдрав, доставить без промедления к нашему генерал-прокурору, о чем имеет сенат учинить свое распоряжение и куда следует предписать о точном и самопоспешнейшем исполнении сей нашей воли».

По получении генерал-прокурором Александром Андреевичем Беклешовым выдранных листов манифеста Екатерины II, он донес, 2-го августа 1799 года, императору Павлу,[1] что «вследствие таковой высокомонаршей воли, по предписанию сената доставлены таковые листы из из всех губерний и прочих присутственных мест, также от многих частных людей». Затем генерал-прокурор испрашивал дальнейшего высочайшего повеления относительно доставленных ему выдранных листов манифеста. Полученное им указание заключалось в следующем распоряжении: «В тайной экспедиции сжечь оные, оставив два экземпляра для справки».

Действительно, после пышных похорон Петра III и коронования «бывшего императора», неудобно было оставлять в указных книгах обстоятельный манифест Екатерины II от 6-го июля 1762 года, в котором беспощадным образом осуждены были все действия кратковременного царствования Петра Федоровича и помещен был акт отречения, в котором он признавал «тягость и бремя» правления не соответственными с своими силами.

IV

Между тем перемены продолжали идти с неимоверной быстротой, они совершались не годами, не месяцами, а часами. Всякий мог почитать себя ежеминутно накануне гибели или быстрого возвышения. «Блеск и померцание вмиг — к восходу и к заходу текут наши светила с равною скоростью», — говорит современник.

Более чем тридцатичетырехлетнее царствование Екатерины приучило русских почитать себя в Европе. «Вдруг, —

---

[1] Пока по всей России исполняли предписанное указом 26-го января 1762 года, тогдашний генерал-прокурор князь Алексей Борисович Куракин был заменен 8-го августа 1798 Петром Васильевичем Лопухиным, который, в свою очередь, будучи уже светлейшим князем, уступил место 7-го июля 1799 года А.А.Беклешову.

пишет очевидец совершившегося переворота, — мы переброшены в самую глубину Азии и должны трепетать перед восточным владыкой, одетым однако же в мундир прусского покроя, с претензиями на новейшую французскую любезность и рыцарский дух средних веков: Версаль, Иерусалим и Берлин были его девизом, и таким образом всю строгость военной дисциплины и феодальное самоуправление умел он соединить в себе с необузданной властью ханской и прихотливым деспотизмом французского дореволюционного правительства».

Император Павел, ни в чем не разделявший воззрений своей матери, был, конечно, всегдашним противником разделов польских областей. Поэтому, после своего воцарения, он немедленно вспомнил о польских пленных, содержавшихся с 1794 года в Петербурге, и решил даровать им свободу, распространив затем эту милость и на прочих сосланных Екатериною поляков.

В воскресенье 16-го (27-го) ноября 1796 года, государь, в сопровождении наследника цесаревича, приехал в Мраморный дворец, в нижнем этаже которого содержался под строгим присмотром раненый, пленный Костюшко[1]. Павел сказал Костюшко, что давно сожалел о его участи, но не мог ничего для него сделать, теперь же может вознаградить пленника за перенесенные им продолжительные страдания. «Вы свободны, — прибавил император, — я сам желал принести вам эту утешительную весть». Костюшко был до того взволнован, что не мог выговорить ни слова. Император, тронутый, а, может быть, польщенный его замешательством, заговорил с ним ласково, сел подле него, постарался успокоить его и возбудить доверие; наконец, Костюшко нашел слова для выражения своей признательности и, вспомнив о своих соотечественниках, спросил, будут ли освобождены и другие польские пленные. «Они будут также освобождены», ответил государь, «хотя в моем Совете многие высказались против освобождения Потоцкого и Немцевича; находят их слишком опасными». «Хотите вы», прибавил он, «дать мне ваше слово

---

[1] Дворец, служивший пребыванием Костюшко, в некоторых рассказах обратился в темницу. Немцевич, которого никто не станет подозревать в симпатии к России, называет в своих записках место заключения Костюшки «palais d'Orlow». Между тем на некоторых гравюрах, увековечивших посещение императором Павлом польского узника, изображена мрачная темница, не имеющая ничего общего с бывшим дворцом князя Г.Г.Орлова. Над входом этого дворца еще красовалась надпись: «здание благодарности».

и принять на себя ручательство за их хорошее поведение?». Костюшко ответил, что за Немцевича он ручается, а относительно Потоцкого не может принять на себя какое-либо обязательство, не переговорив с ним предварительно. Павел Петрович остался очень доволен этою осторожностью Костюшки, которая ручалась за искренность его намерений, и разрешил ему ехать к Потоцкому, когда только он того пожелает. Затем Костюшко просил государя позволить ему удалиться в Америку. Император изъявил ему свое согласие и обещал даровать генералу средства для осуществления этого путешествия. Великий князь Александр был настолько растроган болезненным и печальным видом Костюшки, что прощаясь обнял его несколько раз со слезами на глазах.[1]

При посещении Потоцкого император выказал свойственные ему остроумие и очаровательную любезность. «Я знаю, — сказал он Потоцкому, — что вы много страдали, что вас долго оскорбляли и преследовали; но в последнее царствование все честные люди подвергались подобной участи, и я первый. Мои министры решительно воспротивились вашему освобождению; я один был противного мнения, и я не знаю, каким образом оно взяло верх. Вообще эти господа очень желали вести меня за нос; но, к несчастию для них, у меня его нет». И сказав это, он провел рукою вдоль по лицу, которая скользила, как по ровной поверхности. «Вы свободны, — продолжал он, — но обещайте мне оставаться спокойным. Рассудок должен указать вам на эту необходимость. Новыя попытки могут только навлечь на вас новыя несчастия. Я всегда был против раздела Польши, признавая его делом настолько же несправедливым, как и неполитическим; но теперь это — совершившийся факт. Для восстановления Польши необходимо содействие и согласие со стороны трех держав на возвращение отобранных частей: но представляется ли вероятным, чтобы Австрия и в особенности король прусский отдали свои доли? Не могу же я один отдать принадлежавшую мне часть и ослабить себя в то самое время, когда они усилились? Это невозможно. Разве я один

---

[1] По другим сведениям Павел сказал еще польскому генералу: «Такому храброму воину неприлично быть без шпаги, возьмите мою». Государь вынул ее из портупеи и подал глубоко тронутому Костюшке. - «Призываю Бога в свидетели, что пожалованной мне шпаги русского царя я никогда не обнажу против русских», - произнес Костюшко, преклоняясь перед императором. Костюшко честно сдержал данный им обет, и по воцарении Александра I ни в 1806, ни даже в 1812 году он не последовал за Наполеоном в Польшу.

обязан объявить им войну, чтобы их к этому принудить? Это представляется еще менее возможным. Империя моя крайне нуждается в мире. Итак, вы видите, что вам следует подчиниться обстоятельствам и оставаться спокойными».

Потоцкий, тронутый откровенной и милостивой речью государя, дал ему с полным чистосердечием требуемое обещание.

В начале декабря все пленные поляки покинули Петербург. Костюшко направился через Швецию и Англию в Америку после прощальной аудиенции у императора в Зимнем дворце. Государь пожаловал Костюшке тысячу душ, но по прошению его этот дар заменили деньгами, вследствие чего, 23-го ноября 1796 года, повелено было выдать ему 60.000 рублей из кабинета.[1]

29-го ноября 1796 года объявлена была, в указ сенату, амнистия всем вообще полякам: «подпавшим под наказание, заточение и ссылку, по случаю бывших в Польше замешательств». Император повелевал «всех таковых освободить и отпустить в прежние их жилища; а заграничных, буде пожелают, и за границу. О исполнении сего наш сенат имеет учинить немедленно надлежащия распоряжения, предписав куда следует, чтоб со стороны губернских правлений и других земских начальств взяты были меры к наблюдению, дабы сии освобождаемые оставались спокойно и вели себя добропорядочно, не входя ни в какие вредные сношения, под опасением тягчайшего наказания».

Внимание, оказанное императором Павлом польским деятелям, распространилось и на развенчанного короля польского Станислава-Августа, проживавшего в Гродно со времени раздела Речи Посполитой. Государь пригласил его к себе в Петербург. 27-го февраля 1797 года, король прибыл в парадной карете в назначенный для его пребывания Мраморный дворец, где высокого гостя ожидал император Павел и великие князья Александр и Константин. Государь окружил безземельного короля царскими почестями и относился к нему с самым изысканным вниманием. Оказав милости пленным полякам, воцарившийся государь не позабыл также и двух русских знаменитых политических заключен-

---

[1] Расходы императора Павла I-го в первые три недели его царствования. «Русская Старина» 1873 года, т.8-й, стр.99. В этом же списке расходов записано: 1641 р. 30 к. за купленные для генерал-поручика Костюшки разные вещи, одежду и карету.

ных. 23-го ноября 1796 года состоялся следующий рескрипт на имя генерал-прокурора графа Самойлова:

«Граф Александр Николаевич! Всемилостивейше повеле-ваем находящагося в Илимске на житье Александра Радищева оттуда освободить, а жить ему в своих деревнях, предписав начальнику губернии, где он пребывание иметь будет, чтобы наблюдаемо было за его поведением и перепискою.

«Павел».

Отсюда видно, что выезд из деревни, а следовательно пребывание в столицах, были, однако, воспрещены автору «Путешествия из Петербурга в Москву»; этим правом Радищев воспользовался только в следующее царствование.[1]

Затем освобожден был из Шлиссельбургской крепости Новиков и принят императором 5-го декабря, после полудня в пять часов, в самый день выноса тела императрицы Екатерины в Петропавловский собор. По словам Николая Ивановича, государь встретил его «весьма милостиво и так, что описать не может». Действительно, по приезде в Петербург, прямо из Шлиссельбурга, Новиков представился императору обросшим бородою; на вопрос государя, чего он хочет за все им претерпенное, — Новиков отвечал просьбою об освобождении всех заключенных по его делу, что и было повелено исполнить. Николаю Ивановичу разрешено было отправиться к семейству в подмосковную деревню.[2]

Император Павел вызвал также из Москвы массона Ивана Владимировича Лопухина, подвергавшегося в 1792 году допросам и разным неприятностям по делу Новикова. «4-го декабря (1796 года) предстал я пред Павла Перваго», пишет Лопухин. «Он так милостиво меня принял и такой имел дар приласкать, когда хотел, что ни с кем всю мою жизнь не был я так свободен при первом свидании, как с сим грозным императором». 5-го декабря государь пожаловал Лопухина в действительные статские советники и назначил состоять при себе секретарем. Вечером того же дня государь призвал к себе Лопухина и приказал ему объявить

---

[1] Радищев по освобождении из Илимска поселился в с.Немцове, в двух верстах от Малоярославца.

[2] Впоследствии Новиков был вторично призван к императору, но Николай Иванович не был царедворцем. Когда государь показал ему крест св. Иоанна Иерусалимского, то он сказал: «Мы, государь, лучше этого можем учредить». Слова эти были приняты с неудовольствием. Придворные интриганы, воспользовавшись этим обстоятельством, оттерли его от государя.

генерал-прокурору волю его об освобождении всех без изъятия заточенных в тайной экспедиции, кроме повредившихся в уме. «О сих последних приказал государь усугубить попечение к возможному излечению, для освобождения также их по выздоровлении», — пишет Лопухин. «И вообще приказал он по сей экспедиции принять меры к лучшему и сколько можно спокойнейшему содержанию арестантов. Я обнимал колена государя, давшего сие повеление, точно, кажется, по одному чувствованию любви к человечеству. Я уверен, что при редком государе больше, как при Павле I, можно было бы сделать добра для государства, если б окружавшие его руководствовались усердием к отечеству, а не выгодами собственной корысти».[1]

Вскоре Лопухину пришлось несколько разочароваться в своих похвалах; правдолюбие его и частые споры с государем кончились тем, что 20-го января 1797 года Лопухин пожалован был тайным советником и назначен сенатором в 5-й московский департамент, в котором производились уголовные дела. Лопухин продолжал и здесь проводить свои человеколюбивые воззрения, которые принимаемы были, скрепя сердце, сенаторами считавшими его «за тайное око государево» в московском сенате.[2]

Но если были оказаны милости, вызванные особыми соображениями, то явления обратного рода оставались, все-таки, преобладающими. «Корабль не грузится, а выгружается способными людьми», справедливо отметил наблюдательный современник.[3]

Высочайше утвержденные штаты полков кирасирских, драгунских, гусарских, гренадерских, мушкатерских, егерьских и мушкатерских батальонов с росписью полевым его императорского величества войскам (П.С.З., книга штатов), 29-го ноября в предложении, данном военной коллегии от

---

[1] Записки Ивана Владимировича Лопухина были изданы три раза: 1) в Лондоне в1860 году Искандером, 2) в «Чтениях общ. ист.и др.» 1860 года, книги 2 и 3, 3) в «Русском Архиве» 1884 года, книга 1-я.

[2] В числе освобожденных императором Павлом лиц находился прорицатель Авель, содержавшийся в Шлиссельбургской крепости, за предсказание кончины императрицы Екатерины. Вскоре Авель снова начал пророчествовать и предсказал скорую кончину государя; тогда повелено было заключить Авеля в Петропавловскую крепость, из которой освобождение его последовало уже по воцарении Александра I.

[3] Архив князя Воронцова, книга 12-я, стр.242. (Письма графа П.В.Завадовского к графу А.Р.Воронцову от 25-го декабря 1799 года.

президента оной графа Салтыкова, сказано, чтобы разослать «по всем воинским командам экземпляры тех уставов и штатов», а затем во исполнение высочайшей воли предписать, «дабы с получения оных к приведению войск в новое положение, тотчас приступили и во всем при устроении их теми уставами руководствовались». П.С.Лебедев в статье: «Преобразователи русской армии в царствование императора Павла Петровича 1796-1801» («Русская Старина» 1877 года, т. 18-й), подробнее разобрал пагубные последствия для русской армии павловских нововведений.

В четыре года и четыре месяца своего царствования император Павел уволил, отставил и выкинул из службы 7 фельдмаршалов, более 300 генералов и свыше 2000 штаб и обер-офицеров. Вдумываясь в целесообразность подобных мероприятий, не следует для надлежащей их оценки забывать, что численность русской армии в то время не превосходила 400.000 человек.

Печальным примером подобной «выгрузки» служит Суворов. Можно было предвидеть отрицательное отношение нашего великого полководца к нововведениям Павла Петровича; обмундирование и обучение войск, содержание их и дисциплина — все противоречило практическому опыту фельдмаршала. Екатерина имеет уже по одному тому право на бессмертие, что она не только не препятствовала, но даже способствовала развитию величайшего русского военного гения. Теперь случилось обратное: громкие заслуги, оказанные в прошлом царствовании, не имели в глазах Павла никакого значения; они как бы не существовали, или, что еще хуже, подвергались резкому осуждению. Так например, по поводу прагского штурма государь написал, что он не почитает его «действием военным, а единственно закланием жидов». Весьма естественно, что на Суворова стали смотреть как на заурядного, а порою даже вредного генерала, нарушающего стройность и порядок непогрешимого ратного строя.

«Я лучше прусского покойного великого короля, я, милостию Божиею, батальи не проигрывал. — Русские прусских всегда бивали, что же тут перенять... это де невозможно. А прежде того я буду в сырой земле», — говорил Суворов.

Хвостову же «вождь вождей» писал: «Нет вшивее пруссаков, лаузер или вшивень назывался их плащ; в шильтгаузе и возле будки без заразы не пройдешь, а головною их вонью вам подарят обморок. Мы от гадины были чисты, и первая

докука ныне солдат — штиблеты: гной ногам... опыт военнаго искусства (новый устав) найден в углу развалин древняго замка, на пергаменте, изъеденном мышами, свидетельствован Штенвером и Линденером и переведен на немо-российский язык». Суворов находил, что екатерининская система военного управления больше приноровлена была к особенностям России, чем павловские реформы, которые хотели водворить среди русской национальной армии наемнические особенности армии прусской; по его мнению, Россия — не Пруссия, и русскому государю не достанет зрения за всем самому усмотреть. Получив палочки для образцов и меры солдатских кос и буклей, Суворов отозвался: «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец — природный русак». К тому же фельдмаршал осмелился находить, что «разводы скучные, шаг уменьшают в 3/4, и так на неприятеля вместо 40-30 верст».

Проповедуя подобную ересь против гатчинской непогрешимости, Суворов сознательно готовился к печальной развязке, которая не заставила себя долго ждать. У фельдмаршала не было недостатка в недоброжелателях, которые воспользовались прекрасным случаем, чтобы погубить «упрямого чудака». 6-го февраля 1797 года отдан был после вахт-парада следующий приказ, похоронивший собою представителя русской военной славы:

«Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь его императорскому величеству, что, так как войны нет, и ему делать нечего, то за подобный отзыв отставляется от службы».[1]

Суворов, расставшись с армией, рассчитывал поселиться в своем Кобринском имении и сделаться пахарем; но старика не замедлили лишить и этого последнего утешения. 22-го апреля коллежский ассесор Николаев предъявил Суворову в Кобрине высочайшее повеление немедленно привезти его в боровицкие деревни и препоручить городничему, «а в случае надобности требовать помощи от всякаго начальства». 5-го мая 1797 года Суворов был доставлен в свою

---

[1] Суворов при отставке даже лишен был военного мундира на основании приказа от 7-го декабря 1796 года, который гласил: «Всем отставным, которые отставлены после четвертаго сего декабря, не носить никаких военных мундиров, а его императорское величество предоставляет себе жаловать оное преимущество при отставке, смотря на заслугу и поведение, кому позволить носить мундир».

родовую вотчину, село Кончанское, Боровицкого уезда, Новгородской губернии.

Другой русский герой Екатерининского века, граф Румянцев-Задунайский, был счастливее Суворова. Смерть избавила его от могущих случиться огорчений; фельдмаршал скончался 8-го декабря 1796 года.[1]

«Нравственная атмосфера сделалась тяжелою до удушливости, — пишет биограф генералиссимуса Суворова, — в ней не могли долго жить люди, сознававшие в себе духовную природу и не считавшие себя за манекенов».

Еще раз повторилось дословно то, что замечено было нашим историком С.М.Соловьевым по поводу воцарения Петра III. «Большинство встретило мрачно новое царствование, — пишет Соловьев, — знали характер нового государя и не ждали ничего хорошего». Но между обоими царствованиями все-таки замечается огромная разница, и, при сравнении их между собой, весы отнюдь не склоняются в пользу сына. Мрачное предчувствие большинства не признали даже нужным умерить такими мероприятиями, которые в 1762 году осветили некоторым блеском первые недели нового царствования, вызвав к жизни, хотя и не надолго, примирительные веяния. Ничего подобного не случилось в 1796 году. Павел Петрович, напротив того, поставил себе как бы преднамеренной задачей вызвать своими действиями одни «дурные импрессии», когда-то подмеченные самим цесаревичем в правлении своего отца.

Для подтверждения высказанной мысли достаточно указать здесь на отмену одной существеннейшей статьи екатерининской, жалованной дворянству грамоты, приведенную в исполнение вскоре после воцарения Павла I. На докладе сената от 2-го января 1797 года по поводу одного уголовного дела, решенного согласно статье дворянской грамоты 1785 г., в которой сказано: «Телесное наказание да не коснется до благороднаго», — император положил, 3-го января 1797 года, собственноручную резолюцию: «Как скоро снято дворянство, то уже и привилегия до него не касается. По чему и впредь поступать». На основании приведенного указа,

---

[1] В приказе от 21-го декабря 1796 года повелено было: «Налагается тридневной военный траур по кончине фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского, начиная с завтрашняго числа».

провинившихся по уголовным делам дворян начали, сверх лишения дворянства, присуждать к наказанию кнутом с вырезанием ноздрей, заклеймению и ссылке в тяжкую работу.

Несмотря на столь назидательное и явное возвращение к прежним, забытым уже, варварским временам, несколько отодвинутым на задний план заботами Екатерины, в русской историографии сделано было в последнее время удивительное открытие, которое грозит придать некоторый ореол даже указу 3-го января 1797 года; оказывается, что найдена руководящая мысль кратковременного царствования Павла Петровича; она заключается в уничтожении сословных привилегий и в водворении правды и законности в государстве. Неясным остается только вопрос, почему для достижения этой благой цели потребовалось произвести уравнение сословий не в хорошем, а в дурном смысле, то-есть, отчего не старались к правам дворянского сословия приблизить права или отсутствие прав прочих сословий, а наоборот? В сущности, дело сводилось к такому приему: чтобы идти вперед, нужно повернуть назад. Но как бы то ни было, во всяком случае, следует признать, что приписываемый императору Павлу первый шаг к какому-то уравнению сословий исполнен был довольно своеобразным способом, который по прошествии ста лет производит такие же «дурные импрессии», как и на современников 1797 года.

V

Вероятно, подмеченное в Павле Петровиче стремление к уравнению сословий побудило его повелеть, чтобы крестьяне присягали ему наравне с прочими сословиями империи. Но эта опрометчивая мера едва не стоила России страшного кровопролития и потрясения государственных основ. Среди крестьян распространилась молва, что присяга для того происходит, «чтобы впредь не быть за помещиками». Начались повсеместные толки о том, что новый государь освободил крестьян, но помещики и власти скрывают это от народа. Вспыхнули беспорядки, и для усмирения их власти вынуждены были прибегнуть к содействию войск. Наконец, правительству пришлось обратиться к чрезвычайным мерам ввиду получения с разных сторон тревожных известий о

крестьянском движении.[1] 20-го января 1797 года император Павел назначил фельдмаршала князя Репнина для усмирения взбунтовавшихся крестьян,[2] а 29-го января обнародован был манифест о должном послушании крестьян своим помещикам и об обязанности губернских начальств подвергать ослушников законному наказанию. Содержание этого манифеста было следующее: «С самаго вступления нашего на прародительский наш императорский престол, предположили мы за правило наблюдать и точно взыскивать, дабы каждый из верноподданаго нам народа обращался в пределах, званию и состоянию его преднаписанных, исполняя его обязанность и удаляяся всему тому противнаго, яко разрушающаго порядок и спокойствие в обществе. Ныне уведомляемся, что в некоторых губерниях крестьяне, помещикам принадлежащие, выходят из должнаго им послушания, возмечтав, будто бы они имеют учиниться свободными, и простирают упрямство и буйство до такой степени, что и самым прещениям и увещаниям от начальств и властей, нами постановленных, не внемлют. Соболезнуя милосердно о таковых развращающихся с пути истиннаго и полагая тут виною более заблуждение внемлющих лживым внушениям и огласкам, от людей праздных по легкомыслию или же и корыстным видам рассеваемым, восхотели мы, предварительно всяким усильным мерам, к укрощению буйства подобнаго, влекущим обыкновенно за собою самыя бедственныя и разорительныя для некоторых последования, употребить средства кроткия и человеколюбивыя: по чему монаршим и отеческим гласом нашим взываем всех и каждаго, да обратятся к должному законам и власти повиновению, ведая, что Закон Божий поучает повиноваться властям предержащим, из коих нет ни единой, которая бы не от Бога поставлена была. Повелеваем, чтоб все помещикам принад-

---

[1] Первое известие о начавшемся мятеже было получено в Петербурге 22-го декабря 1796 года, а именно о бунте крестьян в Олонецкой губернии. (Де-Пуле: Крестьянское движение при императоре Павле Петровиче. «Русский Архив» 1869 года).

[2] Когда скончалась Екатерина, князь Репнин в чине генерал-аншефа занимал место генерал-губернатора в Литве, а также в Лифляндии и Эстляндии, командуя вместе с тем расположенными в них войсками. Ввиду волнений, начавшихся в северных губерниях, князь Репнин отправился из Петербурга сперва в Вологду, а затем через Москву в Орел и Калугу.

лежащие крестьяне, спокойно пребывая в прежнем их звании, были послушны помещикам своим в оброках, работах и, словом, всякаго рода крестьянских повинностях, под опасением за преслушание и своевольство неизбежнаго по строгости законной наказания. Всякое правительство, власть и начальство, наблюдая за тишиною и устройством в ведении, ему вверенном, долженствует в противном случае подавать руку помощи и крестьян, кои дерзнут чинить ослушание и буйство, подвергать законному суждению и наказанию. Духовные, наипаче же священники приходские, имеют обязанность предостерегать прихожан своих противу ложных и вредных разглашений и утверждать в благонравии и повиновении господам своим, памятуя, что небрежение их о словесном стаде, им вверенном, как в мире сем взыщется начальством их, так в будущем веке должны будут дать ответ пред страшным судом Божиим во вреде, от небрежения их произойти могущем. Сей указ наш прочитайте во всех церквах всенародно».

Манифест не вразумил крестьян, рассчитывавших получить свободу. Самое кровопролитное дело по этому мятежу имело место 13-го февраля 1797 года, в Орловской губернии, в селе Брасове; крестьяне, не имея огнестрельного оружия, оборонялись цепами и дубинами, но действовали с таким упорством, что, по выражению князя Репнина, силою пришлось начать их покорение. Сделано было 33 пушечных выстрела и израсходовано 600 патронов, причем сгорели 16 крестьянских домов. Убито в деле 20 крестьян, ранено 70 человек. После двухчасового дела крестьяне пали наконец на колени и стали просить помилования, покоряясь законной власти.

15-го февраля князь Репнин писал орловскому губернатору: «Благоволите, ваше превосходительство, во известие всем обывателям Орловской губернии, вам вверенной, приказать объявить, что села Брасова с деревнями крестьяне генерал-лейтенанта Апраскина, за их упорное неповиновение правительству, от высочайшей власти установленному, и их помещику, не внемля даже высочайшему манифесту его величества, от 29-го января сего 1797 года, и за их упорственное сопротивление войскам его императорскаго величества, наказаны силою оружия и преданы, яко изверги, злодеи и преступники, огню и мечу; что тела их, справедливо погибших от их богопротивнаго преступления, недостойныя

погребения общего с верными подданными, зарыты в особую яму, с надписью, для всегдашняго омерзительнаго презрения всем верным подданным, что «тут лежат преступники против Бога, государя и помещика, справедливо наказанные огнем и мечом, по закону Божию и государеву», и, наконец, что дом их начинщика и перваго начальника в сем богомерзком преступлении, деревни Ивановской крестьянина, Емельяна Чернодырова, истреблен до основания, так что и остатков онаго не видно. Дабы все, о том быв известны, в подобныя пагубныя злодеяния не впадали».

Письмо князя Репнина воспроизводит, без всяких прикрас, печальную картину всего случившегося 13-го февраля; фельдмаршал вынужден был творить не суд, а одну кровавую расправу, и она была жестокая, но имевшаяся в виду цель была вполне достигнута. Страх, возбужденный суровостью наказания, подействовал таким отрезвляющим образом, что бунт сразу прервался; князь Репнин нашел даже возможным вывести через четыре дня войска, расположившиеся в бунтовавшей местности.

Насколько орловские беспорядки тревожили императора Павла, можно судить по наградам, данным за успешное окончание Брасовской баталии; князю Горчакову дана была Аннинская лента, а полк его получил высочайшую благодарность. Менее посчастливилось генералу Линденеру: ему от крестьян крепко досталось по спине дубиной, а при пароле государь повелел объявить его полку строгий выговор.

Мятеж среди сельского населения всего сильнее разыгрался в Орловской, а затем в Тульской и Калужской губерниях. Как значится в официальной переписке того времени, беспорядки сводились к «глупым подражаниям» одних крестьян другим, «без заговоров вообще»; все же дело вызвано было единственно «глупыми слухами». В заключение возникшего недоразумения, пошли в ход легкие казни, без дальних судов: плети, батоги, и постепенно все утихло.[1]

---

[1] Один вице-губернатор усмирил крестьян «своебычливым» способом. Когда крестьяне у одной помещицы разбежались, то он «пересек кнутьем жен их и среднего возраста детей», а затем сжег особо стоящую клеть; но, прибавил вице-губернатор во всеподданнейшем донесении, «из-за сего никого из скрывающихся не явилось».

Среди печальных явлений, сопровождавших крестьянские волнения, замечается еще одна особенность: это деятельное участие в мятежах сельского духовенства. В официальных бумагах нередко упоминается о «развратителях крестьян».

2-го марта, фельдмаршал князь Репнин прибыл в Москву и оттуда на другой день выехал в Петербург для личного доклада о всем происшедшем государю. Непослушание крестьян можно было считать пресеченным, и законный порядок восстановленным.

Крестьянские волнения отразились до некоторой степени и в Петербурге. А.Т.Болотов записал следующий, относящийся к этим событиям случай: «Затеяли было и господские лакеи просить на господ своих и, собравшись несколько человек ватагою, сочинили челобитную и, пришед вместе, подали жалобу сию государю, при разводе находившемуся. В оной, очернив возможнейшим образом своих господ и возведя на них тысячи зол, просили они, чтоб он освободил их от тиранства своих помещиков, говоря прямо, что они не хотят быть в услужении их, а желают лучше служить ему. Государь тотчас проникнул, какия страшныя, опасныя и бедственныя последствия могут произойти, если ему удовольствовать их просьбу и сквозь пальцы просмотреть, или еще одобрить их дерзновение, а потому поступил и в сем случае так, как от самаго премудраго монарха требовать и ожидать бы можно было. Он, прочитав просьбу и обозрев окружающих его, подозвал к себе одного из полицейских и приказал, взяв сих людей и отведя на рынок, публично наказать нещадным образом плетьми и столько, сколько похотят сами их помещики. И, не удовольствуясь сим, на самой их просьбе написал: дерзновенных сих, в страх другим и дабы никто другой не отважился утруждать его такими недельными просьбами, наказать публично нещадным образом плетьми. — Сим единым разом погасил он искру, которая могла бы развесть страшный пожар, и прогнал у всех слуг и рабов (желание) просить на господ своих. Поступком же сим приобрел себе всеобщую похвалу и благодарность от всего дворянства. Все сии не могли довольно восхвалить его за сие и желали, чтоб он и впредь был толико же благорассудительным и мудрым».

Не менее замечательный случай, по тому же поводу, произошел с Иваном Ивановичем Дмитриевым, служившим в Семеновском полку. Получив очередным порядком чин капитана гвардии, поэт наш уже мечтал о вожделенной отставке, когда последовала кончина императрицы Екатерины; находясь в то время в отпуску, он тотчас поскакал в Петербург. Дела его устроились как нельзя лучше; 17-го

декабря Дмитриев уволен был в отставку с чином полковника и с ношением мундира».

«Доволен будучи столь удачным началом, — пишет Дмитриев в своих записках,[1] — я расположился еще несколько дней просидеть дома, а потом представиться императору Павлу и принести ему благодарность мою на вахтпараде; но представление мое случилось прежде, и, притом, необыкновенным образом. В самый день Рождества Спасителя, поутру, я лежал на кровати и читал книгу. Растворяется дверь, и входит ко мне полицмейстер Чулков, спрашивает меня, я ли отставной полковник Дмитриев. Получа подтверждение, приглашает меня к императору, и как можно скорее. Я тотчас обновляю новый мундир и выхожу с Чулковым их моих комнат. В сенях вижу приставленнаго к наружным дверям часового. Я сказал только моим служителям, следовавшим за мною: «скажите братьям». Один из них был двоюродный мой брат И.П.Бекетов, Семеновскаго полка капитан, нанимавший в одном доме со мною средний этаж; а другой родной, Семеновский же сержант. Выйдя из ворот, мы садимся в полицмейстерскую карету и скачем ко дворцу. Останавливаемся на углу адмиралтейства, против перваго дворцоваго подъезда. Полицмейстер, выскоча из кареты, сказал мне, что он скоро возвратится, и пошел во дворец.

Между тем как на дворцовой площади продолжался вахт-парад, зрелище для меня новое, я в одном мундире, в тонком канифасном галстуке, дрожал в карете от жестокаго мороза и ломал себе голову, чтоб отгадать причину столь внезапнаго и необыкновеннаго происшествия. Однакож, невольно видел всю гвардию, от офицера до рядового, в новом убранстве или, лучше сказать, в том образе, в каком она в Семилетнюю войну находилась.

Наконец полицмейстер показался в подъезде, махнул платком, и карета подъехала. Вышед из оной, встречаюсь я с сослуживцем моим, штабс-капитаном В.И.Лихачевым, отставленным со мною в одно время и жившим, как и я в Гороховой улице. По приезде моем в Петербург, мы еще в первый раз увиделись. Полицмейстер ставит нас рядом и приглашает нас следовать за ним вверх по лестнице.

---

[1] Взгляд на мою жизнь, часть 2-я, стр.124-131.

Доселе я довольно бодрствовал, ибо забыл о празднике и думал, что проведут нас пустыми комнатами, мимо часовых, прямо в кабинет к государю, но с первым шагом во внутренние покои я поражен был неожиданною картиною: вижу в них весь город, всех военных и статских чиновников, первоклассных вельмож, придворных обоего пола, во всем блеске великолепного их наряда, и вдоль анфилады — самого государя! Окруженный военным генералитетом и офицерами, он ожидал нас в той комнате, где отдавались пароль и императорские приказы. При входе нашем в нее, он указывает нам место против себя, потом, обратясь к генералитету, объясняет ему, что неизвестный человек оставил у будочника письмо на императорское имя, извещающее, будто полковник Дмитриев и штабс-капитан Лихачев умышляют на жизнь его. «Слушайте, — продолжал он и начал читать письмо, которое лежало у него в шляпе. По прочтении онаго государь сказал: — Имя не подписано; но я поручил военному губернатору (Николаю Петровичу Архарову) отыскать доносителя. Между тем, — продолжал он, обратясь к нам, — я отдаю вас ему на руки. Хотя мне и приятно думать, что это клевета, но со всем тем я не могу оставить такого случая без уважения. Впрочем, — прибавил он, говоря уже на общее лицо, — я сам знаю, что государь такой же человек, как и все; что и он может иметь и слабость, и пороки; но я так еще мало царствую, что едва ли мог успеть сделать кому-либо какое зло, хотя бы хотел того». Помолчав немного, заключил сими словами: «Если же хотеть, чтоб меня только не было, то надобно же кому-нибудь быть на моем месте, а дети мои еще так молоды!» При сем слове князья бросились целовать его руки. Все восколебалось и зашумело: генералы и офицеры напирали и отступали: как прилив и отлив, и целовали императора, кто в руку, кто в плечо, кто ловил поцеловать полу. «Когда же все утихло и пришло в прежний порядок, император откланялся. Архаров кивнул нам головой, чтобы мы шли за ним. В передней комнате сдал нас полицмейстеру, который и привез нас в дом военнаго губернатора».

Один из очевидцев этого умилительного зрелища сообщает в своих записках еще одну дополнительную подробность. Государь пошел к императрице и с восторгом сказал ей: «Теперь я уверен, что крепко сижу на престоле; я сейчас получил новую присягу!» — а затем рассказал ей все подробности того, что происходило в приказной комнате.

А.С.Шишков передает другую подробность этого события. Он пишет: «Император, держа сие письмо в руках, вышел в собрание офицеров, приказал прочитать его и со слезами промолвил: «Господа! должен ли я сему верить?» — Все, видя его плачуща, зарыдали и кинулись к нему целовать его одежду и обнимать колена с таким жарким усердием и стремлением, что изодрали на нем мундир. На другой день государь император вышел на вахт-парад в том же самом разодранном платье, без всякой поправки оного, и, обратясь к офицерам, сказал: «Я с удовольствием сохраню и буду носить тот мундир, который вы на мне изодрали».

Казалось довольно трудным найти виновника столь наглой клеветы, но дело попало в хорошие руки; опытный в полицейских передрягах, лукавый Николай Петрович Архаров скоро добрался до виновника поднявшейся тревоги.

«На другой день известились мы, — пишет И.И.Дмитриев, — что доносчик или клеветник наш отыскан, и вот каким образом: военный губернатор, от природы сметливого ума и опытный в полицейских делах, приказал немедленно забрать и пересмотреть все бумаги, какия найдутся у наших служителей, не забыв перешарить и все их платья: в ту же минуту найдено было в сюртучном кармане одного из слуг письмо, изготовленное им в деревню к отцу и матери. Он уведомляет о разнесшемся слухе, будто всем крепостным дарована будет свобода, и заключает письмо свое тем, что если это не состоится, то он надеется получить вольность и другою дорогою. Этот слуга, не старее двадцати лет, принадлежал брату Лихачева, Семеновского полка подпоручику.[1].

«На третий или четвертый день нашего задержания, часу в десятом пополудни, были позваны мы к военному губернатору. Он приветствовал нас надеждою скораго освобождения. Хотя подозреваемый в доносе, прибавил он, еще не признается, но изобличается в том родным своим братом: он застал его дописывающим на лист бумаги императорский титул; изобличается также и рабочею женщиной, при которой старший брат, ударя младшего, отталкивал его от стола,

---

[1] М.А.Дмитриев в сочинении: «Мелочи из запаса моей памяти», Москва, 1869 (стр.136), сообщает еще следующие подробности, руководствуясь рассказом И.И.Дмитриева о вторичном представлении его и Лихачева государю: «Павел встретил их с распростертыми объятиями. Так как Дмитриев шел впереди, то его перваго обнял Павел, не допустив его стать на одно колено, по тогдашнему этикету. В то время Лихачев успел уже стать как следовало. Государь, увидя его, бросился поднимать его и сказал громко: «Встаньте, сударь, а не то подумают, что я вас прощаю».

чтобы не мешал ему писать; наконец, военный губернатор объявил нам, что государь приказал доносителя, несмотря на его запирательство, предать суду уголовной палаты, а нас уверить, что мы не более двух или трех дней будем продержаны».

Освобождение оклеветанных офицеров последовало, однако, еще ранее. В тот же день им повелено было приехать во дворец до окончания вахт-парада.

«Император принял нас в прежней комнате и также посреди генералитета и офицерства», пишет Дмитриев. «Он глядел на нас весело и, дав нам занять место, сказал собранию: «С удовольствием объявляю вам, что г. полковник Дмитриев и штабс-капитан Лихачев нашлись, как я ожидал, совершенно невинными; клевета обнаружена, и виновный предан суду. Подойдите, — продолжал, обратясь к нам, — и поцелуемся». Мы подошли к руке, а он поцеловал нас в щеку. «Его я не знаю, — промолвил он, указывая на Лихачева, — а твое имя давно мною затверждено. Кажется, без ошибки могу сказать, сколько раз ты был в адмиралтействе на карауле. Бывало, когда ни получу рапорт: все Дмитриев или Лецано». «Я должен объяснить это тем, что младшие субальтерн-офицеры наряжались в большой караул во дворец под начальством капитана; а нам, как старшим субальтерн-офицерам, доставалось всегда в адмиралтейство, куда посылался один офицер, следовательно, сам был начальником.

Потом император пригласил нас к обеденному столу и отправился со всею свитою в дворцовую церковь для слушания литургии.

Таким образом кончилось сие чрезвычайное для меня происшествие. Скажем несколько слов о последствиях онаго: сколько я ни поражен был в ту минуту, когда внезапно увидел себя выставленным на позорище всей столицы, но ни тогда, ни после не восставала во мне мысль к обвинению государя; напротив того, я находил еще в таковом поступке его что-то рыцарское, откровенное, и даже некоторое внимание к гражданам. Без сомнения, он хотел показать, что не хочет ни в каком случае действовать, подобно азиатскому деспоту, скрытно и самовластно. Он хотел, чтобы все знали причину, за что взят под стражу сочлен их, и равно причину его освобождения. По крайней мере, так я о том заключал, и от того-то, может быть, и сохранил всю твердость духа в минуту моего испытания».

Приведенный нами случай из жизни И.И.Дмитриева рисует как нельзя лучше обстановку рассматриваемой эпохи и правительственные приемы ее, а потому мы и остановились на более обстоятельном изложении этого события, руководствуясь рассказами нескольких очевидцев.

И.И.Дмитриев сделался предметом всеобщего любопытства, и начались догадки, чем он будет вознагражден за претерпенную тревогу. Менее скромный человек, чем Дмитриев, извлек бы из подобного положения огромные для себя выгоды; он же удовольствовался тем, что попросил определиться в гражданскую службу, и вскоре получил два места: товарища министра в департаменте удельных имений и обер-прокурора при одном из департаментов сената. Таким образом странная случайность бросила поэта на юридическое поприще.

VI

Не подлежит сомнению, что печальные явления, сопровождавшие воцарение императора Павла, приняли бы несравненно более жестокий характер, «дурные импрессии» были бы еще сильнее, если в столь важный исторический момент не явилось бы умиротворяющее начало; оно олицетворилось в образе Екатерины Ивановны Нелидовой, этого доброго гения душевно страждавшего ее друга.

6-е ноября 1796 года застало Нелидову в Смольном монастыре. Вскоре состоялось полное примирение Нелидовой со своим венценосным другом, а, что всего важнее, заключен был дружественный союз Екатериной Ивановной с императрицей Марией Федоровной; союз между ними имел целью оберегать государя от последствий присущих ему неразумных увлечений и необдуманных распоряжений. Это счастливое событие совершилось 12-го ноября 1796 года, после того, как Мария Федоровна назначена была «начальствовать воспитательным обществом благородных девиц». На первых же порах обнаружилось благодетельное влияние Нелидовой в одном, не лишенном государственного значения деле. Павел Петрович, по чувству нерасположения ко всем творениям Екатерины, намеревался уничтожить орден св.Георгия и потому не желал праздновать день 26-го ноября. Тогда Нелидова написала государю письмо, в котором умоляла его отказаться от этого пагубного решения. Император внял мольбам друга его славы (l'amie de votre

gloire), как она называла себя, орденский праздник не был отменен, и 26-го ноября, по окончании литургии, государю от присутствовавших на собрании кавалеров было поздравление, и жалованы были к руке.

Изумленные царедворцы вскоре убедились в существовании благотворного влияния, умерявшего вспышки неразумного гнева и вдохновлявшего на возможно лучший выбор приближенных лиц. По словам князя Лобанова, «в продолжение года и шести месяцев этого царствования Нелидова сохранила свое влияние на причудливый и изменчивый нрав императора. Но важнее всего, что вследствие неограниченного доверия к ней Павла, она пользовалась большим и благотворным влиянием на дела, действуя в полном согласии с императрицею. Двое братьев Куракиных (князья Александр и Алексей), Буксгевден, Нелидов, Плещеев находились в тесной связи между собою, образуя при дворе особую партию. Следует припомнить, что во многих случаях Нелидова пользовалась своим влиянием для спасения невинных жертв от вспышек гнева Павла; иной раз случалось ей оказывать покровительство самой императрице; опасение прогневить государя никогда ее не останавливало. Конечно, она не могла предотвратить все безумные меры (mesures extravagantes), но ей удавалось отклонить некоторые из них. Словом, Нелидова, в первую половину царствования Павла, была предметом его почитания и владыкой двора (l'objet de son culte et l'arbitre de la cour). Так как не представлялось возможным хвалить красоту ее, то, в угоду императору, восхищались ее умением танцевать, прелестью и миловидностью всех ее движений, и, несмотря на то, что ей минуло 40 лет, она не заставляла себя долго упрашивать и важно выступала в каком-нибудь гавоте или менуэте. Она любила зеленый цвет, и в угоду ей придворные певчие получили зеленую одежду. Она одна откровенно объяснялась с государем, иногда обращалась с ним сурово, до такой степени, что однажды кинула в него свой башмак, не возбуждая против себя гнева Павла; Саблуков рассказывает подобную сцену, которой ему случилось быть очевидцем. «От нее, конечно, зависело воспользоваться своим положением, чтобы извлечь для себя и для близких ей лиц большие выгоды, как это многие делали до нее и после нее; но ее бескорыстие не было никогда поколеблено, и ей случалось много раз отвергать или умалять милости, коими хотела осыпать ее щедрость Павла».

А.С.Шишков пишет, что «сия благонравная и почтенная девица» умела приобрести над императором необычайную власть и часто отвращала его от предосудительных поступков. «Мне случилось однажды на бале, в день большого празднества видеть, что государь чрезвычайно рассердился на гофмаршала (графа Шереметева) и приказал его позвать к себе, без сомнения, с тем, чтоб сделать ему великую неприятность. Катерина Ивановна стояла в это время подле него, а я — за ними. Она, не говоря ни слова и даже не смотря на него, заложила руку свою за спину и дернула его за платье: «нельзя воздержаться!» — Она опять его дернула. Между тем, гофмаршал приходит, и хотя Павел изъявил ему свое негодование, но гораздо кротчайшим образом, нежели как по первому гневному виду его ожидать надлежало.

«О, если бы при царях, а особливо строптивых и пылких, все были Катерины Ивановны!» — прибавляет к своему рассказу Шишков.

«Ради Бога, государь, будьте снисходительны, удерживайте при себе, как можно долее, способные головы». — «Будьте добры, будьте собою, ибо истинное ваше расположение — доброта», — вот советы, которыми переполнена переписка Нелидовой с императором Павлом.

VII

Печальное событие 6-го ноября 1796 года должно было в значительной степени отразиться и на внешней политике России; преобразовательный водоворот, ознаменовавший собою наступившую эпоху павловского возрождения России, исказил вконец и эту отрасль государственного управления. Новая политика русского двора в действительности вовсе не имела в виду насущных потребностей империи; она преследовала только одну цель: громогласно заявить и распространить убеждение, что новое царствование представляет собой отрицание предшествовавшего. Все сделанное Екатериною в дипломатической сфере для упрочения славы и величия империи, было надолго сдано в архив; но этого было мало: на екатерининскую политику стали смотреть и затем продолжали смотреть в течение многих и многих десятилетий, как на заблуждение и тяжкий грех царствования великой императрицы. Вот как сильно отозвался в русской жизни павловский погром.

По воле преемника Екатерины, политическая система империи Российской должна была из соображенной на видах приобретений обратиться в удаленную совершенно от

всякого желания завоевания. На этом основании казалось, что новый государь намерен со всеми державами сохранить мир и доброе согласие, отказываясь в дальнейшем будущем от всяких военных предприятий. Высказанное императором Павлом миролюбие не замедлило отразиться на двух мероприятиях нового царствования. Ко всеобщей радости, назначенный еще Екатериной рекрутский набор был отменен, и затем последовало мгновенное прекращение войны с Персией. Войска, действовавшие на восточном берегу Каспийского моря, под предводительством графа Валериана Александровича Зубова, были немедленно отозваны в Россию, но неслыханным образом, помимо их непосредственного начальника, брошенного на произвол судьбы среди неприятельского края и оставленного без всякого уведомления. Все достигнутое во время похода в Закавказье было брошено без разбора, без толка, жертвуя всеми приобретенными уже выгодами и руководствуясь одним только соображением: уничтожить с корнем последнее, к сожалению, неоконченное предприятие Екатерины.

Громко возвещенная миролюбивая, на первых порах, политика Павла Петровича не лишена была также и ахиллесовой пяты, открывшей вскоре дверь к спасению Европы ценою русской крови, но без всякой для империи пользы, а именно: правительство заявило намерение, оставаясь в твердой связи со своими союзниками, «противиться всевозможными мерами неистовой французской республике, угрожающей всю Европу совершенным истреблением закона, прав и благонравия». Подобная оговорка воспрепятствовала императору Павлу даровать в действительности любезным подданным то пренужное и желаемое отдохновение после беспрерывных военных тревог, продолжавшихся сорок лет, начиная с 1756 года, о котором было заявлено преемником Екатерины в циркулярной ноте канцлера графа Остермана. Австрия и Англия приложили немедленно все свои старания к тому, чтобы втянуть Россию в войну против французского «богомерзкого правления» и выманить, наконец, русскую армию за границу.

Эта заветная цель, тщательно преследуемая монархической Европой при жизни Екатерины, оказалась более осуществимою при ее миролюбивом преемнике. Во время переговоров, начавшихся на этой почве, Пруссия успела занять совершенно особое положение, которое вызвало со стороны императора Павла сильнейший гнев и неудовольствие против столь близкой его сердцу монархии Фридриха Великого.

Пруссия, не чувствуя ни малейшего призвания сражаться из-за отвлеченных начал с революционными идеями, оли-

цетворяемыми французскою республикою, решилась вступить на более практический и выгодный для нее путь. Руководствуясь подобными мыслями, берлинский кабинет задумал воспользоваться европейскими неустройствами, чтобы довершить округление своих владений без особых, с своей стороны, пожертвований и усилий. Для этой цели Фридрих-Вильгельм II, положив начало соглашению с Францией Базельским миром 5-го апреля 1795 года, заключил с республикой берлинский договор 5-го августа 1796 года; эти договоры обусловили нейтралитет Пруссии, обеспечив за нею в будущем значительное расширение территории. Соглашение, состоявшееся с французской республикой, оставалось тайной для Павла Петровича и для прусских дипломатов в Петербурге; когда же, наконец, Фридрих-Вильгельм счел своевременным сообщить государю секретные пункты договора своего с Францией об уступке ей левого берега Рейна и о предстоявшем вознаграждении Пруссии духовными германскими владениями, то эти «confidences tardives» вызвали полное охлаждение Павла Петровича к своему другу. В пылу гнева, возбужденного столь явным посягательством на целость священной римской империи, государь не постеснился сообщить доверенную ему тайну берлинского кабинета присланному Австрией чрезвычайному послу, графу Дидрихштейну. В дипломатических сферах образ действий императора Павла вызвал великое смущение, оставившее глубокий след во взаимных отношениях держав.

Зловещим предзнаменованием полного искажения русской политики и вступления ее на неведомые пути, преисполненные чистейшей романтики, служила также конвенция, заключенная 4-го января 1797 года с Мальтийским орденом, по которой император Павел принимал орден под свое покровительство и устанавливал его в России. В силу этой конвенции Польское великое приорство превращено было в великое приорство Российское, состоявшее из приорства и 10 командорств (кроме многих родовых), а доходы, которые орден получал из Польши, были более чем удвоены. Отмеченное уже выше детское сочувствие цесаревича рыцарским традициям Мальтийского ордена воскресло с неудержимою силою в самодержавном императоре и привело вскоре к невиданной доселе в истории политической фантасмагории.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Коронация. — Путешествие императора. — Морские маневры. — Осенние маневры в Гатчине. — Письмо великого князя Александра Павловича к Лагарпу 1797 года. — Ложные тревоги в Павловске и в Петербурге.

I

Император Павел чрезвычайно спешил со своим коронованием; вероятно, он вспомнил совет Фридриха Великого, некогда данный Петру III, не откладывать это священнодействие, как средство более упрочить себя на престоле, — совет, однако, недостаточно оцененный его другом и почитателем. Поэтому император не постеснялся даже выбрать для этого торжества самое неблагоприятное время года: весеннюю распутицу. В день окончательного погребения Екатерины II и Петра III, 18-го декабря 1796 года, Павел возвестил в манифесте верноподданным, что коронование «в апреле наступающаго 1797 года совершитися имеет».

В начале января, гвардейские полки начали выступать в поход в Москву. 1-го марта император Павел переехал из Петербурга в Павловск и оттуда 10-го марта отправился с императрицею в Москву. На другой день за государем последовал цесаревич Александр Павлович, а за ним и прочие члены императорской фамилии, за исключением великого князя Николая Павловича и великой княжны Анны Павловны, которые остались в Петербурге. Король польский также приглашен был присутствовать при московских торжествах. 15-го марта, император Павел прибыл в Петровский дворец, где прожил до Вербной субботы.

Здесь его встретил митрополит Платон, не исполнивший с надлежащей быстротою повеления явиться в Петербург и тем возбудивший против себя гнев монарха, своего бывшего ученика. Сверх сего, митрополит осмелился писать государю против жалования орденами духовных особ. Разгневанный император послал тогда Платону, 30-го ноября 1796 года, следующие резкие строки. «С удивлением вижу я отлагательство и медленность приезда вашего в здешнюю столицу, а еще с большим неудовольствием непристойный отзыв ваш, в последнем ко мне письме сделанный. Признаюсь, что сколь по долгу верноподданного, столь наиболее по дружбе моей к вам, ожидал я, что вы волю мою исполнить поспешите; но когда усматриваю противное тому, и когда вы, в

самых первых днях царствования моего, позволили себе шаг и непристойный, и высокомерный, то и я убеждаюсь стать противу вас на другой уже ноге, приличной достоинству государя вашего».[1] Приветственная речь митрополита хотя и тронула сердце Павла, но различие взглядов их по поводу дарования светских отличий российскому духовенству никогда не изгладилось.[2]

28-го марта, в Вербную субботу, последовал по церемониалу торжественный переезд императора Павла из Петровского в Слободской дворец, бывший дом графа Безбородки, которому в этот же день пожалован был портрет государя на голубой ленте. Погода не благоприятствовала торжеству; улицы еще покрыты были снегом. Мороз был настолько чувствителен, что многих из придворных чинов, ехавших согласно церемониалу верхом, приходилось снимать с лошадей совершенно окоченевшими. Впереди кортежа скакали верховые и приказывали снимать шапки и перчатки.

---

[1] «Русский Архив» 1887 года, книга 2-я, стр.274. В первом же разговоре императора Павла с И.В.Лопухиным государь выражал свой гнев на Платона за то, что митрополит не поспешил к нему приехать, следуя призыву «не только отменно милостивому, но, можно сказать, дружескому», и, сверх сего, как пишет Лопухин, «представлял против начатого императором жалованья духовным особам знаков орденов кавалерских. Причем государь спрашивал меня: как я думаю об этом жаловане? Я ему отвечал, что истинной церкви христианской такие почести, самолюбие питающие, конечно, неприличны. Но приемля правление церкви ныне больше учреждением политическим, не бесполезно, по мнению моему, употребляться могут такие отличия для награды и поощрения онаго членов, коих весьма не можно в прямом смысле почитать истинно духовными; l'habit ne fait pas le moine, прибавил я. - «Правда твоя», - сказал государь. Я старался оправдать Платона, сколько мог; а государь сильно обвинял его, и с некоторым огнем неудовольствия даже против меня, при всем несказанно милостивом со мною обращении. Однако, я смело продолжал и имел счастие много помочь к умилостивлению государя. Кончилось тем, что он изволил мне сказать: «Ну, видно, ты прямо любишь Платона, и если так, ты говоришь, то мы с ним помиримся».

Первое письмо императора Павла к Платону от 7-го ноября 1796 года можно было действительно назвать дружеским. Павел писал: «Вам первому сим извещаю, что матери моей не стало вчера ввечеру. Приезжайте ко мне, распорядя по эпархии своей. Всегда верной друг и благосклонной Павел».

[2] После встречи в Петровском дворце император Павел писал Платону: «Ваше преосвященство обыкновенным своим образом тронули сердце мое. Вы ему помешали было отдаться чувству его. От вас зависит самих, приехав завтра ко мне, кончить то, чем благодарность показать вам могу, чем пред собою и светом должен». Благодарность заключалась в ордене св.Андрея Первозванного, который Платон вынужден был возложить на себя.

Император ехал один, а несколько позади его следовали великие князья Александр и Константин. Государь почти постоянно держал в руке шляпу, чтобы приветствовать ею толпу, видимо этим довольную; но особенное внимание зрителей обращал на себя цесаревич Александр Павлович, красота и приветливое лицо которого всех пленили. Все происходило в порядке и спокойствии, но ощущения толпы были скорее похожи на любопытство, чем на действительную радость.

Ко времени приезда двора, благочиние, по новым правилам, водворенное с 7-го ноября в Петербурге, успело уже распространиться и на Москву, так что очевидец нашел возможным отметить: «Сей город увидел я, преобразованный на прусскую ногу; все здесь было по-немецки, дабы угодить вкусу нового царя».[1] Вахт-парады производились ежедневно и не были даже отменены в последние дни страстной недели. Неудовольствия, выговоры, взыскания, сыпались по обыкновению; иной раз упоминалось также о Потемкинском духе, замечаемом среди офицеров. В особенности жестоко доставалось в этом смысле Екатеринославскому кирасирскому полку, который, как бывший полк князя Потемкина-Таврического, находился в совершенной опале во время всего пребывания государя в Москве.

Коронация совершилась 5-го (16-го) апреля, в день Светлаго Воскресенья.[2] Священнодействовали митрополиты Платон и Гавриил. Как на одну из особенностей этой коронации, следует указать на то, что, кроме других императорских регалий, Павел возложил на себя еще далматик, и что короновалось не одно лицо, а два: император и императрица-супруга. Заметим здесь, что, когда император хотел вступить в царские двери к св.престолу для принятия св.Тайн, имея у себя шпагу при бедре, Платон остановил его следующими словами: «Здесь приносится бескровная жертва; отыми, благочестивейший государь, меч от бедра твоего». Павел повиновался словам архипастыря и, смиренно сложив с себя оружие, вступил в святилище.[3] По совершении чина коронования, император Павел, стоя, во всеуслышание

---

[1] Жизнь А.С.Пишчевича, стр.234.

[2] Съезд в Кремль начался в необыкновенно ранний час; кавалерам повелено было съезжаться в 5 часов пополудни, а дамам в 7 часов.

[3] И.М.Снегирев: Жизнь митрополита Платона. Часть 1-я, стр.94.

прочитал в храме фамильный акт о престолонаследии по прямой линии в мужском колене, составленный им вместе со своей супругой еще в 1788 года, в котором он, первый из русских государей, официально называет себя главою церкви.[1] По прочтении акта император царскими вратами вошел в алтарь, положил его на св. престол в нарочно устроенный серебряный ковчег и повелел хранить его там на все будущие времена.

Независимо от акта о престолонаследии, император Павел издал еще в день коронования три узаконения: учреждение об императорской фамилии, установление о российских императорских орденах и манифест о трехдневной работе помещичьих крестьян в пользу помещика и о непринуждении крестьян к работе в воскресные дни. Кроме того, во время пребывания государя в Москве, последовал еще 29-го апреля всемилостивейший манифест о прощении отлучившихся самовольно нижних чинов и разного звания людей.

Манифест о льготах, дарованных крестьянам, заключался в следующем: «Объявляем всем нашим верным подданным. Закон Божий, в десятословии нам преподанный, научает нас седьмой день посвящать ему; почему в день настоящий, торжеством веры христианской прославленный, и в который мы удостоилися восприять священное мира помазание и царское на прародительском престоле нашем венчание, почитаем долгом нашим пред Творцом и всех благ подателем подтвердить во всей империи нашей о точном и непременном сего закона исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам, тем более, что для сельских изделиев остающиеся в неделе шесть дней, по равному числу оных в обще разделяемые, как для крестьян собственно, так и для работ их в пользу помещиков следующих, при добром распоряжении достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным потребностям».

Приведенный здесь манифест, имевший в виду несомненною целью облегчить крепостную зависимость сельского населения, тем не менее, представляет собою необдуманное и

---

[1] «Когда наследство дойдет до такого поколения женскаго», сказано в акте, « которое царствует уже на другом каком престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и престол и отрещись вместе с наследником от другой веры и престола, естьли таковой престол связан с законом, для того, что государи российские суть главою церкви».

скороспелое произведение, вполне соответствующее духу тогдашнего времени; манифест вызвал к жизни множество недоумений и неправильных толкований. Неудовлетворительность его редакции позволяла помещикам толковать его в свою пользу, в зависимости от местных условий. В Малороссии существовала двухдневная барщина, а потому помещикам представился удобный случай возвысить лежавшие на крестьянах повинности; в великорусских же губерниях склонны были усмотреть в манифесте не повеление, а совет, ни для кого не обязательный, данный землевладельцам.

Что касается установления о российских императорских орденах, то в нем, как и следовала ожидать, отсутствовали ордена св.Георгия и св.Владимира. Снова Е.И.Нелидова принялась ходатайствовать у императора за сохранение ордена св.Георгия. Просьбы ее были уважены, и о последнем ордене состоялся 14-го апреля особый указ такого содержания: «Его императорское величество, во время чтения в Успенском соборе статута императорских государственных орденов,[1] изустно с престола изрещи соизволил тако: «А орден св. великомученика и победоносца Георгия остается на прежнем своем основании, так как и статут его».

Орден же св.Владимира так и остался исключенным из списка русских орденов; он был восстановлен на прежнем основании преемником императора Павла.

Торжество коронации сопровождалось щедрою раздачею чинов, орденов и крестьян (более 82.000 душ). Львиная доля выпала графу Безбородко. Он был возведен в княжеское Российской империи достоинство, с присвоением титула светлости; кроме того, государь пожаловал ему более 10.000 душ в Орловской губернии, с прибавкою 30.000 десятин самой плодородной земли в Воронежской губернии. Ко всем этим щедротам прибавлялось еще 6.000 душ на выбор. По увольнении же, 21-го апреля, от всех дел, по болезни, графа Остермана, с полным «трактаментом», им получаемым,[2]

---

[1] Упомянутое в указе чтение имело место 13-го апреля 1797 года, после *молебствия*.

[2] См. в приложениях список наградам, пожалованным в день коронования Павла I, 5-го апреля 1797 года, составленный князем Лобановым-Ростовским.

После коронования и прибытия их величеств в Грановитую палату читано было о всемилостивейших наградах, причем император «изволил надевать жалованныя ордена собственною своею высочайшею особою, а те, коих оными изволил пожаловать, принимали, каждый подходя к руке его величества, с коленопреклонением». (Камер-фурьерский журнал 1797 года).

князь Безбородко пожалован был титулом государственного канцлера.

В генерал-фельдмаршалы произведены были три генерала: граф Эльмпт (ему же пожалован был орден св. апостола Андрея), граф Мусин-Пушкин (ему же пожалованы были 4.000 душ) и Каменский; вместе с тем он возведен был в графское Российской империи достоинство. Ростопчин пожалован был Александровским кавалером; Аракчеев получил тот же орден и, сверх того, пожалован был бароном, а гардеробмейстер Кутайсов назначен был обер-гардеробмейстером 4-го класса.

Щедрая раздача крестьян оценена была современниками весьма различно. А.С.Шишков пишет в своих записках: «Причиною сей раздачи деревень, сказывают, был больше страх, нежели щедрость. Павел Первый, напуганный, может быть, примером Пугачева, думал раздачею казенных крестьян дворянам уменьшить опасность от народных смятений. Сия, можно сказать, несчастная боязнь часто тревожила сердце сего монарха и была причиною тех излишних осторожностей и непомерных строгостей, какими, муча других, и сам он беспрестанно мучился, и которые, вместо погашения мнимых искр возмущения, действительно порождали их и воспламеняли».[1] По мнению Н.А.Саблукова, «Павел не считал этого способа распоряжаться государственными землями и крестьянами предосудительным для общего блага, ибо он полагал, что крестьяне гораздо счастливее под управлением частных владельцев, чем тех лиц, которые обыкновенно назначаются для заведывания государственными имуществами».[2] Подобные же мысли были лично высказаны самим Павлом Петровичем накануне своего воцарения. «По-моему, лучше бы и всех казенных крестьян раздать помещикам, — сказал он. — Живя в Гатчине, я насмотрелся на их управление; помещики лучше заботятся о своих крестьянах, у них своя отеческая полиция».[3] Вникая в приведенное здесь последнее мнение, нельзя, однако, забывать, что деятельность отеческой полиции бывает весьма разнообраз-

---

Только после этой церемонии началась трапеза, по установленному чину.

Кроме того, графу Остерману был подарен серебряный сервиз, находившийся у него по званию канцлера.

[1] Записки А.С.Шишкова, стр.22.

[2] «Русский Архив» 1869 года, стр.1893.

[3] Рассказы генерала Котлубицкого. «Русский Архив» 1866 года, стр.1309.

ного свойства, а оценка ее подвержена не менее различным толкованиям.

Среди милостей, ознаменовавших торжество 5-го апреля, встречаются также распоряжения, более согласные с духом новой эры, чем вышеупомянутые узаконения и щедроты. Особенного внимания заслуживает указ от 13-го апреля 1797 года, подтверждавший к исполнению собственноручный указ от 3-го января того же года, коим повелено было: «как скоро снято дворянство, то уже и привилегия до него не касается.

По чему и впредь поступать». Вместе с тем это новое, предписанное к исполнению, воззрение на уголовные дела распространялось указом 13-го апреля на гильдейских граждан, священников и диаконов, впавших в важные преступления, «к отвращению разномыслия и сохранению прямых и единообразных понятий закона». О состоявшемся новом указе его величества повелено было дать знать святейшему синоду[1]. Достойно внимания, что этим указом отменялись милости, дарованные духовенству четыре месяца тому назад, 9-го декабря 1796 года, самим же императором Павлом — новый пример систематической непоследовательности, отличавшей его образ действий.[2]

---

[1] Еще в 1796 году, 22-го декабря, император Павел огорчил духовенство другим указом, приказав всех священно и церковнослужительских детей, «праздно живущих при отцах своих», для устройства состояния их с лучшею выгодою как для общества, так и для них собственно, «обратить в военную службу, где они будут употреблены с пользою, по примеру древних левитов, которые на защиту отечества вооружались». Редакцию этого указа следует признать до некоторой степени не лишенную оригинальности.

[2] 9-го декабря 1796 года синод представил государю следующий доклад: «Приличившиеся в уголовных преступлениях священники и диаконы, по лишении чинов их, наказываются кнутом, наравне с преступниками из подлого народа. Но церковные правила от двойного наказания их освобождают. По высочайшим же грамотам дворянству и городам, впадшие в уголовное преступление не только дворяне, но и купечество, телесно не наказываются. Почему синод смелость приемлет всеподданнейше просить, не благоугодно ли будет вашему императорскому величеству из высочайшего милосердия повелеть, чтоб впредь таковых из священного сана, судимых в преступлениях уголовных, телесно впредь не наказывать, а отсылать по лишении чинов в работу вечно или на время, смотря по важности вины; ибо чинимое им наказание в виду самых тех прихожан, кои получали от них спасительные тайны, располагает народные мысли к презрению священного сана».

Резолюция: «Быть по сему». (П.С.З., т. 24, № 17.624).

После коронования, совершившегося 5-го апреля, более недели продолжались приемы поздравлений со стороны духовенства, военных и гражданских чиновников и многочисленных депутаций, наводившие скуку и страшную усталость на присутствовавших. Император с императрицею принимали представлявшихся в Грановитой палате, сидя на троне. Павел Петрович, однако, находил, что их было слишком мало. «L'Empereur mettait dans la représentation souveraine toute l'exágeration de son caractère», — пишет графиня В.Н.Головина. — Государь с какою-то, присущею ему, особою страстностью и мелочностью придумывал все новые усовершенствования для придворного этикета; по этой причине празднества и даже балы делались не менее утомительными и скучными, чем торжественные поздравления. Императрица же, со своей стороны, говорила, что будто слышала от императрицы Екатерины, что во время ее коронации толпа, целовавшая ей руку, была так велика, что рука государыни распухла, и поэтому Мария Федоровна выражала неудовольствие, что ее рука не пухнет. Обер-церемоний-мейстер Петр Степанович Валуев, желая помочь горю и сделать угодное их величествам, заставлял одних и тех же лиц представляться под разными наименованиями. Церемония удлинялась, и цель, предусмотренная ловким царедворцем, была достигнута.

Вообще, по замечанию очевидца московских празднеств, император Павел похож был на тщеславное частное лицо, которому разрешили играть роль государя; он как бы спешил вдоволь насладиться своим новым положением, словно предчувствуя всю кратковременность этого удовольствия. Тщеславие, издавна присущее Марии Федоровне, выражалось теперь в нескрываемой ею детской радости, вызванной новою ролью, выпавшей, наконец, на ее долю. Все эти обстоятельства не ускользали от внимания собравшегося общества и вызывали среди него насмешки. Когда не дрожали, то утешали себя проявлением шумной веселости. Этим общество вознаграждало себя за постоянное чувство страха, которое внушили ему император и водворенный им монархический террор, тем более чувствительный, что он установился после долговременного, самого кроткого царствования. Конечно, и при Екатерине бывали несправедливости и проявления немилости; но это случалось редко, и,

как замечает современник, «претерпевали их частныя лица, но не все целое. Совершенства во всем мире нет».[1]

Но теперь далеко было до совершенства. Для характеристики водворившегося тогда духа при обращении с отдельными лицами или, лучше сказать, с представителями известной части войска, не пользовавшейся благоволением, приведем здесь рассказ адъютанта злосчастного Екатеринославского кирасирского полка о пережитых им в то время тяжелых минутах:

«В один день, не упомню числа, но день всегда незабвенный в моей жизни, — пишет этот очевидец, — после вахтпарада пошел дождь; всем дежурным штаб-офицерам и адъютантам для принятия пароля, который Павел Петрович сам отдавал, было приказано собраться в военную залу перед кабинетом; все собрались. Павел вышел из своего кабинета, отдал пароль; казалось, все шло в надлежащем и подлежащем порядке, ничто спокойствия не нарушало, и Павел изволил шествовать во внутренние комнаты; как вдруг минут через пять двери опять отворились, гоффурьеры зашикали, и он вступил в залу и громко, сиповатым голосом, повелел:

— «Екатеринославского адъютанта сюда!

«Недалеко было меня искать — я был в зале и стал перед государем. Павел Петрович подошел ко мне очень близко и начал меня щипать; сзади его, с правой стороны, стоял великий князь Александр Павлович, с бледным лицом, с левой стороны стоял Аракчеев; щипание было произведено несколько раз, от которого брызгали у меня из глаз слезы, как горох. Очи Павла Петровича, казалось мне, блистали, как зажженные свечки; наконец, он изволил повелевать мне сими словами:

— Скажите в полку, а там скажут далее, что я из вас Потемкинский дух вышибу, а вас туда зашлю, куда ворон костей ваших не занесет.

Приветствие — не вполне радостное, но изустно мне оглашенное в присутствии 200 или 300 офицеров! Его величество, повторив высочайшее повеление пять или шесть разов, продолжая щипание, изволил мне сказать: — «Извольте, сударь, отправиться в полк!

---

[1] Записки Л.Н.Энгельгардта, стр.199.

С этим словом я отставил правую ногу назад и повернулся лихо направо кругом; но как Павел Петрович стоял очень близко, то, при повороте, я концом палаша весьма неприятно задел его по ногам. Не сумею объяснить теперь, не умел и тогда, что со мною или, лучше сказать, что во мне в сию минуту делалось! Но милосердому Богу было угодно спасти меня в этом случае: я не оробел, твердо приступил правой ногой и пошел с левой ноги маршем по-ефрейторски. Что же слышу, что сопровождает вслед меня? Государь возглашает: — «Бравый офицер! Славный офицер!» Слышать одобрение, когда думаешь, что тебя поглотит земля, — это радование неизъяснимо, его можно только чувствовать».[1]

К числу любопытных явлений, сопровождавших московские празднества 1797 года, принадлежит также следующее событие, в котором отразились оригинальный характер и особенности взглядов нового венценосца. В день Преполовения Пятидесятницы, 29-го апреля, в Кремле происходила военная церемония с церковным торжеством, во время которой император Павел в далматике и короне командовал войсками на параде.[2]

2-го мая 1797 года, последовал указ о принятии императрицей Марией Федоровной главного начальства над воспитательными домами в обеих столицах. Таким образом, для благотворительности Марии Федоровны открылось обширное поприще, и упомянутое распоряжение Павла Петровича привело к тому, что имя этой государыни навеки перейдет к потомству в лучах любви и сердечной признательности. Менее удачно было ее вмешательство в политику, в особенности, в царствование Александра I, к чему она, к сожалению, чувствовала некоторое влечение. «Политическое влияние ея было положительно вредно для России».[3]

Во время пребывания двора в Москве, на горизонте семейного счастья Марии Федоровны появилось облачко, грозившее обратиться в грозную тучу. Развязка последовала только в следующем 1798 году. На балах внимание императора Павла привлечено было появлением замечательной

---

[1] Записки А.М.Тургенева. «Русская Старина» 1885 года, т.48-й, стр.70-71.

[2] И.М.Снегирев: Жизнь московского митрополита Платона. Москва. 1856. (Второе издание). Часть 1-я, стр.98.

[3] «К истории московских учреждений императорского воспитательного дома». Статья П.Б. в «Русском Архиве» 1886 года.

красавицы Анны Петровны Лопухиной, дочери сенатора Петра Васильевича Лопухина. Императрица и Нелидова пришли в некоторое волнение, но на первый раз встреча с Лопухиной не сопровождалась какими-либо последствиями. Это обстоятельство не прошло, однако, не замеченным для Ивана Павловича Кутайсова, который впоследствии воспользовался им для личного возвышения. Но в это время Кутайсов, благодаря своему чрезмерному честолюбию, едва не сделался жертвою гнева императора Павла: спасительницею его явилась Мария Федоровна.

Хотя Кутайсов в день коронования своего благодетеля и был пожалован в обер-гардеробмейстеры 4-го класса, но, считая себя обиженным ввиду последовавшей тогда щедрой раздачи орденов и имений, вздумал просить у государя еще ордена св.Анны 2-го класса. Павел не на шутку разгневался на своего брадобрея и, вспомня старину, обработал его словом и делом, а затем выгнал. Войдя к императрице, у которой он застал Нелидову, государь объявил им, что Кутайсов удален за его бесстыдство. Старания Марии Федоровны успокоить своего взволнованного супруга были напрасны, только после обеда Нелидовой удалось испросить прощение Кутайсову. Тот, в порыве благодарности, бросился к ногам императрицы. Год спустя, обе великодушные заступницы Кутайсова ознакомились с мерою признательности неблагодарного гардеробмейстера.

Лейб-медик Рожерсон, передавая графу С.Р.Воронцову свои впечатления за время пребывания в Москве, писал: «Все здесь имеет вид, что происходит случайно, под впечатлением минуты. Когда он хочет, не осмеливаются делать ему возражений; на совет или представление он смотрит, как на возмущение. Иногда, на следующий день, императрица или, скорее, Нелидова (в особенности, когда они находятся вместе) могут вернуться к тому, что было, но это случается редко». Затем Рожерсон упоминал еще в письме о дружеской связи императрицы с Нелидовой и признавал, что последняя стоит несравненно выше фаворитов и министров по своим достоинствам, характеру и твердости; одним словом, заключает он, все делается без обсуждения и не вникая в дело.

С наступлением павловской эпохи возрождения, казалось странным вспоминать, что еще в недавнее время Екатерина сказала, что «ей приятно, что дворяне себя чувствуют». Теперь подобные мысли представлялись бы вредною ересью. Павлу Петровичу, напротив того, казалось именно

желательным, чтобы дворяне себя не чувствовали, и он поспешил нанести дворянской грамоте новый удар. 4-го мая последовал указ генерал-прокурору, написанный в дороге, на другой день по оставлении Мосвкы, по которому «ни от кого и ни в каких местах прошений, многими подписанных, не принимать». Этим указом отменялось право дворянства представлять о своих нуждах губернаторам, сенату и императорскому величеству.

Неудивительно поэтому, что прусский посланник, граф Брюль, доносил своему правительству из Москвы 1-го мая 1797 года: «Каковы бы ни были демонстрации жителей этого города в пользу их государя, недовольство в нем, однако, всеобщее; оно существует даже в провинции и армии. Склонность, которую русские проявляли постоянно к переворотам, их привычка быть управляемыми женщинами и безнравственность их принципов могли бы заставлять опасаться самых прискорбных последствий, если бы добродетели императрицы не стояли выше всякого соблазна. Однако, все это здание, как бы великолепно оно ни было, крайне непрочно. Император, желая исправить недостатки прежнего правительства, ниспровергает все, вводит новые порядки, не нравящиеся народу, слишком мало обдуманные, и осуществление которых столь поспешно, что никто не может хорошенько узнать их, и что нечего думать, чтобы они могли продержаться. При всем том император занимается главным образом лишь мелкими подробностями, церемониями и представлениями, часто теряет из виду важное и не слушает ничьих советов».

Все эти черты нового правления, подмеченные графом Брюлем, получали с каждым годом все более преобладающее значение.

Император Павел расстался с Москвою 3-го мая и предпринял путешествие по России, во время которого его сопровождали великие князья Александр и Константин. В свите государя находился также генерал-майор барон Аракчеев.[1] На этот раз осчастливлены были царским посещением

---

[1] Цесаревич Александр Павлович был весьма обрадован участием Аракчеева в путешествии и писал ему: «Это будет для меня великое утешение и загладит некоторым образом печаль разлуки с женою, которую мне, признаюсь, жаль покинуть. Одно у меня беспокойство, это твое здоровье. Побереги себя ради меня».

Смоленск, Орша, Могилев, Минск, Вильно, Гродно, Ковно, Митава, Рига и Нарва.

В день отъезда государя, императрица с великими княгинями и великими княжнами также выехала из Москвы, направляясь в Петербург.

Во время путешествия Павел был доволен и весел. Но, во время следования через Смоленскую губернию, один случай разгневал государя; проезжая чрез слободу Пневу, он заметил множество крестьян, чинивших дорогу, а затем на мосту свежии поделки. Между тем, «его величество, — пишет Ф.П.Лубяновский, — желал видеть обыкновенный, вседневный быт народа, и за тем строго было воспрещено поправлять дороги, чинить мосты и делать какие бы то ни было приготовления для путешествия государя». Опрошенные императором крестьяне сказали, что высланы для исправления пути помещиком Храповицким по случаю царского проезда, и при этом удобном случае жаловались на притеснения своего владельца. Прибыв на ночлег, взволнованный император, в присутствии окружавших его придворных и находившегося при нем наследника, стал громко выражать свое негодование за ослушание его повелениям. «Как вы думаете, — сказал Павел, — Храповицкого надо наказать в пример другим?» Все безмолвствовали. Тогда он, обратясь к наследнику, сказал: «Ваше высочество, напишите указ, чтобы Храповицкого расстрелять, и напишите, чтобы народ знал, что вы дышите одним со мною духом». Александр в смущении вышел в другую комнату; как раз в это самое время подъехала отставшая карета князя Безбородки, также сопровождавшего государя во время путешествия. Наследник бросился к нему, рассказал в коротких словах происшедшее и просил его успокоить государя. «Будьте благонадежны», — отвечал Безбородко и вместе с наследником вошел к императору. — Ну, вот, Александр Андреевич, — обратился Павел к нему и, объяснив в чем дело, прибавил: — Как вы думаете, хорошо ли я сделал, что приказал Храповицкого расстрелять?» — «Достодолжно и достохвально, государь», — отвечал Безбородко. Наследник и все присутствовавшие были поражены ответом князя. — «Вот видите, — воскликнул государь, — что говорит умный человек; а вы чего все испугались?» — Подождав немного, Безбородко продолжал: «Только, госу-

дарь, Храповицкого надо казнить по суду, чтобы все знали, что ослушника по велению государя карает закон; следовательно, нужно послать указ Смоленской уголовной палате, чтобы она приехала в полном своем составе на место и постановила свое определение». Император на это согласился, и тотчас же о том был послан с фельдъегерем указ палате.[1]

В таком виде дело записано было по рассказам современников.

Существует еще другой вариант этой истории, по которому дело окончилось смехом по милости таракана. Ф.П.Лубяновский пишет: «В Смоленской губернии государь заметил на мосту по неубранным щепам свежие поделки и, спросив, кто приказал чинить мост, о предводителе, от которого то было приказано, велел князю Безбородке написать что-то весьма лестное. Прибыли между тем на ночлег. Его величество, смотря из окна на собравшуюся перед квартирою толпу: «Нам здесь рады», — сказал пришедшему. — «Столько ли бы еще было народа, тот отвечал, если бы не Безбородко». — «А что с ним?» «Сел за стол в избе, в своей квартире, писать; таракан ему на руку; боится как огня тараканов;[2] выскочил из избы и, как шальной, с пером в руке и без шляпы, побежал по селу, а народ толпою за ним». — «В погоню за ним и сюда привести». — «Что, князь Александр Андреевич, струсили? Бросьте».[3]

Может быть, все дело происходило несколько иначе. 5-го мая смоленскому военному губернатору, генералу Михаилу Михайловичу Философову, действительно, послан был указ следующего содержания:

«Приехав в Пневу слободу, с крайним неудовольствием увидел я тут чрез всю сию слободу сделанный, без всякой надобности, новый мост, на которой работе три недели находились как здешние, так и окольных деревень ямщики, упустя чрез то сколь удобное время к хлебопашеству, да и покупка лесу, по скорости заготовления, обошлась

---

[1] Рассказы о старине: «Русский Архив» 1868 года, стр.1079.

[2] Князь Безбородко, действительно, боялся тараканов; это подтверждается записками Василия Семеновича Хвостова («Русский Архив» 1870 года, стр.590), в которых заключаются подробности об окончании путешествия императора Павла 1797 года.

[3] Воспоминания Ф.П.Лубяновского, стр.117.

им слишком в девятьсот рублей, к немалому их отягощению. А как все подобные приготовления к моему проезду и всякие по сему случаю с крестьян сборы, наряды, строго были запрещены, то и повелеваю вам изыскать виновных, преступивших вышесказанное запрещение, и предать их суду, взыскав с них все то, что ямщикам на сделание в Пневой слободе ненужного мосту издержано; во ожидании такового взыскания, я приказал выдать им из своей казны 2.500 рублей; впрочем, кто именно заставил таковую производить работу, по приезде моем в Смоленск, мне донесите».[1]

13-го августа 1798 года указом сенату повелено было «всякое по сему предмету производство оставить». Этим повелением окончательно прекратилось дело по постройке ненужного нового моста в Пневой слободе.[2]

Император Павел прибыл в Смоленск 6-го мая. Государь посетил Успенский собор и затем отправился в губернский

---

[1] В тот же день, 5-го мая 1797 года, послан был по тому же делу указ генерал-прокурору, в котором подписывалось сенату по всем губерниям учинить подтверждение, «дабы никто из начальствующих в оных, також и определенных по уездам чинов, отнюдь не дерзали приказывать производить таковых работ, каковые в подобных и других случаях при бывшем управлении наместников не по надобности, а единственно по прихотям затеваемы были, и, к ним наряжая людей, лишать их необходимого для хозяйства их времени, под опасением не токмо взыскания с виновных цены, во что работа и убытки людские обойдутся, но и сверх того отрешения от места за пренебрежение должности».

Заметим здесь, что в указе генерал-прокурору сказано, что мост обошелся крестьянам до тысячи рублей, а в указе генералу Философову расходы оценены до девятисот рублей.

[2] В указе 13-го августа 1798 года сказано, что к постройке ненужного в Пневной слободе моста приступлено было «по неведению о несоизволении нашем к таковым приготовлениям для проезда нашего», всемилостивейше простил виновных, «изъявив тогда волю нашу генералу-от-инфантерии Философову, объявляем оную и сенату нашему, повелевая всякое по сему предмету производство оставить». Спрашивается: почему же производство дела по Пневской слободе продолжалось, вызвав новый указ 13-го августа? Генерал-прокурор получил 8-го мая еще один указ по поводу исправления дорог. Государь писал: «Из приложенной при сем копии указа моего белорусскому губернатору вы увидите, что за всеми повелениями и запрещениями моими о нечинении никаких нарядов по случаю путешествия моего, в Белорусской губернии выслано было множество людей на дорогу для расчищения оной. Имея справедливую причину к негодованию на такой поступок, я требую, чтобы для удовлетворения обывателей, которые в таковую ненужную работу употреблены были, у губернатора и вице-губернатора белорусских остановлено было у каждого за треть жалованье, на счет коего выдана тем обывателям из собственной моей казны тысяча рублей».

дом, где был выставлен почетный караул от московского гренадерского полка, одетый по новой форме. Когда по отдании подобающей чести, генерал Философов[1] подошел к государю и трепещущими руками подал ему рапорты, бумаги выпали из рук почтенного старца ранее, чем государь взял их. Философов наклонился поднять их, но государь не допустил его и, удержав за плечо, сказал: «постой, старик, я помоложе тебя», и сам поднял бумаги; все это сделалось так быстро, что никто из присутствовавших не успел предварить императора. «Как восхитительно видеть монарха, отдающего полную справедливость заслугам, летам и достоинствам своего подданного», замечает очевидец Грязев.[2]

Вечером состоялся бал в доме благородного собрания, и на другой день государь отправился в дальнейший путь, после вахт-парада, имевшего место в 7 часов утра, изъявив совершенное свое удовольствие.

При дальнейшем следовании императора Павла, историческое значение получило посещение им 8-го мая, в сопровождении великих князей, иезуитского коллегиума в Орше, из которого он вынес самое лучшее впечатление. Государь сказал при этом архиепископу Сестренцевичу: «Я вхожу сюда не так, как входил со мною в Брюнне император Иосиф в монастырь этих почтенных особ, первое его слово, обращенное им к своим офицерам, было такое: «эту комнату взять для больных, а эту для госпитальной провизии»; потом он приказал привести к нему настоятеля монастыря и, когда тот явился, обратился к нему с такою речью: «Когда вы удалитесь отсюда?» Я поступаю совершенно иначе, хотя я еретик, а Иосиф был римско-католический император». Вообще государь при сношениях с католическим духовенством принимал самое живое участие в судьбах латинской церкви, почитая ее самым твердым оплотом против злоупотреблений ума.[3]

Вахт-парады и учения, полковые и батальонные, в Вильне и Гродно прошли благополучно; но в Ковно шеф таври-

---

[1] 19-го декабря 1796 года император Павел назначил Философова управляющим гражданскою частью в губерниях Смоленской и Псковской.

[2] Записки Грязева, «Русский Вестник» 1890 года.

В 1761 году Философов перевел с французского: «Инструкцию короля прусскаго», и этой заслуги император Павел никогда не забыл. Тем не менее, 12-го марта 1798 года генерал Философов уволен был от всех дел.

[3] М.Морошкин: Иезуиты в России. С.-Петербург, часть 1-я, стр.281.

ческого гренадерского полка, полуслепой и глухой генерал от инфантерии Якоби, представил государю роту, приготовленную к разводу по-старому. Якоби был уволен от службы, а затем император приказал барону Аракчееву остаться в Ковно и выучить полк. Шесть недель оставался Алексей Андреевич на берегах Немана и с ранней зари принимался за обучение неучей по новому уставу.

Барон Аракчеев был тогда «в полном разгаре ратного рвения», замечает Ф.П.Лубяновский, оставшийся при нем в должности адъютанта. «Сколько строг и грозен был Алексей Андреевич перед полком, столько же дома был приветлив и ласков. По вечерам офицеры приглашались на чай к Аракчееву; на этих собраниях генерал благосклонно и вразумительно изъяснял равнение строя, плутонги, эшелоны, пуанде-вю, пуан д'аппюи и прочие мистерии воинскаго устава; дозволял даже, и не без удовольствия, вопросы себе, отвечал терпеливо и со знанием дела; сам вопросами удостоверялся, хорошо ли понято, о чем вчера говорено. Два раза в неделю Алексей Андреевич отправлял длинные письма к наследнику цесаревичу, а мне поручал списывать их от слова до слова для архива его. Каждое письмо начиналось, каждое же и оканчивалось, хотя не всегда в одних и тех же выражениях, излиянием из глубины сердца одной и той же приверженности душевной, живейшей, вечно непоколебимой; а между началом и заключением каждое письмо наполнялось пространным описанием с перваго шага — неведения во всех строевых эволюциях, потом — надежды к исправлению при неусыпном труде и точном исполнении монаршей воли, наконец — вожделенных успехов и усовершения».[1] 27-го мая император Павел возвратился в Гатчину и 1-го июня переехал в Павловск. Вообще государь остался доволен совершенным путешествием.

Возвращение Павла Петровича сопровождалось сменою петербургского военного губернатора. Несмотря на искусство и беззастенчивость средств, пущенных в ход Архаровым для удержания за собою власти, служебное поприще его прервалось неожиданным для него образом. 15-го июня генерал от инфантерии Николай Петрович Архаров удален

---

[1] Воспоминания Ф.П.Лубяновского, стр.118-122.

был от занимаемой им должности,[1] а 17-го июня его место занял генерал-лейтенант граф Буксгевден, которому вместе с тем объявлено было удовольствие государя за хорошее правление в Петербурге во время отсутствия двора из столицы. Падению Архарова содействовали императрица Мария Федоровна и Е.И.Нелидова вследствие распространения все большего неудовольствия среди городского населения и даже в войсках, не говоря уже о ропоте, поднявшемся во всех классах общества, вообще среди мыслящей России. Нужно было что-нибудь сделать, хотя бы для некоторого успокоения общественного мнения, и на этот раз государь внял внушениям двух бескорыстно преданных и любивших его особ. Но все это были лишь палиативные меры предусмотрительного благоразумия, которые не могли изменить безотрадность общего положения дел. В этом винят обыкновенно интриги, зависть и наушничество приближенных Павла I, пишет биограф Суворова, «Они, действительно, не отличались доблестями и усугубляли зло, но существовавший в его царствование порядок вещей нельзя приписать посторонним влияниям. Государь был сам первым и злейшим себе врагом; в нем самом заключались дурные особенности тогдашнего правительства. Отвергать это и всю беду возлагать на посторонние воздействия и влияния значит делать из Павла верховного вождя, не имевшаго никакой самостоятельности и служившаго послушным орудием в руках других. А этого не было». [2]

II

На другой день по восшествии на престол, император Павел призвал к себе адмирала Голенищева-Кутузова и сказал ему, что в 1797 году намерен начальствовать флотом и из Кронштадта идти в Ревель. В этих целях 27-го декабря 1796 года последовало высочайшее повеление построить сорокапушечную трехмачтовую яхту, и помещение расположить так, чтобы император с императрицею могли на ней идти в море. Яхту назвать «Эмануил», то-есть, «С нами Бог»,

---

[1] Н.П.Архаров занимал должности: петербургского военного губернатора и директора над водяными коммуникациями; кроте того, он управлял еще губерниями Петербургскою, Новгородскою и Тверскою.

[2] А.Петрушевский: Генералиссимус князь Суворов, т.2-й, стр.324.

и окончить работу к лету. Когда яхта была совсем готова и вооружена, государь повелел называть оную фрегатом.

К июлю месяцу на Кронштадтском рейде находились готовыми к плаванию 68 кораблей и судов, в ожидании прибытия венценосного генерал-адмирала.

Император Павел, отпраздновав свое тезоименитство в Павловске, переехал 1-го июля в Петергоф. 6-го же июля его величество с императрицею, великими князьями Александром и Константином и со свитою отправились из петергофской гавани к флоту в девятом часу утра. По прибытии государя на фрегат «Эмануил», стоявший на якоре между Кронштотом и средней гаванью, началась пушечная поздравительная пальба. Эскадр-майором при особе его величества был назначен А.С.Шишков. Предполагалось идти с флотом на Ревель, но свежий ветер препятствовал судам сняться с якоря.[1]

«Во время этой стоянки, — пишет Шишков, — великие князья Александр Павлович и Константин Павлович, смотря на Кронштадт, на корабли и на построенные на воде для защиты рейда две крепости — Кроншлот и цидатель, как на новые для них предметы, любопытствовали узнать обо всем. Они поймали молодого на фрегате мичмана и делали ему разные о том вопросы. Я подслушал однажды разговор их, и он показался мне так достопримечателен, что я сохранил его в моей памяти. Указывая на крепость, они спросили у него: в которую их них сажают арестованных офицеров? — Мичман, удивясь их вопросу и как бы оскорбясь им, отвечал с великою смелостью: «что?!... офицеров сажать под караул в крепость?!... офицеров сажать под караул в крепость?!.. Да этого никогда не бывало, и я впервые о том слышу». Так велико было во времена Екатерины честолюбие в самых юных офицерах! Тот же мичман, видел я, смотрел с насмешливою улыбкою, когда великие князья с важным видом брали ружья и, как солдаты, при всех учились отрывисто и проворно делать ими на караул, на плечо, к ноге и проч.[2]

---

[1] Великие княгини Елисавета Алексеевна и Анна Федоровна не участвовали в этой морской прогулке. 7-го июля они в шлюпке из Ораниенбаума прибыли на фрегат «Эмануил» и вечером уехали обратно.

[2] Подобная же сцена повторилась двадцать лет спустя, в 1817 году, когда император Александр I, 24-го июля (5-го августа), из Кронштадта возвращался в Петергоф после осмотра флота. Государь взял ружье, дал по ружью великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам и занялся с ними на палубе ружейными приемами. В.Ф.Адлерберг должен был командовать.

— Стоянка наша на одном месте, в ожидании благополучнаго ветра, наводила нам скуку. Д.П.Трощинский, судя по образу мыслей Екатерины, любившей, чтоб всем при ней было свободно и весело, вздумал было, для препровождения времени, заняться карточною игрою; но едва сели мы играть в вист, как сверху прислано было нам сказать, чтобы мы от подобных забав воздержались. Между тем, хотя в совершенной праздности не предстояло никаких дел, однакож император показывал вид деятельной заботливости; он не только по утру и вечеру часто, но даже и во время обеда, вставая неоднократно из-за стола, выходил наверх, как будто для каких-либо нужных распоряжений или обозрений. Я сначала выходил всегда за ним; но после, видя, что он ничего не приказывает, вздумал было однажды остаться за столом; но императрица, взглянув на меня, сделала мне головой знак, чтоб я шел за ним. Я вскочил, бросился с поспешностью и с тех пор наблюдал все его движения, стараясь всегда быть наверху, когда он выйдет из каюты. Нередко, чтоб пред рядовыми служителями показать себя занимающимся делами, по утрам хаживал он на бак и там, в тесноте, посреди шума работающих вокруг него матросов, выслушивал читаемыя перед ним докладныя бумаги. Можно себе представить, что решения по оным не могли с должным вниманием быть обдуманы. Его величество часто удостаивал меня разговорами и, казалось, становился отчасу ко мне благосклоннее... В другое время вышел он наверх и, увидя, что я держу в руках тетрадь, спросил у меня об ней. Я отвечал, что это чертежи для походных строев. Он стал их рассматривать и сказал мне:

— «А если я захочу, чтоб корабли иначе построились, нежели здесь изображено?

«Нечаянный вопрос сей привел меня в затруднение, ибо я принужден был отвечать, что этого сделать невозможно».

— «Для чего невозможно?» — подхватил он с некоторою досадою.

«Не зная, подлинно ли не имеет он достаточнаго о сем сведения, или испытывает меня, стал я ему объяснять...»

Он выслушал меня терпеливо; но, по-видимому, не вразумясь хорошенько, сердитым голосом сказал: — «Что мне нужды до ваших чертежей! Я хочу, чтоб делали то, что я велю».

«Не смея больше прекословить ему и не ведая, как от сего отделаться, я приведен был в крайнее недоумение, и

очень обрадовался, увидя вышедшаго в сие время наверх графа Кушелева. Я, тотчас указав на него, сказал: — «Вот граф Кушелев: не угодно ли вашему величеству у него о том спросить».

«Граф, по извещении его, о чем идет дело, стал тоже самое, что и я, говорить. Государь замолчал и пошел в свою каюту. Чрез несколько минут выходит оттуда один из приближенных к нему и говорит нам: — «Что такое вы сделали? Государь очень вами недоволен; он, сойдя на низ, сказал: «там два умника спорят со мною; я не пойду больше наверх и посмотрю, как они без меня управлять станут».

«Случай сей несколько меня потревожил. Однакож, я недолго беспокоился: государь скоро вышел опять наверх и попрежнему разговаривал со мною милостиво. Я после узнал, что гнев сей укротила в нем Катерина Ивановна Нелидова, которая представила ему, что он напрасно за это сердится, потому что мы не от упрямства противоречили ему и, без сомнения, служа долго на море, должны лучше знать, как это бывает, и что можно или чего не можно сделать».

«Наконец (8-го июля) настал благополучный ветер. Мы снялись с якоря и пошли в путь. Движение судов, пушечная пальба с крепостей, усыпанная народом пристань — привели государя в такое восхищение, что он казался вне себя от удовольствия».[1]

Вечером, не доходя Красной Горки, было приказано: всему флоту лечь по способности на якорь. 9-го июля флот с утра продолжал дальнейшее движение; в четвертом часу, по причине скрепчавшего ветра, весь флот стал на якорь. «После полудня оный еще и более скрепчал, — пишет Шишков, — и произвел великое волнение и качку, причиняющую непривыкшим к морю людям, а иногда и самым мореплавателям, сверх беспокойства и скуки, необыкновенную морскую болезнь, состоящую в кружении головы и беспрестанной тошноты. Сильная качка фрегата не позволила день сей провести подобно прежним: обеденный стол не был в каюте, но несколько холодных блюд подано и расставлено было на шканцах, где присутствовала вся высокая императорская фамилия, вместе со всеми генералами,

---

[1] Записки А.С.Шишкова, т.1-й, стр.27-32.

офицерами, солдатами и матросами. Вечернего стола совсем не было. Его императорское величество с удивительною твердостью весь сей день изволил препроводить на шканцах, избрав для заседания своего место возле грот-мачты, в одном мундире и без шляпы. По правую руку его поставлен был стул для государыни императрицы, а по левую иногда сидели камер-фрейлины Анна Степановна Протасова и Екатерина Ивановна Нелидова, а иногда другие особы, коих его императорское величество приглашением к тому и разговорами своими удостоивать соизволил. Всем находящимся на шканцах солдатам и матросам государь император повелел быть в обыкновенном их положении, то-есть, не взирая на его присутствие, сидеть и лежать, кому где случится. Ея императорское величество государыня императрица, его императорское высочество наследник и великий князь Александр Павлович не могли избавиться от страдания и морской болезни, приключаемой качкою судна. Многие обоего пола особы и даже некоторые из гвардейских солдат тому же подвержены были. Ночь препровождена была в таковом же положении: его императорское величество изволил почивать на том же самом месте, в мундире и в шпаге, обернув голову свою епанчою. Для государыни императрицы и для камер-фрейлин положены были тут же тюфяки с подушками. Генералы, офицеры, солдаты и матросы вокруг их между пушками лежали или на пушках сидели: все сие представляло вид, достойный вечного в памяти потомков наших сохранения. Слава, проповедывающая дела царей и царств земных, может быть, в первый раз взирала на великаго монарха и на великую супругу его, тако посреди моря вместе со своими подданными почивающих? Впрочем, сколь ни велика была причиняемая противным ветром скука, соединенная с томлением и беспокойством, происходившим от сильного волнения и качки, однакож, судя по необычайной его императорскаго величества твердости и неутомимости в понесении всяких трудов, сомнительно, изволил ли бы он отменить намерение свое путешествовать до Ревеля так, как желание его и любопытство увидеть исправность движений, не ныне токмо, но издавна уже собственнаго своего флота, частию удовлетворены были. И так в намерении его императорскаго величества положено было, что, если на другой день ветр в силе не переменится, то, оставя предприятие,

итти к Ревелю, окончить кампанию и возвратиться в Кронштадт».[1]

10-го июля все суда возвратились на Кронштадтский рейд, и этот день государь ознаменовал «излиянием милостей и щедрот» по флоту. 11-го июля император Павел посетил морские учреждения в Кронштадте и 12-го июля отбыл в Петергоф.

Эскадр-майор Шишков был пожалован в генерал-адъютанты по флоту, с возложением на него ордена св.Анны второго класса.

Назначение генерал-адъютантом крайне обрадовало Шишкова, в особенности, после обращенных к нему милостивых слов государя: «Ну! теперь ты мой домашний». Шишков предавался уже сладким мечтам, вспоминая, каким значением пользовалось это звание в царствовании Екатерины, но вскоре ему пришлось разочароваться в своих надеждах самым жестоким образом. «На другой день спустился я с высокой горы на низкий холмик, — замечает Шишков, описывая первое свое дежурство. — Я еду с гордостию во дворец, думая там всеми повелевать. Меня зовут к государю. Я вхожу к нему. Он держит в руках записку и, отдавая мне оную, говорит: «Справьтесь, так ли в этой бумаге записано имя приехавшаго сюда, и ежели так, то велите его отыскать». — Зная, что он не жаловал, когда повеления его медленно исполнялись, я вышел от него с торопливостью и спросил: «Кто здесь под моим начальст-

---

[1] Журнал кампании 1797 года, во время высочайшего присутствия и командования флотом государя императора и самодержавца всероссийского Павла Петровича веденный на фрегате «Эмануиле» его императорского величества эскадр-майором и потом генерал-адъютантом Александром Шишковым. С.-Петербург. 1797, стр.45-48. Во всеподданнейшем письме, которым начинается «Журнал кампании», Шишков выразил так: «Краткое пребывание вашего императорскаго величества на флоте останется на долгие века в умах и сердцах российских мореплавателей». Приняв эту книгу, император Павел, прочитав слова: «краткое время пребывания», нахмурился, положил книгу на стол и ушел из кабинета. А затем, встретив Шишкова вечером, Павел хотя и без гнева, однакож с некоторою сухостью, сказал: «Вы много лишнего написали». Шишков по этому случаю замечает в своих записках, что выражение о кратком пребывании показалось Павлу укоризною, потому что, вознамерясь итти до Ревеля, дошел только до Красной Горки. «Не понравилось, вероятно, государю и описание бурной ночи; упоминание о том, что он страдал от качки, могло ему, столь дорожившему своим морским званием, показаться некотораго рода посягательством на его репутацию, как моряка».

вом?» — Мне с холодностью отвечают: никого. — «Да как же? Государь приказал мне справиться об одном имени; надобно послать на шлагбаум; кого-ж я пошлю?» — Мне говорят: поди сам. А между тем льет дождик; улицы грязны, и шлагбаум отстоит почти на версту. Не знаю, что делать: хочу сам бежать, да боюсь отлучиться и опоздать. Тут, в крайнем беспокойстве, проснулся я от моих мечтаний и почувствовал, что я не такой генерал-адъютант, какие были при Екатерине. Вдруг пришла мне счастливая мысль пойти к великому князю Константину Павловичу, который на это время назван был главноуправляющим в Петергофе,[1] и объявить ему повеление императора. Он взял у меня записку и сказал: «Я тотчас отыщу и сам донесу государю». — Таким образом избавился я от хлопот, которые привели было меня в крайнее затруднение.

«На другой день выхожу я на вахт-парад в обыкновенном моем одеянии. Великий князь Константин Павлович, увидя меня в коротких сапожках, приказывает мне итти переодеться в большие сапоги. Я отвечаю ему, что это наша форма; однакож он гонит меня и говорит: «Поди, поди, здесь не корабль». — Долго спорил я, но напоследок должен был повиноваться. Пошел, переобулся и вышел опять. Стоим, ждем государя. Лишь только появился он, как вижу я, что от него бежит посланный и говорит мне: «Государь приказал вам сказать, что вы не по форме обуты. Извольте сейчас итти и надеть маленькие свои сапожки». — Я побежал и ворчал про себя: вот какими малостями можно ныне и выслуживаться и прослуживаться! — Форма сия весьма мне надоедала: по утру надобно было выходить на вахт-парад в маленьких сапогах, потом ехать верхом за государем в больших и потом опять переобуться в маленькие. И это всякий Божий день».

День тезоименитства императрицы Марии Федоровны, 22-е июля, принес Шишкову новые хлопоты и разнообраз-

---

[1] Граф Комаровский в своих записках пишет, что великий князь Константин Павлович, на время пребывания государя в Петергофе, занимал должность военного губернатора. Подобное наименование, вероятно, ближе к истине, чем должность главноуправляющего, о которой говорит Шишков.

ные беспокойства. Вечером назначен был во дворце маскарад.[1] Шишков был дежурным.

«Государь призвал меня к себе», пишет Шишков, «и дал мне следующее приказание: «Когда я в маскараде буду ходить, ты не отставай от меня; и ввечеру, при гулянье по саду на линейках, садись со мною на мою линейку. Когда же я уйду спать, ты оставайся до конца маскарада; и ежели он долго продолжится, то ты постарайся как-нибудь его сократить. Я велю на это время явиться к тебе полковнику с полком и быть под твоим начальством». — Выслушав сие повеление, размышлял я, как бы мне исполнить оное в точности и в чем-нибудь не провиниться. Маскарад начался. Народу пропасть. Теснота превеликая. Государь с императрицею и великими князьями вышел из внутренних своих покоев. Я, опасаясь, чтоб меня как нибудь не оттерли, иду за ними, не уступая никому ни шагу. Они посреди комнаты остановились. Окрест их стеснился тотчас круг зрителей. Я стою в сем кругу, не спуская с императора глаз, чтоб мне в ту же минуту побежать за ним, как скоро он куда пойдет. Чрез несколько времени вдруг вижу, что он взглянул на меня и движением головы дал мне знать ту сторону, куда он итти хочет. Я бросился за ним, ничего перед собой не видя, с таким стремлением, что мог бы легко столкнуть с ног императрицу или кого из великих князей, и, невзирая на мою поспешность, насилу успел его догнать. Иду за ним. Он оборотясь говорит мне:

«Скажите этому ротозею (указывая на одного высокого мужчину), что он дурак».

«Я подбежал к нему и лишь только, к великому удивлению его, передал ему царское приказание, как пустился опять вслед за государем; и хотя не прошло более одной минуты, однакож язык и руки мои должны были крепко работать, чтоб пробраться сквозь стеснившуюся толпу. Насилу догнал его. Он оборотясь спросил у меня: «кто такой этот мужчина?» — Я принужден был сказать, что не дога-

---

[1] В этот день роздано было билетов дворянских 2.357, купеческих 235, Всего 2.592.

«Кавалеры и прочие все мужского пола были в домино и венецианах, а дамы в приличном благопристойном платье, вход был по билетам. В ямском же и безобразном виде и платье вход был непозволен». (Камер-фурьерский журнал 1797 года).

дался спросить об его имени. Он отвечал мне (однакож, без гнева): «худо вы сделали, что не спросили».

Когда Павел Петрович удалился во внутренние покои, Шишков остался, как он выражается, повелителем маскарада. Видя, что он долго продолжается, и опасаясь неудовольствия государя, Шишков велел прекратить музыку. «Стали понемногу разъезжаться, — пишет он, — но одна из зал наполнилась людьми, которые расселись по стульям и нейдут вон. Догадываясь, что это господа и госпожи пешеходцы, пережидающие шедший в то время дождик, я решился напоследок велеть погасить свечки, и темнота принудила их опорожнить залу. По утру государь, увидя меня, спросил: «Чем кончился маскарад? Сам собою, или ты его кончил?» — Я отвечал: «Отчасти сам собою, а отчасти погашением свечек». — Он рассмеялся и сказал мне: «Ты очень хорошо сделал».

23-го июля император Павел в первый раз, после пятимесячного отсутствия, посетил Петербург. Побывав в Зимнем дворце, государь поехал осматривать работы по постройке Михайловского замка; после этого, пройдя через Летний сад, сел в карету и отправился в Таврический дворец.[1] На другой день император выехал в Павловск, где двор пробыл до 20-го августа.

«Забавы наши в Павловске были одинообразны и скучны, — пишет очевидец. — После обеда обыкновенно степенными и мерными шагами ходили мы прогуливаться по саду. После прогулок, отдохнув несколько, ежедневно собирались мы на беседу, весьма утомительную. Там государь и государыня, с великими князьями и княжнами, садились рядом и провождали время в сухих разговорах; а мы сидели вокруг комнаты, на стульях: как бы прикованные к ним истуканы, потому что ни разговаривать между собою, ни вставать с них не смели».[2]

Утром происходил по заведенному порядку вахт-парад, и производились разного рода строевые учения. Эти занятия сопровождались обычными неприятностями для участников их, а гнев и запальчивость государя выражались такими действиями, о которых летописцу этой ненормальной эпохи

---

[1] Вторичное посещение Петербурга императором Павлом имело место 18-го августа: подобно тому, как и в предшествовавший раз, государь посетил постройку Михайловского замка, а затем, переночевав в Таврическом дворце, 19-го августа возвратился в Павловск.

[2] Записки А.С.Шишкова, стр. 36-40.

приходится только сожалеть. В приказах по-прежнему наносились провинившимся неуместные оскорбления, которые, поддерживая лишь общее неудовольствие, не приносили никакой пользы делу службы.[1] Вся эта обстановка сообщила всем какую-то нервную возбужденность, которая выразилась в двух нечаянных тревогах, имевших место в Павловске 2-го и 4-го августа. Два раза, во время вечерней прогулки государя, среди войск неизвестно почему раздался сигнал к тревоге, и они бросились ко дворцу. Описывая происшествие 2-го августа в письме к Нелидовой, императрица Мария Федоровна сообщала ей, что войска думали, что случилась «беда во дворце. C est une id e laquelle il ne faut pas les accoutumer, qu il puisse se commettre du беда au ch teau». Через день снова повторилось то же самое явление.

20-го августа двор переселился в Гатчину. Здесь с 1-го по 15-е сентября произведены были большие маневры, к которым привлечены были два фельдмаршала: князь Репнин и граф Каменский. По словам Шишкова, «государь по ночам не раздевался, чтоб при нечаянном нападении быть готову к сражению. По утрам все генералы и адъютанты собирались с карандашами и записными книжками и становились вокруг него, для записывания отдаваемых им приказов».

Другой очевидец, Ф.П.Лубяновский пишет: «Не проходило дня без дождя, невзирая на то, все шло превосходно. Государь оттого был еще довольнее и веселее. И в мелких стычках и в главных битвах случилось лишь одна невзгода, — пыж из пушки угодил в ребро фельдмаршалу Каменскому: приказано контуженнаго охранно отнести в вагенбург. За последним маневром и за приказом у развода велено собраться всем генералам и полковым командирам. Адъютанты, в том числе и я, приютились за начальниками. Окруженный победоносными и побежденными вождями, император, изустно повторив все то, что было отдано в приказе, особенное всем войскам благоволение и удовольствие, потом изволил сказать:

«Я знал, господа, что образование войск по уставу было не всем приятно; ожидал осени, чтобы сами увидели, к чему

---

[1] Достаточно привести приказ от 14-го августа 1797 года: «Лейб-гвардии Преображенского полку поручик Шепелев выключается в Елецкий мушкатерский полк за незнание своей должности, за лень и нерадение, к чему он привык в бытности его при князьях Потемкине и Зубове, где вместо службы обращались в передней и в пляске».

все клонилось; вы теперь видели плоды общих трудов в честь и славу оружия российскаго».

«Маневры заключились парадом, на котором, проходя мимо императрицы, никто не салютовал эспантоном так легко, так искусно и ловко, как император и главнокомандующий фельдмаршал (князь Репнин), оба по званию батальонных командиров, в штиблетах».[1]

Казалось, что император доволен был войсками, но, тем не менее, взыскания продолжались. Особенно тяжко пришлось Преображенскому полку, в котором жестокость и грубость Аракчеева приводили офицеров в совершенное отчаяние. Неудовольствие их дошло до государя, и он писал Аракчееву:

«Сведал я, что офицеры ваши разглашают везде, что они не могут ни в чем угодить, забывая, что если бы они делали, что других полков делают, то бы они равно им угождали; то и извольте им сказать, что легкой способ сие кончить — отступиться мне от них и их кинуть, предоставя им всегда таковыми оставаться, каковы мерзки они прежде были, что я и исполню, а буду заниматься и без них обороною государственною».[2]

Для характеристики императора Павла может служить следующий случай, относящийся к этому же времени и записанный А.С.Шишковым. По его свидетельству, «иногда наперед знали, над кем хочет он подыскаться. Гнев его к полковому начальнику часто на весь полк простирался. Однажды назначает он учение полку одного из генералов, к которому он был довольно благосклонен, но неизвестно почему на него прогневался. Все накануне того дня говорили: завтра будет ему беда! Сам генерал этот был в том уверен. Полк собрался. Государь выходит гневен: начинает учить и, при первых движениях, бранными и грозными словами изъявляет уже свои неудовольствия. Между тем, при повелении заряжать ружья, генералу сему надлежало закричать: без патронов, а он второпях, ошибкою закричал: с патронами. Государь при сем слове изменился в лице и, вместо ожидаемого гнева, сказал ему с ласковою улыбкой: «Зачем, сударь, с патронами? Здесь нет неприятелей». — После сего

---

[1] Воспоминания Ф.П.Лубяновского, стр. 127-128.

[2] Рескрипты и записки государя императора Павла I к графу Аракчееву (издание графа А.А.Аракчеева), стр. 37.

сделался он кроток, и учение, к удивлению всех, кончилось благополучно. Трудно было угадать, какие слова раздражить и какие усмирить его могут! В то же время случилось, что, при нападении с пальбою на лес, мнимопротивными силами защищаемый, послал он туда офицера с некоторыми приказаниями. Офицер этот каким-то образом долго там пробыл, так что Павел в нетерпении послал к нему другого спросить: для чего по сие время не возвратился он с ответом? Офицер отвечал посланному: «Скажите государю, что я убит». — Ответ сей так понравился Павлу, что он расхохотался».[1]

IV

Рассмотрим теперь, каким образом цесаревич Александр Павлович оценивал правление своего отца. Эта оценка всецело выразилась в письме Александра к своему бывшему наставнику Лагарпу от 27-го сентября 1797 года из Гатчины, которое должен был вручить ему один из друзей цесаревича, Николай Николаевич Новосильцов.[2]

«Вам известны различные злоупотребления, царившие при покойной императрице, — писал Александр, — они лишь увеличивались по мере того, как ее здоровье и силы, нравственные и физические, стали слабеть. Наконец, в минувшем ноябре, она покончила свое земное поприще. Я не буду распространяться о всеобщей скорби и сожалениях, вызванных ея кончиною, и которые, к несчастью, усиливаются теперь ежедневно. Мой отец по вступлению на престол захотел преобразовать все решительно. Его первые шаги были блестящими, но последующие события не соответствовали им. Все сразу перевернуто вверх дном, и потому беспорядок, господствовавший в делах и без того в слишком сильной степени, лишь увеличился еще более.

«Военные почти все свое время теряют исключительно на парадах. Во всем прочем решительно нет никакого строго

---

[1] Записки А.С.Шишкова, стр. 42-43.

[2] Император Павел Первый. Его жизнь и царствование. Часть 1-я, стр. 162 и 280. Благоразумная предусмотрительность побудила цесаревича Александра Павловича отправить за границу Новосильцова, находившегося на дурном счету у императора Павла вследствие независимости его поведения и тех мнений, которые ему приписывали. Цесаревич воспользовался этою поездкою, чтобы доверить ему письмо к Лагарпу от 27-го сентября 1797 года. Новосильцов оставался в Англии, пока обстоятельства в России не изменились к лучшему.

определеннаго плана. Сегодня приказывают то, что через месяц будет уже отменено. Доводов никаких не допускается, разве уж тогда, когда все зло совершилось. Наконец, чтоб сказать одним словом — благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами: существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот навыворот. Невозможно перечислить все те безрассудства, которые были совершены; прибавьте к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, большую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах. Выбор исполнителей основан на фаворитизме; достоинства здесь не причем. Одним словом, мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной России, и судите, насколько должно страдать мое сердце. Я сам, привлеченный ко всем мелочам военной службы, теряя все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера, решительно не имея никакой возможности отдаться занятию науками, являвшемуся моим любимым занятием, я сам сделался теперь самым несчастным человеком.

«Вам уже давно известны мои мысли, клонившияся к тому, чтобы покинуть свою родину. В настоящее время я не предвижу ни малейшей возможности к приведению их в исполнение, а затем и несчастное положение моего отечества заставило меня придать своим мыслям иное направление. Мне думалось, что если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя, я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкою в руках каких-либо безумцев. Это заставило меня передумать о многом, и мне кажется, что это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законною властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена, и нация имела бы своих представителей. Вот в чем заключается моя мысль.

«Я поделился ею с людьми просвещенными, с своей стороны много думавшими об этом. Всего навсего нас только четверо, а именно: Новосильцов, граф Строганов,

молодой князь Чарторижский, мой адъютант, выдающийся молодой человек,[1] и я.

«Мы намереваемся в течение настоящаго царствования поручить перевести на русский язык столько полезных книг, сколько только окажется возможным, но мы выпустим лишь те из них, печатание которых может быть разрешено, а остальные прибережем для будущего, чтобы таким образом, по мере возможности, положить начало распространению знания и просвещению умов. Но, когда же придет и мой черед, тогда нужно будет стараться, само собою разумеется, постепенно образовать народное представительство, которое, должным образом руководимое, составило бы свободную конституцию (constitution libre), после чего моя власть совершенно прекратилась бы, и я, если бы Провидение благословило нашу работу, удалился бы в какой нибудь уголок и жил бы там счастливый и довольный, видя процветание своего отечества, наслаждаясь им. Вот каковы мои мысли, мой дорогой друг... Дай только Бог, чтобы мы когда-либо могли достигнуть нашей цели даровать России свободу и предохранить ее от поползновений деспотизма и тирании. Вот мое единственное желание, и я охотно посвящаю все свои труды и всю свою жизнь этой цели, столь дорогой для меня». Письмо от 27-го сентября не нуждается в комментариях; в этой откровенной политической исповеди уже всецело выступает яркий образ друга человечества, того филантропического Александра, убеждения которого впоследствии нередко смущали не одного практического государственного деятеля. В одном только отношении приведенные рассуждения Александра резко отличаются от мечтаний его в последние годы екатерининского царствования. Правление родителя, очерченное в приведенном письме с беспощадною правдивостью, побуждает его отрешиться от высказанного им некогда намерения отказаться от предна-

---

[1] Император Павел повелел, чтобы придворные чины находились на действительной службе: военной или гражданской. На этом основании камер-юнкеры братья Чарторижские были переименованы в бригадиры и назначены адъютантами к великим князьям: князь Адам к наследнику, а князь Константин — к Константину Павловичу. В этом звании Чарторижские сопровождали из высочества на торжество коронации в Москву. 4-го июня 1797 года князья Чарторижские были произведены в генерал-майоры из бригадиров по пехоте, сохранив свою адъютантския звания при великих князьях.

значенного ему в будущем положения и жить частным человеком на берегах Рейна или в Швейцарии. Новая обстановка, вызванная к жизни смертью императрицы, придала мыслям Александра иное направление; отныне он решается посвятить все свои силы и труды — даровать России со временем свободу и обеспечить ее тем в будущем от бедствий, сопряженных с деспотизмом и тиранией, а затем уже, по совершении столь славного подвига, любоваться со стороны плодами своей деятельности и посеянным добром.

Хотя, по собственному признанию Александра, он терял все свое время на исполнение обязанностей унтер-офицера, но если перечислить занимаемые им тогда высокие должности, то список их выйдет довольно внушительным. Наследник был первым с.-петербургским военным губернатором, полковником л.-гв. Семеновского полка, командующим с.-петербургской дивизией и инспектором по кавалерии с.-петербургской и финляндской дивизии.[1] Затем, в 1799 году цесаревич Александр Павлович назначен был сенатором. Получение этой новой должности совершилось при следующей обстановке. Генерал-прокурор Беклешев получил в октябре (1799 г.) высочайшее повеление, чтобы на другой день общее собрание сенаторов было в Гатчине. Все сенаторы отправились туда ночью, не зная причины собрания. Длинная и узкая комната отведена была для присутствия; большой стол посредине оставлял мало места для прохода. В половине десятого часа, после развода, повещено было правительствующему сенату, что государь изволит идти в общее собрание. Сенаторы встали в две шеренги на одной стороне комнаты. Император вошел в сопровождении цесаревича Александра Павловича и, подойдя к своему креслу, представил присутствующим великого князя, как сенатора, выразив свое повеление относительно этого следующими словами. «Милостивые государи! Я хочу, чтобы наследник мой занимал первое по мне место в сенате». По занятии великим князем места по правую сторону императора, государь продолжал: «предмет настоящего собрания есть рассмотрение составленнаго по моему приказа-

---

[1] Кроме того, наследник был председателем комисии о снабжении резиденции припасами, распорядком квартир и прочих частей, до полиции относящихся, учрежденной 6-го июня 1797 года. Членами этой коммисии назначены были генерал-прокурор, второй с.-петербургский военный губернатор и генерал-провиантмейстер Обольянинов.

нию проекта об учреждении запасных магазинов в империи. Поручаю вам, милостивые государи, неотлагательно заняться этим делом, с которым сопряжено благосостояние народа, претерпевающаго большие бедствия во времена неурожая». Вслед затем государь спросил генерал-прокурора: «есть ли указы к моей подписи?» — Указы были поднесены и подписаны. После того государь поднялся с кресел и, когда сенаторы расположились в прежнем порядке на одной стороне комнаты, оставил собрание с такими словами: «я оставляю вас, милостивые государи, но надеюсь, что вы не оставите меня и погостите с неделю в Гатчине. Хозяин постарается, чтобы вы, среди занятий, провели время приятно».[1]

В том же 1799 году, 1-го декабря, последовало назначение цесаревича еще к присутствию в Совете. В этот день Совет, собравшись в гатчинском дворце, был удостоен высочайшего присутствия. Прибыв вместе с наследником, император Павел открыл заседание объявлением высочайшей воли о всегдашнем присутствии в Совете его императорского высочества. Выразив благодарность августейшему родителю, цесаревич занял указанное ему первое место, а вслед затем Совет, со своей стороны, принес императору верноподданническое благодарение за доставление ему счастья иметь в своем сословии столь высокого сотрудника, при чем члены Совета: граф Салтыков, граф Сиверс, Соймонов, Беклешев, барон Васильев и князь Гагарин, правитель канцелярии Совета и секретари оного жалованы к руке государя. За сим начались, в присутствии императора, «упражнения» Совета.[2]

Современник Н.А.Саблуков пишет, что каждое утро в семь часов и каждый вечер в восемь Александр подавал императору рапорт. «При этом следовало отдавать отчет о мельчайших подробностях, относящихся до гарнизона, до всех караулов города, до конных патрулей, разъезжавших в нем и в его окрестностях, и за малейшую ошибку давался строгий выговор. Великий князь Александр был еще молод, и характер его отличался робостью; сверх того, он был очень близорук и немного глух; поэтому можно себе представить,что занимаемая им должность не была синекурою и стоила ему много бессонных ночей. Оба великие князя смертельно боялись своего отца и, когда он смотрел сколь-

---

[1] Иванов: Опыт биографий генерал-прокуроров и министров юстиции. — С.-Петербург, 1863, стр.71.

[2] Даневский: История образования Государственного Совета. — С.-Петербург, 1859, стр.43.

ко-нибудь сердито, бледнели и дрожали, как осиновый лист. Вместо того, чтобы покровительствовать другим, как можно было бы ожидать с их стороны по праву рождения и занимаемому положению, казалось, что они искали покровительства у других».

Неоценимым и необходимым советником и оберегателем Александра Павловича в сложных порядках тогдашней службы, усеянной на каждом шагу бесчисленными подводными камнями, сделался А.А.Аракчеев. По настоятельной просьбе цесаревича, Аракчеев с предупредительною готовностью муштровал «хорошенько», когда нужно, вверенные Александру войска и не оставлял полезными советами неопытного еще молодого командира. Но эта муштровка, спасавшая иной раз Александра от гневных вспышек отца, дорого обходилась подчиненным; гатчинский капрал, в пылу ревностного исполнения служебных обязанностей, предавался без всякого стеснения разного рода неистовствам; он вырывал у солдат усы, бил их нещадно, грубил офицерам и награждал пощечинами.[1]

Нелегко было Александру жить и служить среди этой дикой обстановки и постоянно думать об одном, какими бы средствами удовлетворить строгие требования своего грозного родителя. Противоположность характеров и образа мыслей, существовавшая между отцом и сыном, должна была привести к взаимным неудовольствиям; они дошли до того, что цесаревич в 1797 году (вероятно, осенью, в августе или сентябре) заговорил об отставке и повторил эту тайну своему другу Аракчееву. В письме, относящемся к этому удивительному событию, мы читаем: «Теперь я должен твое желание исполнить и сказать тебе, что меня очень хорошо сегодня приняли и ничего о прошедшем не упоминали: еще вчера мне милостивые отзывы были чрез мою жену, так как, например, чтобы я не сердился на него и тому подобное. Впрочем, сие не переменяет моего желания идтить в отставку, но, к несчастию, мудрено, чтобы оно сбылось».

В другом письме, того же 1797 года, Александр сообщает Аракчееву подробности о своих служебных мучениях: «Завтра у нас маневр. Бог знает, как пойдет. Я сомневаюсь, чтобы хорошо было. Я хромой. В проклятой фальшивой тревоге

---

[1] Засвидетельствовано графом Толем и Михайловским-Данилевским. Вигель идет еще далее и утверждает, что Аракчеев укусил у одного гренадера нос и вообще с нижними чинами поступал совершенно по-собачьи, как разъяренный бульдог.

помял опять ту ногу, которая была уже помята в Москве, и только что могу на лошади сидеть, а ходить способу нет; и так я с постели на лошадь, а с лошади на постель.

Если отношения цесаревича к императору Павлу представляли мало радостных сторон, то подобная же участь постигла и великую княгиню Елизавету Алексеевну в ее отношениях к императрице-матери. Когда шведский король принял внезапное решение жениться на баденской принцессе Фридерике, сестре Елизаветы Алексеевны, гнев императрицы обрушился на ни в чем неповинную великую княгиню. Мария Федоровна полагала, что ее невестка преднамеренно скрыла, будто бы известное ей уже ранее намерение Густава IV; между тем, в действительности, великая княгиня не знала о счастии, предстоявшем ее сестре.

В 1797 году, день своего рождения, 20-е сентября, император Павел ознаменовал тем, что приказом, объявленным при пароле, барон фон-дер-Пален вновь был принят на службу тем же чином, то есть, генерал-лейтенантом, с состоянием его в списке армейском с прежним старшинством. Пален во всеподданнейшем письме от 1-го октября выражал императору, что, прибыв в Ригу, «уведомился он всемилостивейшем помещении его в высочайшей службе, просил удостоить принять подобострастное приношение живейшей благодарности и купно всеподданнейшего уверения, что он жизнь свою по гроб посвящает с радостию высочайшей службе и для того пред лицом его, государя, повергает себя к освященным стопам его величества». В ответ на это письмо император Павел рескриптом на имя Палена уведомил его, что с удовольствием разрешает ему приехать в Петербург.

После продолжительного пребывания в Гатчине, двор переехал 5-го ноября к вечернему столу в Царское Село; здесь на другой день, 6-го ноября, в первую годовщину смерти императрицы Екатерины отслужена была панихида. Затем император с семейством отправился к Петербургу и поселился в Зимнем дворце.

Упомянутая панихида еще до отъезда двора из Гатчины послужила поводом к следующему оригинальному выговору, данном государем обер-церемониймейстеру Валуеву, 29-го октября 1797 года: «Валуев по обыкновенному размеру ума своего определяет государю сделать повестку в рассуждении панахиды 5-го числа и приказывает праздновать восшествие на престол 6-го числа, панахиду же отправлять определяет или в крепости, или в Невском монастыре. А как в крепость ехать нельзя за рекою, а в Невском ни одного их тел, по коим следует панахиду, уже нет, то и пришло бы петь оную

во дворце. Император будет петь панахиду про себя 6-го числа в церкви того дворца, где он изволит быть, независимо от Валуева, с тем двором, который тогда будет при Его Величестве, каждая же церковь последует тому по своему обряду. Восшествие свое на престол в день смерти матери Государь почитает непристойным праздновать, а затем изволит быть тот день в Царском Селе, предоставляя заменить сие празднество орденским днем 8-го числа. Император удивляется притом, что Валуев один из всего государства помнит, что когда кому делать. Знать, все другие ни о чем не пекутся. Его Величеству угодно, чтоб вы прочли сию записку Г-ну Валуеву, призвав его к себе. А вам предоставляется учредить в следствии сей записки.

«Сия записка писана по точным словам Императора и читана пред Его Величеством.

«Действительный Статский Советник Обресков».

С приездом двора, жизнь в Петербурге пошла обычным порядком; только однажды однообразие ее прервано было 11-го декабря новою фальшивою тревогою. Войска петербургского гарнизона поспешно бросились к Зимнему дворцу; и солдаты опять говорили, как и в Павловске: беда сделалась во дворце. Император Павел, находившийся на прогулке, немедленно возвратился во дворец и благодарил войска.

1797 год закончился манифестом, подписанным 18-го декабря, об учреждении государственного вспомогательного банка для дворянства. 19-го декабря, генерал-прокурор, князь Алексей Борисович Куракин, как главный виновник учреждения банка, награжден был андреевскою лентою.

Менее милостивым отношением к дворянству преисполнен указ от 15-го ноября 1797 года, данный генерал-прокурору, в котором сказано: «При наступающем возобновлении выборов дворянских, в разныя по губерниям должности, возлагаем на вас сообщить всем вообще начальникам губерний по гражданской части, дабы дворяне, исключенные из воинской службы, не только сами не были ни в какие должности избираемы и определяемы, но и голосов от них на выбор других не принимать». Если принять в соображение, за какие маловажные проступки офицеры выкидывались из службы, то нельзя не признать за приведенным указом более чем удручающий характер. Зло было усилено новым указом, состоявшися уже в следующим году, 14-го января, по которому повелено было дворян, исключенных из воинской службы, не принимать и на гражданскую службу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Путешествие императора в Москву и в Казань в 1798 году. — Анна Петровна Лопухина. — Новый период в царствовании императора Павла Петровича. — Война 1799 года. — Сближение с Францией и разрыв с Англией. — Поход казаков в Индию.

I

На выходе, 1-го января 1798 года, император Павел появился «в короне, в суперверсе и в императорской мантии». После литургии и принятия поздравлений состоялся торжественный обед в Георгиевском зале. Император восседал на троне в короне и императорской одежде. К обеду приглашены были духовные особы, члены Совета, особы 1-го и 2-го классов, статс-дамы, камер-фрейлины и фрейлины. «Для обозрения сего торжества в оном зале находились чужестранные министры, знатное дворянство, и хоры наполнены были дамами».[1]

В этот день отдан был приказ о поручении цесаревичу Александру Павловичу новой должности, а именно: «Его императорскаго величества наследнику всероссийскому председательствовать в военном департаменте. Сие делается за труды его в благодарность».

Наступивший 1798 год принес с собою великое множество самых разнообразных событий.

28-го января император был обрадован рождением сына. В тот же день, при пароле, государь отдал следующий приказ: «Бог даровал нам сына, его императорское высочество, великаго князя Михаила Павловича, которому и быть генерал-фельдцейхмейстером и шефом гвардейского артиллерийского баталиона».

1-го февраля скончался от апоплексического удара король польский Станислав-Август. Император устроил ему пышные похороны, и 25-го февраля тело короля было предано земле в католической церкви св.Екатерины на Невском проспекте.

В этом же месяце произошла попытка примирения императора с Суворовым, которому разрешено было приехать в Петербург.

---

[1] Камер-фурьерский журнал 1798 года. Утром в 9 часов, несмотря на предстоявшее утомительное торжество, все-таки, состоялся в присутствии государя развод.

С 5-го мая 1797 года, как выше упомянуто, Суворов был водворен в своем Кончанском имении; здесь, среди новгородских болот и лесов, «вождь вождей» изнывал под полицеским надзором. Наконец, 20-го сентября того же года, Суворов обратился к Павлу Петровичу со следующим трогательным письмом:

«Всемилостивейший государь!

Ваше императорское величество с высокоторжественным днем рождения всеподданнейший поздравляю.

Сего числа приехал ко мне коллежский советник Николев. Великий монарх! Сжальтесь: умилосердитесь над бедным стариком. Простите, ежели в чем согрешил.

«Повергая себя к освященнейшим стопам вашего императорскаго величества всеподданейший

Г.А.Суворов-Рымникский».

«20-го сентября 1797 года

«Боровичские деревни».

По получении этого письма, 28-го сентября, император Павел положил резолюцию: «оставить без ответа». Тем не менее, повелено было генерал-прокурору князю Куракину «растолковать Николеву, что он определяется к графу Суворову для надзора за ним неприметным образом, следовательно, сии намерения им смотреть г.Николева остановить».

Но вдруг последовал неожиданный поворот к милости. 12-го февраля 1798 года, племянник Суворова, флигель-адъютант князь Горчаков, получил в Петербурге такое высочайшее повеление: «Ехать вам, князь, к графу Суворову; сказать ему от меня, что если было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где надеюсь, не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению». В тот же день генерал-прокурору дан указ следующего содержания. «Генерал-фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому всемилостивейше дозволяя приехать в Петербург, находим пребывание коллежского ассесора Николева в Боровицких деревнях ненужным».

13-го февраля 1798 года Николев за ревностное исполнение порученного ему дела пожалован был в статские советники.

14-го февраля князь Горчаков явился к дяде вестником высочайшей милости. Суворов нисколько не обрадовался повелению прибыть в Петербург, признавая для себя невозможным согласовать свои взгляды с господствовавшими тогда требованиями и порядками новой эры. Тем не менее,

нельзя было не покориться полученному повелению, но, подчиняясь печальной необходимости, Суворов объявил, однако, племяннику, что старость и болезни вынуждают его отправиться в Петербург не иначе, как на долгих, проселочными дорогами.

Наконец, государь дождался прибытия Суворова, но состоявшееся немедленно свидание не привело к умиротворению взаимного неудовольствия. Павел Петрович делал фельдмаршалу разные намеки с целью убедить его проситься снова на службу, но тщетно; Суворов же в ответ заводил длинный рассказ про Измаил, Прагу и всячески подвергал испытанию терпение своего царственного собеседника. Суворов, конечно, не мог принять мирной службы на немыслимых по его разумению началах и потому уклонялся от этой чести, прикрываясь обычными приемами свойственного ему одному чудачества. В приемной, в ожидании аудиенции, фельдмаршал, по обыкновению, подшучивал над царедворцами, а с обер-гардеробмейстером Кутайсовым заговорил по-турецки. Во время вахт-парада дело пошло еще хуже: Суворов подсмеивался над окружавшими, проявлял умышленное невнимание; он отворачивался от проходивших взводов и не замечал, что государь, желая сделать ему приятное, производил баталиону учение не так, как обыкновенно, а водил его скорым шагом в атаку. Наконец, Суворов сказал князю Горчакову: «Не могу, брюхо болит», и уехал до конца развода, не стесняясь присутствием государя.

В следующие затем дни своего пребывания в Петербурге «Суворов не переставал «блажить», не упускал случая подшутить и осмеять новые правила службы, обмундирование, снаряжение, — не только в отсутствии, но и в присутствии государя. Садясь в карету, он находил большое к тому препятствие в прицепленной сзади наискось шпаге, которая якобы не дозволяла пролезть ему в каретную дверцу, старался в нее протискаться, но опять безуспешно. Целые четверть часа иногда у него уходило на усаживание в экипаж, и все это делалось, по его обыкновенной манере шутить, с серьезным, даже озабоченным видом, что усиливало комичность положения и возвышало едкость выходки. На разводе он делал вид, что не может справиться со своей плоской шляпой: снимая ее, хватался за поля то одной рукой, то другой — все мимо, и наконец ронял ее к ногам сумрачно смотревшего на него государя. Между проходившими церемониальным маршем взводами Суворов бегал и суетился,

что считалось крайним нарушением порядка и строевого благочиния; при этом он выражал на лице своем то удивление, то недоумение, шептал что-то себе под нос и крестился; когда же государь спросил однажды, что такое он делает, то Суворов отвечал, что читает молитву: «да будет воля Твоя». Через несколько дней последовал приказ о благочинии на разводах, которым строго подтверждались правила порядка, нарушенные Суворовым, но имя его в приказе не упоминалось... Государь, перед которым все трепетало и безмолвствовало, в котором малейшее противоречие не в добрый час производило взрывы страшного гнева, переламывал себя и оказывал Суворову необыкновенную снисходительность и сдержанность, но вместе с тем недоумевал о причинах упорства старого военачальника. А между тем дело было простое: Суворов жил для военного ремесла и олицетворял его в издавна усвоенном известном смысле, отречение от которого было для него самоотречением... Все бесцельнее и скучнее становилось его пребывание в Петербурге; наконец, выбрав время, он прямо попросил у государя дозволения возвратиться в деревню. Государь выслушал просьбу с видимым неудовольствием, но отвстил, что не хочет удерживать его против воли. Суворов поцеловал императору руку, откланялся императрице и в тот же день выехал из Петербурга. Как ни худо было его житье в Кончанске, но зрелище новых порядков и жизнь в их сфере оказались еще тяжелее».[1]

Таким решением фельдмаршала Павел Петрович избавлен был, наконец, от докучливого присутствия представителя екатерининской военной славы, олицетворявшего собою живой протест против новых порядков, водворившихся в России.

II

Незадолго до прибытия Суворова в Петербург внезапная опала постигла барона Аракчеева.

---

[1] А.Петрушевский: «Генералиссимус князь Суворов». Т.2-й, стр.390-391. В декабре 1798 года Суворов просил государя письменно позволить ему отбыть в Нилову новгородскую пустынь, где он намеревался окончить жизнь в службе Богу. «Спаситель наш один безгрешен», прибавил Суворов. «Неумышленности моей прости, милосердый государь. Всеподданнейший богомолец, Божий раб». На просьбу Суворова ответа со стороны императора Павла не последовало.

К несчастью для Аракчеева, кроме муштрования войск, ему была поручена и должность генерал-квартирмейстера всей армии, которая, конечно, не соответствовала ни дарованиям, ни знаниям этого неподражаемого экзерцирмейстера. В сведениях об Аракчееве, собранных В. Ратчем,[1] усердный панегирист его оказался бессильным сообщить что-либо похвальное о деятельности Алексея Андреевича, как генерал-квартирмейстера; он ограничился следующею характерной заметкою: «О размерах и направлении его деятельности по этому званию сведения весьма скудны. Зная, однако, его корпусное образование и его службу, сомневаемся, чтобы дальнейшие разыскания указали на какую-либо самостоятельную деятельность, тем более, что Аракчеев не был из числа людей, которые чтением расширяют свои познания». Признавая в нем вечного труженика, проводившего охотно целые часы за штатами и ведомостями, Ратч полагает, что Аракчеев был в должности генерал-квартирмейстера только исполнителем повелений государя.

По свидетельству графа Толя, служба офицеров по квартирмейстерской части под начальством Аракчеева была «преисполнена отчаяния». От семи часов утра до семи часов вечера, с двухчасовым перерывом для обеда, эти несчастные офицеры занимались нескончаемым перечерчиванием старых, большею частью, бесполезных планов. Аракчеев со свойственною ему неукротимостью и фанатическим тиранством настаивал ни точном и скором исполнении поручаемой работы; он был убежден, что если при Екатерине офицеры имели много праздного времени, то, занимаясь с утра до вечера хотя и бесполезною работою, подчиненные его будут, все-таки, отвлечены от вредного умствования, и этим соблюдена будет польза службы.

Будучи генерал-квартирмейстером, Аракчеев жил над залою, в которой производилось черчение планов, и раза по два и по три в день являлся среди офицеров. При малейшем поводе, под самыми ничтожными предлогами, он осыпал их самою отборною бранью и раз даже забылся до того, что молодому колонновожатому Фитингофу дал пощечину. В другой раз, в январе 1798 года, гнев его разразился над

---

[1] «Сведения о графе Алексее Андреевиче Аракчееве», Василий Ратча. (Военный Сборник 1861 и 1864 годов). Сведения доведены только до 1-го февраля 1798 года, то-есть, до первой опалы Аракчеева.

подполковником Леном, сподвижником Суворова и Георгиевским кавалером; он обругал Лена самыми позорнейшими словами. Несчастная жертва его гнева, он, молча выслушав брань, возвратился домой, написал письмо Аракчееву и затем застрелился. К счастью, подполковник Лен был лично известен государю и рекомендован ему графом Румянцевым-Задунайским; поэтому трагическая кончина славного офицера возбудила общее внимание и наделала много шуму в городе. Император потребовал письмо Лена. Около этого же времени Аракчеев публично осыпал ругательствами в *строю преображенцев и, обходя ряды, щедрою рукою* награждал людей ударами своей трости. Все эти служебные подвиги Аракчеева вызвали наконец неудовольствие государя; на этот раз Павел внял общему воплю и расстался со своим любимцем.

29-го января 1798 года, подполковник Лен был исключен из списка умершим; затем 1-го февраля барон Аракчеев был уволен в отпуск до излечения, а 2-го февраля генерал-лейтенант Герман назначен генерал-квартирмейстером. Аракчеев немедленно удалился в Грузино. Но невзгоды, постигшие черезмерно усердного гатчинского капрала, на этом не остановились; 18-го *марта последовал приказ по которому* генерал-майор барон Аракчеев отставлялся от службы, но с награждением чином генерал-лейтенанта.

Аракчеев удостоился однако в своем горе вскоре услышать слова утешения и ободрения с такой стороны, с которой можно было ожидать совсем иной оценки служебной деятельности свирепого капрала. Этот утешитель, называвший себя к тому же «верным другом» опального барона, был цесаревич Александр Павлович!

7-го мая 1798 года, великий князь писал в Грузино: «Душевно бы желал тебя увидеть и сказать тебе изустно, что *я такой же тебе верный друг, как и прежде. Признаюсь*, однако же, что я виноват перед тобою и что давно к тебе не писал; но, ей-Богу, от того произошло, что я не имел минуты для сего времени, и я надеюсь, что ты довольно меня коротко знаешь, чтобы мог усумниться обо мне. — Если ты сие сделал, то по чести согрешил и крайне меня обидел, но я надеюсь, что сего не было. Прощай, друг мой! Не забудь меня и пиши ко мне, чем ты меня крайне одолжишь. Так же поболее смотри за своим здоровьем, которое, я надеюсь, поправится; по крайней мере, желаю онаго от всего сердца и остаюсь на век твой верный друг».

Имею подобного верного друга, Аракчеев мог надеяться, что постигшая его опала будет непродолжительною. Действительно, в скором времени столь усердный и преданный новым порядкам деятель был возвращен на службу, к немалому горю его подчиненных.

Почти одновременно с Аракчеевым другой любимец императора Павла, Ф.В.Ростопчин, также временно сошел со служебного поприща. 4-го марта 1798 года, в приказе, отданном при пароле, объявлено было: «Генерал-адъютант Ростопчин по прошению его увольняется от службы».

31-го марта барон фон-дер-Пален произведен был в генералы от кавалерии; вскоре началось быстрое возвышение этого год тому назад столь несправедливо отставленного и, к тому же, оскорбленного государственного деятеля. «Я похож на те маленькие куколки, которые хотели бы опрокинуть и поставить вверх ногами, но которые всегда опять становятся на ноги», — сказал о себе фон-дер-Пален. Слова его получили блистательное подтверждение, по крайней мере, в царствование императора Павла.

III

После рождения великого князя Михаила Павловича колоссальная интрига, зародившаяся еще в 1797 году и направленная против императрицы и Е.И.Нелидовой, вступила в новый, благоприятный для ее разрешения фазис. Действующими лицами в этой интриге являлись Ростопчин, отчасти даже Безбородко, а во главе ее стоял обер-гардеробмейстер Кутайсов. От успеха затеянного ими дела все поименованные лица ожидали для себя разнообразных благ, которые оставались для них недосягаемыми, пока продолжала господствовать при дворе партия императрицы, руководимая Нелидовой.

Предначертанное государем новое путешествие весною по России, в которое включена была и Москва, доставило задуманной интриге скорое и легкое торжество.Между тем, Мария Федоровна должна была, по предписанию докторов, спокойно провести время в Павловске. Императрица, действительно, нуждалась в покое; она только что перенесла тяжелые роды, а затем еще глубоко потрясена была потерею своих родителей, быстро последовавшею одна за другой. Отец Марии Федоровны скончался в декабре 1797 года, а мать последовала за ним 9-го марта 1798 года. Таким обра-

зом, и с этой стороны врагам императрицы улыбнулось счастье, способствуя их честолюбивым затеям.

5-го мая император Павел выехал из Павловска и через Новгород и Тверь проследовал в Москву. Государя сопровождали великие князья Александр и Константин; князь Безбородко уже 2-го мая также отправился в Москву. Что же касается обер-гардеробмейстера Кутайсова, то он, конечно, принадлежал к числу спутников, избранных государем; Ростопчин, удаленный от дел, оставался в Петербурге, выжидая дальнейшего хода событий.

Пребывание в Москве повлекло за собою поворот в делах в царствование императора Павла; оно наложило на него до некоторой степени новый отпечаток и послужило источником злополучия для всех лиц, окружавших в ту пору государя.

Барон Гейкинг передает в своих записках следующие подробности этого события; будучи, вероятно, хорошо осведомленным, по близости своей к Е.И.Нелидовой, он заслуживает, без сомнения, полного внимания.

«Орудием, которым агитаторы всегда пользуются столь же ловко, как и успешно, всегда служили дураки», пишет Гейкинг. «Для привлечения их на свою сторону, агитаторы начинают с того, что сверх меры превозносят их честность; дураки хотя внутренно и удивляются этим незаслуженным похвалам, но так как они льстят их тщеславию, то они беззаветно отдаются в руки коварных льстецов.

«Таким образом случилось, что Куйтасов вдруг оказался образцом преданности своему властелину. Стали передавать примеры его бескорыстия; стали даже приписывать ему известную тонкость ума и выражать притворное удивление, как это государь не сделает чего-нибудь побольше для такого редкого любимца. Кутайсов, в конце концов, сам начал верить, что его друзья правы; но он дал им понять, что императрица и фрейлина Нелидова его не любят и мешают его возвышению. Этого только и ждали: стали еще больше превозносить его и уверять, что от него самого зависило бы приобрести господство над Павлом, если бы он доставил ему фаворитку по собственному выбору, которой предварительно он поставил бы свои условия. Напомнили ему о девице Лопухиной и внушили ему, что он должен делать в Москве. Кутайсов обещал все исполнить, а так как ему намекнули, что и князь Безбородко тоже желал бы видеть императора избавленным от опеки императрицы, фрейлины Нелидовой

и братьев Куракиных, то от всецело примкнул к этому заговору, не предвидя его результатов.

«Императора встретили в Москве, — как пишет Гейкинг, — восторженно, а так как сердце от природы у него было мягкое, то он был тронут этими изъявлениями преданности, восторга и любви. Бедный государь обладал любящею и чувствительною душою. И зачем это так случилось, что его раздражительный характер и болезненно настроенное воображение увлекали его постоянно на ложный путь. Преисполненный радостью, он сказал Кутайсову в тот же вечер.[1]

— Как отрадно было сегодня моему сердцу! Московский народ любит меня гораздо более, чем петербургский; мне кажется, что там меня гораздо более боятся, чем любят.

— Это меня не удивляет.

— Почему же?

— Не смею выразиться яснее.

— Я приказываю.

— Обещайте мне, государь, не передавать этого ни императрице, ни фрейлине Нелидовой.

— Обещаю.

— Государь, дело в том, что здесь вас видят таковым, каковы вы в действительности — добрым, великодушным и чувствительным, между тем как в Петербурге, если вы оказываете какую-либо милость, то говорят, что у вас ее выпросили или императрица, или фрейлина Нелидова, или же Куракины. Таким образом оказывается, что, когда вы делаете добро, то его делают они; если же вы караете, то это исходит от вас.

— Но... ты прав... стало быть, говорят, что я даю управлять собою этим двум женщинам.

— Так точно, государь.

— Ну, мои дамы, я покажу вам, как мною управляют! Исполненный гнева, Павел подошел к столу и хотел писать; но Кутайсов бросился к его ногам и убедил его действовать с притворством по отношению к упомянутым особам».

Император Павел встретился на балу с Анной Петровной Лопухиной, которая неотлучно следовала за ним и не спу-

---

[1] Император Павел прибыл в Москву 10-го мая, в одиннадцать часов утра, и пробыл в первопрестольной столице шесть дней. Государь проехал прямо в Успенский собор, а оттуда в Слободский дворец, где для дворянства в тот вечер был бал.

скала с него глаз; один из присутствовавших сказал государю: «Она, ваше величество, из-за вас голову потеряла».

Современник пишет, что Кутайсов «был послан негоциатором и полномочным министром трактовать инициативно с супругою Петра Васильевича (Лопухина) и мачехою Анны Петровны, Екатериною Николаевною, рожденной Шетневой, о приглашении Лопухина с его фамилиею в Петербург. Негоциации продолжались во все время маневров, и прелиминарные пункты были не прежде подписаны, как за несколько минут до отъезда его величества в Казань».

В Москве назначены были большие маневры войск, собранных под начальством фельдмаршала графа Ивана Петровича Салтыкова. 12-го мая произведен был смотр этим войскам, а затем начались маневры, продолжавшиеся три дня.[1] Император остался доволен войсками и объявил, что «он за честь себе поставляет быть образователем и начальником такого войска».

Наконец, на утро 16-го мая назначен был отъезд государя в дальнейший путь. Переговоры, порученные Кутайсову, еще не пришли к вожделенному концу, а между тем экипажи уже стояли у крыльца.

Очевидец пишет: «Весь генералитет и все штаб и обер-офицеры московскаго гарнизона толпились у подъезда. Я, пользуясь званием адъютанта фельдмаршала и качеством исправляющаго должность бригад-майора при его величестве, стоял на вышней площадке крыльца; на этой же площадке ходил человек небольшого роста, портфель под мышкою, погруженный в глубокую задумчивость; глаза сверкали у него, как у волка в ночное время, — это был статс-секретарь его величества, Петр Алексеевич Обресков; он сопутствовал государю и должен был сидеть в карете возле царя и докладывать его величеству дела, в производстве состящия. Ответ решительный Лопухиных тревожил спокойствие души Обрескова; ну, если негоциатор привезет не да, а нет! тогда докладывать дела Павлу Петровичу, влюбленному страстно и прогневанному отказом, было идти по ножевому лезвию. Все знали, что с разгневанным Павлом Петровичем встречаться было страшно. Минут через десять скачет карета во всю конскую прыть. Обресков ожидает сидящаго в карете

---

[1] Один из участников этих упражнений заметил, что маневры были скудны в стратегии, жалки в тактике и никуда негодны в практике.

со страхом и надеждою; остановился экипаж, вышел из кареты Иван Павлович Кутайсов, вбежал на лестницу и с восхищением громко сказал Обрескову: «все уладил: наша взяла», и поспешил обрадовать приятною вестию. Через четверть часа после радостного известия Павел Петрович шествовал к экипажу в сопровождении фельдмаршала. Перед тем, как сесть в карету, обнял графа Салтыкова и сказал: «Иван Петрович, я, сударь, совершенно вами доволен; благодарю вас и никогда не забуду вашей службы и усердия»... За государем взлез в карету Обресков и поскакали».[1]

Император Павел направил свой путь на Владимир. Вечером 16-го мая государь прибыл в город Покров, имевший 275 жителей, которые встретили его с необычайным восторгом. В письме к императрице от 17-го мая, уже из Владимира, Павел Петрович сообщил свои впечатления в следующих выражениях:

«Je demeurais au rez-de-chaussé...»

Нечто подобное повторилось в Муроме, и государь писал оттуда 18-го мая императрице: «Ce n'est pas Rome que...»

20-го мая император Павел прибыл в Нижний Новгород, а 24-го в Казань. Здесь остановка была пятидневная вследствие назначенного смотра войскам, после которого начались маневры. Полковник Л.Н.Энгельгардт, командовавший в то время Уфимским полком, пишет в своих записках по поводу «ревю», назначенного в Казани: «Все шли с трепетом; я более ужасался, чем идя на штурм Праги».

Император нашел, что Энгельгардт «мастер своего дела», и, узнав из разговора с ним, что он прежде был адъютантом князя Потемкина, сказал: «Тьфу, в какие ты попал знатные люди; да как ты не сделался негодяем, как все, при нем бывшие? Видимо, много в тебе добраго, что ты уцелел и сделался мне хорошим слугою».

Не менее замечателен разговор императора с военным губернатором Лассием на балу в дворянском собрании. Увидя его в башмаках с тростью, государь подошел и нему и сказал: «Как? Лассий в башмаках и с тростью? — Тот ему отвечает:

— А как же?

— Ты бы спросил у петербургских.

— Я их не знаю.

---

[1] «Русская Старина», 1885 года, т.48-й, стр. 81-82.

— Видно, ты не любишь петербургских; так я тебе скажу: когда ты в сапогах, знак, что готов к должности, и тогда надобно иметь трость; а когда в башмаках — знак, что хочешь куртизировать дам, тогда трость не нужна.

— Как вы хотите, ваше величество, чтобы в мои лета я мог знать все эти мелочи? (Comment, votre majesté, voulez vous qu'd mon âge je sache toutes ces misères).

«Государь рассмеялся сему ирландскому ответу, ибо Лассий был ирландец», — пишет Энгельгардт.

Когда император готовился уже уехать из Казани, он обратился к военному губернатору со следующим вопросом:

— Ну, Лассий, скажи правду, рад ты, что я еду.

— Очень.

— Как?

— До сих пор вы думаете, что у нас очень хорошо, а мы и очень не совершенны; так я хочу, чтобы вы уехали, будучи в таком о нас лестном мнении; а ежели бы остались долее, тогда бы увидели большие наши недостатки.

— Правда, твоя, — сказал государь».[1]

30-го мая император Павел выехал из Казани и через Нижний Новгород и Ярославль прибыл 8-го июня к Тихвину; здесь его поджидали императрица и Е.И.Нелидова. Дальнейшее совместное путешествие продолжалось через Новую Ладогу и Шлиссельбург и закончилось 11-го июня возвращением в Павловск.

Истинное настроение императора Павла и значение лопухинской интриги не сразу обнаружились; государь до поры до времени скрывал свои тайные намерения. Гроза разразилась только после переезда двора 9-го июля в Петергоф.

«Закулисные интриганы чувствовали, что их коалиция может держаться и привести к желанной цели лишь в том случае, если должности генерал-прокурора и петербургскаго военнаго губернатора будут в их руках, — пишет Гейкинг. — Прежде всего поэтому они стали подкапываться под князя Алексея Борисовича Куракина и генерала Буксгевдена. Кутайсов теперь только и знал, что расхваливать Палена; а так как ему известны были тайные соглядатаи Павла, то он сумел воспользоваться ими, чтобы доводить, по-видимому, самым естественным образом до ушей государя многочисленные восхваления человека, которому желали дать место.

---

[1] Записки Л.Н.Энгельгардта, стр. 207-213.

«Однажды Павел, находясь в небольшом кружке своих приближенных, выразился так: «Странно! Никогда не слыхал я, чтобы о ком-либо говорили так много хорошаго, как о Палене. Я, значит, довольно ложно судил о нем и должен эту несправедливость поправить». Предавшись такому течению мыслей, государь все милостивее и милостивее стал обращаться с Паленом, который вскоре так опутал его своими оригинальными и лицемерно-чистосердечными речами, что стал ему казаться самым подходящим человеком для занятия должности, требующей вернаго взгляда, ретиваго усердия и безграничнаго послушания.

«План окружить государя новыми людьми, как ни тщательно был скрываем, однако, не мог ускользнуть от проницательности многих заинтересованных в деле лиц; наконец, внезапное повеление Лопухину, который был сенатором в Москве, прибыть в Петербург достаточно ясно указало на близкое развитие какого-то обширнаго проекта.

«Однажды государь так дурно обошелся с вице-канцлером князем Куракиным, что тот вследствие этого захворал. Императрица хотела было замолвить слово в его пользу, но Павел очень гневно отнесся к этому. На сей раз гроза миновала; но одна неудачная мысль императрицы ускорила развязку. Узнав, что Анна Петровна Лопухина должна прибыть в Петербург, она имела неосторожность написать ей угрожающее письмо, чтобы воспрепятствовать исполнению этого плана. Письмо это пришлось тайным интриганам как раз с руки. Оно было доставлено Павлу, который пришел в неописуемый гнев. Он наговорил императрице невероятных вещей, а когда хотела оправдываться Нелидова, то и ея не пощадили».

Первой жертвой нового положения дел пал Юрий Александрович Нелединский. Накануне 22-го июля «Нелединский, проходя довольно поздно внутреннми коридором петергофскаго дворца из комнат императрицы Марии Федоровны, встретился с Павлом Петровичем, шедшим в сопровождении Кутайсова. Увидев Нелединскаго, Кутайсов сказал государю: «вот кто следит за вами днем и ночью и все передает императрице». Легко себе представить, какое действие произвели эти слова на вспыльчиваго и подозрительнаго Павла. Немедленно было приказано Нелединскому удалиться от двора. И так как следующий день, то-есть, 22-е июля, был высокоторженственный, то исполнить это было невозможно без огласки, а потому Юрий Александрович с

женою и детьми должен был провести весь этот день в своей квартире, выходившей окнами на гулянье, с опущенными шторами, в заперти, не смел ни сам выходить, ни выпускать детей из комнаты».[1]

Ю.А.Нелединский удалился в деревню. Указом 13-го сентября 1798 года он был отставлен от службы. По прошествии двух лет, 25-го ноября 1800 года, Нелединский был пожалован в тайные советники и назначен сенатором.

В день тезоименитства императрицы государь был в явно дурном настроении. Е.И.Нелидова была погружена в глубокую печаль, которую безуспешно старалась скрыть. Что же касается бала, то, по замечанию очевидца, он скорее был похож на похороны; все предсказывали новую грозу.

Все очерченные нами интриги отразились самым плачевным образом на состоянии духа императора Павла и вызвали полнейший семейный разлад; для государя лично подобная обстановка создавала неисчерпаемые душевные муки.

Граф Комаровский приводить в своих записках любопытный случай, относящийся в этому времени и рисующий собою настроение и мысли, волновавшие императора в ту пору. Комаровский пишет:

«В одно воскресенье, после бала, который продолжался довольно долго, когда вся императорская фамилия вошла во внутренния комнаты, император во всеми распрощался, в том числе и с великим князем Константином Павловичем. Его высочество, возвратясь к себе, сказал мне:

— Государь меня отпустил, прикажи подать мне кабриоль; я поеду погулять в нижний сад.

Через полчаса после отъезда великаго князя приходит граф Ливен и спрашивает у меня, где его высочество, говоря при том, что государь дожидается его, чтобы принять рапорт от караульнаго офицера. Я ему отвечал, что великий князь поехал в сад, и его высочество считает, что государь его отпустил; но я тотчас пошлю отыскать великаго князя. Не прошло и получаса, как граф Ливен опять приходит и говорит мне:

— Скажите его высочеству, что государь не него гневается, что он не знает своей должности».[2]

---

[1] Хроника недавней старины. — Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого, С.-Петербург, 1876, стр. 42 - 43.

[2] Должность великого князя Константина Павловича, как петергофского военного губернатора, обязывала его находиться при вечернем рапорте караульного офицера, подаваемом императору.

«Лишь только граф Ливен ушел, как посланный мой отыскал великаго князя, и он прискакал домой. Торопливо спрашивает меня:

— Ну, что сделалось?

Я ему пересказал все, что случилось в его отсутствие; его высочество чрезвычайно огорчился и послал меня узнать от караульнаго офицера, как это происходило. Караульный офицер мне сказал, что государь долго не принимал его с рапортом, ожидая все великаго князя, наконец приказал ему войти и принял рапорт. На другой день, рано по утру, великий князь прислал за мной. Я нашел его весьма встревоженным.

— Я не мог всю ночь почти уснуть, — сказал мне его высочество. «Он тотчас решился написать письмо к государю, но оно возвращено было нераспечатанным; после того приходит Обресков и говорит его высочеству:

— «Государь знает, что ваше высочество сегодня нездоровы, а потому приказал мне подать рапорт при разводе, — который великий князь принужден был ему отдать.

«Это довершило отчаяние его высочества. Чтобы больше еще привести его в затруднительное положение, императрица присылает к нему записку, в которой приглашает его с собой прогуливаться в колясочке. Я не знаю, что он отвечал на записку императрицы. Ходя долго по комнате взад и вперед, наконец он бросился ко мне на шею и сказал:

— «Мне пришла мысль, исполни ее: поди сейчас к И.П.Кутайсову, скажи ему все, что со мной случилось, скажи, в каком я отчаянии, и чтобы он испросил у государя одну милость, чтобы меня выслушать.

«Кутайсов был болен и жил под самым государевым кабинетом, что у гауптвахты; лишь только я к нему вошел, как он мне говорит:

— «Вы, верно, пришли от великаго князя Константина Павловича? Я все знаю. Государь у меня был и все пересказал; не стыдно ли великому князю не исполнять своей обязанности и тем приводить в гнев своего отца и государя?

«Такая встреча меня удивила. Я ему на сие сказал:

— «Если бы его высочество был виноват, он не стал бы себя оправдывать, а великий князь прислал меня просить вас, чтобы вы испросили у государя одну только милость, чтобы его выслушать.

— «Хорошо, сударь, — отвечал Кутайсов, — я исполню волю его высочества.

«Я пожалел великаго князя и не передал ему всего разговора, а сказал только, что Иван Павлович обещал исполнить его волю. Через несколько минут опять великий князь послал меня к Кутайсову; лишь только я поравнялся к гауптвахтой, как государь выходит от Кутайсова, увидя меня, прямо идет ко мне на встречу и, вертя своею тростью, грозно мне сказал:

— «А! ты послом ходишь?

«Я тотчас стал на колена и говорю ему:

— «Государь, великий князь перед вами невиноват.

«Его так это удивило, что он, взяв меня за руку, сказал:

— «Встань, встань, — как невиноват? Надень шляпу.

«И, взяв меня под руку, пошел со мной по аллее Верхнего сада. Я объяснил государю, как великому князю показалось, что он его отпустил, и уверял в привязанности великаго князя к его величеству, не только как к отцу, но как к государю, и что он вернейшаго подданаго, как великий князь, у себя не имеет; что гнев государя довел его высочество до отчаяния.

— «Как, он точно огорчен? — прервал государь.

— «Он так огорчен, — продолжал я, — что если сие состояние продолжится, то он, я уверен, сделается больным.

«Тогда государь начал мне рассказывать, как все против него, то-есть, императрица и наследник; что он окружен шпионами; в сию минуту прошел вдали парикмахерский ученик; государь, показывая на него, сказал мне: «ты видишь этого мальчишку; я не уверен, чтобы и ему не велено тоже за мной присматривать»; что его величество полагается на привязанность одного только Константина Павловича, но накануне сделанный им поступок заставил государя думать, что и он передался противной партии.[1] Наконец, император присовокупил:

---

[1] Для характеристики отношений, установившихся в то время между императором и его супругой, достаточно привести случай, рассказанный Гейкингом. Он пишет: «Граф Виельгорский, который по своему званию гофмаршала принужден был часто беседовать с императрицею о некоторых предметах, касающихся его должности, стал, на одном из придворных собраний, говорить ей о чем-то подобном. Государь нахмурился и заметил великому князю Александру: «Вот он опять толкует ей о пустяках». Великий князь бросил на графа взгляд, давая ему понять чтобы он удалился. Виельгорский отошел и приблизился к игрокам в бостон, сидевшим за карточным столом, в нескольких шагах от государя. «Вот, посмотрите», — сказал Павел, — «теперь он старается приблизиться к нам, чтобы подслушать, о чем мы говорим». Великий князь дал Виельгорскому знак отойти; но тот, находясь подле четырех игроков, не вообразил себе даже, что в нем подозревают столь тонкий слух, а тем более намерение подслушать своего государя.

— «Ну, если я его прощу, что, он этому обрадуется?

«Тут он, приняв веселый вид, сказал из итальянской оперы:

— «Dite lo voi per me (скажите ему за меня), что я его прощаю, чтобы он послал взять рапорт у Обрескова и подал бы мне оный при разводе, подошел бы, как обыкновенно, не показывая ни малейшей радости, чтобы никто не догадался о том, что между нами происходило, — и приказал мне итти.

«Великий князь ожидал меня с нетерпением и не мог понять, отчего я долго так не возвращался. Когда я ему рассказал, что со мною случилось, он сначала не хотел верить, но видя, что я ему говорю именем государя, как ему поступать должно во время развода, тут он бросился ко мне на шею и начал меня целовать, и так крепко меня обнимал, что я думал, что меня задушит. Когда великий князь с рапортом подошел к государю, его величество ему сказал:

— «Ты имеешь прекраснаго посланника.

«С тех пор государь всякий день что-нибудь приятнос мне говорил».[1] Роковой шаг в новом направлении император Павел сделал 28-го июля 1798 года. В этот день генерал от кавалерии барон фон-дер-Пален назначен был петербургским военным губернатором, на место генерал-лейтенанта Буксгевдена. В тот же день вице-адмирал Плещеев оставлен был от службы.

1-го августа сенатор Петр Васильевич Лопухин в первый раз обедал при дворе в Петергофе, а затем, 8-го августа, когда двор находился в Павловске,[2] последовало назначение его генерал-прокурором. 20-го августа Лопухину подарен был дом, бывший Рибаса, на дворцовой набережной, а 23-го

Он остался на своем месте, спокойно продолжая разговаривать с игроками, чтобы доказать, что его внимание никуда более не отвлечено». На другой день граф Виельгорский был сменен и несколько позже должен был выехать в Вильно. (Aus den Tagen Kaiser Pauls, p. 131 - 132).

[1] Записки графа Е.Ф.Комаровского. «Исторический Вестник» 1897 года, т.69-й,стр. 352 - 355.

[2] Двор в 1798 году переехал 6-го августа из Петергофа в Павловск. 16-го августа император Павел из Павловска приехал в Петербург. Из Зимнего дворца государь, в сопровождении великих князей, отправился верхом в Михайловский замок для обозрения построек. Потом Павел Петрович присутствовал на вахт-параде на Царицынском лугу, после чего прибыл в обеду в Таврический дворец. В тот же день государь с императрицею обозревал Воспитательный дом; переночевав в Таврическом дворце, государь на другой день после развода возвратился в Павловск. 18-го августа двор переехал в Гатчину.

августа ему повелено было присутствовать в Совете; 6-го сентября Лопухин произведен был в действительные тайные советники, и в тот же день жена его, Екатерина Николаевна, пожалована была в статс-дамы, а дочь, Анна Петровна, в камер-фрейлины. С этой минуты на Лопухина посыпались разнообразные награды и отличия с неимоверною, сказочною быстротою.

Император Павел на другой день после назначения барона Палена военным губернатором вспомнил об опальном бароне Аракчееве, и 29-го июля цесаревич Александр писал ему в Грузино: «Друг мой Алексей Андреевич. Я имею поручение от государя тебе написать, что он имеет нужду до тебя, и чтобы ты приехал к нему. Я отменно радуюсь сему случаю, который мне причинит веселие тебя видеть, чего уже давно я желаю. Исполнив волю государя, не остается другого, как пожелать тебе от искренняго сердца здоровья и хорошаго пути. Прощай, друг мой! Твой верный друг». 11-го августа помещено было в приказе, что «отставной генерал-лейтенант барон Аракчеев принят паки в службу с отданием старшинства и определением в свиту его величества». Счастье с новым блеском возсияло над главою Аракчеева.

Отставленный почти в одно время с Аракчеевым Ф.В.Ростопчин также не был позабыт. 24-го августа последовал приказ: «Отставной генерал-лейтенант Ростопчин принят паки в службу генерал-лейтенантом с отданием старшинства и назначением в свиту его величества». Окончательно новое служебное поприще Ростопчина определилось указом 24-го октября, по которому он пожалован был в действительные тайные советники с повелением присутствовать третьим в коллегии иностранных дел. Ненавистный Ростопчину вице-канцлер князь Александр Борисович Куракин уволен был от всех дел еще 9-го сентября 1798 года.

5-го сентября судьба графа Буксгевдена была окончательно решена. Бывший военный губернатор получил отставку, но, во внимание участия его в 67-ми сражениях, ему был сохранен мундир. Граф Буксгевден немедленно удалился в принадлежавший ему замок Лоде, в котором некогда умерла Зельмира; к семейству его добровольно присоединилась Е.И.Нелидова. Опальная камер-фрейлина, по словам князя Лобанова, поняла, что ей невозможно бороться с молодою соперницею; не желая сохранять при дворе положение второстепенное и умаленное (position secondaire et effacée), она предпочла удалиться... Падение Нелидовой было столь же

важным событием, каким является перемена министерства; оно повлекло за собою смещение всех близких к ней людей или же державшихся, благодаря ее влиянию. Недруги Нелидовой могли торжествовать, нисколько не подозревая, к какому роковому исходу приведет все случившееся в 1798 году... Двери всевозможным новым интригам широко раскрылись, и стоявшие в них царедворцы принялись усердно топить друг друга. Среди этой толпы, рукоплескавшей исчезновению Нелидовой, один барон Петр Алексеевич фондер-Пален знал, чего он хотел, знал, к чему он стремился; остальные, обуреваемые своими мелкими эгоистическими расчетами, не ведали даже, что творят. Невольно припоминаются слова, некогда сказанные А.П.Волынским: нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и от того сыты бываем.

Господствовавший в умах страх не мешал, как пишет И.И.Дмитриев, «коварным царедворцам строить ковы друг против друга, выслуживаться тайными доносами и возбуждать недоверчивость в государе, по природе добром, щедром, но вспыльчивом. От того происходили скоропостижные падения чиновных особ, внезапныя выселки из столицы даже и отставных из знатнаго и средняго круга, уже несколько лет наслаждавшихся спокойствием скромной, независимой жизни».[1]

IV

Полное торжество,увенчавшее собою интригу 1798 года, определило начало нового периода в царствовании императора Павла Петровича. С этим периодом совпало и новое направление, приданное внешней политике России, быстро утратившей первоначальный миролюбивый характер. Вместе с тем международные отношения империи усложнились совершенно своеобразными соображениями, вызванными появлением на исторической сцене фантасмагории мальтийского великого магистерства.

Генерал Бонапарт, отправляясь в 1798 году в Египетскую экспедицию, захватил мимоходом Мальту: великий магистр Гомпеш сдал французам, без всякого сопротивления, остров с укреплениями, с артиллерией, с кораблями, с запасами и удалился в Триест. Сдача Мальты вызвала сильнейший гнев

---

[1] Взгляд на мою жизнь. Стр. 149 - 150.

императора Павла, как протектора ордена, и сопровождалась, 26-го августа, протестом со стороны русского великого приорства и манифестом «du drand prieuré de Russie». Петербургское собрание мальтийских кавалеров протестовало против сдачи Мальты и, объявив Гомпеша лишенным гроссмейстерского достоинства, предоставило судьбу ордена на волю его протектора императора Павла. В ответ на манифест мальтийского ордена последовала, 10-го сентября 1798 года, декларация императора Павла, по которой он принимал орден святого Иоанна Иерусальиского под свое верховное руководство (sous notre suprême direction).

Двор в этом году переехал из Гатчины в Петербург ранее обыкновенного, а именно 29-го сентября;[1] причиною тому было присутствие в столице Анны Петровны Лопухиной. 3-го октября был в Зимнем дворце бал, на котором Анна Петровна ужинала в первый раз при дворе. Император и великие князья «за стол садиться не изволили, а в продолжение сего времени проводить изволили обозреванием заседающих при столе персон», сказано в камер-фурьерском журнале.

Рыцарские тенденции Павла Петровича отразились и на дальнейшем ходе русской политики. Коалиции удалось наконец выманить русские войска за границу: с 13-го по 20-е октября корпус Розенберга постепенно переходил Буг у Бреста, направляясь через Люблин, Краков и Брюнн на Кремс. Это движение послужило прологом борьбы, завязавшейся вскоре на полях Италии и среди Альп, которая со временем привела всю континентальную Европу в Кремль, а нашу армию в Париж. С этого времени за русской армией надолго упрочилось наименование дивизии «de la grande armée de la bonne cause».

29-го ноября 1798 года, совершилось другое событие огромной важности: императору Павлу благоугодно было принять достоинство великого магистра державного ордена св. Иоанна Иерусалимского. В этот день состоялась в Зимнем дворце торжественная аудиенция депутации капитула

---

[1] В 1798 году не было больших маневров. В приказе от 30-го августа государь объявил свое благоволение всей инфантерии за «школьный маневр». В том же приказе сказано было, что государь «за особенную честь и удовольствие поставляет, находя всю гвардию под особенною своею командою в таком совершенстве». На другой день, 31-го августа, объявлен был рекрутский набор с 1-го ноября по 1 рекруту с 500 душ.

ордена, которая поднесла императору корону и регалии великомагистерские. Государь и великие князья Александр и Константин, а также и все кавалеры ордена, в ознаменование присяги, воздевали шляпы, обнажали и уклоняли шпаги, а знаменоносец — орденское знамя. В тот же день появился манифест нового великого магистра, в котором установлялось «новое заведение ордена св. Иоанна Иерусалимскаго в пользу благороднаго дворянства империи Всероссийской», чтобы открыть для него новый способ к поощрению честолюбия на распространение подвигов, «отечеству полезных и нам угодных». На это новое заведение повелено было ежегодно отпускать 216.000 рублей.[1]

16-го декабря 1798 года, появился по поводу события, совершившегося 29-го ноября, еще следующий манифест: «По общему желанию и просьбе всех членов знаменитаго ордена св. Иоанна Иерусалимскаго, приняв в третьем году на себя звание покровителя того ордена, не могли мы уведомиться без крайняго соболезнования о малодушной и бесоборонной сдаче укреплений и всего острова Мальты французам, неприятельское нападение на сей остров учинившим, при самом, так сказать, их появлении; и не могли мы почесть инако подобный поступок, как наносящий вечное бесславие виновникам онаго, оказавшимся чрез то недостойными почести, которая была наградою верности и мужества. В сем образе точно представлено происшествие сие не только кавалерами того ордена великаго приорства российскаго, но и другими благонамеренными его членами. Обнародовав отвращение свое от толь предосудительнаго поведения недостойных быть более их собратиею, изъявили они свое единогласное желание, чтобы мы восприяли на себя звание великаго магистра, которому мы торжественно и удовлетворили, определяя главное место пребывания того ордена в императорской нашей столице, имея непременное намерение, чтоб орден сей не токмо сохранен был при его прежних установлениях и преимуществах, но чтоб в почтительном своем состоянии на будущия времена споспешествовал той доброй цели, на которую основан оный был для пользы общей. Повелеваем о таковом восприятии нами качества великаго магистра ордена св. Иоанна Иерусалим-

---

[1] Основания нового заведения изложены были в этом манифесте в 12-ти статьях.

скаго опубликовать во всей империи нашей и оное внести, где приличествует, в титулы наши».

По поводу титула еще ранее, 15-го декабря 1798 года, последовал особенный указ сенату, в котором сказано было: «Прокламациею, учиненною пред нами ноября в 29-й день, приняв мы на себя титул великаго магистра, издревле столь знаменитаго и почтения достойнаго ордена святаго Иоанна Иерусалимскаго, высочайше повелеваем сенату нашему включить оной в императорский титул наш, предоставляя синоду поместить оный по его благоусмотрению». Впоследствии, 23-го февраля 1799 года, повелено было к новому титулу прибавить еще слова «державный».

Аббат Жоржель, прибывший в Петербург с депутацией по случаю избрания императора Павла великим магистром, высказывает в своих записках следующее заключение по случаю совершившегося 29-го ноября 1798 года изумительного события.

А.Васильчиков замечает: «С какою-то болезненною поспешностью самодержец всероссийский, первый сын и даже, как он воображал себе, глава православной церкви, женатый, отец семейства, провозгласил себя гроссмейстером Мальтийскаго ордена, основами котораго были безбрачие и латинство». (Семейство Разумовских, т.III, стр. 284).

Дипломаты не сразу оценили последствия с принятием императором Павлом великого магистерства; даже такой опытный делец, как английский посол Витворт, не составлял в этом отношении исключения. Он нисколько не предусмотрел, к каким политическим усложнениям может привести этот новый элемент, призванный сыграть столь решительную роль в русской политике того времени. В 1797 году Витворт видел в этом явлении «un bien réel et une vertu de plus dans L'empereur, celle de maintenir et faire honneur aux anciennes institutions». Даже в 1799 году Витворт писал еще графу С.Р.Воронцову не без восторга и удовольствия.[1]

Бернгарди в своей истории России называет странным, причудливым планом это стремление Павла пересадить мальтийский орден на русскую почву, чуждую культурной жизни средних веков, чуждую рыцарства и рыцарский идей. По остроумному объяснению русского дипломата позднейшего времени, новый великий магистр смотрел на это

[1] Архив князя Воронцова, книга 29-я, стр. 367 и 381.

учреждение, как на послушничество (noviciat), в котором дворянство всех европейских государств должно было почерпать чувства чести и верности, необходимые ему для того, чтобы противиться воцарению идеи равенства, которая уже готова была охватить все слои общества.

Если принятие русским императором звания великого магистра ордена, утратившего всякое политическое значение, могло удивить Европу, то она не менее удивлена была еще другим небывалым дотоле событием: 23-го декабря 1798 года заключен был Россией союзный и оборонительный договор с Оттоманской Портой. К крайнему изумлению правоверных, черноморский флот вступил в Босфор и проходил под стенами сераля в качестве союзника падишаха. Таким образом, к европейской коалиции, образовавшейся против республиканской Франции, присоединилась также Турция, чтобы совместными силами покарать державу, в которой, как выразился император Павел, «развратныя правила и буйственное воспаление рассудка» попрали Закон Божий и повиновение установленным властям.

4-го февраля 1799 года император Павел писал Суворову:

«Сейчас получил я, граф Александр Васильевич, известие о настоятельном желании венскаго двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпусы Розенберга и Германа идут. Итак посему и при теперешних обстоятельствах долгом почитаю не от своего только лица, но от лица и других, предложить вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену».

С этим письмом приехал в Кончанское, 6-го февраля, флигель-адъютант Толбухин. Сборы Суворова на этот раз были непродолжительны. 7-го февраля граф выехал из деревни и 9-го прибыл в Петербург; он был вновь зачислен на службу с чином генерал-фельдмаршала, но без объявления в приказе — обстоятельство, довольно странное, на которое нельзя не обратить внимания.

На этот раз Суворов не причинил государю никаких преднамеренных неприятностей. «Таким образом, он не прикидывался недоумевающим или изумленным при виде новых порядков, форм и уставов, не затруднялся снимать шляпу, не путался со шпагой, садясь в карету, не производил никакого замешательства на разводе».

Император возложил на Суворова большой крест ордена святого Иоанна Иерусалимского, с подобающей церемонией, при чем фельдмаршал стоял на коленях.

Суворов встретил в Петербурге восторженный прием со стороны всех слоев общества. Все бросились к нему на поклон, друзья и недруги. В числе последних лиц был и Николев.[1] Суворов назвал Николева «первым своим благодетелем» и велел своему Прохору посадить его «выше всех». Прохор взмостил стул на диван, заставил Николева сесть на это действительно «высокое место», при громком смехе присутствовавших, и Суворов почтил своего сконфуженнаго гостя изысканными поклонами».

В конце февраля Суворов выехал из Петербурга в Вену.

В 1799 году награды продолжали сыпаться на лиц, удостоенных ближайшего доверия императора Павла. Более всех удостоился благоволения государя генерал-прокурор П.В.Лопухин. 19-го января последовал указ сенату, в котором изображено: «В несомненный знак нашего монаршаго благоволения и в воздаяние верности и усердия к службе нашей действительнаго тайнаго советника и генерал-прокурора Лопухина, всемилостивейше пожаловали мы его князем империи нашей, распространяя достоинство и титул сей на все потомство, от него, Лопухина, происходящее, мужеска и женска пола». Затем ему дарован был еще титул светлости, староство Корсунь, портрет государя, бриллиантовые знаки ордена св.Андрея Первозванного и орден св. Иоанна Иерусалимского[2] большого креста, алмазами украшенного; кроме того, ему было употреблять для ливреи цвета, присвоенные придворной ливрее. И все это дано было не за заслуги, а по одному благоволению. 7-го июля 1799 года князь Лопухин по прошению уволен был от всех дел и заменен сенатором Александром Андреевичем Беклешевым, пожалованным вместе с тем кавалером св.Иоанна Иерусалимского большого креста.

Заметим здесь, что в бытность П.В.Лопухина генерал-прокурором, 18-го ноября, издан был указ об избавлении от телесных наказаний людей, имеющих более 70-ти лет. И.И.Дмитриев приписывает падение князя Лопухина Кутайсову, который, «несмотря на женитьбу сына его (графа Павла Ивановича Кутайсова) на дочери князя Лопухина

---

[1] 19-го августа 1798 года Николев за оказанное в службе усердие пожалован был в действительные статские советники.

[2] Еще ранее П.В.Лопухин пожалован был императором Павлом кавалером орденов св. Андрея Первозванного и св. Анны.

(Прасковии Петровне), успел низложить и своего свата. Подозревали, что он только был орудием других недоброжелательствующих князю».[1]

22-го февраля 1799 года, пожаловано было графское достоинство: 1) статс-даме Ливен, 2) барону фон-дер-Палену,[2] 3) вице-президенту адмиралтейств-коллегии Кушелеву, 4) Ф.В.Ростопчину. Кроме того, И.П.Кутайсов, пожалованный 6-го декабря 1798 года егермейстером, получил 22-го февраля баронское достоинство. Эти награды не помешали Кутайсову 5-го мая 1799 года быть пожалованным графом, 9-го января 1800 года обер-шталмейстером.

31-го мая 1799 года, на имя графа Ростопчина последовал следующий указ: «Для приведения в желаемый нами порядок почтоваго департамента вообще, всемилостивейше повелеваем быть главным директором онаго действительному тайному советнику графу Ростопчину и по всем делам относиться беспосредственно к нам, оставляя в прежних должностях». 29-го июня 1799 года, граф Ростопчин получил еще орден св. Андрея Первозванного, а 25-го сентября ему повелено было быть первым присутствующим коллегии иностранных дел.[3]

Барон Аракчеев также не был обижен. В один день с Кутайсовым, 5-го мая 1799 года, ему было пожаловано графское достоинство. Сверх того, новый герб Аракчеева украсился девизом, собственноручно написанным императором Павлом: «Без лести предан». Еще ранее, 4-го января 1799 года, Аракчеев назначен был командиром гвардии артиллерийского батальона и инспектором всей артиллерии, а 5-го января награжден орденом св. Иоанна Иерусалимского, с командорством по 1.000 рублей в год.[4]

---

[1] Взгляд на мою жизнь. Стр. 143.

[2] Незадолго до этой награды Пален получил 27-го ноября 1798 года орден св. Андрея Первозванного.

[3] Кроме того, император Павел наградил также отца графа Ростопчина. 29-го апреля 1799 года последовал указ: «За верность и преданность нашего действительнаго тайнаго советника графа Ростопчина еще в знак нашего к нему благоволения всемилостивейше жалуем отца его, отставного майора Ростопчина, в наши действительные статские советники, увольняя его от всех дел».

[4] «Можно себе представить скотски грубаго (bis zur Bestialitt trohen) Аракчеева в качестве мальтийскаго рыцаря!.. Было бы почти столь же подходящим произвести его в трубадуры!» пишет Бернгарди: Geschichte Russlands. Leipzig, 1875, t. 2, Abtheilung 2, p. 391.

Д.Б.Мертваго в своих записках оставил нам следующую характеристику Аракчеева:

«За обучение его российской грамоте и арифметике заплачено, как сам он сказывал, одна четверть ржи и две четверти овса... Неусыпное прилежание к должности сего человека, исправное исполнение всех приказаний, а наипаче строгих, было способом к получению всех отличий и личных милостей... Главнейшая же беда в том, что он познавал науку правительствовать от бывшаго наследника (Павла Петровича), ожесточеннаго и всю силу свою и достоинство власти основывавшаго единственно на чистом самовластии. — Судя по воспитанию и ходу фортуны графа Аракчеева, следует заключить, что имеет он ум нравиться тому, кому следует».[1]

Но, несмотря на благоволение императора, в том же 1799 году служебное возвышение Аракчеева вторично прервалось. Невзгоды, постигшие его уже раз, в 1798 году, конечно, не изменили ни характера, ни служебных приемов гатчинского капрала. Аракчеев по-прежнему являлся придирчивым, жестоким начальником, заботившемся более о том, чтобы находить беспорядки и неисправности, нежели отдавать должное разумному усердию и истинным заслугам подчиненных; своим недоверчивым отношением он отравлял охоту к службе и истреблял любовь к ней. Не имея в душе ни к кому снисхождения, он утомлял и раздражал государя донесениями о мелочных отступлениях от порядка службы. Наконец, наговоры и жалобы, доходившие до его державного покровителя, подготовили почву для вожделенного избавления русского воинства от этого гатчинского бича.

Предвестником приближавшейся бури можно считать приказ от 10-го сентября 1799 года, в котором инспектору всей артиллерии графу Аракчееву сделан был выговор «за несмотрение за тем, что служители гарнизонных артиллерийских Роченсальмских рот не были удовлетворены следующим им».

Окончательная катострофа произошла вскоре по собственной вине графа Аракчеева.

---

[1] Записки Дмитрия Борисовича Мертваго (1760-1824). Москва, 1867. Стр. 232 - 234. Эти записки были напечатаны в «Русском Арихве» 1867 года.

В артиллерийском арсенале хранилась старинная колесница для артиллерийского штандарта, обитая бархатом с золотыми кистями и галуном. Какой-то артиллерийский солдат, найдя возможность пролезть сквозь довольно редкую чугунную решетку окна, обрезал галун и кисти и унес их назаметно от стоявшего при арсенальном здании караула.[1] В то время ни один малейший случай неисправности не мог скрыться от внимания императора Павла, и графу Аракчееву, по званию инспектора всей артиллерии, надлежало немедленно донести о покраже в арсенале государю. В настоящем случае Аракчеев был поставлен в весьма затруднительное положение: родной брат его, генерал-майор Андрей Андреевич, командовал артиллерийским батальоном, от которого стоял караул при арсенале во время случившейся покражи.[2]Аракчеев донес государю, что во время происшествия караул был наряжен от полка генерал-лейтенанта Вильде. Император повелел немедленно отставить Вильде от службы. Действительно, в приказе от 30-го сентября сказано было: «По делу о покраже в Санктпетербургском арсенале генерал-лейтенант Вильде и генерал-майор Гермерс отставляются от службы». Пострадавший невинно генерал обратился тогда к защите графа Кутайсова и объяснил ему бесчестный поступок Аракчеева. Кутайсов поспешил открыть императору Павлу истину. В тот самый день, 30-го сентября, вечером, был у государя бал в Гатчине. Аракчеев, ничего не подозревая, явился во дворец, но лишь только государь его увидел, как послал чрез генерал-адъютанта Котлубицкого приказание — ехать Аракчееву домой. На следующее утро, 1-го октября 1799 года, последовал высочайший приказ:

«Генерал-лейтенант граф Аракчеев 1-й за ложное донесение о беспорядках и что в противность устава нарядил дежурным штаб-офицера из другого баталиона, а не от того, который стоял тогда в карауле, отставляется от службы.

---

[1] М.А.Богданович: История царствования императора Александра I и России в его время. С.-Петербург, т.2-й, стр. 50 (случай, подавший повод к удалению Аракчеева в царствование императора Павла. Из записок П.А.Тучкова).

[2] 15-го ноября 1796 года брат Алексея Андреевича Аракчеева, служивший подпоручиком в полевой артиллерии, был переведен в гвардейскую артиллерию капитаном.

Генерал-майор Аракчеев 2-й за случившуюся покражу в арсенале во время бытности там в карауле его баталиона отставляется от службы.

Генерал-лейтенант Вильде и генерал-майор Гермес принимаются попрежнему в службу, первый шефом в бывший артиллерийской Бегичева 1-го баталион, а последний командиром онаго.

Генерал-лейтенанту Амбразанцову быть инспектором всей артиллерии и командиром гвардии артиллерийскаго баталиона».[1]

Графу Аракчееву оставалось одно — вторично удалиться в Грузино и ожидать там нового счастливого оборота в своей судьбе; отъездом своим Алексей Андреевич, однако, не спешил, судя по письму к нему цесаревича Александра Павловича от 15-го октября 1799 года.

«Я надеюсь, друг мой, — писал Александр из Гатчины, — что мне нужды нет при сем несчастном случае возобновить уверение о моей непрестанной дружбе; ты имел довольно опытов об оной, и я уверен, что ты об ней и не сомневаешься. Поверь, что она никогда не переменится. Я справлялся везде о помянутом ложном донесении, но никто об нем ничего не знает, и никакой бумаги такого рода не от кого совсем в государеву канцелярию не входило; а государь, призвавши Ливена, продиктовал ему сам те слова, которыя стоят в приказе.[2] Если что-нибудь было, то с побочной стороны. Но я вижу по всему делу, что государь воображал, что покража в арсенале была сделана по иностранным наученият. И так как воры уже сысканы, как уже, я думаю, тебе и известно, то он ужасно удивился, что обманулся в своих догадках. Он за мною тотчас прислал и заставил пересказать, как покража сделалась, после чего сказал мне: я был все уверен, что это по иностранным проискам. Я ему

---

[1] В том же приказе от 1-го октября 1799 года читаем еще: «Адъютант его императорскаго высочества Александр Павловича, генерал-майор Апрелев, по делу, по которому генерал-лейтенант граф Аракчеев отставлен, отставляется от службы».

Апрелев пользовался покровительством Аракчеева и по его выбору поступил в 1793 году в гатчинскую артиллерию, а в 1797 году назначен был адъютантом к цесаревичу.

[2] В это время высочайшие приказы подписывались уже не цесаревичем Александром и Аракчеевым, как это имело место в начале царствования императора Павла, а генерал-адъютантом графом Христофором Андреевичем Ливеном; он был произведен 27-го июня 1798 года в генерал-майоры и назначен генерал-адъютантом.

на это отвечал, что иностранным мало пользы будет в пяти старых штандартах. Тем и кончилось. Про тебе же ни слова мне не говорил, и видно, что ему сильныя внушения на тебя сделаны, потому что я два раза просил за Апрелева, который и дела совсем с тем не имел, но он ни под каким видом не хотел согласиться, не почему иному, кажется, как потому, что Апрелев от тебя шел. Прощай, друг мой, Алексей Андреевич! не забывай меня, будь здоров и думай, что у тебя верный во мне друг остается».

К несчастию для России, все высказанное в приведенном письме было не одни слова. «Верный друг» таким и остался в наступавшем новом столетии, когда представились полная возможность согласовать слова с действиями.

V

В июне 1798 года Виктор Павлович Кочубей, племянник князя Безбородки и друг юности великого князя Александра Павловича, возвратился в Петербург из Константинополя.[1] Император Павел принял его в Павловске весьма милостиво и выразил желание сблизить его с цесаревичем. Приглашая затем Кочубея часто бывать у Александра, государь прибавил, «чтобы он был у великаго князя то, что у него князь Безбородко, и что таким образом нам следовало бы составить une espéce de quatuor».[2] Кочубею не трудно было исполнить желание государя, потому что дружеские отношения его к наследнику остались в полной силе, а прежние откровенные беседы могли продолжаться тем легче после приведенных нами слов императора.

В это время князь Безбородко начинал уже изнемогать под бременем болезни, которая свела его вскоре в могилу. Поэтому, по желанию канцлера, Кочубей вступил в управление коллегией иностранных дел и служил ему сотрудником и помощником. 23-го октября 1798 года, Кочубей, после увольнения князя Куракина, назначен был вице-канцлером с чином действительного тайного советника, а 4-го апреля 1799 года ему было пожаловано графское достоинство.

---

[1] Кочубей еще при жизни императрицы Екатерины назначен был действительным камергером, а в 1792 году чрезвычайным посланником и полномочным министром в Константинополе. По воцарении Павла I, Кочубей пожалован был в тайные советники и награжден орденом св. Александра Невского.

[2] Архив князя Воронцова. Книга 14-я, стр. 123.

Между тем здоровье князя Безбородко продолжало внушать все большие опасения, и 6-го апреля 1799 года канцлер скончался. Император Павел в это время уже видимо тяготился участием в делах этого государственного ума. Рассказывают, что, когда государю доложили о кончине канцлера, при чем сказано было: «Россия лишилась Безбородки», Павел Петрович с досадою возразил: «У меня все Безбородки». Когда же по получении печального известия императрица Мария Федоровна расплакалась, разгневанный государь сказал ей: «Allez pleurer dans votre chambre. On dirait que l'empire est perdu. Il y a bien des gens capables de le remplacer». Если эти слова и не были, может быть, произнесены столь резким образом, то они, во всяком случае, в достаточной мере отражают настроение и мысли овладевшие в эту эпоху умом императора.[1]

Смерть Безбородки, конечно, поколебала положение, занятое при дворе графом Кочубеем; к тому же, государь стал находить, что он умничает.[2] Поэтому не удивительно, что 8-го августа 1799 года последовал указ сенату такого содержания: «Вице-канцлера нашего, графа Кочубея, по желанию его, всемилостивейше увольняя от службы, повелеваем остаться ему при исправлении должности до приезда тайного советника графа Панина».

Граф Никита Петрович Панин находился в это время за границей.

Скажем несколько слов о его службе с 1796 года.

Когда воцарился Павел Петрович, граф Панин был генерал-майором и находился в Литве под начальством князя Репнина. Нерасположение к нему с 1791 года Павла Петровича отразилось и на дальнейшем служебном поприще графа Панина. Он был назначен шефом Псковского драгунского полка, расположенного в Кексгольме. По ходатайству князя

---

[1] Карамзин писал о князе Безбородке, что «он был хороший министр, если и не великой. — Вижу в нем ум государственный, ревность, знание России. — Жаль, что не было в Безбородке ни высокаго духа, ни чистой нравственности. Заключим обыкновенною поговоркою: Нет совершеннаго!». (Письма Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву. — С.-Петербург, 1866, стр. 397).

Сперанский о том же государственном деятеле высказал следующее мнение: «В России в XVIII столетии было только четыре гения: Меньшиков, Потемкин, Суворов и Безбородко, но последний не имел характера». (Барон М.А.Корф: Жизнь Сперанского. С.-Петербург. 1861, т.2-й, стр. 378).

[2] Взгляды графа Кочубея с достаточною ясностью выражены в письме его к графу С.Р.Воронцову от 19-го апреля 1799 года, и потому неудивительно, что ПавелПетрович находил, что вице-канцлер умничает.

Репнина, ему удалось наконец перейти на дипломатическое поприще: Панину повелено было быть третьим членом коллегии иностранных дел, а в день коронации Никита Петрович пожалован был в тайные советники. Затем: 5-го июля 1797 года, последовало назначение его «чрезвычайным полномочным и послом к прусскому двору».

Задача, предстоявшая в Берлине графу Панину, была не из легких в виду особенных отношений, установившихся тогда между Пруссиею и Французскою Республикою. 5-го (16-го) ноября 1797 года последовала кончина короля Фридриха-Вельгельма II. Преемник его, Фридрих-Вильгельм III, продолжал поддерживать нейтральное положение, занятое Пруссиею по отношению к Франции. Подобная политика нисколько не согласовывалась с намерениями императора Павла и, как было уже ними упомянуто, возбуждала с его стороны сильнейшее неудовольствие.[1]

«До тех пор», пишет князь Лобанов, «пока император Павел в своей политике оставался верен принципам мира и умеренности, провозглашенным им при вступлении на престол, то, конечно, нельзя было ожидать никакого важнаго столкновения между Россией и Пруссией. Даже более того, в июле 1797 года, уступая внушениям Пруссии, Павел почти решился вступить в переговоры с Французскою республикою, но настойчивыя представления кабинетов лондонскаго и венскаго, ходатайства и убеждения французских эмигрантов, которым император оказал великодушное гостеприимство, быстрое распространение революционных идей, угрожавшее спокойствию всех европейских монархий, и, наконец, личный горячий и неудержимый характер Павла придали его действиям совершенно противоположное направление. Он вообразил, что призвание его состоит в том, чтобы восстановить все то, что было разрушено француз-

---

[1] Когда Австрия и Пруссия обратились к императору Павлу с просьбою принять на себя посредничество для устройства дел германской империи, то для сближения этих двух держав между собою государь назначил уполномоченным для предстоявших в Берлине конференций князя Репнина. Это повеление не могло быть приятным честолюбивому графу Панину. Конференции начались в мае 1798 года и не привели к желаемой цели. В августе того же года князь Репнин отправился в Вену. По возвращении в Россию, князь Репнин впал в немилость и был уволен от службы с позволением носить обще армейский мундир. Фельдмаршал удалился в Москву, где умер 12-го мая 1801 года, в царствование императора Александра I.

скою революциею, и возвести низверженных ею венценосцев опять на их престолы.

«18-го (29-го) декабря 1798 года был заключен союз между Россиею и Англиею. Обе державы взаимно обязывались употребить все свое влияние на то, чтобы убедить Пруссию восстать вместе с ними против Французской республики.

«Вследствие этого договора сделано было берлинскому кабинету самое заманчивое предложение: Павел обязывался отдать в распоряжение Пруссии, под начальством князя Сергея Голицина, армию в 40.000 человек, приведенную уже на военное положение, собрав ее на границе Пруссии; обещал принять живое участие в восстановлении Оранскаго дома и сверх этого поддержать всеми силами проект вознаграждения, какое Пруссия найдет для себя достаточным. Ничего не помогло. Граф Панин от имени России и лорд Гренвиль от имени Англии понапрасну истощали все доводы, чтобы склонить на свою сторону графа Гаугвица и других лиц влиятельных при дворе. С самых первых шагов Панин и Гренвиль встретили пассивное, но упорное сопротивление. Берлинский кабинет надеялся из базельскаго трактата и дополнительных к нему условий извлечь не менее значительныя выгоды, не рискуя разрывом с Французскою республикою. Представители союзных держав на все предложения свои получали самые уклончивые ответы и никакими усилиями не могли они вывести Пруссию из принятаго ею нейтральнаго положения.

«Такое упорство прусскаго кабинета было тем досаднее для Павла, что в это время австро-русские войска уже одерживали в Италии победу за победой. Суворов повсюду разбивал французов; благодарственные молебны не прерывались в резиденции императора в Павловске. Минута была решительная. Казалось, что содействие Пруссии на севере должно было окончательно решить торжество союзников. При таких обстоятельствах нерешительное, двусмысленное положение, принятое берлинским кабинетом, почти до бешенства раздражало Павла».

Берлинские переговоры кончились тем, что император отозвал Панина в Петербург и писал ему 25-го июля 1799 года из Петергофа: «Мы будем действовать силою оружия, а его прусское величество может смотреть на все происходящее в Европе и уверять себя час от часу более, что везде и во всем я без него могу обойтиться... Теперь вы можете

продолжать лечение ваше у вод и по окончании его возвратитесь сюда, миссия ваша быв совершенно окончена».[1]

25-го сентября 1799 года, по прибытии в Петербург, граф Панин вступил в исправление обязанностей вице-канцлера, а 7-го января 1800 года назначен был вице-канцлером и пожалован в действительные тайные советники. Но честолюбивый Панин едва ли был доволен занимаемою им должностью.

Первоприсутствующим в коллегии иностранных дел оказался его злейший враг, граф Ростопчин, который присвоил вице-канцлеру совершенно пассивные обязанности. Ростопчинская комбинация, утвержденная Павлом, состояла в том, что ни один посланник не мог передавать сообщений своего правительства ни лично государю, ни первоприсутствующему в коллегии. Все они в своих переговорах должны были обращаться к вице-канцлеру, который, не имея личного доклада у государя, обязан был доводить до высочайшего сведения представления, сделанные ему посланниками, через графа Ростопчина. Ответы русского правительства передавались таким же порядком вице-канцлеру для сообщения иностранным представителям.

При подобных порядках граф Панин имел полное основание говорить о себе, как о «prétendu vice-chancelier», тем более, что он получал еще через Ростопчина такого рода высочайшие напоминания: «чтоб менее говорил с министрами, и что он не что иное как инструмент».[2] Следовательно, графа Панина нельзя признать ответственным лицом за мероприятия, принятые по внешним сношениям со времени назначения его вице-канцлером.[3]

Впрочем, кто бы не стоял в то время во главе внешних сношений России, результат был бы одинаково плачевный.

---

[1] Гнев императора Павла на Пруссию был настолько велик, что в тот же день, 25-го июля, государь писал поверенному в делах Сиверсу, оставшемуся в Берлине: «После происшедшаго с графом Паниным и министерством его прусскаго величества нахожу нужным, чтобы миссия Берлинская, быв уничтожена, возвратилась сюда, что вы и исполните, взяв с собою весь архив».

[2] Дневник графа Ростопчина о словесных повелениях императора Павла I. (Государственный архив, разряд X. № 498. Запись от 20-го февраля 1800 года).

[3] Граф Кочубей был несравненно счастливее графа Панина. Виктор Павлович удалился в Диканьку после женитьбы на Марии Васильевны Васильчиковой, сестре Илариона Васильевича Васильчикова. В 1800 году графу Кочубею разрешено было отправиться за границу, где он прожил в Дрездене до воцарения Александра I.

Прежде всего поперек всякой разумной политики стояла Мальта. Этот злополучный остров внезапно приобрел для России такое значение, что всякая держава, которая осмелилась бы присвоить себе орденское достояние, в ущерб правам нового великого магистра, могла рассчитывать на непримиримую вражду со стороны императора Павла.

Все эти небывалые политические расчеты получили еще особенное значение, благодаря неустойчивости убеждений и намерений императора.

Граф С.Р.Воронцов справедливо заметил в письме к Панину из Лондона от 22-го апреля (3-го мая) 1799 года: «Je vois que tout se fait chez nous avec une précipitation et une véhémence incroyable. Cela fait frémir, et je ne vois aucun frein à tout cela».

Датский посланник Розенкранц пришел к такому же убеждению и жалуется в своих депешах, что трудно иметь успех при дворе, при котором «слепой случай, прихоть государя, делают невозможным что-либо рассчитывать, что-либо предвидеть, и подвергают нас самым неприятным случайностям (l'aveugle hasard, le caprice du souverain, rendent impossible de rien prévoir et nous exposent à toutes les chances les plus désagréables)». Те же мысли высказывает Тугут в своей переписке; в 1797 году он упоминает лишь мимоходом о несколько оригинальном характере императора Павла (le caractére un peu original de l'empereur Paul). Но в начале 1800 года он высказывает уже другие убеждения и пишет, что нельзя придавать большого значения минутной дружбе, которая на другой день, может быть, изменится в ярость (du reste on ne peut que mettre bien peu de prix à l'amitié du moment qui le lendemain se trouvera peutêtre changée en fureur).

Наконец, сам граф Ростопчин произнес впоследствии решительный приговор над ненормальными порядками рассматриваемой эпохи и сознавался, что никакая политическая система не была мыслима при государе, «который все хотел делать сам, который требовал, чтобы повеления его исполнялись немедленно, и не допускал никакого противоречия свое воле. Приходилось наблюдать крайнюю осторожность, ловить благоприятныя мгновения и пользоваться добрым расположением его духа, чтобы достигнуть отмены отданнаго приказания, разубедить его в чем-либо и склонить его к мнению, которое казалось мне тогда лучшим».

Примером этой «véhémence», о которой сокрушался граф Воронцов, может служить объявление императором Павлом

войны Испании. Россия узнала от этом событии из манифеста от 15-го июля 1799 года, который вместе с тем является образчиком дипломатической фразеологии того времени. В манифесте возвещалось следующее:

«Восприяв с союзниками нашими намерение искоренить беззаконное правление, во Франции существующее, восстали на оное всеми силами. Бог сниспослал благодать свою на ополчение наше, ознаменуя до самаго сего дня все подвиги наши успехами и победами. В малом числе держав европейских, наружно приверженных, но в самой истине опасающихся последствий мщения сего издыхающего ныне богомерзкого правления, Гишпания обнаружила более прочих страх и преданность ея ко Франции, не содействием с нею, но приуготовлениями к оному. Употребя тщетно все способы к открытию и показанию сей державе истиннаго пути к чести и ко славе совокупно с нами, но видя ея упорно пребывающею в пагубных для ея самой правилах и заблуждении, изъявили мы на конец сей негодование наше, отослав пребывающаго при дворе нашем гишпанскаго повереннаго в делах Ониса. Теперь же узнав, что и наш поверенный в делах советник Бицов в положенный срок принужден был выехать из владений короля Гишпанскаго, принимая сие за оскорбление величества нашего, объявляем ему войну, повелевая во всех портах империи нашей наложить секвестр и конфисковать все купеческия гишпанския суда, в оных находящихся, и послать всем начальникам сухопутных и морских сил наших повеление поступать неприязненно везде и со всеми подданными короля Гишпанского».

VI

Если счастие улыбнулось графу Кочубею, одному из друзей цесаревича Александра Павловича, то к другому близкому к нему лицу, к князю Адаму Чарторижскому, судьба оказалась менее милостивою. Среди всеобщего вихря беспрерывных перемещений, которым подвергался в то время служебный мир, на всех ступенях его, трудно было уцелеть князю Адаму.

Брак великаго князя Александра Павловича оставался долгое время бездетным. Наконец, 18-го мая 1799 года родилась в Павловске великая княжна Мария Александровна. В это время отношения императрицы Марии Федоровны к великой княгине Елисавете Алексеевне еще более обострились. Выше уже было упомянуто, как сильно разгневалась Мария Федоровна вследствие брака сестры великой

княгини со шведским королем. Павел Петрович, в свою очередь, гневался на баденский двор за трактат, заключенный маркграфом с Французскою республикою; баденские принцы были лишены шефства в русских полках; письма на имя великой княгини велено было перлюстровать.

Легко было недоброжелателям великой княгини Елисаветы Алексеевны, пользуясь этими обстоятельствами, возбудить в уме Павла подозрение против невестки и поселить путем клеветы раздор в семье.

12-го августа 1799 года граф Ростопчин в дневнике словесных приказаний пишет: «Гофмейстера князя Чарторижскаго послать министром к королю Сардинскому».

Затем Ростопчин продолжает:

«13 aout. Expédier le prince Czartoryski le plus vite possible. «17 августа. Отправить немедленно к его месту тайнаго советника Чарторижскаго.[1]

«23-го августа 1799 года князь Адам Чарторижский выехал из Петербурга в Италию отыскивать странствовавшего в то время короля Сардинского, лишенного своего королевства.

Среди всех этих интриг, не пощадивших даже семейного благополучия государя, политические события продолжали разыгрываться в 1800 году в таком направлении, которое не могло способствовать к успокоению императора Павла, а, напротив того, должно было содействовать развитию в нем все большей раздражительности. Коалиция, вызванная с таким трудом к жизни, распалась; готовился полный разрыв союза России с Австрией[2] и с Англиею. К довершению же общего недоумения замечались признаки предстоявшего в близком будущем сближения России с Франциею.

Какими взглядами руководствовались тогда император Павел, лучше всего видно из разговора его с датским посланником Розенкранцом, который пишет: «Государь сказал, что политика его остается неизменною (invariable) и связана с справедливостью там, где его величество полагает

---

[1] В то время князь Адам Чарторижский занимал должность гофмейстера великой княжны Елены Павловны.

2 Состоявшееся 19-го октября 1799 года в Гатчине бракосочетание великой княжны Александры Павловны с эрц-герцогом Иосифом, палатином венгерским, не содействовало прекращению политического разлада, начавшегося между Австрией и Россиею; взаимное неудовольствие продолжало только все более возрастать. Несколькими днями ранее, 12-го октября 1799 года, отпраздновано было, в Гатчине же, еще другое бракосочетание, а именно великой княжны Елены Павловны с наследным принцем Мекленбург-Шверинским.

видеть справедливость; долгое время он был того мнения, что она находится на стороне противников Франции, правительство которой угрожало всем державам; теперь же в этой стране в скором времени водворится король, если не по имени, то по крайней мере, по существу, что изменяет положение дела; он бросил сторонников этой партии, партии австрийской, когда обнаружилось, что справедливость не на ея стороне; то же самое он испытал относительно англичан; он склоняется единственно в сторону справедливости, а не к тому или другому правительству, к той или другой нации, и те, которые иначе судят о его политике, положительно ошибаются».

После занятия Англией острова Мальты император Павел повелел наложить во всех портах российских эмбарго на английские суда и товары. Эта неожиданная для торгового мира мера должна была служить ответом на водружение британского флага во владениях великого магистра. Об этом распоряжении сообщено было от имени императора, 23-го октября 1800 года, в декларации ко всем дворам за подписью графа Ростопчина. Вместе с тем деятельно продолжались переговоры, открытые с Пруссиею, Швециею и Даниею относительно возобновления прежнего союза северного вооруженного нейтралитета. Если вице-канцлер граф Панин смотрел на сближение с Франциею, подготовлявшееся самым ходом европейских событий, с нескрываемым ужасом и отвращением, то его счастливый и влиятельный соперник граф Ростопчин, смотрел на дело иначе; применяясь к изменившемуся настроению императора Павла, он занимался предположениями о политическом переустройстве Европы. Планы Ростопчина, конечно, не имели уже ничего общего с рыцарским, бескорыстным вмешательством в европейские дела, в истинно мальтийском духе, которое привело только к упрочению чужих выгод на счет России; напротив того, в мыслях его замечается возвращение к политическим преданиям екатерининского царствования.

После наложенного в сентябре месяце амбарго на английские суда, император Павел приказал графу Ростопчину, вследствие бывшего по сему случаю разговора, изложить мысли о политическом состоянии Европы. Ростопчин немедленно исполнил волю государя и представил мемориал, не полагая нимало, как пишет граф, что он произведет столь важную перемену в политике и будет служить основанием новой системе. Продержав записку два дня, император возвратил ее Ростопчину со следующею высочайшею конфир-

мацией от 2-го октября 1800 года: «Апробую план ваш во всем, желаю, чтобы вы приступили к исполнению онаго: дай Бог, чтоб по сему было!»[1]

Сущность записки графа Ростопчина заключается в предложении тесного союза с представителем мятежной, но теперь успокоенной Франции и связанного с ним раздела Турции, которую он признавал безнадежным больным, коему медики не хотят объявить о грозящей ему опасности. Центром сего плана должен был быть Бонапарт. Он увидит, как сказано в мемориале, и найдет в предпринимаемом разделе вернейший способ к унижению Великобритании и утверждению при общем мире всех завоеваний, Францией сделанных. Вместе с тем Ростопчин полагал привлечь к разделу Оттоманской Порты Австрию и Пруссию. России он уделяет «Романию, Булгарию и Молдавию, а по времени греки и сами подойдут под скипетр российский». Последняя мысль, повидимому, понравилась Павлу и побудила его написать: «А можно и подвесть». Об Англии и Австрии Ростопчин отзывается крайне несочувственно. Об Англии сказано между прочим, что она «своею завистью, пронырством и богатством была, есть и пребудет не соперница, но злодей Франции»; по поводу этого рассуждения император начертал: «Мастерски писано!» В том месте, где Ростопчин жалуется на Англию за то, что она «вооружила попеременно угрозами, хитростью и деньгами все державы против Франции», Павел прибавил «и нас грешных». Об Австрии сказано, что и она «подала столь справедливыя причины к негодованию» Павла и «потеряла из виду новейшую цель своей политики»; к этому государь, с своей стороны, присовокупил: «Чего захотел от слепой курицы!» Когда же, входя в подробности раздела Турции, Ростопчин предлагал дать Австрии Боснию, Сербию и Валахию, Павел написал: «Не много ль?». Пруссию предполагалось вознаградить присоединением земель в северной Германии.

В заключение мемориала графа Ростопчина сказано: «Если Творец мира, с давних времен хранящий под покро-

---

[1] Кроме того, 22-го ноября 1800 года последовал указ коммерц-коллегии: «Состоящие на российских купцах долги англичан повелеваем впредь до расчета платежем остановить; а имеющиеся в лавках и магазинах английские товары в продаже запретить и описать; о исполнении чего коммерц-коллегии учинить немедленное распоряжение общее с президентом Санктпетербургскаго Ратгауза».

вом своим царство Российское и славу его, благословит и предприятие сие, тогда Россия и XIX век достойно возгордятся царствованием вашего императорскаго величества, соединившаго воедино престолы Петра и Константина, двух великих государей, основателей знатнейших империй света». Император Павел к этим словам приписал: «А меня все-таки бранить станут».

Между тем как гнев государя против его бывших союзников все более возрастал, генерал Бонапарт водворил после 18-го брюмера свою диктатуру во Франции под скромным званием первого консула. Весною 1800 года он совершил переход через Альпы и одержал победу при Маренго. Австрия, лишенная поддержки России, должна была покориться воле победителя и вступила в Люневиле в переговоры с Франциею. Тогда первый консул, искусно пользуясь изменившимся политическим положением Европы, задумал искать сближения с Россиею, чтобы в лице императора Павла приобрести могущественного союзника против своего главного и непримиримого врага — Англии; намерения Бонапарта совпали как нельзя лучше с теми враждебными против лондонского кабинета чувствами, которые волновали в ту пору Павла I-го, и потому встретили с его стороны полное сочувствие.

Первый консул объявил, что освобождает и возвращает императору без всякого размена всех русских пленных, находившихся во Франции.

Государь принял это великодушное предложение с живейшею радостию и отправил в Париж генерала Спренгтпортена для приема и вывода русских пленных.

18-го октября 1800 года Спренгтпортен прибыл в Берлин и встретил там французского посланника Бернонвиля, который сказал ему, что в Париже все затруднения к умиротворению Европы могут быть устранены в четверть часа времени при личном свидании с первым консулом. Относительно России и Франции он во время разговора заметил, что оба государства «en tenant aux deux extrémités du globe, sont faits pour le dominer», или, как он выразился при другом свидании, «sont faits pour gouverner l'Europe».

10-го декабря Спренгтпортен представлялся в Париже первому консулу, который принял его с особенною благосклонностью. Бонапарт высказал, между прочим, русскому посланному, в самых положительных выражениях, свое непременное желание заключить мир с императором, связав

таким образом интересы обоих государств, созданных по своему географическому положению (он в особенности оттенил это выражение) для того, чтобы жить в тесной между собой связи. Вместе с тем Спренгтпортен доносил императору Павлу, что Бонапарт не упустил случая высказаться «в самых сильных выражениях о своем уважении и преклонении перед священной особой вашего императорскаго величества и отличающим ее характером величия и прямоты (dans les termes les plus expressifs son estime et sa vénération pour la personne sacrée de votre majesté impériale et le caractére de grandeur et de loyauté qui la distingue)».

После этой аудиенции Бонапарт написал императору Павлу пйсьмо, в котором заявлял, что, как скоро государь пришлет к нему доверенное лицо с необходимыми полномочиями, то через двадцать четыре часа спокойствие водворится на материке и на морях. Почти в то же время, 18-го декабря, Павел отправил письмо к первому консулу. Государь писал: «Я не говорю и не хочу спорить ни о правах человека, ни об основных началах, установленных в каждой стране. Постараемся возвратить миру спокойствие и тишину, в которых от так нуждается». В заключение император прибавил: «Мой уполномоченный, Колычев, отправится вслед за этим письмом».

Перейдем теперь от фактического изложения к анекдотической стороне сближения России с Францией.

Де-Санглен повествует в своих записках о том, что император Павел приказал принести карту Европы, разложил ее на столе, согнул надвое, провел по лбу рукою и сказал: «только так мы можем быть друзьями». Анекдот ли это или несомненный исторический факт, — решить трудно. Во всяком случае вышеприведенные слова государя вполне соответствуют духу тех счастливых проблесков, которые нередко в светлые минуты составляли удел императора Павла. Но и в деле франко-русского соглашения Павел не обошелся без обычных фантастических увлечений: был задуман поход в Индию. Хотя о совместном действии русских войск с французскими в этом направлении мечтал также и первый консул, замышляя окончательное поражение Англии, и с этою целью разработал проект похода в Индию, но император Павел вознамерился решить эту трудную задачу самостоятельно, при посредстве одних казаков.

12-го января 1801 года Павел отправил к атаману войска Донского, генералу-от-кавалерии Орлову 1-му, несколько рескриптов. В первом из них государь писал:

«Англичане приготовляются сделать нападение флотом и войском на меня и на союзников моих — шведов и датчан. Я и готов их принять, но нужно их самих атаковать и там, где удар им может быть чувствителен, и где меньше ожидают. Заведении их в Индии самое лучшее для сего. От нас ходу до Индии, от Оренбурга месяца три, да от вас туда месяц, а всего месяца четыре. Поручаю всю сию экспедицию вам и войску вашему, Василий Петрович. Соберитесь вы со оным и вступите в поход к Оренбургу, откуда любою из трех дорог или и всеми пойдите, и с артиллериею, прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведении английския, по ней лежащия. Войска, того края, их таковаго же рода, как ваше, и так, имея артиллерию, вы имеете полный авантаж. Приготовьте все к походу. Пошлите своих лазутчиков приготовить или осмотреть дороги; все богатство Индии будет вам за сию экспедицию наградою. Соберите войско к задним станицам и тогда уведомьте меня, ожидайте повеления итти к Оренбургу, куда пришед опять ожидайте другого — итти далее. Такое предприятие увенчает вас всех славою, заслужит, по мере заслуги, мое особое благоволение, приобретет богатства и торговлю и поразит неприятеля в его сердце. Здесь прилагаю карты, сколько у меня их есть. Бог вас благослови.

Есмь ваш благосклонной

«Павел».

«Карты мои идут только до Хивы и до Амударьи реки, а далее ваше уже дело достать сведения до заведений английских и до народов индейских, им подвластных.

«П»

В другом рескрипте, от того же 12-го января, император Павел писал еще Орлову:

«Индия, куда вы назначаетесь, управляется одним главным владельцом и многими малыми. Англичане имеют у них свои заведении торговыя, приобретенныя или деньгами, или оружием, то и цель все сие разорить и угнетенных владельцев освободить и ласкою привесть России в ту же зависимость, в какой они у англичан, и торг обратить к нам. Сие вам в исполнение поручая, пребываю вам благосклонным.

«Павел».

На другой день, 13-го января, на имя Орлова последовал еще третий рескрипт:

«Василий Петрович. Посылаю вам подробную и новую карту всей Индии. Помните, что вам дело до англичан только и мир со всеми теми, кто не будет им помогать; и так, проходя их, уверяйте о дружбе России и идите от Инда на Гангес, и так на англичан. Мимоходом утвердите Бухарию, чтоб китайцам не досталась. В Хиве высвободите столько-то тысяч наших пленных подданных. Если бы нужна была пехота, то в след за вами, а не инако, прислать будет можно. Но лучше, кабы вы то одни собою сделали.

Вам благосклонной.

«Павел».

«Возьмите столько с собою сколько можно».[1]

Генерал Орлов немедленно приступил к исполнению высочайшего повеления «со всевозможною поспешностию». В поход выступили всего 22.507 человек при 12 единорогах и 12 пушках.[2] Все полки разделены были на четыре эшелона, из которых первым, в составе 13 полков, командовал генерал-майор Платов, освобожденный для предстоявшего похода в Индию императором Павлом из Петропавловской крепости. 1-го марта генерал Орлов донес государю, что полки «со всех пунктов выступили в поход минувшаго февраля 27-го и 28-го чисел, и продолжать буду марши от 30 до 40 верст в сутки». Но еще 28-го февраля генерал Орлов, в ответ на прежнее донесение, получил рескрипт, в котором государь объявил войску благоволение за готовность и исправность к выступлению. Вместе с тем его величество желал «счастливаго похода и успеха с Богом».

Казаки, по выступлении с Дона, в конце февраля, при движении по степям, испытывали страшные лишения. Морозы, метели и крайне дурное состояние дорог затрудняло движение и нарушали правильность следования эшелонов;

---

[1] Следующие затем два рескрипта писаны были императором Павлом уже из Михайловского замка, а именно:

1) 2-го февраля 1801 года:»Господин генерал от кавалерии Орлов 1, в ответ на донесение ваше от 23-го генваря не имею вам ничего новаго сказать как апробую все вами представленное. Пребываю вам благосклонным.

«Павел».

«О пехоте же будучи вашего мнения лучше не брать».

2) 7-го февраля 1801 года: «При сем прилагаю к вам маршрут, какой мог для вас достать; он дополнят вам карту и объяснит; экспедиция весьма нужна и чем скорее, тем вернее и лучше. Вам благосклонной.

«Павел».

«Сим маршрутом я вам рук не связываю однако же».

[2] 41 полк, две роты конной артиллерии, 500 человек калмыков и команда на укомплектование. Вообще в поход было взять 41.424 лошади.

артиллерия едва двигалась. А по причине раннего вскрытия рек приходилось изменять маршрут, вследствие чего казаки по несколько дней не получали продовольствия и фуража. Некоторые командиры вынуждены были бросать лошадей. В марте месяце Волга стала вскрываться, и лед не выдерживал. Часть полка Денисова провалилась и едва была спасена при помощи 300 человек крестьян. Тем не менее, несмотря на страшные препятствия, встреченные казаками при следовании, полкам удалось благополучно совершить переправу через Волгу 18-го марта; генерал Орлов донес в Петербург о переправе всех эшелонов и о дальнейшем их следовании вверх по р.Иргизу, но вместе с тем сообщил и следующее: «Из числа войска, в походе следующаго, одни, имея деньги, издерживали оныя на продовольствие; другие, заимствуя друг у друга, задолжались; прочие, не имея денег и не могши занять, уделяли продовольствие подъемным от строевых, чем одних привели в усталь, а других и вовсе лишились упалыми и брошенными. Таковых число немалое».[1]

Из приведенных здесь кратких указаний видно, что экспедиция была задумана сразу, без предварительных сношений с азиатскими владетелями, без собрания необходимых сведений о средствах тех стран, через которые должны были следовать казаки, без заготовления продовольствия, обоза, лазаретов и даже без маршрутов. Если экспедиционному отряду пришлось преодолевать неимоверные трудности при движении по собственной земле, то легко себе представить плачевную участь, ожидавшую несчастных донцов при дальнейшем движении их, в особенности, за Оренбургом!

При всей очевидной нелепости и безвредности для британского могущества секретной экспедиции в Индию, одно известие о каких-то мероприятиях, предписанных с этой целью русским правительством, произвело в Англии весьма сильное впечатление и усилило до последней степени среди английских государственных людей ненависть к политической системе императора Павла, усвоенной им со второй половины 1800 года.

---

[1] Из общего числа 41.424 лошадей, в походе бывших, выбыло из строя 886 лошадей, из коих 564 усталыми и 322 забракованными за негодностью «Проект экспедиции в Индию, предложенных Наполеоном императорам Павлу и Александру I в 1800 и в 1807 - 1808 годах» Баторскаго. (23-й выпуск Сборника материалов по Азии. С.-Петербург. 1886).

Задумывая поход в Индию, император Павел не позабыл также предписать меры для обороны Соловецкого монастыря.

Среди этих воинственных приготовлений обмен любезностей между Бонапартом и императором Павлом деятельно продолжался. 9-го(21-го) декабря 1800 года первый консул писал: «Я желаю видеть скорый и неизменный союз двух могущественнейших наций в мире... ибо, когда Англия, император Германии и все другия державы убедятся, что как волю, так и руки наших двух великих наций стремятся к достижению одной цели, оружие выпадеть у них из рук, и современное поколение будет благословлять ваше императорское величество, как избавителя от ужасов войны и раздоров партий». — Император Павел отвечал Бонапарту 2-го (14-го) января 1801 года: «Несомненно, что две великия державы, вошедшия в соглашение между собою, повлияют на остальную Европу самым положительным образом, и я готов это исполнить». Наконец, 15-го (27-го) января 1801 года, опасение предстоявших враждебных действий со стороны Англии на Балтийском море побудило Павла сообщить первому консулу следующие наставления: «Не мне указывать вам, что вам следует делать, но я не могу не предложить, нельзя ли предпринять или, по крайней мере, произвести что-нибудь на берегах Англии; подобные действия, произведенныя в то время, когда она видит себя изолированною, могли бы заставить ее раскаяться в своем деспотизме и в своем высокомерии. Прошу вас принять в соображение то, что я вам предлагаю и указываю».

Сближение России с Францией отразилось и на судьбе Людовика XVIII; он был выслан из Митавы, среди глубокой зимы, в январе 1801 года. Сверх сего прекращена была еще пенсия, назначенная королю в размере 200.000 рублей.

Трудно сказать, насколько было прочно установившееся с таким видимым увлечением сближение с Францией. Продолжительность его зависела, конечно, от таких случайностей, предусмотреть которые представлялось невозможным. Достаточно известно, с какою быстротою император Павел менял свои симпатии и антипатии к лицам и делам; ему легко было от горячего расположения и пламенной любви к человеку внезапно перейти к совершенно противоположному чувству и дойти до ожесточенной ненависти к нему. В таком случае чувство гнева против личности распространялось обыкновенно и на дело, представителем которого яв-

лялась эта личность. С подобными случайностями пришлось бы, вероятно, познакомиться и Бонапарту при сношениях со своим новым союзником.[1]

Касаясь событий этого времени, нужно отметить еще один первостепенной важности факт: усиление в России иезуитской пропаганды. Это обстоятельство до последней степени увеличило смуту, господствовавшую среди умов в высших правительственных сферах, и окончательно обострило взаимные отношения лиц, преследовавших самые противоположные мысли и намерения. Укажем здесь вкратце, каким образом состоялось это необычайное явление — сближение двора с иезуитами. Одному из влиятельных представителей ордена, патеру Груберу, удалось, благодаря стечению благоприятных обстоятельств, приобрести над императором Павлом настолько могущественное влияние, что многие невольно призадумывались над возможными последствиями этой новой обстановки в придворной жизни. Одно ничтожное обстоятельство, которым воспользовался Грубер со свойственным ему умением, проложило ему путь к занятому им исключительному положению: он вылечил императрицу Марию Федоровну от жестокой зубной боли, с которою не могли справиться медики, и сумел приготовить императору Павлу иезуитский шоколад, о котором с удовольствием вспоминал государь со времени своего заграничного путешествия. С апреля 1799 года Груберу беспрепятственно открыты были двери кабинета императора, и ему дозволено было являться к великому магистру во всякое время и без всякого доклада.

Подобное отличие, оказанное скромному иезуиту, стало известным Бонапарту, и он воспользовался таким драгоценным посредником для достижения своих политических целей; между первым консулом и Грубером установились тайные сношения, которые отразились на русской политике того времени. Дружба и сближение между государем и иезуитским патером способствовали также развитию мальтийских фантазий великого магистра. Император Павел

---

[1] Скоропостижная кончина императора Павла избавила Бонапарта от подобного разочарования, но до того времени все распоряжения правительства клонились в пользу Франции. Так, например, 8-го февраля 1801 года последовал следующий указ: «Вследствие мер, принятых со стороны Франции к безопасности и охранению российских кораблей, повелеваем сношения с сею державою по торговле разрешить и прежде положенныя на сие запрещения отменить».

воображал с полною искренностью, что он при помощи мальтийского ордена спасет Европу от бедствий революции и вольнодумства; умному и пронырливому иезуиту легко было работать на этой благодарной почве и выставить себя безусловным поборником монархического принципа; задача его облегчалась еще тем, что большая часть мальтийских кавалеров, наводнивших тогда Россию, находилась в связи с иезуитским орденом. Среди этой небывалой обстановки русского двора возникло естественным образом предположение о соединении церквей православной и римской, при чем оказалось, что великий магистр относится к этой мысли с некоторым сочувствием.

Насколько это дело успело созреть, ясно видно из депеши Лизакевича из Рима от 24-го января (5-го февраля) 1801 года. Он доносил, что папа Пий VII, пригласив его на аудиенцию, высказал при этом случае чувства преданности государю и полную готовность служить ему всеми силами. Папа присовокупил, что ему весьма приятно видеть императора великим магистром мальтийского ордена, и что он сам готов, в случае гонения со стороны французов, поселиться в Мальте, когда этот остров будет возвращен ордену; здесь он намерен жить спокойно под защитою великого магистра, русского императора. Затем папа сказал, что для такого важного предмета, каким являлся вопрос о соединении церквей, он сам готов приехать в Петербург и изустно трактовать с государем, коего характер основан на истине, правосудии и верности. Папа называл во время разговора императора Павла другом человечества и бескорыстным защитником и покровителем гонимых и угнетенных. Широким планам Пия VII не суждено было осуществиться; тщательно воздвигнутое здание потерпело полное крушение 11-го марта 1801 года.

Если политическая система Российской империи подверглась в короткое время беспрерывным колебаниям, то личный состав сановников, управлявших внешними сношениями, испытал не меньше перемен. Падение вице-канцлера графа Панина со времени сближения России с Францией сделалось неизбежным. Император Павел выразился о нем: «Je sais qu'il ne manque pas de talents, mais il a trois défauts capitaux: il est pédant, systématique et méthodique». К этой характеристике государь еще прибавил: «C'est un romain».[1] После этого неудивительно, что 15-го ноября 1800 года

[1] Архив князя Воронцова, книга 11-я, стр. 164 - 165.

графу Панину повелено было присутствовать в сенате, а тайному советнику Колычеву, пожалованному в действительные тайные советники, исправлять должность вице-канцлера.[1] Но немилость, постигшая графа Панина, не ограничилась новым назначением. 17-го декабря 1800 года сенатор граф Панин был отставлен от службы, а вслед затем ему повелено было оставить немедленно Петербург и ехать в свою деревню Дугино. Но так как Колычеву поручено было вести переговоры в Париже, то граф Ростопчин остался во главе иностранной коллегии, не имея соперников; однако, торжество его было непродолжительно; час падения этого любимца государя уже был близок, и он не избег участи, одинаково ожидавшей всех сановников этой тревожной эпохи.

Лагарп, хотя и пребывал с 1795 года за границею, также не избежал печальной участи испытать порыв гнева императора Павла; находясь во время заграничного похода русских войск во главе швейцарского правительства, не трудно было вызвать против себя неудовольствие императора. Оно выразилось указом от 26-го сентября 1799 года, представленным сенату в копии орденским церемониймейстером, сенатором Валуевым: «Его императорское величество, приняв с благоволением и одобрив представление его, г. обер-церемониймейстера, касательно Лагарпа, кавалера ордена святого Владимира, ныне президентом в директории Швейцарской находящагося, высочайше указать изволил, яко недостойнаго уже быть членом знаменитаго общества кавалеров, исключить его из списков и повсюду опубликовать о сем».

15 октября того же 1799 года, последовал другой, не менее суровый указ сенату о Лагарпе[2]: «Сведав о продолжении пенсиона, прежде определеннаго Лагарпу, и который, по

---

[1] Степан Алексеевич Колычев находился в это время в Вене (он заменил графа А.К.Разумовского), но ему не суждено было занять предназначенного ему места. Хотя 8-го января 1801 года Колычев и пожалован был в действительные вице-канцлеры, но вскоре затем определен министром в Париж.

[2] 5-го (16-го) июля 1799 года Лагарп написал императору Павлу письмо из Берна, в котором старался побудить государя принять участие в судьбе Швейцарии, убеждая его признать самостоятельность Гельветической республики. В этом же письме Лагарп упоминает также о том, Павел весьма вероятно обязан своим существованием (existence), подвергавшимся большой опасности в 1793 и 1794 годах, его (т.е. Лагарпа) неподкупности и осторожности.

неистовому и развратному поведению его, должен был быть остановлен, повелеваем всю оную сумму, считая от самаго того времени, когда оный Лагарп начал явно участвовать в мятежах Швейцарии, взыскать, без исключения, со всех чинов, состоявших в государственных наших казначействах». Не довольствуясь всем этим, Павел повелел еще генералу Римскому-Корсакову схватить Лагарпа в Швейцарии и с фельдъегерем прислать в Петербург для отправления в Сибирь! Однако, несмотря на все эти грозные мероприятия, император за две недели до своей кончины спросил у цесаревича, не получил ли он от Лагарпа письма. Александр ответил, что, в виду последовавшего запрещения с ним переписываться, он сообщил об этом Лагарпу, который подчинился воле государя. Павел возразил: «C'estégal; Laharpe est un honnête homme; je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit la veille de son départ».

Лагарп, в свою очередь, несмотря на нанесенные ему оскорбления, продолжал по-прежнему находить в Павле Петровиче много хороших свойств и считать его человеком необыкновенно добрым по душе — «ce prince infortuné et si méconnu», как он выражался. Лагарп не мог понять, каким образом такой государь мог иметь столько врагов!! В письме от 10-го(22-го) марта 1801 года из Плесси-Пике, в окрестностях Парижа, где Лагарп поселился, он просил императора Павла возвратить ему право на пенсию, которого его лишили. В этом письме Лагарп напоминал государю слова, которые он сказал ему, расставаясь с ним в 1795 году в Гатчине.

Вместе с тем Лагарп присовокупил, что тогда Павлу не была известна причина его удаления из России: «victime de ma loyauté, j'étais loigné pour n'avoir pas voulu me rendre l'instrument d'autrui».

Письмо Лагарпа не застало Павла в живых.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Положение внутренних дел в России. — Приезд шведского короля Густава IV. — Описание Михайловского замка.

I

Положение внутренних дел в России вполне соответствовало запутанности внешних сношений империи в эту эпоху; непоследовательность и страстные порывы неограниченно господствовали и здесь, сопровождаемые иногда необъяснимыми распоряжениями.

Назначенный 7-го июля 1799 года генерал-прокурор сенатор Беклешов не долго оставался на занимаемом им месте, всего семь месяцев; он мало уважал требования случайных людей и часто бывал с ними в размолвке. Подобная политика привела Беклешова к тому, что 8-го февраля 1800 года он был уволен не только от занимаемой им должности, но и вовсе от службы. Его заменил генерал-лейтенант Петр Хрисанфович Обольянинов, бывший гатчинец, за которым вместе с тем оставлена была прежняя его должность генерал-правиантмейстера. Рожерсон в письме к графу С.Р.Воронцову называет Обольянинова un protégé du favori, то-есть, графа Кутайсова, и прибавляет: mais le maitre croit que c'est lui qui l'a fait. Il lui a dit: теперь, слава Богу, у нас есть свой.[1]

С появлением Обольянинова в генерал-прокурорской должности дела пошли еще хуже прежнего; произвол водворился окончательно и над людьми, и в деловых решениях. Генерал-прокурор слепо исполнял все получаемые повеления и никогда не возражал.

Один иностранный дипломат, посетивший Петербург в 1800 году, пишет:

«В России отсутствует теперь система в управлении. Воля государя олицетворяет всю ее политику, а над этой волей господствуют столь неудержимые страсти, что оказывается невозможным основывать на них какие-либо расчеты...

---

[1] Архив князя Воронцова. Книга 30-я, стр. 115. (Письмо Рожерсона от 28-го февраля 1800 года). Обольянинов в течение года был осыпан наградами. Он получил чин генерал-от-инфантерии, большой крест ордена св. Иоанна Иерусалимского, орден св. Андрея, дом (на углу Большой Морской и Почтамтской), на 120.000 рублей фарфоровых и серебряных сервизов и разных редких вещей. Жене его пожалован был орден св.Екатерины меньшего креста (1-го января 1801 года).

Смерть его отца произвела на него неизгладимое впечатление. Покойная императрица возбуждала в нем нечто вроде ужаса. Он был охвачен мыслью, что никогда не достигнет престола. Самое существование его представлялось ему загадкой. Несколько раз он высказывался по этому поводу своим близким друзьям. Однажды он сказал графине Розенберг, пользовавшейся его расположением, с которой он познакомился во время своих путешествий: «Меня никогда не допустят взойти на престол, и я на это не рассчитываю; но если судьба возведет меня на него, не удивляйтесь тому, что я буду делать; вы знаете мое сердце, но вы не знаете этих людей (намекая на русских), а мне известно, как нужно обращаться с ними».

Все случившееся с 6-го ноября 1796 года в полной мере подтвердило особую полную искренность и правдивость мыслей, высказанных некогда цесаревичем Павлом Петровичем. С каждым днем современникам его правления приходилось все более и более удивляться, а вместе с тем и скорбеть о том, чему они осуждены были сделаться свидетелями.

Достаточно привести здесь некоторые указы и распоряжения того времени, чтобы объяснить тревожное состояние умов всех сколько-нибудь мыслящих слоев русского общества.

27-го марта 1798 года генерал-прокурор князь Куракин сообщил новороссийскому гражданскому губернатору, тайному советнику Селецкому, следующее секретное предписание:

Известно государю императору, что тело покойного князя Потемкина доныне еще не предано земле, а держится на поверхности в особо сделанном под церковью погребу[1] и от людей бывает посещаемо, а потому, находя сие непристойным, высочайше соизволяет, дабы все тело, без дальнейшей огласки, в самом же том погребу погребено было в особо вырытую яму, а погреб засыпан землей и изглажен так, как бы его никогда не бывало.

Повеление, сообщенное князем Куракиным, было в точности исполнено на месте ночью 28-го апреля; хотя все эти распоряжения делались секретно, но они вызвали к жизни легенду, быстро облетевшую Россию и проникшую даже за границу, о том, что будто бы тело князя Потемкина вынуто было из гроба и выброшено.

---

[1] Это была церковь св. Великомученицы Екатерины в Херсонской крепости, начатой постройкой в 1782 году.

Император Павел не удовольствовался, однако, приведенным распоряжением; повелено было еще уничтожить памятник Потемкину, сооруженный Екатериной в Херсоне.[1] Для характеристики времени может также служить указ, данный 28-го июля 1798 года генерал-прокурору:

«Из доклада, поднесенного нам от генерал-аудитора князя Шаховского по делу Апшеронского мушкетерского полка полковника Жукова, усмотрели мы развратные поступки Литовской губернии бржетского городничаго Пирха, который, забыв все обязанности служения, против узаконениев наших публично ходил в круглой шляпе, во фраке и

---

[1] В царствование императора Николая I сооружен был новый памятник князю Потемкину, открытый в 1836 году, но уже не в крепости, а в самом городе Херсоне.

К указам императора Павла, направленным против памяти князя Потемкина, следует отнести также указ от 24-го сентября 1800 года: «Новороссийской губернии город под названием Григориополь отныне так не именовать, а называть его и быть ему под прежним названием того места городом Черным». Достойно внимания, что города Черного никогда не существовало, как видно из указа императрицы Екатерины от 23-го февраля 1792 на имя екатеринославского губернатора следующего содержания:

«Господин екатеринославский губернатор Коховский. Возложа на вас население и благоустройство земли, новоприобретенной нами от Порты Оттоманской, за нужное находим особливому вашему поручить попечению переведенных на оную из-за Днестра армян. Покойный князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический назначил быть городу армянскому под именем «Григориополь» у самого Днестра, между долин Черной и Черницы, включая и обе оные в городской выгон. Мы, утверждая сие назначение, повелеваем: первое: отвесть помянутую округу, между долин Черной и Черницы лежащую, со вмещением обеих оных, под город армянский, который и именовать «Григориополь»; второе: сделать план сему городу и, расположа оный сообразно роду жизни и упражнению трудолюбивого сего народа, представить его нам. Третье: между тем преподавать армянам все зависящие от вас вспомоществования к водворению их тамо, произвождению ремесл и открытию фабрик, которые они завесть намерены. Архиепископ армянский Иосиф может вам в сем способствовать, так как он и прежде к тому был употребляем. Четвертое: обо всех их надобностях и просьбах, узаконениям вашим не противных, имеете нам представить, стараясь, дабы не только все перешедшие в пределы наши сохранены были, но чтобы и находящиеся за границей их единоземцы, видя их благоденствующих, к ним присоединялись. Пятое: об исполнения сего и прочих наших препоручений ожидаем мы частых от вас донесений, пребывая к вам благосклонны.

«Екатерина».

«Февраля 23 дня «1792 году.

«Санктпетербург».

В обоих случаях, где упоминается слово Григориополь, оно было вписано собственноручно императрицей Екатериной.

сей неблагопристойной одеждой ясно изображал развратное свое поведение, употребляя так же казенных людей в свои домашние услуги, а по тому, выкинув из службы оного городничего Пирха, велели мы просить прощение при разводе на коленях у полковника Жукова. Вы же имеете сие наше повеление соделать гласным со всеми обстоятельствами развратности городничего Пирха, дабы и все прочие такового буйства, наглости и пренебрежения должности своей позволять себе не дерзали».

Нельзя не упомянуть также о небывалом, по своей обстановке, столкновении, происшедшем между императором Павлом и контр-адмиралом Павлом Васильевичем Чичаговым. Событие это совершилось в Павловске в 1799 году.

Граф Кушелев, недолюбливавший Чичагова, наговорил о нем государю перед назначенной адмиралу аудиенцией разных небылиц; между прочим, Кушелев сказал, что Чичагов намерен перейти на английскую службу. Тогда разыгралась невероятная сцена.

Чичагов, ничего не подозревая, вошел в кабинет Павла Петровича. Государь стоял, окруженный своими адъютантами, и по глазам было видно, что он сильно прогневался.

— Вы не хотите мне служить? Вы желаете служить иностранному принцу? — закричал император.

Павел Васильевич догадался, в чем дело, и хотел было открыть рот, чтобы уверить государя в невозможности этого, желал доказать, что английская конституция не дозволяет приема на службу иностранцев, но император затопал ногами и еще сильнее закричал:

— *Я знаю, что вы якобинец; но я разрушу все ваши идеи!* Уволить его в отставку и посадить под арест! — произнес он, обратясь к Кушелеву и к адъютантам. — Возьмите его шпагу! Снимите с него ордена!

Адмирал выслушивал крики императора совершенно хладнокровно и первый снял с себя регалии, передавая их адъютанту.

— Отослать его в деревню с запрещением носить военную форму; или, нет, снять ее с него теперь же! — продолжал сердиться император. Флигель-адъютанты бросились на адмирала, как на зверя, и с необыкновенной быстротой раздели его. Павел Васильевич не терял присутствия духа и, соображая, что император может наконец дойти до последней степени наказания и послать его в Сибирь, вспомнил, что ему будут необходимы деньги, и громко, с достоинством

обратился к одному из флигель-адъютантов с просьбой вернуть бумажник, оставшийся в мундире.

Это хладнокровие до того поразило услужливых адъютантов, что они остолбенели и смутились; один из них только решился ответить, что они доставят ему бумажник.

— Уведите его! — закричал опять император.

Залы и коридоры Павловского дворца были переполнены генералами и офицерами, собравшимися после парада, и Павел Васильевич, шествуя за Кушелевым, прошел в одном белье мимо этой массы блестящих царедворцев, поздравлявших его полчаса тому назад с милостивым вниманием, оказанным ему императором на вахтпараде.[1]

Не успел Кушелев с адмиралом дойти до квартиры, как флигель-адъютант подал первому собственноручную записку государя, в которой заключалось приказание посадить Чичагова в Петропавловскую крепость. Усадив почти голого адмирала в карету, прежде всего его повезли к графу Палену, который принял Павла Васильевича очень ласково и старался успокоить.[2]

— Мы теперь только это и видим, — говорил граф, — сегодня вас, а завтра, может быть, и меня.

В крепости Чичагов заболел горячкой, чуть не умер. Его спасло заступничество графа Палена, уверившего императора, что Чичагов раскаивается. 1-го июля 1799 года государь писал военному губернатору: «Извольте навестить господина контр-адмирала Чичагова и объявить ему мою волю, чтобы он избрал любое: или служить так, как долг подданнический требует, без всяких буйственных сотребований, и идти на посылаемой к английским берегам эскадре, или остаться в равелине». Чичагов отдал предпочтение первому предложению, и его повезли к государю. На этот раз Павел Петрович, прижав руку Чичагова к своему сердцу, сказал:

— Позабудем все, что произошло; не будем больше об этом думать. А все-таки я не понимаю, как вы могли так поступить, в особенности, с этим, — и государь указал на георгиевский крест, висевший на мундире адмирала.

---

[1] В тот день утром император Павел на вахтпараде обошелся с Чичаговым очень милостиво и дал ему поцеловать руку, что Павел Васильевич исполнил, преклонив колено.

[2] Граф Пален получил по этому случаю следующие собственноручные строки императора Павла: «Якобинские правила и противные власти отзывы посылаемого Чичагова к вам принудили меня приказать запереть его в равелин под вашим смотрением».

Павел Васильевич даже удивился словам императора, который не только не ценил, но даже ненавидел этот орден.

Затем государь продолжал:

— Знаете ли, на что похож ваш поступок? Это точно я бы напился пьян и стал бы танцевать в этом состоянии.

Трудно было адмиралу что-либо ответить на эти слова, и он счел более благоразумным молчать.

— Если вы якобинец, — продолжал император, — то представьте себе, что у меня красная шапка, что я главный начальник всех якобинцев, и слушайтесь меня.

— Я знаю, — ответил адмирал с достоинством, — что вы носите корону, которую нельзя сравнить с красной шапкой, и которой, по моим принципам, следует повиноваться.

— В таком случае, — сказал император, — я вам сейчас дам поручение и позабудем все, что произошло, и останемся друзьями.[1]

Чичагова отправили в Ревель, а оттуда с эскадрой он отплыл в Англию.[2]

Приведем еще несколько примеров необычайных случаев, относящихся к рассматриваемой эпохе.

8-го февраля 1800 года в приказе объявлен был в пример другим строжайший выговор умершему генералу Врангелю. Этот приказ выдерживает сравнение только с приказом Петра III, предписавшего, чтоб все больные матросы вылечились!

18-го апреля 1800 года воспоследовал не менее замечательный указ сенату: «Так как чрез вывозимые из-за границы

---

[1] «Русская Старина» 1883 года, т. 38-й, стр. 494 - 506, и «Архив адмирала П.В.Чичагова». С.-Петербург, 1885. Выпуск первый, стр. 16-19.

[2] Граф Пален еще раз спас Чичагова. Когда Павел начал готовиться к войне с Англией, он вызвал Чичагова в собранный по этому случаю военный совет. Государь изложил собранию свой план защиты Кронштадта. Граф Пален все время поддакивал императору, говоря: «Sehr militrissch, ihre majestt», хотя присутствовавшие решительно не понимали мыслей его величества. На вопрос Павла: «что же вы скажите на все это? Я вам позволяю говорить откровенно», Чичагов хотел объяснить настоящее положение кронштадтской обороны, но, по счастью, государь вышел на минуту их комнаты и приказал себя подождать. Граф Пален, пользуясь удобной минутой, шепнул Павлу Васильевичу: «Ради Бога, мой милый адмирал, образумьтесь, я чувствую ваше намерение, но здесь можно только говорить «да» и «очень хорошо»»; иначе вы рискуете навлечь на себя новые неудовольствия, без того, чтобы это к чему-нибудь послужило». Чичагов объявил императору, что он ничего не может сказать против и думает, что если англичане войдут в залив, то никак уже не выйдут. Когда адмирал удалился, то государь сказал про него: «он исправился, тюрьма ему принесла пользу».

разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне, впредь до указа, повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке оные не были, без изъятия, в государство наше, равномерно и музыку.»[1]

Подобный драконовский указ вызван был убеждением императора Павла, что развратные правила и буйственное воспаление рассудка, рассеянные в некоторой части Европы, попрали закон Божий и повиновение установленным властям.[2]

Распоряжения цензуры соответствовали указу, воспрещавшему ввоз иностранных книг. Достаточно прочесть письма Карамзина к И.И.Дмитриеву, чтобы убедиться в безотрадном положении бедной русской мысли. «Цензура, как черный медведь, стоит на дороге; к самым безделицам придирается, — писал Карамзин. — Я перевел несколько речей из Демосфена... но цензоры говорят, что Демосфен был республиканец, и что таких авторов переводить не должно и Цицерона также, и Саллюстия также... grand Dieu! что же выйдет из моего Пантеона?.. Если бы экономические обстоятельства не заставляли меня иметь дело с типографией, то я, положив руку на алтарь муз и заплакав горько, поклялся бы не служить им более ни сочинениями, ни переводами. Странное дело, у нас есть академия, университет, а литература под лавкой... Я, как автор, могу исчезнуть заживо... вероятно, что цензоры при новых изданиях захотят вымарывать и

---

[1] Еще мальчиком цесаревич Павел Петрович сказал 22-го декабря 1764 года Порошину: «куда как книг-то много, ежели все взять сколько ни есть их; а все-таки пишут да пишут». (Записки Порошина). Воцарившись, Павел вступил в борьбу с книгой вообще и принял радикальные меры для уменьшения книг в России. Указу 18-го апреля 1800 года предшествовал указ 17-го мая 1798 года об устройстве цензуры во всех портах и строгом наблюдении столичных почтамтов за газетами и книгами, получаемыми из-за границы. 5-го июля 1800 года объявлено было высочайшее повеление графу Палену «все типографии, кроме сенатской, академической и первого кадетского корпуса запечатать, дабы в них ничего не печатать». 7-го июля повелено было типографии опять распечатать, строжайше наблюдая, однако, чтобы противозаконных и запрещенных книг, нот и песен нигде печатаемо не было. Замеченная уже не раз непоследовательность сказалась и в этих распоряжениях.

[2] Эти выражения употреблены были в указах 1798 года, данных губернаторам пограничных областей о правилах, которые следует соблюдать при пропуске в Россию иностранцев.

поправлять, а я лучше все брошу, нежели соглашусь на такую гнусную операцию; и таким образом через год не останется в продаже, может быть, ни одного из моих сочинений. Умирая авторски, восклицаю: да здравствует российская литература![1]»

Правосудие страдало не менее литературы, а приговоры стали напоминать по жестокости самые темные страницы русской истории.

26-го апреля 1800 года, гвардии поручик Петр Осипович Грузинов был наказан кнутом в Старочеркасске на Дону, а 5-го сентября того же года брат его, гвардии полковник Евграф Осипович Грузинов, на том же месте засечен кнутом до смерти.[2]

12-го мая 1800 года гарнизонного князя Гика полка *штаб-капитан Кирпишников по сентенции военного* суда лишен был чинов и дворянства и написан вечно в рядовые, с прогнанием шпицрутеном сквозь тысячу человек раз.[3]

Наконец, 2-го июня 1800 года пастор Зейдер подвергся лишению духовного сана, двадцати ударам кнута и ссылке в Сибирь за то, что не объявил о существовании у него

---

[1] Письма Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву. С.-Петербург. 1866, стр. 97, 99 и 103 - 104.

[2] 26-го августа 1800 года последовал указ Сенату: «Исключенного из службы полковника Грузинова I, за измену против нас и государства, повелеваем, лиша чинов и дворянства, наказать нещадно кнутом..., а имение его отписать в казну».

Не все исполнители бесчеловечных приказаний имели храбрость, выказанную шлиссельбургским комендантом генералом Аникеевым. По рассказу А.П.Ермолова, к Аникееву однажды прислан был француз, которого надлежало предварительно высечь кнутом, а потом заключить в крепость. «Почтенный Аникеев приказал всем выйти из комнаты, кроме француза, и сказал ему: «Пока я буду ударять кнутом об пол, а ты кричи, как можно жалостливее!» По приведении в исполнение этой процедуры, Аникеев призвал подчиненных, до коих доходили крики француза, и сказал им: «Преступник уже наказан: отведите его, куда следует!» (Чтения 1863 года, стр. 215).

[3] На подлинном деле написано: «лиша чинов и дворянства, написать вечно в рядовые и прогнать шпицрутеном сквозь тысячу человек раз. Собственной же его императорского величества рукой так: «Павел». - А под ним: С.-Петербург, мая 2-го дня 1800 года. Проступок Кирпишникова заключался в том, что он в пьяном виде, будучи дежурным, нанес унтер-офицеру побои и ругался неподобающим образом. Ранее того за неприлежность к службе посажен был на гауптвахту на хлеб и воду.

лезебиблиотеки, но и раздавал из оной для чтения сомнительные и уже запрещенные.[1]

Известный писатель Коцебу, приехавший к русской границе с паспортом, выданным ему по повелению императора Павла, арестован был 23-го апреля 1800 года в Полангене и отвезен на житье в Тобольск и затем водворен в город Курган.

В приказе от 10-го августа 1800 года читаем: «Его императорское величество дает на замечание генералам финляндской инспекции, что видели они сами, сколь далеко они и от того даже, чтобы быть им генералами посредственными, и что они пока будут таковы, везде конечно и всеми будут биты.»

Довольно странно, что по поводу приказов императора Павла высказано было мнение, не для всех понятное, что они преследовали воспитательные цели. Достаточно и тех немногих приведенных нами примеров, чтобы убедиться, что эта вновь придуманная и применявшаяся неустанно к русской жизни педагогика была довольно оригинального свойства; она подает, напротив того, повод к совершенно иной оценке ее, не имеющей ничего общего с воспитательными целями.

В то время как по всей России совершались столь необычайные явления, в Петербурге медленно угасала жизнь опального представителя русской военной славы. 6-го мая 1800 года скончался генералиссимус князь Суворов. 12-го мая тело почившего героя перевезено было в Невскую лавру. Громадная толпа провожала его; печаль и уныние выражалось на всех лицах. По словам биографа Суворова, в числе поджидавших печальную процессию находился и государь с небольшой свитой, на углу Невского и Садовой. По приближении гроба, Павел I снял шляпу; в это время за спиной его раздалось громкое рыдание, он оглянулся и увидел, что генерал-майор Зайцев, бывший в итальянскую войну бригад-майором, плачет навзрыд, не в состоянии будучи удержаться. Гроза могла грянуть, но все обошлось благополучно; государь не мог пересилить самого себя, и у него из глаз капали слезы.

---

[1] Приговор юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел был ранее суда предписан высочайшим повелением, сообщенным ей генерал-прокурором Обольяниновым. На основании этого повеления коллегия должна была: «судить его яко преступника законов и, наказать телесно, сослать в Нерчинск в работу».

Он похвалил Зайцева за искренность чувств; пропустив процессию, тихо возвратился во дворец, весь день был не весел, всю ночь не спал и беспрестанно повторял слово жаль.[1]

Суворовская кампания не изменила, однако, взгляда императора Павла на превосходство введенных им гатчинских порядков. Однажды государь спросил у великого князя Константина Павловича, по возвращении его 27-го декабря 1799 года из итальянской кампании, покойна ли теперь одежда для солдат во время похода? Император знал, что во всю кампанию солдаты штиблет не надевали, а унтер-офицерские алебарды все изрублены были на дрова во время перехода через Альпийские горы. Я готов сделать всякую перемену в одеянии, ибо удобность познается опытом, заметил государь. Тогда Константин Павлович решился отвечать, что башмаки, штиблеты, а в особенности унтер-офицерские алебарды вовсе неудобны в походе. На это император ему сказал: «Прикажи одеть рядового и унтер-офицера во всей амуниции и вооружении и представь мне для образца!» Великий князь через несколько дней исполнил волю своего родителя. Но так как вновь придуманная форма немного походила на бывшую при императрице Екатерине, государь с гневом сказал Константину Павловичу: «Я вижу, ты хочешь ввести потемкинскую одежду в мою армию; чтобы они шли из глаз моих долой!» и вышел из комнаты, где собраны были образцовые солдаты. Великий князь увидел, но поздно, пишет граф Комаровский, что государь хотел только выведать его мысли насчет формы, им введеной, а вовсе не переменить оную. С тех пор началась холодность к великому князю и ко всем бывшим при нем, а потом гонения на участвовавших в итальянской кампании.[2]

Граф Комаровский прибавляет еще к этому рассказу замечание, что он слышал от наследника, что государю завидно было, что князь Суворов приобрел такую славу, а

---

[1] А.Петрушевский. Генералиссимус князь Суворов, т. 3-й, стр. 372.

[2] Записки графа Е.Ф.Комаровского. «Исторический Вестник» 1897 года, т. 69-й, стр. 368. Манифестом от 28-го октября 1799 года император Павел наградил великого князя Константина Павловича титулом цесаревича: «Видя с сердечным наслаждением, яко государь и отец, каковые подвиги храбрости и примерного мужества, во все продолжение нынешней кампании против врагов царств и веры, оказывал любезнейший сын наш, его императорское высочество, великий князь Константин Павлович, во мзду и вящее отличие жалуем мы ему титул цесаревича».

не он сам; от сего в нем родилась зависть и ненависть ко всем служившим в сей знаменитой кампании.

II

Нелегко жилось в России современникам событий 1800 года; даже выход на улицу городских жителей не всегда представлялся делом безопасным. Неприятности, сопряженные нередко с совершением подобного подвига, давали иной раз тяжело себя чувствовать; неудивительно поэтому, что случайная встреча с императором вызывала, прежде всего, безотчетный страх.

Для означения общего расположения умов того времени П.И.Полетика приводит в своих воспоминаниях следующий случай. «Это было в 1799 или 1800 году. В один день, когда я поднимался вверх по Почтовой улице к Малой Морской, я завидел издали едущего мне на встречу верхом императора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была тогда для всех предметом страха. Желая избегнуть опасности, я успел заблаговременно укрыться за деревянным, обветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь. Когда, смотря в щель забора, я увидел проезжающего государя, то стоявший неподалеку от меня инвалид, один из сторожей за материалами, сказал: «Вот наш Пугачев едет!» Я, обратясь к нему, спросил: «Как ты смеешь так отзываться о своем государе?» Он, поглядев на меня, без всякого смущения отвечал: «Я что, барин, ты видно и сам так думаешь, ибо прячешься от него». Отвечать было нечего. Я вышел из засады и продолжал свой путь, радуясь избавлению от опасной встречи».[1]

Если хождение по улицам Петербурга не было вполне безопасно, то что же сказать о войсковых упражнениях? Здесь над каждым из участников в экзерциции висел в полном значении слова Дамоклов меч. Граф Нессельроде, впоследствии государственный канцлер и служивший в то время в конной гвардии, был свидетелем следующего потрясающего случая. Однажды император Павел делал смотр конногвардейскому полку, которым командовал великий князь Константин Павлович. При въезде в манеж обыкновенная команда была: дирекция направо; на этот раз государь скомандовал: дирекция налево. Первый и второй эскадрон расслышал команду и

---

[1] Воспоминания Петра Ивановича Полетики. «Русский Архив» 1885 года, книга 3-я, стр. 319.

исполнили волю государя, но офицер третьего эскадрона, бывший еще на площади при въезде в манеж, приказал по-прежнему принять дирекцию направо. Император разгневался; раздались грозные слова: «Непослушание? снять его с лошади, оборвать его, дать ему сто палок».

Несчастного офицера, его звали Милюков,[1] тотчас же стащили с лошади и, сорвав с него эполеты, увели. Никто лучше Константина Павловича не умел угадать, в каком расположении духа император, в гневном или милостивом. Несколько дней спустя после этого злосчастного смотра, великий князь входит в мраморную залу Зимнего дворца, с другой стороны показывается император со всеми признаками благоприятного настроения. Великий князь, дойдя до половины залы, стал на колени и сказал: «Государь и родитель! Дозвольте принесть просьбу». При слове «государь» Павел остановился и, приняв величественную осанку, ответил: «Что, сударь, вам угодно?» — «Государь и родитель! Вы обещали мне награду за Итальянскую кампанию; этой награды я еще не получил». — «Что вы желаете, ваше высочество?» — «Государь и родитель, удостойте принять вновь на службу того офицера, который навлек на себя гнев вашего величества на смотру конногвардейского полка». «Нельзя, сударь! Он был бит палками». — «Виноват, государь, этого приказания вашего я не исполнил». — «Благодарю, ваше высочество. Милюков принимается на службу и повышается двумя чинами[2]».

---

[1] Петр Иванович Милюков 6-го января 1799 года из штандарт-юнкеров произведен был в корнеты.

[2] «Воспоминания о графе Нессельроде, сообщенные действительным статским советником Алексеем Петровичем Евреиновым» (ск. в 1881 г.). Государственный Архив XI. № 1152. — Граф Нессельроде был в одном эскадроне с Милюковым и после этого печального случая почувствовал влечение перейти на службу по дипломатической части; вскоре он был назначен камергером, но и это звание он сохранил недолго. 19-го июня 1800 года граф Нессельроде, вместе с другими лицами, исключен был из службы за неисполнение своих обязанностей. Когда при императоре Николае I собирались справки для пожалования знака за беспорочную службу, оказалось, что не было ни одного из придворных чинов прежнего времени, сколько-нибудь значительного, кто бы не был оштрафован. Тогда состоялось высочайшее повеление: штрафы Павловского времени не принимать в расчет. Случай с Милюковым рассказан также в записках А.С.Шишкова (стр. 76) с некоторыми вариантами.
Так, например, Шишков пишет, что государь приказал дать офицеру пятьсот ударов палками. Передавая в своем рассказе печальный случай с Милюковым, Евреинов не сообщает, какой обещанной награды ожидал еще великий князь Константин Павлович, потому что еще 28-го октября 1799 года он получил титул цесаревича за кампанию противу врагов царств и веры.

Если в Петербурге трудно было спасти себя от множества случайных неприятностей и стеснений, то в Москве жилось также немногим легче. А.П.Бутенев в своих записках пишет, что ко времени второго приезда императора Павла в Москву популярность, которою он первоначально пользовался, уже очень убавилась, чуть не исчезла, не столько от постоянных передряг в сфере высшей (особенно военной) и от причудливых и произвольных действий (от которых терпели более непосредственно в Петербурге, чем в Москве или провинции), сколько оттого, что полиция везде должна была преследовать фраки и круглые шляпы, до такой степени, что даже мальчишки были принуждены носить одежду французскую, трехрогие шляпы, башмаки с пряжками, вместо курточек. Тогдашний военный губернатор Архаров (Иван Петрович), обер-полицеймейстер Эртель и комендант Шейдеман строжайше наблюдали за точным исполнением этих повелений. Появление этих лиц в театре или на публичных гуляньях возбуждало тревогу; на них смотрели, как на помеху веселью на всех собраниях и балах. Даже и на частных вечерах, концертах и т.п. хозяин дома обязан был предупреждать полицию, которая посылала квартального в мундире присутствовать на оных.

III

12-го августа 1800 года на место графа Палена назначен был петербургским военным губернатором Николай Сергеевич Свечин, произведенный того же числа в генералы от инфантерии. Эта перемена не вызвана была опалой, которая, конечно, могла легко коснуться и графа Палена; напротив того, государь благоволил к нему по-прежнему. Что же касается побудительных причин, вызвавших назначение генерала Свечина, то трудно выяснить пока это дело с желаемой точностью.

Бескорыстное заступничество императора Павла за своих союзников привело к тому, что он окончательно с ними поссорился и стал готовиться к войне. Приступлено было к сформированию двух армий: одной в Литве, а другой на Волыни. Начальство над этими армиями предполагалось поручить графу Палену и Голенищеву-Кутузову. Император, желая, вероятно, испытать, под своим непосредственным наблюдением, таланты этих двух полководцев, назначил осенью 1800 года большие маневры в Гатчине. Одним кор-

пусом командовал граф Пален, другим Голенищев-Кутузов. Государь остался доволен их распоряжениями и восторгался тем, что он имеет в своей армии двух столь отличных тактиков. Благополучному исходу гатчинских маневров много содействовал генерал барон Дибич,[1] который, как бывший адъютант Фридриха Великого, уже по одному этому пользовался особенным расположением императора.[2] Дибич направлял государя во время маневров столь искусным образом, что скрыл от его внимания случившиеся, конечно, неизбежные промахи; вместе с тем Дибич на каждом шагу восклицал по-немецки: «О великий Фридрих! Если бы ты мог видеть армию Павла. Она выше твоей». Этим кстати проявленным чувством восторга сердце Павла было совершенно покорено, и на участников маневров посыпались награды.

8-го сентября, в третий день маневров, император Павел возложил на графа Палена орден святого Иоанна Иерусалимского большого креста, а на Голенищева-Кутузова орден святого Андрея Первозванного, а вместе с тем щедро наградил и их подчиненных.

В высочайшем приказе, последовавшем 30-го августа 1800 года, объявлено было, что политические обстоятельства заставляют его величество думать, что последует разрыв в дружбе с Англией, вследствие чего назначалась армия под командой графа Палена, составленная из пяти корпусов. 26-го сентября графу Палену повелено было управлять гражданской частью Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерний; 27-го сентября он назначен был рижским военным губернатором и лифляндской инспекции инспектором по кавалерии и по инфантерии, а 21-го октября ему вновь

---

[1] Отец будущего фельдмаршала графа Ивана Ивановича Дибича-Забалканского.

[2] Барон Дибич составил для императора Павла описание учебного времени и маневров Потсдамского гарнизона. В царствование императора Александра это сочинение Дибича напечатано было в русском переводе под заглавием: «Подробное описание учебного времени и в продолжение оного деланных маневров Потсдамским гарнизоном в царствование Фридриха Второго, по всевысочайшему повелению его императорского величества государя императора Александра Павловича изданное генерал-майором и кавалером бароном Дибичем и переведенное с немецкого ни российский язык свиты его императорского величества по части генерал-квартермистрской майором Карбониер д'Арситом». С.-Петербург. 1802.

повелено было быть петербургским военным губернатором с сохранением прежней должности.[1]

Двор переехал в 1800 году в Петербург ранее, чем в прошлом году, и покинул Гатчину 1-го ноября.

Настроение умов было вообще печальное и удрученное. Пользуясь выражением, употребляемым в 1788 году Екатериной по отношению к шведской нации, можно сказать, что и в России в 1800 году упражнялись в тихом роптании. Повторилось то же, что замечено было историком относительно царствования Петра III: «Все смотрят, видят, слушают и таят злобу, опасаясь казней, страшась Сибири». В воздухе чувствовалось что-то необъяснимое, отразившееся даже в мыслях императрицы Марии Федоровны. 4-го ноября 1800 года она писала Е.И.Нелидовой:

Je ne sais, chère Nélidof, d'où vient, mais je trouve que tout a un air de tristesse; peut-être que le manque de soleil y contribue.

Осязательно для всех начал разыгрываться заключительный акт трилогии, исходную точку которой мы отнесли к 1741 году; она закончилась трагическим столкновением сына с отцом.

В Петербурге предстояло торжество, нетерпеливо ожидавшееся императором Павлом: освящение Михайловского замка. Это монументальное здание было окончено в баснословно короткий срок времени, менее чем в четыре года. Дворец строился по проекту В.И.Баженова[2] и окончательно

---

[1] В высочайшем приказе от 13-го ноября 1800 года между прочим объявлено было: «по теперешним обстоятельствам быть инспекциям: финляндской, с.-петербургской, лифляндской, литовской и смоленской — под начальством генерал от кавалерии графа Палена; инспекциям же украинской, брестской и днестровской — под начальством генерала Голенищева-Кутузова, которым и быть готовым к выступлению в поход по первому повелению». Затем в высочайшем приказе от 14-го декабря 1800 года сказано было, что «составляются три армии: одна под начальством генерала от кавалерии графа Палена — под Брест-Литовском; другая, под начальством генерала Голенищева-Кутузова — под Владимиром на Волыни; а последняя, под начальством генерал-фельдмаршала графа Салтыкова — 2-го при Витебске». Все это осталось, однако, только на бумаге; граф Пален не расстался с Петербургом, равно как и генерал Голенищев-Кутузов; что же касается фельдмаршала графа Салтыкова, то он не покидал Москвы. 7-го января 1801 года император Павел писал графу Салтыкову, что он намерен прибыть к 6-му маю в Москву на две недели, «на ревю вашей и украинской инспекций».

[2] Василий Иванович Баженов, вице-президент императорской академии художеств, р. в 1737 году, умер в 1799 году.

выполнен с некоторыми изменениями первоначального проекта архитектором Бренна. По примерной смете, стоимость сооружения замка (без внутренней отделки) исчислена была в 791.200 рублей ассигнациями.

Торжественное освящение Михайловского замка, в день св.архистратига-Михаила, происходило 8-го ноября 1800 года.[1] Шествие из Зимнего дворца мимо войск, расставленных шпалерами, и при громе пушек, началось в три четверти десятого утра. Император Павел и великие князья следовали верхом, а императрица Мария Федоровна и великие княжны и придворные дамы в парадных каретах.

По совершении обряда освящения церкви, их императорские величества, как сказано в камер-фурьерском журнале 1800 года, изволили в половине 1-го часа пополудни отсутствовать во внутренние свои покои, а их высочества, кроме одной токмо великой княжны Марии Павловны, возвратились из Михайловского замка в Зимний дворец, прочие же все разъезжались по домам.

Потом, в обыкновенное время, то есть, в час пополудни, их императорские величества изволили в столовой комнате кушать обеденный стол на 8-ми кувертах, а к столу приглашены:

Великая княжна Мария Павловна.
Генерал-от-инфантерии Голенищев-Кутузов.
Обер-гофмаршал Нарышкин.
Обер-шталмейстер граф Кутайсов.
Генерал-от-кавалерии граф Пален.
Обер-камергер граф Строгонов.

В продолжение сего стола угодно было ее императорскому величеству по случаю благополучно освятившегося его императорского величества Михайловского замка пить за здравие государя императора, каковое также тогда произнести изволила и ее императорское высочество великая княжна Мария Павловна, а за ней и все присутствующие за столом особы; после чего и его императорское величество при обыкновенном своем питии вина изволил принести благодарность как ее величеству и ее высочеству, так и всем вышеписанным особам высочайшее свое благодарение.

---

[1] Припомним здесь, что закладка Михайловского замка происходила 26-го февраля 1797 года, перед отъездом императора Павла в Москву на коронацию.

«Кубков же на случай сего приуготовлено не было, а пили оное из обыкновенно употребляемых граненых рюмок, поставленных перед каждой особой.

Стол кончился в четверть 3-го часа пополудни, после которого их величества, несколько присутствуя во внутренних Михайловского замка покоях, изволили потом из оного отсутствовать в тридцать пять минут того же 3-го часа.

Государь император с обер-шталмейстером графом Кутайсовым от парадного подъезда в коляске.

А государыня императрица с великой княжной Марией Павловной от малой каменной, что близ тронной ее величества лестницы, в карете.

И по прибытии в Зимний каменный дворец, как его величество, так и ее величество изволили от обыкновенных своих подъездов проходить во внутренние свои покои.

А в вечеру на здешнем Эрмитажном театре представлена была французская опера «Лафе Юржель», и по обыкновенном для оной собрании в том театре их императорские величества изволили с их императорскими высочествами в три четверти 7-го часа выход иметь в Эрмитаж[1]».

Сырость, господствовавшая повсюду в чертогах вновь отстроенного Михайловского замка, вынудила, однако, императора Павла отложить еще на некоторое время переселение с семейством в новый дворец. В спальных комнатах приступлено было к устройству деревянной обшивки, чтобы хотя до некоторой степени сделать их обитаемыми. Поэтому только 1-го февраля 1801 года мог наконец состояться столь нетерпеливо поджидавшийся Павлом Петровичем переезд из Зимнего дворца в замок.

IV

Прощение и вызов в Петербург сосланного, как выше нами упомянуто, писателя Августа Коцебу совершилось так же внезапно, как и невольное путешествие его из Полангена в Сибирь. Повеление об этом дано было 15-го июня, и по прибытии Коцебу в Петербург император Павел назначил

---

[1] Из этой выдержки, приведенной нами из камер-фурьерского журнала, оказывается, что в день освящения замка не было в нем бала-маскарада, как некоторые повествуют о том. Этот бал действительно состоялся, но только 2-го февраля 1801 года. В сочинении «Император Александр Первый» ошибочно сказано нами, что в день освящения замка состоялся в нем вечером бал-маскарад.

его директором придворного немецкого театра. В этой новой должности Коцебу явился 16-го декабря 1800 года главным действующим лицом в дипломатической мистификации, придуманной, неожиданно для всех, императором Павлом.

Случилось это по рассказу Коцебу, следующим образом.

«16-го декабря в восемь часов утра граф Пален прислал ко мне полицейского офицера с приказанием немедленно явиться к нему. Хотя он избрал вестником этого повеления не только доброго, вежливого мне молодого человека, и приказал ему передать мне, что я не должен испугаться, что мне не угрожает ничего дурного, но достаточно было одного появления посланного, чтобы сердце мое затрепетало, а жена должна была прибегнуть к пособию лекарств.

Когда я приехал, граф Пален сказал мне с улыбкой, что император решился разослать вызов или приглашение на турнир ко всем государям Европы и их министрам, и что он избрал меня для того, чтобы изложить этот вызов и поместить его во всех газетах. Он присовокупил, что в особенности следует взять на зубок и выставить в смешном виде барона Тугута, и что генералов Кутузова и Палена назвать следует в качестве секундантов императора (что касается мысли о секундантах, то она лишь за полчаса перед тем была передана императором графу Палену в записке, написанной карандашом, еще лежавшей на столе графа). Это странное сочинение должно было поспеть в час времени, и мне предписывалось лично представить его императору.

Я повиновался и через час принес графу составленный мной вызов. Граф, лучше меня знавший намерения императора, нашел, что он недостаточно резок. Он усадил меня за свое бюро и заставил меня написать другой вызов, который понравился ему более. Мы отправились во дворец.

Мы долго дожидались в передней. Император выехал верхом; он вернулся поздно. Граф вошел к нему с моей бумагой, довольно долго оставался там и вернулся не в духе. Проходя мимо меня, он сказал только: «Заходите опять ко мне в два часа; документ все еще недостаточно силен».

Я вернулся домой, убежденный, что не этим путем заслужу я милость монарха. Но не просидел я в моей комнате и получаса, как ко мне прибежал запыхаясь камер-лакей императора с приказанием немедленно к нему явиться. Я повиновался.

В ту минуту, когда я входил в его кабинет, в котором были лишь он да граф Пален, он встал от письменного стола,

сделал мне навстречу шага два и сказал мне с поклоном, особенно приветливым: «Г.Коцебу, прежде всего мне нужно примириться с вами».

Я был сильно поражен столь неожиданным приемом. Государи, в виде скипетра, держат в руке волшебный жезл, делающий их всемогущими; этот жезл — милосердие. Как только император произнес эти немногие слова, из моего сердца тотчас исчезло всякое недоброе чувство. Согласно этикету, я хотел опуститься на колена, чтобы поцеловать у него руку; но он приветливо приподнял меня, поцеловал меня в лоб и продолжал на прекрасном немецком языке:

«Вы слишком хорошо знаете свет, чтобы не следить за текущими политическими событиями; вы должны знать, какую я играл в них роль. При этом я часто поступал глупо (ich habe mich oft dumm benommen), — продолжал он, смеясь: — справедливость требует, чтобы я за то был наказан, и в этих видах я сам наложил на себя покаяние. Я желаю, чтобы это (указывая на бумагу, которую он держал в руках) было помещено в «Гамбургской газете» и в других газетах.

Затем он дружески взял меня под руку, подвел к окну и прочел эту бумагу, написанную им собственноручно на французском языке. [1]

При последних словах он от души засмеялся. Я учтиво улыбнулся. «Чему вы смеетесь? — спросил он два раза сряду, весьма быстро и продолжая смеяться.

— Тому, что ваше величество имеете столь точные сведения, — отвечал я.

— Вот, возьмите, — продолжал он, передавая мне бумагу: — переведите это на немецкий язык. Оставьте у себя оригинал и принесите мне с него копию».

Я вышел и принялся за работу. Последнее слова: taxe , затрудняло меня. Следовало ли мне употребить немецкое выражение, соответствующее слову: обвинен? Выражение это могло показаться слишком сильным и оскорбить императора.

---

[1] Нас извещают из Петербурга, что русский император, видя, что европейские державы не могут согласиться между собой, и желая положить конец войне, уже одиннадцать лет терзающей Европу, намерен предложить место, в которое он пригласит всех прочих государей прибыть и сразиться между собой на поединке, имея при себе в качестве приспешников, судей поединка и герольдов самых просвещенных своих министров и искуснейших генералов, как-то гг.Тугута, Питта, Бернсторфа; при чем он сам намерен взять с собой генералов Палена и Кутузова; не знают, верить ли этому; однако же, известие это, по-видимому, не лишено основания, ибо носит отпечаток тех свойств, которые часто ему приписывали.

По зрелом размышлении, я избрал окольный путь, и написал (по-немецки): того, на что его часто считали способным.

В два часа я вернулся во дворец. Граф Кутайсов обо мне доложил. Меня тотчас ввели, и я застал императора одного.

— Садитесь, — сказал он мне приветливым тоном. Так как я сперва, из уважения к его сану, не повиновался, то он присовокупил тоном более строгим: «Садитесь, говорю вам». Я взял стул и сел за его стол, напротив его.

Он взял французский оригинал и сказал мне: «Прочтите мне ваш перевод». Я стал медленно читать, от времени до времени взглядывая на него украдкой. Он засмеялся, когда я дошел до слова: поединок. Впрочем, он от времени до времени одобрительно кивал головой, пока я не дошел до последнего слова.

— Считали способным, — сказал он: «Нет, это не то. Вам следовало в точности передать слово taxe». Я осмелился ему заметить, что по-немецки слово taxer значит оценить товар, а не поступок. «Все это прекрасно, — возразил он, — но счесть способным не передает слова taxer».

Тогда я отважился спросить тихим голосом, нельзя ли употребить выражение обвиняли.

— Прекрасно, именно так: обвиняли, обвиняли, — повторил он три или четыре раза, и я написал, как он этого требовал. Он радушно поблагодарил меня за мой труд и отпустил меня, тронутого и очарованного его любезным приемом. Все видевшие его вблизи засвидетельствуют, что он умел быть чрезвычайно приветливым, и что тогда бывало трудно, почти невозможно, противостоять его обаянию.

На другой день он пожаловал мне прекрасную табакерку, осыпанную бриллиантами, ценой приблизительно в две тысячи рублей. Не думаю, чтобы когда-либо за буквальный перевод двух десятков строчек было получено столь щедрое награждение».

В таких выражениях Коцебу передает этот случай в сочинении своем: «Достопамятный год моей жизни».

В русских газетах, а именно: в «С.-Петербургских Ведомостях» (19-го февраля 1801 года, № 16) и в «Московских Ведомостях» (27-го февраля 1801 года, № 17), появились статьи совершенно одинакового содержания, находившиеся в связи с случаем, рассказанным Коцебу, но еще более затемнившие эту странную затею. Содержание их было следующее:

Из Лондона. Января 30. Наконец открылось, что означает известие, помещенное 30-го числа минувшего декабря в

«Санктпетербургских Ведомостях» № 24 и 34.[1] Загадка разрешена. В российском императорском кабинете никакой не произошло перемены, и политические дела остались в прежнем положении. Статья сия, которой никто понять не мог, извлечена из некоторого письма, писанного в Копенгаген бывшим датским при российско-императорском дворе министром Розенкранцом. Говорят, якобы его императорское величество во время стола в день Рождества Христова сказал: «Что весьма бы хорошо было, если бы государи решились прекратить взаимные их несогласия, по примеру древних рыцарей, на определенном для подвигов поле». На сей-то шутке помянутый датский министр основал известие, которое он посылал в Копенгаген. Оставленное на почте письмо его было распечатано и представлено его величеству императору. Его величеству благоугодно было приказать напечатать в «Санктпетербургских Ведомостях» краткую из оного выписку и разослать оную ко всем своим министрам, при иностранных дворах находящимся. В то же самое время его императорское величество приказал соизволить всему датскому посольству выехать из Петербурга. В некоторых письмах утверждают, будто бы Г.Розенкранц предупредил сие повеление, и будто бы императорские драгуны не могли его догнать. Впрочем, происшествие сие, по-видимому, никакой не произвело перемены в добром согласии между сими двумя дворами. Из Копенгагена пишут, что нейтральный трактат ратификован его величеством, королем датским, 10-го числа сего месяца, т.е. спустя месяц после подписания оного. (Из английского журнала)».

V

Благоволение императора Павла к Коцебу не ограничилось приведенным нами случаем. Государь, имевший высокое понятие о несравненных художественных прелестях и достоинствах Михайловского замка, поручил Коцебу составить подробное описание нового императорского жилища. Труд Коцебу остался, однако, неоконченным, и сохранилось только краткое из него извлечение. Приведем здесь в сокращенном виде этот очерк, как единственное современное и

---

[1] Здесь следует заметить, что таких номеров «Ведомостей» не появлялось в печати, равно как и известия, о котором здесь упоминается. Все это одна сплошная мистификация, в которой трудно разобраться.

вместе с тем обстоятельное описание Михайловского замка, каким он представлялся посетителю в 1801 году.

«Дворец этот, — пишет Коцебу, — занимает место, на котором прежде стоял Летний дворец, построенный Петром Великим в 1711 году, при слиянии Мойки с Фонтанкой. Императрица Елисавета впоследствии возобновила его; но он был деревянный и грозил падением. Теперь это феникс, возрожденный из пепла.

Садовая улица упирается в портал. Восемь дорических колонн, из туземного красноватого мрамора, поддерживают трофеи. Трое решетчатых ворот открываются между четырьмя гранитными столбами. Вензель императора (в кресте св. Иоанна Иерусалимского), орлы, венки, гирлянды из вызолоченной бронзы украшают ворота и решетку. Средние ворота раскрываются лишь для императорского семейства. Все трое ворот ведут в аллею из лип и берез, посаженных при императрице Анне. Налево от нее тянется экзерциргауз, направо конюшни, и она упирается в два павильона, в которых помещаются чины императорского двора.

Проехав по подъемному мосту через ров укрепления, въезжаешь на коннетабль или большую дворцовую площадь. Посреди ее, на мраморном пьедестале, покоящемся на трех ступеньках, возвышается колоссальная бронзовая конная статуя Петра Великого. Лошадь идет шагом, всадник одет по-римски, на голове у него лавровый венок. Статуя эта вылита итальянцем, по имени Мартелли, при императрице Елисавете, в 1744 году, и была забыта в сарае. Благоговение правнука к прадеду извлекло ее из забвения. На передней части пьедестала начертана простая надпись:

Прадеду Правнук.

Направо и налево два бронзовых барельефа, изображающие Полтавскую битву и взятие Шлюссельбургской крепости.

Вот мы подошли к самому дворцу. Это обширное здание представляет совершенно правильный квадрат. Дворец окружен со всех сторон рвами с гранитными одеждами; рвы эти заимствуют свою воду из Фонтанки; через них переброшено в разных местах пять подъемных мостов.

Подвалы и нижний этаж выстроены из тесанного гранита, а два верхние этажа из кирпича, по большей части облицованного мрамором. Остальные части стен окрашены в красноватый цвет, происхождение которого преданием,

довольно достоверным, приписывается рыцарской любезности. Говорят, что одна придворная дама[1] однажды явилась в перчатках этого цвета, и что император послал одну из этих перчаток в образец составителю этой краски. Надобно сознаться, однако же, что столь резкий красный цвет более приличен для пары перчаток, чем для дворца. Многие жители Петербурга воспользовались этим случаем, чтобы тонким образом польстить императору, окрасив в этот цвет свои дома.

Пусть представят себе первое общее впечатление, которое должна произвести на иностранца, подходящего к этому дворцу, уродливая масса красноватых камней, окруженная рвами и подъемными мостами, вооруженная двадцатью новыми бронзовыми пушками двенадцатифунтового калибра. Пусть к этому присоединят впечатление, производимое украшениями, из которых многие находятся в прямом противоречии со всеми правилами искусства, как, например, при входе в главный фасад, два громадных обелиска из серого мрамора, доходящих до крыши и украшенных бронзовыми вензелями императора и трофеями из белого мрамора; рядом с этими обелисками, в маленьких нишах, статуи (сравнительно весьма мизерные) Дианы и Аполлона Бельведерского из белого мрамора; над ними ионическая колоннада, поддерживающая «Portal rustique»; выше, фронтон из паросского мрамора, работы братьев Стаджи, изображающий Историю в виде Молвы, как мы ее видим на колонне Траяна. Еще выше, на аттике, две богини Славы, поддерживающие императорский герб; и поверх всего железная крыша, выкрашенная зеленой краской, а на ней ряд женских статуй, увенчанных коронами и держащими щиты с гербами русских областей; затем, на фризе, из порфировых плит, следующая надпись крупными бронзовыми буквами:

«Дому Твоему подобает святыня Господня в долготу дней[2]».

И, наконец, над воротами, на черной мраморной плите, слово:

Воскресенские.

---

[1] Княгиня Анна Петровна Гагарина, рожденная княжна Лопухина.

[2] Число букв этой надписи (47) соответствует числу лет, прожитых императором Павлом.

Пусть представят себе эту причудливую смесь предметов, которые, взятые в отдельности, отличаются большими красотами, но, сопоставленные таким образом, поражают, но не нравятся. Архитектор Бренна, заведовавший всей постройкой, уверяет, что эти сопоставления были именно предписаны императором, будто бы даже сочинившим для них рисунки; но есть люди, которые в этом сомневаются.

Церковь выдается овальным выступом из второго фасада. Она облицована серым сибирским мрамором и украшена барельефами, изображающими четырех евангелистов, карнизом из ангельских головок и двумя статуями в нишах, изображающими Веру и Упование. На аттике мы видим святых апостолов Петра и Павла, по двум сторонам креста. Над куполом церкви возвышается вызолоченный шпиц. Он окружен четырьмя светильниками из вызолоченной бронзы.

Над воротами, находящимися недалеко от церкви, мы видим на плите из черного мрамора слово:

Рождественские.

Я напрасно старался угадать повод, по которому император придал этим двум воротам название Воскресенских и Рождественских.

Перехожу к третьему фасу. Он обращен к Летнему саду. Круглая лестница в 26 ступенек из сердобского гранита ведет в обширные сени, поддерживаемые десятью дорическими колоннами из красноватого мрамора. Пол в них из белого мрамора. С обеих сторон, в двух нишах, стоят две статуи. На площадке лестницы, по обе стороны, красуются великолепные статуи Геркулеса и Флоры Фарнезских, вылитые из бронзы в академии художеств в Петербурге; рядом с ними, на гранитных консолях, стоят две бронзовые вазы.

Над колоннадой возвышается обширный балкон, украшенный вазами и четырьмя временами года из белого мрамора. Аттик поддерживается шестью кариатидами, между коими французский художник, Тибо, поместил барельефы из белого мрамора. Над крышей, как и на главном фасе, возвышаются статуи, изображающие русские области.

Четвертый фас украшен статуями Геркулеса и Флоры Фарнезских, та и другая из белого мрамора.

Портал поддерживается шестью дорическими колоннами из красного мрамора, над которыми возвышается аттик, окруженный балюстрадой и служащий бельведером. В двух нишах стоят статуи Осторожности и Силы. В куполе поме-

щаются дворцовые часы, и, пока император остается во дворце, императорский флаг развевается на башенке.

Обошедши вокруг дворца, мы входим в него с главного фаса, и Воскресенские ворота вводят нас под перистиль, образующий продолговатый четырехугольник. С каждой стороны проезда, разрезающего этот перистиль, идет колоннада из двадцати-четырех дорических колонн, из Рускольского мрамора. Посреди колоннады, между колоннами, стоят вазы из белого мрамора, а с боку, в нишах, две колоссальные статуи: Геркулеса с палицей и Александра Великого.

Пройдя перистиль, вступаешь во внутренний восьмиугольный двор дворца, возвышающийся приблизительно на три аршина над уровнем окружающей местности. Въезжать в этот двор позволялось лишь членам императорского семейства и посланникам.

Невозможно высчитать, какое множество раз вензель императора повторяется снаружи дворца и внутри его. Во внутреннем дворе он также украшает оконные промежутки. В восьми нишах помещаются восемь статуй, самые жалкие произведения, когда-либо выходившие из рук ваятеля. Они должны представлять Силу, Обилие, Победу, Славу и т.п., но это уроды, страшилища, а не статуи; они служат новым примером тому разительному сочетанию роскоши с безвкусием, которое господствует в этом дворце.

Четыре большие лестницы и две другие, меньших размеров, ведут со двора во внутренность дворца и запираются большими стеклянными дверьми. Но, не проходя двора, можно было войти из перистиля налево, в овальную залу, в которой тридцать человек солдат и один офицер из лейб-гвардейского полка императора (Преображенского) постоянно стояли на карауле. Этот караул постоянно сменялся другим из того же полка, между тем как в других частях дворца стояли караулы из других полков. Помещение этих тридцати караульных было удачно выбрано: зала, которую они занимали, соприкасалась с одной стороны с концом перистиля, а с другой с большой парадной лестницей, и никто не мог пройти к императору обыкновенным путем, не проходя мимо этого караула.

Гранитные ступеньки парадной лестницы подымаются между двумя баллюстрадами из серого сибирского мрамора и пилястрами из полированной бронзы. Стены выложены мрамором разных сортов. Поля, оставшиеся белыми, пред-

полагалось расписать фресками. На площадке стояла знаменитая Клеопатра Капитолинского музея превосходная копия из белого мрамора. В боковых нишах статуи Осторожности и Правосудия. На верху лестницы стояли на часах два гренадера.

Я довел читателя до великолепных дверей красного дерева, богато украшенных щитами, оружием и медузиными головами из бронзы. Правая дверь раскрывается, и мы входим в парадные апартаменты государя.

В овальной передней, в которой с удовольствием встречаем бюст Густава-Адольфа, этого славного короля Швеции, и с улыбкой смотрим на плохой аллегорический плафон, писанный русским художником, по имени Смуглевичем, мы переходим в обширную залу, отделанную под желтый с пятнами мрамор. В этой зале висят шесть больших исторических картин, вышиной в восемь аршин и шириной приблизительно в шесть. Это: 1) Полтавская победа, писанная Шебуевым, прекрасная картина, исполненная силы и выражения, в которой главные лица Петр Великий и Шереметев. 2) Покорение Казани царем Иваном Васильевичем, картина, писанная Угрюмовым и хорошо сгруппированная. 3) Венчание на царство Михаила Федоровича Романова, деда Петра Великого, очень хорошо исполненная картина Угрюмова, заслуживающего место между лучшими историческими живописцами своего времени. 4) Соединение русского и турецкого флота и совместное их плавание по Босфору, событие достопамятное, но картина Пречетникова самая посредственная; разве воздушная перспектива заслуживает некоторой похвалы. 5) Победа князя Дмитрия Ивановича Донского над донскими татарами на Куликовом поле и 6) Крещение великого князя Владимира: обе картины английского живописца Аткинсона, обладающего блестящей кистью, но часто грешащего в рисунке. (В этой зале, впоследствии, было окончательно выставлено тело императора).

Перехожу с моим читателем в тронную залу. Она была убрана превосходно. Не стану говорить ни о великолепном зеленом бархате, затканном золотом, которым обтянуты стены, ни о пышной мебели, ни о колоссальной печи в тринадцать аршин, которая почти вся обложена бронзой; скажу лишь о троне и о том, что его окружает. Он был обит красным бархатом, богато затканным и вышитым золотом. В углублении помещался герб России, окруженный гербами царств Казанского, Астраханского, Сибири и Великорос-

сийским. Напротив трона, в нишах, устроенных над дверьми, стояли античные бюсты Юлия Кесаря, Антонина, Луция Вера и т.д. Над ними возвышались колоссальные фигуры Правосудия, Мира, Победы, Славы, а вокруг всей залы помещались раскрашенные своими геральдическими цветами гербы всех областей, подвластных Российскому скипетру (в числе семидесяти шести) символы различных народов, населяющих эту обширную империю. Нужно сознаться, что эти украшения, придуманные самим монархом, не могли быть лучше подобраны, и что в них выразился тот благородный и рыцарский дух, которым он отличался, что бы там не говорили.

Отмечу еще среди великолепного убранства этой залы зеркало, самое большое во всем дворце. Оно цельное, в нем около шести аршин вышины и больше трех аршин ширины, и оно было изготовлено в Петербурге; далее три превосходных стола, одни из verde antico, два других из зеленого восточного порфира. Каждый из этих столов был более трех аршин длины и более аршина ширины. Они поддерживались бронзовыми гениями, вышиной в четыре фута. Громадная бронзовая люстра спускалась с потолка, украшенного двумя весьма посредственными аллегорическими картинами. И на той и на другой виднелось знамя Мальтийского ордена.

Из тронной залы проходишь в галерею-арабеск между двумя ионическими колоннами из восточного порфира, редкой красоты, привезенными в Петербург из Рима. На карнизе поставлены бюст Марка-Аврелия и большие вазы из красного сибирского порфира. В пяти нишах стоят столько же статуй, скопированных в Риме с антиков. Архитектура этой галереи есть подражание знаменитым ложам Рафаэля в Риме, и все части ее, на подобие их, расписаны разноцветными арабесками работы Пьетро Скотти, с фигурами Виги. Однако же, работа не была еще вполне окончена.

Из этой галереи, через высокие и широкие двери из зеркальных стекол, входишь в галерею Лаокоона, названную так в честь знаменитой группы этого имени, скопированной в Риме с антика, высеченной из одной глыбы мрамора без пятен и жилок и перевезенной в Петербург без малейшего повреждения.

Четыре великолепных гобелена украшают стены и изображают Рыбную ловлю св. Петра, Иисуса, изгоняющего из храма продавцов и покупателей, Воскресение Лазаря и Марию Магда-

лину у ног Спасителя. В некотором противоречии с этими изображениями из Священного Писания находятся две мифологические картины, а именно Диана и Эндимион, да Амур и Психея, кои Пацетти скопировал с оригиналов знаменитого Кановы.

Две картины над дверьми, Свидание Улисса с Пенелопой и Гектор, прощающийся с Андромахой, уже пострадали от сырости стен.

Не стану говорить о драгоценных столах, о прекрасных бархатных креслах, о разных бронзах парижской работы и т.д. Но не следовало подымать глаз, чтобы не лишиться впечатления всех этих красот. Три большие плафонные картины портили эту залу: средняя, изображавшая Геркулеса между сладострастием и добродетелью, была самая сносная; налево Мужество, награждаемое Достоинством, а направо Правда, обнимающая Мир, писанные Смуглевичем. Следует заметить однако же, что мысль к этому плафону подал сам император, что он сочетал правду с миром, мужество с достоинством; какая жалость, что исполнение не было поручено художнику, более искусному!

Два унтер-офицера лейб-гвардии стояли на часах с эспонтонами в руках у входа в овальную гостиную, в которой шестнадцать коринфских колонн под мрамор поддерживают аттик; свод же разделанный кессонами, покоится на шестнадцати кариатидах, работы Альбани; пять аллегорических барельефов, которые истолковать не легко, занимают промежутки. Мебель в этой гостиной была бархатная, огненного цвета, отделанная серебряными шнурками и кистями, что производило весьма красивый эффект.

Плафон, работы Виги, и писанный гораздо лучше, чем предыдущие, изображает собрание богов Олимпа. Юпитер словно плавает в море света, и все вместе указывает на замечательный талант.

Эта гостиная соприкасается с большой мраморной залой. На одном из концов залы устроены хоры из белого мрамора с балюстрадой из полированной бронзы, на которой стояло десять больших бронзовых канделябров в форме ваз. Потолок был еще не отделан: в Риме писали Парнас, который предназначали для его украшения.

Большая ниша, поддерживаемая двумя великолепными ионическими колоннами из сибирского камня, разделяла залу на две равные части. В этой нише устроен камин из белого мрамора. В нишах стояли четыре статуи, скопиро-

ванные в Риме с антиков, а именно: Вакх, Меркурий, Флора и Венера.

В другом конце залы находилась обширная ниша, образуемая двумя большими ионическими колоннами; через нее проходили в круглую тронную залу.

Шестнадцать колоссальных атлантов поддерживали купол; стены были обтянуты красным бархатом, затканным золотом, и украшены вызолоченной резьбой. Все окна были завешаны той же материей, за исключением одного, из цельного стекла, в массивной серебряной раме. Трон, стоявший в этой зале, отличался от того, который находился в тронной, лишь количеством ступенек. Большая люстра и восемь канделябров были все из массивного серебра. Незадолго до своей кончины император велел произвести в этой зале некоторые изменения. Красный бархат на стенах должен был исчезнуть и уступить место бархату желтому, с великолепным серебряным шитьем. Вообще все предметы и украшения этой залы (даже трон) должны были быть сделаны из массивного серебра, и серебряных дел мастерам уже было отпущено на этот предмет сорок пудов серебра.

Из этой залы открывалась дверь во внутренние аппартаменты императрицы. Первая комната была обита коврами en haute-lice, на светло-голубом фоне которых были вытканы виды Павловска. В глубине комнаты была ниша, поддерживаемая двумя великолепными порфировыми колоннами ионического ордена, а перед ней стояла группа из каррарского мрамора, изображающая Аполлона и Дафну, копия с Бернини.

Роскошные двери в кабинет, обремененный украшениями и художественными предметами до такой степени, что на первый взгляд они утомляли глаза.

Кабинет этот соприкасается с парадной спальней, убранной проще, и поэтому самому приятнее для глаза. Комната эта очень велика. Стены ее отделаны под мрамор. За балюстрадой из массивного серебра стояла кровать, украшенная богатой вызолоченной резьбой, под светло-голубым бархатным балдахином, с серебряными кистями. Коринфские колонны направо и налево поддерживают карниз, расписанный арабесками на золотом полированном фоне; между колоннами помещаются диваны, обтянутые голубым бархатом, и большие цельные зеркала. Камин в этой комнате из белого каррарского мрамора. Смысл аллегорического плафона остался для меня неясным.

Зала рядом с этой парадной спальней убрана просто и служила то столовой, то концертной залой. Кроме двух каминов и некоторых ваз из сибирского порфира, она не представляла ничего замечательного. Я, однако же, очень любил ее, потому что в ней играли молодые великие князья. Несколько раз находил я их тут: это дети, исполненные веселости и живости, и чрезвычайно вежливые и приветливые со всеми. Материнская нежность распорядилась так, чтобы стеклянные двери, ведущие на балкон, до высоты около четырех футов были заложены подушками, во избежание несчастных случаев.

Выходя из этой залы налево и оставляя вправо внутренние апартаменты императрицы, мы через довольно невзрачную комнату проходим в ее тронную залу. Самый трон отличался от трона императора лишь меньшими размерами и тем, что он стоит на одной ступеньке. Большая ниша, поддерживаемая двумя колоссальными кариатидами, содержит в себе великолепный камин из белого мрамора, украшенный барельефом, изображающим девять муз. Роскошь меблировки та же, как и в прочих комнатах. Плафон, писанный Меттенлейтером, изображает суд Париса и не лишен достоинств, точно так же, как и картины над дверьми, работы Бессонова, воспитанника академии художеств в Петербурге, изображающие Живопись, Ваяние и Зодчество.

Около тронной залы находится галерея Рафаэля: это название она получила от четырех великолепных ковров en haute-lice, покрывающих почти во всю длину одну из четырех стен.[1] Это превосходные копии с четырех известных картин Рафаэля, находящихся в Ватикане, а именно: Константин, держащий речь своим войскам в день битвы с Максентием; изгнание Гелиодора из храма; знаменитая Афинская школа и столь же знаменитый Парнас, в котором Аполлон играет на скрипке. Большая плафонная картина и две малые, писанные Меттенлейтером, заслуживают внимания. Средняя изображает храм Минервы, на ступенях которого расположены Свободные Искусства. Лицо грека, изображающего Зодчества, — портрет архитектора Бренна, а самого себя Меттенлейтер изобразил в аллегорической фигуре Живописи. Маленькие плафонные картины изобража-

[1] В камер-фурьерском журнале Рафаэлева галерея постоянно называется Готлисовой комнатой.

ют одна Прометея, оживляющего человека, другая Прилежание и Леность. Великолепные бронзы, мраморные камины и т.п. украшают также и эту галерею.

Ведет она в залу, в которой находится прекрасная античная статуя Вакха и другая, новейшая, пожалуй, столь же прекрасная, изображающая Диану, работы Гудона. Вся зала была наполнена бюстами, барельефами, саркофагами, античными вазами и т.п. весьма различной ценности.

Зала эта соприкасается с караульной комнатой, в которой постоянно стоял на часах взвод конногвардейцев. Прихожая эта украшена лишь четырьмя ионическими колоннами и плафоном работы Смуглевича, представляющим Курция, довольно неловко кидающегося в пропасть.

Вот мы опять вернулись к большой парадной лестнице, прошедши парадные аппартаменты императора и императрицы.

Читателю, конечно, будет любопытно ознакомиться со внутренними аппартаментами императора и императрицы. Дверь из Рафаэлевской галереи вела в апартамент государя. Прихожая, весьма просто расписанная, была украшена лишь семью картинами Ванлоо, изображавшими легенды из жизни св. Григория.

Вторая комната, белая, с золотыми разводами, представляла в полях стен прекрасные ландшафты и некоторые виды самого дворца. Но особенным украшением служил ей плафон, работы Тьеполо, изображавший Марка Антония и Клеопатру. простодушное невежество художника самым забавным образом погрешило против костюма.

В третьей комнате стены почти совсем заняты шестью ландшафтами Мартынова, представляющими виды дворцов Гатчинского и Павловского. В шести нарядных шкафах из красного дерева, на которых стояло двадцать великолепных ваз из порфира, восточного алебастра и т.п., заключалась частная библиотека императора. В этой комнате находились лейб или камер-гусары. Боковая дверь вела отсюда в кухню, исключительно назначенную для государева стола, в которой готовила кушанье кухарка-немка. Незадолго перед тем он велел устроить точно такую же кухню в Зимнем дворце, совершенно рядом со своими частными аппартаментами.

Другая дверь вела в маленькую комнату, назначенную для камер-гусаров и непосредственно соприкасавшуюся с витой лестницей, сделавшейся впоследствии знаменитой; она вела на двор, на котором стоял один часовой.

Из библиотеки была дверь в кабинет и вместе с тем спальню императора, где он проводил время днем, и где он скончался. Множество ландшафтов, по большей части, Верне, некоторые же из них Вувермана и Вандермейлена, висели по стенам, обложенным деревом, окрашенным в белый цвет. По середине стояла маленькая походная кровать, без занавесок, за простыми ширмами; над кроватью висел ангел работы Гвидо Рени. В одном углу комнаты помещался портрет рыцаря-знаменосца, работы Жан Ледюк, которым очень дорожил император. Плохой портрет Фридриха II и плохая гипсовая статуя, изображающая этого же короля верхом, помещенная в углу на мраморном пьедестале, составляли странную противоположность с этими великолепными картинами.

Письменный стол императора был замечателен во многих отношениях. Он покоился на ионических колоннах из слоновой кости, с бронзовыми цоколями и капителями; решетка из слоновой кости самой тонкой работы, украшенная маленькими вазами тоже из слоновой кости, окружала его.

Еще на одной из стен висела картина, изображавшая все формы обмундирования русской армии. Умалчиваю об остальном драгоценном убранстве.

Говорили и тысячу раз повторяли, что у императора в спальне был трап и несколько потаенных дверей. Могу засвидетельствовать неточность этих показаний. Великолепный ковер, покрывавший пол, исключал возможность существования их; сверх того, печь стояла не на ножках, и, следовательно, под ней не было свободного пространства, как то уверяли. В комнате, правда, было двое дверей, скрытых занавесью, но одна из них вела в чуланчик, имеющий известное назначение, другой запирался шкаф, в который складывались шпаги арестованных офицеров. Двойные двери, которые из комнаты императора вели в аппартамент императрицы, не были открыты, а заперты ключом и задвижкой.

Проход из библиотеки в спальню также состоял из двух дверей, и, благодаря чрезвычайной толщине стен, между этими двумя дверьми оставалось пространство, достаточное для того, чтобы могли устроить направо и налево две другие, потайные, двери. Тут они действительно были: дверь направо (если выйти из спальни) служила для помещения знамен; дверь налево открывалась на потайную лестницу, через

которую можно было спуститься в аппартаменты императора, находившиеся в нижнем этаже.

Тут прежде всего встречалась большая комната, отделанная деревом со вставленными в стену старинными часами, устроенными в 1714 году Динглингером в Дрездене. Трое серебряных стрелок указывали, кроме часов, изменения в температуре и в направлении ветра. Эти часы прежде находились в садовом домике Петра Великого.

Затем следует круглый кабинет, также обделанный деревом, в котором стояли две итальянские статуи, Весталка и женщина, совершающая жертвоприношение; далее Аполлон, сделанный в Петербургской академии художеств, великолепные вазы из севрского фарфора и драгоценный стол.

В ближайшей комнате, опять таки обделанной деревом, висел вышитый портрет Петра Великого, и находились великолепные вазы.

Последняя комната, та, в которой император обыкновенно работал, была отделана ореховым деревом. Комната эта в целом производила впечатление приятное и спокойное. Мебель в ней была великолепная. Фарфоровый дежене, Петербургской фабрики, с видами Михайловского дворца, служил новым свидетельством о пристрастии этого монарха к своему созданию.

Еще два слова об аппартаментах, занятых императрицей. Ход в них был через концертную или столовую залу, о которой была речь выше. Комната, радующая взор своим изящным и веселым видом,[1] вела в парадную гостиную, стены которой были отделаны серым сибирским мрамором, поля ляписом и порфиром, с бордюрами из пестрого мрамора и богатыми украшениями из вызолоченной бронзы. Мебель соответствовала убранству стен. Люстра из самого лучшего хрусталя стоила 20.000 рублей.

Уборная и рабочая комната императрицы была смежной с этой гостиной. Она была обделана деревом; книжные шкафы и комоды были из лучшего красного дерева. Письменный стол занимал середину комнаты. На нем видны были многочисленные следы частого пользования им. Меня уверяли, что в последнее время императрица сделала из этой

---

[1] В камер-фурьерском журнале она называется кавалерской или гостиной.

комнаты свою спальню, так как в ней не было никакой сырости.

Наконец, последняя комната была круглый будуар или кабинет, блистающий роскошью. Светло-голубой бархат покрывал стены. В особенности любовался я большой вазой из красного порфира на таком же пьедестале, с малахитовым цоколем и верхом. Паркет был покрыт ковром en haute-lice.

Этот кабинет, занимавший угол дворца за спальнями императора и императрицы, делал эти две комнаты смежными. Они были разделены лишь стеной. Но стена эта до того толста, что легко понять, почему императрица могла узнать лишь поздно о кончине императора.

Кроме императора и императрицы, в этом этаже жили только великий князь Константин, его супруга и камер-фрейлина Протасова. Часы в комнате великой княгини Анны всегда поражали меня; на них была надпись: L'amour réduitala raison.

Амур изображен на них в цепях, и конец цепи держит Разум. Тут, под глазами прелестной и любезной великой княгини, наказание это не кажется слишком суровым. В аппартаменте ее супруга стоит копия с гермафродита из виллы Боргезе и с Венеры, выходящей из купальни, из Флорентийской галереи.

В нижнем этаже, кроме очень маленького театра, который даже не окончен, замечательная только церковь. Четырнадцать ионических колонн из цельного сердобского гранита поддерживают хоры. В самом верху, в углублении, перспектива замыкается большой картиной (писанной, к сожалению, Смуглевичем), изображающей архангела Михаила, повергающего демона в бездну. Стыдливый художник, изобразивший эту группу in naturalibus, прибегнул к странному приему для того, чтобы не нарушить приличий. Всякий демон прикрывает как бы случайно, рукой или ногой, те части тела своего соседа, которые живописцу было желательно скрыть, что, в сущности, выходит крайне неприлично. В куполе плафон изображает Троицу, окруженную головами ангелов. К счастью для художника, живопись его до того пострадала от сырости, что рассмотреть ее почти невозможно. Четыре трибуны, по обеим сторонам алтаря, огороженные мраморными и бронзовыми балюстрадами, были назначены для императорской фамилии.

Остальную часть нижнего этажа занимали великий князь Александр и его супруга, молодой великий князь Николай

Павлович, любимец императора, князь Гагарин, обер-гофмаршал Нарышкин и граф Кутайсов. Чтобы не впадать в длинноты, ограничусь описанием аппартаментов великого князя-наследника: они были менее великолепны, но, признаюсь, нравились мне более, чем парадные комнаты бельэтажа. Вместе с тем припоминаю с благодарностью необыкновенную учтивость, приветливость великого князя. Доброта господина согревала сердца всех слуг, и каждый из них говорил с восторгом о благородной чете, при которой он имел счастье состоять.

Уборная великой княгини Елисаветы, ныне императрицы, была обтянута великолепной лионской материей. Две прекрасные колонны из олонецкого мрамора, красного с белым, украшали нишу. Около ниши стояли две статуи из каррарского мрамора: горюющая женщина, подпирающая голову рукой, и молодая девушка, играющая с голубем.

С этой комнатой был смежен прелестный кабинет, весь в зеркалах. В нише, поддерживаемой двумя колоннами, стоял диван, обтянутый, как и остальная мебель, розовым бархатом; трудно описать то отрадное и успокоительное впечатление, которое производило это убранство. Письменный стол, покрытый книгами, и фортепьяно доказывали, что не одна муза здесь нашла себе приют.

Спальня имела в себе нечто величественное. Но в ней было невозможно жить: здесь господствовала такая сырость, что великая княгиня не раз от нее заболевала.

Спальня была смежна с залой антиков, в которой стояло около пятидесяти статуй, бюстов, саркофагов и других памятников древности.

Жилые аппартаменты великого князя Александра были малы и отличались менее роскошью убранства, чем несколькими весьма ценными оригиналами. Эти апартаменты смежны с прелестной ванной, которую обер-гофмаршал устроил с большим вкусом для великой княгини. Рядом помещалась башня.

Кроме этих жилых комнат, у великого князя было много парадных и большая зала, разделенная надвое аркой, покоящейся на ионических колоннах из белого мрамора и украшенной великолепными оригинальными картинами, из коих одна Рубенса (Вакханка, обнимающая Фавна).

Эта зала вела в приемную или тронную залу великого князя, стены которой были обтянуты пурпуровым бархатом, затканным серебром. Великий князь давал тут аудиенции

под балдахином, но стоя, и ковер, на котором он стоял, не отделялся ступенькой от остального пола.

В верхнем этаже дворца жили великие княжны Мария и Екатерина и воспитательница их графиня Ливен. Аппартаменты их были весьма просты, но изящны.

На дворе была большая кордегардия, в которой держала караул рота из полков лейб-гвардии. Слух, распространившийся в то время и несколько раз доходивший до меня, будто количество караулов и часовых во дворце было слишком мало, не имеет основания. Внутренность дворца представляет истинный лабиринт темных лестниц и мрачных коридоров, в которых день и ночь горят лампы; мне нужно было более двух недель, чтобы обойтись без провожатого и чтобы научиться ходить одному, не заблуждаясь, по этому лабиринту.

Ничто не могло быть вреднее для здоровья, как это жилище. Повсюду видны были следы разрушающей сырости, и в зале, в которой висели большие исторические картины, я видел своими глазами, несмотря на постоянный огонь, поддерживаемый в дух каминах, полосы льда в дюйм толщиной и шириной в несколько ладоней, тянувшиеся сверху до низу по углам. В комнатах императора и императрицы сырость до некоторой степени была устранена тем, что стены были обделаны деревом; но все остальные терпели жестоко. Дворец этот был крайне неудобен для всех тех, которым приходилось бывать в нем. Беспрестанно нужно было проходить либо по перистилю, либо по коридорам, в которых дул сквозной ветер, либо по двору. Немногим вельможам позволялось останавливаться у большого входа. Почти все должны были подъезжать к боковой двери и совершать длинное путешествие вверх и вниз по лестницам, прежде чем дойти до места своего назначения.

Но император был до того прельщен своим созданием, что самое осторожное порицание раздражало его настолько же, насколько ему льстила самая грубая похвала. Однажды он встретил на лестнице пожилую даму. «Мне говорили, будто лестницы дворца неудобны, — сказала она, — но я нахожу их превосходными». Император пришел от этой похвалы в такой восторг, что поцеловал даму. Царедворцы умели прекрасно пользоваться этой слабостью. Они были неистощимы в похвалах, и мне известно, что высказавши все, что можно было придумать, они повергались на колени перед бронзами и поклонялись им в немом восторге.

Император лично приказал мне и не раз подтверждал мне это приказание через других, чтобы я, при описании дворца, не упустил ничего, чтобы ни одна безделица не ускользнула от моего внимания. Таким образом, немногие листы, помещенные здесь мной, превратились бы в толстую книгу, которая возбуждала бы ни с чем несравнимую скуку.

Незадолго до смерти императора, я представил ему образец моей работы, который удостоился с его стороны полного одобрения. Быть может, существуют дворцы, заключающие в себе большое количество драгоценных предметов, но, без сомнения, нет дворца, выстроенного в столь короткое время, как Михайловский замок. Он был воздвигнут, совершенно отделан и обитаем по прошествии менее четырех лет.

Вскоре после кончины государя, все драгоценные предметы были вывезены и распределены по другим дворцам, чтобы спасти их от разрушающего действия сырости.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Оценка действий императора Павла современниками. — Переселение двора в Михайловский замок. — 11-е марта. — Кончина императора Павла. — Воцарение императора Александра Первого.

I

Биограф Суворова справедливо заметил: «Царствование Павла Петровича было непродолжительно, но и в этот короткий срок характерные особенности государя успели развиться до проявлений истинно болезненных. Не сдерживаемая никакой внутренней силой прихоть или увлечение минуты, или упрямство, или все это в совокупности, заступало в Павле I место серьезного убеждения, а непомерная экзальтация раздувала всякую идею, им овладевавшую, до изумительного увеличения. Впечатлительность, восприимчивость Павла I дошли до такого развития, что настроение его духа почти никогда не было спокойным, и государь постоянно вращался в крайностях, то, наконец (особенно в последнее время жизни), до какой-то слепой ярости. Перемены в нем были беспрестанные, неожиданные и чрезвычайно резкие; чем сильнее было возбуждение, тем круче наступала реакция. Изменчивость эта была тем бедственнее, что каждое движение больной души Павла Петровича тотчас же переходило в дело, и решение приводилось в исполнение с такой бурной стремительностью, как будто отсутствие подобного спеха способно было нанести прямой ущерб авторитету верховной власти».[1]

Трудно представить более верную и справедливую характеристику правления, в котором, по словам того же биографа Суворова, «завтра не было логическим последствием сегодняшнего дня; беду нельзя было предвидеть, и она налетала внезапно, без предваряющих симптомов».

Заметим здесь, что еще в дни юности Павел Петрович, читая историю дома Стюартов Юма, сделал себе выписку, относящуюся к царствованию Карла I, в которой заключается рассуждение о характере короля, вполне применимое к цесаревичу, а затем и к императору.

Разбирая вопрос, относящийся к введению Карлом I в 1637 г. в Шотландии канонов и литургии, Юм пишет:

---

[1] Петрушевский: «Генералиссимус князь Суворов», т. 3-й, стр. 364 -365.

«Каждое обстоятельство, со стороны ли Англии или Шотландии, должно было побуждать Карла отказаться от предприятия, успех которого представлялся, по меньшей мере, сомнительным, но Карл остался непреклонным. Во всем ведении этого дела не видно ни малейшего следа здравого смысла, которого вообще нельзя отрицать у него: наглядный пример подобного рода характера, довольно обычного среди людей, в речах и образе мыслей которых встречаешь ум и рассудительность, а на деле видишь часто безрассудство и неблагоразумие. Взгляд на вещи является результатом одного понимания, тогда как поведение зависит одновременно от понимания, темперамента и страстей».

С тех пор как Павел Петрович, делая эту выписку, нарисовал вместе с тем и собственный портрет, прошло много времени. Павел воцарился и не замедлил привести в исполнение слова, некогда им сказанные, что если ему суждено будет царствовать, то не должно удивляться тому, что он станет делать. Действительно, Россия, а также и Европа пришли в полное изумление, а вместе с ними и английский посол Витворт. Удивление Витворта вскоре перешло в совершенно иную оценку совершавшихся вокруг него деяний, так что 6-го (18-го) марта 1800 года он написал в депеше лорду Гренвилю: «The emperor is litteraly not in his senses».

Затем Витворт пишет в той же депеше, что эта истина признана приближенными Павла уже в течение нескольких лет. «Мне самому неоднократно представлялся случай в этом убедиться. Но с тех пор, как он вступил на престол, психическое расстройство его стало постепенно усиливаться и в настоящую пору возбуждает во всех сильнейшее беспокойство. В этом обстоятельстве кроется роковая причина многого, что случилось, и та же причина вызовет новые сумасбродные выходки, которые придется оплакивать. Император не руководствуется в своих поступках определенными правилами или убеждениями, но все его действия исходят от каприза или расстроенной фантазии. Следовательно, нет ничего прочного и не может быть ничего прочного».

Наконец, и великий князь Константин Павлович также высказал по поводу наступивших печальных для России дней следующее не лишенное остроумия мнение: «Mon père a déclaré la querre au bon sens avec la ferme intention de ne jamais conclure la paix».

Что же говорит об этих явлениях Рожерсон, близкий ко двору человек и, к тому же, доктор? В сущности, мнение столь сведущего в этом деле человека сводится к тому, что Павел Петрович потерял способность правильно мыслить и различать добро от зла.

В заключение приведем здесь еще превосходную характеристику матери императора Карла V, сделанную одним французским писателем; все сказанное в этой характеристике поразительно близко подходит к правительственной обстановке в России в 1800 году:

«Умственное расстройство Иоанны едва ли подлежит сомнению. Тем не менее, в данном случае нужно остерегаться положительных заключений. Припадки, вызванные мозговым расстройством принцессы, проявление мрачного настроения, внезапного неистовства, причудливых странностей, не могут быть оспариваемы; но в то же время нельзя не признать, что ее ум и суждения не были постоянно затемнены. Она никогда не утрачивала сознания своего положения, своих прав, ни родственных чувств, ни способности вести разговор; овладевавшие ею действительно ужасающие кризисы были лишь преходящими явлениями. Одно остается бесспорным: это неспособность ее царствовать, так как она не обладала ни беспрерывно действующей волей, ни способностью держать себя; путаница ее идей, странность ее фантазий и ее гневных вспышек были несовместимы с ее высоким положением. Мрачная, страстная, подчас яростная, лишенная возможности направлять свою жизнь и распоряжаться в своем доме, она очевидно, не могла управлять делами королевства. Но она не была сумасшедшей в буквальном смысле слова, предполагающем полное расстройство способностей; она пользовалась периодами полного спокойствия, в продолжение которых она говорила и поступала правильно; уже значительно позже, когда ее болезненные припадки усилились, она подвергалась галлюцинациям и находилась уже почти всегда в расстроенном состоянии».

В заключение, приведем здесь еще следующие строки из письма графа Воронцова, 1801 года, в котором Семен Романович представил какую-то аллегорическую картину по поводу современного положения дел:

«Я тщетно ищу утешений в будущем; я не знаю, где найти их. Это то же самое, как если бы мы, вы и я, очутились на корабле, капитан и весь экипаж которого принадлежали бы к народу, языка которого мы не понимаем. У меня морская

болезнь, и я не могу встать с постели. Вы являетесь объявить мне, что буря — сильна, и корабль погибнет, потому что капитан сошел с ума, бьет экипаж, который, состоя более чем из тридцати человек, не осмеливается противиться его выходкам, потому что он уже бросил одного матроса в море, а другого — убил. Я уверен, что корабль погибнет, но вы говорите, что еще есть надежда быть спасенным, потому что помощник капитана — молодой человека, рассудительный и кроткий, к которому экипаж питает доверие. Я заклинаю вас возвратиться на палубу и внушить молодому человеку и матросам, что они должны спасти корабль, который частью, как ровно и груз, принадлежит молодому человеку, что их 30 — против одного, и что смешно бояться быть убитому этим безумцем — капитаном, когда через несколько времени все и он сам будем потоплены этим сумасшедшим. Вы отвечаете мне, что, не зная языка, вы не можете говорить с ними, что вы отправитесь наверх посмотреть, что происходит там. Вы возвращаетесь ко мне объявить, что опасность возрастает, потому что сумасшедший по-прежнему у руля, но что вы по-прежнему надеетесь. Прощайте! Вы более счастливы, чем я, мой друг, потому что у меня нет более надежды».

II

Екатерина оставила Павлу Петровичу загробное предостережение, выраженное в следующих замечательных словах:

«Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены. Изволь мериться на сей аршин».

Павел Петрович читал эти строки, потому что они предназначались Екатериной не только сыну, но «и всем моим потомкам».[1]

Независимо от этого письменного завещания, Екатерина дала сыну и устное предостережение, которое приведено нами выше. Императрица сказала Павлу Петровичу: «Vous êtes une bête féroce, или ты не понимаешь, что пушки не могут воевать с идеями? Если ты так будешь царствовать, то недолго продлится твое царствование».

---

[1] Эти рассуждения императрицы Екатерины написаны были в 1765 году, по поводу сделанного ею разбора дела Артемия Петровича Волынского.

Но Павел Петрович, слепо доверяя своей власти и убежденный в том, что ему известен способ, которым следует управлять русскими («ces gens-là», как он их называл), видя общее повиновение и страх, вспомнил однажды слова, сказанные ему Екатериной, и заметил: «Ну, я не знаю, кто теперь не говорю «férocе», а «bête» — я или матушка».[1]

Из этих слов видно, как мало сознавал Павел Петрович, что может крыться под общим молчанием и подобострастием. Екатерина иначе смотрела на дело и говорила: «Я не тогда боюсь, когда ропщут громко, но тогда, когда молчат».

Действительно, россияне безмолвствовали и, как пишет Карамзин, «смотрели на сего монарха, как на грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последней».[2]

В то время (то есть, в январе 1801 года), свидетельствует очевидец, и никто не знал, как окончится день. Император Павел наводил на всех панический страх; все подчинено было строгим произвольным формам и стеснению».[3]

Все прежнее общество в столице было после 6-го ноября 1796 г. рассеяно и разделено; екатерининские вельможи были разогнаны по деревням, а высшие государственные должности, начиная с генерал-прокурора, почти все заняты были людьми самыми ничтожными и необразованными — одним словом, цветом гатчинского капральства. Установившийся тогда порядок управления продолжался бы еще долго, если бы не нашелся человек, который почувствовал в себе решимость подумать о замене его чем-либо лучшим. Это лицо был граф Никита Петрович Панин, которого следует признать творцом заговора, начавшегося в 1800 году.

Имя графа Панина редко встречается в рассказах о событиях, сопровождавших воцарение преемника императора Павла, потому что вследствие случайных, не зависевших от графа Никиты Петровича обстоятельств, его в 1801 году не было в Петербурге. Рассмотрим теперь, какая доля участия принадлежит ему в событии 11-го марта.

---

[1] Из рукописи Марии Сергеевны Мухановой, записавшей рассказы отца ее, обершталмейстера Сергея Ильича Муханова.

[2] О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях.

[3] Федор Яковлевич Миркович. 1789 - 1866. Его жизнеописание, составленное по собственным запискам. С.-Петербург. 1889. Стр. 11.

Граф Панин, занимавший в 1797 году место посланника в Берлине, назначен был, как выше упомянуто, вице-канцлером 27-го сентября 1799 года. Ему тогда было 28-мь лет от роду (Панин родился 17-го апреля 1771 года). По прибытии в Петербург, он встретился здесь со своим давнишним приятелем, адмиралом Рибасом, который в феврале 1797 года переехал из Одессы в столицу и не без труда получил в следующем году должность члена адмиралтейств-коллегии, управлявшего лесным департаментом. Нельзя не заметить здесь, что еще в конце 1797 года, когда Панин находился в Берлине, императрица Мария Федоровна, благоволившая тогда к нему, предостерегала графа через князя Александра Борисовича Куракина от знакомства с этим ловким и подозрительным итальянцем. Тем не менее, граф Панин продолжал поддерживать дружеские сношения с Рибасом даже тогда, когда последний отставлен был от службы в 1800 году. Эти два человека, столь же различные по своим годам, как и по своим характерам, сошлись тем легче, что оба были крайне недовольны своим положением.

По-видимому, граф Панин, занимавший должность вице-канцлера, не был в праве жаловаться на свою судьбу. Но, в действительности, дело обстояло иначе. Никита Петрович имел вскоре случай убедиться, что занимаемое им место не соответствовало его ожиданиям. Все старания его приобрести доверие государя оставались тщетными. Такой характер, каким отличался граф Панин, не был способен слепо исполнять все мимолетные и часто противоречивые требования императора Павла, одним словом, быть, как выражался государь, «инструментом»; между тем это свойство, эта податливость требовались условиями тогдашней служебной обстановки. Кроме того, граф Ростопчин, под начальством которого приходилось Панину работать, ревниво заслонял его перед императором; при каждом случае он давал ему чувствовать превосходство своего положения и возбуждал против него неудовольствие императора Павла.

В Петербурге граф Панин, кроме Рибаса, встретил еще другого старого знакомого, английского посла Витворта, находившегося при русском дворе уже с 1788 года.

В одной из депеш Витворта к лорду Гренвилю, от 26-го марта 1799 года, встречается следующий отзыв посла о графе Панине, которого он, по своим убеждениям, признавал совершенным англичанином.

«Основываясь на десятилетнем близком знакомстве, могу сказать, что граф Панин обладает всеми качествами, которые можно только требовать от человека, призванного к занятию высшей должности, — пишет Витворт. — К сожалению, он никогда не был способен снискать себе благорасположение императора; но не может быть ни малейшего сомнения в том, что его достоинства и нужда, которую в нем имеют, доставят ему возможность преодолеть все затруднения».

Действительно, блистательный ум, европейское образование и обходительность с иностранцами резко выделяли Панина из среды тогдашних временщиков; самый характер его, прямодушный, но холодный и надменный, должен был, по сходству своему с британским характером, сблизить его с Витвортом.

Понятно, что, при взаимном сочувствии и доверии, им часто приходилось беседовать о странностях императора, так как они сильно влияли на ход политических дел и давали справедливый повод выводить из них разного рода заключения. Постепенно они начали углубляться в сравнительное историческое изучение подходящих случаев в истории других государств.

Опасения, которые главным образом озабочивали Витворта и руководили его соображениями, очевидно, не столько касались личной безопасности каждого из русских подданных, сколько вообще всего политического положения, которое с 1800 года начинало принимать крайне неблагоприятный для Англии оборот. Витворт не замедлил предупредить свое правительство, что отныне оно должно отказаться от всякой надежды на возвращение императора Павла на путь здравой и последовательной политики.

Граф Панин, с своей стороны, писал графу С.Р.Воронцову 9-го апреля 1800 года: «je vous dirai qu'il n'y a personne en Russie, dans toute la riqueur du terme, qui soità l'abri des vexations et des inlustices, que la tyrannie està son comble».

В задушевных беседах своих Витворт и Панин стеснялись, конечно, еще менее, чем в своей переписке; они не могли не остановить своего внимания на обстоятельствах, сопровождавших в Англии болезненное состояние Георга III. Но, увлекаясь своими историческими параллелями, Панин стал терять из виду коренное различие, существовавшее между государственными учреждениями Великобритании и России.

Более подходящий к русской обстановке пример можно было найти в Дании, в событиях 1784 года. Все эти случаи наводили на единственно возможный исход из существовавших тогда затруднений: он заключался в учреждении регентства.

Между тем, по мере того, как политические обстоятельства запутывались все более и более, раздражение императора Павла против Англии дошло до того, что 27-го мая 1800 года повелено было Витворту выехать из Петербурга. Мрачное настроение графа Панина, вызванное вынужденным отъездом Витворта, выразилось в следующих строках письма Никиты Петровича к графу С.Р.Воронцову, от 8-го июня 1800 года:

«Ici rien n'a changé: l'humeur et la mélancolie du maître font les progrès les plus rapides, et c'est toujours l'humeur qui décide tout, en administration comme en politique».

Тем не менее, Панин не терял надежды одержать верх над своим противником, графом Ростопчиным, и направить политику русского кабинета сообразно своим мыслям и убеждениям. С этой целью он составил в сентябре 1800 года записку о том, на каких основаниях и каким образом надлежало бы совершить умиротворение Европы. Панин просил Ростопчина представить записку государю, но получил в этом решительный отказ со стороны своего начальника. Размолвка, никогда между ними не прекращавшаяся, отныне обратилась в явную вражду. Эта неудавшаяся попытка сокрушила последние надежды Панина и окончательно натолкнула его на другой путь.

Установилось также сближение и произошел обмен мыслей между графом Паниным, Рибасом и графом Паленом.

Наступил ноябрь 1800 года. Граф Пален пожелал тогда снова увидеть в Петербурге трех братьев Зубовых, удаленных в деревню, под надзором полиции, а также генерала Бенигсена, уволенного от службы; для достижения этой цели он придумал следующее средство.

«Я решил воспользоваться одной из светлых минут императора, — рассказывал впоследствии граф Пален в откровенном разговоре графу Ланжерону, — когда ему можно было говорить что угодно, чтобы разжалобить его на счет участи разжалованных офицеров: я описал ему жестокое положение этих несчастных, выгнанных из их полков и высланных из столицы, и которые, видя карьеру свою погубленной, а жизнь испорченной, умирают с горя и нужды

за проступки легкие и простительные. Я знал порывистость Павла во всех делах, я надеялся заставить его сделать тотчас же то, что я представил ему под видом великодушия; я бросился к его ногам. Он был романического характера, он имел претензию на великодушие. Во всем он любил крайности: два часа спустя после нашего разговора, двадцать курьеров уже скакали во все части империи, чтобы вернуть назад в Петербург всех сосланных и исключенных со службы. Указ, дарующий им помилование, был продиктован мне самим императором».

Действительно, 1-го ноября 1800 года появился следующий указ: «По сродному нам ко всем верноподданным нашим милосердию всемилостивейше дозволяем всем выбывшим из службы воинской в отставку или исключенным, кроме тех, которые по сентенциям военного суда выбыли, паки вступить в оную, с тем, чтоб таковые являлись в Санктпетербург для личного представления нам. Почему и повелеваем сенату нашему учинить повсеместную об оном публикацию».

На основании этого указа «правительствующий сенат приказали: о сем всемилостивейшем его императорского величества повелении публиковать всенародно, что сим и исполняется».

Но император Павел не удовольствовался этим повелением, и 1-го же ноября дан был еще дополнительный указ к приведенному выше указу, в котором сказано: «Силу указа нашего, в сей день сенату данного, разумея и о выбывших отставкой и выключкой из статской службы, повелеваем распространить и на сих чиновников». И этот указ сенат приказал публиковать всенародно.

Продолжаем рассказ графа Палена:

«Тогда я обеспечил себе два важных пункта: 1) заполучить Бенигсена и Зубовых, необходимых мне, и 2) еще усилить общее ожесточение против императора: я изучил его нетерпеливый нрав, быстрые переходы его от одного чувства к другому, от одного намерения к другому, совершенно противоположному. Я был уверен, что первые из вернувшихся офицеров будут приняты хорошо, но что скоро они надоедят ему, а также и следующие за ними. Случилось то, что я предвидел: ежедневно сыпались в Петербург сотни этих несчастных, каждое утро подавали императору донесения с застав. Вскоре ему опротивела эта толпа прибывающих; он перестал принимать их, затем стал просто гнать и нажил себе

таким образом непримиримых врагов в лице этих несчастных, снова лишенных всякой надежды и осужденных умирать с голоду у ворот Петербурга».

Для упрочения положения Зубовых при дворе и усыпления возможных подозрений придумано было особое средство, оказавшееся вполне пригодным для достижения намеченной цели. Ольга Александровна Жеребцова, близкий друг удаленного из Петербурга Витворта и сестра князя Зубова, взялась за дело. Она уверила графа Кутайсова, будто брат ее, князь Платон Александрович, скучает холостой жизнью, и что, по ее мнению, дочь графа могла бы сделать его совершенно счастливым. Надменный и тщеславный граф Кутайсов поверил всему этому и начал действовать в пользу Зубовых. 23-го ноября князь Зубов назначен был директором сухопутного кадетского корпуса, а 10-го февраля 1801 года шефом того же корпуса; граф Валериан Александрович Зубов также не был позабыт и занял место директора второго кадетского корпуса. Что же касается графа Николая Александровича Зубова, то он был назначен шефом Сумского гусарского полка и снова появился при дворе.

Таким образом, благодаря мероприятиям графа Палена, в ноябре и в начале декабря начали съезжаться в Петербург все Зубовы и многие другие лица, присутствие которых в столице военным губернатором признавалось необходимым. Собрания у О.А.Жеребцовой, начавшиеся еще во время пребывания Витворта в Петербурге, продолжались; ее посещали также и многие из прибывших тогда в столицу лиц.

Между тем 15-го ноября 1800 года графу Ростопчину удалось, наконец, удалить из коллегии иностранных дел столь ненавистного ему соперника, графа Никиту Петровича Панина; он был уволен от должности вице-канцлера и назначен сенатором в Петербурге.

В то самое время, как эта служебная невзгода постигла графа Панина, приятель его Рибас был снова принят на службу и определен 12-го ноября 1800 года помощником вице-президента адмиралтейств-коллегии Голенищева-Кутузова. Болезнь последнего доставила Рибасу случай быть несколько раз с личными докладами у государя и обворожить его своим умом. «Se Majesté me comble de bienveillance», писал Рибас. Но, по неожиданному велению судьбы, Рибасу не удалось, однако, воспользоваться расположением к нему императора для достижения каких бы то ни было ему одному

известных целей. 2-го декабря 1800 года Рибас скончался. Говорят, что граф Панин не отходил от его смертного одра, опасаясь, как полагают, каких-либо разоблачений с его стороны.

Невзгоды, постигшие графа Панина, не ограничились увольнением его от должности вице-канцлера. 15-го декабря граф Никита Петрович был совершенно отставлен от службы, и ему повелено было отправиться в деревню.[1]

Таким образом граф Пален остался в Петербурге полновластным исполнителем мыслей, завещанных ему графом Паниным.

Но это обстоятельство сопровождалось важными последствиями. Мысли графа Панина отныне перешли из области, если можно так выразиться, умозрительной на путь более практический, соответствовавший условиям русской жизни, распростившись навсегда с неприменимыми к ним английскими государственными порядками.

Спрашивается, чего же недоставало графу Палену, и что же могло побудить его стать на точку зрения недовольных или обиженных? Ему недоставало одной только безделицы, безопасности, наравне со всеми прочими россиянами, как состоявшими на службе, так и жившими мирно в стороне от круговорота политических дел. Хотя граф Пален и был осыпан всеми милостями и дарами счастья, но, тем не менее, над головой его непрестанно сверкал Дамоклов меч. Самый радостный, самый блестящий день не представлял ему ручательства в спокойной ночи; завистники его всегда бодрствовали и не пропускали ни одного случая, чтобы сделать его подозрительным в глазах государя, а потому военный губернатор не мог рассчитывать на прочность своего счастья.[2]

Наконец, разного рода слухи дошли до сведения императора Павла. В Петербурге стали говорить: «Nous sommesàla veille des plus grands événements». 9-го марта 1801 года по

---

[1] Впоследствии, уже в царствование императора Александра, графу Н.П.Панину грозила новая немилость; он писал государю 28-го мая 1801 года: «JTemporterai dans la tombe la conviction intime qye jTai servi ma patrie, en osant le premier drouler devant vos yeux le tableaur affligeant des dangers qui menacaiet de perdre lTempire».

[2] По свидетельству барона Гейкинга, граф Пален говорил, что он изучал не философию, а «pfiffigologie». Это слово было им изобретено. Цесаревич Константин Павлович, желая указать на опасного, по его мнению, человека, выражался: «Этот человек изучал вместе с Паленом пфифигологию; надо остерегаться». (Baron Heyking. Aus Polens und Kurlands letzten Tagen, - Berlin, 1897, p. 462).

этому поводу между императором и графом Паленом произошел достопримечательный разговор. Впоследствии граф Пален сообщил содержание его в следующих выражениях:

«Я вошел в кабинет императора в семь часов утра, чтобы подать ему, по обыкновению, рапорт о состоянии столицы. Я застаю его озабоченным, серьезным; он запирает дверь и молча смотрит на меня в упор минуты с две, и говорит наконец:

— Граф Пален! Вы были здесь в 1762 году.

— Да, ваше величество, — но что вам угодно сказать этим?

— Вы участвовали в заговоре, лишившем моего отца престола?

— Ваше величество, я был свидетелем переворота, а не действующим лицом; я был очень молод, я служил в низших офицерских чинах в конном полку. Я ехал на лошади со своим полком, ничего не подозревая, что происходит.[1] Но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос?

— Почему? вот почему: потому что хотят повторить 1762 год. (On xeut renouveler 1762).

«Я затрепетал при этих словах, но тотчас же оправился и отвечал:

— Да, ваше величество, хотят! Я это знаю и участвую в заговоре.

— Как! вы это знаете и участвуете в заговоре? Что вы мне такое говорите!»

— Сущую правду, ваше величество; я участвую в нем и должен показать вид, что участвую, ввиду моей должности, ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если бы не притворился, что хочу способствовать из замыслам? Но не беспокойтесь, — вам нечего бояться: я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно. Не старайтесь проводить сравнений между вашими опасностями и опасностями, угрожавшими вашему отцу. Он был иностранец, а вы русский; он ненавидел русских, презирал их и удалил от себя; а вы любите их, уважаете и пользуетесь их любовью; он не был коронован, а вы коронованы; он раздражил и даже ожесточил против себя гвардию, а вам она

---

[1] В 1762 году барон фон-дер-Пален (род. в 1745 г.) был капралом в конной гвардии. 29-го февраля 1764 года, он был произведен в вахтмистры, а 15-го августа 1769 года в ротмистры в армию.

предана. Он преследовал духовенство, а вы почитаете его; в его время не было никакой полиции в Петербурге, а ныне она так усовершенствована, что не делается ни шага, не говорится ни слова помимо моего ведома; каковы бы ни были намерения императрицы, она не обладает ни гениальностью, ни умом вашей матери; у нее двадцатилетние дети, а в 1762 году вам было только семь лет».

— Все это правда, — отвечал он, — но, конечно, не надо дремать. (Tout cela est vrai, mais il ne faut pas s'endormir)».

«На этом наш разговор и остановился».

Передавая содержание этого разговора, граф Пален упустил только одну подробность своих объяснений с государем. Военный губернатор доложил еще, что он нуждается в чрезвычайных полномочиях для предупреждения возможных случайностей. Император Павел удовлетворил желания Палена. Имея же в руках необходимый документ, военный губернатор знал, какую пользу следует извлечь из него, что и было исполнено им с полным успехом.

Император Павел в свою очередь, по чувству недоверия к окружавшей его среде, принял также меры для ограждения своей безопасности и, помимо Палена, вызвал в Петербург графа Аракчеева и Линденера, на преданность которых он мог безусловно рассчитывать. Но это запоздалое распоряжение не ускользнуло от зоркого ока всесильного тогда петербургского военного губернатора; граф Пален приказал задержать Аракчеева, когда он подъедет к заставе. Это случилось как раз вечером 11-го марта.

«Сердце чисто и дух прав перед тобой», написал впоследствии граф Аракчеев на памятнике, воздвигнутом своему благодетелю, императору Павлу, в Грузине. «Кто чист душой и помышлением моему единственному отцу и благодетелю, также вечно будет предан и всеавгустейшему его семейству», — писал граф Аракчеев императрице Марии Федоровне. Неоспоримое право открыто выражать подобную мысль и гордиться этим правом доставило графу Аракчееву некоторое нравственное превосходство над многими менее счастливыми, но более достойными его современниками. Вместе с тем, окружив Аракчеева ореолом новой добродетели, оно проложило ему путь к будущим отличиям и к занятию исключительного положения среди деятелей наступившей после 11-го марта александровской эпохи.

III

Последнее время пребывания императора Павла в Зимнем дворце ознаменовано было двумя политическими событиями: приездом шведского короля и присоединением Грузии.

Густав IV прибыл в Петербург 29-го ноября 1800 года. Император встретил короля любезно и предупредительно; прошлые неудовольствия преданы были забвению, тем более, что со Швецией установились союзные отношения. Но вскоре между императором и его гостем появилось облако, разразившееся грозой. Во время представления в эрмитажном театре король шведский имел неосторожность заметить, указывая на танцовщиц, украшенных красными шапочками, что это «des bonnets de jacobins». Разгневанный император ответил: «Peut-être qu'il y en a ailleurs; chez moi il ne s'en trouve pas», — и повернулся к королю спиной. Густав IV позволил себе еще разные другие неловкости по отношению к Павлу Петровичу и, наконец, в довершение всех бед, отказал пожаловать орден Серафимов графу Кутайсову, не смотря на переданное ему желание государя видеть своего обер-шталмейстера удостоенным этим знаком отличия; король выставил предлогом своего отказа то обстоятельство, что граф Кутайсов не был еще кавалером ордена св. Андрея. Немедленно повелено было отменить все приготовления, сделанные по пути обратного следования короля в Финляндию; даже лицам русской свиты короля не позволено было сопровождать его. Вследствие этих распоряжений, когда 15-го декабря 1800 года Густав IV покинул Петербург, он и весь его двор не имели бы даже пропитания, если бы их не выручил финский пастор. Но император Павел не удовольствовался этими распоряжениями; 17-го декабря 1800 года государь пожаловал орден св. Андрея Первозванного графу Кутайсову, а через день, 19-го декабря, наградил тем же орденом генерал-прокурора Обольянинова.

18-го января 1801 года последовал манифест, возвещавший России о присоединении грузинского царства к империи. Содержание манифеста было следующее:

«С давних уже времен грузинское царство, угнетаемое иноверными соседями, истощало силы свои непрестанным ратованием в собственную оборону, чувствуя неизбежные следствия войны, почти всегда несчастливой. К сим присовокупились несогласия в доме царском, угрожающие довершить падение царства сего, возродя в нем междоусобную войну. Царь Георгий Ираклиевич, видя приближающуюся кончину дней его, знатные чины и сам народ грузинский

прибегли ныне к покрову нашему, и не предвидя иного спасения от конечной гибели и покорения врагам их, просили чрез присланных полномочных о принятии областей, грузинскому царству подвластных, в непосредственное подданство императорскому престолу. Внимая прошению сему по сродному нам ко всем единоверцам нашим милосердию и по всегдашнему нашему о пользах грузинского народа попечению, определили мы исполнить царя Георгия Ираклиевича и грузинского народа желание, и для того повелели, сколько для удержания внутреннего в земле устройства, столько для ограждения оной от внешних нападений ввести войска наши в области грузинские. И сим объявляем императорским нашим словом, что по присоединении царства грузинского на вечные времена под державу нашу, не только предоставлены и в целости соблюдены будут нам любезноверным новым подданным нашим царства грузинского и всех оному подвластных областей все права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащая; но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться и всеми теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные Российские по милости наших предков и нашей наслаждаются под покровом нашим. В прочем пребудем удостоверены, что сии новые подданные наши и их потомки сохранением непоколебимой верности нам и преемникам нашим и усердием к пользе империи нашей, коей по всеблагому промыслу Всевышнего учинились они ныне сочленами, потщатся заслужить монаршее благоволение наше».[1]

Таким образом, на востоке сила обстоятельств принудила императора Павла возвратиться к преданиям екатерининского царствования. Во всяком случае, манифест 18-го января 1801 года не имеет уже ничего общего с теми побуждениями, которыми руководствовался преемник Екатерины, прервав столь странным образом войну с Персией в 1796 году.[2]

---

[1] К манифесту приложен был новый всероссийский императорский титул по случаю присоединения к всероссийской империи грузинского царства. 6-го марта 1801 года дан был указ сенату об управлении Грузией.

[2] Приведем здесь также благодетельный указ, данный синоду в Гатчине, 27-го октября 1800 года: «По прошению московских старообрядцев об устроении в Москве церкви, представление московского митрополита Платона находя сообразным указу нашему в 12 день марта 1798 года, коим дозволили мы, по всем епархиям таковое старообрядческих церквей устроение, повелеваем церковь старообрядцам дать, и впредь дозволять устроение на подобном основании».

IV

1-го февраля, в пятницу, император Павел переехал в Михайловский замок и навсегда расстался с Зимним дворцом; нетерпеливо ожидавшееся им переселение наконец совершилось, наперекор всяким гигиеническим соображениям и заявлениям докторов. Цесаревич Александр Павлович с супругой, а также прочие члены императорского семейства переехали и окончательно поселились в замке только через несколько дней. Наследник занял помещение, ныне занимаемое в нижнем этаже Николаевским инженерным училищем; в то время это были самые сырые апартаменты замка. Император был в восхищении от своего нового дворца, но, все-таки, несмотря на все принятые меры, пребывание в Михайловском замке не было безопасно для здоровья. Везде в помещениях заметны были ужасающие следы сырости, которая и ко времени переезда императорской семьи была еще чрезмерно велика. Печи не могли нагреть и осушить воздух. Бархат, которым были обиты стены в некоторых покоях, начал покрываться плесенью; многие фрески, украшавшие стены, совершенно слиняли. Хотя в большой зале замка постоянно поддерживался огонь в двух больших каминах, но, несмотря на эту меру, во всех углах ее образовался сверху донизу слой льда. Густой туман наполнял все помещения замка, разрушая живопись и портя мебель.

В день переезда императора Павла в Михайловский замок не было даже вахтпарада. Государь поутру, в 7 часов, в сопровождении обер-шталмейстера, графа Кутайсова, прибыл из Зимнего дворца в замок. Императрица Мария Федоровна приехала к полудню, а затем состоялся обеденный стол, к которому приглашены были: обер-камергер граф Строганов, генерал-от-инфантерии Кутузов, обер-гофмаршал Нарышкин, обер-шталмейстер граф Кутайсов, адмирал граф Кушелев, действительный тайный советник князь Александр Борисович Куракин.

«В продолжении стола ее императорскому величеству угодно было, по случаю воспоследовавшего в сей день переезда в замок, — сказано в камер-фурьерском журнале 1801 года, — и при желании впредь благополучного в оном продолжения высочайшего его императорского величества присутствия, пить за здоровье его величества, каковое также

произнести удостоились и все бывшие при столе особы, а его императорское величество, при обыкновенном употреблении вина, изволил равно сему пить за здравие ее императорского величества, изъявя при том всем высочайшее благодарение».

Вечером, в 7 часов, в театре Михайловского замка состоялось первое театральное представление; играны были французскими актерами две оперы: «Ревнивый любовник» и «Женихи».[1]

2-го февраля назначен был в замке маскарад для дворянства и купечества; роздано было билетов 3.100, явилось масок всего 2. 837. Гости могли любоваться роскошью и изяществом убранства вновь созданных чертогов. Но, тем не менее, праздник не вполне удался вследствие крайней сырости, господствовавшей в замке; в комнатах во время празднества образовался густой туман, и, несмотря на тысячи горевших восковых свечей, повсюду господствовал полумрак. Это обстоятельство придавало всему собранию какой-то мрачный оттенок. Император Павел удалился во внутренние покои в три четверти десятого часа; императрица же оставалась в собрании до первой четверти 12-го часа. Маскарад кончился в два часа пополудни, и, как сказано в камер-фурьерском журнале, «последняя из оного вышла маска — жена коллежского ассесора Ежединская».

В Михайловском замке цесаревичу Александру Павловичу пришлось испытать немало новых огорчений и душевных тревог.

В 1801 году императору Павлу благоугодно было вызвать из-за границы в Россию тринадцатилетнего племянника императрицы Марии Федоровны, принца Евгения Виртембергского, назначенного еще в 1798 году генерал-майором и шефом драгунского полка. Воспитателем его был генерал барон Дибич, отец прославившегося впоследствии фельдмаршала графа Дибича-Забалканского. С первого же представления молодого принца Евгения императору (7-го февраля) он завоевал себе расположение государя. «Savez-vous

---

[1] Император Павел объявил новый дворец загородным и затем учредил почту на немецкий образец, которая два раза в день, при звуке трубы, привозила письма и рапорты.

que ce petit drôle a fait ma conquête», — сказал Павел императрице. С этого дня расположение к нему государя с каждым днем возрастало поражающим образом; наконец, оно дошло до того, что Павел Петрович объявил Дибичу о своем намерении усыновить принца Евгения, прибавив, что он владыка в своем доме и в государстве и потому возведет принца на такую высокую ступень, которая приведет всех в изумление. Закону о престолонаследии, установленному, как казалось, незыблемым образом самим императором Павлом, угрожало вопиющее нарушение.

Положение Александра Павловича становилось с каждым днем все более затруднительным. Несмотря на покорность, внимание и предупредительность сына, подозрительность и недоверие к нему грозного родителя принимали все более резкие формы. Вообще Александр и ранее жил с женой очень уединенно; ему служили только преданные императору лица. Чтобы не навлечь на себя и тени подозрения, он не принимал никого и с вельможами и иностранными министрами разговаривал не иначе, как в присутствии отца, и не входил в сношение с лицами, стоявшими у дел. Войдя однажды в комнату наследника, император Павел нашел на его столе трагедию «Брут» Вольтера; она оканчивается, как известно, словами Брута:

«Rome est libre: il suffit.

...Rendons grâces aux dieux!»

Государь призвал сына к себе наверх и, показывая на указ Петра Великого о несчастном Алексее Петровиче, спросил его: знает ли он историю этого царевича?

Народ с надеждой взирал на восходящее солнце России, как некоторые называли Александра. Уже тогда распространилась молва о благодушии и кротости цесаревича, так что не успевал он показаться на улице, как его встречали благословениями и пожеланиями счастья. Известно было, что Александр всегда старался по мере сил облегчить участь всех, подпавших под гнев родителя, и потому распространилась уверенность, что царствование его будет благословенное, отеческое. Все это не могло оставаться безызвестным Павлу, который уже давно возмущался свободомыслием своего старшего сына и привык видеть в нем врага по политическим убеждениям; обоюдные отношения обострялись все более и более; отец и сын перестали понимать друг друга.

С каждым днем настроение Павла Петровича делалось все более мрачным; подозрительность усиливалась. Никто не был уверен, что будет с ним на следующий день. «Награда утратила свою прелесть, наказание — сопряженный с ним стыд», пишет Карамзин.

Даже граф Ростопчин не избег участи, одинаково угрожавшей тогда всем. Впрочем, что касается графа Ростопчина, то следует признать, что он излишним усердием сам вызвал опалу, прервавшую его блестящее служебное поприще. Случилось это следующим образом.

Граф Никита Петрович Панин, жертва ненависти графа Ростопчина, как выше упомянуто, сослан был в декабре 1800 года в свое имение; затем ему было разрешено жить в подмосковной (Петровско-Разумовское). Но могущественному врагу Панина это показалось еще недостаточным. Перехвачено было какое-то письмо из Москвы; оно было написано одним путешествовавшим чиновником коллегии иностранных дел, Петром Ивановичем Приклонским, к Ивану Матвеевичу Муравьеву (которому впоследствии разрешено было именоваться Муравьевым-Апостолом) и, кроме простых известий о сделанных путешественником посещениях, ничего другого не содержало. Только слова: «Я был также у нашего Цинцината в его имении», показались Ростопчину странными, и он вообразил себе, что письмо это писано графом Паниным, и что под именем Цинцината следует разуметь фельдмаршала князя Репнина, бывшего в то время в немилости. Тогда, заменив произвольно одно имя другим, Растопчин понес письмо к императору и внушил ему, что над ним издеваются. Легко раздражавшийся государь немедленно написал московскому военному губернатору графу Салтыкову, 29-го января, 1801 года, грозное послание:

«Открыл я, граф Иван Петрович, переписку Г. Гр. Панина, в которой титулует он князя Репнина Цинцинатом, пишет о некоторой мнимой тетке своей (которой у него однако же здесь никакой нет), которая одна только из всех нас на свете душу и сердце только и имеет, и тому подобные глупости. А как из сего я вижу, что он все тот же, то и прошу мне сего сократить, отослав подале, да отвечать, чтобы он вперед ни языком, ни пером не врал. Прочтите ему сие и исполните все».

Когда граф Панин отвечал чистосердечно военному губернатору, что не писал в Петербург, то, 7-го февраля 1801

года, император Павел послал графу Салтыкову по тому же поводу еще следующее письмо:

«В улику того и тому, о чем и кем дело было, посылаю к вам копии с перлюстрированных Панина писем, которыми извольте его уличить. И, как я уже дал вам и без того над ним волю, то и поступите уже по заслуге и так, как со лжецом и обманщиком. Вы можете для прочтения его к себе с надежным провожатым на то только время привести. Впрочем, сие уже ваше дело, и вам за сие и за него и отвечать».

Между тем, настоящий автор письма, узнав обо всем этом, поспешил на курьерских в Петербург, отправился к графу Кутайсову и объявил ему: «Письмо это писано мной, подписано моим именем. Я слышу, что давние мои благодетели подвергаются несправедливым подозрениям, приехал все разъяснить. Его самого (то есть, Панина) назвал я Цинцинатом, не потому, чтобы хотел скрыть его имя, а потому, что, по величию своего характера, он, мне кажется, может быть сравнен с этим римлянином».

Почти в то же время пришло из Москвы второе донесение, открывавшее, что действительно письмо писано рукой не Панина. Тогда император обратил справедливый гнев на Ростопчина и сказал о нем: «C'est un monstre. Il veut me faire l'insyrument de sa vengeance particulicre; il faut que jc m'en défasse».

20-го февраля 1801 года последовал указ сенату: «Действительного тайного советника графа Ростопчина всемилостивейше увольняем от всех дел по прошению его».

В тот же день сенату были даны еще два указа, по которым князю Александру Борисовичу Куракину повелено было вступить по-прежнему в должность по званию вице-канцлера, а графу Палену присутствовать в коллегии иностранных дел и «в Совете нашем». Кроме того, графу Палену поручено было, еще с 18-го февраля, начальствовать и над почтовой частью. Таким образом, граф Пален, оставаясь петербургским военным губернатором, сосредоточил в своих руках все нити высшего государственного управления.

Граф Ростопчин, собираясь уехать в свою деревню Вороново, около Москвы, имел неосторожность явиться 24-го февраля в Михайловский замок, чтобы откланяться государю. Но император Павел нашел подобный поступок дерзким и приказал передать графу Ростопчину, чтобы он немедленно выехал из дворца и в тот же день из Петербурга. Через

несколько часов граф Федор Васильевич, во исполнение высочайшей воли, не замедлил выехать в Москву.

Что касается графа Панина, то император Павел поспешил исправить сделанную им несправедливость: 16-го февраля 1801 года графу Никите Петровичу отправлено было генерал-прокурором Обольяниновым уведомление, что ему высочайше разрешен въезд в обе столицы. Но граф Панин не появлялся более в Петербурге в царствование императора Павла; он прибыл в столицу только после 12-го марта, уже по вызову императора Александра.

Тайная канцелярия была завалена делами и подвергала допросам с истязаниями. Генерал-прокурор Обольянинов стал инквизитором и вскоре «уподобился великому визирю».

«Время это было самое ужасное», — пишет очевидец Д.Б.Мертваго. — «Государь был на многих в подозрении. Тайная канцелярия была занята делами более вотчинной; знатных сановников почти ежедневно отставляли от службы и ссылали на житье в деревни. Государь занялся делами церковными, преследовал раскольников, разбирал основание их секты, многих брали в тайную канцелярию, брили им бороды, били и отправляли на поселение. Словом, ежедневный ужас. Сердце болело, слушая шепоты, и рад бы не знать того, что рассказывают».[1] И.И.Дмитриев пишет: «Несколько раз по воскресным дням бывал во дворце и, несмотря на все прощение исключенных, находил все комнаты почти пустыми. Вход для чиновников был уже ограничен; представление приезжих, откланивающихся и благодарящих, за исключением некоторых, было отставлено. Государь уже редко проходил в церковь чрез наружные комнаты. Строгость полиции была удвоена».[2]

Другой очевидец в частном письме сообщал: «и погода какая-то темная, нудная, по неделям солнца не видно; не хочется из дому выйти, да и не безопасно... кажется, и Бог от нас отступился».[3] Столица приняла небывалый, своеобразный вид; в 9 часов вечера, после пробития зари, по

---

[1] Записки Д.Б.Мертваго. По назначению П.Х.Обольянинова генерал-прокурором, он продолжал также занимать прежнюю свою должность генерал-провиантмейстера. Д.Б.Мертваго служил в провиантском ведомстве.

[2] Взгляд на мою жизнь. Стр. 150. В это время И.И.Дмитриев находился вторично в отставке, имея уже чин тайного советника. Он, по домашним делам, приехал из Москвы в Петербург в начале 1801 года и возвратился обратно менее чем за месяц до кончины императора Павла.

[3] Рукопись Е.Ковалевского: «После смерти Павла I».

большим улицам перекладывались рогатки, и пропускались только врачи и повивальные бабки.[1] Вызванные этими мерами всеобщее уныние и беспокойство и поселили во всех убеждение, что такое положение продлиться не может. В Москве военный губернатор, фельдмаршал граф Салтыков, сам ожидая со дня на день ссылки, высказывал в эти тревожные дни, не стесняясь, мнение, что «эта кутерьма долго существовать не может».

Будущий граф, фельдмаршал и князь, барон Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен, оставил в своем дневнике следующую характеристику положения дел в 1800 году: «Первой мыслью Павла всегда бывает наказать человека, а потом иногда он спрашивает, за что он наказал его. Он не знает, ни чего хочет, ни что делает; тот, кто ему лучше других служит, остается больше других в проигрыше». Вся обстановка 1800 года привела Сакена даже к такой пессимистической мысли, что «для благоразумного человека остается один исход — умереть!»

В воскресенье 10-го марта был в Михайловском замке французский концерт. Среди собравшегося двора господствовало мрачное настроение. Император обращал мало внимания на пение госпожи Шевалье. Великая княгиня Елисавета сидела молча и печально: Александр также был, по-видимому, озабочен. Императрица с беспокойством оглядывалась и, казалось, задумывалась над тем, какими пагубными мыслями поглощен ее супруг. Государь смотрел сердито и расстроено. Перед выходом к вечернему столу произошло следующее: когда обе половины дверей распахнулись, Павел подошел к близ стоявшей императрице, остановился перед ней, насмешливо улыбаясь, скрестивши руки и, по своему обыкновению, тяжело дыша, что служило признаком сильного недовольства; затем он повторил те же угрожающие приемы перед обоими великими князьями, Александром и Константином. В заключение он подошел к графу Палену, с зловещим видом шепнул ему на ухо несколько слов и поспешил к столу. Все последовали за ним молча и с стесненной грудью. Гробовая тишина царила за этой печальной трапезой, и когда, по окончании ее, императрица и великие князья хотели поблагодарить императора, он отстранил их от себя с насмешливой улыбкой и быстро удалился, не поклонившись. Императрица заплакала, и вся семья разошлась. глубоко взволнованная.

---

[1] Воспоминания князя А.П. Оболенского.

V

Наступил понедельник 11-го марта 1801 года. Патер Грубер, пользуясь завоеванным им исключительным положением, явился рано утром в Михайловский замок и направился к кабинету государя; он явился по важному делу, над которым долго трудился и принес с собой проект соединения православной церкви с латинской. На этот раз патер встретил неожиданное препятствие в лице военного губернатора графа фон-дер-Палена, который загородил ему дорогу и сказал, что император так занят государственными делами, что не может принять отца-иезуита; с этими словами он быстро вошел в кабинет Павла. Не желая в этот день, по известным ему соображениям, допустить иезуита до объяснений с императором, военный губернатор преднамеренно буквально завалил Павла докладами и не давал ему покоя и возможности перевести дух. Государь приметно начинал терять терпение, раздражался и, наконец, при поднесении последнего доклада, обратился к Палену с гневным вопросом: «нет ли еще чего-нибудь?» Пален, ловко воспользовавшись таким душевным настроением Павла, ответил: «все, ваше величество. Только там за дверьми кабинета, кажется, отец Грубер хочет еще утомлять вас своим столь известным проектом о соединении русской церкви с латинской». Государь. уже приведенный в раздраженное состояние, боявшийся опоздать на развод, приказал Палену сказать Груберу, чтобы он убрался со своим проектом.[1]

После этого эпизода дневные занятия и установившееся препровождение времени продолжалось в обычном порядке.

Император присутствовал у развода, в котором, однако, против обыкновения и к общему удивлению, не принимали участия великие князья Александр и Константин. Государь был очень гневен, но, тем не менее, никого не сделал несчастным.

В караул в Михайловский замок, на большую гауптвахту, вступили семеновцы, при которых находились капитан Воронков, поручик Полторацкий и подпоручик Ивашкин.[2] Затем внутренний караул в овальной комнате, примыкавшей

---

[1] М.Морошкин: Иезуиты в России. С.-Петербург, 1870, ч.2-я, стр.3.

[2] Припомним здесь, что главная гауптвахта Михайловского замка помещалась в нижнем этаже, при входе через Воскресенские ворота в главный двор на право, против парадной лестницы.

к парадной лестнице, занимали преображенцы, с которыми находился поручик Марин.[1] Сверх того, близ покоев императора находился еще другой внутренний караул от Конного полка, под командой корнета Андреевского.

После развода граф Пален приказал всем офицерам гвардии собраться в его квартиру. Прямо из экзерциргауза офицеры отправились к нему и ожидали графа более часу. Когда военный губернатор возвратился из дворца, он вышел к собравшимся офицерам и с мрачным, расстроенным лицом довольно грозно сказал им: «Господа! Государь приказал вам объявить, что он службой вашей чрезвычайно недоволен, что он ежедневно и на каждом шагу примечает ваше нерадение, леность и невнимание к его приказаниям и вообще небрежение к исполнению вашей должности, так что, ежели он и впредь будет замечать то же, то он приказал вам сказать, что он разошлет вас всех по таким местам, где и костей ваших не сыщут. Извольте ехать по домам и старайтесь вести себя лучше».

Все разъехались с горестными лицами и унынием в сердце.

Тем временем император Павел в сопровождении графа Кутайсова совершил прогулку верхом; в то же самое время императрица Мария Федоровна имела верховой выезд с фрейлиной Протасовой.

Возвратившись в Михайловский замок, император Павел сошелся на парадной лестницей с Коцебу, который, в своих воспоминаниях, посвятил этой нечаянной встрече следующие строки:

«11-го марта в первом часу, следовательно, за двадцать часов до его кончины, я видел императора Павла в последний раз. Он возвращался с прогулки, верхом, вместе с графом Кутайсовым, и, казалось, был в очень хорошем расположении духа. Я встретился с государем на большой лестнице, возле статуи Клеопатры. Он, по обыкновению, остановился и заговорил со мной, на этот раз о статуе, возле которой мы стояли. Он заметил, что это прекрасная копия, осмотрел различные виды мрамора, входившие в состав ее подножия, пожелал узнать их названия, а затем перешел к истории этой царицы Египта. Он восхищался ее геройской

---

[1] Сергей Никифорович Марин назначен был 20-го августа 1807 года флигель-адъютантом; он умер в 1813 году.

смертью и, по-видимому, согласился с моим замечанием, что она едва ли лишила бы себя жизни, если бы Август не пренебрег ее прелестями. Наконец он спросил меня, подвигается ли составляемое мной описание дворца. Я отвечал, что оно приближается к окончанию. После этого мы расстались, при чем император благосклонно сказал мне:

«Радуюсь заранее удовольствию прочитать его».

«Я следил за ним глазами, пока он поднимался по лестнице. Дойдя до самого верха, он обернулся в мою сторону, и мы никак не подозревали, что видим друг друга в последний раз. Статуя Клеопатры после этого разговора сделалась мне очень памятной; я часто с умилением останавливался перед ней после кончины государя».

К обеденному столу приглашены были:
обер-камергер граф Строгонов,
генерал-от-инфантерии Кутузов,
обер-гофмаршал Нарышкин,
обер-шталмейстер граф Кутайсов,
адмирал граф Кушелев,
вице-канцлер князь Куракин.

После обеда, в 4 часа пополудни, императрица Мария Федоровна с фрейлиной Протасовой поехала в карете в Смольный монастырь, откуда возвратилась обратно в 6 часов.

В продолжение дня император Павел посетил малолетнего великого князя Николая Павловича, которого он очень любил.[1] При этом свидании великий князь, которому уже шел пятый год, обратился к своему родителю с вопросом, отчего его называют Павлом Первым?

— Потому, — отвечал ему государь, — что не было другого императора, который носил бы это имя до меня.

— Тогда, — продолжал великий князь, — меня будут называть Николаем Первым.

---

[1] В то время, подобно тому, как и в последние недели царствования Петра III, самые невероятные слухи смущали жителей Петербурга. В числе этих слухов занимает также место слух о предположении императора Павла объявить своим наследником великого князя Николая Павловича. К этому намерению относили слова, будто бы сказанные государем, что он вскоре помолодеет на двадцать пять лет. — «Подожди еще пять дней, и ты увидишь великие дела!» — с этими словами император Павел обратился к графу Кутайсову, намекая на какую-то предстоявшую таинственную перемену.

— Если ты вступишь на престол, — заметил ему государь. Погрузившись затем в раздумье и устремив долгое время свои взоры на великого князя, Павел крепко поцеловал сына и быстро удалился из его комнат.

11-го марта император Павел успел еще отправить в Берлин курьера со следующим собственноручным письмом на имя нашего посланника барона Криденера:

«Cha: Mich: ce 11 Mars 1801.

«Declare Monsieur au Roi que si il ne vent pas se desidé à occuper Hanovre vous avé quitter la Cour dans les 24 heures.»Paul».[1]

Другой курьер отправлен был государем в Париж к Колычеву с повелением обратиться к первому консулу с приглашением вступить с республиканскими войсками в курфиршество Гановерское, ввиду нерешительности берлинского двора занять эту страну своими войсками.

В этот день, по особому приказанию Константина Павловича, дежурным полковником по Конному полку не в очередь был назначен Н.А.Саблуков, эскадрон которого стоял на карауле в замке. Дежурство Саблукова было совершенно противно служебной рутине, ибо полковнику, эскадрон которого стоял в карауле, следовало осматривать посты, и поэтому на него не возлагалось никаких иных обязанностей. Подчиняясь приказанию великого князя, Саблуков повел караул во дворец, расставил посты и, напомнив офицеру о всех нужных предосторожностях, возвратился затем в казармы, чтобы исполнять должность дежурного полковника. В 8 часов вечера получив рапорты от дежурных офицеров пяти эскадронов, Саблуков отправился в замок подать свой рапорт великому князю Константину, командовавшему Конным полком. Выходя из саней у большого подъезда, дежурный полковник встретил камер-лакея

---

[1] Князь Лобанов пишет: «Этот рескрипт находится в архиве нашего посольства в Берлине, где я его списал (с сохранением правописания подлинника). На нем нет такой приписки графа Палена, о которой говорит Биньон (Bignon: Histoire de France. T.1, p. 440): «LTEmpereur ne se porte pas bien aujourdThui». Тьер передает эту приписку почти в тех же выражениях, а именно: «Sa majesteimperialeest indisposee aujourdThui. Cela pourrait avoir des suites». Затем Тьер прибавляет, что генерал Бернонвиль, бывший французским посланником в Берлине, сообщил о ней своему правительству. Должно полагать, что граф Пален написал барону Криденеру отдельную записку, которая не сохранилась в архивах».

собственных его величества аппартаментов, который спросил его, куда он идет; Саблуков ответил, что идет к великому князю Константину. «Пожалуйста, не идите, — сказал камер-лакей, — ибо я должен тотчас же донести о том государю». «Не могу не идти», — ответил Саблуков, — ибо я дежурный полковник и должен явиться с рапортом к его высочеству; так и скажите государю». Лакей вбежал по лестнице на одну сторону замка, а Саблуков поднялся на другую. Продолжаем рассказ словами Саблукова:

«Когда я вошел в переднюю Константина, Рудковский, его доверенный камердинер, спросил меня с удивленным видом: «Зачем вы пришли сюда?»

— Я ответил, бросая шубу на диван: «Вы, кажется, здесь все с ума сошли! Я — дежурный полковник.» Тогда он отпер дверь и сказал: «Хорошо, войдите». Я застал Константина в трех, четырех шагах от двери: он имел вид очень взволнованный. Я тотчас отрапортовал ему о состоянии полка. Между тем, как я рапортовал, Александр вышел из двери, прокрадываясь, как испуганный заяц. В эту минуту открылась задняя дверь, и вошел Павел in propria persona, в сапогах и шпорах, с шляпой в руке и тростью в другой, и направился к нашей группе церемониальным шагом, словно на параде. Александр убежал в собственный аппартамент; Константин стоял пораженный, с руками, бьющими по карманам, словно безоружный человек, который встретился с медведем. Я же, повернувшись, по уставу, на каблуках, представил императору рапорт о состоянии полка. Император сказал: «А, ты дежурный!» — очень учтиво кивнул мне головой, повернулся и пошел к двери. Когда он прошел эту дверь, Александр открыл свою дверь и заглянул в комнату. Константин стоял неподвижно. Когда вторая дверь в ближайшей комнате громко стукнула, как будто ее с силой захлопнули, доказывая, что император действительно ушел, Александр осторожно пробрался к нам. Константин сказал: «Ну, братец, что скажете вы о моей идее? — указывая на меня. — Я говорил вам, что он не испугается!» Александр спросил: «Как? Вы не боитесь императора?» «Нет, ваше высочество, чего же мне бояться? Я дежурный, хотя и вне очереди, это правда, но я исполняю свою обязанность и не боюсь никого, кроме великого князя, и то потому, что он мой полковой командир, точно так же, как мои солдаты не боятся его высочества, а боятся одного меня». «Так вы ничего не знаете?» — возразил Александр. «Ничего, ваше высочество, кроме того, что я

дежурный не в очередь». «Я так приказал», — сказал Константин. «К тому же, — сказал Александр, — мы оба под арестом». Я засмеялся. Великий князь сказал: «Отчего вы смеетесь?» «Оттого, — ответил я, — что вы давно желали этой чести». «Да, но не такого ареста, какому мы подверглись теперь. Нас обоих водил в церковь Обольянинов присягать в верности». «Меня нет надобности приводить к присяге, — сказал я, — я верен». «Хорошо, — сказал Константин, — теперь отправляйтесь домой и, смотрите, будьте осторожны». Пока камердинер Рудковский помогал мне в передней надевать шубу, Константин Павлович крикнул: «Рудковский, стакан воды!». Рудковский налил, и я заметил ему, что на поверхности плавает перышко. Рудковский вынул его пальцем и, бросив на пол, сказал: «Сегодня оно плавает, а завтра потонет».

Вечер 11-го марта их величества провели с их высочествами, а «также и с обыкновенно приглашающимися в собрание знатными особами в гостиной комнате». Император Павле был особенно весел и находился в совершенно ином настроении, чем на вечернем собрании, имевшем место накануне. Много лет тому назад, Павел Петрович, в письме к Николаю Ивановичу Салтыкову, признавался, что он приметил за собой, что когда сей род веселости на него найдет, «всегда перед печалью». Это было писано в 1784 году, и подобное же явление повторилось, но с худшими еще последствиями, в 1801 году![1]

В обычное время состоялся вечерний стол на девятнадцати кувертах. От императора, начиная с правой стороны, сидели:

Великий князь Александр Павлович.
Великая княгиня Елисавета Алексеевна.
Великая княжна Мария Павловна.
Статс-дама графиня Пален.
Камер-фрейлина Протасова.
Фрейлина Кутузова 2-я.
Генерал-от-инфантерии Кутузов.
Обер-камергер граф Строгонов.

---

[1] Как уже замечено было, сновидения и видения играли роль в жизни Павла Петровича. Поэтому неудивительно, что накануне 11-го марта 1801 года он видел необычайный сон, подобно тому, как и в ночь на 5-е ноября 1796 года. Павлу Петровичу снилось, что ему натягивали узкий парчевый кафтан и с таким усилием, что он проснулся от боли.

Обер-гофмаршал Нарышкин.
Обер-камергер граф Шереметев.
Шталмейстер Муханов.
Фрейлина графиня Пален.
Сенатор князь Юсупов.
Статс-дама Ренне.
Статс-дама графиня Ливен.
Великая княгиня Анна Федоровна.
Великий князь Константин Павлович.

Во время ужина великий князь Александр Павлович был молчалив и задумчив; император Павел, напротив того, был чрезвычайно весел и разговорчив. Заметив, что наследник не в обыкновенном расположении духа, император спросил у него:

— «Monseigneur, qu'avez-vous aujourd'hui».

— «Sire, — отвечал великий князь, — je ne me sens pas tout à fait bien».

— «Eh bien, consultez un médecin et soignez-vous. Il faut toujours arrêter les indispositions dès le commencement, pour empêcher de venir des maladies sérieuses».

Великий князь ничего не отвечал, но наклонился и потупил глаза.

Через несколько минут великий князь Александр чихнул. Император сказал ему:

— A l'accomplissement de tous vos souhaits».

За ужином употреблен был в первый раз новый фарфоровый прибор, украшенный разными видами Михайловского замка.[1] «Государь был в чрезвычайном восхищении, многократно целовал рисунки на фарфоре и говорил, что это был один из счастливейших дней в его жизни», рассказывал очевидец камер-паж.[2]

---

[1] Князь Лобанов пишет: «записано со слов свидетеля князя Юсупова, ужинавшего за царским столом».

В «Русском Архиве» 1869 года (стр. 627) в рассказах князя Сергея Михайловича Голицина по поводу ужина 11-го марта читаем: «Великий князь Александр чихнул. Павел встал и сказал: «Que Dieu vous b nisse, monseigneur!»

[2] Из воспоминаний Петра Ивановича Полетики. («Русский Архив» 1885 года, книга 3-я, стр. 322). Эти подробности об ужине 11-го марта П.И.Полетика записал со слов своего брата, Аполлона Полетики, бывшего тогда камер-пажем при великом князе Константине Павловиче и служившего по званию своему у вечернего стола государя.

Веселое настроение Павла Петровича подтверждается свидетельством другого пажа, Бошняка, по рассказу которого: «Государь был очень весел, чему-то много смеялся, перешептываясь с сидевшим с ним рядом великим князем Александром Павловичем. Это необыкновенно веселое расположение духа государя обратило на себя внимание даже мальчиков-пажей, и один из них, Зайцев, обратясь после ужина к Бошняку, сказал ему: «Заметил ли ты, как государь шептался с наследником? Точно он ему царство передавал».[1]

То же самое подтверждается рассказом генерала Кутузова. Вот что он говорил впоследствии графу Ланжерону:

«Мы ужинали вместе с императором; нас было 19 человек за столом; он был очень весел и много шутил с моей дочерью, которая в качестве фрейлины присутствовала за ужином и сидела против государя. После ужина он говорил со мной, и пока я отвечал ему несколько слов, он взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми; он посмеялся над этим и сказал мне: «Посмотрите, какое смешное зеркало; я вижу себя в нем с шеей на сторону (Voyez la drôle de glace! Je m'y vois le cou de travers)».[2]

Ужин кончился в половине десятого. Заведено было, что все выходили в другую комнату и прощались с государем. В этот вечер Павел Петрович также вышел в другую комнату, но ни с кем не простился, а сказал только: «Чему быть, тому не миновать».

VI

Когда полковник Саблуков возвратился из Михайловского замка домой, было ровно девять часов. Обратимся теперь снова к его рассказу: «Бросившись в свое кресло, — пишет Саблуков, — я, как легко себе представить, предался довольно тревожным мыслям по поводу всего того, что я только что слышал и видел. Мои размышления, однако же, были непродолжительны. В три четверти десятого мой слуга вошел в комнату и ввел ко мне фельдъегеря. «Его величество

---

[1] «Рассказы старого пажа о времени Павла I». — «Русская Старина» 1882 года, т. 33-й.

[2] По рассказу князя Сергея Михайловича Голицына, Павел Петрович заметил: «Какие мне зеркала повесили! Куда не посмотрю, все у меня лице кривое, все на боку». — «CTest en attendant votre majeste», отвечал князь Юсупов. («Русский Архив» 1869 года, стр. 633).

желает, чтобы вы немедленно явились во дворец». — «Очень хорошо», отвечал я и велел подать сани. Получить такое приказание через фельдъегеря считалось вообще плохим предзнаменованием и предвестником бури. Я, однако же, не имел дурных предчувствий и, немедленно отправившись к моему караулу, спросил офицера Андреевского, все ли обстоит благополучно. Он ответил, что все совершенно благополучно, что император и императрица три раза проходили мимо караула, весьма благосклонно поклонились ему и имели вид очень милостивый. Я сказал ему, что за мной послал государь, и что я не приложу ума, зачем бы это было. Андреевский также не мог догадаться, ибо в течение дня все было в порядке. В четверть одиннадцатого часовой крикнул «к ружью»; караул выстроился. Император вышел из двери кабинета в башмаках и чулках, ибо он шел с ужина. Ему предшествовала любимая его собачка «Шпиц», и следовал за ним дежурный генерал-адъютант Уваров. Собачка подбежала ко мне и стала ласкаться, хотя прежде того никогда меня не видела. Я отстранил ее шляпой, но она опять кинулась ко мне с ласками, и император отогнал ее ударом шляпы, после чего Шпиц сел позади Павла на задние лапки, не переставая пристально глядеть на меня. Император направился прямо ко мне и сказал по-французски: «Vous êtes des Jacobins». Несколько озадаченный этими словами, я, не подумав, ответил: «Oui, Sire». — Он возразил: «Pas vous, mais le régiment». Я оправился и ответил: «Passe encore pour moi, mais vous trompez pour le regiment». — Он сказал мне тогда по-русски: «А я лучше знаю. Сводить караул». — Я скомандовал: «Направо кругом, марш!» — Корнет Андреевский вывел караул и отправился с ним домой. Собачка Шпиц не шевелилась, она все время во все глаза смотрела на меня. Затем император продолжал говорить по-русски и повторил, что мы якобинцы. Я отверг подобное обвинение, утверждая, что оно не заслуженное. Он снова ответил, что он лучше знает, и прибавил, что он приказал вывести полк из города и расквартировать его по деревням, причем сказал мне весьма милостиво: «Ваш эскадрон будет помещен в Царском Селе; два бригад-майора будут сопровождать полк до седьмой версты; распорядитесь, чтобы полк был готов к выступлению в четыре часа утра в походной форме и с поклажей». Затем, обращаясь к двум лакеям, одетым в гусарскую форму, но не вооруженным, он сказал: «Вы оба займите этот пост», указав на дверь, ведущую в кабинет. Уваров все это время

улыбался за спиной императора, а верный Шпиц продолжал серьезно глядеть на меня. Император затем поклонился мне с изысканной вежливостью и удалился в кабинет».

Невольно вспоминается рассказ цесаревича Павла Петровича о видении Петра Великого, и столь же невольно срываются с уст наших слова, услышанные им тогда: «Павел, бедный Павел!»

Ночь была холодная и дождливая. В главном карауле все дремали.

Вдруг прибегает лакей с криком: «Спасайте!». Поручик Полторацкий обнажил шпагу и, обращаясь к солдатам, воскликнул: «Ребята, за царя!». Все бросились вслед за Полторацким, перебежали двор и поднялись по парадной лестнице. Но вдруг на верхней площадке появился граф Пален и генерал Бенигсен. Раздалась команда: «Караул, стой!», затем они услышали слова: «Государь скончался апоплексическим ударом; у нас теперь новый император Александр Павлович!»

VII

В первом часу пополуночи с 11-го (23-го) на 12-е (24-е) марта 1801 года граф Пален явился в Михайловский замок к наследнику цесаревичу Александру Павловичу с известием о скоропостижной кончине императора Павла.

Горесть Александра Павловича была неописанная; он заливался слезами. В это самое время князь Платон Александрович Зубов разбудил цесаревича Константина Павловича и привел его к воцарившемуся императору.

Только с трудом граф Пален уговорил Александра выйти к собранным в Михайловском замке войскам. «C'est assez faire l'enfant», сказал Пален, «allez régner, venez-vous montrer aux gardes. Благополучие миллионов людей зависит от вашей твердости».

Желание военного губернатора было, наконец, исполнено. Император Александр обратился прежде всего к семеновскому караулу с достопамятными словами:

«Батюшка скончался апоплексическим ударом. Все при мне будет, как при бабушке».

В ответ на эти слова раздалось «ура». Затем государь вышел к войскам, после чего в два часа пополуночи сел в карету с цесаревичем Константином Павловичем и отправился в Зимний дворец; на запятках стояли граф Н.А.Зубов

и генерал-адъютант Уваров. Императрица Елисавета Алексеевна осталась в замке утешать вдовствующую императрицу Марию Федоровну.

Император Александр занял в Зимнем дворце прежние свои комнаты. Сюда призван был отставленный 14-го октября 1800 года Дмитрий Прокофьевич Трощинский. Александр кинулся к нему на шею и сказал:

«Будь моим руководителем!» Ему поручили тотчас же написать манифест о вступлении на престол императора Александра Первого. Манифест возвещал следующее:

«Судьбам Вышнего угодно было прекратить жизнь любезного родителя нашего, государя императора Павла Петровича, скончавшегося скоропостижно апоплексическим ударом в ночь с 11-го на 12-е число сего месяца. Мы, восприемля наследственно императорский всероссийский престол, восприемлем купно и обязанность управлять Богом нам врученный народ по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей, государыни императрицы Екатерины Великия, коея память нам и всему отечеству вечно пребудет любезна, да, по ее премудрым намерениям шествуя, достигнем возвести Россию на верх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным нашим, которых чрез сие призываем запечатлеть верность их к нам присягой пред лицом всевидящего Бога, прося Его, да подаст нам силы к снесению бремени, ныне на нас лежащего».

Этими немногими словами, вылившимися в минуту счастливого вдохновения, Трощинский воспламенил сердца подданных искреннейшей любовью к молодому императору и успокоил умы, встревоженные пережитыми тяжелыми днями.

Присяга новому императору и наследнику, «который назначен будет», совершилась повсюду утром в величайшем порядке. По учиненной от двора повестке съехались в десять часов утра в Зимний дворец все вообще военные и гражданские чины в Большую церковь, где уже находился митрополит Амвросий с членами святейшего синода и придворным духовенством для учинения присяги на верность императору Александру Первому. Шишков пишет, что во дворце «почти все находившиеся при покойном государе чиновники обнимались между собой и целовались, словно как бы поздравляли друг друга с каким-то торжественным приключением...

Конец жизни Павловой, равно как и Петра Третьего, не был никем или весьма немногими оплакиваем».

В числе лиц, собравшихся во дворец для присяги, находился также Яков Иванович де-Санглен. Вспоминая в своих записках подробности этого дня, он пишет: «Здесь все залы были почти наполнены военными и гражданскими чиновниками. Среди залы несколько офицеров изъявляли радость свою, что будут по-старому носить фраки и круглые шляпы. Я вошел во вторую залу. Здесь сидели у камина граф Николай Александрович Зубов, перед ним стоял князь Яшвиль. Их окружали некоторые из тех, которых я накануне вечером видел у графа Палена.[1] Громко сказал Зубов Яшвилю: «А дело было жаркое». Я отвернулся, ушел назад в первую залу и увидел стоящего в дверях великого князя Константина Павловича, с лорнетом в руках, устремившего взор на сидящих около камина; как будто про себя, но громко сказал он: «я бы всех их повесил». С сим словом воротился он в первую залу, а я за ним».[2]

По прибытии в церковь цесаревича Константина Павловича, учинена была присяга обыкновенным порядком, и по исполнении сего произнесены были протодиаконом ектения и многолетие.

По окончании присяги, митрополит с духовенством проходили в апартаменты государя для принесения всеподданнейшего поздравления. В камер-фурьерском журнале сказано: «Государь император изволил неоднократно проходить парадными комнатами для принятия поздравления от духовенства и всех особ военных, гражданских, собравшихся в гостиной, угловой столовой и мраморных залах. После сего отретировался во внутренние свои аппартаменты».

Так повествует официальный журнал. К этому нужно прибавить, что среди всеобщего ликования всех сословий

---

[1] Вечером 11-го марта де-Санглен был в канцелярии военного губернатора (граф Пален жил на углу Невского и Большой Морской, ныне дом Елисеева) и увидел приехавших гостей. На вопрос Санглена, что это значит, ему было сказано: «А вот что, подите за ними или домой». Санглен отправился домой и лег благополучно спать. Не менее характерно то, что сообщает Санглен в своих записках о разговоре с извозчиком в тот же вечер. Извозчик спросил его: «Правда ли, сударь... какой грех?» — «Что ты, с ума сошел... ради Бога, не ври». Извозчик нисколько не смутился и ответил: «Помилуйте, сударь, у нас на бирже только и твердят: конец!»

[2] Записки Я.И.де-Санглена. «Русская Старина» 1883 года, т. 37-й, стр. 3—4.

задумчивым и печальным оставался один Александр. Смерть отца произвела на него потрясающее впечатление. На выходе 12-го марта поступь его и осанка изображали человека, удрученного горестью и растерзанного неожиданным ударом рока. Вид огорченного императора покорил ему сердца всех. В его сознании царская власть, которую он принял на себя столь неохотно, являлась одним тяжелым бременем.

Близкое к Александру лицо написало на другой день после восшествия его на престол по поводу события 12-го марта следующие справедливые строки: «Его чувствительная душа навсегда останется растерзанной... Только мысль о возвращении своему отечеству утраченного благосостояния может поддержать его. Ничто другое не могло бы придать ему твердости. Она же необходима ему, потому что единому Богу известно, в каком состоянии получил он эту империю... Все тихо и спокойно, если не говорить о почти безумной радости, охватившей всех от последнего человека в народе до высших слоев общества; грустно, что это даже не должно удивлять... Я дышу свободно вместе со всей Россией».

Эти слова любящего его человека оказались пророческими. Действительно, чувствительная душа Александра навсегда оказалась растерзанной событием 12-го марта, и воспоминание о нем не покидало его более ни в радостные, ни в печальные минуты его царствования; оно наложило печать на всю его последующую жизнь. «Все неприятности и огорчения, какие мне случатся в жизни моей, я их буду носить, как крест», — сказал император Александр.

Вся мыслящая Россия встрепенулась при известии о воцарении Александра.

«Все умы и сердца успокоились, — пишет А.С.Шишков. — Восторг был всеобщий и искренний и, по свидетельству современников, выходил даже из пределов благопристойности. «Общество как бы возрождалось к новой жизни, очнувшись от терроризма человека, который четыре года, не ведая что творит, мучил Богом вверенное ему царство». На улицах проявлялось всюду необузданное веселие, плакали от радости; люди, друг другу вовсе незнакомые, обнимались и друг друга поздравляли. Казалось, что наступил день Светлого Воскресенья. Природа как бы участвовала в общей радости: до 12-го марта погода была сырая и пасмурная, с воцарением же Александра засияло солнце надолго. Вечером город был иллюминован, хотя никаких приказаний на этот счет не последовало; тем не менее, по свидетельству Коцебу, иллюминация была блистательнее, чем обыкновенно в большие праздники.

Тот же современник пишет: «Зеленщики, продававшие свой товар по домам, поздравляли с переменой (как они выражались), подобно тому, как они поздравляют с большими праздниками. Почто-содержатели на московской дороге отправляли курьеров даром. Но многие спрашивали, однако, с боязнью: «Да точно ли он умер?» Кто-то даже любопытствовал узнать, набальзамировано ли уже тело. Только когда его в том уверили, он глубоко вздохнул и успокоился. Даже люди, которые не имели повода жаловаться на Павла и пользовались от него одними благодеяниями, были также в радостном настроении. «Eh bien», — спросил мимоходом князь Зубов у генерала Клингера, — qu'est ce qu'on dit du changement?» — «Mon prince», — отвечал Клингер, в противность стольким прямодушным и твердым правилам, вошедшим в его сочинения, — on dig que vous avezéténun des romains». Круглые шляпы также снова появились, и я был свидетелем суматохи, внезапно происшедшей в одно утро в приемной графа Палена. Все бросились к окнам; я не мог понять, по какой причине. На улице появилась первая круглая шляпа. Обыкновенно население придает подобным мелочам такую цену, что государям никогда бы не следовало стеснять его в этом отношении. Можно без преувеличения сказать, что разрешение носить круглые шляпы произвело в Петербурге более радости, чем уничтожение отвратительной тайной экспедиции».

Граф Завадовский в своей переписке посвятил оценке событий 12-го марта несколько своеобразных строк: «Жиды чают Мессии, но спасающий нас обрадовал внезапно... благоволением судьбы вышли мы из темных дней. Заживают раны от муки прежней, по удостоверению, что отверженные кнут и топор больше не восстанут: ибо ангел со стороны кротости и милосердия царствует над нами. Зады Иоанна Грозного мы испытали, измеряй потому радость общую, когда можем подымать дух и сердце, когда никто не имеет страха мыслить и говорить полезное и чувствовать себя... возблагословим время и что в нем, окончим наш век».

Легко было начать новую эпоху, опираясь на такую веру, на такую радость. Все с упованием взирали на юного государя: молодой, прекрасный собой, с кротким и задумчивым взглядом, застенчивый и приветливый, он, действительно, мог очаровать всех. Россия увидела исполнение пророчества Державинского стиха:

«Будь на троне человеком».

Ужасные мысли о тюрьмах, пытках, казнях, ссылках, мгновенно рассеялись, как зловещие призраки; их заменила

надежда на народное благосостояние и на личную безопасность. Уповал и Александр, что он сделает Россию счастливой, что он отдаст ей лучшие годы, замолить злое дело, совершенное чужими руками, а затем, благословляемый народом, исполнив заветные мечты, сойдет с выпавшего на его долю блестящего поприща и расстанется с царским венцом, который сделался для него неиссякаемым источником скорби и сожалений — истинным терновым венцом. Повсюду в России манифест 12-го марта возбудил такую же неподдельную радость, как и в Петербурге. Неожиданная весть быстро распространилась в Москве 15-го марта. «Это одно из тех воспоминаний, — пишет очевидец, — которых время никогда истребить не может: немая, всеобщая радость, освещаемая ярким весенним солнцем. Все обнимались, как в день Светлого Воскресенья; ни слова о покойном, чтобы и минутно не помрачить сердечного веселья, которое горело во всех глазах; ни слова о прошедшем, все о настоящем и будущем».

Л.Н.Энгельгардт, находившийся в то время в Нижнем Новгороде, пишет в своих записках, что известие о воцарении Александра I возбудило всеобщую радость: «друг друга поздравляли и обнимали, как будто Россия была угрожаема нашествием варваров и освободилась».

Рассвет полярного летнего дня, после полярной зимней ночи, великое вскрытие вод, пробуждение животной и растительной жизни, внезапное появление цветов, внезапное покрытие зеленью целых лесов — все это слишком слабое сравнение для этой счастливейшей и отраднейшей из всех перемен.[1]

VIII

Все отрасли государственного управления приведены были в четырехлетнее правление императора Павла в неописанный беспорядок. Поэтому первые заботы нового правительства заключались в отмене перемен, внесенных Павлом Петровичем в учреждения своей матери, и в возвращении сословиям и обществам присвоенных им прежде прав, попранных неограниченным произволом, воцарившемся в России после 6-го ноября 1796 года. Этот произвол прервал стремление, обнаруженное законодательством Екатерины, ввести в России правильную общественную организацию и начать твердое определение прав отдельных сословий для их

---

[1] В таких приблизительно выражениях Маколей приветствует окончание революционного террора во Франции.

гражданской самодеятельности. Александр, подготовленный воспитанием к принятию новых общественных идей, обнаружил явное стремление на место слепой прихоти и насилия водворить закон и справедливость. Он не побоялся даже открыто высказать, что не признает на земле справедливой власти, которые не исходят от закона; в его глазах закон являлся залогом блаженства всех и каждого.

Для исполнения своих благих намерений государю безотлагательно нужно было обновить личный состав главнейших государственных деятелей, окружавших в последнее время Павла Петровича. Прежде всех пал генерал-прокурор Обольянинов; он был немедленно принесен в жертву общему негодованию.

Один из подчиненных Обольянинова посетил его 12-го марта и пишет об этом следующее:[1]

«Не доезжая до дома, увидел я кругом его войска, и потому, выйдя из саней, пошел пешком. Через двор и по маленькой лестнице я вошел в дом и застал в столовой офицера, который, к счастию, знал меня. Он спросил меня, зачем я пришел, и позволил мне итти к вчерашнему моему начальнику. Я нашел его в постели с совершенно покойным лицем. Жена и сестра и другия женщины, живущия в доме, сидели возле. Он очень мне обрадовался и рассказал о происшествиях, с ним случившихся.

«В час пополуночи, когда он еще не заснул, пришел к нему плац-майор с командой, объявил, что он арестован, но не сказал, по чьему повелению, позволил ему одеваться в столовой, окружив его солдатами с ружьями и с примкнутыми штыками. Зная переменчивый нрав государя, Обольянинов думал, что это все происходит по его повелению, несмотря на то, что только вечером в девять часов от него уехал, и государь был очень к нему милостив. Думая о том, чем он мог провиниться и вспоминая все то, что он говорил и делал, он не понимал причины такой сильной строгости. Когда он оделся и плац-майор приказал ему идти за ним, Обольянинов отдал ему свою шпагу, объявив, что, занимаясь государственными делами, у него есть бумаги, заключающие в себе тайну, запер при нем кабинет и ключи взял с собой. Его привели в ордонанс-гауз, где он лег на канапе и уснул...[2] Когда рассвело, ему объявили о кончине государя и дозво-

---

[1] Записки Д.Б.Мертваго, стр. 120 - 121.

[2] Коцебу пишет, что, когда Обольянинова повели в ордонанс-гауз, «дорогой он испытал несколько вполне заслуженных оскорблений».

лили возвратиться домой, где оставлен был один офицер для надзора».

16-го марта 1801 года последовал указ сенату: «Генерал-от-инфантерии Беклешова, уволенного от службы, приняв паки в оную, всемилостивейше повелеваем ему быть нашим генерал-прокурором».

Освобождение несчастных жертв тайной экспедиции, в которой роль инквизитора играл Обольянинов, было первым подвигом монарха, принявшего скипетр 12-го марта; несколько сот человек увидели свет Божий и были возвращены обществу. Петропавловская крепость в первый раз опустела вдруг — и надолго. Вместе с этим распоряжением приступлено было к обнародованию целого ряда правительственных мер, которыми Александр спешил исправить вред, нанесенный России мерами его родителя. Почти каждый день царский указ уничтожал какую-нибудь несправедливость, насилие, стеснение, произвол и открывал путь к свободной и плодотворной деятельности.

Один лишь неизбежный вахтпарад вступил в свои права 13-го марта, но без ужасающих последствий, повергавших ежедневно в трепет участников его в продолжение всего Павловского царствования. Император вышел к разводу в одиннадцать часов в сопровождении цесаревича Константина Павловича. «Ils étaient graves mais leur figure ne disait rien», — пишет очевидец Саблуков. С этого дня император Александр и великий князь Константин Павлович являлись ежедневно к разводу; государь казался несколько более обыкновенного робким и сдержанным; цесаревич же, избавленный от страха, наведенного на него родителем, был еще суетливее и шумливее, чем прежде.

Граф Пален, подойдя к Саблукову, сказал ему:

— Je vous ai craint plus que tonte la garnison.

— Et vous avez eu raison, — отвечал Саблуков.

Пален продолжал:

— «J'ai eu soin de vous faire renvoyer».

13-го марта в 12 часов императорское семейство впервые посетило Михайловский замок.[1] Император, обе импера-

---

[1] 12-го марта 1801 года учреждена была печальная комиссия, в которой повелено быть верховным маршалом обер-церемониймейстеру тайному советнику князю Юсупову, а членами — обер-церемониймейстеру графу Головкину, тайному советнику Карадыкину и действительному статскому советнику Чекалевскому. Комиссия должна была: «распорядить всю цере-

рицы и цесаревич ехали вместе в одной карете; за ней следовали кареты великой княгини и великих княжен. По приезде в замок, остановились у большого подъезда и проходили парадными покоями в почивальную комнату, где находилось тело императора Павла на обыкновенной кровати, которому воздав достодолжное поклонение, возвратились в Зимний дворец.

17-го марта тело императора Павла одето было в императорскую мантию и положено на парадную кровать, близ которой на небольшом столе, покрытом малиновым бархатом, на подушке лежала императорская золотая корона. В седьмом часу вечера, по прибытии их величеств и «учинении достодолжного поклона покойному императору, его величество взял со стола приготовленную корону и возложил на голову покойного императора». Затем, по окончании заупокойной литии, тело было перенесено генерал-адъютантами и флигель-адъютантами из почивальной в малую тронную залу почившего императора и выставлено на парапете. 20-го марта, в 7 часов вечера, тело покойного государя положено было в гроб и перенесено через парадные покои и большую тронную залу в военный зал на приготовленный там катафалк.

После перенесения тела императора Павла в малую тронную залу, народ допущен был в Михайловский замок для прощания. В первый же день посетили замок 11.118 человек; в одни из следующих дней эта цифра возросла до 19.000 человек.

Очевидец, Николай Иванович Греч, пишет: «Едва войдешь в дверь, указывали на другую с увещанием: извольте проходить. Я раз десять от нечего делать ходил в Михайловский замок и мог видеть только подошвы ботфортов императора и поля широкой шляпы, надвинутой ему на лоб».[1]

23-го марта, в Страстную субботу, тело императора Павла перевезено было из Михайловского замка в Петропавловский собор. Императрица Мария Федоровна сопровождала шествие «из комнат Михайловского замка зрением с наполненными горестных слез очами». Император Александр следовал за гробом пешком, имея на себе черную мантию и распущенную на голове шляпу с флером; за государем, несколько отступя, следовал цесаревич Константин Павлович с великой княгиней Анной Федоровной.

монию с подобающим государской особе уважением». Для расходов по комиссии определено было «на первый случай» отпустить 20.000 рублей.

[1] Н.И.Греч: Записки о моей жизни. — С.-Петербург, 1886. Стр.154. Так как Греч не говорит ничего о короне, то следовательно, нужно предположить, что он видел тело императора Павла, когда оно еще находилось опочивальне. В то время голова была действительно накрыта шляпой.

Процессия двинулась из Михайловского замка по Невскому проспекту, мимо Гостиного двора, через Исаакиевский и Тучков мосты в Петропавловскую крепость. Погребение Павла Петровича, пишет очевидец А.С.Шишков, отнюдь не походило на погребение Суворова. «Там видел я множество печальных и плачущих лиц; а здесь, идучи за гробом от Михайловского дворца (замка) через Тучков мост до крепости, из многих тысяч зрителей, во всю дорогу не видел я никого, кто бы проливал слезы. Казалось, все смотрели как бы на некое скорее увеселительное, нежели плачевное зрелище, до такой степени все чувствовали тягость его правительства».

По окончании отпевания, тело императора Павла опущено было в землю. Затем император Александр с великой княгиней Анной Федоровной возвратился в карете через Неву в Зимний дворец.

IX

Карамзин оставил в записке «О древней и новой России» правдивую и неподражаемую характеристику правления Павла, пронесшегося, по его словам, над Россией подобно грозному метеору.[1]

«Павел, — пишет Карамзин, — восшел на престол в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства; но что сделали якобинцы в отношении к республике, то Павел сделал в отношении к самодержавию: заставил ненавидеть злоупотребления оного. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных, претерпенных им неудовольствий, он хотел быть Иоанном IV, но россияне уже имели Екатерину II, знали, что государь не менее подданных должен выполнять свои святые обязанности, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низвергает народ с степени гражданственности в хаос частного естественного права. Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества; к неизъяснимому удивлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил

---

[1] По мнению современника, графа Александра Ивановича Рибопьера: «царствование Павла I походит на бурю, которая все сносит, все вырывает, все *уничтожает, все обезображивает, ничего не преобразуя*». («Русский Архив» 1877 года, книга 1-я, стр. 480).

без вины, награждал без заслуг, отнял стыд у казни, у награды — прелесть; унизил чины и ленты расточительностью в оных; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериной, и заменил его духом капральства. Героев, приученных к победам, учил маршировать, отвратил дворян от воинской службы; презирая душу, уважал шляпы и воротники; имея, как человек, природную склонность к благотворению, питался желчью зла; ежедневно вымышлял способы устрашать людей и сам всех более страшился; думал соорудить себе неприступный дворец и соорудил гробницу! Заметим черту, любопытную для наблюдателя: в сие царствование ужаса, по мнению иноземцев, Россия даже не боялась и мыслить: нет, говорили и смело, умолкали единственно от скуки и частого повторения, верили друг другу и не обманывались. Какой-то дух искреннего братства господствовал в столицах; общее бедствие сближало сердца, и великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности.[1] Вот действие Екатеринина человеколюбивого царствования: оно не могло быть истреблено в четыре года Павлова и доказывало, что мы были достойны иметь правительство мудрое, законное, основанное на справедливости.

«... Кто был несчастливее Павла? Слезы горести лились только в недрах его августейшего семейства; тужили еще некоторые им облагодетельствованные, но какие люди? Их сожаление не менее всеобщей радости долженствовало ос-

---

[1] Другой современник этой эпохи, Ф.Ф.Вигель, подтверждает мысль, высказанную здесь Карамзиным относительно общественного настроения. Он пишет, что еще при жизни Павла число недовольных было так велико, что, несмотря на деятельность тайных агентов, никто не опасался явно порицать и злословить его. «Употребляемые секретной полицией не могли иметь довольно времени, чтобы доносить на всех виноватых в нескромности; вероятно, они довольствовались мщением за личности; к тому же, они сами трепетали и ненавидели правительство, коему столь постыдно служили».

В таком же смысле высказывается и Н.И.Греч. «При всей тягости ига, которое лежало на России в царствование Павла, нельзя сказать, чтобы он умел заглушить голос общего мнения. Приверженцы его, приближенные, хвалили все дела его; оптимисты старались его извинять и оправдывать, ухватывались за всякое обстоятельство, самое ничтожное, чтобы возвысить его добродетели и прикрыть пороки, но большинство народа, масса, его ненавидела, и редко кто скрывал эти чувства». «Записки о моей жизни» Н.И.Греча. С.-Петербург, 1886. Стр. 125.

корбить душу Павлову, если она, по разлучении с телом, озаренная, наконец, светом истины, могла воззреть на землю и на Россию!»

В заключение своей характеристики Карамзин говорит, что россияне с величайшей надеждой устремили взор на внука Екатерины, давшего обет властвовать по ее сердцу.

Настало новое правление, продолжавшееся двадцать пять лет. Оно составляет как бы эпилог длинного ряда событий, связывающих 1741 года с 1825 годом; оно является вместе с тем моментом конечного искупления. Слова манифеста 1801 года, обещавшие управление по закону и по сердцу Екатерины, однако, не сбылись; ненависть ко всем делам и мыслям ее продолжала существовать, хотя и в сокровенной форме. Действительно, несмотря на новизну провозглашенных после 12-го марта идей и правительственных начал, преемственность Павловских преданий во многом уцелела; посеянное зло принесло плоды. Явился Аракчеев, а, сверх того, пагубная гатчинская военная система продолжала господствовать и даже совершенствоваться. Внешняя политика, за исключением эпизодических перерывов, также продолжала руководствоваться рыцарским бескорыстием, о котором мечтал некогда великий магистр державного ордена св. Иоанна Иерусалимского. Конечно, одно не подлежит ни малейшему сомнению: Екатерина никогда не занялась бы спасением Европы и водворением военных поселений! Ко всему этому присоединялись еще тяжелые воспоминания, связанные с 11-м марта, под бременем которых изнемогал император Александр в продолжение всей остальной своей жизни. В общей сложности, все эти печальные явления привели к 14-му декабря, а в далеком будущем — к крымскому погрому.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

МАНИФЕСТ О РОЖДЕНИИ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА

7-го октября 1754 года.

Объявляем во всенародное известие. Всемогущему Господу Богу благодарение, Наша вселюбезнейшая племянница ея императорское высочество великая княгиня Екатерина Алексеевна, от имевшаго бремени благополучно разрешение получила, и даровал Бог их императорским высочествам первороднаго сына, а нам внука Павла Петровича, что учинилось минувшаго сентября в 20-й день. Того для мы всемилостивейше повелеваем, онаго вселюбезнейшаго нашего внука во всех делах государства нашего, по приличеству до сего касающихся, писать его императорское высочество великий князь Павел Петрович; и о сем всевысочайшем определении публиковать во всем нашем государстве, дабы везде по сему исполняемо было неотменно; о чем сим и публикуется.[1]

II

ЗАПИСКА НИКИТЫ ИВАНОВИЧА ПАНИНА О ВОСПИТАНИИ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА, 1760 ГОДА

Всеподданнейшее предъявление слабаго понятия и мнения о воспитании его императорскаго высочества государя великаго князя Павла Петровича.

---

[1] Несколько ранее, а именно 30-го сентября 1754 года, последовал именной указ императрицы Елисаветы Петровны синоду, о возношении великаго князя Павла Петровича на ектениях: «Мы при должном благодарении Господу Богу за благополучное разрешение от бремени нашей племянницы, ея императорскаго высочества великой княгини, и дарование их императорским высочествам первороднаго сына, а нам внука Павла Петровича, что учинилось в двадцатый день сего месяца, — определили: имя его вознести во всех церковных служениях по нашем и их императорским высочествам именах, благоверным государем великим князем Павлом Петровичем и сие наше определение повелеваем публиковать во всех церквах нашего государства, дабы везде по сему исполняемо было неотменно».

Если-б благоразумие позволяло, или бы, по крайней мере, снести могло, принять единым общим правилом, не всегда и редко случающияся в свете происшествия, тоб совершенно излишним было всякое дальнейшее уважение о сем драгоценном воспитании: ибо нигде и никогда заимство освященной крови и примеры великих предков надежнейшаго к общему благополучию плода обещать не могут, каков теперь ожидают своим потомкам российския дети и с ними соединенное множество разных народов.

От самаго рождения его императорскаго высочества продолжаемое материнское об нем попечение нашей мудрой монархини доказывает собственное монаршеское призвание долга ея природнаго милосердия к отечеству, чтоб благосостояние наших потомков просто не отважить прямое разумение на учении самого Спасителя нашего о человеческих стараниях точно исполнить, и так ежели возможно сказать, быть органом посредства тому благополучию, которое Он, Всемогущий, восхотел утвердить и обнадежить российским потомкам под правосудным скипетром ея императорскаго величества, при возобновлении освященнаго племени российскаго отца и восстановителя.

Из сего монаршескаго намерения видится заключить возможно, что при беспрестанных к Богу молитвах от верных подданных, о произведении того, еже ея императорское величество насаждать соизволяет для общаго блага, теперь наиглавнейше потребно , чтоб человеческим старанием приуготовить нежную душу и сердце его императорскаго высочества, ко времени созрения его рассудка: тогда тем с большею чувствительностию изображаться будут в дарованном ему от Бога понятии, как примеры великих дел его освященных предков, так и те беспосредственныя обучения, коими он всечасно научаться будет в царствование нашей всемилостивейшей государыни, какое сердце, нрав и чувствительность благой монарх имеет, какия средства он употребляет к воздвижению себе престола на сердцах своих подданных! А из таких примеров и обучений он сам в своем чувствии откроет духовный и естественный закон, которой Бог беспосредственно предписал откровением священнаго писания, и в здравой совести своим избранным помазанным, яко Его во плоти наместникам, о попечении народнаго благосостояния в сей временной жизни. Из чего познает его императорское высочество, что нет народу наивящшей от Бога милости, как поданием ему государя боголюбиваго,

правосуднаго и милосердаго, следовательно он так, как любезнейшие отечеству его предки, сам же признает обязуемой его пред отечеством долг и то, что он вышним промыслом произведен в свет в радость своей человеколюбивой государыни, и к обнадеживанию насаждаемаго ея материнскою рукою благополучия, до наиотдаленнейших времен Российской империи.

Одним словом сказать, ничто достаточнее изобразить не может в чувствительности воспитываемаго, как монаршеския принципии, правила и дела ея императорскаго величества: что добрый государь не имеет и не может иметь ни истиннаго интереса, ниже истинной славы разделенными от пользы и благосостояния ему Божеским призрением подданных народов, которые устрояют ему жертвенники в сердцах своих.

Но дабы здесь представленные и столь много отечеству обещающие способы произвели полное свое действо, я, к тому достаточнейшее предоставляя мнениям искуснейших, сам думаю по крайним силам моего смысла, что тот, кому ея величество сие драгоценное воспитание поручить всевысочайше соизволяет, должен с крайнейшим прилежанием, и, так сказать, равно с попечением о сохранении здоровья его императорскаго высочества, неусыпно стараться, предостерегать и не допускать ни делом, ни словами ничего такого, ежеб хотя мало могло развратить те душевныя способности к добродетелям, с которыми человек на свет происходит; а, напротив, пристойными к тому средствами, оныя так распространять, чтобы еще в детских хотениях у его императорскаго высочества нечувствительно произросла склонность и желание подражать добру и честности, претительность же к делам, худым и честность повреждающим. Можно достигнуть до сего намерения порядочными по состоянию лет обучениями, наставлениями и исправлением, когда только дневное время, да и самыя забавы его высочества так обращены будут, чтобы из каждой вещи ему происходило или что к добру наставляющее, или хотя бы единственно что от худа отвращало.

Три главныя и начальныя человеческия добродетели, о которых здесь упомянуть должно, суть: чувствительное познание своего Творца; Его святое намерение в создании нас, и нашей за то Ему посвященной должности. Первое происходит тогда когда уже наполнится сердце любовию и повиновением к Нему и ко власти, от Него поставленной;

второе — от сердечнаго желания о точном исполнении своего звания, для которых на свет производимся; третье от ревности и попечения — учинить себя способным к исполнению долга того звания. Простое человеческое бытие воображает понятию первыя начертания сих трех правил жизни; наше же православное христианство просвещает оныя и отворяет в сердце к добру дорогу. Почему обучения закона есть несумненно наиважнейший пункт добраго воспитания, — следовательно, избранной к тому наставник должен иметь речь внятную и ласковую, душу прямую и бескорыстную, рассудок здравый, и был бы чужд всякаго предуверения и суеверства, вещь, свойственная одним ложным законам, разорительная же нашему благочестию, где вера с добрыми делами неразрывно сопряжена. И так, по моему слабому понятию, в настоящем нежном детстве его императорскаго высочества, должно наипаче поспешествовать плодам научения закона, ограждением его добрыми нравами, нравоучительным просвещением в нем произрастающих мыслей и рассуждений, к чему особливо математическия понятия полезны: ибо они, очищая рассудок, больше приучают к основанию правды, нежели все другия основания разума. Но дабы не уважаемою поспешностию не изнурить, или и не отяготить нежные органы его императорскаго высочества: то надлежит все умеривать его летами и оказывающимися сорожденными способностями, так чтобы в начале все обучения не прямою наукою, но больше наставлениями производимы были. Тоже разумеется и о всех других, как о нужных, так и о украшающих разум любопытных науках и знаниях. Между первыми, где гистория, будучи по справедливости почитаема лучшим руководством для тех, кои рождены к общему благополучию, и потому она достойна особливаго места в сем воспитании и начаться должна без упущения времени нарочными краткими и внятными сочинениями — предпочтительно о своем отечестве.

Что касается о добром научении собственнаго нашего языка, хотя бы Россия еще и не имела Ломоносовых и Сумароковых, тоб, при обучении закона, чтение и одной древняго писания псалтири уже отчасти оное исполнило. Притом сначала малыя и легкия письменныя экзерциции мыслей и рассуждений его императорскаго высочества тому же поспешествовать будут, а имеющие честь быть к нему приставленными должны прилежно наблюдать, чтоб его

высочество не привыкал к употреблению подлых наречений и слов, нижеб поносныя и язвительныя из уст его выходили.

Нашего времени обычай и множество изрядных книг учинили в Европе общим французский язык; немецкий же в России надобен в рассуждении соседства завоеванных провинций; но и тому и другому, яко живым языкам, возможно в детстве обучать больше наслышкою разговоров, дабы без нужды не тратить дорогое время воспитания. А когда лета дойдут до той зрелости, где без отягощения понятия научению грамматических правил способны будут, тогда его высочество найдется в состоянии сам себя поправлять в тех погрешностях, кои почти завсегда в разговорах попадаются.

Кавалерския экзерциции также по мере возраста употребляемы быть должны, по натуральной же веселаго дитяти склонности к невинным забавам, танцам и рисовальному художеству надо дать первенство.

Во время, когда его императорское высочество достигнет помощию Божиею тех лет, в которыя всем пристойным наукам сам обучаться изволит в обыкновенном порядке, тогда будет весьма полезно учинить особливое рассуждение, каким способнейшим образом приступить к прямой государственной науке, то-есть: к познанию коммерции, казенных дел, политики внутренней и внешней, войны морской и сухопутной, учреждений мануфактур и фабрик и прочих частей, составляющих правление государства его, силу и славу монаршу.

Между тем, к достижению сего совершенства добраго воспитания, нужно есть особливое старание возбуждать всякими мерами в его императорском высочестве полезныя к тому склонности и вкус, к чему, между прочими средствами, мнится быть и то не бесполезно, когда б определена была некоторая годовая малая сумма на собственное его высочеству собрание книг, математических и физических инструментов, ружья, кунферштихов, картин и прочих кабинетов, еже все, собирая помаленьку пред его очами, может нечувствительно подать ему охоту, любовь и любопытство вообще ко всем наукам и художествам. Из той же суммы не худо платить и тем учителям, кои по часам для подания уроков призываны будут; сего звания люди от своего искусства имеют промысел, а достаточная и добровольная заплата поощряет более, нежели другие способы, их смысл и при-

лежание, от чего будет большая польза его императорскому высочеству.

Всеподданнейшая ревность и усердие не дозволяют ничего оставить на совести и, преодолев рабскую несмелость, заставляют при заключении сего росписания всенижайше представить, как малое мое понятие мне воображает, что сходственнее быть может с мудрым ея императорскаго величества намерением о воспитании государя великаго князя, если всякое излишество, великолепие и роскошь, искушающия молодость, от него отдалены и не инако ему представляться будут, как надеждою будущаго награждения в тех летах, когда воспитание окончится, за усердное соответствование в том всевысочайшей воли и желанию ея императорскаго величества; комнату же его высочества или двор сочинить так, чтоб сравненно с его природным достоинством чин, благопристойность и добронравие были всему украшением. Время ласкателям довольно вперед остается; но нет ничего излишняго в летах воспитания для тех, кои верою и должностию обязаны будут пещись о добродетелях и предостерегать пороки. В рассуждении чего главнейшая надобность в том состоит, чтоб определяемые в услугу его императорскаго высочества кавалеры были все благородных сентиментов, добрых нравов и обычаев; но как сии два последния качества редко прямо отрыты в общем обращении служб и знакомств: ибо их действо больше в своих семьях и между домашними, нежели на общем театре, того ради полезнее б было для его высочества, если бы на первое время никаких рангов к тем должностям присвоено не было, но довольно определить достаточное к тому жалование; а избранные к сей службе могут сохранить те места, из которых возмутся, и тем не меньше получат отличность входа в кавалерские покои ея императорскаго величества, когда они и просто называться станут кавалерами его высочества.

Существо такого важнаго и деликатнаго дела требовало б и особливаго плана с точным содержанием персоны его императорскаго высочества, с расписанием при нем служб, с распоряжением по часам его времени, учения и забав, с избранием наук и для них учителей. Но сему основанием должно быть всевысочайшее о сем намерение ея императорскаго высочества в той инструкции, коя дана будет определенному главным к воспитанию. При чем и то достойно уважения, что разность сложений воспитаемых, и происходимая почти беспрестанно по детским склонностям и летам

в них перемена едва ли когда ни есть могут дозволить точное исполнение такова единожды предписаннаго плана, хотя б оной таким человеком сочинен был, который уже и прежде сам знал сложение воспитаемаго и весь тот порядок, в котором он воспитывается. И так для исправнаго исполнения всевысочайшаго материнскаго намерения ея императорскаго величества лучший и кратчайший способ есть всемилостивейшее дозволение к себе доступи со всеподданнейшими докладами и представлениями, ежели по обстоятельствам времени и случаев, когда что по силе инструкции исправить или переменить должно. Я же, приступая к такой великой вещи, объять вернаго раба ревностию, усердием и трепетом, к недостаткам натуральной способности и искусства, сим больше испытываю себя собственно, нежели с надежностию о себе исполняю мне высокое повеление. Повиновение воли монаршей есть мой первый закон и счастлив буду, еслиб не только труды, верность, рачение и прилежание, но хотя б и живот мог то заменить и наградить, чего исполнить не найдусь в состоянии.

III

ИНСТУКЦИЯ ОБЕРГОФМЕЙСТЕРУ ПРИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМ ВЫСОЧЕСТВЕ ГОСУДАРЕ ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ ПАВЛЕ ПЕТРОВИЧЕ ГОСПОДИНУ ГЕНЕРАЛ-ПОРУТЧИКУ, КАМЕРГЕРУ И КАВАЛЕРУ НИКИТЕ ИВАНОВИЧУ ПАНИНУ

По известной вашей верности и любви к отечеству избрали мы вас к воспитанию любезнейшаго нашего внука, его императорскаго высочества великаго князя Павла Петровича; а по поданному от вас о том мнению, уверясь вяще о способности вашей к сему важному делу, определили мы вас обергофмейстером при его высочестве и совершенно поручили его воспитание попечению вашему. Апробуя помянутое мнение ваше, заблагорассудили мы, для надежнаго учреждения поступка вашего, объявить вам чрез сие вкратце соизволение наше.

1) Познание Бога да будет первый долг и основание всему наставлению. Совершенным удостоверением о сей предвечной истине надлежит со младых лет очистить чувства его высочества, утвердить в нежном его сердце прямое благочестие и прочия должности, коими он обязан самому себе,

нам, своим родителям, отечеству и всему роду человеческому вообще.

2) Добронравие, снисходительное и добродетельное сердце паче всего нужны человеку, котораго Бог возвышает для управления другими, ничем же больше не возбуждаются сии внутренния чувствия, как воспоминанием равенства, в котором мы по человечеству пред Создателем нашим состоим. Сие есть истинный источник, из котораго изливаются человеколюбие, милосердие, кротость, правосудие и прочия добродетели, обществу полезныя. Мы повелеваем вам оное полагать главным началом нравоучению его высочества и беспрестанно ему о том толковать, дабы при всяком взоре на различныя состояния, в которых человек бывает, обращаясь мыслию к сему началу, его высочество побуждаем был к помянутым добродетелям, к благодарению Всевышняго за милосердый об нем промысел и к учинению себя звания своего достойным.

3) На сем основании не токмо не возбраняем, но паче хощем, чтобы всякаго звания, чина и достоинства люди добраго состояния, по усмотрению вашему допущены были до его высочества, дабы он чрез частое с ними обхождение и разговоры узнал разныя их состояния и нужды, различныя людския мнения и способности, также научился бы отличать добродетель и принимать каждаго по его чину и достоинству.

4) Примеры больше всего утверждают склонности и обычаи в человеке. Мы уверены, что вы дадите собою образ мужа добронравнаго, честнаго и добродетельнаго; но того не довольно: повелеваем вам имянно крайне наблюдать, чтобы никто в присутствии его высочества не дерзал противно тому поступать, не токмо делом, но ниже словами. А если бы кто либо от безрассуднаго дерзновения в том забылся или же от подлой трусости особливо стал несправедливыми похвалами, ласкательством, непристойными шутками и тому подобными забавами его высочеству угождать, хотя мы того и не чаем: таковых, сверх собственнаго вашего примера, должны вы пристойно остеречь, а иногда и не обинуясь, без всякаго лицеприятия, отговорить. Таким образом приводим мы вас в состояние удалять от его высочества пагубных ласкателей и отвращать все то, что может подать повод к повреждению нрава.

5) Желая, чтоб его высочество исполнен был, если можно, равныя любви к отечеству, какову мы к оному сохраняем, поручаем мы оное имянно особливому попечению вашему, яко главный вид и намерение в воспитании его высочества и яко существительной долг, коим он ему обязан. А как человек любит вещь, когда он знает ея достоинство и дорожит оною, когда видит, что польза его состоит в сохранении оной; то надлежит предпочтительно пред другими науками подать его высочеству совершенное знание об России, показать ему с одной стороны из дел прошедших и нынешних, особливо родителя нашего времян, изящные качества Российскаго народа, неустрашимое его мужество в войне, непоколебимую его верность и усердие к отечеству, а с другой стороны плодородие и почти во всем изобилие пространных Российских земель, и, наконец, надежные отечества нашего достатки и сокровища, кои оно в недрах своих сохраняет, так что нет нужды думать о награждении каких либо недостатков постороннею помощью, а толь меньше вымышленными человеческою хитростию способами, но когда только употреблен будет небольшой труд и прилежание, то сверх того продовольствования можно еще избытками помогать другим народам. Показав же все сие, истолковать притом его высочеству неразрешимыя обязательства, коими жребий его на веки соединен с жребием России, и что слава его и благополучие зависят единственно от благосостояния и знатности его отечества.

Такия преимущества Российскаго народа и выгоды земель, которыя он обитает, приобрели от всех народов почтение и знатность отечеству нашему, а у них возбуждают тем и зависть; в его же высочестве, который по рождению и званию своему столь сильно ему обязан, должны они возбудить крайнюю к оному любовь и рачение.

Для лучшаго достижения сего важнаго вида повелеваем нашему сенату, чтоб он и все присутственныя места, каждое по своему ведомству, сообщали вам по требованиям вашим надлежащия к тому известия.

6) Что касается до наук и знаний вообще, то признаваем мы излишно распространяться здесь подробным оных оглавлением. Надеемся, что вы, по долговременному вашему обращению в делах политических, сами знаете, которыя из оных его высочеству пристойны и нужны в рассуждении его рождения и звания. Потому как в том, так и в порядке, коим оныя преподавать должно, полагаемся на благоразумное и дознанное ваше искусство, будучи уверены, что вы в том ничего не упустите.

7) Впрочем имеете вы сочинить штат, сколько каких чинов и других нижних служителей для комнаты его высочества, по рассуждению вашему, надобно, и подать оной на апробацию нашу, означа притом потребную на содержание прочаго сумму, которую мы определить намерены.

8) Все, кои комнату его высочества составлять будут, имеют состоять под единым вашим ведомством, и мы милостивно вам напоминаем, чтоб между всеми было надлежащее по месту благочиние, согласие, почтение друг другу и послушание одного другому, по чину своему и должности: ибо и наблюдаемый в том благоучрежденный порядок имеет служить его высочеству добрым примером, а вам в облегчение трудов и к избежанию напрасных неприятных забот, беспорядком умножаемых.

9) Дабы не было вам никакого препятствия в исправлении с успехом сего, положеннаго на вас, важнаго государственнаго дела, в котором вы одни Богу, нам и государству отчет дать должны: то имянное соизволение наше есть такое, чтоб никто в оное не мешался, а имеете вы зависеть единственно от имянных наших повелений, следовательно, во всех случаях, если что в дополнение сей инструкции потребно будет, доносить и докладывать нам самим.

По такой великой доверенности и власти, с каковыми мы вас при его высочестве учреждаем, надеемся мы взаимно, что вы усугубите ревность и труды ваши, дабы представить его высочество во свете человеком Богу угодным, нашей и родителей его любви достойным, людям приятным и отечеству полезным, на что ниспосли, Боже, милость Свою и благословение.

Сочинен в Петергофе.
Июня 24-го 1761 г.

IV

ИЗ НЕИЗДАННЫХ СОБСТВЕННОРУЧНЫХ ЗАПИСОК ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

(1762 год)

Кончина императрицы Елисаветы повергла в уныние всех русских, но в особенности всех добрых патриотов, потому что в ея преемнике видели государя с необузданным

характером, ограниченным умом, ненавидящаго и презирающаго русских, совершенно не знающаго своей страны, неспособнаго сосредоточиться, скупого и мота, исключительно преданнаго своим прихотям и прихотям тех, которые рабски льстили ему. Как только власть перешла в его руки, он предоставил дела двум или трем фаворитам и предался всевозможному распутству. Он начал тем, что отнял земли у духовенства, ввел множество довольно таки бесполезных новшеств, главным образом, в войсках; он презирал законы, одним словом, правосудие сделалось предметом торга. Недовольство проникло всюду, и дурное мнение, которое составилось о нем, привело в тому, что объясняли в дурную сторону то немногое полезное, которое он сделал. Его более или менее определившимся проектами были следующие: начать войну с Данией из-за Шлезвига, переменить вероисповедание, разойтись со своею женою, жениться на своей любовнице, вступить в союз с королем прусским, котораго он называл своим повелителем и которому, как он утверждал, он принес клятву в верности; он хотел предоставить ему часть своих войск; он не скрывал почти ни одного из своих проектов.

Со времени кончины императрицы, ея тетки, императрице Екатерине делались тайком различныя предложения, но она никогда не хотела слушать их, постоянно надеясь, что время и обстоятельства изменят что либо в ея несчастном положении, тем более, что она знала с полной уверенностью, что в конце концов, принимая во внимание ея личность, никоим образом не могут коснуться ея положения, не подвергаясь величайшей опасности. Народ был привязан к ней и смотрел на нее, как на свою единственную надежду. Образовались различныя партии, думавшия о средствах помочь горю своего отечества; каждая из этих партий обращалась к ней в отдельности, и одне из них совершенно не знали других. Она выслушивала их, не отнимала от них всей надежды, но неизменно просила их подождать, полагая, что дело не дойдет до крайности, и признавая всякую перемену подобнаго рода, как несчастье. Она смотрела на свои обязанности и на свою репутацию, как на сильный оплот против честолюбия. Сама опасность, которой она подвергалась, придавала ей новый блеск, и она сознавала все значение его. Петр III напоминал мушку, не сходящую с очень красиваго лица. Поведение Екатерины по отношению к нации всегда было безупречно; она постоянно думала, желала и хотела

лишь счастья этого народа, и вся ея жизнь будет употреблена только на то, чтобы доставить русским пользу и благоденствие.

Видя, однако, что положение вещей все ухудшается, императрица дала знать различным партиям, что пора соединиться и подумать о средствах, чему чудесно помогла обида, публично нанесенная ей ея супругом. Вследствие этого порешили, что как только он вернется с дачи, его арестуют в его спальне и объявят его неспособным царствовать. Голова у него, действительно, пошла кругом, и, бесспорно, во всей империи у него не было более сильнаго врага, чем он сам. Все не были одинакаваго мнения: одни желали, чтобы это совершилось в пользу его сына, другие — в пользу его жены.

За три дня до намеченнаго времени нескромныя речи одного солдата привели к аресту капитана Пассека, одного из главных участников тайны. Прежде всего приступили к действиям три брата Орловых, старший из которых был капитаном артиллерии. Гетман, тайный советник Панин говорили им, что это слишком рано, но они, по собственному побуждению, отправили своего второго брата в карете в Петергоф, чтобы привести императрицу, разбудить которую Алексей Орлов явился в шесть часов утра 28-го июня стараго стиля. Как только она узнала, что Пассек арестован, и что в видах собственной своей безопасности нельзя терять более времени, она встала и поехала в город, при въезде в который была встречена старшим Орловым и князем Барятинским, отправившимися вместе с нею в казармы Измайловскаго полка, где, при ея прибытии, было только 12 человек и один унтер-офицер, и все казалось спокойным. Все солдаты были предупреждены, но находились у себя, и, когда они собрались, провозгласили ее самодержавной императрицей. Радость солдат и народа была неописуемая. Оттуда ее повезли в Семеновский полк; семеновцы вышли на встречу к ней, прыгая и крича от радости. Сопровождаемая таким образом, она отправилась в Казанскую церковь, куда, с проявлением бурной радости, явились конногвардейцы. Пришла гренадерская рота Преображенскаго полка; эти извинялись, что явились последними, говоря, что их офицеры хотели помешать им отправиться, что иначе, конечно, они были бы из первых. После них прибыла артиллерия и ея фельдцейхмейстер Вильбоа.

Таким образом сопровождаемая восклицаниями бесчисленной толпы, императрица прибыла в Зимний дворец, где собрались Синод, Сенат и все сановники. Составили манифест и форму клятвеннаго обещания, и все признали ее самодержавной императрицей. Императрица собрала нечто в роде совета, составленнаго из гетмана, тайнаго советника Панина, князя Волконскаго, генерал-фельдцейхмейстера и нескольких других, на котором было решено отправиться с четырьмя гвардейскими полками, кирасирским полком, четырьмя полками пехоты в Петергоф, чтобы захватить Петра III. На этом совещании князь Волконский высказал, что жаль, что нет совершенно легкой кавалерии; едва только он успел произнести эти слова, как его вызвал один офицер и сообщил, что полк гусаров только что вступил в предместье.

Во время этого совещания прибыл от имени низложеннаго императора канцлер граф Воронцов, чтобы высказать императрице упреки за ея бегство и потребовать от нея объяснений этого. Она приказала впустить его и, когда он очень серьезно изложил в подробности причины своей миссии, она сказала ему, что уведомит его о своем ответе. Он вышел, а в следующей комнате все советовали ему отправиться принести новую присягу в верности. Он возразил, что для того, чтобы очистить свою совесть, он желает написать письмо, чтобы уведомить о результатах своей миссии, а что затем он присягнет, что и было разрешено ему. После него приехали князь Трубецкой и фельдмаршал Александр Шувалов. Они были посланы для того, чтобы удержать два первых гвардейских полка, шефами которых они были, и чтобы убить императрицу. Они бросились к ея ногам и передали ей о возложенном на них поручении, после чего отправились принести присягу.

Когда все это было кончено, оставили великаго князя и несколько отрядов, под ведением сената, для охраны города, а императрица верхом, во главе полков, в мундире, полковником которых она объявила себя, выступила из города. Шли всю ночь и утром прибыли к небольшому монастырю в двух верстах от Петергофа, куда князь Голицын, вице-канцлер, доставил письмо от бывшаго императора к императрице, а несколько времени спустя явился с подобным же поручением генерал Измайлов. Вот что подало повод к этому.

28-го числа император должен был приехать обедать из Ораниенбаума, где он жил, в Петергоф. Как только он узнал, что императрица уехала из Петергофа, он встревожился и послал в город различных лиц; но так как все дороги у столицы, по распоряжению императрицы, охранялись, то никто из них не вернулся. Он знал, что два полка находились в тридцати верстах от города; он послал привести их для своей защиты, но эти полки отправились примкнуть к императрице. При подобном положении дела старый фельдмаршал Миних, генерал Измайлов и несколько других лиц советовали ему взять с собою человек двенадцать и отправиться с ними или к армии, или же броситься в Кронштадт. Женщины, которых было около него, по крайней мере, тридцать, отсоветовали ему это, указывая на опасности. Он послушался их и послал в Кронштадт генерала Девьера, котораго адмирал Талызин, посланный императрицей, обезоружил по его прибытии, о чем император не имел ни малейших сведений. Но, протянув со своей нерешительностью до вечера, он наконец решился сесть с дамами и остатками своего двора на галеру и две яхты и отправиться в Кронштадт, по прибытии куда он потребовал, чтобы его впустили; но офицер, дежуривший на бастионе у входа в порт, отказал в этом, хотя в действительности пороха не было, пригрозил стрелять по галере этого принца; услышав это, последний приказал повернуть обратно и направился высадиться в Ораниенбауме, где он лег спать и откуда, на следующий день, написал упомянутыя выше два письма, в первом из которых он выражал желание возвратиться в Голштинию вместе со своей любовницей и своими фаворитами, а во втором предлагал отказаться от империи, прося лишь о сохранении жизни. А между тем у него было при себе 1.500 вооруженных человек голштинскаго войска, более 100 пушек и несколько русских отрядов. Императрица послала обратно генерала Измайлова[1] с письмом, чтобы полу-

1 Измайлов, приехав к императрице, бросился к ея ногам и сказал: «признаете ли вы меня честным человеком?» Она сказала: «да». «Тогда, — возразил он, — считайте меня вашим. Если вы доверитесь мне, я хочу предохранить мое отечество от большого пролития крови. Чувствуешь удовольствие от нахождения в обществе умных людей. Я даю вам слово, что если вы отошлете меня, я один доставлю вам Петра сюда». Это он и выполнил. *Примечание Екатерины.*

чить это отречение. Петр III с полной свободой написал этот акт, а затем с генералом Измайловым, своей любовницей и своим фаворитом Гудовичем приехал в Петергоф, где, чтобы предохранить его от возможности быть растерзанным солдатами, к нему приставили верную охрану с четырьмя офицерами под командой Алексея Орлова. Пока подготовляли его отъезд в Ропшу, загородный дворец, очень приятный и нисколько не укрепленный, солдаты стали роптать и говорить, что прошло целых три часа, как они не видели императрицы; что, повидимому, князь Трубецкой примиряет ее с ея супругом; что нужно предостеречь ее, чтобы она не доверялась этому; что, без всяких сомнений, ее обманули бы, погубили бы, а вместе с нею и их. Как только Екатерине стало известно об этих речах, она направилась к князю Трубецкому и сказала ему сесть в карету и отправиться в город, пока она пешком будет обходить войска. Как только они увидели ее, возобновились крики радости и веселья.

Петра III отправили в предназначенное для него место.

При наступлении ночи, императрице посоветовали возвратиться в город, потому что в течение двух суток она не спала и почти ничего не ела; но войска просили не покидать их, на что она с удовольствием согласилась, видя их в высшей степени восторженное отношение к ней. На полдороге три часа отдыхали, и в 10 часов утра, 30-го июля стараго стиля 1762 года, императрица верхом, во главе войск и артиллерии, совершила свой въезд в Петербург при невыразимо радостных кликах бесчисленной толпы народа. Никогда нельзя было бы представить себе более чуднаго зрелища. Ей предшествовал ея двор, а войска украсили дубовыми ветками свои шапки и шляпы (последния они держали в руках; они затоптали ногами все новыя одеяния, данныя им Петром III).

Таким образом, триумфально, она прибыла к Летнему дворцу, где собралось и ожидало ее все, что было в столице выдающагося и лучшаго. Великий князь вышел к ней на встречу до середины двора. Как только она увидела его, императрица сошла с лошади и обняла его. Клики не прекращались. Пошли в церковь, где, при громе орудий, был отслужен молебен. Весь день крики радости не переставали раздаваться среди народа, и никаких беспорядков не было.

Когда императрица легла спать, и едва она уснула, как капитан Пассек пришел разбудить ее, прося ее встать, потому что усталость, бессонныя ночи и вино разгорячили умы сильнее обыкновеннаго, любовь к ея особе возбудила в Измайловском полку опасения относительно ея безопасности, и измайловцы попросту двинулись в поход, чтобы прийти защитить ее. Когда явились сказать им, что опасаться нечего, и что она спит, они возразили, что в этом отношении могут и должны верить лишь своим собственным глазам. Императрица встала в два часа ночи и вышла к ним. Как только они увидели ее, раздались крики радости; но она серьезным тоном сказала им отправиться ложиться, дать ей возможность спать и верить своим офицерам, повиноваться которым она настойчиво советовала им; они обещали ей это, извинились и делая упреки друг другу за то, что дали убедить себя разбудить ее. Таким образом, они очень спокойно направились домой, часто поворачивая назад головы, чтобы как можно дольше видеть ее, так как в Петербурге летом почти не бывает ночей.

В следующие два дня беспрерывно раздавались крики радости, но не было ни крайностей, ни беспорядков, — в высшей степени необычайное явление при столь сильных волнениях.

Несколько недель спустя, тревога за особу императрицы снова овладела войсками, и несколько вечеров они собирались, чтобы помочь ей или увидеть ее. Тогда она подписала приказ о том, чтобы они не собирались более, уверяя их, что она сама стоит на страже своей безопасности, и что у нея совершенно нет врагов.

По поводу этого приказа они говорили между собою: «должно думать, оно действительно верно, потому что она не враг самой себе, чтоб считать себя в безопасности, если бы это было не так». С этого времени везде водворилось полнейшее спокойствие.

V

ОТДЕЛЬНЫЯ ЗАМЕТКИ ЕКАТЕРИНЫ II О СОБЫТИЯХ 1762 ГОДА

Камергер Пассек часто говорил о Петре III, что этот государь не имел злейшаго врага, чем он сам, потому что он не пренебрегал ничем, что могло повредить ему.

Шталмейстер Нарышкин, фаворит этого государя, говорил при его жизни: «это — царство безумия; все наше время проходит за едой, вином и деланием сумасбродств».

Часто случалось, что этот государь отправлялся смотреть на смену караула, и там он бил солдат или зрителей или же совершал сумасбродства, и часто это происходило в присутствии несметной толпы народа.

В день празднования заключения мира камергер Строганов получил приказание совершенно не выходить из дома, потому что он выказал участие к императрице, которой император публично нанес тяжелое оскорбление. Эта мера произвела сильнейшее впечатление на все умы, расположенные, к тому же, к этой государыне и крайне ожесточенные дурным поведением, несдержанным характером и ненавистью Петра III к русскому народу, которую даже он не давал себе труда скрывать. Это брожение, беспрерывно усиливаясь, продолжалось до 27 июня. Намерения Петра III не составляли более тайны. Они состояли в том, чтобы вывести гвардейские полки и ввести в город голштинския войска, заточить императрицу (приказания арестовать ее уже были даны один раз и затем отменены), жениться на своей любовнице, графине Воронцовой, переменить религию и произвести массу других перемен, столь же мало продуманных. 27-го числа вечером был арестован капитан Преображенскаго полка, по фамилии Пассек; весь полк был встревожен этим происшествием, так как было известно, что он расположен в пользу императрицы, и что поэтому-то его и арестовали. Все те, которые были проникнуты столь же хорошими намерениями, во главе которых находились трое братьев Орловых, старший из которых был капитаном артиллерии, сразу поняли опасность, которой подвергалась государыня, если вещи останутся в таком положении. Часть ночи они употребили на то, чтобы предупредить гетмана, князя Волконскаго, тайнаго советника Панина, а под утро капитан Алексей Орлов отправился в Петергоф, чтобы предупредить императрицу об опасностях, которым она подвергалась, и чтобы доставить ее в город, так как они были уверены, что достаточно ей показаться, чтобы склонить всех в свою пользу. В шесть часов утра вышеназванный офицер прямо вошел в ея спальню и попросил ее встать и спасти отечество, спасая самое себя. После некоторых возражений императрица встала и села в карету, приготовленную для этой цели, в сопровождении трех офицеров и русских горничной и

камердинера. Таким-то образом она приехала в казармы Измайловскаго полка, где все, повидимому, пребывало в величайшем спокойствии, так как там находилось только двенадцать человек и унтер-офицер с барабанщиком, который тотчас же принялся бить тревогу. Через три минуты вокруг императрицы собрались офицеры и солдаты, после чего ее попросили сесть в карету. Она села в нее с гетманом и отправилась в Семеновский полк, где была принята с кликами невыразимой радости. Оттуда она поехала в Казанскую церковь, где Конный полк выехал к ней не встречу с проявлением по истине бешеной радости; народ повторял крики, и все были в слезах и благодарили небо за свое освобождение. Оттуда она отправилась в Зимний дворец, где собрались сенат и синод. Там она приказала составить манифест, и была принесена присяга, а затем было собрано совещание, на котором было решено двинуться в Петергоф. Императрица надела гвардейский мундир и во главе 14.000 человек выступила из города.

Вот в чем заключается участие, которое принимала в этом событии княгиня Дашкова. Она была младшей сестрой любовницы Петра III и 19 лет от роду, более красивая, чем ея сестра, бывшая очень безобразной. Если между их лицами не было никакого сходства, то из умы разнились еще более. Младшая с большим умом соединяла большой разум. Много стараний и чтения, много предупредительности по отношению к Екатерине привязали ее к ней сердцем, душею и умом. Так как она нисколько не скрывала этой привязанности и думала, что судьба России соединена с личностью этой государыни, то поэтому она повсюду говорила о своих чувствах, что ей несказано вредило у ея сестры и даже у Петра III. Вследствие подобнаго поведения, котораго она нисколько не скрывала, несколько офицеров, не имея возможности говорить с Екатериною, обращались к княгине Дашковой, чтобы уверить императрицу в их преданности; но все это произошло долгое время спустя после предложений Орлова, и даже речи и происки последних побудили первых — не знавших о прямых путях, которыми располагали Орловы — войти в сношение с императрицей через посредство княгини Дашковой, считая последнюю более близкой к ней. Екатерина никогда не называла княгине Орловых, чтобы отнюдь не рисковать их именами, так как большое рвение княгини и ея юный возраст заставляли опасаться, чтобы среди массы ея знакомых не нашелся

кто-либо, который неожиданно не выдал бы всего. В конце концов императрица посоветовала Орловым познакомиться с княгиней, чтобы получить большую возможность сойтись с упомянутыми выше офицерами и посмотреть, какую пользу они могли бы извлечь из них, потому что, как бы хорошо ни были настроены эти офицеры, по признанию самой княгини Дашковой, они были менее решившимися, чем Орловы, с намерениями соединявшие и средства выполнения. К тому же, вся смелость княгини Дашковой (и, действительно, она много проявила ея) ни к чему не привела бы, так как у нея было более льстецов, чем людей, веривших в нее, а характер ея семьи постоянно возбуждал некоторое недоверие. Наконец, княгиня или, скорее, через ея посредство Пассек, с одной стороны, и Орловы, с другой, потребовали, чтобы Екатерина дала им что-либо написанное ею, чтобы таким образом они получили возможность убедить своих друзей в ея согласии; она послала через княгиню записку, составленную приблизительно в следующих выражениях: «Да будет воля Господа Бога и поручика Пассека! Я согласна на все, что может быть полезно отечеству». А Орловым она написала: «Смотрите на то, что вам скажет тот, который показывает вам эту записку, так, как будто я говорю вам это. Я согласна на все, что может спасти отечество, вместе с которым вы спасете меня, а также и себя». И ту и другую записки она подписала своим именем. Легко понять, что эти записки были разорваны, как только оне выполнили свое назначение.

Когда поручик Пассек был арестован, караулившие его солдаты открыли ему двери и окна, чтобы он мог бежать, потому что, говорили они, ты страдаешь за доброе дело. И, несмотря на то, что он должен был ожидать пытки и не мог предвидеть, что произойдет, несмотря на то, что все посвященные в тайну решили, что в случае произойдет событие, подобное тому, что произошло с ним, то нужно тотчас же приступать к делу, он, тем не менее, имел решимость остаться в своем заточении, чтобы ничего не испортить, потому что целый полк был бы поднят на ноги, и для того, чтобы искать его, могли бы запереть город.

Когда Петр III узнал, что императрица уехала из Петергофа, он приехал туда, повсюду искал ее, даже под кроватью, допрашивал всех оставшихся, но никак не мог решиться на что-нибудь. Все, окружавшие его, давали ему различные

советы, из которых он выбрал самый слабый, прогуливался взад и вперед по саду, а затем выразил желание пообедать.

Когда императрица отправилась из Петергофа, она потеряла более получаса времени, проходя садами, и вследствие этого не нашла карету и была узнана на улице некоторыми прохожими. С нею были лишь одна горничная, никоим образом не хотевшая оставить ее, и ея первый камердинер, искавший карету.

В то время, как она направлялась с войсками в Петергоф, народ сообразил, что Петр III может приехать водою. Несколько тысяч человек, вооруженных камнями и палками, собрались на Васильевском острове, на берегу моря, при входе в Неву, твердо решившись потопить всякое судно, которое прибыло бы с моря.

Когда адмирал Талызин был послан в Кронштадт, мы все считали его погибшим человеком, потому что не представлялось понятным, чтобы император не подумал об этом порте и крепости; до Ораниенбаума было водою только одна миля, тогда как до города — четыре, а он был послан лишь в полдень. Когда он приехал, он действительно, нашел генерала Девьера с 2.000 человек, выстроенных на пристани. Последний спросил его, зачем он приехал. Он отвечал: «Я приехал ускорить отплытие флота». «А что говорят и делают в городе?» «Ничего», отвечал он. «Куда вы направляетесь теперь?» «Я собираюсь отдохнуть; я умираю от жары». Тот его пропустил. Он вошел в один дом, вышел из него через заднюю дверь и пошел к коменданту Нумерсу, которому сказал: «Послушай, в городе совершенно другия вести, чем здесь; все принесли присягу в верности императрице; я советую тебе сделать то же самое. У меня здесь 4.000 матросов, у тебя лишь 2.000 человек. Вот мой сказ: решайся». Тот ответил, что поступит так, как ему будет угодно. «Так вот, — отвечал он, — ступай, обезоружь генерала Девьера». Он пошел на это, отозвал его в сторону, взял у него его шпагу, и все принесли присягу в верности.

Когда гренадерская рота перваго гвардейскаго полка подошла близ Казанской церкви на встречу к императрице, они захотели составить непосредственную охрану экипажа императрицы, но гренадеры Измайловскаго полка возразили им с горьким упреками, что они явились последними, и что они никоим образом не уступят им. Это был очень опасный момент, потому что, если бы первые заупрямились, то дело дошло бы до штыков; но ничуть не бывало: они

отвечали, что виноваты во всем их офицеры, задержавшие их, и затем самым кротким образом принялись идти перед лошадьми императрицы.

Ярость солдат против Петра III была чрезмерная. Вот образчик ея. После принесения присяги на верность, пока происходило совещание, войскам, выстроенным вокруг Зимнего деревяннаго дворца, было разрешено надеть прежнюю форму. Один из офицеров вздумал сорвать свой золотой знак и бросил его своим солдатам, думая, что они обратят его в деньги. Они же с жадностью набросились на него и, поймав собаку, надели его ей на шею. Украшенную подобным образом собаку гоняли с яростным гиканием. Они топтали ногами все исходящее от этого государя, что только попадалось им.

По выступлении из города, вечером 28-го числа, первая остановка была в 10-и верстах от города, на постоялом дворе, называемом Красным Кабачком. Здесь все имело вид настоящей войны. Солдаты разлеглись на большой дороге; офицеры и множество горожан, следовавших из любопытства, и все, что могло вместиться в этом доме, — все вошли в него. Никогда еще день не был более богат приключениями. У каждого было свое, и все хотели рассказывать. Были необыкновенны веселы, и никто не чувствовал ни малейших сомнений. Можно было бы подумать, что все уже кончено, хотя в действительности никто не мог предвидеть конца, которым завершится эта великая катастрофа. Не знали даже, где находится Петр III. Следовало предполагать, что он бросился в Кронштадт, но никто не думал об этом. Однако, Екатерина не была так спокойна, как это казалось; она смеялась и шутила, говорил с теми и другими через всю комнату, а когда у нея подмечали мгновения рассеянности, сваливали вину за это на утомление от пережитаго дня. Захотели уложить ее спать. Она было бросилась на кровать, но, не будучи в состоянии закрыть глаз, лежала недвижимо, чтобы на разбудить княгини Дашковой, лежавшей возле нея. Случайно повернув голову, она увидела, что у княгини ея большие голубые глаза были раскрыты и устремлены на нее, что заставило их обеих громко расхохотаться от того, что обе они считали одна другую заснувшею и взаимно оберегали сон одна другой. Оне отправились присоединиться к остальным и, несколько времени спустя, снова пустились в путь.

Утром 28-го июня воронежский полк был в Красном Селе, в 27-ми верстах от Петербурга. Немецкий офицер,

посланный от Петра III, приехал туда несколько ранее посланнаго императрицею, чтобы двинуть этот полк в Петергоф, и они готовились выступить в путь, не зная в чем дело, когда приехал полковник Олсуфьев с одним гвардейским офицером, чтобы привести их к присяге Екатерине. Полковой командир колебался. Один гренадер проронил несколько слов, не понравившихся немецкому офицеру, и тогда этот выхватил шпагу и хотел нанести ею удар солдату; тогда все остальные стали кричать, что нужно идти в Петербург, чтобы присоединиться к Екатерине. Они двинулись в путь, и, когда государыня выступала из города, она встретила их. Так как они были утомлены, она хотела оставить их в городе, но они прошли в нею еще 23 версты; там им было приказано сделать привал на даче, называемой Стрельна Мыза, так как несколько недоверяли полковому командиру, и в ту же ночь, когда все вернулись в город, этот полк тоже возвратился туда. Таким образом в 24 часа он сделал 43 версты, что составит 10 с половиной немецких миль.

Когда императрица сходила с лошади у Летняго дворца, по возвращении из Петергофа, давка была так велика, что ее вели под руки, что представляло прекрасную картину. Это носило вид, как будто она была вынуждена сделать все то, что только что произошло, что, в действительности, и было справедливо, потому что, если бы она отказалась, она подвергалась бы опасности разделить участь Петра III; таким образом, не было выбора.

Когда императрица победоносно возвратилась в город и удалилась затем в свою спальню, капитан Орлов упал к ея ногам и сказал: «Я вижу вас императрицей самодержицей; мое отечество освобождено из цепей, и оно будет счастливо под вашим управлением. Я исполнил свой долг; я сослужил службу вам, моему отечеству и самому себе. Мне остается попросить вас лишь об одной милости: позвольте мне удалиться в мои деревни. Я родился честным человеком; двор мог бы испортить меня; я молод, милости могли бы заставить ненавидеть меня. У меня есть состояние, я буду счастлив на покое, покрытый славою, так как я дал вас моему отечеству».

Императрица отвечала ему, что заставить ее прослыть неблагодарною по отношению к человеку, которому она считала себя наиболее обязанною, значило бы испортить ея дело; что простой народ не мог бы поверить столь большому великодушию, но думал бы, что она подала ему какой-ни-

будь повод к неудовольствию, или даже что она недостаточно вознаградила его.

Нужно было как бы прибегнуть к воздействию власти, чтобы заставить его остаться, и он был до слез огорчен красной лентой св.Александра и камергерским ключем, которые она пожаловала ему, что приносило с собою чин генерал-майора. Для поездки в Ропшу с Петром III императрица назначила капитана Алексея Орлова, князя Барятинскаго и трех других офицеров. Они выбрали 100 человек из различных гвардейских полков. Данныя им приказания гласили сделать жизнь этому государю столь приятной, насколько они могли, и доставлять ему для его забавы все, чего он ни пожелает. Предполагалось из этого места перевести его в Шлиссельбург, а через некоторое время, в зависимости от обстоятельств, отправить его с его фаворитами в Гольштейн, до такой степени его личность представлялась мало опасной.

После смерти императрицы Елисаветы дочь герцога курляндскаго Бирона, вышедшая замуж за барона Черкасова, и которую Петр III любил когда-то, несмотря на то, что она была горбата, достигла того, что этот император приказал возвратить ея отца из Ярославля, куда сослала его покойная императрица. Этому много способствовало естественное нерасположение, которое император почувствовал к принцу Карлу Саксонскому во время пребывания последняго в Петербурге; он до такой степени ревниво относился к нему, что достаточно было назвать его имя, чтобы вызвать в нем гнев. Он обещал дочери возвратить отцу герцогство и, действительно, предполагал поступить так до тех пор, пока не приехал принц Георг Гольштейнский, который вместе со своими сторонниками заставил императора изменить свое намерение и склонил его принудить Бирона и его сыновей отказаться от Курляндии в пользу принца Гольштейнскаго. В свой горести Бироны обратились к императрице, которая не могла сделать ничего другого, как уверить их, что правота их дела известна ей, но что не от нея зависит помочь им. В день восшествия Екатерины на престол Бироны должны были подписать этот акт отречения, как вдруг положение вещей изменилось. Бирон был выпущен; у императрицы не было никаких оснований снова посадить его в тюрьму; его дочь постоянно была предана ей, и тысячу раз его права были признаны действительными. Россия не должна была кормить эту семью на свой счет. Поэтому было принято решение возвратить ему Курляндию, а возможность создать

в первые дни своего царствования «герцога» тоже не была неприятна Екатерине.

VI

ОТЗЫВЫ СОВРЕМЕННИКОВ О ПЕТРЕ III

1) Графа Воронцова.

Граф Михаил Ларионович Воронцов писал графу А.Р.Воронцову 7-го июля 1762 года: «Бывший и вчерась умерший императора от народа неневидим был».[1]

2) Князя Щербатова.

«Взошедши сей государь на всероссийский престол, без основательнаго разума и без знания во всяких делах, восхотел поднять вольным обхождением воинский чин. Все офицеры его голстинские, которых он малой корпус имел, и офицеры гвардии часто имели честь быть при его столе, куда всегда и дамы приглашались. Какие сии были столы? Тут вздорные разговоры с неумеренным питием были смешаны, тут после стола поставленный пунш и положенныя трубки, продолжение пьянства и дым от курения табаку представляли более какой-то трактир, нежели дом государский; коротко одетой и громко кричащий офицер выигрывал над прямо знающим свою должность. Похвала прусскому королю, тогда токмо преставшему быть нашим неприятелем, и унижение храбрости российских войск составляли достоинство приобрести любление государево».[2]

3) Андрея Тимофеевича Болотова.

«С самого малолетства заразился уже он многими дурными свойствами и привычками и возрос с нарочито уже испорченным нравом. Между сими дурными его свойствами было, по несчастию его, наиглавнейшим то, что он как-то не любил россиян и приехал уже к ним власно, как со врожденною к ним ненавистью и презрением; и как был он так неосторожен, что не мог того и сокрыть от окружающих его, то самое сие и сделало его с самаго приезда уже неприятным для всех наших знатнейших вельмож, и он вперил в них к себе не столько любви, сколько страха и боязни... Всем было известно, что он отменно любил и почитал короля прусскаго. А сия любовь, соединясь с рас-

---

[1] Архив князя Воронцова, книга 5-я, стр. 19.

[2] «О повреждении нравов в России». Сочинения князя М.М.Щербатова, С.-Петербург, 1898, т. 2-й, стр. 223.

стройкою его нрава и вкоренившеюся глубоко в сердце его ненавистью к россиянам, произвела то, что он при всяких случаях хулил и порочил то, что ни делала и ни предпринимала императрица и ея министры».

По вступлении на престол Петр III «сделал во всей армии и во всем военном штате великую перемену и старался все учредить на ноге прусской. Переменена была совсем прежняя экзерциция на манер прусской; мундиры пошиты по прусскому покрою; прежняя и наиприличнейшия древния звания полков по городам уничтожены, и велено было им называться уже по фамилиям из шефов».

VII

СОБСТВЕННОРУЧНАЯ ЗАПИСКА ЦЕСАРЕВИЧА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА О ГВАРДИИ

Гвардию нахожу весьма великою и весьма неспособною ко всякому делу, не говоря о прочих ея неудобствах, которыя каждый чувствует, но не станет о сем говорить. Вовсе быть без ней нельзя, ибо как достоинство, обычай, так и привычка глаз всех делают ее необходимою, ибо и в безделицах опасно идти противу обычая и привычки. Разве не чувствительным образом... Для всего сего мысль моя о ней такова. Оставить название всех полков и мундир оных, но довести пехотные три нижеследующим образом до того, чтоб под всяком не было более баталиона, составленнаго из гренадерской и четырех мушкатерских рот, и так сохранится сим обычай имен, а доходя мало-по-малу до сего, не коплектуя убылые места, так как уже однажды сие и было, никому не будет сие приметно. Оно имеет три сорта убыли: смерть, отставка и выписывание вон за наказание или неспособность. Сими натуральными способами чрез пять лет, как уже и было однажды между 763 и 770 годов, где семь лет расстояния, легко само собою до того дойдет, а дабы дух своевольный вывести из нее, раздающийся от праздной и одноместной жизни, то каждый год посылать их в разныя места с протчими на ревю, и сим средством будут они от марта месяца до августа в походе, в сии пять месяцев не до своевольства

---

[1] Записки А.Т.Болотова, «Русская Старина» 1871 года, т. 2-й, стр. 161 - 166 и 229.

будет, а остальные семь пройдут в отдыхании, да в сборах. Конную же можно оставить, как и была, ибо оной не много, с некоторыми только переменами. Офицеров же гвардии производить, как и ныне, но наличных, а тех, которые вновь производиться будет, то жаловать армейскими прапорщиками и вести армейскими чинами.[1]

VIII

О МНИМОМ ЗАГОВОРЕ ГРАФА НИКИТЫ ИВАНОВИЧА ПАНИНА

Сохранились смутныя сведения о каком-то заговоре, затеянном в пользу цесаревича Павла Петровича, в котором будто бы принимали участие граф Никита Иванович Панин и доверенные секретари его Д.И.фон-Визин и Бакунин. Цель заговора заключалась в том, чтобы возвести Павла Петровича на престол, на известных условиях. Об этом фантастическом проекте встречаются краткия сведения в записках декабриста фон-Визина. Он пишет:

«Душею заговора была супруга Павла, великая княгиня Наталия Алексеевна, тогда беременная. При графе Панине были доверенными Д.И.фон-Визин, редактор конституционнаго акта, и Бакунин, оба участники в заговоре.[2] Бакунин из честолюбивых, своекорыстных видов решился быть предателем: он открыл графу Г.Г.Орлову все обстоятельства заговора и всех участников; стало быть, это сделалось известным и Екатерине. Она позвала к себе сына и гневно упрекала ему его участие в замыслах против нея. Павел испугался, принес матери список всех заговорщиков. Она сидела у камина и, взяв список, не взглянув даже на него, бросила бумагу в огонь и сказала: «Я и не хочу знать, кто эти несчастные». Она знала всех по доносу изменника Бакунина».

Сцена выходит драматическая, но она не имеет под собою реальной почвы. Связь, которую старается установить декабрист фон-Визин между этим мнимым заговором Па-

---

[1] «Военно-ученый Архив», № 325.

[2] В записках фон-Визина приведены имена и других заговорщиков: Петр Иванович Панин, князь Репнин, княгиня Е.Р.Дашкова (??), один архиерей (чуть ли не митрополит Гавриил). К ним примкнули будто бы многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров.

нина и запискою его о фундаментальных законах, также не выдерживает критики; составление записки должно быть отнесено к позднейшему времени. Затем, при разборе этого вопроса необходимо принять в соображение, что Панин не пользовался особенным благорасположением великой княгини Наталии Алексеевны; Никита Иванович перестал даже в это время играть первенствующую роль при дворе цесаревича. Наконец, а это всего важнее, личный характер Никиты Ивановича Панина отстранял всякую возможность сделать из него заговорщика; на этом именно основании Екатерина и доверила Панину воспитание великаго князя, будучи уверена, что он не был в состоянии проявить решительность и деятельность, которыя требовались для того, чтобы произвести какое-либо действо в пользу цесаревича.

IX

ПРИВЕТСТВИЕ В ПАРМЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ В 1782 ГОДУ

Наиблагополучнейший приезд в Парму его императорскаго высочества великаго князя Павла Петровича наследника всероссийскаго купно с супругою, великою княгинею Мариею Федоровною проздравление

Великий князь между тем временем как ты оставя северную страну, купно с супругою путешествует, и видиш, древние остатка славы, нашеи Италии, мы следуя твоему примеру, немало дивимся, непрестанной славе твоего отечества; девять сот лет тому назад, как твои предки, приплыв к Босфору с морскими силами, оной храброю рукою себе покорили; иные занесказанную их храбрость имели от рымлян, дары и дестоинства; между етими также упоминаю о том которой разбив булгарцов в трацию победителем вошел. Но сколько к тебе ближе сродством, столько славою протчих превозшедший, твой дед император Петр Великой который нетолько что расспространил границы своего владения, даже до Каспийскаго моря, покорив многие провинций, и разумные законы подданных дал; нособрав воиска, начальников избрал, и дабы дать пример великодушия и храбрости сам оное навоину водил, где нетолько что прибыток но и вечную славу приобрел; Санкт-Петербург, и прочие города, крепости, арсеналы создал, украсил, и всем нужным снабдил; науки и художества в Россию в вел: одним словом все что он сам

в Англии, Франции, и Голандии видел празсудил быть полезным для изгнания старой грубости своих подданных основал; вечные тому свидетели будут академиа наук, кадетские корпусы, и прочие тому подобные установлений. Следуя сего героя стопам августеишая твоя мать императрица Екатерина Алексеевна теперь царствующая, труды презирая, ничего делать неоставляет, как для славы российскаго престола так и для блаженства своих подданных; она нетолько что послав морские силы в архипелаг принудив дрожать, и просить миру гордую порту; написала человеколюбием преисполненные законы; поустановила купечество, почитая оное занаилутчей способ к обогащению своей империй для сеи притчины приказал готовить порты, строить корабли, и все что нужно, к счастливому онаго произведению, и к нужному онаго защищению, покровительствует науки и художества, и всие время Россиа незавидует никакой области и совершенства; имея своих искусных художников и совершенных писателей.

Бог покровитель вашего императорскаго высочества возвратит вас здравы и благополучны в отечество ваше, где продолжая следовать стопам премудрой монархини; мы обитатели сеи знатной провинции непрестанем петь превознося дела твой до небес.

Сие Проздавление вырезано нарусском языке Печатано и поднесено их Императорским Высочествам типографщиком его Католическаго Величества, и префетом Иваном Бодони ди Салюццо.

X

АКТ, ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ В ДЕНЬ СВЯЩЕННОЙ КОРОНАЦИИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА И ПОЛОЖЕННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА ПРЕСТОЛЕ УСПЕНСКАГО СОБОРА

Мы Павел, наследник, цесаревич и великий князь, и мы супруга его Мария великая княгиня.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Общим Нашим добровольным и взаимным согласием, по зрелом рассуждении и с спокойным духом постановили сей Акт Наш общий, которым по любви к Отечеству избираем

Наследником по праву естественному после смерти Моей Павла, Сына Нашего большаго Александра, а по нем все Его мужское поколение. По пресечении сего мужскаго поколения наследство переходит в род втораго Моего Сына, где и следовать тому что сказано о поколении старшаго Моего Сына и так долее естьли бы более в Меня Сыновей было; что и есть первородство. По пресечении последняго мужескаго поколения Сыновей Моих наследство остается в сем роде, но в женском поколении последне-царствовавшаго, как в ближайшем Престоле, дабы избегнуть затруднений при переходе от рода в род, в котором следовать тому же порядку предпочитая мужеское лицо женскому, однако здесь приметить надлежит единожды навсегда, что не теряет никогда права то женское лицо, от котораго право безпосредственно пришло. По пресечении сего рода, наследство переходит в род старшаго Моего Сына в женское поколение, в котором наследует ближняя Родственница последне-царствовавшаго рода вышеупомянутаго Сына Моего, а в недостатке оной то лицо мужеское или женское которое заступает ея место, наблюдая что мужеское лицо предпочитается женскому, как уже выше сказано; что и есть заступление: По пресечении же сих родов наследство переходит в женский род прочих Моих Сыновей следуя тому же порядку; а потом в род старшей Дочери Моей в мужеское Ея поколение, а по пресечении онаго в женское Ея поколение, следуя порядку наблюденному в женских поколениях Сыновей Моих. По пресечении поколения мужескаго и женскаго старшей Дочери Моей наследство переходит к поколению мужескому, а потом женскому второй Дочери Моей и так далее. Здесь правилом положить должно, что меншая сестра хотя бы и сыновей имела неотъемлет права у старшей хотя бы незамужней, ибо оная могла бы выти за-муж и родить детей: брат же менший наследует прежде старших своих сестер. Положив правила наследства должен объяснить причины оных. Они суть следующия: Дабы Государство не было без наследника. Дабы наследник был назначен всегда законом самим. Дабы не было ни малейшаго сомнения кому наследовать. Дабы сохранить право родов в наследствии ненарушая права естественнаго, и избежать затруднений при переходе из рода в род. Учредив таким образом наследство должно дополнить сей закон нижеследующим. Когда на-

следство дойдет до такого поколения женскаго, которое царствует уже на другом каком престоле, тогда предоставлено наследующему лицу избрать веру и престол и отрешись вместе с наследником от другой веры и престола, естьли таковой престол связан с законом для того что Государи Российские суть Главою церькви; а естьли отрицания от веры не будет, то наследовать тому лицу, которое ближе по порядку. За сим должны обязаться свято наблюдать сей закон о наследстве при вступлении и помазании. Естьли наследовать будет женское лицо, и таковая особа будет за мужем или выдет, тогда мужа не почитать Государем, а отдавать почести наравне с Супругами Государей и пользоваться прочими преимуществами таковых кроме Титула. Женидьбы не почитать законными без дозволения Государя на оные. В случае малолетства наследующей Особы порядок и безопасность Государства и Государя требуют учреждения Правительства и опеки до совершенно-летия. Совершенно-летия полагается Государям обоего пола и наследникам шесть-надесять лет, дабы сократить время правительства. Естьли последне-царствовавший не назначил Правителя и опекуна, ибо ему следует учинить сей выбор для лучшей безопасности; правительство Государства и опека персоны Государя следуют отцу или матери, вотчим же и мачеха исключаются; а за недостатком сих ближнему к наследству из родственников совершенно-летних, обоего пола, малолетнаго. Совершенно-летие прочих обоего пола особ Государских фамилий полагается двадцать лет. Не способность законная препятствует быть Правителем и опекуном, а имянно безумие хотя бы временное, и вступление вдовых во второй брак во время правительства и опеки. Правителю полагается совет правительства, и как Правитель без совета, так и совет без Правителя существовать не могут: совету же нет дела до опеки. Совету сему состоять из шести особ первых двух классов по выбору Правителя, которому и назначать других при случающихся переменах. В сей совет правительства входят все дела без изъятия, которые подлежат решению самаго государя и все те которые как к нему так и в совет Его вступают; Правитель же имеет голос решительный. Мусские особы Государской Фамилии могут за седать в сем совете по выбору Правителя, но не прежде своего совершенно-летия и не в числе шести особ составля-

ющих совет. Назначение сего совета и выбор членов онаго полагаются в недостатке другаго распоряжения скончавшаго Государя, ибо оному должны быть известны обстоятельства и люди. Сим Мы должны были спокойствию Государства, которое не твердом законе о наследстве основано, о чем каждый добро-мыслящий уверен. Мы желаем чтоб сей Акт послужил доказательством самым сильнейшим пред всем светом Нашей любви к Отечеству, любви и согласия Нашего брака и любви к детям и потомкам Нашим. В знак и свидетельство чего подписали Наши имяна и приложили печати Гербов Наших.

Подлинный Акт подписан собственными Их Императорских Величеств руками тако:

Павел.
Мария.

С.Петербург Генваря 4. 1788 года.

На подлинном списке подписано собственною Его Императорскаго Величества рукою тако:

Верно.
Павел.

Печатан в Москве при Сенате Апреля 5 дня 1797 года.

XI

НАГРАДЫ, ПОЖАЛОВАННЫЯ В ДЕНЬ КОРОНОВАНИЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I 5-ГО АПРЕЛЯ 1797 ГОДА

(По списку, составленному князем Лобановым-Ростовским).

Апреля 5-го дня 1797 года в день священнаго коронования и миропомазания его императорскаго величества всемилостивейше пожалованы:

Генерал-фельдмаршалу графу Салтыкову 1-му крест и звезда св. апостола Андрея, алмазами украшенные.

Генерал-фельдмаршалу князю Репнину 6.000 душ.

Канцлеру графу Остерману крест и звезда св.апостола Андрея, алмазами украшенные.

Действительному тайному советнику 1-го класса, графу Безбородко вотчина, после умершаго бригадира князя Кантемира в казну вступившая, в Орловской губернии и 30.000 дясятин из порожних казенных земель в губернии Воронеж-

ской. Сверх того, ему же княжеское Всероссийской империи достоинство с титулом светлости и 6.000 душ на его выбор.

Статс-даме Ливен 1.500 душ.

Генерал-от инфантерии граф Эльмпт в генерал-фельдмаршалы. Ему же орден св. апостола Андрея.

Генерал-от-кавалерии граф Мусин-Пушкин в генерал-фельдмаршалы. Ему же 4.000 душ.

Генерал-от-инфантерии Каменский в генерал-фельдмаршалы. Ему же графское Российской империи достоинство.

Обер-камергеру Шувалову 3.000 душ.

Действительному тайному советнику Измайлову крест и звезда св.Андрея, алмазами украшенные.

Генералу-от-инфантерии князю Долгорукову крест и звезда св.Андрея, алмазами украшенные.

Обер-егермейстеру князю Голицыну 2.000 душ.

Адмиралу Голенищеву-Кутузову 1.300 душ.

Генералу-от-инфантерии Каховскому графское Российской империи достоинство и 2.000 душ.

Генерал-от-инфантерии Гудовичу 2-му графское Российской империи достоинство.

Адмиралу Пушину в Минской губернии 1.300 душ.

Ордены св.апостола Андрея:

Обер-гофмейстеру Орлову.

Действительному тайному советнику Стрекалову; ему же в Малороссии 2.580 душ.

Генералу-от-кавалерии Дерфельдену.

Обер-шенку князю Несвицкому.

Действительному тайному советнику Черткову.

Действительному тайному советнику графу Завадовскому.

Генералу графу Воронцову; ему же в вечное и потомственное владение, из купленных после покойнаго канцлера графа Воронцова от графа Скавронскаго деревень в российской Карелии, половинное число душ.

Действительному тайному советнику князю Юсупову.

Генералу-от-инфантерии Архарову 2.000 душ.

Генералу-от-артиллерии Мелиссино 1.000 душ.

Действительному тайному советнику вице-канцлеру князю Куракину 1-му, и тайному советнику и генерал-прокурору князю Куракину 2-му в Псковской губернии вотчина, после покойнаго генерал-лейтенанта Ланскаго в казенное ведомство вступившая, называемая Вельве, да из

казенных порожних земель 20.000 десятин в Тамбовской губернии.

Сверх того, особливо вице-канцлеру князю Куракину в Псковской губернии 2.863 души, да в С. —Петербургской 1.437 душ, а генерал-прокурору князю Куракину чин действительнаго тайнаго советника.

Роды Римския империи графов Воронцовых, графов Безбородко, графа Дмитриева-Мамонова, графом Завадовских и королевства Прусскаго графа Буксгевдена внесть в число родов графских Российской империи.

Ордены Александра Невскаго:

Преосвященному архиепископу ростовскому Арсению. Преосвященному архиепископу Евгению.

Действительному тайному советнику Волкову. Ему же 1.000 душ.

Генералу Свистунову.

Генерал-лейтенанту князю Догорукову.

Генерал-лейтенанту графу Безбородко. Ему же в Литовской губернии 1.349 душ.

Генерал-лейтенанту Архарову 2-му. Ему же 800 душ.

Генерал_лейтенанту Вадковскому. Ему же 1.000 душ.

Генерал-лейтенанту Бенкендорфу.

Гофмейстеру Загряжскому. Ему же 800 душ.

Гофмейстеру князю Гагарину.

Шталмейстеру князю Голицыну.

Тайному советнику графу Румянцеву 3-му.

Тайному советнику и государственному казначею Васильеву. Ему же баронское Российское империи достоинство и 1.500 душ.

Тайному советнику князю Гагарину.

Генерал-майору Плещееву. Ему же в Нижегородской губернии 110 душ и на покупку дома 30.000 рублей.

Генерал-майору Ростопчину. Ему же в Орловской губернии 473 души.

Генерал-майору Донаурову. Ему же на покупку дома 30.000 рублей.

Генерал-майору Кушелеву. Ему же в Тамбовской губернии 292 души, да из порожних казенных в той же губернии земель 15.000 десятин и на покупку дома 30.000 рублей.

Генерал-майору Аракчееву. Ему же баронское Росиийской империи достоинство.

Генерал-майору Обольянинову.

Ордены св. Анны 1-го класса:

Преосвященному архиепископу словенскому Никифору.

Преосвященному епископу суздальскому Виктору.

Преосвященному епископу коломенскому Афанасию.

Синода члену и большого Успенскаго собора протоиерею Александру.

Синода члену, духовнику, Благовещенскаго собора протоиерею Исидору.

Действительному тайному советнику Грушецкому.

Генерал-лейтенанту Ламбу. Ему же в Минской губернии 750 душ.

Генерал-лейтенанту Вязмитинову. Ему же в Минской губернии 750 душ.

Генерал-лейтенанту Штрандману.

Генерал-лейтенанту Простоквашину.

Генерал-лейтенанту князю Шаховскому. Ему же 500 душ.

Гофмейстеру графу Головину.

Тайному советнику Бибикову

Тайному советнику Квашнину-Самарину.

Тайному советнику князю Долгорукову.

Тайному советнику Ржевскому 2-му.

Тайному советнику и комерц-коллегии президенту Соймонову. Ему же 800 душ.

Тайному советнику Кожину. Ему же 500 душ.

Тайному советнику Колокольцеву.

Тайному советнику князю Трубецкому 2-му.

Тайному советнику Голохвастову 1-му.

Тайному советнику Храповицкому. Ему же 600 душ.

Тайному советнику и медицинской коллегии президенту Зиновьеву. Тайному советнику князю Вяземскому 2-му.

Тайному советнику Сабурову.

Тайному советнику и камергеру Нарышкину.

Тайному советнику Мясоедову.

Герцогскому виртембергскому обер-камергеру графу Пиклеру.

Генерал-майору графу Шувалову 1-му.

Генерал-майору Кологривову. Ему же из казенных порожних земель в Тамбовской губернии 15.000 десятин.

Генерал-майору Кутлубицкому.

Генерал-майору Баратынскому.

Генерал-майору Нелидову.

Действительному статскому советнику Карадыкину. Ему же 600 душ.

Действительному статскому советнику Кроку. Ему же в С.-Петербургской губернии 600 душ.

Действительному статскому советнику барону Николаи.

Ордены св. Анны II-го класса:

Московскаго Архангельскаго собора протоиерею Петру.

Генерал-майору князю Шаховскому.

Генерал-майору Неплюеву.

Действительному статскому советнику и псковскому губернатору Козлову.

Сената обер-прокурору Муханову.

Действительному статскому советнику Львову. Ему же 600 душ.

Статскому советнику Голубцову.

Статскому советнику и московскому почтдиректору Пестелю. Ему же 300 душ.

Статскому советнику Обрезкову. Ему же чин действительнаго статскаго советника.

Действительному тайному советнику Соймонову 1.200 душ.

Шталмейстеру Ребиндеру в Лифляндии бывшие за ним по смерть 17 гаков. Ему же чин действительнаго тайнаго советника.

Генерал-лейтенанту Левашову 1.000 душ.

Генерал-лейтенанту князю Голицыну 1.000 душ.

Генерал-лейтенанту Беклешову 1.000 душ.

Генерал-лейтенанту Бердяеву в Малой России 678 душ.

Генерал-лейтенанту Нащокину 500 душ.

Генерал-лейтенанту Ступишину 400 душ.

Вице-адмиралу Мордвинову 1.000 душ.

Гофмаршалу графу Тизенгаузену 800 душ.

Обер-церемониймейстеру Валуеву 800 душ.

Егермейстеру Потемкину 500 душ.

Тайному советнику Тучкову 800 душ. Ему же чин действительнаго тайнаго советника.

Тайному советнику Пастухову 800 душ. Ему же чин действительнаго тайнаго советника.

Его императорскаго высочества цесаревича гофмаршалу графу Толстому 600 душ.

Тайному советнику Осипову 600 душ.

Тайному советнику Протасову 800 душ.

Тайному советнику князю Вяземскому 800 душ.

Тайному советнику Мусину-Пушкину графское Российской империи достоинство.

Тайному советнику Московскаго университета куратору Хераскову 600 душ.

Тайному советнику Саблукову 500 душ.

Тайному советнику белорусскому губернатору Жегулину в Минской губернии 497 душ.

Тайному советнику Молчанову 400 душ.

Тайному советнику Суткову 400 душ.

Генерал-майору Лецциано 400 душ.

Генерал-майору Обрезкову 400 душ.

Генерал-майору барону Ферзену 300 душ.

Действительному статскому советнику и главнаго почтоваго правления члену Судьенкову в Малой России 597 душ. Ему же чин тайнаго советника.

Действительному статскому советнику Алопеусу в С.-Петербургской губернии 600 душ. Ему же чин тайнаго советника.

Действительному статскому советнику Трощинскому 1.200 душ.

Действительному статскому советнику и малороссийскому губернатору Бакуринскому в Малой России 431 душа.

Действительному статскому советнику и межевой канцелярии 1-му члену Волчкову 600 душ.

Действительному статскому советнику Левашову 400 душ.

Действительному статскому советнику Смирнову 300 душ.

Действительному статскому советнику Елагину 300 душ.

Действительному статскому советнику Аксакову 300 душ.

Действительному статскому советнику Борзову 300 душ.

Тверскому губернатору действительному статскому советнику Тейльсу 300 душ.

Действительному статскому советнику Зуеву 200 душ.

Действительному статскому советнику Алексееву в С. —Петербурге дом казенный, каменный, известный под именем вице-губернаторскаго.

Статскому советнику Нелединскому-Мелецкому 800 душ.

Статскому советнику и малороссийскому почтдиректору Милорадовичу в Малой России 414 душ.

Статскому советнику и С. —петербургскому обер-полицмейстеру Чулкову 300 душ.

Коммерц-коллегии вице-президенту Доменскому в Малой России 288 душ.

Статскому советнику Соколовскому 250 душ.

Статскому советнику Габлицу 250 душ.

Статскому советнику и придворной конторы члену Донаурову 250 душ.

Статскому советнику, присутствующему в кабинете Борзову 200 душ.

Статскому советнику и синода обер-секретарю Рудановскому 200 душ.

Статскому советнику Магницкому 100 душ.

Его императорскаго величества флигель-адъютанту полковнику Дризену 250 душ.

Полковнику Герарду 250 душ.

Инженер-подполковнику Оперману 200 душ.

Флота капитану 1-го ранга Шишкову 250 душ.

Майору Вистицкому 150 душ.

Полковнику Патрекееву 86 душ.

Находящемуся при ея величестве императрице коллежскому советнику Полетике 500 душ.

Находящемуся в Неаполе при миссии коллежскому советнику Италинскому в Малой России 322 души.

Находящемуся при генерал-прокуроре коллежскому советнику Пшеничному 250 душ.

Коллежскому советнику Стриттеру 200 душ.

Коллежскому советнику Ленивцеву 200 душ.

Находящимся при кабинете коллежскому советнику Кайгородову и Протопопову, каждому по 150 душ.

Подпоручику Киселеву 200 душ.

Майорам: Семивскому, Андрееву и Звереву, каждому по 120 душ.

Надворному советнику и синода секретарю Соколову 100 душ.

Обер-мундшенку Эмирову 120 душ.

Камер-фурьеру Назарову из казенных порожних земель в Тамбовской губернии 6.000 десятин.

Жене камергера Ланскаго, рожденной Виламовой, 600 душ.

Вдове генерал-лейтенанта князя Гагарина, рожденной Плещеевой, 500 душ.

Вдове генерал-майора Масимовича в Малой России 293 души.

Вдове коллежскаго советника Молчина 300 душ.

Умершаго генерал-майора Николаева трем дочерям девицам, каждой по 100 душ.

Вдове действительнаго тайнаго советника барона Ассебурга, пенсион по 2.000 рублей на год с дополнением вексельнаго курса.

Отставному генерал-майору Бринау полный пенсион по чину его, из кабинета.

Статскому советнику де-Лоне единовременнаго награждения 10.000 рублей.

Надворному советнику Сибургу пенсион по 1.500 рублей в год, и сверх того единовременно 5.000 рублей.

Надворному советнику Цитовскому и Летюхину прибавки к их нынешним окладам, каждому 450 рублей.

Коллежскому ассесору Соколову таковой же прибавки 250 рублей.

Находящемуся при лондонской миссии статскому советнику Лизакевичу и священнику Смирнову, сверх нынешних их окладов, первому по 100, а последнему по 60 ф.стерл. на год.

В действительные тайные советники:

Князь Трубецкой 1-й.
Свиньин.
Маслов.
Симолин.
Кашталинский.
Ржевский 1-й.
Посол в Вене граф Разумовский и фон-дер-Остен-Сакен.

В тайные советники:

Камергер и министр в Берлине Колычов.
Камергер и коллегии иностранных дел член граф Панин.
В действительные статские советники:
Лейб-медик Круз.
Эпинус.
Лейб-медик Рожерсон.
Бывший полоцкий совестный судья Храповицкий.
Министр в Дрездене барон Местмахер.
Рижский губернатор граф Менгден.
Курской палаты суда и расправы председатель Шалыгин.
Бывший костромской совестный судья Михнев.
Находящийся в комиссии о сочинении законов Яковлев.

Сената обер-прокурор Неклюдов.

Поверенный в делах в Мальте Псаро.

Министр в Лиссабоне граф Рехтерн-де-Боргбейнинген.

Находящийся при московских дворцовых строениях князь Куракин.

Киевский губернатор Красно-Милашевич.

Министр в Мюнхене барон Билер.

Курляндский губернатор Ламздорф.

Выборгский губернатор Ридингер.

Советник правления ассигнационнаго банка князь Одоевский.

Председатель бывшей тамбовской гражданской палаты Чичерин.

Присутствующий в царскосельской конторе Изъединов.

Председатель бывшей брацлавской гражданской палаты граф Ржевуский. Бывший тверской губернатор Поликарпов.

Лейб-медик Бек.

В действительные камергеры:

Камер-юнкеры: Петрово-Соловово и Загряжский.

Камер-юнкер государя цесаревича князь Голицын в камергеры к его императорскому высочеству.

Гардеробмейстер Кутайсов в обер-гардеробмейстеры 4-го класса.

В чины генерал-майорские:

Штата провиантскаго бригадиры Резанов и Ханыков.

XII

ИЗ РАССКАЗОВ О СТАРИНЕ КНЯЗЯ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА ЛОПУХИНА,[1] ЗАПИСАННЫХ КНЯЗЕМ А.Б.ЛОБАНОВЫМ-РОСТОВСКИМ В 1869 ГОДУ, ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ КОРСУНЯ

I.

Алексей Киприанович Лопухин.

Лопухины принадлежать к древнему российскому дворянству. Из их рода была первая супруга Петра Великаго, и

---

[1] Светлейший князь Павел Петрович Лопухин скончался в Корсуне 23-го февраля 1873 года.

вследствие этого родства с царскою фамилиею Лопухины были взысканы милостями и пожалованы богатыми поместьями. Но счастье это продолжалось недолго. Как только Петр стал остывать к своей супруге, положение Лопухиных при дворе изменилось, а с удалением царицы Евдокии они окончательно впали в опалу: их причислили к противникам всех нововведений, отобрали у них жалованныя поместья, а некоторых из них отправили в дальние города в ссылку. Одинаковой участи со всем своим семейством подвергся и стольник Алексей Киприанович Лопухин, некогда весьма любимый царем: его сослали в принадлежавшее ему небольшое имение, по названию Красный Бор, в нынешней Псковской губернии, в Порховском уезде.

В ссыльном указе сказано было, что имение это оставляется ему на пропитание, почему Лопухин и считал себя только временным владельцем Краснаго Бора. Он жил в изгнании, а между тем новыя личности возвышались вокруг Царя-Преобразователя, и между ними самое видное место занял бывший блинщик, а в то время уже светлейший князь Меншиков. Случилось, что Красный Бор вдруг очутился лежавшим среди пространных поместий светлейшаго. Этот клочок чужой земли колол глаза новаго вельможи, который решился, во что бы то ни стало, завладеть им. Для этого он придумал средство довольно простое. Так как на все миролюбивыя предложения продать эту землю Лопухин постоянно отзывался, что не имеет на то права, и ссылался на царский указ, то Меншиков, наскучив подобным упирательством, послал в Красный Бор драгуна с приказанием немедленно привести строптиваго Лопухина в Петербург. Драгун явился в Красный Бор, взял Лопухина и доставил его в дом светлейшаго на Васильевский остров. Когда Лопухин допущен был к князю, князь снова предложил ему продать свое имение, и снова Лопухин стал отговариваться невозможностью исполнить его желание. Тогда Меншиков, не вдаваясь в дальнейшия рассуждения, почти насильно вручил ему мешок с деньгами и сказал, что дает за Красный Бор цену хорошую, что теперь имение это им выкуплено, и что Лопухин не смеет больше туда возвращаться. За сим Лопухина выпроводили на улицу.

Пораженный неожиданностью и не имея в столице ни родных, ни знакомых, Лопухин не знал, куда идти, и в раздумье с мешком в руках присел на крыльцо Меншикова дома.

Пока он размышлял о своей судьбине, проехал Петр, узнал его и остановившись спросил, что он тут делает. Лопухин чистосердечно рассказал ему свое приключение. Государь вышел из экипажа, взял Лопухина с собою и вошел к князю Меншикову. Царь шутить не любил; любимцу досталось порядочно; а затем, обращаясь к Лопухину, Петр сказал: «А ты отправляйся назад в свое имение. Деньги, которыя получил ты от князя, оставь себе: князь тебе их жалует за то, что побеспокоил тебя».

Красный Бор до настоящего времени принадлежит Лопухиным. В тамошней церкви находится их семейный склеп.[1]

II.

Князь Петр Васильевич Лопухин.

Отец нынешняго владельца Корсуня, князь Петр Васильевич Лопухин, происходил от родного брата Алексея Киприановича. Он родился в 1744 году и скончался 6-го апреля 1827 года. Поступил на службу еще при императрице Елисавете Петровне.[2] В то время офицеру нельзя было обойтись без экипажа, и, чтобы дать мне понятие о тогдашней ценности денег, князь Лопухин говорил мне, что отец его купил себе совершенно новую английскую карету за 80 рублей.

Князь Петр Васильевич хорошо помнил Елисаветинские времена...

В царствование Екатерины Петр Васильевич был генерал-поручиком, имел орден св.Владимира 2-й степени и правил с 1793 года должность генерал-губернатора в Ярославском и Вологодском наместничествах,[3] а по воцарении Павла, 17-го декабря 1796 года, переименован в тайные советники и назначен сенатором в Москве. Хотя при этой перемене Лопухин получил Александровскую ленту (17-го декабря 1796 года), но назначение свое из генерал-губернаторов в сенаторы он почитал для себя понижением по службе.

---

[1] В Пороховском уезде князю Лопухину принадлежат два имения — Красный Бор и Карачун.

[2] В списке воинскому департаменту значится, что в службе с 1760 года.

[3] Петр Васильевич Лопухин, генерал-поручик, генерал-губернатор ярославский и вологодский, кавалер ордена св.Владимира 2-й степени, в службе показан с 1760 года, в чине с 25-го марта 1791 г. (Список воинскому департаменту на 1796 год, стр. 56).

Князь Павел Петрович имеет глубокое уважение к памяти своего отца. По его словам, Петр Васильевич был человек даровитый и в особенности отличался необыкновенною легкостью и быстротою работы. Этими качествами он и обратил на себя внимание императора Павла с самаго начала его царствования. Когда император приехал в Москву для коронования (март и апрель 1797 года), в числе прочих сенаторов представлялся ему и Петр Васильевич. На этом общем представлении Павел расспрашивал каждаго о его прошедшей службе и, узнав, что в предшествовавшее царствование Лопухин был наместником в Ярославле, приказал ему не уезжать из дворца. Когда же представление кончилось, император, получивший в тот же день прошение по какому-то ярославскому делу, передал это прошение Лопухину с приказанием представить себе по оному лично доклад. Лопухин, по выезде из дворца, тотчас навел в московском сенате все нужные справки, сообразил с своими собственными воспоминаниями и, проработав всю ночь, успел на следующий день в 6 часов утра явиться во дворец с готовым докладом. Павел был в восторге и от быстраго исполнения своей воли, и от самаго доклада; он стал поручать Лопухину, во время пребывания своего в Москве, другия дела, и каждый раз Лопухин с тою же быстротою и аккуратностью представлял ему на следующее утро требуемую работу. В изъявление своей признательности, император пожаловал дочь Лопухина, Анну Петровну, в фрейлины. Назначение это последовало, когда император Павел не имел случая видеть Анну Петровну.

В августе 1798 года Петр Васильевич был вызван в Петербург. Хотя он и знал, что едет на постоянное житье, но прибыл в Петербург один, оставив свое семейство в Москве. Он желал сперва устроиться и купил на дворцовой набережной дом, когда-то принадлежавший Ивану Ивановичу Бецкому (ныне Жеребцова). Он был в то время о двух балконах и был смежным с домом графини Скавронской, вскоре вышедшей замуж за графа Литту (ныне дом Лохвицкаго).

Все семейство Петра Васильевича, в том числе и Анна Петровна, переехало в Петербург только после приобретения этого дома.

III.

Бабушка Анна Ивановна.

Первая жена Петра Васильевича Лопухина, Прасковья Ивановна, была рожденная Левшина. Мать ея, рожденная

княжна Львова, Анна Ивановна Левшина, пользовалась большим уважением в обществе, а с появлением ея внучки, княгини Анны Петровны Гагариной, при дворе, заметно было к ней и особенное расположение императора Павла. Она везде была известна под именем бабушки Анны Ивановны; сам император в шутку называл ее этим именем. Анна Ивановна была всеми любима за то, что умела пользоваться благосклонностью императора, чтобы делать много добра; ей вовсе незнакомые, были ею облагодетельствованы.

Анна Ивановна сохранила свое преобладающее положение в семействе Лопухиных и после того, как Петр Васильевич, лишившись первой своей жены, вступил, недолго спустя, в новый брак; дети, рожденныя от этого второго брака, наравне с прочими, не иначе ее звали, как «бабушкою Анною», и обходились с нею с величайшею почтительностью.

Она имела собственный дом на Невском проспекте, напротив Малой Морской; зимою она там и жила; но летом следовала за двором и постоянно имела помещение в загородный дворцах во время пребывания в них императорской фамилии.

IV.

Княгиня Екатерина Николаевна Лопухина.

Вторая жена Петра Васильевича, мать нынешняго князя Лопухина, была Екатерина Николаевна Шетнева.[1] Князь Лопухин видимо не любил говорить о ней. Когда в день моего приезда он повел меня в свой кабинет и стал называть все семейные портреты, висевшие на стенах, в том числе и великолепный портрет масляными красками первой жены Петра Васильевича, — меня несколько удивило в этом весьма полном собрании отсутствие всякаго изображения его матери. Небольшой портрет ея, писанный в старости, я увидел только в маленькой гостиной покойной княгини Лопухиной. Но я не расспрашивал старика, потому что угадал причину этой странности.

Он имел много неприятностей с своею матерью.

---

[1] Род. в 1763 году, умерла в 1839 году 16-го сентября. Отец ея, Николай Дмитриевич Шетнев, правитель Вологодскаго наместничества, в службе с 1756 года в чине генерал-поручика с 28-го июня 1796 года (Был при Лопухине, генерал-губернаторе), переименован в тайные советники 17 дек. 1796 года. (По списку воинскому департаменту на 1796 год).

Говорят, что перед тем, чтобы выйти за Петра Васильевича, Екатерина Николаевна пользовалась расположением князя (в то время еще графа) Безбородки, и что этому обстоятельству Лопухин обязан был в значительной мере и назначением в ярославские наместники, и последующим своим возвышением. Безбородко, оказавший великия услуги императору Павлу при его воцарении и вследствие этого пользовавшийся особенною его милостью, действительно, покровительствовал Лопухину; он указал императору Павлу на Лопухина при удалении князя Алексея Борисовича Куракина от должности генерал-прокурора (8-го августа 1798 года); а по смерти Безбородко (6-го апреля 1799 года) Лопухин не удержался на своем месте: 7-го июля того же 1799 года он был уволен от всех дел.

V

Природный характер императора Павла

Князь Лопухин не может говорить об императоре Павле без самаго трогательнаго чувства признательности. При имени Павла нередко слезы навертываются на его глазах. Государь, по его словам, вовсе не был тем сумрачным и подозрительным тираном, каким его умышленно представляют. Напротив того, природныя его качества были откровенность, благородство чувств, необыкновенная доброта, любезность и весьма острый и меткий ум. Когда он был в хорошем расположении духа, нельзя было найти более приятнаго и блестящаго собеседника; никто в этом отношении не мог сравниться с ним, не исключая императора Александра Павловича, об уме и любезности котораго так много говорят.

Император Павел любил шутить, понимал шутку и не сердился, когда сам иногда делался предметом невинной забавы.

— Как же, — спросил я князя Лопухина, — согласить то, что вы говорите о доброте и добродушии императора Павла, с другими сведениями, коими однако пренебрегать нельзя?

На это он ответил мне, что, действительно, государь был чрезвычайно раздражителен и не мог иногда сдерживать себя, но что эта раздражительность происходила не от природнаго его характера, а была последствием одной попытки отравить его. Князь Лопухин уверял меня с некоторою торжественностью, что этот факт известен ему из самаго достовернаго источника.

(Из последующих же моих разговоров с ним я понял, что это сообщено было самим императором Павлом княгине Гагариной).

Когда Павел был еще великим князем, он однажды внезапно заболел; по некоторым признакам, доктор, который состоял при нем, угадал, что великому князю дали какого-то яду, и, не теряя времени, тотчас принялся лечить его против отравы. Больной выздоровел, но никогда не оправился совершенно; с этого времени на всю жизнь нервная его система осталась крайне расстроенною: его неукротимые порывы гнева были не что иное, как болезненные припадки, которые могли быть возбуждаемы самым ничтожным обстоятельством. Князь Лопухин был несколько раз свидетелем подобных явлений: император бледнел, черты его лица до того изменялись, что трудно было его узнать, ему давило грудь, он выпрямлялся, закидывал голову назад, задыхался и пыхтел. Продолжительность этих припадков была не всегда одинакова. Когда он приходил в себя и вспоминал, что говорил и делал в эти минуты, или когда из его приближенных какое-нибудь благонамеренное лицо напоминало ему об этом, то не было примера, чтобы он не отменял своего приказания и не старался всячески загладить последствия своего гнева.

К какому году должна быть отнесена эта попытка отравления, князь Лопухин не мог определить,[1] но, в подтверждение сказаннаго им, привел следующий случай, коего он был свидетелем.

Осень 1800 года была сырая и дождливая. Несмотря на это, император продолжал оставаться в Гатчине, потому что все надеялся переехать прямо в Михайловский замок, постройку котораго он всеми мерами торопил. В Гатчине как везде, государь обыкновенно присутствовал при смене караула. Если стать на дворе Гатчинскаго дворца спиною к главному фасу, то новый караул, вступая на двор, строился в три шеренги у леваго флигеля дворца, в то время, как старый караул делал то же самое на противоположной стороне у праваго флигеля, возле гауптвахты. Государь стоял посреди двора и командовал смену. Когда караул наряжался от какого-нибудь кавалерийскаго полка, то нижние чины вступали пешими на двор, а караульный офицер въезжал

---

[1] Некоторыя соображения позволяют допустить возможность этой попытки в первой половине 1778 года.

верхом: он должен был тихим шагом подъехать к императору, рапортовать, что к его императорскому величеству от такого-то полка в караул наряжен; за сим он тем же шагом отъезжал от государя, спешивался и становился у праваго фланга первой шеренги своего взвода. Вступил караул от лейб-гусарскаго полка; при нем офицером был Тутолмин,[1] Дмитрий Федорович. У Тутолмина лошадь была ретивая; он не мог ее сдержать и, подъезжая в императору, обрызгал его грязью с ног до головы. Мгновенно государь пришел в крайнее раздражение и начал кричать. Тутолмин тотчас повернул назад; подъехав к караулу, соскочил с лошади и стал на свое место.

Император бросился к нему с поднятою тростью; увидав это, Тутолмин побежал между шеренгами; император за ним; погоня длилась некоторое время; наконец, Тутолмин скрылся совсем. Император не кончил развода и возвратился во дворец. Страшно было взглянуть на него. На следующий день, отпуская караул, государь, как только увидел Тутолмина, подошел к нему, положил руку на его плечо и ласково сказал ему при всех: «Благодарю тебя; ты вчера спас от беды и себя и меня».

В другой раз, император встретил на улице одного гольстейнца, служившаго офицером в одном из гвардейских полков и лично известнаго ему по своей прежней службе в гатчинских войсках; имени его князь Лопухин не мог припомнить. Император заметил у него какую-то неисправность в форме и стал его бранить. Офицер хотел было оправдаться. Император, еще более раздраженный, ударил его своей тростью. На другой день он позвал к себе этого офицера, извинился перед ним, дал ему щедрое вознаграждение и, сверх того, назначил пенсию, но в то же время приказал ему подать в отставку и отправиться назад в свое отечество, «потому, — сказал он, — что в русской армии не может оставаться офицер, потерпевший оскорбление».

К несчастию, продолжал князь Лопухин, были около императора люди злонамеренные, которые пользовались его раздражительностью, а в последнее время даже возбуждали ее, чтобы для своих целей сделать государя ненавистным. Хотя повеления о наказаниях и ссылках и объявлялись большею частию тайною экспедициею, бывшею в заведывании генерал-прокурора Обольянинова, но Обольянинов был

---

[1] 29-го декабря 1796 года Тутолмин из камер-пажей определен поручиком в лейб-гусарский полк (приказы).

только беспрекословным исполнителем приказаний, которыя получал. Он не был подстрекателем.

VI.

Николая Осиповича Котлубицкаго (коего рассказы напечатаны в «Русском Архива» 1866 года) князь Лопухин лично не знал, но только слышал о нем, что он был человек ума весьма ограниченнаго. Будучи уже генерал-аншефом, он все еще жаловался, что его обошли двумя чинами.

При императоре Павле находился шут Иванушка-дурачек, всегда одетый в смешной разноцветный костюм. Он был вовсе не глупым человеком. В 1799 году, за несколько дней до Петрова дня (29-го июня), генерал-прокурор имел обыкновенный свой доклад у государя. В соседней зале придворные, зная, что генерал-прокурор докладывал по многим наградным спискам, вели между собою оживленный разговор и предавались разным догадкам о том, что кого ожидало к тезоименитству императора. Так как Иванушка имел во всякое время свободный вход в кабинет государя, то кто-то из них и попросил его войти туда и послушать, что там говорится. Иванушка пошел. Чрез несколько времени он возвращается; все и обступили его с вопросом: Ну, что? — «Да вот что, — сказал он: — Лопухин сидит напротив царя и докладывает: потому, посему ничего никому; а царь ему в ответ: быть по сему».

Иванушка-дурачек жил сперва у Воина Васильевича Нащокина. Этот Нащокин известен был своими жестокостями.[1] По смерти Нащокина Иванушка шатался некоторое время по Москве; наконец, был принят в дом Петра Васильевича Лопухина. Когда же Лопухины все переехали в Петербург, то с ними переехал и Иванушка, и уже от них, понравившись государю, поступил во дворец.[2]

---

[1] Воин Васильевич Нащокин был сын Василия Александровича Нащокина, коего записки напечатаны в С.-Петербурге в 1842 году.

[2] В рассказах стараго пажа о времени Павла I («Русская Старина» 1882 года, т.33-й,стр. 214) сообщены еще следующия сведения об Иванушке: «Однажды государь, выслушивая далеко не глупые ответы на вопрос: «что от кого родится», обратился к Иванушке: «Ну, Иванушка, а от меня что родится?» Шут, нимало не оробев, бойко отвечал: «От тебя, государь, родятся чины, кресты, ленты, вотчины, сибирки, палки, каторги, кнуты». Разгневанный этим ответом, император приказал немедленно заковать беднаго шута в кандалы и наказать палками. С трудом могли его умилостивить, и все ограничилось лишь тем, что удалили дурака из Петербурга. Шута этого впоследствии хорошо знали в Москве». Н.Ш.

VII.

Конная гвардия.

По уверению князя Лопухина, пресловутой ссылки целого полка, — как говорят, Конной гвардии, — с плацпарада прямо в Сибирь никогда не было: это один из тех злонамеренных вымыслов, коими так щедры насчет императора Павла.

Саблуков, служивший полковником в Конной гвардии, также ничего не говорит об этой ссылке в Сибирь, хотя и упоминает о переводе полка в Царское Село, где он простоял почти весь 1800 год.

Причину этого перевода в Царское Село Комаровский («Русский Архив» 1867, стр. 540) объясняет тем, что на параде, бывшем 6-го января 1800 года для освещения знамен и штандартов, Конная гвардия, проходя церемониальным маршем мимо государя, так его прогневала, что он приказал ей в тот же день выступить в Царское Село. Но здесь, повидимому, память изменила графу Комаровскому. Следует заметить:

1) что 6-го января 1800 года вовсе не было парада. Из камер-фурьерскаго журнала видно, что 1800 года января 5-го император после развода в экзерциргаузе действительно выехал верхом на плац перед дворцом, чтобы назначить место для войск по случаю предстоящаго праздника следующаго дня; но на следующий день, 6-го января, морозу было более 5-ти градусов, а именно 8 градусов, а потому войска не были расставлены перед дворцом, и император, как обыкновенно, присутствовал только у развода; 2) новые штандарты (с надписью «Благодать») уже даны были Конной гвардии за год перед тем, т.е. 6-го января не 1800, а 1799 года, когда о переводе полка в Царское Село и речи не было, и эти штандарты употреблялись полком до самаго 1808 года (Анненков, I, стр. 182)

VIII.

Княгиня Анна Петровна Гагарина.

Имя княгини Анны Петровны Гагариной, сестры князя Лопухина (хотя от другой матери), уже несколько раз встречалось в наших разговорах, не только вскользь, и я как-то совестился допытывать старика. Предмет был весьма щекотливый. Однако, благодаря тому, что князь Лопухин мало-

по-малу увлекался воспоминаниями о своей молодости, я мог узнать от него следующия подробности.

Анна Петровна родилась 8-го ноября 1777 года. Любопытно, что когда она была еще ребенком, ей было предсказано одною гадальщицей, что она сделается знатною дамою и будет носить четыре ордена. Четыре ордена для женщины в то время не было мыслимо. Но предсказание сбылось в точности; в царствование императора Павла Анна Петровна имела шифр фрейлины, кокарду статс-дамы, большой крест св.Екатерины и знак Мальтийскаго ордена.

Известно, что по водворении Мальтийскаго ордена в России в 1798 году император Павел раздавал знаки онаго и дамам, впрочем весьма немногим.[1]

Нельзя сказать, чтобы Анна Петровна была красавицей, но и нельзя было ея не заметить; она поражала своими большими черными глазами и черными, как смоль, волосами. Волосы ея были до того черны, что имели синеватый отлив.

Наклонность императора Павла к ней проявилась вскоре по прибытии ея вместе с семейством из Москвы в Петербург (осенью 1798 года)[2]. Под влиянием рыцарскаго чувства, император доискивался взаимности, но княжна Анна Петровна употребляла все старания, чтобы отклонить его любовь. Когда же государь сделался уже слишком требовательным, она решила ему сказать, что не может любить его, потому что сердце ея не свободно и принадлежит майору князю Гагарину,[3] находившемуся в то время в армии Суворова в Италии.[4]

---

[1] По месяцеслову 1802 года только две статс-дамы значатся кавалерами ордена св. Иоанна Иерусалимскаго: графиня Екатерина Васильевна Литта и княгиня Анна Петровна Гагарина.

[2] Пожалована в камер-фрейлины 6-го сентября 1798 года. Из камер-фурьерскаго журнала видно, что она в первый раз ужинала в Зимнем дворце на бале 3-го октября 1798 года. Император в этот день за стол не садился (как сказано там же), «изволил проводить время обозрением заседающих при столе персон».

[3] Князь Павел Гаврилович Гагарин, р. 1777 умер 1850.

[4] Рассказ князя Лопухина совершенно согласен с рассказами и Сабукова (стр. 307) и Жоржеля (VI, 368). сочинения которых, как я в том удостоверился, ему неизвестны. Но другое предание о замужестве княжны Анны Петровны сохранилось в семействе Кочубеев.

Павел во всю жизнь свою имел порывы к великодушию. Он тотчас предписал Суворову прислать Гагарина курьером в Петербург с известием о первом счастливом событии. Суворову исполнять это приказание было не трудно; победы следовали за победами, и 11-го июля 1799 года Гагарин привез известие о двукратном поражении Макдональда на Треббии.[1] Награды посыпались на счастливаго вестника. Но прошло еще более полугода, пока император решился довершить свой великодушный подвиг. Видясь ежедневно с Анною Петровною, император почитал ее своим другом и прывык в ея обществе отдыхать от своих занятий.

Свадьба ея с Гагариным, уже произведенным в генерал-адъютанты, все откладывалась, и только 8-го февраля 1800 года была отпразднована при дворе со всевозможною пышностию.

После свадьбы император продолжал попрежнему посещать княгиню Гагарину; но великодушие его постоянно

От князя Льва Викторовича Кочубея я слышал следующее: задумав выдать Лопухину замуж, Павел не сразу выбрал Гагарина; он сперва имел виды на Виктора Павловича Кочубея. Кочубей, предупрежденный Ростопчиным о намерении императора, тотчас бросился к Васильчиковым и просил руки их дочери Марии Васильевны, которая жила у своей тетки Наталии Кирилловны Загряжской, рожденной графини Разумовской (Мария Васильевна была дочь Василия Семеновича Васильчикова, брата екатерининского фаворита от брака его с графиней Анной Кирилловной Разумовской), но при этом поставил непременным условием, чтобы свадьба совершена была через два дня. Васильчиковы согласились. Когда же Павел узнал, что предположения его расстроены, он до того разгневался, что приказал Кочубею и его молодой жене немедленно поехать в деревню: Кочубей отправился в Диканьку. Проживши там некоторое время и бывши постоянно больным по возвращении из Константинополя, он просился за границу для излечения болезни. Император соизволил, но воспретил ему жить в Париже, Вене, Берлине и т.д. В этом перечень главнейших городов Европы, по ошибке или с намерением, не был включен Дрезден; туда и поехал Кочубей. Он прожил в Дрездене до самого воцарения императора Александра Павловича.

Это предание, насколько оно относится к Анне Петровне Лопухиной, не подтверждается современными свидетельствами: до некоторой степени оно даже им противоречит. Так Саблуков, бывший, как видно из его «Воспоминаний», весьма частым посетителем дома Н. К. Загряжской, говорит по случаю смерти императрицы Екатерины (6-го ноября 1796 года): что в то время Кочубей только что был помолвлен на Марии Васильевне Васильчиковой. Саблуков не мог бы не знать о возникшем будто бы впоследствии предположении Павла женить Кочубея на княжне Лопухиной, и, по всей вероятности, он не прошел бы этого обстоятельства молчанием.

[1] 7-го, 8-го и 9-го июня 1799 года. Милютин. I. 531 и след. (изд. 1857 года).

истощалось, и страсть брала свое. Он стал настойчивее домогаться любви Анны Петровны. Она не уступала, и сопротивление ея часто порождало ссоры с самодержавным обожателем.

Одна из этих ссор случилась летом 1800 года, во время пребывания двора в Царском Селе. Кстати: во все царствование императора Павла это было едва ли не единственное его пребывание в любимом дворце его матери. Двор оставался тут две недели (с17-го по 31-е июля 1800 года). Само собою разумеется, что княгиня Гагарина находилась в числе приближенных лиц, следовавших за двором, и ей отведена была квартира в самом дворце. Император заходил к ней, по обыкновению, весьма часто и не переставал твердить ей о своей любви. Однажды княгиня решилась бежать в Петербург. Не без препятствий удалось ей это исполнить. Придворная ея челядь, всегда чуткая к своим выгодам и, вероятно, уже понимавшая желание государя не отпускать княгиню от себя, отказала ей в придворной карете. Тогда Анна Петровна решилась уйти из дворца пешком, чтобы отыскать какой нибудь частный экипаж. Эта решимость заставила прислугу одуматься, и, едва княгиня вышла из дворца, как ей подана была придворная карета, в которой она и уехала в Петербург. Брат ея, князь Лопухин, сведав, что она в крайнем волнении отправилась в город, и не постигая причины столь неожиданнаго отъезда, пожелал немедленно следовать за сестрою; но, будучи флигель-адъютантом, не мог отлучиться без разрешения государя. Он поэтому явился к императору и просил позволения поехать в Петербург. Павел был сильно не в духе и закричал: «Болван, на что тебе?» Лопухин объяснил, что он желал бы поскорее видеть свою сестру, потому что, как ему сказали, она уехала в Петербург совсем расстроенная.

Весть эта, как гром, поразила императора. Отвечая на собственную свою мысль, он сказал по-французски: «Tout cela, ce sont des exagérations!» — Однако отпустил Лопухина, но тут же решил, что сам повидается с княгинею Гагариною.

Императору нужно было на другой день ехать в Петербург, чтобы присутствовать на погребении великой княжны Марии Александровны, дочери великаго князя Александра

Павловича, скончавшейся 27-го июля.[1] Императрица, вся императорская фамилия и весь двор должны были находиться на этой церемонии. Случай представлялся неудобным для объяснения. Тогда государь вспомнил, что на адмиралтейской верфи достраивался 130-ти пушечный корабль, названный в честь княгини Гагариной «Благодать». Месяца три тому назад (3-го мая) уже пробовали его спустить в присутствии императора и всего двора, но, неизвестно почему, он остановился на фундаменте, и работы около него все еще продолжались. Император призвал адмирала графа Кушелева и приказал ему, чтобы на другой день похорон, а именно 1-го августа, был в адмиралтействе торжественный спуск «Благодати». Кушелев боязливо заметил, что корабль еще не совсем готов; но император ничего не хотел принимать во внимание и остался при своем повелении.

31-го июля вся императорская фамилия прибыла в Петербург. После похорон императрица Мария Федоровна в тот же день отправилась в Гатчину, а император остался в Петербурге.

На следующий день, 1-го августа, согласно отданному приказанию, происходил спуск «Благодати». Княгиня Гагарина, главная виновница этого торжества, присутствовала на нем вместе со всеми придворными. В этот раз все удалось императору: «Благодать» сошла в воду, а он помирился в княгинею Гагариною. Государь пробыл в городе еще до следующаго дня, 2-го августа[2]. С тех пор ссоры его с Анною Петровною прекратились.

---

[1] Родилась 18-го мая 1799 года.

[2] 130-пушечный корабль «Благодать» заложен был в С.-Петербурге 25-го февраля 1797 года: строился из дуба и сосны: должен был быть спущен 3-го мая 1800 года вместе с кораблями 74-х-пушечным «Зачатие св. Анны» и 72-х-пушечным «Архистратиг Михаил»: но за исключением «Зачатие св. Анны»спуск остальных двух корабле не удался, и по этому случаю ходила поговорка:
Анна
Сошла плавно;
Михаил
Шел, да зацепил,
А Благодать
Велела Подождать.
6-го августа 1813 года корабль «Благодать» для разломки был введен в канал в Кронштадте, а в 1814 году разобран.
В бумагах бывшего С.-Петербургского генерал-губернаторства хранится следующий рескрипт:

Князь Лопухин, помолчав немного, прибавил, что в то время понятия и нравы были совсем иныя, чем теперь. Ни докучливыя преследования императора, ни возвращение княгине Гагариной ко двору не представляли ничего особеннаго, ничего, что бы не могло случиться с каждым. Князь Петр Васильевич тогда уже проживал в Москве,[1] он туда снова переехал после того, как выдал Анну Петровну замуж и отдал ей, в приданное свой дом на Дворцовой набережной. (Каждой их других дочерей, при замужестве, он давал по 200.000 рублей). Когда ему говорили о положении княгини Гагариной при дворе, он обыкновенно отвечал: «Пока она была в девицах, я по отцовской обязанности ее защищал; теперь она замужем; у нея есть защитник; мне до них дела никакого нет».

По смерти императора Павла, Гагарин назначен был посланником при короле Сардинском, имевшем в то время пребывание в Риме.[2] Он отправился туда с женою и оставался в Италии до 1803 года, а этом году возвратился в Россию.

В 1805 году (25-го апреля) княгиня Анна Петровна скончалась на 28-м году от рождения, в чахотке, после родов.[3] Ребенок ея прожил только несколько недель.

«Господин генерал-от-кавалерии граф фон-дер-Пален. Объявите мою благодарность городской думе за способствование купцов и мещан при спуске корабля «Благодарти», и для объявления сего сберите в думу тех купцов и мещан, которые в сем способствовали.
«Пребываю вам благосклонный
(подп.) «Павел».
Августа 3-го дня
1800 года.
Г. Гатчино.

[1] Еще в 1799 году, июля 7-го, князь Лопухин по прошению уволен был от всех дел.

[2] В месяцеслове на 1802 год князь Павел Гаврилович Гагарин, генерал-майор и генерал-адъютант, показан чрезвычайным посланником и полномочным министром в Сардинии.

[3] Княгиня Анна Петровна погребена в Александро-Невской лавре (в С.-Петербурге), в церкви св.Лазаря.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Рождение великого князя Павла Петровича. — Отчуждение сына от матери. — Заботы императрицы Елисаветы о новорожденном великом князе. — Бехтеев. — Никита Иванович Панин. — Кончина императрицы Елисаветы Петровны. — Воцарение Петра Третьего 5

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Переворот 1762 года. — Коронация императрицы Екатерины Второй. — Болезнь цесаревича. — Порошин и его записки. — Штюссельбургская нелепа. 31

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Наклонность цесаревича к милитаризму. — Оспопрививание императрицы и цесаревича. — Болезнь цесаревича в 1771 году 60

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Первый брак цесаревича. — Великая княгиня Наталия Алексеевна. — Кончина великой княгини в 1776 году 81

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Поездка цесаревича в Берлин и второй его брак. — Рождение великого князя Александра Павловича 110

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Союз России с Австрией. — Заграничное путешествие цесаревича и великой княгини Марии Федоровны 144

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Возвращение цесаревича из-за границы. — Смерть графа Н.И.Панина. — Начало гатчинского периода в жизни цесаревича. — Таврическое путешествие императрицы Екатерины 174

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Вторая война с Турцией. — Война со Швецией. — Участие цесаревича в походе 1788 года. — Завещание цесаревича 204

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Предположения об изменении порядка престолонаследия. — Брак великого князя Александра Павловича. — Е.И.Нелидова 223

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Брак великого князя Константина Павловича. — Приезд шведского короля Густава IV. — Кончина императрицы Екатерины 250

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Воцарение императора Павла. — Первые мероприятия. — Увольнение Суворова. — Крестьянские волнения. — Случай с И.И.Дмитриевым. — *Внешняя политика* 268

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Коронация. — Путешествие императора. — Морские маневры. — Осенние маневры в Гатчине. — Письмо великого князя Александра Павловича к Лагарпу 1797 года. — Ложные тревоги в Павловске и в Петербурге 324

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Путешествие императора в Москву и в Казань в 1798 году. — Анна Петровна Лопухина. — Новый период в царствовании императора Павла Петровича. — Война 1799 года. — Сближение с Францией и разрыв с Англией. — Поход казаков в Индию 360

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Положение внутренних дел в России. — Приезд шведского короля Густава IV. — Описание Михайловского замка 408

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Оценка действий императора Павла современниками. — Переселение двора в Михайловский замок. — 11-е марта. — Кончина императора Павла. — Воцарение императора Александра Первого ... 445

ПРИЛОЖЕНИЯ 488

ИЗДАНИЕ КНИГИ Н. К. ШИЛЬДЕРА
«ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ»
ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ СОДЕЙСТВИИ ТОО «АЛГОРИТМ»
Москва, ул. Повослободская, д. 49/2
тел.: (095) 197-35-97, 978-10-64

В ИЗДАНИИ КНИГИ Н. К. ШИЛЬДЕРА
«ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ»
ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ ФИРМА «МОСГОРПЕЧАТЬ»

Н. К. Шильдер

Император Павел Первый.
(Серия «Актуальная история России».
Цикл «Императоры России»).

Редактор П. Ульяшов

Художник В. Бобров

Сдано в набор 5. 04.96. Подписано в печать 17.06.96. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Гарнитура Таймс. Печ. л. 18.00.
Тираж 20000 экз. Заказ 628.
Цена договорная.

Фирма «Чарли»

107066. Москва, ул. Старая Басманная, д. 20, строение 1, 3 этаж.
Отпечатано с готовых диапозитивов.

Компьютерный набор, верстка и изготовление оригинал-макета осуществлены ТОО «Сажень», тел. (095)178-57-79.

АООТ «Рыбинский Дом печати»
152901, г.Рыбинск, ул.Чкалова, 8.